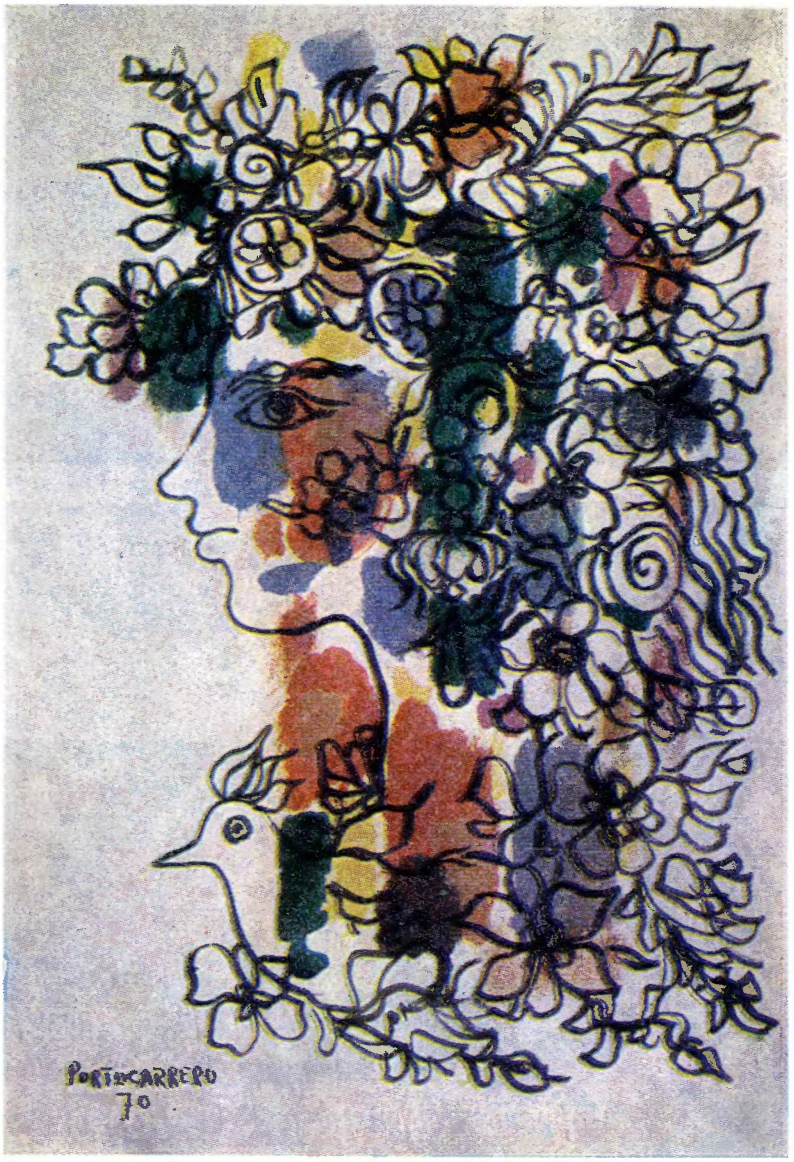
ISSN 0130—6545

9.1981

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



МАРИАНО РОДРИГЕС. Из серии «Толпы»

Цветные иллюстрации номера — работы кубинских художников Мариано Родригеса и Рене Портокарреро

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

9 сентябрь 1981

Содержание

АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ — Стихи *(Перевод с болгарского Лорины Дымовой. Вступление Божидара Божилова)* 3

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ — Рассказы *(Перевод с болгарского В. Викторова)* 11

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА — Лопе де Агирре, Князь Свободы *(Роман. Перевод с испанского Л. Синянской. Предисловие Юрия Дашкевича)* 36

ПИТЕР УСТИНОВ — Крамнэгел *(Роман. Продолжение. Перевод с английского Ю. Зараховича)* 107

Критика

Горизонты индийской литературы

ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС — Страна древняя и новая 168

КАРТАР СИНГХ ДУГГАЛ — Писатель в нынешней Индии 170

М. САЛГАНИК — По закону ускорения *(О некоторых явлениях в литературе 70-х годов)* 172

Из хроники культурного обмена 173

Изобразительное искусство за рубежом

С. ПОТАБЕНКО — Ветер перемен 179

Идеологическая борьба и литература

С. РОЖНОВСКИЙ — Прошлое и настоящее австрийской словесности *(Не совсем академические раздумья)* 183

Наш календарь

К 70-летию Иржи Тауфера

«...В моих книгах есть только то, чего я не мог не сказать» *(Вступление и перевод с чешского Л. Будаговой)* 190

Культура и современность

Заметки на полях

О. ТИМАШЕВА — Рабочая тема: репортаж и художественное исследование 195

Публицистика

Э. БАТАЛОВ — Между прошлым и будущим *(О книге Олвина Тоффлера «Третья волна»)* 199

Документальная проза

ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ — Делать фильм *(Перевод с итальянского Ф. М. Двин)* 214

Антирубрика

ПЕТР НЕЗНАКОМОВ — Как была создана первая комедия Шекспира *(Перевод с болгарского Маи Тарасовой)* 245

МАРКО ГАНЧЕВ—Стихи *(Перевод с болгарского Фаины Гримберг)* 246

ХОСИ СИНЬИТИ — Притча *(Перевод с японского Григория Чартхишвили)* 247

Наши гости

Дожоогийн Цэдэв, Бэгзийн Явуухулан (МНР) 251

К нашим иллюстрациям

Владимир Верников — Художники Кубы 253

Среди книг

Издано в СССР

А. Николаевская — Труд и разуменье ✦ Н. Т. Федоренко — Традиции жанра и самобытность ✦ Алла Киреева — Кентавр по-нигерийски 257

Издано за рубежом

Б. Тарасов, В. Турбин — Французский ученый о русском писателе ✦ Сергей Белов — Конец игры 261

Из месяца в месяц 189, 194, 256, 266

На 1-й и 4-й страницах обложки: РЕНЕ ПОРТОКАРРЕРО (Куба). Из серии «Флора».

© «Иностранная литература», 1981.

АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ

Перевод с болгарского ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

Андрей Германов не увидит этой подборки своих стихов. Он умер, не дожив до сорока девяти лет, полным творческих замыслов и любви к жизни. Жестоко обошлась судьба с этим человеком, с этим поэтом, навсегда оставшимся молодым. Жестоко обошлась она и с нами, лишив нас полнозвучного присутствия его в нашей литературе.

Безупречно порядочный и честный в жизни, он таким же оставался и в поэзии. Острое, почти болезненное ощущение правды и неправды, органическое неумение творить зло продиктовали ему многие поступки и строки.

Андрей Германов родился в селе, и всеми своими корнями, поэзией, мировоззрением он связан с землей. Именно земля дала ему то душевное здоровье и жизнелюбие, которым буквально переполнена его «Ярмарка в День богородицы» и множество других стихов.

Последние годы жизни, когда Андрей Германов был тяжело болен, дали тем не менее богатые плоды, добавили новые краски к его палитре. Он остановился на коротких формах,— может быть, в какой-то мере это было вызвано недостатком физических сил. Но в его афористичных четверостишиях сконцентрирована мудрость человека, уже побывавшего на грани жизни и смерти и познавшего истинную цену всему, чем мы живем на земле. Это разговор не только с читателем, но и с Вечностью. Пораженный болезнью, он оставался на своем поэтическом и гражданском посту.

Его родное местечко находится недалеко от Варны, недалеко от моря. Поэтому я запомню его молодым и сильным на берегу Черного моря, влюбленным, полным идей и планов относительно новых переводов русских поэтов (он был и прекрасным, умным, талантливым переводчиком), набрасывающим новые стихи или шутливые шаржи, просматривающим очередной номер литературного журнала «Пламк», который он возглавлял долгие годы.

Я надеюсь, что читатели «Иностранной литературы» почувствуют по опубликованным здесь стихотворениям, какого поэта потеряла наша страна, и наша боль станет и их болью.

Божидар БОЖИЛОВ

АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ (1932—1981).

Болгарский поэт. Первый сборник его стихов «Ростки» («Кълнове») появился в 1959 г. С тех пор выходило много поэтических книг А. Германова, в том числе «Каменная земля» («Каменна земя», 1975), «Взрывная зона» («Взривна зона», 1977), «Граница снега» («Границата на снега», 1979), «Самоубийственно живем» («Самоубийствено живеем», 1979), три сборника четверостиший. Перу А. Германова принадлежит также повесть «Камчийская баллада» («Камчийска балада», 1967), несколько детских книг, переводы на болгарский язык советских поэтов А. Твардовского, М. Бажана, Р. Рождественского и др. Советским читателям творчество поэта известно по многочисленным публикациям в периодике, в том числе в «ИЛ» (1974, № 1), и по книге «Из современной болгарской поэзии» (М., «Прогресс», 1976).

Публикуемые стихи взяты из сборников «Преображения», «Каменная земля», «Самоубийственно живем», из журнала «Септември» и из последней книги четверостиший (1980).

Ярмарка в День богородицы

«...и таким же остался городок...»
СЛАВ ХР. КАРАСЛАВОВ

Мы мальчишками были — удалая ватага,
властелины ближайших холмов и оврага.
С задубевшими пятками, среди рыжих бурьянов
стерегли мы все лето коров и баранов.
Ну а осень нагрянет вместе с ярмаркой шумной —
о, тогда ты нас дома удержать и не думай,
не помогут замки, не помогут запреты!
И дадут нам отцы по две желтых монеты.

Мы идем через поле, напрямик, без тропинки,
босиком, чтобы зря не трепались ботинки.
Солнце жарит безжалостно, пыль под ногами,
монастырь далеко — за рекой, за холмами.
Но мы знаем, нас ждет пестрой ярмарки чудо!
Там телеги с товаром собрались отовсюду,
дым, шатры и годулки — нет свободного места,
бродят ладные парни, к стенкам жмутся невесты.

Сколько разных прилавков — нарядных и пестрых!
Мы идем, подражая небрежности взрослых.
Но на нас и не смотрят... Равнодушьем задеты,
мы тогда достаем из карманов монеты!
Все глядят в изумленье, и смолкает гуденье —
в старых глиняных мисках только мелкие деньги:
сдачи нет! И при всем удивленном народе
мы к соседним прилавкам неспешно уходим.

А потом... Мы уверены — чувствуем, знаем! —
все следят, как мы весело, славно гуляем!
Леденцы, и качели, и помосты фанерные,
и глотатели шпаг! Все блаженства неверные...
И крестьяне из сел, что находятся рядом,
провожают нас долгим, недоверчивым взглядом:
«Ну и ну! Не простая компания эта —
эти парни швыряют, не считая, монеты...»

День пройдет и другой. Все идет честь по чести.
А потом, наконец, соберемся мы вместе,
снова голодны, босы, по дороге знакомой
будем молча идти мы до самого дома.
Но останется ярмарка — в шуме и в гуде.
Мы-то знаем: она никогда не забудет,
что гуляли здесь парни — скрипели штиблеты,
и в карманах завидно звенели монеты!

Отставший аист

Лети со стаей! Крылья пусть несут
тебя на юг в синеющем просторе.
Пусть, обессилев, упадешь ты в море —
лети, лети! Не оставайся тут!

© Андрей Германов, 1975, 1979, 1980.

Тебя накормят здесь и приютят,
под теплой кровлей будешь ты как дома.
Заботы твоему крылу больному
утраченную силу возвратят.

Но дни пройдут, и вновь весна придет...
И грузный, слабый, неба недостойный,
ты встретишь стаю важно и спокойно —
а эта встреча смерть тебе несет...

Спуститься стае повелит вожак,
и окружат тебя угрюмо птицы...
Ты знаешь, что с тобой сейчас случится:
тот, кто покинул стаю,— стае враг.

Как по команде, над тобою вдруг
застынут клювы — алые кинжалы.
С крылом повисшим — неуклюж и жалок —
стоять ты будешь... И сомкнется круг!

Твой друг вчерашний первым нанесет
удар! Нет, он тебя не пожалеет.
И кровь твоя на клювах заалеет
и каплями на землю упадет.

...Исчезнет стая в небе голубом,
о мертвом брате и не вспомнят птицы.
И будет над тобою пух дымиться,
как дым над остывающим костром.

...А потому — лети! Пускай несут
тебя слепые ветры на просторе.
Пусть, обессилев, упадешь ты в море —
лети, лети!
Не оставайся тут!

■ ■ ■

С чего же начинается все? С камня.
Да, только с камня. Он лежит в основе.
Средь звона молотков каменотесов,
среди ударов, грохота и криков
дуб породнится с камнем бессловесным
и с желтою невозмутимой глиной.
Растет фундамент, и все выше стены,
как чешуя, ложится черепица.
Сияет зданье, белое, как сахар.

Но зданье — это все еще не дом.

Шкафы, и табуретки, и подушки,
ковры, как пестрые луга весною,
и медная веселая посуда,
и котелок над жарким очагом,
дымок куделью вьется над трубою —
и здание становится жилищем.

Но нет, жилище — все еще не дом.

И что происходило до сих пор —
все это только видимость, а значит,
все это лишь обман. И вы не верьте
до той поры, покуда не заметите,
что во дворе хозяйка появилась
и, землю разрыхлив на свежей грядке,
укутала, как малого ребенка,
цветок с беспечным взглядом голубым.

Теперь жилище превратилось в дом.

С чего же начинается все? С камня?
Да, верно, с камня. Он лежит в основе.
А может быть, в основе был цветок?
Нет, даже не цветок — мысль о цветах!

Обычный день

Как ласков песок.
Как пожилой человек, познавший разлуку.
Но его мы забудем.

Как приветлива морская вода.
Словно зрелая женщина, встретившая любовь.
Но ее мы забудем.

Как мягко улыбается солнце —
поздняя любовь осенью ранней.
Но его мы забудем.

Этот единственный день —
ему не дано повториться.
Но его мы забудем.

Когда-нибудь мы отыщем случайно
плоский камешек, на котором
написаны два имени наших.

И тогда он вернется — этот день,
счастье,
с опозданием понятое, навеки потерянное,
тайный вздох, острая боль от ножа.

Тогда мы запомним его.

■ ■ ■

Ты подаешь мне руку. Не скажу
ни слова... Поздно. Ничего не требуй:
одной рукой я сына за руку держу,
а на другой повисла сетка с хлебом.

■ ■ ■

Поседел
не из-за черных предателей.
И не от горя.
Иной мой удел.
Из-за неверных
друзей и приятелей
и верных мне женщин —
совсем поседел.

■ ■ ■

Тебя убьют. Не жди пощады.
Но если вдруг тебе предложат
врага унизить, уничтожить,
ты тихо скажешь: «Нет. Не надо...»

Хоть тут так просто ошибиться,
но мог ли выбрать ты иное?
Услышать легче за спиною:
«Убит...!» Убит, а не убийца!

■ ■ ■

Через огонь проходит жито,
чтоб в хлеб насущный превратиться.
Должно быть много пережито —
тогда лишь
человек родится.

Все через боль.
И повзросленье,
и твердость не даются даром —
а только при сопротивленье
угрозе, клевете, ударам.

Переболев болезнью роста,
о ней ты вспомнишь
без волненья.
...Благослови спокойно́, просто
боль, что приносит исцеленье.

Дожди

Я так давно весенних жду дождей!
Жду всей душой и помыслами всеми,
когда захлещет ливень у дверей,
хоть знаю, что пока еще не время.

Когда сижу бессонно над стихом
и, как цветы, выращиваю строки,
я слышу, как гремит веселый гром...
Идут дожди, но далеко-далёко.

Я жду их ночи долгие и дни —
не век же проходить им стороною.
Звенят над кем-то весело они,
но все еще пока не надо мною.

Об уходящем времени сверчок
напоминает мне и днем, и ночью.
Не молод я. И путь мой был далек —
но стариться душа моя не хочет.

Всю ночь не сплю, как сторож на часах:
рокочет где-то гром во тьме кромешной,
и молнии сверкают в небесах —
но так же далеки дожди, как прежде...

■ ■ ■

В мире есть реки
и чащи лесные,
есть молодые
луга заливные,
белые горы
с синими рассветами...
Нет только времени
радоваться этому.

■ ■ ■

Зеленые вечерние деревья,
о чем грустите,
зеленые вечерние деревья?

А может быть, узнали вы, деревья,
о листопаде?
Наверное, узнали вы, деревья...

■ ■ ■

...И без того
я непрерывно ухожу.

Не надо обижать меня —
и без того мой приговор известен.
В миг моего рожденья
звенящая тугая тетива
в меня стрелу звенящую пустила.
Я сплю, дышу, люблю, надеюсь —
она ж летит
над безднами
ко мне.

Она мне снится иногда ночами.
Во сне красиво умирать —
испытываешь грусть и сладость.

Она ж летит над безднами
ко мне.
Среди пути
она меня
настигнет.

К чему
вся наша суета?

И почему мы забываем
то, что не смеем забывать:
стрела!

Четверостишия

* * *

Приходим мы в корчму из тьмы, когда земля росой умыта.
Недолго в ней пируем мы — нам счет приносят деловито,
а после ветер выдувает всех недопивших, недопевших...
Нет удивительней корчмы — в ней дверь всегда для всех открыта.

* * *

Дай бог нам встретиться, покуда мы сил полны и удивленья,
и горы кажутся нам чудом, и крик влюбленного оленя.
Дай бог нам встретиться, покуда мы молоды и безмятежны,
покуда лишь перед любимой мы стать готовы на колени!

* * *

Клюют с моей ладони птицы, почти не прикасаясь к ней.
И каждая меня боится и не становится смелей.
Они меня подозревают в коварстве, в хитрости, в обмане:
ведь крошки находить так трудно, а доброту — еще трудней.

* * *

Запомни, друг, любому делу конец приходит непременно,
и это правило простое прими спокойно и смиренно.
Ты, как актер, скажи спасибо всем людям, что тебе внимали.
Покуда слышен гром оваций, поторопись уйти со сцены!

* * *

Паси свое усердно стадо. А волк — он сам к тебе придет.
И в сторону врага с досадой ты не смотри. Он сам придет.
Со злом мы встретиться готовы. Добро врасплох нас застигает,
идти к нему навстречу надо. А зло само тебя найдет!

* * *

Пулю в лоб пустить легко, я знаю. Это мне давным-давно известно.
Кто-то скажет, головой качая, что глупец что поступил нечестно.
Лишь мои родные зарыдают. Погрустят, а после позабудут...
Но куда спешить? Уже по краю я ходил. Нет, там неинтересно!

* * *

Час подведения итогов — не избежать его никак.
Один его достойно встретит. Другой трусливо — как червяк.
Богатый, гордость потеряв, останется с тугой мошною,
а у тебя есть только гордость. Так береги ее, бедняк!

* *

Зачем тебе всего бояться и прятать голову, как страус?
Зачем ковать себе доспехи, от недругов своих спасаясь,
когда заранее известно, что на земле волшебной, милой
жизнь — это только вздох короткий. А после — вечность, сон и хаос.

* * *

Железный утихает звон, и уплывает дым свинцовый.
Из праха страны восстают, цветут и исчезают снова...
И все же средь руин живет и дышит, тленью неподвластен,
неумирающий цветок — правдивое живое слово.

* * *

О ветер, буйствуй, не стихая, шуми, хозяйничай в бору!
Гни горделивые деревья и зверя загоняй в нору.
Твой голос жизнь в меня вдыхает. А если ты уйдешь внезапно
и тишина на землю ляжет, то я от тишины умру...

■

ДЫМОВА ЛОРИНА ЕВГЕНЬЕВНА

Советская поэтесса и переводчица. В ее переводах публиковались стихи болгарских поэтов Елисаветы Багряны, Валерия Петрова, Благи Димитровой, Андрея Германова, Ивана Давидкова, Петра Караангова, Божидара Божилова. В издательстве «Софи-пресс» в ее переводе вышла книга стихов Станки Пенчевой.

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ

Рассказы

Перевод с болгарского В. ВИКТОРОВА

Восход солнца

Старый лес торжественным скрипом возвестил приход зари, когда едва развиднелось. Для деревьев это самый волнующий миг — не восход, а предчувствие восхода. Глухо и злобно скрипят они по вечерам, нервно и резко в полдень, но совсем иначе — перед восходом солнца. В эти мгновения их скрип подобен звуку, оброненному Орфеевой кифарой.

Раздастся он — и все просыпается: жаворонки вылетают из своих гнезд, муравьи покидают муравейники, черные букашки выползают из-под листвы, а сойки с криком разгоняют остатки ночного мрака, воровски прячущегося в глубоких оврагах. Капли росы, тронутые солнечным пурпуром, блестят и сверкают под улыбчивым небом. Жуки-короеды в сухих елях начинают быстро-быстро скрестись, чтобы наверстать упущенное за время ночного бездействия.

И снова скрип — еще более торжественный и длительный — долетает с самого высокого дерева, подсказывая птицам, что им пора запевать, и тогда все пернатые, которые умеют и не умеют, начинают щебетать, и весь лес уже звенит как храм.

Пока птицы поют, цветы излучают благоухание — опьяняющий ладан, смешанный с запахами разбуженной земли, который сводит с ума медоносных пчел, отлетающих с торжественным гудением к манящим их цветам.

И только холмы не движутся, не шевелятся: выстроились один за другим так, что видны даже самые низенькие, и ждут святого солнечного причастия, опустив головы.

И вот, наконец, появляется солнце и взбирается по крутому гребню на Персенк. Пока оно поднимается, звенят птичьи песни, вершины

© Н. Хайтов, 1979.

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ (род. в 1919 г.).

Болгарский писатель, лауреат Димитровской премии, Народный деятель культуры Болгарии. Окончил лесотехнический факультет Софийского университета. Начал печататься в 1957 г. Автор сборников рассказов, пьес, киносценариев, эссе, очерков, в основном посвященных Родопам, где он родился и несколько лет работал инженером-лесоводом. На русский язык переведены сборники рассказов «Листья граба», «Дикие рассказы» («ИЛ», 1969, № 2), сборник пьес «Лодка в лесу», публицистические очерки «Колючая роза» («ИЛ», 1976, № 4) и другие работы.

Публикуемые рассказы взяты из сборника «Летающее корыто» («Хвъркатото корито», Пловдив, «Хр. Г. Данов», 1979).

бьют челом земле и вздыхают, пчелы запускают свои трещотки на все обороты, цветы разливают наиволшебнейшие свои ароматы.

И все оживает и запевает, счастливое тем, что снова наступил день.

Опора нашего старого дома

Он подпирает старый отцовский дом. Почти прямой дубовый столб, кое-как обтесанный топором. На нем лежит поперечная балка, называемая «матерью», которая несет на себе второй этаж дома и крышу с каменными плитами.

Двести с лишним лет этот столб без устали держит материнскую балку и переплеты из камня и дерева. И он не покривился, не треснул, с честью выдержал и землетрясение в тысяча девятьсот двадцать восьмом, и тяжелую зиму тридцать второго года когда на крышу навалило снега высотой в рост человека и «мать» порядком прогнулась.

Черви пробовали проверить надежность опорного столба, но их зубы, встретив стальную древесину, лишь слегка ее поцарапали. И туман не был столь уж безвредным — осень за осенью он пропитывал дерево сыростью, а потом солнце его высушивало, и земная пыль внедрялась в него пока не сделала его поверхность серой и волокнистой, как шерсть. Похолодает — и эта шерсть на столбе встает дыбом. Увлажнит ее туман — у каждой волосинки собирается жемчужная капелька, и столб светится, словно посеребренный... Засверкает солнце — серебро исчезает, и уже видно, что столб стар, утомлен, умудрен, много выстрадал и много пережил.

К этому столбу мой отец привязывал мула. Мул — беспокойный, вечно голодный, зловредный — все ерзал, вертел головой, терся о дерево, и сейчас еще заметны следы его неугомонного недоуздка. Торчит еще и крюк, прибитый к столбу цыганским гвоздем [1], на этот крюк вешали мясо, взятое в долг у мясника Юрдана. Под крюком продольными черточками отмечалось, сколько мер пшеницы занимали мы у моего дяди Рангела, а поперечными — сколько отец ему отдал...

Есть на нашем столбе и зарубка от удара топором. Во время Апрельского восстания дед мой хотел разрушить дом, полный башибузуков, но братья остановили его, потому что в подвале у нас были спрятаны соседские девушки.

В летнее время отец, придя с работы домой, подолгу сидел, прислонясь потной спиной к столбу. Так он отдыхал до самых сумерек. Тогда две опоры нашего дома — живая и деревянная — сливались в одно целое, чтобы вместе делить тяготы нашей жизни.

Вздохнет отец — столб воспримет этот вздох и передаст его «матери», а «мать» — позеленевшим каменным плитам крыши, которые возвратят этот вздох отцу, потому что на камень, в противоположность дереву, вздохи не действуют.

Очень похожи были друг на друга мой отец и наш домашний столб — оба чуть сгорбленные, седоватые, безропотно молчаливые, с тем различием, что сейчас от моего отца остались одни кости, а столб — грустный и уже очень старый — все еще продолжает нести на себе тяжесть каменной крыши. А грустный он потому, что под крышей уже нет людей. Братья мои уехали, а в доме наши соседи хранят дубовые ветки, которыми зимой кормят коз. И вместо того чтобы отвечать за людей и людские судьбы, наш столб отвечает теперь лишь за сухие ветки. Ему легко: на крюке для мяса сейчас висит лишь корзинка со старыми подковами. Нет больше шалого мула, который дергал за столб и вытрясал из него пыль. Некому после заговенья хоро́ сплясать, чтоб ощутил столб свою силу, чтоб возгордился тем, что «мать» согнулась, а он вот не дрогнул. Хоть бы какой-нибудь теленок

[1] Гвоздь конической формы, кованный вручную. *(Здесь и далее прим. перев.)*

почесал об него спину, но нет ни теленка, ни хозяина, который мог бы поделиться с ним вздохом.

Седеет столб и молчит, погруженный в свои невеселые думы. В одном из его сучьев пророс пырей, другой сучок смотрит, словно ослепший глаз, на притихшую сельскую улочку и прислушивается, не идет ли отцовский мул, не раздастся ли отцовское покашливание.

Но нет ни мула, ни покашливания. Лишь изредка простучит по булыжнику старческая палка, чтобы напомнить, что вода из речки вытекла, а корыто высохло.

Смятение

Если и есть нечто жизненно необходимое для нашего горного села, так это козы. И в сушь и в слякоть у козы всегда найдется кружка молока для своего хозяина, чтобы не положил он зубы на полку.

К тому же козье молоко ближе всего к человеческому. Если дитя без матери останется, его можно прямо к козьему вымени прикладывать — и не узнаешь никогда, что оно сиротой растет. Опять же, если козье молоко заквасить и накрошить туда кукурузного хлеба, получится тюря — пальчики оближешь! Бактерии в этой козьей простокваше не кроткие, как в других видах кислого молока, а буйные, они фыркают, брыкаются,— не успеешь хлебнуть из миски, как все лицо окажется в белых брызгах.

Вскормленные с незапамятных времен на буйной козьей простокваше, доживают земляки мои до глубокой старости, и потому в селе нашем полно восьмидесяти-девяностолетних, которые дергают чечевицу в ТКЗХ [1] до последнего вздоха.

Употреблением все того же козьего кислого молока объясняется, по мнению Минчо Фельдшера, и то странное с точки зрения медицины обстоятельство, что у нас повышенное кровяное давление и грипп — большая редкость, и село наше торчит, как одинокий островок, среди всемирного гриппозного моря, которое время от времени заливает человечество своими свирепыми волнами.

А что сказать о козьей бастурме? Прежде отнимали ребенка от груди и — никаких тебе сосок, никакой хлебной жвачки. Отрежут кусочек козьей бастурмы, засунут в рот, и соси себе на здоровье. Выживешь — потом хоть подметки глотай, ничего твоему желудку не сделается.

Наверняка с козьего молока да одеял козьей шерсти наши парни становятся добрыми солдатами — в первую мировую войну у нас из шестисот двух душ участников возвратились двадцать три, и лишь двое из них без крестов за храбрость — они даже домой вернуться постыдились, остановились в соседнем селе.

Одно только плохо у моих земляков: несмотря на разъяснительную работу, проводимую последние тридцать три года, общественное сознание у них все еще хромает. Коз все хотят иметь, молочко все хотят доить, а вырастить козла никто не хочет. Козел, как известно, молока не дает, да и мясу его грош цена, вот каждый и норовит за счет другого проехаться, а другой на третьего надеется, а третий на четвертого... В конце концов на все село остался один-единственный престарелый самец, да и тот прошлой зимой неожиданно переселился в царствие небесное.

Вот так и получилось, что к Димитрову дню, когда приходит время козьих свадеб, Яврово оказалось без производителя. Тут и спохватились: как же быть? Дело ясное: не будет козла — не будет ни молока, ни козлят. А куда же старым без молока и без козлят? У нас в

[1] Трудовое кооперативное земледельческое хозяйство.

селе из двухсот пятидесяти семи человек лишь четырнадцати — под сорок и двадцати семи — под шестьдесят. Всем остальным уже рукой подать до господа бога, кто к девяноста, а кто и к ста годкам тянет. Молодые-то, после того как село наше объявили бесперспективным и ликвидировали школу, ринулись в город, а здесь остались одни старики да старухи.

Старики и козы. И ничего удивительного, что смерть единственного козла повергла всех в смятение. Заговорили даже об импортном козле. Шофер из треста международных перевозок, зять одного из наших, сказал своему тестю, что даже из-за границы по знакомству может доставить какого угодно козла. Но затея эта провалилась, потому что нашелся козел напрокат — в соседнем селе Лясково. Лясковский козел был молодой, но решительный. Он со рвением взялся за дело, и день-другой все шло как по маслу. Крестьяне уже начали довольно потирать руки, но тут-то и произошла осечка — козел переоценил свои силы. Его, буйного и нетерпеливого, истощила орда наших толстых, ненасытных коз, и на третий день он повалился и больше не двигался.

Уже стемнело, но наши кинулись на пастбище и принесли самца на самодельных носилках, застеленных ветками. Выбившиеся из сил носильщики опустили его на землю перед закусочной. Козел — не то чтобы встать, глаз даже не открывает. Посыпались советы. Одни кричат: «Надо влить ему в рот молока с чесноком», другие советуют растереть жилы на шее, третьи — толченый орех. А кто считает, что животное приведут в чувство две рюмки мятной, даже попытались влить ему настойку в горло.

В конце концов решили отнести козла в подвал Петьо Печинова и поручить его заботам Петьовой тещи. После этого разошлись, но — как и двести лет назад, когда заявились турецкие солдаты,— в селе никто не уснул, потому что зачатие связано с совершенно определенным периодом и, если будет упущен срок, следующая весна не принесет ни козлят, ни молока.

Известны и последствия этого: повышенное кровяное давление, грипп и — конец селу. Было тут еще и другое немаловажное обстоятельство: козами с недавних пор стала интересоваться болгарская кинопромышленность. После того как в нескольких картинах были успешно показаны козьи стада, режиссеры начали все чаще и чаще прибегать к услугам коз. Сами козы держатся перед камерой очень естественно — скачут по скалам, как черти, сшибаются рогами, кокетливо встают на передние копытца, словно умиляясь сами собой. Короче говоря, ведут себя как искусные актеры-каскадеры, поэтому, наверно, фильмы с участием коз получили признание критики и были даже отмечены международными премиями.

С того времени наше село превратилось в маленький Голливуд, и рогатые животные приобрели двоякое значение: они приносят нам теперь не только полное вымя, но и гонорары. Мало-помалу на отдельных коз стали возлагать эпизодические роли. Для цветных картин предпочтительнее пестрые козы, они вознаграждаются наравне с криворогими, которые считаются самыми живописными. Все это заставляет теперь крестьян сохранять криворогих и пестрых козлят, и благодаря этой, скажем, «киноселекции» наше сельское стадо очень расцветилось.

Наконец, козий вопрос имеет еще и психологическую сторону: старые тоскуют по внукам. Нет при них внуков, которые согрели бы им душу своим голосом или теплым поцелуем. Чувствуя потребность посадить на колени внука, покачать его, ощутить исходящий от него запах свежего молока, козлиной шерсти, старики делят свою грусть с козлятами, потому что козлята так же шаловливы и беспокойны, как дети.

Радуются на них старые с марта и до самого праздника плодоро-

дия в начале октября. Тогда приезжают из города сыновья, закалывают козлят, насаживают их на вертела и весело и беззаботно съедают. Потом они уезжают на автобусе или на собственной машине, а осиротелые старики ходят как потерянные и горюют, словно у них закололи внуков...

До следующей весны над селом устанавливается свинцовая (как говорится в хороших книгах) тишина, нарушаемая только постукиванием палок о булыжную мостовую и чьим-нибудь покашливанием. А с приходом зимы все чаще начинает звонить колокол по усопшим...

И так — до появления новой листвы на грабе, до окота коз, когда жизнь, сколько ее еще осталось, снова возрождается.

Таково многообразное значение козы для нашего обреченного села. Потому и охали крестьяне над обессилевшим козлом, потому и глаз не смыкали всю ночь, а поутру с усердием взялись за восстановление его подорванного здоровья. Но несмотря на все старания, козел оставался лежать без движения. Правое его веко слегка приподнялось, но левое было плотно прижато, и на третий день бедняга отдал концы. Надо было теперь действовать расторопнее и достать не одного, а по крайней мере пять-шесть совершеннолетних козлов, чтобы поправить дело в оставшееся короткое время — всего неделю...

В нескольких направлениях были посланы люди с заданием: купить, занять, наконец, украсть, если потребуется, но без козлов не возвращаться.

Первая группа — отпускник-пожарник с двумя грузчиками на газике — поспешила в соседнее Бачково.

Четыре члена местного охотничьего общества отправились, якобы за дикими свиньями, в село Добралык с заданием взять в плен одного из тамошних козлов.

Третья бригада двинулась пешим ходом через холмы в Наречен, а четвертая — в знаменитое своим картофелем Лилково. В сущности, это была никакая не бригада, а лишь один из стариков, рассчитывающий с помощью проворного свояка, имевшего в прошлом заслуги, раздобыть для нас двух козлов.

Акция дала неожиданные результаты: на третий день первая группа возвратилась с двумя козлами, взятыми у бачковцев под обещание дать им следующей весной два ящика нашей табачной рассады.

Третья группа (нареченская) потерпела неудачу: село стало курортом и нареченские козлы были еще в прошлом году ликвидированы, потому что придавали окружающей среде сильный, специфический запах и создавали у иностранцев впечатление нашей отсталости. (По той же причине порешили и индюшек в Поповице.) В виде компенсации за это скорбное известие нареченцы подсказали нашим, что в монастырском стаде возле Бачкова есть один бодливый, но стóящий козел и можно попытаться взять его у отца Агапия. Они объяснили также, что отец Агапий малость подслеповат, а чуток хлебнет — и вовсе ничего не видит, так что в случае чего козла можно будет умыкнуть и без его благословения, а когда дело будет сделано — возвратить законным владельцам.

Работа с отцом Агапием поначалу шла довольно туго. С глазами у него действительно было что-то неладно: веки выглядели словно обожженные, однако видел отец — дай бог каждому. Он раскричался, стал размахивать кизиловой дубиной, пригрозил нашим даже милицией. Тогда они вытащили две бутылочки виноградной крепкой и — глоток-другой — так его успокоили, что он в конце концов не только вручил им козла для временного пользования, но еще и спел «Ой, Йордане».

Наибольшие трудности и неудобства выпали на долю второй — добралыкской — группы. Наши связались с местными охотниками, пытаясь добром выпросить у них двух из пяти тамошних козлов, но представители добралыкской общественности вспомнили, что во время

сно у них была с нами какая-то тяжба, и отказали. Нет, нет, и все тут! Тогда нашим пришлось получать то, что нужно, явочным порядком. Присутствовавший при этом козопас был обезоружен обещанием принять его в охотничье общество.

Из контактов с лилковским свояком почти ничего не вышло: по каким-то причинам его слова уже не имели веса, так что наш посланец приволок домой одного-единственного козла.

Так или иначе производителей собралось достаточно, и все — бородатые ветераны, отличавшиеся друг от друга не только внешностью, но и характером.

Выменянные на табачную рассаду бачковские козлы выглядели после дороги довольно жалко: шофер, который вез их, гнал машину быстро, поворотов, притом весьма крутых, хватало, так что животным при перевозке здорово досталось от обитых железом бортов грузовика. Один из них был среднего возраста, бородатый, другой — трехлеток, вроде бы его внук. Самого дикого нрава оказался приведенный на веревке из Красных Скал монастырский козел. Он был подозрителен, глядел исподлобья и не давал до себя дотронуться.

Сильное впечатление производил и один из двух добралыкских козлов. У него была каштановая борода с белыми вкраплениями и длинная, как ряса, шерсть до самых копыт. Второй добралыкский козел с обломанным рогом семенил за первым на почтительном расстоянии, словно служка за священником.

С наибольшим трудом был доставлен лилковец. Привязанный к седлу общественного мула, он или не хотел идти следом за ним, или его не устраивала скорость мула, во всяком случае недоуздок вывоpотил шерсть на козлиной шее, и когда козла отвязали шерсть продолжала дыбиться и придавала ему ощетиненный, угрожающий вид. К тому же он оказался еще и гордецом, держал голову выше всех. Был он пестрый, с белыми прядями на груди, за что его тут же окрестили «гвардейцем».

Наши были довольны успешным проведением операции, а некоторые заявили даже, что если бы мы всегда были так сплочены, то не дошло бы до закрытия пекарни, кооперации, бани и школы. И тогда из села не сбежала бы вся молодежь. К таким выводам привела встреча козлов-производителей. Их отправили на ночлег. Решили, что каждого возьмет домой тот, кто его привел. Позаботились, чтобы они были хорошо накормлены. Причесали лохматого лилковца. И впервые за много дней все уснули спокойно.

Следующее утро началось в бодром темпе. При первом же окрике козопаса улицы заполнились устремившимися к сельской площади взволнованными козами. Запах козлов уже достиг чуткого обоняния наших вдовиц, и сейчас они возбужденно сопели и нетерпеливо постукивали копытами.

Козлов отвязали и пустили в стадо. Но, вместо того чтобы поспешить исполнить свой долг, они остановились как вкопанные и стали глазеть друг на друга. Козопас поднял свою палку и — кого криком, кого взмахом — расшевелил стадо. И тут все восемь козлов вдруг бросились бежать, и каждый старался вырваться вперед. Проворней всех оказался монастырский, он повел стадо, но не прошел и пяти шагов как его настигли остальные. Они налетели на него, вытолкали, и на его месте уже был лилковец. Но и этот ненадолго. Объединившиеся соперники напали на него с таким остервенением, что «гвардеец» взлетел в воздух, а возвращаясь на землю, сел верхом на одну юную особу. Коза подпрыгнула, завопила, началась свалка. В этот момент впереди оказался добралыкский «священник» в шерстяной рясе. Выдвижение его вызвало ожесточение остальных козлов. В рядах нападающих оказался и «служка», вроде бы смирный второй добралыкчанин, и его удар (как удар своего) был воистину

страшен. Из шерсти «священника» вылетел, словно цыпленок, здоровущий клок, шкура была распорота, из раны брызнула кровь.

Козы отшатнулись. Козопас попытался навести порядок своей палкой, но она застряла в рогах борцов и треснула. Мир воцарился лишь с появлением Минчо Фельдшера. Он научно разъяснил, что не надо мешать козлам мериться силами. Потому что это была не обычная драка, а выбор наисильнейшего. Этот самец станет вожаком и первый покроет козу, которую захочет... Козлята от этого — самого сильного — отца достигнут максимального живого веса. Подобный выбор, закончил Минчо,— это закон матери-природы, и нельзя мешать его осуществлению, потому что вмешательство в законы природы приводит к большой неразберихе.

Минчо послушались. Предоставили козлам бодаться, и сражаться, и побеждать в борьбе. На какое-то время верх взял высоченный лысый козел с белой звездой на лбу, но коренастый, проворный и злой соперник, не дрогнув перед этой звездой, чуть не сломал ему шею. Вскоре его рога вообще отлетели, но он продолжал бой и без них. Упершись крепкими ногами в землю, он не отступал, а в его округлившихся, налитых кровью глазах горела мрачная решимость победить или умереть. Дьявольская сила этого взгляда заставила противника уступить, и, сделав последнюю робкую попытку переломить ход поединка, он бежал.

Монастырский повел козье стадо. Безрогий, растерзанный, окровавленный, он излучал свирепую энергию. Остальные козлы смиренно следовали сзади, соответственно занятому в борьбе месту.

Так монастырский козел, этот живой обломок Красных Скал, наполнил души любовью и восхищением. На шею ему привязали большой колокольчик, его признали и короновали вожаком. Победитель двинулся вперед, а стадо колыхалось за ним стройно и покорно в ритме его шагов...

Бодрый козлиный запах вызывал у стариков забытые уже ощущения и волнение. Звон колокольчиков летел высоко над каменными крышами и разносил добрую весть, что бедствие позади и село спасено. Снова будут в изобилии козье молоко, трепетные козлячьи поцелуи и теплые объятия, новые радости и новая весна.

Ваньо кладет стенку

Каменную стенку клали двое — Митьо и Ваньо. Оба примерно одного возраста. У Митьо — густая, поседевшая шевелюра, у Ваньо — редкие желтоватые волосы. Ваньо мастер, а Митьо подносит раствор и учится класть камень.

— Камень должен лежать, он не может сидеть на корточках. Сто лет на корточках — попробуй посиди,— говорит Ваньо.

— Скажешь тоже... сто лет! — удивляется Митьо.

— На хорошем растворе и больше может выдержать. Стены Асеновой крепости видел? Знаешь, сколько им лет? Несколько сотен. Раствор говорит камню: «Ты продержись десять лет, остальная тысяча — это мое дело!» Поэтому раствор нечего жалеть! — Ваньо выливает на стенку ведро раствора, разравнивает его, приглаживает и наклоняется, чтобы выбрать очередной «угловой» камень. Ищет долго, оценивает, наконец, выбирает один и кладет на место. Потом без всякой надобности ударяет по нему три-четыре раза молотком, как бы приколачивая его.— Земле за стеной спокойно. В том и вся польза от стены.— продолжает Ваньо, пристраивая следующий камень.— Потому и называют ее «подпорная стенка». Она землю подпирает. Укрепляет ее Потому и надо стенку чуть под наклоном ставить. Давай раствор!—

обрывает мастер свои наставления и берет один из уже подобранных камней.

— Этот как будто сам в руку ложится,— восхищается Митьо и подает раствор лопатой.

— Так и надо, чтобы они сами в руки шли... Тогда только и можешь мастером зваться,— продолжает обучение Ваньо.— Мой мастер, когда учил меня, не давал мне молотка. «Научись, говорит, понимать камни. Нечего по ним стучать и ломать их. Каждый камень на что-нибудь годится, надо только уметь ему место найти...» Так говорил мне мастер. И молотка не давал. А когда в руках нет молотка, что будешь делать? Стараешься получше смотреть и прикидываешь, какой камень куда класть. Без молотка глаз работать привыкает. С молотком каждый дурак сумеет: бах-трах, слева-справа, и никогда не знаешь, подправишь камень или расколешь... К тому же, когда колотишь, силу тратишь... Вот так... Три года мне мой мастер молотка не давал. Потому и я тебе говорю: обходись без молотка!.. А сейчас давай за раствором! — приказал Ваньо глазевшему на него Митьо.

Митьо двинулся своей медвежьей походкой. Ваньо достал отвес из разбухшего от всякой всячины кармана брюк, проверил, как лежит камень, и сунул отвес обратно в карман.

— Глаз глазом, а вот эта штука вернее глаза служит,— говорит Ваньо, больше для самого себя, и вдруг, заметив мое присутствие, обращается ко мне:— Так я говорю, шеф?

— Так,— соглашаюсь я и поглядываю на спадающие Ваньовы брюки,— чего себе подтяжки не купишь?

— А где ты видал каменщика в подтяжках? — смотрит на меня Ваньо. Один его глаз прикрыт, другой смеется, и сам он готов фыркнуть.— Для чего же эти две ляжки,— похлопывает он себя по бедрам,— если они пару штанов удержать не могут? Раствор! — вдруг кричит он, заметив, что Митьо собирается закурить.

— Работаешь, так нечего курить! — сердится Ваньо, когда Митьо подходит с полными ведрами.

— Почему это нечего? — возражает Митьо.

— Стену мне закоптишь! Потому! Лей раствор! — прекращает Ваньо спор и продолжает укладывать камни. Пока он работает, я задумываюсь над его словами. Где ни копнешь вокруг нашего села, всюду натыкаешься на стенки. Поля наши — на крутых склонах, слой почвы тонкий, дожди легко смывают ее, по этой причине наш горный житель и подпирает да подгораживает свои поля, чтобы почва держалась. Поэтому склонность к ремеслу каменщика — в крови каждого ребенка, родившегося в горах. Вот и Ваньо — крепкий, здоровый мужичище — может получить куда более выгодную работу в бригаде бетонщиков, но он предпочитает класть стенки и радоваться им. А радуется он, как дитя: отойдет немного от стенки, полюбуется ею, вернется, постучит по какому-нибудь упрямо торчащему камешку и снова отойдет. Лицо его сияет, морщинки разглаживаются, и он выглядит удивительно помолодевшим. Потом наберет новых камней, уложит их на земле в ряд, посмотрит издали, хватит или нет, и снова примется за работу.

— Чего ты их щупаешь? Хорошие камни! — вмешивается Митьо, ему хочется немного позлить мастера, но Ваньо продолжает работать спокойно, сосредоточенно.

— У каждого камня, друг любезный, есть лицо и задница,— обращается он снова к Митьо, уложив очередной камень и по привычке пристукнув его молотком.— А ты, коли не можешь различить, где лицо, где задница, лучше помолчал бы! Камень всегда надо класть так, чтобы он был лицом кпереди. Если ты, конечно, мастер. А если нет — можешь класть как тебе заблагорассудится,— добавил кротко Ваньо, вынул отвес и начал тщательно проверять, хорошо ли лег камень.

Митьо притушил папиросу и стал носить отобранные мастером камни. Он молчал — это означало, что он сердится.

А Ваньо укладывал камень за камнем, замазывал щели раствором, заполнял мелкими осколками дыры, и шершавая деревенская стена все более вырисовывалась, крепко вбив свою основу в землю и слегка наклонившись к яру, который ей нужно было подпирать ближайшее столетие.

Проверив отвесом, как лежит последний камень, Ваньо отошел на два шага назад, чтобы оценить свою работу. Опустив широкие, потрескавшиеся руки и подтянув спадавшие штаны, он стоял словно выросший из земли, плотный и грубый, как она сама. Минуту-другую он любовался своей постройкой, но, вспомнив, что он не один, приказал Митьо:

— Давай раствор!

Прощай, чечевица

Славная штука, эта чечевица! Не случайно библейский Исав в свое время продал право первородства брату своему Иакову за чечевичную похлебку. Из чечевицы делается знаменитая похлебка — одно из любимейших и вкуснейших блюд болгарского стола. Плохо только, что это драгоценное растение, известное еще с библейских времен, начинает исчезать. Не растет чечевица на наших полях.

Отчего бы? Почему она исчезает?

Одни говорят, что поля сильно загрязнены минеральными удобрениями. Другие считают, что в последнее время расплодилось очень много сорняков. По мнению третьих, климат сейчас для чечевицы неподходящий. Оказывается, в ее мелких простодушных зернышках кроется особая нежность, не свойственная другим семенам. В этой повышенной чувствительности, по-видимому, причина их слабости. А может быть, чечевице вредны химические удобрения? Может быть, космические силы объединились, чтобы ее уничтожить? Или в борьбе с сорняками нежная, почти тепличная чечевица отступает, подобно тому, как сосна отступает перед буком?

Возможно также, что повышенное содержание углекислоты в воздухе убивает не приспособленную к загрязненной атмосфере чечевицу. Не исключено, что проницаемость озонной оболочки стратосферы после атомных взрывов изменилась не в пользу чечевицы. Или на нее неблагоприятно влияют солнечные пятна.

Да и технический прогресс обесценивает чечевицу: освобожденные от физического труда люди перестают двигаться, полнеют. Впервые в истории нашего поджарого народа возникла проблема похудания, и в связи с этим бобовые растения стали, как говорится, непопулярными. Можно еще добавить, что наши растревоженные стрессами желудки уже не переносят ни чечевицы, ни фасоли. И сверх всего, чечевица стала экономически невыгодной: к ней пока что нельзя применить механизацию (не изобретены еще чечевичные комбайны), а для ручной обработки ее на селе уже нет людей.

Проигрывает чечевица и в соревновании с вермишелью, из которой делают современные супы.

И наконец, питаться чечевицей в наше время просто не модно. На вопрос: «Что ты ел?» человек предпочитает отвечать: «шницель натуральный», «котлету по-киевски» или «медальон с грибами», а не «чечевичную похлебку». Короче говоря, чечевица морально износилась. А это означает, что, будь на ее стороне даже все космические силы, включая и солнечные пятна, она исчезнет с лица земли, как исчезли, например, белоглавые орлы.

Так или иначе, но ты, о нежная, кроткая чечевица, покидаешь

наш чересчур спешащий мир, поэтому давай простимся, пока еще можно где-нибудь встретить последние твои зернышки.

Прощай же, чечевица! Мы, которые тебя помним, никогда не забудем, сколько ты сделала для процветания человечества, и будем вечно славить дивные твои ароматы! Долго в душе у нас будут оживать сладостные мгновения, пережитые вместе с тобой, пока люди не научились чистить, лущить тебя и тем самым уродовать. Те, которые тебя не пробовали, не понимают, что́ они потеряли, потому что им незнаком твой чечевичный вкус, твой благостный дух. Только мы, которые с тобой и благодаря тебе выросли, только мы знаем, как обеднел мир, лишившись чечевицы.

Ученые будущего, вероятно, подробно опишут в своих книгах, сколько весили и какую форму имели твои зерна, какой толщины была твоя чешуя, какие ферменты и витамины ты содержала, но это не поможет людям завтрашнего дня понять, каким волшебным растением ты была... Потому что твоя магия — в твоем вкусе, а его не опишешь ни цифрами, ни словами.

Прощай же, чечевица! И не кори слепое время, которое само не знает, кого спасает, а кого губит.

Грабежи и пожары

Думайте что хотите, а я скажу: «Да здравствует кино!» Ну, пока была кавалерия и у нас покупали овес, село наше было из всех сел наипервейшее. Каждую осень приезжал к нам ротмистр, забирал овес и оставлял полный ушат банкнот. Потом погружали овес на мулов, и караван трогался вниз, к городу, со знаменем впереди. В цене был тогда овес, потому что овес — душа лошадиного корма. Я сам служил в кавалерии и знаю, что только от овса волос у коней гладкий, только овес делает их ретивыми, они тогда ржут и кусаются, разве что стрелять из карабина не могут и «ура» не кричат. К сожалению, кавалерию сменили мотомеханизированные части, и овес сгинул. Пытались мы еще его удержать, но из района дали команду: «Никакого овса! И так у вас тут ручной труд с высокой себестоимостью. Ваше дело — картофель и табак».

Взялись мы за картофель, но тут — откуда ни возьмись — колорадский жук. Как он нас в нашей дыре отыскал, не могу тебе сказать, но с той поры кто что делает, а мы все с жуком этим воюем. Жгли его, давили, врукопашную на него ходили, какой только отравой его не посыпали — перед всем устоял, проклятый, и еще больше размножился. Все лето с ним расправляемся, а в конце концов только что на семена и хватает нашего урожая.

К тому же и людей у нас все меньше становится, молодежь в селе не остается, редеют наши ряды, себя уже по пальцам пересчитать можем. Новых домов, как в других селах, мы не строим, электричество вот только провели да резервуар для воды сделали. К счастью, все прочее осталось у нас как было, поэтому кинематографисты устроили в нашем селе съемочную площадку для фильмов о Болгарии до Девятого сентября. Искали они и там и сям, да где еще найдешь другое такое село! Крыши у нас крыты каменными плитами, улицы кривые, мощенные булыжником, и корчма как корчма, и мужчины носят потури[1]. И как пошли нас снимать — остановиться не могут... Каких только фильмов не было! Почитай, все фильмы, где что-то происходит до Девятого, снимают в нашем селе.

И поскольку все это делается у нас, им удобно и здешних жителей в массовке использовать. Это им, конечно, выгодней, чем возить сюда людей из других мест да еще кормить. Но тут есть и другой инте-

[1] Штаны из домотканой шерстяной материи.

рес (это мне сказал один из режиссеров, вернее, не мне сказал, а одному из операторов). «У этих, говорит, лица аутентичные». Сначала я не понял, что означает это слово, плохо ли это или хорошо, и спросил учителя из Добралыка (нашу школу перевели туда еще в прошлом году, и своего учителя у нас нет), и он объяснил мне, что «аутентичное» — это деревенское, местное, какое было в то время... Истинное, значит.

«Вы были, говорит, большей частью углежоги, потому ходите пригнувшись, чтобы вас лесничий не заметил, а у городских — походка другая. Из городского деревенский не получится — ни статью, ни лицом не выйдет. Чтобы его кожа, говорит, стала, как твоя, надо, чтобы ее триста лет ваш лясковский ветер колошматил. Потому, говорит, вы и аутентичны».

Потом я слышал еще, как режиссер советовал артистам: «Смотрите, как крестьяне держат руки. Они у них не в карманах, а в поясах — вот так»,— и он заставлял меня показывать им, куда совать руки, как водить мула всей пятерней, а не тремя пальчиками, как делал один из артистов, как сморкаться, как кашлять, как скручивать цигарку, чтоб было аутентично... Ну, если лицо не очень аутентично, парикмахерши его живо приведут в порядок — намажут чем надо, бороду прилепят, усы, только вот глаза, налитые кровью, не получаются. А какой же ты, к примеру, жандарм или башибузук, если глаза твои кровью не налиты и в них не сверкает огонь! Чего только не вытворял режиссер с этим огнем! Кричал в трубу: «Огонь должен быть в глазах! Огонь!» Огонь — а где его взять, этот огонь? Мы уже люди в возрасте, поутихли, поослабли, присмирели. «Гляди, кричит, зверем!» Старается режиссер, а дело не идет. То, что в глазах сверкать должно, само по себе не получается. Надо, чтоб было что-то «внутреннее». И тогда мы нашли способ делать кровожадный взгляд с помощью анисовой. Иной раз так ей накровавишься, что глаз открыть не можешь. А веки должны быть чуть приподняты, в точности как у башибузуков.

Но и тут мы в конце концов наловчились.

Платят тебе пять левов за массовку, и живешь себе остальное время как у Христа за пазухой. Но это, конечно, не только удовольствие. И крутиться приходится — будь здоров. Шлендаешь туда-сюда, вверх-вниз, стань тут, стань там, ругайся, глотку дери... И рыдать прикажут, и чего только еще не заставят.

То турки на нас нападают, то народ играем — партизанам встречу устраиваем, потом вдруг жандармами назначат, только в жандармы наших редко берут, потому что им платят не по пять, а по семь левов. Ну, а я худой и в кавалерии служил, поэтому мне трижды играть жандармов приходилось, но на четвертый — баста. В последнем фильме — не помню: «Рак против рыбы» или «Рыба против рака», запутанное такое название,— я играл старшего жандарма, а потом, когда в город пошел налог платить, этот, в окошечке, меня и спрашивает: «А ты случайно не был полицаем до Девятого? Я тебя видел».

С тех пор я жандармов больше не играю...

Вот башибузук — другое дело. Прошлое — оно и есть прошлое.

Наши привыкли к этой работе, всем она по душе. При этом с учеными людьми общаешься, с бородатыми. И женщин повидать случается. Они сейчас в коротких юбках ходят, таких коротких, что вроде бы есть, вроде бы нет — а им хоть бы хны. Это тебе не колорадский жук — тут потруднее приходится.

Процветает наш промысел, хотя и были у нас неприятности с некоторыми режиссерами. Они хотели привезти для массовки людей из города, наплевать им было на аутентичные лица, но мы тогда сказали себе: «Нет!» Перекрыли воду в резервуаре, ну и с электричеством тоже... Наш трансформатор и без того слабоват, а тут только неисправную плитку включишь — и враз конец. Пока аварийка явится, смот-

ришь — и день прошел. Поняли режиссеры, что нет смысла с нами ссориться, и больше нас не обходят.

Да и привыкли они к нам. Сначала, когда друг с другом ругались, все в сторонке старались быть, чтобы мы их не слышали, а сейчас прямо при нас ругаются. Особенно бородатые, тут не поймешь, кто у них главный, кто подчиненный, но как схватятся спорить — полдня не разойдутся. Я заметил: когда оба бородатые — очень часто ссорятся. А когда один с бородой, а другой без бороды — споров почти не бывает.

Спрашиваю я одного безбородого, почему, дескать, так (выпивали мы вместе). «А это потому, говорит, что бородатые нас ослами считают. А с ослами — какой спор!»

Заметил я еще, что режиссеры с усами потише, а безусые и бритые погорячей и посноровистей. У них и деньгами особо не разживешься, и прохлаждаться не очень тебе дадут. Они более охочи до пожаров... и грабежей, да и людям фильмы с пожарами и грабежами предпочтительнее.

Поначалу подожгли у нас одну сторожку. Потом — овчарню. А потом понравилось — и дома пошли палить. Страшный получается фильм, когда что-нибудь поджигают и оно дымит. И чем больше дыму, тем лучше, поэтому подкидывают в горящий дом резиновые царвули [1], старые, конечно.

Первое время нас в дрожь бросало, как скажут: «Пали!» — но потом оказалось, что и тут для нас есть свой расчет. Отвалят тебе две тысячи за дом, и забирай свои манатки, только корзины да рваные мешки оставишь... А после соберешь и плиты, и балки, что уцелеют, и камень, и строй себе на том же месте новый дом. Или опять же какой-нибудь из города явится, отдашь ему это место, да с материалом, да с плитами — и цена-то уж тут будет худо-бедно двойная. Есть в них, в пожарах этих, своя выгода, и люди идут на это дело.

Ну и потеха тоже! Если поджигают до Девятого, тогда только горит, никто не налетает, а жандармы со штыками стоят, караулят. Если же палят в турецкое время, тогда еще и грабеж добавляется. Сабли сверкают, женщины мечутся и вопят, мужчины с дубинами и топорами бьют башибузуков, любо-дорого смотреть...

Самое интересное бывает, если дом поджечь как следует. Такое тогда начинается — и треск, и скрип, и гром, и грохот, лучше не подходи близко. Огонь страшенный, ни живого, ни мертвого не щадит. Мыши, крысы — все бегут, пищат, балки лопаются, извиваются, словно живые. А старые царвули, которых на чердаке всегда навалом,— ох и здорово корчатся в пламени. Марчов дом когда рухнул, как вылетели эти царвули полусгоревшие, как начали прыгать и плясать — загляденье! Горят и скачут, горят и скачут, жаль, что оператор прозевал. Он стропила снимал, как они друг на друга валились, а на царвули не обращал внимания, так потом ему режиссер задал перцу: «Такого, говорит, второго случая не дождешься!»

С той поры и начали искать старые дома с царвулями, да их уж и нет...

Еще раз скажу — по тем фильмам, что были сделаны, узнают нас в городе. Стою я как-то в очереди за желтым кафелем, продавец заметил меня и подзывает: «Эй, говорит, усатый! Это не ты был там-то и там-то башибузуком? Иди, говорит, сюда и бери, чего тебе надо».

И дает мне кафель без очереди. Остальные только собрались рты раскрыть, а продавец как цыкнет на них: «Он, говорит, из кино, не может ждать».

Сейчас я и арбузы беру таким же образом. Узна́ют тебя — и уважат. Да и деньги опять же зарабатываем. С овсом и рожью промашка вышла, и с картошкой в тупике оказались, а с пожарами да грабежа-

[1] Крестьянская обувь.

ми нам здорово подвезло. Вот и сейчас наши все расспрашивают да выпытывают, будут ли еще съемки... И ждут. Хорошо бы такой сценарий получить, чтобы все село сгорело. Киношники подарили нам машинку для кофе, и попиваем мы теперь кофе с бренди. Сейчас в нашем селе виноградную никто и в рот не берет. Смакуем бренди и ждем новых пожаров и грабежей. Придут тогда парикмахерши с нежными ручками, и будем себе глаза анисовой накровавливать. Сын меня все в город зовет, но там уж больно дымно теперь, а у меня к тому же и бронхит еще с фронта остался, так что я для городской жизни не пригоден.

И Шингалов Митьо того же мнения. Он с девятнадцатого года, акцизным был, знает эти дела. Он говорит мне: «Тут, браток, будем сидеть, нечего нам с тобой шебаршиться. Наше, говорит, дело с этими фильмами идет нормально, и дальше хуже не будет». Он, Шингал, башибузуков играет, а я его с топором у дверей поджидаю. Уразумели мы, что от нас требуется, и делаем это даже лучше каскадеров — этих молодых ребят, которые на конях скачут и кувырком летают, да и в их лицах режиссеру что-то не нравится. А вот Митьо очень аутентичен — оспою весь продырявлен и губы обвислые, как у турка, так что нет ему замены.

И он аутентичен, и я аутентичен, и мы рассчитываем, что если будет кино и пожары, то нас кликнут первыми. Подумать только, что из углежога я стал киноартистом! Что от двух тысяч декаров на нашей горе осталось лишь сто двадцать, годных для обработки! Что из тысячи шестисот жителей нас осталось семьдесят два. Но мы-то пока еще здесь. И колорадского жука видели, и кавалерию, которая уже никому не нужна, и поджоги теперь стали у нас промыслом, и кто его знает, что еще будет... Было бы только здоровье!

Мгновения и настроения

Картины природы и настроение человека зависят главным образом от солнечного освещения. Всякое изменение наклона лучей меняет светотени, а это создает иллюзию изменения формы. Земля, скалы, деревья, даже облака в небе приобретают будто другой вид. И это будоражит мысль, способствует переменам в настроении.

Я люблю восход солнца с красными отсветами на скалах, с длинными усталыми тенями, которые медленно укорачиваются и тают в оврагах. В это время хорошо двигаться, бежать, покрываясь потом, и чувствовать, как в ушах у тебя свистит разыгравшаяся кровь. Тогда и мысль просветляется, становится необыкновенно ясной и подвижной. В такие моменты возбуждения и душевного подъема все одухотворяется. Вещи начинают жить с необыкновенной силой, и ничтожные, обыденные подробности становятся вдруг интересными и многозначительными.

В изобилии растет желтый тысячелистник в наших краях, ежедневно я прохожу мимо него и топчу его, но только утром я могу понять, как он красив, каким насыщенным оранжевым цветом окрашены его соцветия, какой волшебный аромат они источают. Замечаю я также, что самые обыкновенные травы имеют свое очарование, находят свое место в зеленой толпе, что каждая былинка чем-то тебя привлекает, чем-то волнует.

Деревья, те, что, кажется, уже так знакомы тебе, во время восхода солнца преображаются. Сосна, мимо которой ты вчера вечером проходил, выглядела кривой и старой, сейчас восхищает тебя стройностью форм, тонким своим станом и зарумянившимися от восхода побегами. Сгорбленный вяз у дороги, который вчера вечером можно было принять за злодея, сейчас ласково тебе улыбается.

Изменяется освещение — видоизменяются и образы, вызывая у тебя различные настроения. Но они живут недолго — исчезают во время заката или восхода. Настроение невесомо, оно нежно, как паутинка в воздухе, его ниточки легко рвутся и быстро улетают.

Блеснет какая-нибудь мысль, осенит тебя прозрение, зашевелится в твоем сознании догадка, еще не оформленная,— и вмиг исчезнет, а на следующий день вчерашнее видение тебя уже не волнует, того, что осенило тебя в момент восхода солнца, уже нет, и ты не можешь понять, чему в сущности так изумлялся, от чего был в восхищении, в восторге? Солнце разума светит сильно, его лучи падают отвесно, не порождая светотеней и мерцаний, не испуская возбуждающих ароматов. Да, отлетело облачко ладана, знакомое тебе со вчерашнего богослужения.

Ты уже «пришел в себя». Видений больше не возникает. Те мгновения умерли, настроение сейчас иное. И напрасно ты ждешь того, вчерашнего, солнца, вчерашнего зефира; хочешь вдохнуть от вчерашних ароматов, заставляешь биться свое сердце в том же ритме, пытаешься услышать те же песни соловьев и жаворонков, которые носились вчера вокруг тебя во время твоего восхождения по крутизне, но нет! Пережитое не повторяется.

Мгновение, однажды пролетевшее, не возвращается.

Летающее корыто

Старое деревянное корыто, покрытое плесенью, обросшее лишаями и мхом... Оно еще делает свое дело: принимает воду из крана, усмиряет ее, а потом спокойно раздает жаждущим травам.

Старое позеленевшее корыто... Много видевшее, много испытавшее. Одни — дровосеки — пробовали на нем топоры, другие дырявили его ножами, третьи резали на нем табак, и все эти зарубки, старые и новые, превратили хорошее, доброе корыто в решето.

Я сказал «доброе», потому что всю жизнь оно делало только добро. Птицам, людям, коровам и пастухам, овцам и овчарам, которые приводят их сюда на водопой. А сколько птиц тут искупалось! Что перьев выстирано! Особенно весной, когда влюбленные птенцы плещутся и причесываются с утра до вечера. Тогда сюда прилетают и робкие соловьи, и молодцеватые жаворонки, и веселые снегири, и суетливые сойки, да и каких только нет тут птиц! Залезут в корыто, оглядятся, окунутся и улетают, сверкая чистотой. Прилетают и горлицы перед свадебной ночью, у них — сероватые перья и пестрые ожерелья. Они застенчиво окунаются и еще застенчивее выходят из воды, оставляя корыту в дар — каждая по перышку.

Разумеется, прилетают и другие птицы. И задиры-дрозды, которые после ритуальных поединков моют в корыте свои окровавленные клювы и перепачканные ноги. И дятлы — чтобы ополоснуть свои белые нагрудники после обильного пиршества. И ночные птицы — украдкой, чтобы смыть со своих перьев позорные кровавые следы. И филины, и совы прилетают... Всех и не назовешь. И все покидают корыто умытыми, чистыми, блестящими, а ему оставляют только грязь, свалявшийся пух и перья. Их так много, и они такие разные, эти перья, что из них старое корыто могло бы сделать себе два большущих крыла — больше, чем орлиные, пестрей, чем глухариные,— и полететь на них, подобно аисту.

Ах, какое бы это было зрелище: полусгнившее, замшелое, дряхлое корыто со свистом прорезает небо и взмывает в заоблачную высь, взлетает, как жаворонок, или спускается, как ястреб, а под ним вер-

шины гор уменьшаются и съеживаются, пораженные полетом необыкновенной птицы.

Да, но если оно взлетит, кто тогда будет заниматься мытьем и стиркой?

Сторож овсяного поля

Я тебе так скажу: без детей, конечно, плохо, но и с детьми ненамного лучше. Что с ними, что без них — все одно. Вот хоть взять моего: вроде бы тридцать лет человеку, женат, дети, работает в городе, а приехал просить у меня двести левов — на море ему, видишь ли, приспичило. Я говорю: «А сам-то заработать не можешь?»

— Моей зарплаты,— говорит,— не хватает.

— Ну, а зарплата жены? Где она, эта зарплата? Ее отец еще на свадьбе хвалился, что на свою зарплату она может купить меня со всеми моими овцами. Ты же, говорю, потому и взял в жены артиллеристку. (Жена его работает с ракетами, которые будто бы разгоняют град.)

— Она,— говорит,— получает сто тридцать.

— Если получает сто тридцать, тогда и разговор веди о ста тридцати, а не о двухстах. А еще называет меня старым хрычом и толкует твоей матери, что будь она нормальной, то не вышла бы за мужчину старше себя на пятнадцать лет... Говорить — говорит, а сколько из нашего, овчарского, дома в город перетаскала! Ни салом, ни шерстью, ни картошкой не брезгует.

А в нашем доме всего хватает, нет такого, чего бы у нас не было. Я овчар, овец пасу, жена в ТКЗХ работает — все имеем. В прошлом году сдали «Родопе» тысячу килограммов живого веса. За это нам одного только зерна двадцать мешков отвалили!

Вот потому и сказал я сыну:

— Если тебе не хватает зарплаты, бросай свой город и будешь пасти со мной овец. Вот тебе дом, огород, и считай себе денежки. Хватит не только на море съездить, а и за́ море прокатиться.

— Не хочу,— говорит,— отец, возвращаться. Да и жена своего согласия не даст.

— Ну, коли так, пусть эти двести левов сама и заработает.

После, когда сын со снохой в гости приехали, гляжу — надулась она, злится, видно. Хотел ее развеселить, спрашиваю, что будем пить, авось оттает сердцем-то...

— Я,— говорит,— пью бренди.

Бренди так бренди. Пошел я в ресторанчик, к Душко, беру бутылку бренди, приношу домой, наливаю снохе, чтоб хоть улыбнулась, а она ни в какую. Сидит за столом, что твоя градоносная туча, глаз не подымает. Не действует, значит, бренди. «Ладно,— говорю себе,— попробуем тогда денежки в ход пустить. Дам им за квартиру внести, может, тогда хоть улыбнется». Отсчитал им три тысячи левов из моих пастушьих денег. Снял их с книжки, и точно — смягчилась сноха. Но только на месяц, не больше. А потом опять набычилась и снова меня старым хрычом величает. Все, значит, оказалось впустую... К тому же денег-то этих они за квартиру не внесли, а купили себе палатку у каких-то чехов, которые на море каждый год приезжают. Потом только поняли, что палатка тяжелая, ее на машине надо возить. Тогда она ему и велела купить на барахолке старую машину. И пошли прахом все три тысячи, что я им дал.

Вот люди! Работать — как-нибудь, а жить хотят в свое удовольствие. Сын мой в этом на дядьку своего похож: подавай ему машины, бренди, песни и море. А овцы ему ни к чему. Но я же не вечный, не всегда смогу ему доплачивать, если он тратит больше, чем зараба-

тывает. Не то чтобы лет мне так уж много — семьдесят первый годок еще не стукнул,— но я ноги на войне поморозил, слабые они у меня, плохо держат. Доктор сказал, что у меня развинтились коленные чашечки, вот и не держат. В войну отморозил, а сейчас это сказывается. Надо бы новые чашечки ввинтить, нет другого средства, только таких искусственных чашечек еще не придумали. Искусственные суставы придумали, а вот чашечки — нет.

Ну ладно бы с коленями и с ногами — началось и с желудком. Что ни съешь — тяжесть внутри, словно камень проглотил. Положили меня в больницу — ничего не находят. Врачи только переглядываются. Да еще требуют с меня что ни день: «Дай кровь!», «Дай мочу». И то им дай, и это. А у меня все болит и болит. А за той болью другая пожаловала: приехали однажды сын и сноха — будто бы меня проведать. Обрадовался я им, пригласил сесть, сели они у меня на кровати, а сноха — прямо из кожи вон лезет, такая любезная: и как я себя чувствую, и не подложить ли мне подушку поудобнее, а сын все в пол смотрит. Наконец поборол свой стыд и говорит, что хотели они купить новую машину, да не хватает им трех тысяч левов. Как сказал «три», жена его перебила и говорит, что тремя вряд ли обойдутся — машины сейчас подорожали. И начала после этого мне объяснять, что нет смысла держать деньги на книжке — придется потом платить большой налог на наследство.

Понял я, зачем они ко мне пришли, прогнал их, но скоро жена моя появилась, и уже с адвокатом — требует, чтобы мы наш дом на другой поменяли, тогда, мол, она получит законное право на свою долю... Если со мной что случится...

Сколько лет мы прожили с женой вместе... И может ведь такое прийти в голову, когда ты при смерти.

Опустошили эти люди мое сердце, и сказал я себе: «Ну и пускай помру! Для кого жить-то?» — и перестал принимать лекарства. Тогда врачи меня выписали и отправили домой доживать. Дали мне с собой прорву порошков и ампул... Отдал я ампулы ветеринару, и он сделал инъекцию собаке, чтобы выглядела здоровой, а то сторожа подстрелят.

И начал я помирать. Пока однажды вдруг не спохватился: «Да зачем же мне загодя сдаваться? Да лучше я встану и сам пропью и проем свои деньги, чем дарить их разным дармоедам». И вот научила меня одна соседка ягоды терновника сосать. Они кислые, терпкие, но — хочешь верь, хочешь нет — подняли они меня на ноги. Встал я — и опять к своим овцам. Сызнова пасу их, не смотрю даже, где можно, где нельзя. А лесничий считал меня приговоренным и не трогал, хотя и был строг по этой части. «Паси, говорит, дядя Янаки, где хочешь. И тебе уж жить недолго осталось, да и мне вот-вот на пенсию...» На хороших пастбищах овцы откормились, порезвели, еле поспевал за ними. Пробовал найти подпаска, да кто из молодых согласится сейчас овец пасти? Задразнят... Хорошо, что парнишка Морчева с бригадиром подрался, прогнали его, вот и пришел ко мне... Восемьдесят левов я ему положил за одну только дойку, руки мои одеревенели от ревматизма, не могу уже сам доить. Я бы ему еще тридцать левов добавил, но только понял, что из него овчара не выйдет. Как хватит овцу — в руках половина шерсти остается. Привык железо ворочать и не понимает, что у овцы тоже душа есть. Ну, с этим ладно. Но однажды почувствовал я, когда ел, что молоко чем-то пахнет, да не пойму чем. На другой день — то же самое. Говорю себе: «Трава, что ли, от химических удобрений испортилась или еще что случилось?» И лишь на четвертый день понял я, что дело не в траве, а в подпаске моем. Застал я его, когда он цедил надоенное молоко через какую-то тряпку, глянул, а это — майка. Снял свою майку и цедит.

— Зачем ты,— говорю,— так делаешь? Цедишь молоко через майку?

— А что,— отвечает,— ничего ей не будет, майке.

— Майке — ничего, молоку — будет. Хорошо ли молоко, если пахнет оно твоей майкой. И не стыдно тебе?

Сказал я ему это, а он твердолобый, ему все трын-трава, прогнал я его тогда и сыну передал, чтобы вернулся, иначе конец овцеводству, но сын не явился. Так и пропали мои овцы. Пришел я домой вроде бы на заслуженный отдых, а такой получился отдых, что не приведи господь: ходишь по двору как неприкаянный, ляжешь-полежишь, ошалеешь от лежанья, опять встанешь, подвернешься жене под ноги — выругает тебя. Опять же и по овцам скучаешь. Собака в доме воет, и она по овцам тоскует, жена гонит ее со двора, а она — обратно. До того переругались мы с моей женой, что подзываю я однажды Минчо Фельдшера.

— Дай,— говорю,— мне яду, не хочу больше жить на свете.

А он говорит:

— Постыдился бы! Рак тебя испугался, а ты яду просишь. Ты работать привык, потому тебе пусто и тошно. Возьмись за какое-нибудь дело и оклемаешься.

Засеял я тогда овсом поле в Медвежьем доле. Вырос овес по пояс, любо-дорого смотреть, да пронюхали об этом дикие свиньи. Что тут будешь делать?! Из ружья стрелять нельзя: участок наш входит в охотничий заповедник, какая уж тут стрельба. А эти бесстыжие поросята чувствуют, что они под защитой государства, и не уходят... Отойдут только чуть-чуть и глядят, ощерившись.

Придумал я тогда сделать что-то вроде пугала. Взял два пустых цинковых бочонка от бензина и повесил на обоих концах своего поля, чтоб они качались. Изнутри я нацепил на них звоночки и колокольца и так их приладил, что, едва дернешь за веревку, они ударятся о стенку бочонка, и пойдет такая симфония, что медведи деру дадут, не только поросята. И собаку еще привязал на краю поля — пусть и она поддает жару.

Дикие свиньи сначала убегали, а потом привыкли, проклятые, и не только перестали бояться звона и лая, но еще и на собаку нападать начали. Два раза бросались на нее, и оба раза я отгонял их дубиной, а на третий — это когда я спустился в овраг за водой — накинулись на нее и разорвали в клочья.

Остался я один: днем сплю через пень-колоду, а ночью бодрствую и слушаю, а как начнут потрескивать сухие веточки в кустарнике, раскачиваю бочки, чтобы свиней напугать,— и тут дело уже дошло до егеря. Является он однажды и давай меня ругать.

— Убирай,— говорит,— свои чертовы бочки отсюда, они дичь пугают, а то составлю акт. Позавчера,— говорит,— медведица своего медвежонка заела на нервной почве. И все из-за твоих бочек.

— Акт,— говорю,— ты составить можешь, а бочонков моих не трогай. Я сам сеял этот овес и имею право его стеречь, а медведицам своим давай глотать валерьянку.

Больше егерь не приходил, да пришла другая беда: дернул я както за веревку и чувствую, что она не натянута. Отрезали, значит. Подхожу к бочонку и что я вижу? Ни одного звоночка — все сняты. Сперва я подумал, что тут поработал егерь, но потом догадался, что это туристы. Проходили мимо, услышали мою симфонию, дождались, когда я в овраг за водой пойду,— и готово дело... Челебиева сноха видела, как один звонком моим похвалялся. Сейчас мода пошла делать в домах уголки под старину и увешивать стены звоночками. Я попросил уполномоченного сообщить в милицию, но он меня высмеял.

— Чего вздумал,— говорит,— подымать шум из-за двух ржавых погремушек. Наше село,— говорит,— развивается как курортный поселок, нельзя отпугивать туристов таким отношением.

Понял я тогда, что на мой овес всем наплевать.

Словом, колочу теперь по своим бочкам палкой, отбиваюсь от ка-

банов, но все это ненадолго. Кто знает, сколько времени они будут бояться палки. Однажды три кабана сунулись в овес, пробрались через все поле, остановились внизу, а потом обернулись и давай пялиться на меня налитыми кровью глазами.

Тогда я перенес один бочонок под дуб и, когда стучу, прислоняюсь к дубу спиной, чтобы они не напали на меня сзади,— я ведь чувствую, что они хотят меня прикончить, как и моего пса.

А из дому жена прислала весть: «Приходи. Молодые у нас». Явились, значит, в гости.

Но я-то догадываюсь, зачем они меня ищут. Им нужны деньги с книжки. Сноха сказала моей жене: «Дед болен, и неизвестно, что с ним дальше будет, пусть возьмет деньги из сберкассы, чтобы мы не платили потом государству за право наследования». Уж больно дорого это...

«Дорого ли, дешево,— думаю,— денег не дам. Кто хочет жить, пускай сам наживает».

Да разве им втолкуешь? Тот, кто овчаром родился, в городе торчит, а городские сюда приходят, учат нас, как пахать и сеять. Заставляют пчел давать уксус, а муравьев — мед, потому и мед подчас кислый, а уксус — сладкий.

Это я только тебе говорю, жене я в этот раз ничего такого не сказал. Передал, что не могу оставить овес свиньям и что вернусь тотчас после жатвы, если жив буду. Потому что сам не знаю, что мне подстроят кабаны. Сидят они сейчас наверху в роще и просят своего свинячьего бога: «Сделай, боже, так, чтобы этот старый хрыч убрался отсюда. Возьми его, боже, к себе, а с овсом мы и сами управимся». Им и в голову не приходит, что, не будь меня, не было бы и овса. Свинья — она и есть свинья: не думает, что посеять, а думает, что слопать. Поэтому в один прекрасный день они накинутся на меня, и загремлю я в овраг со своим бочонком. Услышишь, как что-то катится и гремит,— так и знай, что это отошел в лучший мир твой дядя Янаки, последний овчар и сеятель овса.

Голуби в небе

Земляки мои по целым неделям не бреются, а про стрижку и говорить нечего. За это время их волосы отрастают, сваливаются, превращаясь в дикие заросли, способные устрашить любого парикмахера. К счастью, наш деревенский брадобрей, бай Иван,— человек, которого ничем не напугаешь. Сначала он осмотрит бороду со всех сторон и только тогда начнет работать. Интересно наблюдать, как из-под щетины, не ведавшей бритвы месяц-другой, начинают вырисовываться скулы, подбородок, лоб, щеки, пока не откроется, наконец, и все лицо, на удивление главным образом самому клиенту. В заключение бай Иван побрызгает его одеколоном и отпустит обновленным и помолодевшим.

Что касается плешивых, то с ними у бай Ивана вдвое, а то и втрое больше забот. Сколько у них волос ни осталось — все используются до последнего. Ни единого волоса бай Иван у такого никогда не срежет. Он перекинет его через темя один, два, три раза, пока не скроет плешь. Чтобы прическа подольше держалась, он спрыскивает приведенные в порядок волосы оливковым маслом, смешанным с какой-то травкой, и они твердеют, и человек может спокойно ходить с прикрытым теменем весь день, а то и больше.

Бритье у бай Ивана происходит в абсолютной тишине. Обычно парикмахеры, пока бреют, говорят о футбольных матчах — с нашим такого не случается. О себе он никогда ни слова не проронит — только и знаем, что он по собственному желанию покинул город, чтобы поселиться в деревне. А была ли у него семья, жена, дети — никому

неведомо. Прошел как-то слух, будто он влюбился в одну молоденькую парикмахершу и потому уехал из города. Утверждали также, что он решил сменить город на деревню, чтобы поправить свое здоровье. Но сам бай Иван ничего об этом не рассказывал. Говорил он охотно только об одном — о петухах.

Он первый обратил наше внимание на то, что сегодняшние петухи не только не кукарекают, но и ведут себя вовсе не как петухи. И верно, толстые, какие-то заплывшие, они сторонятся кур, сидят с опущенными головами, а найдут зернышко — не созывают кур, а подленько съедают его сами. Залезет такой на курицу в кои-то веки, да и то безо всякой охоты. А в былые времена петухи дрались, не сидели смирно. Как сцепятся — такое побоище тут начнется: и клюют друг друга, и перья выдирают, и пух вокруг носится, пока более слабый не отступит и поле битвы не останется за победителем.

А кукареканье на заре?! Первые, вторые, третьи петухи! Один как прокукарекает — все село греметь начнет. И каждый отзовется своим, особым голосом, чтобы подсказать крестьянину, что на работу пора идти. Петух тогда был фигурой, он украшал жизнь, озвучивал ее. А сегодняшние не кукарекают. Вот бай Иван и поставил вопрос: нельзя ли раздобыть кукарекающих петухов? А когда Гочо Поряза спросил: «А зачем?» — бай Иван ответил, что он тишины не переносит, угнетает она его.

И действительно, в селе ночью невыносимо тихо. Ни коров, ни телят, ни овец. Ни замычать, ни в стенку сарая ткнуться некому. Ни почесаться, чтобы звонок звякнул. А когда еще и петухи не кукарекают, тишина становится поистине зловещей.

В результате всех разговоров была принята идея бай Ивана доставить в село настоящего кукарекающего петуха. Принесли такого из Писаницы. Несколько ночей он оглашал село и за «первых», и за «вторых», и за «третьих» петухов, потом начал объявляться только за «вторых», потом только за «третьих» и, наконец, совсем умолк. Наши отказались его поддерживать.

Однажды, вскоре после неудачного опыта с петухами, бай Иван закрыл парикмахерскую точно в обеденное время и исчез. Под вечер видели, как он возвращался из Руенского леса. Он тащил три жерди, связанные веревкой.

Утром он начал копать яму посреди деревенской площади — напротив парикмахерской, а через три дня, никому ничего не объясняя, воздвиг на этом месте трехногую пирамиду, а наверху водрузил пять деревянных клеток. И тогда только сказал, что это будет голубятня. Принес он и голубей. Сначала было два, потом стало четыре. Они высиживали яйца, а он кормил их и защищал от кошек. В конце лета была уже целая стая, голуби летали над селом, садились на церковную крышу и там чистили свои перышки. А весной как загукали эти голуби — все село зазвенело! Самцы ухаживали за самками: причесывали их клювами, чистили им ожерелья на шейках, щекотали их под крылышками и ненасытно ворковали.

Бай Иван и другие крестьяне, постоянно проводившие время на скамье возле церкви, смотрели на влюбленных и внимательно следили за их ухаживанием. Окрестили голубей: Чурка, Вида, Бабулка, Косю и разговаривали с ними, как с людьми. Обсуждали и гадали, «приобщатся» ли Чурка и Вида (бай Иван говорил не «спаривание», а «приобщение»), два или три яйца снесет Бабулка, и чего не поделили вчера вечером Косю и Венец, и помирятся ли опять Митра и Ходжа. А едва птенцы подрастут и начнут родители учить их летать, старики не подымаются со скамейки и глаз не сводят с голубей.

Однажды Поряза сказал:

— Честь и хвала бай Ивану. Из-за этих голубей глядишь уже не вниз, а вверх... Когда смотришь вверх, в небо, и мысли другие в го-

лову приходят... Не то что роешь землю глазами и считаешь про себя, когда там окажешься.

Вскоре после того бай Иван умер. Сказав Порязе, что у него болит живот, сел на попутный грузовик — мимо нас возят древесину из леса — и уехал в город. Через некоторое время его привезли обратно — после операции он вроде бы поправился.

Это было в апреле, голуби уже оживились, они летали и ворковали вовсю. Бай Иван вернулся в пятницу, а в воскресенье его не стало. Поряза нашел его стоящим на коленях у окна, он умер, глядя на летающих голубей.

И сейчас, когда я вижу в свое окно, как голуби бай Ивана взлетают и ныряют в посеревшем осеннем небе, я думаю, что мир стал бы действительно красивее и приятнее, если бы каждый из нас оставлял в нем что-нибудь после себя, подобно тому как наш сельский брадобрей оставил в нашем сиротливом деревенском небе своих голубей.

Перед закатом

Тени деревьев вдруг удлиняются, и в лесу наступает тот прощальный предвечерний час, когда солнце клонится к закату.

Невидимый дятел постукивает по невидимой двери. А может быть, это ночь стучится в двери дня. Скрытая за сосновыми ветвями белка сыплет на землю чешуйки от шишки и причмокивает. Скрипят кусты можжевельника, раскачиваемые ветром, словно враждующие братья, вцепившиеся друг другу в волосы, скрежещут зубами.

Но что это? Воздух дрожит? Нет! Это мошкара. Мельчайшие мошки свиваются в облачка и катятся по воздуху с тонюсеньким-претонюсеньким, неуловимым звеньканьем, которое делает тишину еще более тихой.

Куда они катятся? Кто привел их в движение? И как получается, что этот клубок несется как одно целое и ни одна мошка не остановится, чтобы подумать, какую дорогу ей выбрать, когда и куда свернуть.

Летит клубок, словно им движет тончайший звенящий звук с помощью электронно-вычислительной машинки, заложенной в каждую из этих микроскопических мошек.

Пролетит облачко, а звеньканье еще слышится. И вообще, что это за беспокойное облачко? Может быть, в нем ведутся любовные игры? Может быть, оно защищается от кого-то? Или само нападает? Или это экспедиция, ощупывающая воздух в поисках своей Колхиды? ...А может быть, это просто созвездие, летящее по необъятным просторам вселенной? Свободная молекула, сбросившая цепи земного притяжения, чтобы доказать неистощимую силу одухотворенной материи?

...Пролетит облачко, а звеньканье остается и носится в воздухе, как звучащая загадка, как мелодичный вопросительный знак.

Кизил и ломонос

Кто раньше появился на свет — кизил или ломонос, я не знаю. Может быть, даже сначала появился кизил, но он растет очень медленно, так что у ломоноса было время догнать его и оплести своими прочными, как канаты, стеблями.

Ну и опутал же он его! Накинул ему на шею петлю, затянул потуже, чтобы укротить его, но не посмел задушить совсем, потому что знает: только живой кизил может помочь ему выбраться на простор.

Кизил пытался освободиться, изгибался в разные стороны, вверх, вниз, но от этого лишь больше кривился. А ломонос, затягивая петлю,

сделал еще вдобавок сверху площадку для снега, чтобы с поздней осени до ранней весны кизил задыхался под его тяжестью.

И все-таки кизил пока еще держится. Не сломался. Правда, пришлось ему, бедняге, стать на колени. Ветви его изогнулись книзу, но как только достигли земли, почувствовали могильный дух и резко повернули обратно,— вот и кажется сейчас, будто кизил на коленях. Попробовал было подняться на локтях, но сил не хватило, вот в таком положении и остался.

Ломонос почувствовал, что кизил хочет от него ускользнуть, и надавил на него всей своей силой, и от этого на стволе кизила появились узлы и шишки. Узел к узлу, шишка к шишке, скрюченные, сбитые, чтобы выдержать непосильное бремя. Шишки, в которых собраны гнев, угрозы и священная страсть — стремление к солнцу.

И должна же была случиться такая беда именно с ним, с кизилом, поклонником света! Именно его, который так любит солнце, ломонос обрекает на вечный мрак...

Впрочем, вечный ли? Этой весной кизил, и не поймешь даже как, нашел щелочку и просунул в нее свой побег. Улучил минутку, пока ломонос спал, и выбросил вверх свою верхушку. И она зацвела, радуясь, что наконец вырвется в небесный простор и в один прекрасный день ударит ломоноса с такой силой, что развеет его в пух и прах.

Ломонос, еще совсем сонный, скованный зимней дремотой, не может и шевельнуться — где ему тут обуздать вырвавшийся на свободу кизил...

Смотрит он на него и сереет от злобы и страха, потому что знает: пленник на свободе. Близится расплата.

Гости на даче

Они явились нежданно-негаданно: послышались голоса, и сразу же хлопнула калитка во дворе. Она из тонкого железа, легко прогибается и при каждом движении громко докладывает, что кто-то входит или выходит.

Я поднялся из-за своего стола и увидел в окно, что по двору тянется пестрая вереница, душ десять — мужчины, женщины, дети. Они были с рюкзаками — шли по дороге с турбазы...

— Это дача писателя? — спросил один из мужчин, оглядываясь по сторонам.— Маловата вроде.

Он шел впереди и, по-видимому, был руководителем группы. В руках он держал только что срезанную сосновую ветку и показывал ею на крышу.

— И громоотвод есть!

— Какая лужайка! — восхищалась женщина в пестром платке.— Тут просто восхитительно!

Еще пять-шесть шагов — и они окажутся на верхнем дворе. На мне были домашние брюки, тапочки на босу ногу, старая клетчатая рубашка, которую я очень люблю. Таким «расхристанным» мне не хотелось показываться на людях, но времени на переодевание не было, и хочешь не хочешь я вышел навстречу гостям в чем был.

Мы столкнулись у верхней калитки: я собрался ее отворить, но они вошли и без моей помощи.

— Это дача писателя? — спросила женщина в платке.— А он сейчас дома?

По бесхитростному выражению ее лица я понял, что ей и в голову не приходит, что хозяин тут я, то есть писатель, которого они хотели видеть, и я решил не разочаровывать ее. Я сказал, что писатель только что вышел прогуляться. Жребий, как говорится, был брошен.

— Скажите, можно ли нам осмотреть двор? — спросил руководитель со свежесрезанной сосновой веткой.

— Пожалуйста! Заходите!

Группа вошла: трое мужчин, шесть женщин, трое детей. Кроме палки у руководителя был фотоаппарат. Выглядел руководитель лет на тридцать пять, был в коротких брюках. Животик его уже округлился, пухлые белые ноги были покрыты рыжими волосами. Он заглянул через окно в дом и сказал:

— Писатель работает в этой комнате?

В окно был виден мой стол с пишущей машинкой. С машинки свешивался недописанный лист. Все подошли к окну и с любопытством заглянули в писательскую «святая святых».

— Этот дом реставрирован? — поинтересовалась женщина в клетчатом платке, взглянув на кровлю.

Я почувствовал, что нанесу ей удар, если скажу, что дом не только не реставрировался, но вообще не имеет ничего общего с домом, где родился писатель, поэтому ответил утвердительно и даже повторил:

— Да, да! Дом реставрирован.

— А он тут и родился?

— Конечно... Конечно!..— продолжал я в том же духе, все больше входя в роль экскурсовода.

— А можно нам взглянуть на его письменный стол? — спросила белокурая девочка, по-видимому школьница.

Я пригласил их войти в комнату, и они, вероятно, очень удивились, увидев, что письменным столом служила доска, прикрепленная к подоконнику. Белокурая девочка подошла к машинке и стала читать про себя недописанную страницу...

— Какое слово интересное! «Хрюкать»! — подозвала она женщину в клетчатом платке.

— Совсем недавно кто-то стучал на машинке,— сообразил руководитель группы.— Это вы печатали?

— Да, я перепечатывал то, что он написал.

Все обернулись ко мне, оглядели меня повнимательнее и уже с бóльшим уважением.

— Надо запомнить это слово! — сказала белокурая девочка и дотронулась сначала до машинки, а потом до лежащей рядом коробки для сигар.

— Он курит сигары? — спросил руководитель, взял коробку и стал ее изучать.

В коробке были скрепки, но он, слава богу, ее не открыл, а осторожно поставил на место. На лице его отразилось «дополнительное» уважение к владельцу сигар. Да и всю компанию привела, по-видимому, в восторг металлическая коробка с вензелем фирмы. Молчаливая молодая женщина с «конским хвостом» и в канареечной блузке подошла поближе, но не взяла коробку, а только наклонилась и шепнула женщине в клетчатом платке:

— Голландские!

Женщина в клетчатом платке разглядывала в это время икону «Святого Георгия», стоявшую на этажерке с книгами. Столпились вокруг нее и остальные, несколько смущенные самим фактом наличия иконы в доме писателя.

— Он что, верующий? — руководитель был озадачен не меньше, чем остальные.

— Эта икона — произведение искусства! — сказала вдруг смуглая женщина с «конским хвостом».

— Да, это произведение искусства! — поддержали ее остальные.

Осмотр комнаты был закончен. Мы прошли в другую...

— Мама, мама, козий рог! — один из мальчиков заметил стоящий на камине козий рог и показал его молодой женщине в спортивной

куртке (у женщины был такой же, как у мальчика, курносый и веснушчатый носик).

Вся группа собралась около камина посмотреть на козий рог.

— Можно его потрогать? — спросил мальчик и дотронулся до рога так осторожно, словно мог обжечься.

— Им убивали турок? — подошел другой мальчик с круглой, как черешня, рыжеволосой головой.

— Ну конечно,— ответила мать.— Писатель же не выдумал это... Помните кинофильм «Козий рог»?

— Помним, помним! — закричали дети в один голос.

— Вот он, уголок старого быта! — воскликнула женщина в клетчатом платке, осматривая камин.— Он настоящий? — спросила она меня и, не дожидаясь ответа, наклонилась, чтобы выяснить, есть ли у камина дымоход.— И мы тоже сделаем так у себя дома. Только в подвале. Будет очень эффектно... И покроем его целлофаном. Будет очень эффектно!..— повторила она, очевидно, разочарованная моим самым обыкновенным, к тому же действующим, камином, в пепле и саже.

— А тут у вас есть какие-нибудь старинные вещи? — задала вопрос белокурая школьница.

— Ну вот, например,— я показал на деревянный стул.— И вот! — Я взял деревянную ступку, в которой толкут чеснок.— Этой ступке триста лет! — Я уже почти вжился в роль экскурсовода.

— А откуда вы знаете, что триста лет? — усомнилась смуглая молодая женщина с «конским хвостом».

— Ее исследовали с помощью радия.

Удивление гостей нарастало.

— Трехсотлетняя ступка! — стала ее ощупывать женщина с «конским хвостом», взволнованная тем, что касается такого древнего, можно сказать, исторического предмета. Интерес к писателю возрастал с каждым новым пояснением...

— А он скоро вернется домой,— спросила меня курносая мамаша,— писатель ваш?

— Он возвращается обычно к половине второго,— я глянул на свои часы, сообразив, что сейчас полдвенадцатого и группа вряд ли станет ждать целых два часа.

— Жалко,— вздохнул «конский хвост», выражая общие чувства.

— А кто ему готовит? — неожиданно спросила женщина, которая собиралась делать себе целлофановый камин.

— Я! Я готовлю ему и печатаю на машинке! — Я держался со все большей храбростью и дерзостью.

— А охрана тут есть? — вдруг спросил руководитель.

— Есть,— соврал я тоже с ходу.— Только с восьми часов вечера.

Если бы я сообщил, что писатель только что получил Нобелевскую премию, это произвело бы на моих гостей меньшее впечатление, чем то, что дача охраняется. Минуту-другую все смотрели на меня с острейшим интересом, перерастающим в нескрываемое уважение и восхищение. Дачи, подобные моей, они, конечно, видели, но охраняемая дача — это уж нечто совсем иное...

Даже сам я, незаметно для себя, ощутил гордость от того, что моя дача охраняется.

После довольно долгой паузы мужчина со свежесрезанной сосновой веткой сказал, но уже с другой ноткой в голосе (мне показалось — ноткой зависти):

— Значит... он тут один?!

Я подтвердил, что один. Осуждающий взгляд блеснул за очками руководителя:

— Так он не женат?

— Женат.

Руководитель помолчал, посмотрел на меня с недоверием и проговорил:

— Но как же жена оставляет его одного? Я этого не могу понять.

— Так от кого же его стеречь? Тут нет женщин! — попытался я рассеять возникшие подозрения.

— А туристки разве сюда не заглядывают? — спросил клетчатый платок, и глаза под платком загорелись дьявольским огнем.

— Они заглядывают, но именно — только заглядывают.

— А сколько ему лет? — вступила в разговор женщина с прямыми волосами и строгим лицом учительницы.

— Около пятидесяти,— скинул я лет пять с истинного возраста писателя.

— Так он же совсем еще молодой! — воскликнула женщина, которая раньше заступилась за писателя, заявив, что икона — это произведение искусства.

— Ну да! Конечно, молодой! — произнес самый старший мужчина в группе, до сих пор молчавший, и пригладил свои поседевшие, но все еще вьющиеся волосы.

— Красивое место! — вздохнул руководитель, поглядев вниз, на лужайку. (Мы уже вышли во двор, и группа осматривала окрестность.) — А почему бы нам не сняться здесь? Становитесь, товарищи! — помахал он рукой, влез на один из камней и еще раз помахал: — Поплотнее, товарищи, и побыстрей.

Группа выстроилась во дворе, как обычно выстраиваются люди, чтобы сфотографироваться: передние спокойно смотрят в аппарат, а задние вытягивают шеи, чтобы на снимке вышли хотя бы головы.

— Товарищ сторож! Войдите, пожалуйста, в кадр... Да, да, вы тоже,— пригласил меня руководитель.

— А можно мне взять фуражку? — попросил я, подумав, что солнце будет бить мне в глаза и лицо сморщится.

Я надел свою морскую фуражку и встал на правом фланге.

— Присядьте, пожалуйста, на корточки,— попросил фотограф.

Я присел на корточки перед двумя мальчуганами.

— Это ваша форма? — спросила меня белокурая девочка, заинтересовавшись моей морской фуражкой.

— Да, это моя форма.

— А куртка где?

— Куртку я отдал погладить.

Команда «Внимание!» Аппарат щелкнул. Люди зашевелились.

— Ну, теперь пошли! — скомандовал руководитель.

— А он по какой дороге возвращается? — подошел ко мне «конский хвост».

— Вот по этой...— объяснил я, показывая на дорогу к турбазе.

— А мы можем его встретить?

— Навряд ли,— попытался я сказать правду, но, заметив разочарование на лице молодой женщины, поправился: — В сущности, это вполне возможно, если не собьетесь с дороги...

— Вот с этой? — захотела увериться женщина.

— Да, с этой самой!

Экскурсанты тронулись в путь. Белокурая девочка оглянулась:

— А как же мы его узнаем?

— Он голый до пояса... В соломенной шляпе...

— Хоть бы встретить его! — оживилась учительница со строгим лицом, что заставило самого старшего в группе посмотреть на нее чуть ли не с ревностью.

— Это будет блеск,— сказала школьница из Ямбола («Ямбол» было написано на ее нарукавной нашивке).

— Я его сфотографирую,— заявил руководитель с аппаратом.— Да, а у вас тут нет книги для посетителей, чтобы мы расписались? — вдруг вспомнил он.

— Книги нет. Но я ему скажу, чтобы он завел...

— А он женат? — спросила женщина в клетчатом платке, когда была уже посередине наружной лестницы.

— Я же вам говорил — женат.

— А жена его не артистка? — спросила школьница из Ямбола, убежденная, что писатель должен быть женат только на артистке.

Я не решился возражать. Сказал просто, что не знаю точно, кто его жена.

— Но бывают же здесь иногда артистки? — спросил меня тихо руководитель.

Я кивнул утвердительно, взглядом давая ему понять, что мне не очень удобно касаться этого вопроса.

Руководитель кивнул в ответ,— дескать, понял — и подмигнул, очень довольный тем, что получил ожидаемую информацию.

Смуглая молодая женщина, которая стала невольной свидетельницей нашего молчаливого разговора, покраснела.

— Извините,— обратилась она ко мне, немножко отстав от остальных,— вы не уточните все же, как он выглядит?

— Приблизительно как я... В общем, несколько выше...— поправился я, прочтя в ее глазах легкое разочарование.

— А глаза у него какие?

— Синие,— решительно заявил я, уверенный, что это ей подходит, и не ошибся: она так покраснела, как будто синеокий писатель был уже перед ней...

— Благодарю вас... Спасибо...

— До свидания, товарищ сторож! — воскликнули несколько человек, когда были уже за калиткой.— Скажите писателю, что приходила группа его читателей...

— Хорошо, скажу... А вы мне пришлете фотографию? — спросил я.

— Обязательно. И когда пришлем, покажите ее писателю,— прокричал руководитель группы и повел свою пеструю команду по дороге к турбазе.

На повороте они помахали мне и скрылись из виду.

Какое счастье, что писатель оказался на прогулке!..

Ах, какое счастье — и для него, и для них!

■

ВИКТОРОВ ВИКТОР ИЕЗЕКИИЛЕВИЧ (род. в 1925 г.).

Советский поэт и переводчик. Автор ряда поэтических книг для детей, в том числе «Волшебная палочка», «Переполох» и др. В его переводе с болгарского опубликованы повести Ив. Милчева «Мое далекое детство», В. Райнова «Бразильская мелодия» и др.

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА

ЛОПЕ ДЕ АГИРРЕ, КНЯЗЬ СВОБОДЫ

РОМАН

Перевод с испанского Л. СИНЯНСКОЙ

Статую Лопе де Агирре утаивают за музейными стенами на острове Маргарита, что дивным садом зеленеет в синеве Карибского моря неподалеку от обожженных солнцем гористых берегов Венесуэлы.

О статуе, не увидевшей площадей и улиц, еще несколько лет назад сказал нам, советским литераторам, сопровождавший нас в поездке по острову местный поэт, знакомя с прошлым своей маленькой родины, овеянным многими преданиями. О судьбе упрятанной статуи не так давно говорил и Мигель Отеро Сильва, выступая на специальной сессии Венесуэльской академии языка, посвященной обсуждению романа «Лопе де Агирре, Князь Свободы».

Почему же скрыт скульптурный портрет знаменитого испанского конкистадора, доплывшего до этого острова после долгих и трагичных скитаний по новым владениям королевства Испании спустя всего лишь каких-то семь десятков лет, прошедших с того дня, когда Колумб открыл Америку, а позже и остров Маргарита?

Имя Лопе де Агирре более четырех веков назад прогремело над землями нынешних Венесуэлы, Панамы, Колумбии, современного Перу. Но слава за ним тянулась мрачная, зловещая. Сотня исторических трудов, немало художественных произведений в разных жанрах, не считая всевозможных легенд и мифов, неизменно утверждали, что де Агирре был лишь тираном (под таким прозвищем вошел он в историю Испании, в хроники Латинской Америки. Кстати, на том же острове Маргарита нам показывали место его высадки в 1561 году, поныне называемое Эль Тирано, хотя столь грозное наименование совсем не подходит к живописному и мирному селению рыбаков). Кровожадный маньяк, беспощадный убийца, презренный отступник, демон в человечьем обличье... не перечесть всех клеймящих, уничтожающих эпитетов, которыми награждали Лопе де Агирре при жизни, которые преследуют его и после гибели в венесуэльском городе Баркисимето.

Чем же вызвано до такой степени однозначное отношение к человеку, в молодости пересекшему с севера на юг всю Испанию, чтобы вместе с другими соотечественниками, отправлявшимися на поиски счастья, а то и наживы, а то и новых завоеваний, пуститься в нелегкий путь через океан к малоизведанному, загадочному, но неодолимо манившему к себе Новому Свету, когда, по выражению Маркса, «пылкое воображение иберийцев ослепляли блестящие видения Эльдорадо, рыцарских подвигов и всемирной монархии» [1].

О всемирной монархии двадцатилетний баск из не слишком-то примечательного городка Оньяте в наименьшей испанской провинции Гипускоа — даже в наши дни на-

© Miguel Otero Silva, 1979.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 10, с. 431.

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА — MIGUEL OTERO SILVA (род. в 1908 г.).

Венесуэльский романист, поэт, эссеист. Лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», а также национальных литературных премий Венесуэлы. Академик.

Творчество М. Отеро Сильвы знакомо советским читателям по переведенным на русский язык его романам' «Лихорадка». «Мертвые дома», «Город в саванне», «Пятеро, которые молчали» («ИЛ», 1965, № 3), «Когда хочется плакать, не плачу» («ИЛ», 1972, № 7). В «ИЛ» печатались фрагменты поэмы «Моя жизнь течет в море» (1969, № 10). Роман «Лопе де Агирре. Князь Свободы» («Lope de Aguirre, Principe de la Libertad») печатается по изданию «Seix Barral. S.A.», Barcelona, 1979.

считывающего немногим более десяти тысяч жителей,— очевидно, не помышлял: в скудном отчем доме пределом мечтаний действительно могла быть работа табунщиком или гвоздарем. Волею случая он стал конкистадором, однако рыцарские доспехи не сковали его природный ум, его непреклонную волю.

За время пребывания в «Индиях», как тогда наименовали открытые заморские колонии, довелось ему всего испытать, многое узнать. Окунувшись в водоворот событий в самый разгар колониальной экспансии Испании на латиноамериканских землях, Лопе де Агирре стал свидетелем, да и участником чудовищных преступлений, творимых наместниками короля, конкистадорами, монахами во имя величия испанской империи и ради собственных корыстных интересов. Узнанное заставило Лопе де Агирре, не забывавшего о своем происхождении, принять для той эпохи развития и укрепления абсолютизма невероятно дерзкое решение: порвать с испанской короной, объявить войну Филиппу II, королю Испании и ее владений в Европе и Америке. Своей целью Лопе де Агирре выдвинул завоевание независимости Перу и других латиноамериканских колоний. Для достижения цели он возглавил поход в Эльдорадо, в «королевство Омагуас», хотя сам не только не искал личного обогащения, но и не верил в существование таких вымышленных стран сказочных сокровищ (племя индейцев омагуас в ту пору обитало и поныне обитает у восточных отрогов перуанских и колумбийских Анд; о месторасположении Эльдорадо не было и нет совпадающих мнений).

Своих соратников Лопе де Агирре стал называть мараньонцами, чтобы утвердить их отличие от сторонников испанского короля (по предположениям латиноамериканских историков, Лопе де Агирре, как и его современник, конкистадор Франсиско Орельяна, решил именовать верхнее течение Амазонки, несущее воды через непроходимые дебри, Мараньоном: по-испански maraña — чаща, густые заросли). Отталкиваясь от введенного Лопе де Агирре почти что этнонимического обозначения — не испанцы и не индейцы,— некоторые исследователи допускают, что он первым таким образом высказался за обособленное формирование наций в Латинской Америке, которая так еще не называлась, равно как не употреблялось слово «латиноамериканец». У Энгельса, затронувшего проблему индейских народов, читаем: «...испанское завоевание оборвало всякое дальнейшее самостоятельное их развитие» [1].

Спрашивается, почему родилась «черная легенда» о Лопе де Агирре, лишь односторонне его изображавшая. Вначале ее пустили в ход бывшие соратники, предавшие де Агирре в роковой час, пытавшиеся обелить себя в глазах представителей королевской власти, говорил Мигель Отеро Сильва, затем ее подхватили и раздули церковники, монахи-миссионеры, вымещая Лопе за его антиклерикальные обличения, за его меры против агентов короля в монашеских сутанах. Позднее «черная легенда» перекочевала в официальные учебники истории, заняла в них довольно прочное место, продолжая жить, как видим, века. Под воздействие этой «черной легенды» подпали и отдельные писатели, повторяя в художественных произведениях ставший уже традиционным образ Лопе де Агирре.

Выступая перед членами Венесуэльской академии языка, академик Мигель Отеро Сильва сообщил:

«Роман под названием «Лопе де Агирре, Князь Свободы» я писал не для того, чтобы, следуя некой модной у нас литературной тенденции, оправдывать чудовищ, возносить антигероев, отвратительное превращать в возвышенное... Это не относится к моей последней книге. Истина заключается в том, что своего Лопе де Агирре я писал после многих лет исследований и размышлений, движимый главным образом духом справедливости, тем же самым духом справедливости, который направлял меня создавать все мои предыдущие произведения. Разница лишь в том, что ранее к литературному творчеству я прибегал, чтобы изобличать мир неправоты и произвола нашего времени и системы, в которой мы живем, тогда как, работая над «Лопе де Агирре», я посвятил себя раскопкам подвалов латиноамериканского XVI века в желании выявить правду, восстановить подлинность того образа, который, по моему убеждению, был деформирован, оклеветан и втоптан в грязь историками, поэтами и романистами... В своей книге я не утверждаю и сейчас не пытаюсь утверждать, что Лопе де Агирре не был человеком необузданным и жестоким, никогда я не отрицал, что он убивал или заставлял убивать многих людей». Большинство убитых, как уточняет автор романа, являлось военными и гражданскими лицами, находившимися на службе у испанского короля, «следовательно, это были враги восстания, возглавленного Агирре». Кроме того, замечает Отеро Сильва, «справедливо будет добавить, что никогда он не подвергал пыткам свои жертвы, не издевался над ними, как это делали другие испанские конкистадоры, привязывавшие к хвосту лошади венесуэльских индейцев, обливавшие им руки и ноги расплавленным свинцом, вырывавшие у живых внутренности...».

Отнюдь не идеализируя, не реабилитируя Лопе де Агирре, человека средневекового варварства, жестокости и насилия той эпохи, и, разумеется, ни в какой степени не оправдывая его преступлений, писатель приводит в своем произведении данные, подтвержденные документами, о совершенных другими конкистадорами и королевскими наместниками массовых расправах над индейцами и неграми. Зато в испанской истории такие деятели, как Фахардо и Писарро, уничтожавшие в те же времена тысячи индейцев, увенчаны лаврами героев, им воздвигнуты памятники. В письме испанскому королю Лопе де Агирре достаточно красноречиво повествует о зверствах завоевателей и угнетателей в «Индиях». Можно предположить, что если бы Лопе де Агирре, осмелившийся восстать против Испании, попал в когти святейшей инквизиции, то его неми-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, с. 31.

нуемо сожгли бы живым на костре — ведь король Филипп II, как известно, находил особое наслаждение лично присутствовать при аутодафе, любоваться предсмертными муками сжигаемых. А что могло ожидать Эльвиру, дочь Лопе де Агирре?!

Непредвзятый подход к теме писателя, взявшегося за очень сложную задачу, позволил выявить в романе объемность человеческой судьбы бунтаря, бросившего вызов правителям, всесильному монарху, но вскоре опьяненного властью, растерявшего своих сподвижников, которых он намеревался удерживать хитрыми уловками, в конце концов поднявшего руку на самое светлое и дорогое в его жизни, вынесшего самому себе приговор. Венесуэльская критика отмечала, что Отеро Сильве удалось передать особенности мышления человека принципиально иного, столь далекого от нас времени, на всех этапах психологической, нравственной эволюции Лопе де Агирре — и когда озарила его мысль о свободе, и когда в гордыне он стал титуловать себя Князем Свободы, и когда превратился в «самовластительного злодея», если не в «князя тьмы». Писателем вскрыт процесс возникновения деспотической власти, ее генезис. И, читая роман, невольно вспоминаешь нынешних латиноамериканских диктаторов, так любящих спекулировать священными для людей идеалами и под завесой демагогических фраз заливающих кровью бесчисленных жертв землю Сальвадора или Чили, Гватемалы или Гаити.

Видимо, не все бесспорно в романе «Лопе де Агирре, Князь Свободы», в чем-то трудно согласиться с автором, не пожалевшим красок, скажем, в картинах насилия, жестокости, убийств, пусть это и входит в исторический контекст. Однако нельзя не оценить степень научной достоверности изображенного в произведении. Ярко показана борьба исторических сил, под своими именами выступают в романе подлинные исторические персонажи. И не только к познавательности сводятся достоинства романа Отеро Сильвы.

Поднятыми в романе проблемами писатель как бы соотносит свое произведение с проблематикой нашей современности, с борьбой, которую ведут в наши дни народы Латинской Америки.

Воссоздавая события и облик прошлого, писатель выделяет важное значение роли Лопе де Агирре — при всей противоречивости, при всех негативных чертах его характера — как первого, кто провозгласил в XVI веке: «Лишить Испанию прав на ее владения, возвестить независимыми Перу, Чили и еще другие части Нового Света». Как раз об этой стороне деятельности Лопе де Агирре многие испанские и латиноамериканские авторы умалчивали, искажали подлинные мотивы бунта предвозвестника национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки, по авторитетному суждению Симона Боливара.

Суждение Симона Боливара побудило Мигеля Отеро Сильву, как он отмечал в одной из бесед с пишущим эти строки, создать роман о Лопе де Агирре. Рассказывая о работе над романом — тогда еще в рукописи,— Мигель в своем рабочем кабинете в Каракасе познакомил меня с точкой зрения национального героя Венесуэлы, борца за освобождение Латинской Америки, который в прошлом веке по сути претворил в жизнь мечту Лопе де Агирре. «К счастью,— подчеркнул Мигель,— Симон Боливар постиг смысл мятежного выступления Лопе де Агирре. Я целиком на стороне Боливара и против апологетов колониализма».

В ходе наших бесед Мигель Отеро Сильва — автор популярных среди советских читателей произведений, посвященных ныне актуальным вопросам и созданных на основе пережитого им или другими венесуэльцами на протяжении последних десятилетий,— поделился: «Пришлось оторваться от пульса нашего века и с головой погрузиться в архивные документы четырехсотлетней давности». От Лопе де Агирре сохранились, в частности, три письма, в том числе королю Филиппу II, а приведенное в романе четвертое письмо — Карлу V, отцу Филиппа II, императору «Священной Римской империи» и королю Испании (под именем Карлоса I),— является, как раскрыл писатель, плодом его творческого вымысла, «но оно строго выдержано в стиле Лопе де Агирре, отражен и присущий ему барочный юмор».

Напряженный пятилетний труд над созданием романа потребовал от писателя обратиться к обширнейшим материалам: более полутысячи книг, справочных изданий прежних веков, манускриптов, различнейшей документации — все, что касалось XVI столетия в Испании и в ее тогдашних владениях. Не ограничиваясь такого рода сведениями («Я — не Жюль Верн, писавший о дальних странах, о морских пучинах и луне, не покидая родных стен»,— с улыбкой заметил Мигель), писатель повторил изрядную часть пути, совершенного Лопе де Агирре от Оньяте через Севилью и Санлукар-де-Баррамеду до перуанских Анд, до Куско, священного города инков, до острова Маргарита и Баркисимето... потому и поражает реалистическим воспроизведением жизни давних от нас времен роман Мигеля Отеро Сильвы, большого художника, очень к себе требовательного.

Читающий роман «Лопе де Агирре, Князь Свободы», конечно, обратит внимание на новаторскую творческую манеру автора, его своеобразный художнический стиль, меняющийся соответственно внутреннему накалу человеческих страстей, динамике развертывающихся событий. Даже драматургически представленные эпизоды несхожи меж собой: написанное согласно канонам древнегреческой трагедии сменяется картиной словно из шекспировской драмы, а через несколько страниц обнаруживаем сцену будто из пьесы авангардиста. Внутренний монолог... спор с невидимым оппонентом... неожиданная смена времен... почти кинематографическое чередование мест действия... и тут же врываются прямые обращения к читателю от автора или героя романа... и звучит поэзия в прозе...

По Гераклиту, «дважды в одну и ту же реку войти невозможно». Мигель Отеро Сильва, зная о Лопе де Агирре с ученических лет, сделал попытку вновь войти в реку истории, пренебрегши устоявшимися понятиями. Драматическая эпопея Лопе де Агирре увидена по-новому и по-новому показана Отеро Сильвой. Закономерно, что его роман вызвал живейший отклик в Латинской Америке. Знаменателен сам по себе факт созыва специальной сессии Венесуэльской академии языка для обсуждения нового романа Отеро Сильвы. Литературная критика высоко оценила талантливое произведение выдающегося венесуэльского писателя. А аргументацию писателя, как сообщает латиноамериканская пресса, не могут не разделить и историки, исключая, разумеется, нескольких «традиционалистов», но их единицы.

Заканчивая свое выступление в Венесуэльской академии языка, Мигель Отеро Сильва заявил:

— Статуя Лопе де Агирре стыдливо спрятана не то в каком-то музее, не то в запаснике... Кто-то порывался воздвигнуть ее в селении Эль Тирано, где, как утверждают, Агирре высаживался на берег ,однако бесчисленные и яростные враги вождя маранъонцев воспротивились этому, не позволили поднять статую на пьедестал. Я написал книгу о Лопе де Агирре и для того, чтобы эта скульптура вышла из своей темницы и была бы установлена на том месте, которое заслуживает Князь Свободы, предвозвестник независимости Латинской Америки.

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

ЛОПЕ ДЕ АГИРРЕ~СОЛДАТ

— Господи, защити нас! Лопе де Араосу отрезали язык!

Первая ссора нашей семьи с графом де Геварой случилась за год до моего рождения, когда дед мой по материнской линии Лопе де Араос был избран алькальдом города Оньяте, и графу де Геваре полагалось согласно закону начертать внизу под указом о назначении: «Сим признаю и нарекаю его моим алькальдом», но граф сбежал в Виторию, затворился в башне Сумелсеги и упорствовал, не желая подписать указ; не добравшись до графа, оньятинцы так разгневались, что ударили в набат, сошлись все на площади перед церковью святого Михаила и порешили отобрать жезл у главного алькальда, поставленного графом, и передать его моему деду по матери — Лопе де Араосу, ими избранному алькальду. Граф разъярился, вооруженные люди напали на наши земли, силою отняли у моего деда жезл, а его самого бросили в тюрьму и до конца дней наложили ему запрет на чины и должности.

Случай с языком вышел пятью годами позже, я уже родился, мать дала мне имя Лопе в честь своего мятежного отца, я, Лопе де Агирре, ползал под дубом и под грецким орехом, и внимания на меня обращали меньше, нежели на моего старшего брата Эстебана и пегого пса, который презрительно обнюхивал мой зад; только что взошедший на трон король Карл посетил Фландрию, граф де Гевара был среди тех, кто следовал за королем, кто падал пред ним ниц, и мой неисправимый дед закричал на всю таверну в Калесарре: «Все, кто таскается за королем, начиная нашим графом де Геварой, хозяином и сеньором города Оньяте, все они холуи и пьяный сброд!»

Когда граф вернулся, десятка два негодяев побежали к нему с доносом, и граф приказал, чтобы у моего деда отобрали все имущество, а самому ему вырвали язык, деда выволокли из тюрьмы с петлей на шее, провезли по улицам Оньяте верхом на грязном осле-недоростке, так что сапоги деда волочились по каменной мостовой, и так — до самой Хауменди, где у графа был заготовлен позорный столб, впереди шел глашатай и выкрикивал позор: «Лопе де Араос приговорен к изгнанию на три года, если он попытается вернуться в Оньяте, ему отсекут левую руку!» Язык деду отрезали кинжалом, кованным в кузнице Ласарраги, и столько крови вышло изо рта, что, верно, в теле ни единой красной капли не осталось.

— Мой брат отправил жалобу в Королевский совет и добился бы помилования, да поздно, язык уже отрезали. Так что в смертный час пришлось ему исповедоваться знаками,— рассказывал брат моего деда Хулиан де Араос.

Брат моего деда Хулиан де Араос сто раз рассказывал мне эту историю, чтобы я никогда ее не забыл, брат моего деда Хулиан де Араос похож на корявую, высохшую виноградную лозу, круглый год ходит с ног до головы в черном, так что издали не разберешь, монах это или человек, из-под широких полей шляпы висят пряди, как у старого барана; брат моего деда родился в Араосе и никогда из Араоса уехать не пытался. Араос — не селение, построенное руками человека, а пригоршня домов, разбросанных божьей волей по ущелью, от дома к дому ведут не улицы, а крутые тропинки среди зарослей папоротников и птичьего пения; площадь, что белеет посередке, и площадью не назовешь, всего-то и есть мощеная площадка, чтобы подступиться к церкви да выйти к навесу, где ребята играют в мяч, а между плитами вольно пробиваются сорняки.

— А жители Араоса не возмущались? — спрашиваю я, наперед зная, что возмущались.

— Возмущались, а как же, мы всегда возмущались,— говорит брат моего деда Хулиан де Араос.

И припомнив зло, принимается рассказывать еще одну старинную и уничижительную быль о том, как «Иньиго де Гевара, первый сеньор Оньяте, своевольно присвоил целую реку, дабы он один мог ловить в ней рыбу, один купаться в ней и один в нее мочиться».

— Настанет день, мы их прогоним,— говорит брат моего деда Хулиан де Араос, замахиваясь своей палкой на историю.

Михаил-архангел, покровитель Оньяте,— святой воитель, разящий оружием, а не какой-нибудь монах-богомолец или немощный мученик. Михаил-архангел — святой дух, воплотившийся в неистовую твердь, предводитель звезд, он вонзает свое огневое копье в горло поверженного дракона. Сатана уже не блаженный свет и не лукавый приспешник, доносящий богу на братьев своих, но злобное исчадие о семи головах и десяти рогах, со змеиным хвостом и когтистыми лапами леопарда, кривыми клыками и волосатой пастью, и он глядит на тебя с укором, будто ты виновен в его поражении, Лопе де Агирре. Крылья святого Михаила вырываются из-под стальных лат и развертываются на ветру точно боевые знамена. В левой руке святой Михаил держит весы, это он взвесит последствия наших грехов и добродетелей, это он решит, которые души вознесутся в рай, а которые, как мы, низвергнутся в ад. Однако скитальцу не приходит в голову поразмыслить над символическим значением весов, он знай пялится на огнь копья, на вороненые доспехи воителя, на его сверкающие из-под шлема глаза, на сокрушительное поражение сатаны. Сатана же, позеленевший и извивающийся, поверженный на прибрежный песок невидимого моря, глядит на тебя, Лопе де Агирре, с видом сообщника, и это невыносимо. Плюнь ему в глаза, прокляни его, осени себя крестным знамением перед лицом проклятого дьявола, мерзкой чумы, Величайшего Ублюдка, аминь.

Лопе де Агирре спустился от селения Араос на самое дно долины, туда, где река уходит в непроглядную темень пещеры. Из глубины ущелья он поднимается на дорогу, что ведет в Арансасу. Вкруг него, точно лесные духи, шепчет и перемигивается зелень, прозрачная заводь отражает все оттенки листвы, тенями упавшей на горные отроги,— от изумрудного до черни и бронзы. Зелень, сияющая, точно драгоценные каменья, и зелень, поблекшая, словно от печали. Гармонию цвета нарушают лишь огромные серые скалы, подобные кораблям, бороздящим зеленые моря.

(И тебе, Лопе де Агирре, кажется, что ты еще меньше, чем есть на самом деле, на беду ты не удался ростом, едва по плечо... впрочем, не будем об этом.)

Лопе де Агирре едет через заросли по неровной скалистой земле верхом, без седла, на гнедой кобыле, которая лучше всех из табуна знает и понимает его. Дело Лопе де Агирре — ухаживать за лошадьми, он водит их на водопой, и настанет день, когда научится объезжать их, он уже бросил школу, променяв ее на табун, но никто еще дома об этом не знает, единственная его книга — лживое сочинение об Амадисе Галльском[1]; надо сказать, дядя Хулиан знает правдивые сказания из Библии и истории Рима, и именно об этом они беседуют, когда охотятся на куропаток.

Святая дева — покровительница Арансасу не попирает останки дьявола, подобно святому Михаилу, она изображена в терниях. Чудесное явление этой святой — один из любимых рассказов дяди Хулиана. Пастух Родриго де Балсатеги в субботу шел вниз по склону Алоньи, и вдруг в зарослях ущелья глазам его открылось сияние — словно бы розы сверкали на голубом терновнике. То была дева с младенцем на руках в терниях и с овечьим боталом. Монахи из ордена Милосердной девы соорудили часовню, дабы восславить чудо, а францисканцы со временем забрали себе святыню и образ, как всегда забирали все. Себе на корысть они завладели самой милосердной девой на свете: это она проливает дожди в засуху, сдерживает паводки, отводит колдовскую порчу, усмиряет сварливые нравы, паралитики у нее начинают ходить, а бесплодные — рожать.

Христианское сердце приводит Лопе де Агирре в Арансасу сколь ради почитания святой девы, столь же и ради Хуаниски Гарибай, племянницы монаха Педро Арриараны, единственного из ордена Милосердной девы, который не покинул Арансасу, когда все его собратья ушли из города.

— День добрый, Лопе де Агирре.

Хуаниска Гарибай говорит, стоя в темном дверном проеме, дубовая притолока обита грубыми гвоздями с большими шляпками, стены серые и унылые, дымовая труба дыбится словно почерневший, бесформенный призрак, один только голубой фартучек девушки веселит глаз.

Лопе де Агирре спешивается, привязывает кобылу за уздечку к выступающей из стены скобе. Хуаниска Гарибай пристраивается в лад его шагов (она выше тебя на целую голову, ты один раз проверил, когда она оперлась о твою руку, чтобы перепрыгнуть через канаву, и волосы у нее пахнут базиликом), и они идут парочкой по дороге, словно так им на роду написано. Парочка уходит к одинокому ясеню на отшибе, чтобы взглянуть на снующих ласточек, а может, на распоротую шкуру вечера.

И вот потемнело небо, онемели птицы, и зазвенели овечьи ботала в низине. По этим колокольцам всегда узнаешь, взбирается ли овца вверх по склону или сыплется вниз с обрыва, бредет ли по равнине или встала как вкопанная. Звон ботала подобен бронзовому пульсу, мелодия его зализывает или распарывает дальше шкуру ночи. Чтобы услышать все до одной капли его мелодии, надо заткнуть уши — не слушать воркотню времени и гудение собственной крови. Так слушает эту мелодию Хуаниска Гарибай, стоя совсем близко к Лопе де Агирре, он вбирает запах ее волос, и Хуаниска Гарибай не сбивается с дыхания, когда он целует ее в самые губы, и не вздрагивает, когда его руки обнимают ее, а только слушает, задумчивая и далекая, звяканье колокольцев.

— Я люблю тебя, Лопе де Агирре,— говорит она.

— Не мешай сидр с наваррским вином, Антон Льамосо,— говорю я ему, на него не глядя.

[1] Герой одного из известных рыцарских романов, идеал рыцаря и возлюбленного, верный вассал. *(Здесь и далее прим. перев.)*

Антон Льамосо послушно следует моим советам — и добрым и дурным. Он выше меня, сильнее, но ведет себя так, будто я ему указчик. Добровольное рабство его души началось, видно, после драки, которая случилась у нас на площади Святой Марины давным-давно, когда мы еще бегали в школу. Антон Льамосо, волосатый и бровастый, угрюмый и неряшливый, смолоду походил на медведя, того самого, за которого муниципальные власти дают вознаграждение десять дукатов. Его непобедимая рука без перебоев метала мяч, сокрушая стену церкви. Мне никогда и мысли не забредало подраться с ним, потому как считал, что я родился не для того, чтобы меня избивали. А драться пришлось в день, когда я меньше всего ожидал, но уж если кровь мне ударит в голову, тут мне ни страх, ни опасность нипочем, как говорит мой дядя Хулиан, я оборачиваюсь Фамонгомаданом с Кипящего озера.

— Карлик Агирре,— сказал мне Антон Льамосо в то воскресенье на площади Святой Марины.— Ты умеешь бить в тамбурин?

— Не называй меня карликом, я не карлик,— ответил я ему.

— Ладно, карлик Агирре, я не буду называть тебя карликом, хотя весь Оньяте считает, что ты карлик.— И он расхохотался.

И тогда я дал ему кулаком в лицо, хотя он сильнее меня и выше, но кровь мне ударила в голову, дядя Хулиан. Антон Льамосо набросился на меня, словно боевой бык, я вмиг оценил свои возможности, ловко увернулся и левой ногой подставил ему подножку. Антон Льамосо грохнулся затылком о мостовую, и, прежде чем он попытался подняться, я уже пинал его ногами справа и слева, к несчастью, на мне были подбитые гвоздями башмаки, но я не мог остановиться, пока он не потерял сознания, и не набежали братья из святого Мильана, и не оторвали меня от него, чтобы я его не убил, Антон Льамосо неделю провалялся в постели с забинтованной головой и затекшими глазами, долго не ходил в школу и не разговаривал со мной до самого дня святого Михаила, а к празднику все быльем поросло, Антон Льамосо не злопамятный, и мы опять стали друзьями, Антон играет на барабане, а я — на пастушьем рожке. Чем дальше, тем больше прислушивается он к моим словам, я объясняю ему чудеса, которых он не понимает, к примеру, рождение Нового Света без малого сорок лет назад, как сам ты мне это объяснял, дядя Хулиан.

— Не пей больше, Антон Льамосо, ты пьян, как семь бочек,— говорю я ему.

Он злится, он не считает себя пьяным, он швыряет деньги — расплачивается — и кричит:

— А теперь пошли бросать в реку шлюх, приглашаю тебя, Лопе де Агирре! — И хохочет.

— Пошли! — отвечаю я, к его удивлению, и твердым шагом выхожу из таверны, а он за мной следом.

Из всех тварей земных больше всего я ненавижу и презираю проституток и французов. Французов — за то, что грешат скаредностью, мелочностью и ростовщичеством. Они приезжают в Оньяте делать деньги, им неважно, каким способом, сперва монеты оседают в их матрацах, а потом во Франции. Что же касается проституток, дядя Хулиан, то слов не хватает выразить, чем они мне противны, но, господи помилуй, как же я их ненавижу. Один-единственный здравый указ издал наш главный алькальд, он гласит: «Десять дней тюрьмы тому, кто даст в своем доме приют блуднице».

Непотребный дом, стоящий на краю самой захудалой улицы города, издали заметен по жалобному фонарю. На двери — кабанья голова с ощеренными клыками. Антон Льамосо бессовестно пьян, от вина он делается совсем скотиной, и лучше, если бы он вообще помалкивал.

— У моего брата Эстебана есть лодка, ночь такая красивая, звездная, река — как стеклянная, приглашаем вас покататься на лодке,— говорю я.

Обе женщины — бискайки из Бермео, должно быть, рыбачки, которых бросили мужья, а не настоящие проститутки. Та, что в теле и с задом першеронской кобылицы, достается Антону Льамосо. Маленькая, с мордочкой как у сардинки, которая не говорит, а чирикает, точно воробей, и от которой пахнет вареными ракушками, идет рядом со мной и не выказывает никакого восторга по этому поводу.

У берега Олабарьеты стоит на привязи лодка. При чем тут мой брат Эстебан? Понятия не имею, чья она, эта лодка! Антон Льамосо спускается в нее первым и милосердно протягивает руки двум магдалинам, я спускаюсь последним, сажусь на весла и зигзагами вывожу лодку на быстрину.

Наши неосторожные спутницы не успевают рассмотреть стеклянную реку, насладиться сиянием звезд. Антон Льамосо обеими руками сталкивает першеронскую кобылицу, необъятные ягодицы шлепаются о воду, поднимая брызги и завихрения. Стоя в скользящей лодке, он берет маленькую на руки, точно грудное дитя, и тихонько выпускает в воду. Проститутки умеют плавать, они из Бермео, так что утонуть не утонут. Великанше удалось ухватиться за левый борт, я бью ее веслом по пальцам, еще раз и еще, и она снова погружается в воду, как огромный кит! А другая, моя сардинка, сидит на глинистом берегу, хнычет как дурочка, пересыпая стоны злобными проклятьями.

Мы оставляем их — мокрых, охрипших, несчастных. Мы возвращаемся в город, и Антон Льамосо останавливается у первого же фонтана помочиться на каменную львиную гриву.

— Знатно повеселились, Лопе де Агирре! — говорит он и хохочет.

На похоронах отца только и было разговору что об Индиях, о Новом Свете Христофора Колумба, о великой сокровищнице, вскрытой тремя испанскими каравеллами. Отец лежит в деревянном гробу, гроб такой свежий, что пахнет деревом, а не гробом с покойником. Отвердевший и заострившийся, как у кречета, нос словно ножом выпирает из бледного, мягкого, женоподобного отцовского лица. Кажется, что он не умер, а просто задумался, хотя, сказать правду, живым он не переводил времени на размышления — ворчал и работал. Сперва был дровосеком. Под конец не по плечу ему стали огромные деревья. Он смирился и принялся пахать землю, разбрасывать семена, жать хлеб.

Отец был суровый и упорный старик. Он обламывал палки о бока сыновей, пока им не исполнилось шестнадцать; и младшему, Лопе, перепадало куда больше, нежели старшему, Эстебану. А причин, чтобы их дубасить, хватало: то опрокидывали кастрюлю кипятку на нищего, то, поймав кота сеньоры Микаэлы, вздергивали его на самом высоком суку соседнего бука, то ночью отдирали доски на мосту Субикоа, по которому на рассвете должны были пройти торговые караваны, разводили скорпионов, чтобы напустить их потом в постель старым богомолкам, а как-то раз даже вымазали дерьмом одеяние святого отца Каликсто.

Все только и говорят что об Индиях, никто внимания не обращает ни на латинские молитвы брата Педро Мученика, ни на осторожный плач матери, ни на дождь, спокойно льющий во дворе. Когда колокол пробил четыре, дядя Хулиан и другой старик в трауре подходят к усопшему, и Лопе де Агирре с Эстебаном тоже подходят, на плечах они понесут его до кладбища, это от дому недалеко. Часовня у клад-

бищенских ворот шлет богу мольбы прямо со стен. На дорожке, ведущей к могилам, восторженно живописуют смерть два креста орехового дерева, на коих художник изваял черепа, кости и саваны. Гроб зарывают без лишних слез, брат Педро Мученик кропит святой водой мокрую от дождя землю, и молча, опустив головы, все идут с кладбища — сорок человек идут друг за дружкой под дождем и, завернув за первый же угол, снова заводят разговор об индийских землях, о конкистадорах, о золоте. В Стране басков, в Испании, во всем Старом Свете ни о чем другом нынче и не говорят.

Брат Педро Мученик (*монах-доминиканец, родом из Сеговии, духовник всего семейства*). Ступай в Индийские земли, Лопе де Агирре. Испания наша избрана богом для охраны твердыни его учения, для сражения без устали с ересью и язычеством. Более семи веков, со времен Пелайо до Фердинанда [1], бьемся оружием, зубами и клыками за свободу иберийского льва против мусульманского ига, хотим выбросить с нашей земли их фальшивого Аллаха вместе с его лживыми халифами.

Дон Мигель де Урибарри (*мой крестный отец, владелец гипсовых мастерских и мельниц*). Ступай в Индийские земли, крестник. В индийских морях жемчужины величиною с орех, в индийских горах изумруды — с яблоко. Крыши в городах там крыты серебром, воду пьют из агатовых кувшинов, а дети играют не камешками, а бирюзою.

Мой дядя Хулиан (*мечтатель, поклонник рыцарских романов и школьный учитель*). Ступай в Индийские земли, сын мой. Подвиги Амадисов и Галаоров [2] — не лживые выдумки, хотя повсеместно считаются измышлениями. Не придуманы деяния греков и римлян, которые воспеваются трубадурами. И сказочные миры, что видим в мечтах,— не фантазии. Реки и озера в Индийских землях подобны пресноводным морям, из их глубин по ночам поднимаются многоголовые гидры, и у каждой головы из ноздрей пышет пламя.

Хуаниска Гарибай (*в Арансасу, когда смолкают колокольца*). Ступай в Индийские земли, nere maitia [3]. Не для того ты родился на свет, чтобы жить последышем, не для того родился на свет, чтобы жениться на мне или другой девушке из наших лачуг, не для того ты родился, чтобы отчий дом сковывал твой полет.

Брат Педро Мученик (*словно с амвона*). Ступай в Индийские земли, Лопе де Агирре. Мы прогнали с нашей земли евреев, дабы оберечь себя от их нехристианских песнопений, от их лукавой мудрости. С силой, не знающей себе равной, обрушили мы десницу святой инквизиции, без лишних раздумий карая всякое искажение веры и оскорбление Святейшего папы. Близок час, когда мы смирим гордыню Сулейманов, кои вновь угрожают христианскому миру гнусною властью ислама. Мы сотрем со страниц истории на веки вечные имя Мартина Лютера, отродия Каина и Вельзевула, который проповедует раскол нашей церкви и низвержение символов нашей веры.

Мой крестный дон Мигель де Урибарри (*отрываясь от синей конторской книги, где он ведет счета*). Ступай в Индийские земли, крестник. В Индийских землях бескрайние поля засажены сахарным тростником, хлопком, индиго; земля стократно воздаст тебе за труд в поте лица. Король за твою верную службу дарует тебе в собственность много индейцев, они денно и нощно будут трудиться, приумножая твое имущество. Но все это затмевает блеск золота. Не колдовского золота алхимиков, не золота, кое варят в своих ка-

[1] Пелайо (ум. ок. 737 г.) — первый король Астурии. Фердинанд (1452—1516) — король Арагона, Кастилии, Сицилии, Неаполя, вел длительную войну с маврами.

[2] Герои рыцарских романов.

[3] Дорогой мой *(баскск.)*.

стрюлях евреи и каталонцы, но золота истинного, того, что господь заложил в землю, дабы люди взяли его себе на благо. Храмы из чистого золота, принцы купаются в золотой пыли, индейцы отдадут тебе тяжелые золотые бусы в обмен на осколки зеркала.

Мой дядя Хулиан де Араос (*не сводя взгляда с глади реки, в которой утонула бечева, и напрягши руки в ожидании, когда начнет клевать*). Ступай в Индийские земли, сын мой. В Индийских землях красноперые сирены соблазняют сладким пением, отважные амазонки еженощно насилуют своих пленников. Там летают гигантские орлы, что уносят в когтях человека к покрытым снегами вершинам, где в гнездах ждут их птенцы, и огромные бабочки, закрывающие своими синими крыльями свет солнца, растут деревья, струящие из порезов душистые соки, их листья курят, дабы вызвать видения, искусительнее видений святого Антония, а кактусы там сочатся прозрачным и пьяным вином.

Хуаниска Гарибай (*прислонясь к стене, увитой виноградом, обрывая самые крупные ягоды от темной кисти и не оборачиваясь ко мне*). Ступай в Индийские земли, nere bizia [1]. Никому не ведомо, одна я знаю, что таится в твоем маленьком теле, чья малость лишает тебя сна и покоя. Странствующий рыцарь, герой, конкистадор, вождь, великий мятежник — вот что написано тебе на роду.

Брат Педро Мученик (*торжественно, будто проповедуя, стоя подле мраморной статуи святого Михаила-архангела*). Ступай в Индийские земли, Лопе де Агирре. Ныне всемогущий господь доверил нам высочайшую из миссий — нести христианство в незнаемый мир, где рождаются и умирают миллионы диковинных существ, тьматьмущая варваров-индейцев, и неизвестно, есть ли у них разумные души. Ежели, к счастью, они их имеют, наш несомненный долг спасти их от геенны огненной, вовлечь в лоно Христовой церкви милостью и трудом наших славных воителей и силой просветляющего слова нашей церкви. Отправляйся в Индийские земли, Лопе де Агирре, и потребуй свою долю у судьбы, уготованной нам Всевышним.

Мой крестный дон Мигель де Урибарри (*голос его перекрывает ропот и молитвы домочадцев*). Ступай в Индии, крестник. У нас в Оньяте выше табунщика или гвоздаря ты не выбьешься, растратишь жизнь в кузне или дубильне и помрешь у очага, грея ноги о дряхлого пса, как все умирали и до скончания века будут умирать в этой деревне. Ступай в Индийские земли, крестник, и воротись в Оньяте могущественным, с огромными кофрами, набитыми золотыми дублонами и серебряными украшениями.

Мой дядя Хулиан де Араос (*указывая своим посохом на закатное солнце*). Ступай в Индийские земли, сын мой. В Индийских землях карлики, что мальчики-с-пальчик, пускают стрелы в скорпионов, а великаны с корнем вырывают огромные деревья и несут на плече, как соломинку. Там есть млекоподобный эликсир, возвращающий старикам недоступную молодость, и нагие девы с кожею цвета корицы выбегают на морской берег навстречу конкистадорам.

Хуаниска Гарибай (*с закрытыми глазами*). Ступай в Индийские земли, nere biotza [2]. Имя твое будет записано в книгах, которые переживут твоих внуков.

■

Немало времени, наверное еще год, трепал Лопе де Агирре подметки по улицам и проулкам, натыкаясь днем и ночью на больных монахов, просивших милостыню и возносивших бесполезные молитвы. Воды Гвадалквивира принесли его в Севилью на плоту, то и дело кренившемся под грузом дынь, айвы и асамбоа. Лопе де Агирре спал,

[1] Любимый мой *(баскск.)*.

[2] Сердце мое *(баскск.)*.

лежа навзничь на грубых досках, а ежели не спал, то смиренно считал звезды да слушал дребезжащий голос другого бродяги, старика-астурийца, певшего о разочаровании и смерти. Майским утром Лопе де Агирре ступил на пристань, цветистую и горластую, кишевшую невоздержанными на язык и лживыми людьми, собаками, лаявшими в лад с гитарами; Севилья была затоплена песнями и криками торговцев, Севилья — герцогиня пшеницы, султанша оливкового масла, царица вина. Лопе де Агирре дал увести себя в огромный двор, где распоряжалась гипускоанка из Вергары, во двор выходили мрачные клетушки — и самой мрачной была его. По ночам каморки оказывались спаренными из-за чахлой лампадки, которая доставалась не каждому, а через одного. Едва брезжил рассвет, Лопе де Агирре выбирался из лачуги и пускался бродить по тем же улицам, что и вчера, бормоча все те же проклятья, думая одну и ту же думу. Вскоре утро наполнялось солдатами, нищими, студентами, лодками, плащами, чепцами, мантильями и веерами. Лопе де Агирре упрямо шагал к Торговому дому, где составляли флотилии, заносили в списки имена желающих, выдавали лицензии, взыскивали налоги, делили наследства, выносили приговоры, обучали лоцманскому делу, и в каждом уголке без умолку только и говорили что об Индиях. Торговый дом был просторным выцветшим зданием, возведенным на некотором расстоянии от Хиральды, и азалии, росшие у реки, цвели далеко от его порога. Если тебе удавалось избежать назойливых расспросов стража, ты ступал на каменные плиты галереи, в конце ее слева светился фонтан, выложенный изразцами, а справа дремал колодец с мраморной закраиной. Оба этажа этого здания, заполненные пергаментами и книгами, превратились в прибежище для крыс и тараканов, стали приютом для конторщиков и писарей, пристанью для просителей и пролаз. Люд разного сорта и намерений входил и выходил в двери, поднимался и спускался по лестницам, один ждал вестей о брате, пропавшем во Флориде, другой желал купить жемчуга с острова Маргарита. В понедельник тебя пьянила мечта, во вторник ты падал духом, к пятнице терял всякую надежду, писаришки советовали тебе прийти на следующей неделе или просили принести поручительство, которого ты не мог добыть, дон Родриго Дуран предлагал тебе пахать землю в Тьерра-Фирме [1], ты ему отвечал, что ты не пахарь, а солдат. Напротив стояла церковь святой Елизаветы, но тебе ни разу не пришло в голову войти в нее помолиться. Севилья была процветающим городом; единственная такая на всю вселенную, царица океана, она благоухала апельсиновым цветом и мускатным вином, она отражалась в зеркале реки, которая и с гор-то спускалась лишь затем, чтобы взглянуть на этот город. Ты, Лопе де Агирре, обретался в грязной ночлежке, спал в самом вонючем предместье, в Триане, и твой путь к родному дому лежал через эту помойку, ты должен был выскочить отсюда, пробиться сквозь зловоние и стенания нищих, отбросить мнимых и настоящих калек, заступавших тебе дорогу; в архивах Торгового дома были старательно подшиты все твои просьбы и проклятья, но в конце концов терпение твое лопнуло и ты отправился жить к цыганам.

То, что я докатился до цыганского табора, я, не имеющий ни капли цыганской крови,— дело чистого случая. Старик торговец как-то забрел на наш двор, ведя под уздцы клячу и намереваясь продать ее по цене, которой она не стоила, он врал насчет ее возраста, лгал, что она породистая, и клялся, будто кости у нее все в порядке. Это был одер со сбитыми мослами и выпиравшими лопатками, я прикинул, что он мыкался на этом свете уже лет пятнадцать, а то и поболе. Барыш-

[1] Так называли конкистадоры побережье современных Венесуэлы и Колумбии. Соответствует понятию «материк».

ник по моему виду заключил, что у меня нет денег на покупку его клячи, по моему взгляду заподозрил, что от природы дурной мой характер не велит мне ему верить, и даже догадался, что я порядочно разбираюсь в лошадях. Однако я не вмешался, когда он стал торговать клячу одному из моих соседей, чванливому сквалыге-португальцу, и более того — помог цыгану сладить дело, согласно кивая головой на все его лживые заверения. Наше с цыганом взаимное понимание перешло в дружбу, его зовут Томасом, но он врет, будто имя его Тордильо, мне опротивела грязная ночлежка, и я был сыт по горло обещаниями, которыми меня каждый день кормили в Торговом доме, поэтому я сказал Тордильо, что готов отправиться жить с ними и их лошадьми; цыган не мог в себя прийти от изумления, услыхав такое от христианина благородных кровей, да еще баска, он расположился ко мне, хотя мне самому это чувство было мало знакомо, и сказал, что выручку со мной не разделит, но пожелания мои готов удовлетворить.

Насколько противны мне все французы и андалусцы, настолько же по душе мне цыгане. И пусть ваша милость не трудится рассказывать, что они разбойники, я это знаю. Лучше допустите, ваша милость, что кража для них — не преступление, но способ существования, ремесло, а никакое ремесло не зазорно и не грешно, кроме разве ремесла шлюх. Равным образом, убить себе подобного — преступление, однако же солдаты убивают на войне или по приказу, они совершают эти проступки, ибо таково их ремесло, и потому господь им прощает. Первой работой, которую предложил мне мой друг, цыган, была кража, и хотя «не укради» — одна из основных заповедей, полученных Моисеем на горе Синае, я охотно пошел с Тордильо к лачуге еврея-ростовщика, где Тордильо стянул два золотых эскудо и сколько-то мараведи, в то время как я прогуливался перед лачугой наподобие часового. Во второй раз я наотрез отказался пойти с ним — не из-за религиозных запретов, а потому, что нам, баскам, как бы напыщенно это ни звучало, ворованные деньги не в радость.

Пусть ваша милость также не трудится убеждать меня, что цыгане склонны к кровосмесительной любви, это я тоже знаю. Не отрицаю, они допускают кровосмешение, однако осуждают прелюбодеяние, и в этом они придерживаются уставов Ветхого завета. Закон божий запрещает нам желать жену ближнего. Иосиф пострадал, но не пошел навстречу желаниям жены Потифара, однако ни в одной главе не порицается совокупление с сестрами или даже с представительницами женского пола, более близкими по крови и более почитаемыми. Даже дети, едва прикоснувшиеся к учению церкви, знают и повторяют, что род человеческий исчез бы, не достигнув и третьего колена, если бы Каин, а может, Авель или скорее всего третий сын Адама по имени Сиф постеснялись бы или убоялись зачать потомство в материнском лоне, ибо иного лона не было.

Первой добродетелью, которой я выучился у цыган, было страдание и терпение, а любовь к свободе коренилась в моем сердце еще с Оньяте. Однако тот, кто не готов сносить лишения и не способен бросить вызов жестокости, рискует упустить свободу. Спите на матрасе, когда он есть, а когда его нет — на циновке или на соломе или вовсе не спите. Ешьте на скатерти, когда имеется что поесть или выпить, а если не имеется — ужинайте темным хлебом и плодами земли или вовсе не ужинайте. Давайте телу отдохновение, если есть время для отдыха и тень, где растянуться, а нет ни того, ни другого — продолжайте путь, не сбрасывая с плеч тяжелой поклажи. Кости на отдыхе плесневеют, руки на отдыхе изнеживаются, глаза на отдыхе мутнеют, ум на отдыхе притупляется. Топайте, ваша милость, по полям и холмам, спите под открытым небом, старайтесь продать как можно дороже, пляшите, не жалея ног, лазайте по деревьям, плавайте в реке, не расслабляйтесь под дождем, не злитесь на солнце, не хмурьтесь снегу — всему этому научили меня цыгане.

У них я научился и объезжать лошадей, а склонности к этой работе мне было не занимать. Вся моя юность прошла в седле, я пас табун меж Гесалкой и Артией. Но одно дело — скакать верхом на объезженной лошади, и совсем другое — объезжать дикого коня. Да будет известно вашей милости, что жеребец, которого сегодня надо взнуздать, до позавчерашнего дня узды не знал. Неделю назад он появился в таборе, его в полночь привел Тордильо, никто не знает, в чьем загоне он его присмотрел. На заре я ходил к нему, гладил его по темной гриве, носил ему морковку и куски сахара, потом Тордильо держал его, а я примеривался вскочить верхом, чтобы он привык к моему весу. Я не велел Тордильо отпускать его, потому что у него еще воля в жилах играла и он бы сбросил меня на землю. И наконец, сегодня я попросил Тордильо оставить нас вдвоем, потому что жеребец уже начинал считать меня другом, он почти сказал мне это. Не думайте, ваша милость, будто есть норовистые или упрямые лошади от рождения, строптивыми становятся плохо объезженные лошади, те, которым не попался укротитель, понявший их нрав. Не на силу и не на смелость испытывается объездчик, а на сметку. По истечении трех месяцев жизни с цыганами не было лошади, которая бы взвилась подо мной, чтобы сбросить меня, или ударилась об изгородь, чтобы раздавить, или понесла бы меня, беспомощного, по долине. В искусстве объездки принимают участие все части тела, поясница вместе с лошадью повторяет каждый ее порыв, кисти рук направляют узду, ноги сжимают бока, пятки отдают приказание, рот испускает крик, понуждает скакать, а голова разрешает все возникающие трудности. Приглядитесь получше, ваша милость, к этому вороному жеребцу, разве можно сказать, что его только еще объезжают, разве можно подумать, что всадник впервые сидит на нем?

И последнее, чему они меня научили,— это заставить шпагу и кинжал служить мне, поверьте, ваша милость, одного аркебуза недостаточно, чтобы отправляться в Индийские земли. Цыган, который обучал меня самообороне, разбирается в этой премудрости лучше самого Педро Мунсио, хотя никогда его трактатов не читал, потому как читать не умеет. Этого моего наставника по холодному оружию зовут Каноник — боже правый, сколь непочтительны цыгане! Он открыл мне секрет своего коронного выпада шпагой, заставил тысячу раз повторить обманные движения, пока они не стали у меня инстинктом. Каноник фехтует искусно и всерьез, он не тратит времени на выкрутасы и пируэты, его цель — не поразить противника своим мастерством, а смертельно ранить. Лучше всего царапнуть противника по лбу, кровь зальет глаза и ослепит его, а слепому гораздо проще воздать по заслугам, говорит Каноник. Самое главное — смотреть не отрываясь в глаза врагу, угадывать каждое его движение, его страх, его намерения, говорит Каноник.

Но все эти познания ни к чему, Лопе де Агирре, пока ты лицом к лицу не встретился с врагом во плоти и крови. Неизвестно, чего стоит шпага в твоей руке, пока ты не используешь ее, чтобы ранить взаправду. Сражаться на уроках для упражнения или на праздниках не значит сражаться. А вот когда в бою ты рискуешь жизнью, когда в первый раз понимаешь — чтобы спасти собственную жизнь, нужно лишить жизни другого, дай бог, чтобы в этот миг рука у тебя не дрогнула.

И клянусь вашей милости, рука у меня не дрогнула. Беда приключилась в одном из переулков Трианы, который вел как раз к той ночлежке, где я прежде жил. Время от времени под вечер я уходил от моих цыган и шел в Севилью, наведывался в Торговый дом узнать, нет ли каких новостей насчет плаванья в Индийские земли. А с наступлением ночи черным ходом пробирался к гипускоанке, содержательнице ночлежки, разумеется, она была вдова, довольно привлекательная, несмотря на волосатую бородавку, сторожившую ее щеку,

вдова встречала меня влажным взглядом. Добрая женщина разговаривала со мной на моем родном языке, угощала меня лимонадом и мальвазией, приберегала для меня стаканчик славного вина и крендельки, выпеченные монахинями, и усаживалась еще раз рассказать мне, каким острословом был ее покойный супруг, при этом так томно вздыхала, что ничего не оставалось, как утешить ее на огромной, застланной покрывалом постели, занимавшей половину комнаты, а свои любовные похождения я вытаскиваю на свет божий лишь затем, чтобы стало понятным все, случившееся потом. Это произошло в ночь моего похода к вдовице, я уже возвращался в табор и дошел до угла, как вдруг откуда ни возьмись — подвыпивший альгвасил, и ну орать во все горло, обзывая меня вором и прочими оскорбительными словами. Я попытался вразумить его доводами, в мои намерения вовсе не входила перебранка с представителем закона, наглец истолковал мое благоразумие страхом, распетушился еще больше и в довершение назвал меня трусом, кровь мне ударила в голову, я выхватил шпагу и припомнил коронный выпад, которому меня обучил Каноник,— еще бы мне его не припомнить! Должен признаться вашей милости, я разом успокоился, в голове у меня прояснилось, альгвасил принялся бестолково размахивать шпагой, я легко парировал его удары и в два счета испытал на нем высшую науку, усвоенную от Каноника, противник рухнул навзничь на мостовую, не переставая орать как оглашенный, вверяя себя покровительству святого апостола Иакова и пресвятой девы Гвадалупе, меня он уже величал не разбойником, а преступником.

Поверьте, ваша милость, не оставалось времени вытереть клинок, уже занималось серое утро, я побежал прочь, прижимаясь к стенам, люди, разбуженные воплями раненого, выглядывали из дверей и окон, раненый перестал кричать, не думаю, чтобы он умер, шпага вошла в грудь с левой стороны, но с помощью десятка ловких хирургов и божьего чуда он мог бы выкарабкаться. Поверите ли, ваша милость, тот странный роковой случай принес мне везенье, а не беду. Четыре дня спустя я снова пришел в Севилью, никаких разговоров о неудачнике альгвасиле в городе не было, так я и не узнал, выжил он или нет, а в Торговом доме меня ожидал дон Родриго Дуран с превосходными новостями, ему дали разрешение вывести в море свои галионы с двумя сотнями человек на борту, и я был одним из этих двухсот.

Имя? Лопе де Агирре. Возраст? Двадцать два года. Родители? Эстебан де Агирре и Эльвира де Араос. На каком корабле выходите? На «Святом Антонии». Порт назначения? Картахена Индийских земель. Профессия? Землепашец. Пришлось сказать «землепашец», потому что в то плаванье набирали землепашцев, а не солдат.

«Святой Антоний» поднял якорь в порту Санлукар-де-Баррамеда двенадцатого мая одна тысяча пятьсот тридцать четвертого года, к полудню городские башни пропали из виду, весеннее солнце немилосердно пекло наши головы. «Святой Антоний» шел в паре со «Святым Франциском», тот должен был поднять паруса тремя часами позже. Это были два видавших бида парусника — выходцы из Венеции, испытанные во многих средиземноморских бурях, долгие годы перевозившие христианский товар и счастливо уходившие от мавританских галер. Интендант-андалусец дон Родриго Дуран купил их в Неаполе по бросовой цене, велел выкрасить в серый цвет, чтобы они стали еще унылее, и определил их торговать с Новым Светом, они могли дойти, а могли и не дойти. «Святой Антоний» был ветхой посудиной с двумя сотнями живых душ на борту; тут были владелец дон Родриго Дуран, наш начальник на суше, лоцман, наш начальник в открытом море, боцман, матросы, юнги, стюард, кок, плотник, бондарь, брадобрей, который мнил себя лекарем, аптекарь, писари, солдаты, священники, монахини, землепашцы со своими половинами, овцами, свиньями,

домашней птицей и я, Лопе де Агирре. Что касается неодушевленного груза, то он состоял из бурдюков с оливковым маслом, пузатых бочек с вином, груды ящиков, о содержимом которых догадаться трудно, не говоря уж о пожитках пассажиров, тащивших с собой всякую всячину, начиная постелями, на которых они собирались спать в Новом Свете, и кончая окороками и галетами, которыми намеревались кормиться во время плаванья. Едва хватало места, чтобы вытянуться поспать, чтобы преклонить колени для молитвы, чтобы пристроиться в уголке справить нужду.

Еще тягостнее стало, когда началась качка и путников одолела морская болезнь, ибо большая часть их не знала не только моря, но и реки. Первой пошла блевать одна крестьянка, которая перед тем наелась колбасы, за ней отправился священник, растрогавшись и заразившись печальным зрелищем, с той минуты никто уже более не сдерживался, все вокруг было загажено, от зловония не продохнуть, и сам я не блевал из чистого упрямства, свойственного оньятинцам. К тому же пресной воды в день давали всего по пол-асумбре [1] на человека, умыться не хватало, вонь на корабле забивала свежий морской дух. К этому следует добавить стенания и причитания, трусость тоже пахнет дурно. Половина кляла ими самими избранную судьбу, мол, путешествие это хуже адских мучений — да кто заставил вас взгромоздиться на эту бешеную лошадь, по ошибке названную кораблем? — от Канарских островов повернем обратно в Испанию и всеми святыми клянемся, что с Тенерифа не двинемся. Самое замечательное, что не успели в Гомере сойти на берег, как все ожили, бледные лица вновь порозовели, из подвалов на острове пахло сырами и колбасами, никто больше не поминал морской болезни, никто уже не клял вшей, терзавших нас всю дорогу, и опять восторженно заговорили об Индийских землях, снова проснулась алчность и жажда славы. И даже монахиня Эдвихес, та самая, которую трижды выворачивало на палубе, даже и она, бедняжка, размечталась стать матерью-настоятельницей сказочного монастыря на острове Эспаньола, мы-то считали, что она умрет на середине третьего захода, и один монах уже причастил ее при свете звезд, а с первым лучом солнца совершил святое помазание, казалось, вот-вот придется нам опустить в волны эту толстуху, так вот даже эта сестра Эдвихес сошла на землю своими ногами и сотворила молитву чудом воспрянувшим голосом.

Путь от Гомеры до Нового Света был не менее тяжек и более долог, только теперь на трудности никто не обращал внимания. Мечта об Индийских землях, словно вуаль, прикрывала нищету и грязь, рты перестали изрыгать блевотину и проклятья, зазвенели гитары, наперебой зазвучали песни разных земель, из сундуков появились игральные карты и кости, кувшины с вином пошли по кругу. Я не питаю слабости ни к пению, ни к азартным играм, но никогда не скрывал, что выпить в меру — для меня удовольствие. За бутылкой кларета я почти сдружился с одним не то судейским писцом, не то адвокатом-недоучкой, который плыл в Индийские земли во второй раз, в первый ему не удалось вернуться богатым, помешала сыпь в паху, не во благо приобретенная, на этот раз ему повезет, губернатор Каламара или Картахены [2] дон Педро де Эредиа — его крестный, он пойдет навстречу его просьбам, и вы, ваша милость, без промедления получите желанное место солдата, сказал он мне. Он же дал мне рыцарский роман, напечатанный в Саламанке, под названием «Тиранте Белый» [3], который я прочел по крайней мере трижды, ибо что еще было делать, когда глаза устали смотреть на море. Море было таким огромным, таким забытым богом, таким зеркально похожим на море вчерашнее и море завтрашнее, что в мозгу моем стало зарождаться жела-

[1] Асумбре — мера жидкости, равная 2,016 литра.
[2] Город на территории нынешней Колумбии.
[3] Средневековый рыцарский роман.

ние бури, которая превратила бы это море в другое, но буря, к счастью, не пришла. Как-то с закатом небо на западе занялось не тихими алыми тучами, а заполыхало пламенем, которое хлестало по небу словно бичами, мне почудилось, будто огромный город объят огнем, а сестра Эдвихес решила, что мы приближаемся к чистилищу, а может, и к самому аду, восстала со своего матраса точно мертвые Апокалипсиса. Смири, господи, гнев твой! Сжалься над нами! Боцман успокоил ее глотком спиртного. На следующий день после обманного пожара наш корабль завяз в густом тумане, в неосязаемой вате, которая съела зелень моря и синь неба, час за часом мы плыли в этих тепленьких кружевах, которые обволакивали нас, словно материнское чрево, и, когда вышли из тумана, на нас обрушилось яростное солнце, будто раскаленный костер со всех сторон окружил нас и грозил, того гляди, охватить деревянные борта корабля, корабль не загорелся, но хлеб, который мы везли, сгорел, пали, задохнулись три овцы, никогда жар не казнил так моей кожи, пекло из раскаленных углей и железа сломило меня, лоб мой пылал, как кузнечный горн, я понял, что безумие поразило мой разум, но не сказал ни слова, только скорчился и затих меж тюков. Непреклонный Михаил-архангел спустился с небес еще раз пронзить копьем Люцифера, я слышал, как он спрыгнул с самой высокой мачты на борт, видел, как он превратился в разъяренный маскарон на носу корабля, устрашенный сатана не решался высунуть голову из воды. Потом небо стало кристально чистым, и бешено колотившееся сердце унялось, святой Михаил, торжествуя, величественно устремился вверх, а вместо него появились стаи птиц: сойки, фаэтоны, пеликаны, чайки и еще какие-то непривычно зеленые, те самые, что приветствовали Христофора Колумба в его первом плаванье. Неожиданно вдали обрисовалось темное пятно, и, онемев, мы смотрели, как мало-помалу приближались к нам веера пальмовых рощ и сивая чернь диких скал, то был остров Желаний, семя Нового Света.

■

(ПИСЬМО СЕРЖАНТА Лопе де Агирре Дону Карлосу непобедимому, милостью божьей августейшему императору, королю Германии, той же милостью королю Кастилии, Арагона, Леона, Наварры, Галисии, Толедо, Севильи, Кордовы, Алгарве, Альхесираса, Гибралтара, Гранады, Хаэна, Мурсии, Валенсии, Майорки, Сардинии, Корсики, обеих Сицилий, Иерусалима, Канарских островов, Индийских островов и Тьерра-Фирме, эрцгерцогу Австрии, герцогу Бургундии, Брабанта и Милана, маркизу Ористана и Гоциано, герцогу Афин и Неопатры, сеньору Бискайи и Молины, графу Фландрии, Тироля, Барселоны и проч. и проч.)

«Христианнейший и всемогущий Государь!

Меня зовут Лопе де Агирре, шестнадцать лет тому я вышел в море из порта Санлукар-де-Баррамеда, не имея при себе иной ноши, кроме намерения служить Вашему священному католическому королевскому Величеству, расположенный отдать жизнь, если понадобится, во славу Испании, вложить свою лепту в открытия, кои присовокупят новые реки и полуострова к владениям Вашего Величества, расположенный со всем старанием брать в полон варваров-индейцев, кои в рабстве обретают свободу от злобных духов своих и с радостию предаются Христовой вере. В те времена я был юным мужем росту малого, но устремления великого, не алкал богатств и владений, каковые всенепременно ввергают в унижение, но помышлял об одной ратной славе, что рождается в воинских трудах, ежели суждено ей родиться.

Сие письмо, вопль души, кое волей божею никогда не попадет в высокородные руки Вашего Величества, ибо таковы расстояния и преграды, простирающиеся между мною и Вашим Величеством, пишет Вашему Величеству ничтожный слуга, солдат, баск по рождению,

удрученный сердечной печалью, каковую испытывает всякий раз, как день угасает в Куско, и каковая принуждает меня предать памяти вещи, забвение коих было бы пагубной ошибкой.

Премного печалит меня, августейший Император, что не приказано было вести баталии во имя расширения границ Испанского королевства, коего желал я, ступив в Картахену и записавшись в солдаты, но вместо того занялись премерзким разрыванием индейских могильников, грабили у покойников золотые чаши и идолов литого золота, каковые родственники погребали вместе с покойными. Сиими набегами утруждал свое войско дон Педро де Эредиа, в ту пору губернатор Картахены и наш военачальник, и более по душе ему было золото, нежели милосердие господне. И было так, что пылкий и ничтожный слуга Вашего Величества позабыл мечты о завоеваниях, превратился из воина в осквернителя могил, за каковое кощунство святая инквизиция карает суровыми кострами, и лишал покоя души неудачливых индейцев, и я говорю души, понеже признаются они человеками, хотя один монах из Мурсии, что с нами, берет бога в свидетели, что сие не так. Алчность дона Педро де Эредиа и его брата Альфонсо столь унизительна и упорна, что лучше самые жаркие стычки с индейцами, опостылело мне скитаться по кладбищам Сену, Пансену и Финсену, ворошить скелеты да черепа, и решился я уйти вместе с капитаном Франсиско Сесаром, как никто, отважным и дерзким кордовцем. И вот мы со своими отрядами перебрались в Кастилью-дель-Оро [1], и губернатор Баррионуэво принял нас с благоволением, ибо и ему нелюбо было ненасытство братьев Эредиа.

Великие опасности и пагубы повстречали мы в Кастилье-дель-Оро и в Верагуа, в тех местах туземцы почитают кровожадного тигра, каковой, по их верованиям, суть лютый зверь желтого цвета, с черными полосами и длинными клыками, почитают они также богиню Дабайду, по их верованиям, даму чистую и прекрасную, и в храмах ее, говорят, премного сверкает золотых украшений тонкой работы. Губернатор Панамы дон Франсиско де Баррионуэво устремился сердцем на невозможную затею — соединить воды огромного моря, открытого Нуньесом де Бальбоа, с другими необычайными водами Колумбова моря-океана, сие чудесное и невероятное деяние одна могущественная рука господня способна свершить. Однако вышеназванный губернатор вовлек меня в свою нелепую затею, и много месяцев я бродил по дикой сельве и среди скал; в мрачных Дарьенских отрогах я позабыл, как светит солнце; я пересек зеленые болота, где над топью летает тьма-тьмущая москитов и разносит зловредные лихорадки; я встречался один на один с ядовитыми гадюками и прочими адскими змеями, у коих на хвостах колокольчики; я закалил душу и тело, пробираясь вдоль бурливых ручьев, плывя на плотах, пирогах и бригантинах; дважды на волосок находился от того, чтобы послужить пищею злокозарным кайманам; птицы-вещуньи преисполнили меня печалью, плачем своим предвещали смерть; не зная сна и отдыха, отражал я отравные стрелы индейцев, кои способны устрашить самых твердых духом; у меня на руках преставились три наших солдата, у них от напоенных ядом дротиков кожа почернела ранее, нежели их приняла смерть. Жалкие монеты отвесили мне в уплату за мои труды, но зато в избытке имел я великую честь и удовольствие спустя некоторое время получить королевский указ, составленный в Вальядолиде, коим мне дарована должность рехидора в Пиру́ [2] «вознаграждением за службу, умелость и усердие», так было написано. И вот рехидором я прибыл на землю Куско, чудо, коему нет равного, и при виде сего града я возликовал и позабыл обо всех страданиях и тысячу раз возблагодарил Ваше Величество и господа нашего бога.

Таков уж я, что и тут не сыскал покоя, правду сказать, я не искал

[1] Входила в Тьерра-Фирме на территориях современных Колумбии и Венесуэлы.
[2] Старое название Перу.

его в сей самой сказочной и самой беспокойной части Нового Света. С другой же стороны, спрашиваю я себя: что станет с волом не пашущим и с воином не воюющим? В сем Пиру токмо и мечтаний что о землях чунчо [1], равно как в Панаме воздыхают о богине Дабайде, а в Кито — о стране Корицы и во всей Тьерра-Фирме — об Эльдорадо. У индейцев об одном разговор: как пройдешь земли чунчо, сразу за ними город, где площади вымощены золотыми плитами, серебряные жилы там распарывают землю по швам; тихие пастбища и хрустальные реки будто зеркало рая земного. Трижды ослепила меня гроза о землях чунчо и других подобных, и трижды ходил я воевать индейцев, заселять селения к услугам Вашего Величества, и всякий раз возвращался домой битым, и то чинило мне досаду и огорчение, каковые токмо возможно человеческому сердцу снести. Первый раз ходил я с греком Перо де Кандиа, и безо всякого проку, сто раз сбивались с пути и блуждали среди самых мрачных гор на земле, из разверстых небес на головы нам лились злые дожди, путь мы себе прорубали топорами и мачете, опускались в пропасти на вервиях, кои тут называются лианами, губили индейцев, не помышлявших защитить себя, и возвратились в Куско, сокрушаясь душою, с распухшими ногами и телом, изодранным терниями.

Того более плачевным был мой второй поход в земли чунчо под командой Перансуреса, помощником у коего был Хуан Антонио Паломино. И хотя оба они умелые командиры и действовали согласно, хотя отправились с нами три сотни испанских солдат, сверх того восемь тысяч индейцев и негров для услуги, мало вышло проку, и не было нам удачи. Обрушились на нас тяжкие беды, и худшей из всех был голод. В глухих горах окончилось у нас продовольствие, не было в округе ни маиса, ни юкки, никакой травы для прокорма, пришлось нам забить лошадей, одну за другой, и сперва мы ели их мясо, потом кожи, и кишки, и члены, ничто нас не отвращало. Мор напал на индейцев, живые индейцы, скорбя и плача, поедали мертвых, так велика была бескормица, жалостно было смотреть. К тому же пришлось нам биться с дикарями, причинившими нам много смертей и ран. От индейцев и негров, что вышли с нами из Куско, в живых осталось едва четыре тысячи, другими словами, половина; испанцев скончалось сто пятьдесят четыре, другими словами, половина без одного, и этот один, кого не хватало до половины, подозреваю, был я. Слава тебе, всемогущий господи! Когда, едва держась на ногах, воротились в Куско те, кому случилась удача воротиться, люди нас не признавали, полагали нас призраками, и все мы тогда поклялись клятвой никогда впредь не ходить в земли чунчо, во веки веков аминь.

Однако богу было угодно наградить меня неукротимым сердцем, говорю не для ради тщеславия. Едва я насытил голод и заживил раны, как пошел в третий поход на Юго-Восток с Диего де Рохасом, и там за большим озером основали мы город и нарекли его Ла-Плата, а потом пошли кверху в долину Тариху. И хотя добыл я в тех походах одно горе и злосчастие, не заставил долго себя упрашивать и отправился в четвертый поход на Южные земли под командою Перальвареса де Ольгина. Однако в тот раз мы не пошли в Чукиаво, ибо знали, что в Сиудад-де-лос-Рейесе [2] люди Альмагро убили дона Франсиско Писарро, и нас позвали биться вместе с ними. Со всей поспешностью возвратились мы в Куско, и вскорости случилась жестокая битва при Чупасе, в коей губернатор Вака де Кастро и люди Писарро победили и разбили людей Альмагро, а мой командир Перальварес де Ольгин потерял жизнь на поле брани, я же устранил себя от сражения не из страха встретить смерть, в таковой страх я никогда не впадал, но из иных здравых рассуждений, кои Ваше Величество узнает, буде и далее утруждать себя чтением сего письма.

[1] Индейское племя в Перу.

[2] Первоначальное название Лимы.

Почитайте, Ваше Величество, за подлинное: лишь прибыл я в Пиру, а сию землю я полагаю прекраснейшей на свете, глазам моим предстали творенья всех Писарро и Альмагро, их распри и упрямство, кои свели на тот свет и одних и других. Доподлинно мне ведомо, что тягались они друг с дружкой не ради приверженности Вашему Величеству и не во славу Испании, но из-за алканья золота, кое подвигало их на все. Поход Франсиско Писарро и Диего Альмагро в те края Вашего королевства с самого начала отличали своекорыстные интересы, а не жажда подвигов, и всякий знает, что торговцы и мытари засели в Панаме и ждут поживы, также знают все, что оружием и деньгами ссудил их заранее некий священнослужитель Луке, который распоряжался деньгами другого — лиценциата Эспиносы, так зовутся сии торгаши. Кольми паче Писарро и Альмагро не почитают себя товарищами по оружию, но злобничают яко пираты-соперники и выслеживают завистливо, кто в своих вылазках натаскает больше серебра. По моему разумению, никакой христианин не отважится отрицать, что оба два были отважными конкистадорами и играли жизнию многократно, а буде так, говорю я, кто из верных людей, оставивших дом сьой и семью и пустившихся в Индийские земли, остерегал себя от страданий и смерти? Ваше Величество сказало по знаменательному поводу, что величие человека нуждается в иных добавлениях к отваге и храбрости; таковых драгоценных свойств, по моему разумению, недоставало клевретам Писарро и клевретам Альмагро. Простите мне, Ваше Величество, высочайший и могущественный Император, мою грубую прямоту, для ради великой любви, каковая мною движет, однако я должен сказать Вашему Величеству безо всякого смущения, что ни сторонники Альмагро, ни приверженцы Писарро никогда не были моими кумирами, а паче последние, ибо у Альмагро захваченные деньги щедро расточались, а у Писарро они запирались в железный сундук, и ныне братья Писарро самые богатые люди в Пиру, коли не на всем белом свете. А еще и Писарро и Альмагро погубили людских жизней без нужды и без рассудку, пробудили жестокость, коя оборотилась против них же самих и против доброй славы Вашего Величества. Не излишнее ли злодейство было глумиться и издеваться над индейцами, не довольно ли было с лихвою того, что у них отнимали все золото? Что за прибыток рубить голову инке Атагальпе, коего вынудили уплатить столь богатую дань, куда как славнее и по-христиански было послать его пленником целовать стопы Вашего Величества? Случилось мне быть в кругу любопытствующих в тот печальный день, когда Эрнандо Писарро повелел рубить правые руки шести сотням туземцев на площади города Куско, таковым манером оставил он вживе шесть сотен одноруких врагов Вашего Величества, и равно выпала мне невзгода присутствовать при последнем испытании немалого числа людей, шедших на пытки и на виселицу. Не устрашился я духом, светлейший Король и Император, от мысли, что убивают мне подобного, ибо никакой христианин не волен в деле сем, буде на то воля провидения, однако же истинно, что шестнадцать лет не щажу трудов я и жизни в Новом Свете, и по сей день не причинял напрасной смерти, хотя на поле брани меч мой разил врагов, и бессчетно полегло их в сражениях от пуль моего аркебуза; я разумею, что убитые в сражении не смущают совести — убиты они, дабы защитить свою жизнь и честь знамен Вашего Величества, а таковое есть дело наизаконнейшее. Книги поведают грядущим векам, как гордыня и алчность породили распри и подвигнули сторонников Писарро резать сторонников Альмагро, а сторонников Альмагро изничтожать Писарро, покуда посланцы Вашего Величества не сотрут с лица земли всех Альмагро и всех Писарро, буде сии посланцы обуреваемы помыслами спасти Пиру и возвратить мир его обитателям.

Да простит Ваше великосердное Величество мою дерзость, однако не могу в сем нескладном письме умолчать, что мыслю я об одном

из королевских делегатов, вышеупоминавшемся губернаторе и судье по имени Вака де Кастро, его Ваше Величество направило посредником по судейским делам, а он вскорости обнаружил свою приверженность к банде Писарро и после сражения при Чупасе, кое выиграл благодаря военной мудрости и умелости своего блестящего помощника Франсиско Карвахаля, мало ему было обезглавить Диего де Альмагро Младшего, денно и нощно он вешал на виселицах побежденных, и там был Педро де Оньяте, мой земляк, и Франсиско де Мендибар, и еще многие баски. Сколько хитроумия ему было надобно, чтобы, испачкавшись в человеческой крови, таким чистым и нарядным ходить и купаться в золоте; промышлял он торговлей, а не то ростовщичеством, укрепился на должности и прибрал все к рукам, изничтожал конкурентов, присвоил казну королевского суда, вот оно — правосудие, вот оно — милосердие, вот оно — бескорыстие высокопоставленного лица, у коего от судьи один токмо диплом!

Из всех Писарро, по моему разумению, более других терпеть невозможно было достославного честолюбца Гонсало Писарро, каковой столько докуки и досады учинил Вашему Величеству. Он был мужественной повадки и прекрасной наружности, росту высокого и богатый без меры, ибо награбил золота у инкских императоров, а еще имел серебряные копи, коими завладел в Потоси, и тьма индейцев в этих его копях сгибнула. Однако же сего довольного Гонсало Писарро вдруг одолела мятежная лихорадка, никогда ранее его не сотрясавшая, едва ему стало ведомо, что Указами Вашего Величества в Пиру облегчалось рабство индейцев, управляющие и владельцы энкомьенд [1] лишались их привилегий и запрещалось натруждать туземцев яко скотину. По заслугам получил напоследок сей обманный великий бунтарь, ибо бунт свой ничтожный поднял он по наущению торговцев индейцами, ратоборствовал он противу вероломства судейских и пошел войною на Ваше Величество с кличем вельми осторожным: «Да здравствует Король», но не «Смерть Королю», как надлежало бы кричать истинному бунтовщику, не убоявшемуся кары смертной, не устрашившемуся низвергнуться с высот своих в ад.

Высокие и благородные помыслы сопутствовали Вашему Величеству в издании вышеупомянутых Указов, и да будет угодно господу, чтобы сказками и выдумками пребывало то, что ныне передается из уст в уста: якобы Ваше Величество склоняется отменить их. Также да будет угодно зиждителю, чтобы никогда не раскаялось Ваше Величество в назначении вице-королем Пиру с поручением привести в действо сии мягкосердные Указы твердого духом сеньора Бласко Нуньеса де Велу, самого досточтимого и отважного командира из всех, какие есть на службе у Вашего Величества. Его стойкому намерению привести к победному концу миссию, возложенную на него Вашим Величеством, не воспрепятствовало ни глумление, ни клевета, не смутили его бездушные монахи, кои отнеслись к нему как к безрассудному сатрапу, творившему беззаконие; не устрашил его и Гонсало Писарро, пославший против него своих неисчислимых соратников с добрым запасом пуль и пороха; ни на миг не поколебали его бесчинства нечестных судей; он погрузился на судно в Андалусии с королевским поручением исполнить Указы и исполнил бы без колебания, однако всякий индеец, коему он возвращал свободу, подвигал его на шаг к собственной смерти. Однако он не направил осторожные стопы в Испанию донести Вашему Величеству о приключившихся изменах, не дрогнул и не отклонился от исполнения Указов ради успокоения скаредных бунтовщиков, но упорно повел свое слабосильное войско против растущих числом врагов и сам пал в сражении, а славную голову отсекли подлые руки. Столь же твердых и безрассудных, как

[1] Земельные владения, которые отдавались конкистадорам вместе с индейцами, обязанными трудиться на этой земле.

сей муж, должно всегда назначать Вашему Величеству губернаторами Индийских островов и Тьерра-Фирме, дабы споспешествовало это возвышению испанской нации и послужило достойным примером управителям Вашего Величества, кои в подобных примерах нуждаются.

Воротимся же к судьбе ничтожного вассала Лопе де Агирре, почитайте, Ваше Величество, за истинную правду, что, меж тем как мятежные страсти распространились по Пиру, и владельцы асьенд и поместий с превеликим удовольствием устремились под знамена Гонсало, и Гонсало был возведен на трон, и ему поклонялись как идолу и губернатору здешних земель, и победы его праздновались в Сиудад-де-лос-Рейесе с роскошными пирами и боем быков, каковые обошлись по меньшей мере в сорок тысяч дукатов, я, солдат Лопе де Агирре, не пошел шутом на сей фарс и не дал себя вовлечь в Гонсаловы плутни; совсем напротив, я поспешил на защиту пропащего дела злосчастного вице-короля в сообществе с Габриэлем де Перниа, сержантом, подобно мне послушным приказаниям и воле Вашего Величества. Далее, когда вице-король был разбит и посажен в тюрьму клятвопреступниками-судьями, я вступил в заговор, имевший целью вернуть ему свободу, и на волос был от того, чтобы к благому концу привести нашу затею, и привел бы, ежели бы не навет одной блудницы, погрязшей в любострастии к Гонсало Писарро,— да устыдит ее господь! — и мне самому не отрубили голову токмо благодаря капитану Лоренсо Алдане; другого не оставалось, как бежать в Кахамарку. Там я присовокупил свои помыслы к помыслам Мельчора Вердуго, каковой, не будучи святым, все же оставался верным Вашему Величеству и презрел искушения, коими опутывали его тираны, дабы склонить его волю к неверности и непокорству. В Кахамарке мы получили письмо от Гонсало Писарро, убеждавшего нас присоединиться к нему; однако же Мельчор Вердуго и я не вняли ему, но отправились в Трухильо и, воссоединившись, хитростью и лукавством овладели городом и объявили сию крепость верной Вашему Величеству; однако же имели мы мало сил, чтобы удержать ее в руках, ибо бесноватый Франсиско Карвахаль пошел на нас с великим войском, и посему мы, сорок солдат, взошли на корабль и пустились в море, и с ними я, ничтожный вассал Вашего Величества, произведенный в старшие сержанты; мы бросили якорь на побережье Никарагуа, то не было бегство устрашенных, но поход сильных духом, дабы собрать еще людей и возвратиться в Пиру воевать тирана, даже если бы на то положили животы свои.

В порту Реалехо перво-наперво пришлось нам биться с войсками, посланными, дабы извести нас, генералом Педро де Инохосой, каковой в те времена еще пребывал в тщеславных приспешниках Писарро и не перешел на сторону Вашего Величества, как справедливо поступил позднее. На пути наших странствий выпало нам бед и злоключений без меры, мы миновали области, где не ступала нога человеческая, прошли реки, где никто до нас не плавал, без внимания оставили земли, быть может, подобные тем, что открыл впервые Васко Нуньес де Бальбоа, и из озера Никарагуа по реке, носящей имя Десагуадеро, вышли в Северное море и заняли, наконец, город Номбре-де-дьос [1], пребывавший в руках у Писарро. Против нас снова выслал войска генерал Инохоса, каковой, как было сказано выше, тогда оставался еще врагом Вашего Величества, и принудил нас сжечь город, а затем покинуть его и взять курс на Картахену.

В индийской Картахене, куда судьбе угодно было привести нас, мы получили известие от достославного прелата дона Педро де Ла Гаски, наделенного Вашим Величеством всеми земными полномочиями и посланного короною для уничтожения вознесшейся гордыни Гонсало

[1] Находится на территории нынешней Панамы.

Писарро; дон Педро де Ла Гаска прибыл в Тьерра-Фирме с великим желанием выполнить поручение, уповая не на твердость руки и отвагу, коих у Гонсало самого было в избытке, но на ум и хитрость, эти музы не сопутствовали Гонсало, понятное дело. Мельчор Вердуго и пишущий сии строки старший сержант направили письмо, предлагая наши услуги прославленному дону Педро де Ла Гаске, ибо он являлся законным представителем Вашего Величества, но преподобный отец не оценил наших намерений, предубежденный против нас теми делами, кои мы совершили для пользы Вашего Величества, и в вежливых выражениях повелел нам мирно стать лагерем в Никарагуа в ожидании его приказов. Мельчор Вердуго избрал долю возвратиться в Испанию, где Ваше Величество вознаградило его за службу, отдав ему в энкомьенду Сантьяго, а я направил свои христианские стопы в Никарагуа ожидать послания дона Педро де Ла Гаски, но оно, спаси меня небо, так и не пришло.

Коим образом дон Педро де Ла Гаска, безобразный лицом горбун и отвратительный, яко колдун, и, напротив, божественный в суждениях и речах, яко ангел, сумел разбить наголову Гонсало Писарро, не тратя на то града пуль, есть прекрасная история, ведомая Вашему Величеству от слова до слова, ибо была замышлена и направлена Вашим Величеством. Письма, писанные им денно и нощно в стиле, коему обучился он в Алкале и Саламанке, всеобщее прощение всем виноватым, обещанное им, яко хлеб благословенный; его мягкие посулы благ вперемежку с ядовитыми угрозами — сии хитрости без промедления изничтожили твердость приверженцев Писарро. Первыми на посулы сдались его самые смелые капитаны, за ними гордыню свою умерили купцы и торговцы, в былые дни подстрекавшие Гонсало к мятежам. Сперва они глумились и надсмехались над священником, называя его Лиценциатишкой или Гаскушей, а под конец великое множество их перешло на его сторону, и бросили Гонсало одного с палачом после славной битвы при Ксакиксауане, где войско Вашего Величества одержало победу, потеряв одного токмо солдата, ибо покойный от рождения был придурковат.

Один и другой раз отринул меня Ла Гаска, во второй раз я упорствовал из Никарагуа, предлагал свои услуги сержанта; равным образом поступил он и с двумя младшими лейтенантами, басками, пребывавшими без дела; похоже, лиценциат вознамерился разгромить предателей силою одних отважных капитанов и солдат, перешедших от Писарро на его сторону, так и случилось — он их разгромил; возвратиться в Пиру и в Куско, где возводил я стены моего дома и взращивал дочку Эльвиру, не было у меня возможности до года сорок восьмого, после того как тиран Гонсало Писарро был разбит, разгромлен, предан смерти и погребен. Имя мое не упоминалось при раздаче наград и пожалований, кои были произведены правителем Ла Гаской в Уайнариме по одержании победы; ибо, во-первых, никогда не просил я и не получал ни платы, ни вспомоществования в награду за службу Вашему великодушному Величеству в Индийских землях; и, во-вторых, правитель Ла Гаска более склонен был поощрять раскаяние прежних сторонников Писарро, нежели останавливаться мыслями на тех, кто никогда приспешниками Писарро не был. И бог свидетель, поверяю Вашему Величеству таковые малости не чтобы слезничать или жалобиться на Ла Гаску, чье хитроумие и осмотрительность искренне почитаю, но дабы излить душу свою в сем письме, каковое Ваше Величество ни в кои времена не получит. За честь почитаю бедность в радостях, сии слова читал я в одной книге.

Целует августейшие стопы Вашего Величества многострадальнейший и всепокорнейший из вассалов, готовый снова с усердием служить Вашему Величеству с оружием в руках.

Лопе де Агирре, солдат».

Лишь прибыв в Куско, никак не раньше, понял Лопе де Агирре, что и вправду есть на земле Новый Свет. Новый, хотя существует с незапамятных времен. Не распотрошенные захоронения Сену и не битвы в панамской сельве поразили его в первую очередь, но сама дикая природа (и она дает о себе знать в древнейших странах) и еще сражения с индейцами за золото (война и алчность — страсти для человечества не новые, а для испанцев и подавно).

Дух первооткрытий гнездится и трепещет в этих камнях, покоренных трудами инков, вытесанных по законам чудесной геометрии, воздвигнутых в небо силой человека, не оставившего секрета своего мастерства. Лопе де Агирре родился и вырос среди гор и пропастей, но никогда ранее он не проникался мудростью камня так, как проникся у подножия этих сооружений; никогда ранее не тревожила его покоя тайна гор, как растревожила она его в этих пещерах — обиталищах диковинных богов и героев, которые населяли легенды и смущали колдовскими снами самые бестрепетные сердца.

Рехидор Лопе де Агирре прибыл в Куско в 1536 году и сразу же поменял гордую роль конкистадора на более скромную — человека, который ищет себе родину и очаг. И он точно знал, где они, когда над ним взошла первая луна и на плечи ему пал первый дождь. К рассвету он уже строил себе дом с каменным очагом и каменным ложем. Дом в квартале Пумакк Чупан, что означает «хвост пумы», у слияния двух рек: Уаянай и Тульумайо. Это был его угол на земле, меж снежных ущельев и холмов, которые на расстоянии казались синими.

Как-то под вечер мимо его двери прошла индеанка, отставшая от остальных. На плече она несла кувшин, а сама была в черной хлопчатой юбке, красной кофте, в пестрой накидке и платке, едва прикрывавшем волосы сзади. Ее звали Круспа (что равнозначно имени Крус [1]), этим именем нарек ее католический священник, однако у нее было и другое, индейское имя, которого она никому не открывала. Наверное, она происходила из благородной семьи, во всяком случае таковыми были ее поведение и манеры, но и о своем происхождении она тоже не говорила. Лицо у нее было такое, словно она вот-вот заплачет, улыбка — будто собирается всхлипнуть, а в голосе звенели близкие слезы, однако слезы не проливались, и никто никогда не видел ее плачущей.

Стайка женщин каждый день проходила перед домом рехидора Лопе де Агирре, и каждый раз индеанка Круспа с неизменным кувшином и несчастным видом невзначай отставала. Субботним августовским вечером в пору сева — charca yapuy quilla — Лопе де Агирре приблизился к ней, спросил, не желает ли она войти к нему в дом замесить хлеб, она сказала «да», и с той ночи она вместе со своей тоской стала жить у него.

Семь лет ушло, прежде чем явилась на свет Эльвира. Дочка-полукровка родилась после того, как Лопе де Агирре воротился с поражением из своего второго похода на чунчо под командой Перáльвареса де Ольги́на, который не пошел в Чукиаво, как о том рассказывает сам Агирре Карлосу V в своем письме, или «вопле души». Вот тогда и родилась Эльвира, которой уже не ждали и не боялись, она не унаследовала ни скорбного выражения лица матери, ни жестких черт отца, но излучала покой и нежность, точно образ пресвятой девы — покровительницы Арансасу.

Малышке еще не было году, она лишь начинала спотыкаться на каменной галерее, когда Лопе де Агирре объявил себя подданным вице-короля Бласко Нуньеса и готовым к его услугам; ему пришлось бежать в Трухильо, потом отправиться в Панаму с Мельчором Вердуго. В Куско он вернулся четыре года спустя, восстание Гонсало Пи-

[1] Крус — крест *(исп.)*.

сарро было подавлено, а мятежник казнен, к тому времени малышка уже знала «Господи, помилуй» и мурлыкала жалобные кечуанские мотивы, которым обучила ее мать.

Лопе де Агирре, как мы знаем, не получил вознаграждения за свою службу и за упрямую верность королевскому делу. Он утверждает, что ничего и не просил. Он предпочел забыть войну, сменить ее на тихие облака Куско, каменный дом, Эльвиру, Круспу, лошадей. В Севилье он объезжал лошадей и снова мог заняться этим делом, конечно мог. Разумеется, эти лошади были не то что в Андалусии; от ледяных ветров и тяжести гор их стати полиняли; те были резвые, нервные, блестящие; эти — маленькие, выносливые, невзрачные и способные на любой подвох. Лопе де Агирре скачет по кругу, усмиряет лошадей, Эльвира, вскарабкавшись на изгородь загона, испускает крики гордой радости, Круспа, с мукою в глазах, не говорит ничего. Но права малышка. Ни в Куско, ни в окрестностях нет объездчика, который осмелился бы соперничать с Лопе де Агирре в знании ремесла, в твердости руки, в сметливости. Богатые землевладельцы лично приходят за ним, когда наступает пора объезжать молодых дичков, к нему идут и священники, которые по совместительству, бывает, занимаются ростовщичеством или коневодством. Только один раз сбросил его жеребец, темно-рыжий и волосатый, как дьявол, Эльвира расплакалась на изгороди, не от жалости, но из протеста против страшной несправедливости.

Но Лопе де Агирре не отказался от своего, продолжал объезжать лошадей и сосредоточенно наблюдал за тем, как темнели и просветлялись горы. Он мечтал об иной судьбе — не для себя, не для Круспы, а для малышки. Город Потоси прекрасен, как те земли, что открыл Кортес, его неиссякающие серебряные жилы возвеличили инкских королей, равно как возвеличивают конкистадоров. «Кто не видел Потоси — не видел Индийских земель»,— в один голос говорят все, побывавшие там. Нет на земле холма, так вольно овеваемого легкими ветрами, хранящего столько благородного серебра. Индейцы в печах расплавляют металл и превращают его в посуду и драгоценности великой красоты.

Лопе де Агирре седлает своего самого быстроногого перуанского коня и отправляется в Потоси, проделывает сто шестьдесят лиг по горам и долинам; камни, отесанные индейцами, словно зеркала в ночном свете, воды широкой лагуны долго полощут силуэт всадника, точно призраки встают на пути репейники, обескровленные муравьями. В Потоси он купит ожерелья и браслеты, чаши и кофры, изображения святого Себастьяна и пресвятой девы, все из чистого серебра, развезет товар по другим селениям с большой прибылью и вернется в Куско с выручкой и подарками для Эльвиры; эти розовые мечты и довели его до беды.

(Стены Потоси. В глубине вырисовываются очертания холмов Гуайна-Потоси и Апо-Потоси. За стенами лепятся крытые соломой лачуги индейцев. У стен бурлит толпа из торговцев и странников. Над стенами развевается белый флаг с красным крестом — флаг города. Появляется Лопе де Агирре во главе каравана.)

Лопе де Агирре. Я покидаю славный город Потоси, самый богатый и дивный город на земле. Со мной караван, груженный серебряной посудой и украшениями, сработанными руками индейцев. Я направляюсь в Тукуман, который населяет щедрый и мирный христианский народ. Люди там всегда говорят правду, умеют держать слово и не предают друг друга. Им я продам свой товар за хорошие деньги, на выручку куплю лошадей с мощным крупом и широкой грудью, и у меня еще останутся золотые дублоны. А потом — потом я вернусь в Куско, где меня ждут улыбка Эльвиры, мой каменный дом и печаль Круспы.

Хор старых торговцев. О несчастный Лопе де Агирре, ты не предчувствуешь, ибо не владеешь даром предвидения, тот ураган ненависти, что искалечит твою жизнь. Не выходи из Потоси, возврати купленное индейцам — мастерам серебряных дел, не пренебрегай дурным знаком, что начертан в воздухе у тебя над головой.

Лопе де Агирре. Я осмотрительный и уважающий законы дворянин, я солдат, что отрекся от оружия ради честной торговли. Индейцы в моем караване довольны хорошим обращением, им не тяжело нести моих серебряных святых, чаши и съестное себе на пропитание. Я шагаю впереди, я им друг и хорошо знаю дорогу, нам неведомы раздоры и страхи. Что за беда хочет лечь у меня на пути, словно ядовитая змея? Что за сумасбродный оракул пророчит мне несчастье?

Хор старых торговцев. Хуан Юмпа, индеец-звездочет, индеец-мудрец; Хуан Юмпа, ему сто лет, он знает язык звезд; Хуан Юмпа, что беседует с усопшими младенцами, орошающими небесные сады; Хуан Юмпа предостерегает тебя именем своих богов: не выходи сегодня из Потоси!

Лопе де Агирре. Вы думаете, мой разум христианина доверится гаданиям какого-то индейца, захмелевшего от чичи и очумевшего от старости? Вы хотите, чтобы веру Иисуса Христа я поставил ниже суеверий их дикарских богов? Вы что, потеряли рассудок?

Хор старых торговцев. Не выходи сегодня из Потоси, Лопе де Агирре. Хуан Юмпа, что беседует с усопшими младенцами, предостерегает тебя...

(Входит алькальд Франсиско Эскивель со своей супругой Росарио Эскивель.)

Франсиско Эскивель. Солдаты, схватите этого торговца, малого ростом и ничтожного видом, который ведет за собой караван индейцев! Схватите его, солдаты, и бросьте в тюрьму со связанными руками! Ясно и твердо сообщите ему, что преступно чрезмерно нагружать туземцев, а два индейца, что идут с этим человеком, согнулись под огромными тюками.

Лопе де Агирре. Неправедный суд вершит ваша милость, сеньор алькальд. Не несут мои индейцы непомерного груза, то полые серебряные сосуды и котомки с пропитанием для них же самих. К тому же не одни мои индейцы так нагружены, ваша милость видела и других, выходивших сегодня за городские ворота. В караване каждого купца есть индейцы с такою ношей, из Потоси не вышло ни одного каравана без индейцев с поклажей. Почему ваша милость указала именно на меня? Ваша милость решила, что я слаб или труслив лишь потому, что ростом я меньше других. В таком случае ваша милость совершает большую ошибку, ибо в малом моем теле дремлет баскский лев, который не потерпит ни обид, ни унижений. Да узнает об этом ваша милость в добрый час.

Франсиско Эскивель. Солдаты, свяжите его и отведите в тюрьму за нарушение правил и за дерзость. Заприте и держите под замком в темнице, пока не будет ему объявлен мой приговор и не свершится наказание.

Лопе де Агирре. Я не позволю грязным рукам подлых ищеек и тюремщиков касаться меня. Я сам пойду туда, куда судьбе угодно меня направить.

(Лопе де Агирре выходит, солдаты следуют за ним.)

Хор старых торговцев. Осторожно, сеньор алькальд, осторожно, не забывайте, что люди малого роста превращаются в огромных демонов, когда их притесняют или подвергают оскорблениям. Да изменит осторожность ваши намерения, сеньор алькальд.

Франсиско Эскивель. Ваши предупреждения и советы назойливы. Я алькальд, и мое дело — заставить уважать законы и власть. Виновный по имени Лопе де Агирре получит двести ударов плетьми

в наказание за пренебрежение правилами и за дерзость. Таковы моя воля и приговор.

Хор старых торговцев. Ваша милость сказала: двести ударов плетьми? Не кажется вам чрезмерным наказание за столь малую провинность? А знает ли ваша милость, что арестованный сержантом сражался во славу короля в Индийской Картахене и в Кастильедель-Оро? Знает ли ваша милость, что Лопе де Агирре — баскский дворянин и его герб венчает орел, расправляющий крылья для полета? Знает ли ваша милость, что у всех мужчин из рода Агирре отвага и гордость — в крови и что все они склонны к гневу и мести?

Росарио Эскивель. Внемлите, супруг мой, советам почтенных купцов. Простите меня, дерзкую, что осмелилась на людях говорить с вами подобным образом, мной руководит не желание вам перечить и не сострадание к человеку, коего собираются подвергнуть наказанию. Я содрогаюсь пророчеству бесчисленных бед, что падут на наш дом, если будет исполнен ваш приговор. Глаза арестованного сверкали, будто лезвие кинжала, руки противились, точно вырванные из земли корни. Молю вас, супруг мой, отмените наказание.

Франсиско Эскивель. Гонец, без промедления ступай в тюрьму, где заключен Лопе де Агирре, и моим именем прикажи альгвасилу Мартину Артеаге привести в исполнение приговор — двести ударов плетьми. Поспешай, гонец!

(Гонец выходит.)

Хор старых торговцев. Ярость и кровь падут на дом твой, словно реки, обрушенные сатаной, лиценциат Эскивель. Старый индеец Хуан Юмпа, что беседует с усопшими младенцами и умеет читать будущее на листьях коки, то и дело поминает твое имя в погребальных заклинаниях.

Росарио Эскивель. В снах я вижу разбушевавшееся море и высокие волны, выбрасывающие на берег вашу отсеченную голову. Супруг мой, мне страшно!

Хор женщин города Потоси. Горе нам! У нас, женщин, сжимается сердце в предчувствии грядущих жестокостей и страданий. Мы, женщины, душой чуем беды, грозящие нашим близким. Вот возвращается гонец, по его твердой поступи видно, что несет он суровые вести.

(Входит гонец.)

Гонец. Когда я достиг ворот тюрьмы, сеньор алькальд, Лопе де Агирре во весь голос просил, чтобы заключение, которое он уже счел наказанием, заменили ему на виселицу. «Лучше отрубите мне голову, пронзите мне шпагой сердце, только не пятнайте тела моего тюремным позором!» — так кричал он, и столь велика была его ярость, что едва не разорвал он цепи на руках. Тут прибыл я и передал альгвасилу ваш приказ. Услыхав эти слова, Лопе де Агирре стал белее покойника, сам скинул одежду, сел верхом на мула, который должен был отвезти его к месту наказания, он замолчал, и молчание его было страшнее проклятий...

(Входит Лопе де Агирре, его спина в крови.)

Лопе де Агирре. Замолкни, вестник, я сам расскажу конец этой истории! Двести ударов легли на мои обнаженные спину и ягодицы. Двести ударов отсчитал альгвасил, двести ударов отсчитало мое сознание. Плеть терзала кожу, точно кондор. Кровь лилась по мне, словно кипящая ртуть, я не чувствовал боли, ибо ярость моя была столь сильна, что не оставляла места другим чувствам; я не плакал, потому что дома меня не учили плакать; я не стонал, потому что мужчины у нас в роду никогда не жаловались и не стонали. Когда на меня обрушился двухсотый удар — я считал их все от первого до последнего,— я рухнул на каменные плиты площади, и на меня вылили ведро обжигающей и позорной соленой воды.

Хор женщин города Потоси. Иди к нам в дом, мы хотим

врачевать твои раны. Ты исцелишься пластырями из заговоренных трав, что приготовляет знахарь, молитвами, обращенными к богородице, песнопениями великого Чиму и мудростью индейских хирургов. Ты исцелишься и возвратишься к священным камням Куско, где тебя ждут твоя жена и твоя дочь, твой дом и твои лошади. И когда вновь настанет январь, месяц покаяния и дождей, рубцы от твоих ран сгладятся, ты начнешь забывать обиду, и сегодняшнее несчастье покажется тебе дурным сном.

Лопе де Агирре. Даже проживи я века, я никогда не забуду ни единой минуты этого ужасного дня; сердце мое забывать не умеет. Ваша милость, сеньор алькальд, велела высечь меня без суда и без причины, повинуясь одному лишь неясному желанию обесчестить меня. Вы не вняли предостережениям старых купцов, вас не смягчили мольбы и слезы вашей супруги. Ваша милость пожелала увидеть, как струится кровь маленького Лопе де Агирре, и божьей волей увидела. Вот, ваша милость, как она струится из моих вен. Ваша милость может омочить в ней свои пальцы, понюхать ее словно бальзам, попробовать на язык, как вино,— понравится ли. Кровь моя не отравленная, ваша милость, клянусь.

(Франсиско Эскивель и Росарио Эскивель уходят.)

Хор женщин города Потоси. Не сжигай своей жизни в пламени злобы, Лопе де Агирре, не дай сгореть своей душе в адском огне.

Лопе де Агирре. Я не буду считать себя человеком, пока не отомщу за оскорбление. К чему возвращаться в Куско, если мне не радоваться прелести дочери, пылу жены, пока на мне ярмо надругательства? Липкий ручеек, увлажняющий мою спину, не высохнет, язва, что раздирает мне душу, не зарубцуется, пока глаза мои не увидят, как к моим ногам потечет кровь того, кто неправедно пролил мою кровь. Куда бы ни бежал Франсиско Эскивель, на земле для него не будет убежища, на небесах не найдет он укрытия; куда бы ни подался, повсюду на него будет нацелена ненависть моего сердца. Могущественный святой Михаил, прошу тебя, сделай душу мою твердой, как скала, ногти острыми, как иглы, не дай проникнуть в сердце мое ни устали, ни жалости, сделай меня жестоким, как волки, осторожным, как змея, пока не будет наказан злодей так, как наказал твой непреклонный меч возгордившегося сатану, аминь.

(Лопе де Агирре медленно выходит. На стены города спускается ночь.)

Хор старых торговцев. И наступила для Лопе де Агирре долгая ночь преследования и охоты. Пагубная жажда мести железной петлей затянется на его шее, породит страшное смятение, что не даст покоя его ногам, сна его глазам, в час еды станет ему поперек горла. Словно злобные розы будет лелеять Лопе де Агирре раны, разъедающие его спину; собственными ногтями раздерет их, дабы они не зажили и кровоточили. И куда бы он ни пошел, вечно пред глазами его будут те плети, как разъяренный осиный рой.

Хор женщин города Потоси. Три года и четыре месяца станет Лопе де Агирре выслеживать врага на земле Перу и в окрестных владениях. Пеший и босой, одолеет он равнины, проберется сквозь заросли глухой сельвы, перейдет вброд стремительные реки. Он будет жевать траву, как лошади или ламы, пить с ладони воду из канав, будет спать на скалах и в колючих зарослях, тело его станет нечувствительным к боли, забудет о немочи, а дух его будет питаться жаждою мести, и жаждою мести будут гореть его глаза.

Хор старых торговцев. Тщетно алькальд Франсиско Эскивель оставит сотни лиг между собою и идущим за ним по следу призраком Лопе де Агирре. Тщетно будет прятаться он в старом монастыре в Сиудад-де-лос-Рейесе под покровительством монахов-доминиканцев и святого инквизитора, ибо ночами он будет слышать шаги

Лопе де Агирре на соседних улицах, в тусклом свете масляного фонаря ему будет мерещиться за углом щуплая фигура этого посланника ада. Тщетно станет он скрываться в Кахамарке в обществе надежной и верной супруги своей Росарио Эскивель, ибо однажды воскресным утром там окажется Лопе де Агирре, во время службы в церкви Непорочного зачатия, коленопреклоненный у главного алтаря, будет он притворно бить себя в грудь, притворно изображать взглядом муку, будто страждет от ран, что покрывают тело распятого Христа. Тщетно алькальд будет взбираться вверх триста лиг до самого Кито, мрачного и сурового города, населенного людьми скрытными и невеселыми, где есть епископ и капитул, тщетно, ибо Лопе де Агирре будет таиться там в полутьме прихожих и подъездов, выступать вдруг из-за питьевых фонтанчиков, нечесаный и босой — точь-в-точь бродяга юродивый.

Хор женщин города Потоси. О непреклонный мститель! Протекли три года и четыре месяца, а охота не прекращалась ни на миг. И одним сентябрьским днем алькальд Франсиско Эскивель принял решение вернуться в Испанию, чтобы море-океан пролег между его жизнью и гневом Лопе де Агирре. И вот супруги в порту Кальяо, вот уже подняты на палубу их кофры, и тут Росарио Эскивель различает на фок-мачте старого матроса, который если не сам Лопе де Агирре, то так похож на него, что благоразумнее вернуться на берег. Конечно, это не был Лопе де Агирре, но слишком был похож на него.

Хор старых торговцев. Протекли три года и четыре месяца, тысяча двести дней и ночей, а алькальд Франсиско Эскивель не вкусил и крупицы отдохновения, не испил и капли покоя. И вот он снова приближается к Потоси, сторожкий и подозрительный, как олень.

(Входят Франсиско Эскивель и Росарио Эскивель.)

Франсиско Эскивель. Не глупо ли называть жизнью эту агонию, если каждый день может стать днем нашей смерти? По пятам за мной крадется кровожадный тигр, по ночам Лопе де Агирре точит кинжал, а воля подстрекает вонзить его в мою грудь. Во всякой тени может скрываться засада, из-за любой двери может появиться его рука, в каждом кушанье может оказаться яд, засыпая, я могу не проснуться.

Росарио Эскивель. На всей земле не найдется для нас крова, потому что бросаем все, едва его тень проступает на стене, и не найдется клочка земли, чтобы обработать, огня, чтобы зажечь, птиц, чтобы слушать их пение, ибо все становится ненужным, как только в ухо дохнет шепотом: «Лопе де Агирре здесь. Лопе де Агирре пришел».

Франсиско Эскивель. Легче встретить смерть лицом к лицу, чем, ожидая ее, умирать каждый день. Отправимся в Куско, жена, там, у подножия гор, решится моя судьба. В Куско Лопе де Агирре пустил корни, там он построил дом, в Куско живут и ожидают его жена и дочь. Может статься, его дом, его жена или дочь сумеют остановить руку, занесенную на жизнь человеческую, ибо, убив, он станет преступником и потеряет их. Отправимся в Куско, жена, там моя шпага скрестится с его шпагой и сбудется то, что предначертал господь.

Росарио Эскивель. В Куско тебя ожидает покой или смерть! Пойдем же туда!

(Франсиско Эскивель и Росарио Эскивель выходят. Над стенами города занимается заря.)

Хор старых торговцев. Как только солнце покидает бездну и встает над горизонтом, дабы дать нам свет, с черных небес нисходит трагедия, чтобы накрыть нас своим темным крылом. Лопе де Агирре, шедший по следу Франсиско Эскивеля через луга и горы,

исполненный все той же ярости, отправился за ним и в Куско. В Куско, под защитою величественных гор, под покровительством тысячелетних камней, на попечении приемлющих храмов, Лопе де Агирре в своей мести не остановится на полпути.

Хор женщин города Потоси. Гнев святого Михаила-архангела торопит его шаг, зажигает его взгляд, закаляет его сталь. Лопе де Агирре чует, как за спиной его вырастают крылья святого Михаила-архангела, как тело его наливается силой святого Михаила-архангела, и эта сила побуждает его: убей.

Хор старых торговцев. Лопе де Агирре без колебания ступает на самые опасные дороги, ведущие в Куско, босой взбирается на самые высокие скалы, мостом нависшие над рекой Апуримак, карабкается по обрывистым тропам инков, переваливает через мрачные хребты Аймараес и добирается до Куско со сбитыми в кровь ногами и разъяренным сердцем.

Хор женщин города Потоси. Горе нам! Гнев святого Михаила-архангела движет его рукой.

(Входит гонец.)

Гонец. Я принес дурные вести. Защита и покровительство, которые предложили Франсиско Эскивелю власти города Куско, не помогли. Не помогли ни предусмотрительность, ни осторожность, ни то, что он заперся в четырех стенах и не показывался на улице. Не помогла и охрана, которую Росарио Эскивель велела нести челяди — индейцам и неграм. Однажды в понедельник ровно в полдень, когда Франсиско Эскивель просматривал старинные свитки у себя в библиотеке, а облака застыли в небе Куско, словно парусники в безветрие, невесть откуда взялся Лопе де Агирре, будто прошел сквозь стены и запертые двери. У Франсиско Эскивеля не было времени выхватить шпагу, не было времени позвать на помощь...

(Входит Лопе де Агирре, руки его в крови.)

Лопе де Агирре. Да, вестник. Да, почтенные купцы. Да, женщины города Потоси. Он не успел даже выхватить шпагу, не успел позвать на помощь, не успел поручить себя богу. Этими самыми руками я вонзил ему кинжал в висок, в грудь, в живот, в спину. Этими самыми руками.

(Стеная и плача, входит Росарио Эскивель.)

Росарио Эскивель. Зачем ты убил его, Лопе де Агирре? Зачем ты лишил меня очага, друга, любви, смысла жизни? Зачем ты запятнал свою честь и погубил свою душу?

Лопе де Агирре. Покойный Франсиско Эскивель предал меня публичному поруганию без причины и суда. Покойный Франсиско Эскивель презрел мое звание королевского сержанта, пренебрег тем, что в жилах моих течет дворянская кровь, опорочил мое доброе имя честного купца. Покойный Франсиско Эскивель приговорил меня к двумстам ударам плетьми, к наказанию для меня еще более невыносимому, нежели виселица, более страшному, нежели сам ад. Плети били по моему телу, по моим костям, точно молот по наковальне, и выковали из меня другого человека, с иным сознанием, иной волей, иной судьбой. Мое новое сердце, закаленное плетьми Франсиско Эскивеля, преследовало его, не зная устали, гналось за ним днем и ночью, пока не застигло его в одиночестве и не покарало малой карою, не искупающей великой обиды. Я встал на путь мести и буду мстить до последнего вздоха.

После той крови мои глаза стали другими, люди и вещи я вижу словно в густом тумане, и они вздрагивают как огонек светильника, ничто мне не в радость, только любовь Эльвиры, девочка каждое утро слышит цокот копыт моей лошади на каменных мостовых Куско; повсюду рыскают, ищут меня солдаты и альгвасилы, хотят сквитаться за смерть алькальда Франсиско Эскивеля, на голой, без деревьев площади уже поставлена виселица, приготовлена и опробована гар-

рота, заточен смертоносный клинок, подожжен шнур аркебуза, и ржет конь, что поволочет мое четвертованное тело, но меня это не сбивает с пути. В жилах у меня бурлит ток раскаленного металла или просоленной лавы, мало мне смерти Франсиско Эскивеля, не ты один хлестал меня по спинам плетьми, все они секли, всей сворой, коррехидоры, судьи, алькальды, монахи по очереди менялись, терзали мое тело, смеялись моим язвам, это они без жалости грабят индейцев, за малейшую провинность пытают слуг-янаконов, отсылают в далекие походы, а сами пользуются их женами, это они подделывают завещания, преступно предают огню целые селения, отрезают носы и руки несчастным, молящим о справедливости, но самые гнусные грешники — монахи, отец Хуан Баутиста Альдабан раздевает незамужних индеанок, которые приходят к нему исповедоваться, засовывает им пальцы бог знает куда, щиплет, бьет и хлещет по ягодицам, называя это эпитимьей, викарий Доминго Матаморос собирает молоденьких негритянок под предлогом обучения закону божьему и насилует одну за другой в ризнице, монах-францисканец Фелипе Авенданьо выслушивает прегрешения девочек в такой темной исповедальне, что те не видят даже, как их портят, и потом не знают, отчего забрюхатели.

Высокомерные, жестокие, скаредные, неправедные — все хотят убить меня, единственное, что мне осталось,— любовь Эльвиры и еще друзья, Антонио Сантильян из Вальядолида и Диего Катанья из Кордовы, коррехидор велит бить во все колокола, трезвонить о моем побеге, алькальд бросает за мной в погоню своих ищеек и собак, церковники с амвонов навечают на меня гнусную напраслину, с распятием в руке запугивают прихожан: «Если кто знает, где находится Лопе де Агирре, и не донес на него, тот совершил смертный грех»; Антонио Сантильян и Диего Катанья протягивают мне руку помощи, прячут меня в загоне для скота рядом с монастырем Пресвятой девы милосердной, я сплю со свиньями, спасаюсь от жестокого холода, спустившегося с гор; альгвасилы, не зная устали, ищут меня, шныряют по церквам и монастырям, аббаты и аббатисы, сокрушаясь, отпирают двери: «Великий преступник, коего ищете, не приходил к нам, не просил убежища, если бы явился, мы бы его выдали незамедлительно»; ровно сорок дней живу я в хлеву, дышу вонючим навозом, Антонио Сантильян с Диего Катаньей приходят ко мне в полночь, приносят хлеб и воду, я остаюсь со свиньями до тех пор, пока алькальд не решает, что я умер, а один индеец рассказывает: «Я видел, как он убегал, карабкался по скалам. Холод в горах зверский, не щадит христианина. Я видел, там, наверху, кружили черные птицы»; тогда министры короля объявляют меня умершим. Антонио Сантильян и Диего Катанья помогают мне сменить шкуру баска на негритянскую, черную, сок плода, который тут называют виток, а в Картахене — хагуа, красит кожу в темный цвет, от которого можно избавиться только вместе с кожей, я превращаюсь в негритоса из Гвинеи или в Сан Хуана Буэнавентуру, меня одевают в лохмотья раба, мы выходим из Куско среди бела дня, впереди идет черный раб — это я, босой и полупьяный для большей убедительности, сзади — мои хозяева, Антонио Сантильян и Диего Катанья, верхом, с аркебузами и охотничьим соколом, мы минуем стражу у городских ворот, и дальше я, черный, иду один по дороге, ведущей в Гуамангу, в Гуаманге самый лучший климат во всем Новом Свете, дон Педро Агирре дает мне приют в своем доме и дарит пятьсот песо звонкой монетой, он мне не родня, хотя, как и я, родом из Оньяте, он обнимает меня и говорит одно: «Правильно сделал, что отомстил Франсиско Эскивелю»,— потом верхом на своем коне провожает меня до Чаркаса, здесь в Чаркасе собираемся все мы, мятежники и преследуемые, и ждем своего счастливого случая, а бич короля Испании, не унимаясь, день и ночь терзает меня.

— Мы больше не солдаты,— говорит мой друг бискаец Педро де Мунгиа, суровый и злой, точно волк.

— Мы — бродяжье племя,— кричу я.— Больше семи тысяч нас, несчастных бродяг, что, не зная покоя, скитаются по дорогам Перу: из Куско в Кальяо, из Кальяо в Ла-Плату, из Ла-Платы в Потоси.

— Знаменитый дон Педро де Ла Гаска, несравненный мастер несправедливости, повинен более других,— говорит Педро де Мунгиа тихо.— Когда пришла пора жаловать милости, он щедро одарил предателей и скаредно позабыл верных людей.

— Обо мне не забыли,— говорю я и бью себя в грудь кулаками.— За верную службу мне пожаловали двести ударов по спине, в лоскуты изодрали мне кожу и честь, в кровь влили яд, с которым не рождаются.

— В долинах и селениях нас видели в изношенной обуви, как на мошенниках, в драных штанах, как на побирушках. Что осталось у нас от испанских конкистадоров? — говорит Педро де Мунгиа.

— Ярость у нас осталась,— говорю я.— Мы завоевывали Индийские земли с отчаянной яростью, так что пена выступала у рта, мы изничтожали диких индейцев, мы убивали друг друга.

— Нас семь тысяч солдат, ставших грабителями с большой дороги,— говорит Педро де Мунгиа.— В таком отчаянном положении сказались те, кого братья Писарро призвали подавлять восстание инки Манко [1], в таком отчаянном положении оказались мы, кого Ла Гаска позвал усмирять мятеж Гонсало Писарро. Мы шли на зов того или другого из Чили, из Кито, Попайяна, Картахены, Панамы, Никарагуа. А ныне от нас требуют, чтобы мы пахали землю, как волы, чтобы таскали грузы, как вьючные животные, чтобы торговали барахлом, как индейцы. Но мы — солдаты, слава богу! И переплыли море-океан не для того, чтобы заниматься черной работой, а чтобы сражаться.

— В недобрый час решил я сделаться купцом, ныне проклинаю тот миг, когда мне в голову пришла эта мысль, двумя сотнями плетей заплатили мне за мое старание. Господь вразумит меня, если снова задумаю совершить подобное безрассудство,— говорю я.

— Нам остается одна надежда,— говорит Педро де Мунгиа совсем тихо.— Генерал Педро де Инохоса направляется в Чаркас, он назначен сюда губернатором.

— Генерал Педро де Инохоса? — говорю я.— Этот приспешник Гонсало Писарро, который яростно преследовал в Панаме нас, солдат Мельчора Вердуго, за то, что мы оставались верными королю Испании? Тот самый, что затем перешел на сторону короля и Ла Гаски со всем своим войском и воротился в Перу с поручением насмерть драться с Писарро, который дарил его своей дружбой и уважением? Тот, что более всех остальных был пожалован при разделе Уайнаримы в награду за свое притворное раскаяние? Тот, что затем участвовал в заговоре против судей и снова улизнул, когда пришла пора сдержать данное слово? Это он вознесен в коррехидоры Чаркаса и едет за почестями, которых добился безграничным своим вероломством?

— По моему разумению, Лопе де Агирре, генерал Педро де Инохоса — упрямый мятежник,— говорит Педро де Мунгиа.— Он даст нам оружие, которое мы повернем против несправедливости. Говорю тебе: дабы удержать его от бунта, судьи прислали его в Чаркас, но здесь, в Чаркасе, он восстанет незамедлительно, и многие солдаты вроде нас без страха последуют за ним. Я пришел позвать тебя, пойдем с нами, Лопе де Агирре.

— С генералом Педро де Инохосой?— говорю я.— Я считаю его величайшим предателем рода человеческого, да простит меня Иуда Искариот. Но если вы доверяетесь его бесстыдству и убеждены, что

[1] Имеется в виду Манко II — последний инка Перу, погибший в сражении с испанцами в 1544 году.

он даст нам оружие и возможность воспользоваться им, клянусь богом, я не стану противиться и пойду с вами. Нам хватит времени убить его, когда он предаст нас.

Генерал Инохоса предал нас, и мы его убили: время шло, а он кормил нас туманными обещаниями: «Придет час, мои славные капитаны», «Как только королевский суд выдаст мне снаряжение и боеприпасы, мы поднимем такой мятеж, какого никогда не видели в Перу»,— бесчестный нарушитель слова! «Дело в том, что ни один генерал с жалованьем в двести тысяч песо никогда не восставал»,— так утверждает Эга де Гусман из Потоси, и подозреваю, он прав, как никто; от Потоси до Ла-Платы слоняемся мы, сотни солдат, с заштопанными сердцами и праздными руками, наша бедность не благородна, у нее облик потаскушки, генерал Педро де Инохоса подбадривает нас лестью: «Вы самые отважные воины на земле», «Вы цвет Перу»,— и не решается вынуть шпагу из ножен, потому что в доме у него растет гора серебряных слитков. Наш главарь Васко Годинес в конце концов теряет терпение и решает позвать дона Себастьяна де Кастилью, дон Себастьян де Кастилья, гордый, хотя и незаконный отпрыск графа Гомеры, сидел в Куско и мечтал о славе, я знаком с ним не понаслышке и знаю, что он умеет держать слово, не то что ты, Педро де Инохоса, тебе придется расстаться с жизнью и деньгами именно потому, что ты слишком любишь свою жизнь и свои деньги; Себастьян де Кастилья прибывает в Куско на рождество во главе семи своих соратников, вооруженных аркебузами. Эга де Гусман, сверкая очами и жаждая крови, спускается из Потоси, чтобы встретиться с ним. «Надо предать смерти генерала Инохосу»,— говорит Эга де Гусман. «Надо убить его»,— отзываюсь я. «Надо убить»,— вторят мне остальные. «Мы убьем его»,— говорит серьезно Себастьян де Кастилья.

Генерал Педро де Инохоса не ушел от смерти, потому что гордыня — дурной советчик. В Сиудад-де-лос-Рейесе гадальщик Каталино Таррагона предсказывал ему:

— Не поднимайтесь в горы, ваше превосходительство, глаза мои видят, как с горных вершин струятся потоки крови.

— Ты меня своей ворожбой не запугаешь,— ответил Педро де Инохоса.

Следующее предупреждение он услышал в Куско из уст весьма осмотрительного маршала Алонсо де Альварадо:

— Будьте осторожны в Чаркасе, Чаркас — логово вероломных предателей.

— Под моим началом и правлением они превратятся в мирных овечек,— ответил Педро де Инохоса.

Да и здесь, в Ла-Плате, он не захотел слушать того, что говорил лиценциат Поло де Ондегардо, что ни день повторявший ему:

— Против вас плетут заговор, хотят вас убить, генерал.

— Я сам разделаюсь со всеми мятежниками,— отвечал Педро де Инохоса.

И Мартин де Роблес с Педро де Менесесом, которые ранее были заклятыми врагами, а ныне стали подозрительно неразлучными, напевали ему ту же песню.

— Занимайтесь своими интригами и оставьте меня в покое,— презрительно отвечал им Педро де Инохоса.

И уж вовсе никакого внимания не обратил он на францисканского монаха Сантьяго де Кинтанилью, который собирал в исповедальне секреты, чтобы потом употребить их себе во благо.

— Вас хотят убить, генерал. Мне нашептали об этом из-за решетки исповедальни уже пятеро каявшихся.

— Никто не исповедуется в грехах до того, как совершит их,— ответил ему Педро де Инохоса.

Не встревожил его и кровавый солнечный отсвет, упавший на площади Порко, ни грязно-пурпурные языки пламени, разметавшиеся по небу над Качимайо, ни толкование этих таинственных знамений языческими ведунами.

— Прольется кровь великого виракочи [1],— бормотали они.

— Катитесь в задницу вместе со своими пророчествами, дерьмовые индейцы,— отвечал Педро де Инохоса и, ослепленный гордыней, до самого конца так и не захотел услышать, что смерть уже стучит в его дверь.

Рассвет, когда умер Педро де Инохоса, был таким студеным, что у нас зуб на зуб не попадал вовсе не от страха. На постоялом дворе Эрнандо Гильяды собралось нас двадцать три солдата под водительством Себастьяна де Кастильи, у дверей на страже стояли Педро де Сауседо и Бальтасар де Осорио, зажав в кулаке кинжал и встречая каждого угрозой: «Кто вошел, назад не выйдет». Мы, двадцать три солдата, всю ночь просидели взаперти в соседней со столовой комнатушке, и вонь от потных ног перешибала спертый дух, дон Себастьян раздал нам кольчуги и аркебузы, и едва забрезжило утро, явились дозорные с сообщением:

— Негры отворили двери генеральского дома!

И тогда дон Себастьян де Кастилья подал команду:

— Вы, семеро, со мной! Остальные пятнадцать остаются здесь под началом Гарси Тельо Младшего!

Мне выпало остаться.

Некоторое время спустя послышались крики наших товарищей:

— Да здравствует король, тиран умер!

Потом, возвратившись на постоялый двор, они поведали нам о своем подвиге:

— Сначала мы умертвили лейтенанта Алонсо де Кастро, который вышел нам навстречу. Ансельмо де Эревиас пригвоздил его шпагой к стене, точно летучую мышь, потом отыскали на скотном дворе генерала Инохосу, Гарси Тельо Старший пронзил ему грудь шпагой; не обращая внимания на мольбы и увещеванья, Антонио де Сепульведа и Ансельмо де Эревиас прикончили его, добив серебряными слитками, которые покойный копил. «Исповедаться!» — три раза крикнул умирающий Педро де Инохоса; «Да здравствует король, тиран умер!» — трижды в ответ прокричали мы, и он испустил дух, а мы унесли из дому все ценное, что там было.

Что касается нас, мы никого не убили — некого было убивать, мы вышли с постоялого двора с твердым намерением отыскать советчиков и пособников генерала Инохосы, но все успели сбежать до рассвета, Мартин де Роблес в ночной рубахе во всю прыть пустился через маисовое поле Педро де Менесес как сквозь землю провалился, лиценциат Поло де Ондегардо ускакал на буланом жеребце, которого ему подбросила святая Рита-чудотворица, монах Сантьяго де Кинтанилья без лишних слов нырнул в монастырский сортир, не стоило пачкать руки в дерьме, вылавливать его оттуда, мы с шумным ликованием собрались на площади отпраздновать победу и сосчитать свои ряды ибо нас теперь стало сто пятьдесят два человека.

Храбрый капитан Эга де Гусман захватил крепость Потоси точно так как мы в свое время захватили свою, и тут же, словно черви, одна за другой начали выползать измены, я тысячу раз слышал, как кляли предателей, но на своем лице никогда не чувствовал липкой зеленой слюны измены, вся история Нового Света замешана на изменах, и самыми великими предателями были братья Писарро, предатели помельче погубили самих Писарро, те, кто подымает мятеж в Перу.

[1] Виракоча — божество древних перуанцев, согласно преданиям, имевшее обличие белокурого бородатого человека.

всегда в темном уголке своего сознания надеются, что потом можно будет покаяться, я говорю, опираясь на собственный горький опыт; предательство, будь оно проклято,— это яд, который убил наш мятеж в Чаркасе и тот, что поднял Эга де Гусман в Потоси. Первым совершил измену капитан Хуан Рамон, вместе с пятьюдесятью людьми он был послан нами в Куско убить маршала Альварадо, Хуан Рамон, не пройдя полпути, останавливается, кричит: «Да здравствует король!» — и переходит на сторону врага; узнав об этом, наш главарь Васко Годинес проявляет свою подлую сущность и тоже предает нас.

Из всех негодяев на свете ни один не сравнится в подлости с этим Васко Годинесом, организовавшим заговор и убийство генерала Инохосы, Васко Годинес отправляет посланцев к дону Себастьяну де Кастилье, приглашая его стать во главе, Васко Годинес предлагает себя в начальники штаба, и дон Себастьян де Кастилья с удовольствием назначает его на этот пост. Затем Васко Годинес с притворной братской любовью обнимает нашего генерала Себастьяна де Кастилью и использует это объятие для того, чтобы предательски вонзить генералу в спину кинжал, тут Бальтасар Веласкес и другие подручники набрасываются на раненого вождя и добивают его кинжалами, Васко Годинес попирает ногою его труп и кричит: «Да здравствует король, тиран мертв!» Потом Васко Годинес кидается в Куско вымаливать себе прощение, но, к счастью, прощения ему не дают, королевские судьи приговаривают его к виселице и на следующий день его вешают, а мы, оставшиеся верными мятежу покойного Себастьяна де Кастильи, сохранили жизнь, и за то судьбе спасибо.

Но час расплаты настал, маршалу Алонсо де Альварадо было доверено покарать остальных, стереть в порошок всех, кто последовал за доном Себастьяном де Кастильей в его дерзостном намерении, а дон Себастьян де Кастилья собирался ни много ни мало как провозгласить себя королем Перу и Кито; маршал Алонсо де Альварадо вошел в Чаркас и затопил его кровью, маршал Алонсо де Альварадо отрубил головы пятерым заговорщикам, четвертовал семерых, десятерых повесил, тринадцать удушил гарротой, тех, кто потише, выслал на веки вечные; меня он искал с остервенением: «Лопе де Агирре заплатит позорным столбом за раны, унесшие из этого мира алькальда Франсиско Эскивеля», «Лопе де Агирре будет четвертован за сообщничество с тираном Себастьяном де Кастильей», «Лопе де Агирре будет обезглавлен за участие в позорном убийстве генерала Педро де Инохосы»,— а Лопе де Агирре удалось бежать из Ла-Платы, ускользнуть от злобных намерений маршала Альварадо; писец-баск по фамилии Легисамон подарил мне почти необъезженного жеребца, я заблудился на темной лесной дороге, которой не знал, вышел к пещерам, где прожил несколько месяцев, точно дикий зверь; питался я безвкусной юккой, выкапывая ее из земли ногтями, и рыбой, которую ловил в мелких заводях, маленькие ящерицы запутывались у меня в бороде, метелки маиса шелестели в ногах; совсем одичавшим находит меня Педро де Мунгиа, чудесным образом напавший на мой след.

— Франсиско Эрнандес Хирон восстал в Куско, и его поддержали в Гуаманге, Арекипе и Кондесуйо,— говорит Педро де Мунгиа.

(Франсиско Эрнандес Хирон станет жертвой расчетливых предательств, точно так же как Гонсало Писарро, и Франсиско Карвахаль, и Себастьян де Кастилья; Франсиско Эрнандеса Хирона покинут сторонники и друзья, а люди короля казнят его гарротой за непокорство и в назидание.)

— Франсиско Эрнандесу Хирону,— говорит Педро де Мунгиа,— предлагают союз и подмогу все, кто чувствует себя ущемленным, все, кто недоволен несправедливыми дележами Ла Гаски, и те, кто дрожит от негодования или страха перед жестокими расправами маршала

Альварадо, а еще праздные солдаты, мечтающие о любой войне, лишь бы снова стать солдатами, и торгаши, которые при одном известии о новой заварушке взвинчивают цены. Еще не начав сражения, Франсиско Эрнандес Хирон собрал армию, включая конницу и артиллерию, более чем в тысячу человек с аркебузами и пиками.

(Потом все его бросят, все от него откажутся, все эти тысячи людей, которые ныне с ним, будут верны ему лишь до той позорной минуты, когда от него отступятся, когда его предадут друзья и вздернут на виселице враги, такова судьба всякого, кто подымает знамя мятежа в Перу, неужто Педро де Мунгиа пришел звать меня присоединиться к продажным вожакам из войска Эрнандеса Хирона?)

— Маршал Альварадо,— говорит Педро де Мунгиа,— пообещал помилование всем, какое бы преступление они ни совершили, это помилование распространяется и на тех, кто участвовал в мятеже дона Себастьяна де Кастильи и в любом другом. А нас он просит об одном — встать под знамена короля против вооруженного войска тирана Эрнандеса Хирона.

(Сколь опасна и велика должна быть сила Эрнандеса Хирона, если вынудила маршала Альварадо сменить кровавые расправы на мягкосердие, неужто Педро де Мунгиа предложит нам принять прощение из мерзких рук маршала Альварадо?)

— Я пришел с предложением,— говорит Педро де Мунгиа,— принять это помилование и без промедления записаться в солдаты к маршалу Альварадо и в покорные вассалы к королю Испании. У нас нет выбора, если мы хотим остаться в живых. Маршал Альварадо не перестанет рубить головы, вешать на деревьях и травить беглецов дикими зверями, он прольет больше крови, чем сам Нерон. Он отыщет нас, куда бы мы ни спрятались, и разделает, как тушу на бойне.

(Разумеется, божьей волей и собственным разумением я приму это помилование! Альварадо пошлет меня в самый кровавый бой, поручит мне самые опасные задания, постарается, чтобы меня застрелили солдаты Эрнандеса Хирона, коль скоро этого не удалось сделать его солдатам, но худший конец ожидает меня в этих забытых богом пещерах, меня ужалит насмерть змея, или сожрут заживо черви, или затянет болотная трясина, лучше я встану под знамена маршала Альварадо, и от этого ни на каплю не уменьшится моя лютая к нему ненависть.)

■

Войско маршала Альварадо спускалось из Чаркаса в Куско, и число его росло день ото дня. Солдаты, которые бездельно слонялись месяцами по улицам Потоси, и мирные жители, никогда не бывшие солдатами, покидали город, чтобы вступить в армию ненавистного маршала. Преследуемые выходили из убежищ; не было преступления, которого бы не простили тому, кто шел на службу к королю. Одни приходили со своим оружием, другим маршал выдавал боевое снаряжение и форму, многие приводили своих лошадей и мулов, все кричали: «Да здравствует король! Смерть тирану Эрнандесу Хирону!» Войско маршала, как огромная река, стекало вниз по ущелью, на каждом повороте в него вливались притоки новых добровольцев. Когда впереди проступили серые очертания Куско, за маршалом шло более тысячи двухсот человек, вооруженных аркебузами и пиками, а некоторые были на лошадях.

Куско был взбудоражен и неистовствовал, что не вязалось с бесстрастным покоем его камней. Мрачные городские стены были увешаны флажками и знаменами. Из темных провалов дверей выглядывали пестро разодетые женщины. В грязи возились ребятишки-метисы. По кривым улочкам бежали мужчины разных возрастов, торопясь записаться в армию маршала. Епископ благословлял народ, колокола

вызванивали аллилуйю. Как в сказке, из домов на свет божий появлялись алебарды и аркебузы, во дворах ковались копья и секиры, из подвалов выкатывались бочки с порохом, по склонам гор спускались испанцы верхом на лошадях и босоногие индейцы.

В этом самом Куско несколько недель назад поднял мятеж Франсиско Эрнандес Хирон. Его воззвания провозглашали свободу, его штандарты обещали, что бедные наконец будут сыты — ecten pauperes et saturabuntur. «Господь послал меня разбить оковы негров, все недовольные в Перу присоединятся ко мне, и мы прогоним мошенников-судей, все как один помогут мне в благородном деле восстановления справедливости». Эрнандес Хирон взял город, засим последовало всего четыре смерти: две в сумятице встречи и две из-за неверного толкования его указа,— такая умеренность в кровопускании для Перу было делом необычным. В одном только Куско ему удалось собрать войско в триста человек пеших и сто всадников, не считая тех, что поднялись в Гуаманге, Арекипе и Кондесуйо на защиту его дела. Одни шли за ним по естественной склонности, другие — чтобы попытать удачи в войне, и немало было таких, которые попросту боялись поплатиться за неучастие. И все в глубине души таили намерение при первых же невзгодах перейти на сторону короля. Во всяком случае, так полагал находившийся в противоположном лагере Лопе де Агирре, который, как никто другой, преисполнился подозрений и недоверия.

Эрнандес Хирон оставляет камни Куско и направляет свои стопы на Север, в Сиудад-де-лос-Рейес — главный город Перу и оплот судейских. Отвага мятежника беспредельна, военной мудрости ему не занимать, на руку ему и раздоры между правителями и генералами. Одна видимость, мрачно размышляет Лопе де Агирре. Завтра Эрнандеса Хирона продадут его же соратники, он кончит на виселице, как Писарро и Карвахаль, либо умрет от кинжала, как дон Себастьян де Кастилья.

Не забывайте, ваша милость, громкого сражения, которое только что выиграл тиран Эрнандес Хирон. Генерал Пабло де Менесес выступил против него с гораздо лучше вооруженным войском и более свежими лошадьми. Эрнандес Хирон встретил его в котловине Вильякури, разбил наголову, обратил в бегство и гнал по пескам и болотам так, что у того только пятки сверкали. Жалкая победа, думает Лопе де Агирре. К концу битвы более двадцати солдат победителей перешли на сторону разбитого врага и бежали вместе с ним.

Лопе де Агирре принял помилование от маршала Альварадо, чтобы избавиться от неминуемой смерти. Маршал отправил его под начало капитана Хуана Рамона, того самого негодяя, что первым отрекся от дона Себастьяна де Кастильи (маршал Альварадо одобрительно отнесся к этому предательству и назначил Хуана Рамона командовать пехотой). И вот Хуан Рамон шагает впереди колонны из ста пятидесяти самых закаленных, самых метких стрелков. И среди этих ста пятидесяти — преисполненный недоверия, разочарования, а может, смирения Лопе де Агирре.

С Эрнандесом Хироном идут пятьсот солдат, возможно, чуть меньше. Из них сто стрелков славятся своей меткостью. Тот, кого зовут Аурелиано Гранадо, сражался на земле Мексики и считается одним из самых искусных стрелков — истребителей Нового Света.

— Я знаю одно место неподалеку,— говорит полковник Диего де Вильяльва Эрнандесу Хирону,— где с нами ничего не сделают, не помогут там ни пешие, ни конные эскадроны. Место это на землях индейцев аймаров, поблизости от селения Чальюанка. И десяти тысячам не одолеть пятисот наших солдат, если волею божией нам удастся спрятаться в тех горах.

Укрепление называется Чукинга и находится на вершине высокого холма, на левом берегу реки Абанкай. Это остатки крепости,

построенной древними индейцами-аукарунами, которые знали больше толку в военных хитростях, чем многие христианские генералы. В разрушающихся стенах есть два пролома, один на виду, над обрывом, другой скрыт уступами скал и кустарником, будто специально для нападения оттуда на вражеские тылы.

— Чтобы добраться до нас,— говорит полковник Диего де Вильяльва,— им придется войти в скалистую теснину длиною в три лиги, пересекать высохшие русла ручьев, каждый раз становясь мишенью для наших стрелков. Говорят, у маршала Альварадо более тысячи человек и тьма индейцев. Но ежели он загонит их в теснину и пошлет на нас как слепых быков, то даже воля господня не спасет их от страшной беды.

— Гордыня маршала столь велика, что он так и поступит,— говорит Эрнандес Хирон.

И он так поступил, господи помилуй, так и поступил. Разведав с помощью лазутчиков местность, на которой расположился Эрнандес Хирон, маршал без промедления повел туда всех своих тысячу двести человек в боевом порядке, вместе с осторожными советниками, яростными военачальниками, тысячью вооруженных индейцев, сотнями лошадей, аркебузами, пиками, пушками, флагами, барабанами и трубами. Славное войско, сколько оружия, сколько украшений, сколько отважных сердец! Совершив переход в десять лиг через затопленные долины и снежные хребты, бросив индейцев и павших от холода лошадей, маршал Альварадо добрался до Чукинги, где в укрытии поджидал его Эрнандес Хирон.

Перво-наперво маршал Альварадо приказал капитану Хуану Рамону с его ста пятьюдесятью стрелками втянуть мятежников в бой, напугать их стрельбою и затем, вступив в переговоры, убедить перейти на сторону короля. Эрнандес Хирон и полковник Диего де Вильяльва видели, как те спускались по склону на берег реки, как потом они распрямились, взбодренные медным корнетом. Все они были как на ладони, и слова были слышны ясно, занималось спокойное утро, луна еще не потеряла своего полуночного сияния.

— Да здравствует король! Смерть тиранам! — прокричал с вызовом Фелипе Энрикес, ему ответил аркебуз, пуля пробила грудь, и Фелипе Энрикес, едва доживший до восемнадцати лет, упал замертво.

— Я, Мата, когда стреляю, наповал убиваю! — закричал младший лейтенант Гонсало де Мата, он слыл остряком, и ему нравилось играть словами.

— Вот я тебя и убью! — ответил ему спокойный голос Аурелиано Гранадо, и вслед за тем пуля ударила Мату в голову, расколов ее надвое, словно тыкву.

— Бросайте тирана! Переходите к нам, товарищи по оружию, король великодушно примет вас! — закричал неуемный говорун капитан Гонсало де Аррейнага.

На этот раз вожак мятежников Хуан де Пьедраита с яростью разрядил свой аркебуз. Тяжело раненный, Аррейнага рухнул в речную воду, за ним на землю упал сержант Херонимо де Сориа, и еще пятеро стрелков нашли свою смерть, двое из них — Рамиресы, однофамильцы по чистому совпадению, ибо их не связывали родственные узы.

Опыт оказался таким дорогим, что Хуан Рамон предпочел отступить потеряв двадцать пять человек убитыми и ранеными, причем двое утонули в реке, а Франсиско де Бильбао перешел на сторону тирана Эрнандеса Хирона, выполняя обет, данный ранее святой деве Пилар. Пули свистели над Лопе де Агирре, но ни одна в том первом бою в него не попала.

После злосчастной вылазки маршал Альварадо собрал у себя в шатре главных своих военачальников не для того, чтобы следовать их советам, он даже не выслушал их, как будет видно далее. И Лоренсо де Альдана, и Гомес де Альварадо, равно как Диего де Мальдонадо с Гомесом де Солисом, полагали, что, собираясь штурмовать высоту, занятую Эрнандесом Хироном, они рискуют одержать позорную победу ценою слишком многих жизней.

— Пусть остаются в своей крепости, а мы наберемся терпения и подождем, пока голод и другие нужды заставят их спуститься вниз,— сказал Лоренсо де Альдана.

— Дня через два или три он выйдет из крепости, чтобы дать нам бой или убраться отсюда, а многие его сторонники к тому времени нахлебаются по горло и перейдут к нам,— сказал Гомес де Альварадо.

Маршал молчал в крайнем неудовольствии. Маршал внял лишь бравым речам Мартина де Роблеса, упрямого астурийца, бывшего в неладах со всякими мудрствованиями и полагавшегося не на военную стратегию, а лишь на аркебузы и солдатскую силу.

Однако Лоренсо де Альдана так настаивал на своем и столь высока была его репутация опытного генерала, имевшего за плечами сотни сражений с местными вождями и испанскими тиранами, что маршал в конце концов пообещал ему оставить свое безрассудное намерение штурмовать очертя голову вражескую крепость. Он рассеял опасения Лоренсо де Альданы, и тот спокойно вместе с несколькими сержантами и артиллеристами ушел из лагеря, намереваясь обложить мятежников со стороны крутого берега и заставить их выйти из логова.

Никому и ни в чем не удалось убедить маршала — пламя победы уже занималось над ним, до него было рукой подать, а они собирались погасить его речами. Полдень отсвечивал на пиках и вспыхивал на лошадиной сбруе, когда на сторону короля перебежал еще один из людей Эрнандеса Хирона и сказал то, что всегда говорят перебежчики: мол, в том лагере плохо с моральным духом, мол, там только и думают, как бы бежать. И тут снова взыграло пылкое маршальское сердце, снова созвал он своих военачальников, на этот раз без Лоренсо де Альданы, который в это время находился в двух лигах от лагеря, подгоняя свои тылы, и объявил им без околичностей, что решил дать бой и не потерпит ни возражений, ни разглагольствования.

— Если дело обстоит так, значит, мне остается умереть,— сказал Гомес де Альварадо, выходя из палатки, и три часа спустя доказал, что слова его не были ни преувеличением, ни ложью.

Маршала обуял гнев святого апостола Иакова, призрак Сида звал его вперед. Мартину де Роблесу с его стрелками, самому нетерпеливому из своих командиров, он приказал перейти реку и атаковать левый фланг Эрнандеса Хирона. Хуану Рамону с его ста пятьюдесятью солдатами, среди которых находился и Лопе де Агирре, он велел взобраться на скалу и обрушиться на правый фланг тирана. Тысяча индейцев, вооруженных камнями и воинственными воплями, должны были напасть на крепость с тыла. Сам маршал намеревался перейти реку в конце боя под гром барабанов и плескание знамен, чтобы славно завершить сражение и добить предателей.

— Они идут в том самом порядке, о каком я молил святую троицу,— говорит полковник Диего де Вильяльва Эрнандесу Хирону.— Прикажите, ваша милость, стрелкам целиться не спеша и увидите, солдаты маршала повалятся наземь, как кролики.

Мартин де Роблес точно на гвозде сидел. К чему ждать условного сигнала боевого горна? Он яростно ринулся на неприступные развалины — кто сказал, что они неприступные? Никто не осмелится оспаривать мою блестящую победу. Долой тирана! Да здравствует король! Да здравствует маршал Алонсо де Альварадо! Да здравствует непобедимый капитан Мартин де Роблес! В этом бреду он метался,

пока град пуль не вернул ему разум, от крови раненых покраснела вода в реке, порох намок, на дно пошли копья и аркебузы, более пятнадцати человек было убито, смертоносный палец Аурелиано Гранадо ни разу не дрогнул, солдаты, потеряв надежду, отступали, Мартину де Роблесу тоже пришлось отойти.

В указанный момент Хуан Рамон вступил в бой. Он должен был занять площадку, находившуюся на одном уровне со старой крепостью, и оттуда открыть огонь по злодеям. Пришлось карабкаться по острым скалам, ползти по скользкой грязи, и все под обстрелом, который мятежники вели из обоих проломов. Лопе де Агирре, маленький и ловкий, как обезьяна, первым взобрался на вершину, но недолго находился там, ибо тут же был ранен в правую ногу, которую ему чуть было не оторвало совсем. Тело Лопе де Агирре, кувыркаясь, покатилось вниз по склону и осталось лежать на песчаном берегу. Кровь струилась из разодранных рук и разбитого о камни лица больше, чем из продырявленной ноги. Он лежал на песке, ни живой ни мертвый, и на этом для него закончилось сражение, которое еще не решилось в пользу ни одной из сражавшихся сторон.

Бой за Чукингу только еще начинался. Мартин де Роблес перестроил свой отряд и снова пошел через реку. После нескольких упорных попыток Мартин де Роблес закрепился на одном из самых высоких уступов. Но упрямый астуриец был ранен. Маршальской лошади пуля пробила голову, и маршал, падая, сломал себе ребро. Смерть косила несчастных индейцев, сражавшихся за короля воплями и камнями. У стрелков Эрнандеса Хирона подходили к концу порох и шрапнель, они отбирали боеприпасы у раненых и убитых. К заходу солнца королевское войско потеряло семьдесят человек, не считая индейцев. «А теперь мы пойдем на них»,— сказал полковник Диего де Вильяльва. Франсиско Эрнандес Хирон собственной персоной встал во главе эскадрона. Его корнеты и барабаны завели победную песнь. Наконечники пик и лошадиные морды ринулись на войско маршала. Триста дьяволов вырвались из крепости и вскачь неслись по склону на поредевшего противника. И тогда верные слуги его величества обратились в бегство. Тиран Эрнандес Хирон выиграл сражение при Чукинге. Может, это будет последним сражением, в котором он победит, может, это вообще будет последней победой какого бы то ни было мятежа в Перу.

Лопе де Агирре все лежал на песке, не сознавая исторического значения событий. История в данном случае обошлась с ним милостиво. Франсиско Эрнандес Хирон, одержав победу, повел себя благородно. Он не перебил пленных, не был жесток к побежденным, велел похоронить своих мертвых рядом с мертвыми противника, приказал лечить своих раненых наравне с ранеными врагами. К ночи Лопе де Агирре открыл глаза. Кровь запеклась на лице и мешала видеть темноту. Но зато он увидел огни, которых никто не зажигал. «Этот похож на мертвеца, но он не умер»,— сказал первый хирург. «Плохая рана,— сказал второй и наклонился, рассматривая изуродованное тело.— Надо бы отрезать ногу до того, как начнется гангрена». Это были первые слова, которые услышал Лопе де Агирре, очнувшись.

Ему не отрезали ногу, и гангрена не началась. «Ногу пробили две пули из одного и того же аркебуза»,— сказал первый хирург. Первый хирург был к тому же брадобреем и обучился врачевать язвы и змеиные укусы индейскими травами и христианскими молитвами; Yayap Churip Yspiritu Santup Sutimpi Amén Yesús[1]. Второй хирург промыл раны кипятком. Мулат-помощник принес железный котелок, в котором булькало кипящее масло. Лопе де Агирре замычал, когда прижи-

[1] Молитва на искаженной латыни и кечуа.

гание прокусило плоть. Лопе де Агирре медленно истекал кровью. Первый хирург расширил ланцетом рваное отверстие раны. Второй хирург ввел в кровоточащее отверстие темное месиво из поджаренной муки, пороха, соли и золы. Мулат-помощник сжимал ногу цепкими, как клещи, пальцами. Первый хурург обрывками платка забинтовал ему ногу и наложил каучуковый лубок. Разбитые руки и разодранное лицо ему каждый день мазали мазью, пенистой, как мыло, и густой, как масло. Месяц, а то и больше лечили его на берегу реки в хлеву, служившем госпиталем. Капитан Хуан де Пьедраита, который показал себя самым храбрым из солдат-мятежников и чьей отваге в большой мере были обязаны победой при Чукинге, назначен начальником штаба и теперь каждый вечер приходит побеседовать с Лопе де Агирре. Он хочет убедить его перейти под знамена Эрнандеса Хирона, знамена истинной свободы, как он говорит. Не будь его рана так плоха, он бы пошел с ними, чтобы проиграть дело, потому что они, без всякого сомнения, его проиграют. Лопе де Агирре кладут на носилки, сплетенные из ветвей и соломы двумя солдатами-арагонцами. На этих носилках его несут три лиги по склону холма и лигу по каменистой тропе до селения Чальюанка. Не раз в дороге он теряет сознание. Правая нога у него теперь покалечена до конца дней, и до конца дней останутся на руках и лице шрамы.

■

Я постучал в дверь, на третий раз открыла мне дочка Эльвира и заплакала, я подумал, что она плачет оттого, что лицо мое в кровавых рубцах, руки черные, точно головешки, а сам я еле ковыляю, старый и битый, но плакала дочка моя потому, что Круспа, ее мать, умерла в прошлом году, а я и не знал; лихорадка унесла ее на тот свет, сгорела в неделю, вот о чем поведали две женщины в черном, выступившие из тени; Хуана Торральба сказала, что не спасли кровопускания индейских хирургов, не помогли заклинания негритянских знахарей; Мария де Арриола сказала, сколько ни возносили молитв святому Бласу, сколько ни ставили свечей святой Каталине, Круспа умерла без стонов и жалоб, как умирают у них в народе, угасла тихо, как и светилась тихо при жизни; девочка ведет меня на кладбище, кладбище, да и весь город — сплошной камень, могила Круспы — серый камень с покосившимся крестом в головах, в трещины пробиваются печальные желтые ирисы; дочка моя Эльвира берет меня за руку и уводит домой, я уже не Лопе де Агирре, отныне я на веки вечные хромой Агирре, кривой Агирре, карлик Агирре, как назвал меня однажды на площади в Оньяте Антон Льамосо; что за чудо и удивление было встретить этого самого Антона Льамосо в Куско, он пересек всю Испанию, море-океан и половину Нового Света, чтобы в конце концов свидеться со мной, он задыхался, заживо похороненный среди баскских гор и башен, одичал, как волк, люди стали избегать его; каждое воскресенье он приходил в наш дом в Арасе справиться, нет ли вестей от Лопе де Агирре, но в отчем доме никто не знал, где я обретаюсь, и, наконец, он сел на корабль, идущий в Индийские земли, и в Картахене напал на мой след, кто-то сказал, что я погиб в одном из перуанских сражений, а он не поверил и принялся искать меня в Кито и в Сиудад-де-лос-Рейесе, там-то ему и поведали злосчастную историю о том, как меня выстегали плетьми, и о том, как я покарал алькальда Эскивеля, тогда он отправился в Куско. «Вот ты где, Лопе де Агирре, наконец-то я тебя нашел»,— и он захохотал.

Немного спустя прибыл в Куско и мой верный друг бискаец Педро де Мунгиа, сразу же пришел ко мне, рассказал, как шли дела дальше в королевских войсках, до самого разгрома тирана Эрнандеса Хирона в Пукаре; на этот раз Эрнандес Хирон не стал слушать полковника Диего де Вильяльву, который учил его коварству и осторожности, и предпочел положиться на предсказания звездочетов и гада-

телей, которые сулили ему небывалую победу, написанную, дескать, на звездах, хотя все небеса и звезды Перу предвещают одни измены; в середине сражения при Пукаре на сторону врага перешел Томас Вескес, самый храбрый командир Эрнандеса Хирона, а немного погодя точно так же поступил и Хуан де Пьедраита, начальник штаба, к тому же более всех убежденный в справедливости дела, а вот лиценциат Диего де Альварадо и полковник Диего де Вильяльва не перешли и за верность свою пострадали — их схватили и отрубили им головы; двадцать храбрых негров, которые тоже не просили пощады, были казнены гарротой; Эрнандес Хирон остался в одиночестве и бежал через заросли и пустынные степи, его изловили на дороге в Римак, отвезли в Сиудад-де-лос-Рейес, чтобы там отрубить ему голову и выставить ее на всеобщее обозрение между головами Гонсало Писарро и Франсиско Карвахаля. «Видит бог, теперь раз и навсегда покончено со всеми восстаниями в Перу,— говорит Педро де Мунгиа.— Если уж Эрнандесу Хирону, на знаменах которого было начертано слово «свобода», не удалось победить, если уж Эрнандес Хирон, обещавший накормить бедных и разбить оковы негров, не насладился плодами их освобождения, то кто впредь дерзнет бросить вызов могуществу вице-королей и судей?» — спрашивает Педро де Мунгиа, сидя у меня дома, и я громко кляну предательство, а Антон Льамосо слушает меня с удивлением, и дочка моя Эльвира приносит стакан молока, чтобы я успокоился.

С изувеченной ногой и руками как культи я не могу объезжать лошадей, колокола на монастыре Пресвятой девы милосердной звонят и звонят не переставая, ничего другого не слышно, одни колокола бьют в мозгу, мятежные языки колоколов звонят не по покойнику, отзванивают: из-ме-на, из-ме-на, и вместо благовеста — набат: из-ме-на, из-ме-на; волоча ногу, я дойду до подвальчика, где сидят за бутылкой Педро де Мунгиа и Антон Льамосо, никто больше в Перу не хочет браться за оружие, а я бы взялся, ибо в шуме дождя слышу ток крови дона Себастьяна де Кастильи и бунт собственной крови под плетьми палача, под плетьми алькальда, под плетьми судей, под плетьми короля; не дано мне больше объезжать лошадей, моим изъязвленным плечам не снести каменной тяжести Куско, стараюсь не думать о предательстве, но дома, оставшись один, на крик кричу, кричу наяву и во сне, колокола собора заглушают мой вопль; в освещенном дверном проеме появляется Эльвира, точно Пресвятая дева — покровительница Арансасу, да это не Эльвира, это я сам принимаю облик моей девочки, чтобы пожалеть себя за свои истерзанные руки, за свою увечную ногу, за то, что тень от меня и та кривая; Лопе де Агирре с выбитыми зубами, Лопе де Агирре — хромой калека — не побежден, имя мое повторят книги; воды Куско, черные чахлые оросительные канавы спускаются вниз по аспидным улицам, Антон Льамосо поднимается по ступеням инкского храма, в руках у него его собственная голова, нет, это голова не Антона Льамосо, это моя голова презрительно улыбается ножевой раной; я не гожусь больше объезжать лошадей, Педро де Мунгиа уверяет и спорит, что у меня свободоборческого пыла больше, чем у самого Эрнандеса Хирона; два желтых ириса выросли на костях Круспы, будь они прокляты, эти колокола Пресвятой девы милосердной.

Вскорости, сверкая оружием, появляется в Куско памплонец Лоренсо Сальдуендо конь под ним буланый, со звездой во лбу. Нарядный гость прибывает с письмом для Мартина де Гусмана; этот андалусец, искатель приключений, когда-то вместе с Лопе де Агирре потрошил могилы на индейских кладбищах Сену, а теперь мирно живет в Куско со своим племянником Фернандо де Гусманом. Письмо подписано генералом Педро де Урсуа и призывает обоих Гусманов

вместе со всеми испанскими солдатами, слоняющимися без дела в этих местах, идти походом в чудесную страну Омагуас. Генерал Педро де Урсуа послал гонцом самого Лоренсо Сальдуендо, своего секретаря, советчика и земляка.

Дом Гусманов тщится походить на типичный севильский дом, но в царстве камня это не так-то просто. Есть и горшки с цветущими гвоздиками во дворе. И за столом подаются сладкие густые вина, а к ним — печенье, но не белокожие женщины, а индеанки-янаконы прислуживают в доме, поливают цветы и ходят в монастырь покупать сласти.

Лоренсо Сальдуендо затвердил на память целую речь, превозносящую ратные подвиги генерала Педро де Урсуа, наваррца, рожденного в городе Вастан, городе более французском, нежели наваррском, по словам одного из дядьев Лопе де Агирре, который прожил там три зимы.

— Генерал Педро де Урсуа прибыл в Индийские земли лейтенантом в отряде своего двоюродного брата дона Мигеля де Альмендариса, а затем доблестью заслужил славу отважного вождя. Это он завоевал и усмирил индейцев, которые отравленными стрелами и варварской свирепостью защищали свои изумруды и золото в Новом королевстве гранадском. Он же основал два города, которые окрестил именами Памплона и Тудела,— говорит Лоренсо Сальдуендо, пылая гордостью за земляка.

— Я познакомился с ним в городе Санта-Марта,— прерывает его Мартин де Гусман.— Он тогда чудом ушел от засады, которую устроили ему и его двенадцати солдатам индейцы из племени тайронов на реке Оригуа. Чудом этим Педро де Урсуа обязан богу и собственной потрясающей меткости. Я полагаю, в искусстве стрельбы из аркебуза он может сравниться с одним лишь вастанцем по имени Гарсиа де Арсе, его близким другом, с которым они всегда неразлучны. В том деле они вдвоем застрелили не менее двухсот индейцев.

— Ловкость его так же необычайна, как и отвага,— продолжает Лоренсо Сальдуендо, получив возможность говорить.— Он доказал это в Панаме, в операции по покорению беглых негров царька Байямо. Более шестисот черных рабов бежали от своих хозяев, нарушив обязательства, которые их связывали с последними, и спрятались в непроходимой сельве у реки Дарьен, откуда совершали вылазки, грабя караваны вьючных животных и постоялые дворы. И так возомнили о себе, что даже одного из своих назначили королем, назвав его Байямо Первый, и двор у него был, и трон, все честь по чести. Все у них шло как по маслу, пока дону Педро де Урсуа не было поручено покорить их, особая трудность состояла в том, что невозможно было сражаться средь зарослей и пещер, в которых они скрывались. Вот тут-то во всем блеске и проявился талант дона Педро де Урсуа. Первонаперво он захватил в плен четверых негров, которые как раз вышли на разбой, и такого страху на них нагнал, что они указали точное место, где находился их вожак. Потом он их повесил и отправился на поиски так называемого короля через трясины, горы и девственную сельву, но не затем, чтобы устроить жестокую битву, а чтобы лестью и богатыми подарками внушить ему, будто за неграми признают право жить на этих землях свободно, ни от кого не завися. Ему удалось убедить Байямо в искренности своих намерений, и, дабы отпраздновать примирение, он пригласил Байямо вместе со всем двором к себе на пир, а вино отравил. Ножи довершили дело, начатое ядом, от смерти спасся один только лжекороль Байямо, которого заковали и отправили в Номбре-де-Дьос.

— Сколько лет генералу Урсуа? — спрашивает Лопе де Агирре, не желая, чтобы его сочли немым.

— Всего тридцать пять,— с готовностью отвечает Лоренсо Сальдуендо, будто он только и ждал этого вопроса.— Но после усмирения индейцев из племени мусо и уничтожения беглых негров он приобрел столь великую и заслуженную известность, что маркиз де Каньете без колебаний назначил его губернатором и генерал-капитаном реки Мараньон, несмотря на то, что возглавить поход в Омагуас домогались лица чрезвычайно важные, как, например, капитан Хуан Перес де Гевара или Гомес де Альварадо, самый богатый человек в Перу, который готов был раскошелиться и вложить собственные пятьсот тысяч песо на расходы экспедиции. И все-таки вице-король поставил во главе похода дона Педро де Урсуа, чьим единственным земным достоянием являются его несравненные мужество и верность королю Испании. Эта последняя столь велика, что многие называют его не Педро Урсуа, а Педро Верный.

После таких необычайных славословий Лоренсо Сальдуендо оставляет предмет похвал и переходит к воспеванию богатств и сокровищ Омагуаса, которые давно уже стали мечтой и приманкой для перуанских солдат. Случилось так, что один бразильский касик по имени Виарасу, сбежавший от своих, оказался в Сиудад-де-лос-Рейесе и рассказал вице-королю и всем пожелавшим слушать, что есть страна в сто раз богаче Перу, что правит ею принц Куарика, на котором в тысячу раз больше золота, чем на Атауальпе. В стране Омагуас долины плодороднее райских, утраченных Адамом; в водах безбрежного озера дрожат отражения сказочных городов; в храмах поклоняются ягуарам из золота с рубиновыми когтями и бриллиантовыми глазами. Чтобы добраться в эти края, надо идти путем Франсиско Орельяно, вдоль самой бескрайней, самой полноводной реки на свете.

— Все пойдем с Педро де Урсуа! — пылко кричит Мартин де Гусман и бьет себя кулаком в грудь.

— Все пойдем,— говорит Лопе де Агирре, но кулаками не машет.

Возвратившись домой, Лопе де Агирре говорит:

— Этот новый вице-король Андрес Уртадо де Мендоса, маркиз де Каньете, сеньор города Агрете, хитер, как сам лиценциат Ла Гаска, но только еще более жесток и вероломен, чем славный образец, которому он следует, клянусь богом, Антон Льамосо! Ни Хуану де Пьедраите, ни Томасу Васкесу, ни Мартину де Роблесу, ни Алонсо Диасу не помогли прощения, дарованные именем короля,— всех их маркиз де Каньете велел повесить. Они того заслужили, скажу я вам, нечего было позориться — переходить на сторону короля, только маркиз вздернул их не в наказание за предательство, а за то, что в иные времена они повели себя как мятежники.

Антону Льамосо ни имена эти, ни рассуждения ничего не говорят.

— Вице-король маркиз де Каньете не может зараз повесить все четыре тысячи испанских солдат, которые разбрелись по Перу и слоняются без цели и без занятий, но он знает, что голод и праздность — источник всех мятежей, потому-то и предлагает нам отправиться за открытиями на юг и восток, через угрюмую сельву и неукротимые реки, и если сыщем мы славу, то достанется она королю, а смерть найдем — нашей будет,— говорит Лопе де Агирре.

Антон Льамосо слушает, ни звука не пропускает и дивится мудрым словам.

— И мы все поспешим на зов маркиза, ибо золото — это нечистый, который искушает нас и губит. В глубине души никто не верит в принца, что купается в золотой пыли на краю лагуны, ни в золотого тельца, что тучнее Моисеева, ни в улицы, мощенные серебряными плитами, ни в рубины величиною с апельсин, ни в аметистовые лестни-

цы, ни в страну Корицы, ни в колдовские чары Маноа, ни в затонувшие храмы богини Дабайды.

Антон Льамосо бормочет невнятное.

— Все это — легенды, выдуманные варварами-индейцами себе в защиту от нашей кавалерии и аркебузов. Эти легенды-пропасти воздвигало воображение туземцев, дабы алчность испанцев рухнула в их бездонные глубины. И, бог свидетель, их уловки, их хитрости возымели действие. Сотни наших солдат вместо чудесных миров нашли беды и смерть,— говорит Лопе де Агирре.

Антон Льамосо не осмеливается взглянуть ему в глаза.

— В глубине души никто уже не мечтает о сказочном Эльдорадо, все отчаялись вообще найти Эльдорадо. Они пришли в Индии не затем, чтобы пахать землю или выращивать лошадей, а чтобы вмиг разбогатеть. Скажи слово, и со всей страны сбегутся солдаты, готовые уверовать в выдумки бразильских индейцев и пойти навстречу величайшим опасностям за богатствами Омагуаса, сгорая от нетерпения ублажить амазонок, которые раскинулись, обнаженные, на траве в надежде поразвлечься со своими пленниками. Меня эти сказочки не пьянят, Антон Льамосо. Совсем иные мысли и доводы влекут меня за Педро де Урсуа,— говорит Лопе де Агирре серьезно.

Антон Льамосо хохочет.

В последний раз звонят колокола Куско довольно ты пожил на свете Лопе де Агирре ныне отправляюсь навстречу своей смерти верхом на буром лохматом коньке в жизни у меня осталась одна Эльвира я не брошу ее в Куско на коленях перед могилой Круспы не оставлю на милость отцов церкви что обманывают и портят девушек на волю похотливых помещиков на усладу мажордомам-насильникам я отправляюсь навстречу смерти или славе или навстречу тому и другому и никогда больше не разлучусь со своей дочкой Эльвирой она это я больше чем я сам Эльвира пойдет в поход на Омагуас вместе с Марией де Арриолой которая ей прислуживает вместе с Хуаной Торральбой которая о ней заботится вместе с Антоном Льамосо который станет ее тенью будет охранять ее вместе с Лопе де Агирре и никто не дерзнет даже глянуть на нее неуважительно раз я всегда буду рядом у меня не осталось зубов одни десны у меня нет волос одни седые патлы мои руки дрожат сжимая шпагу правая нога как высохший сук и все равно сердце мое полно великих замыслов которые ждут воплощения сердце мое преисполнено обид которые ждут отмщения я Михаил-архангел гнев божий я мятежный Люцифер до самой смерти не покину Эльвиру не отдам ее во власть мужского любострастия мы бросили дом в Куско и ступили на каменистый путь что ведет в Сиудад-де-лос-Рейес впереди на повозке запряженной черными мулами едет Эльвира со своими женщинами а за ними я с Антоном Льамосо верхом на лохматых перуанских коньках за нами едут хорошо снаряженные Лоренсо Сальдуендо и оба Гусмана а замыкает караван Педро де Мунгиа уже не слышны колокола Куско но вдруг в небе раздается адский грохот гром сотрясает небеса Хуана Торральба крестится и осеняет крестом Эльвиру Мартин де Гусман сыплет проклятьями а Эльвира испуганно смотрит на меня и встретив мой взгляд улыбается.

■

Твоя мать родилась не в инкских горах а на морском побережье, в Ламбайеке, среди людей другой крови и иных взглядов, среди моряков, которые, наслушавшись, как бьется море о берег, поверили

в свободу, среди рыбаков, которые, наглядевшись на зыбучие пески, впадали в сомнения относительно Пачакамака, творца мира и зеленых земель; мать смотрела на мужчин с такой ласковой настойчивостью, что у тех сердца сбивались с ритма и они начинали заикаться, однажды под вечер в Куско принц Уаскар, сын Уайны Капака и законный наследник инкского трона, увидел, как она танцевала, принц пригласил ее спать к себе в густой полумрак дворца Колканпата; принц был крепким и диким юношей, не познавшим еще медовой женской сладости, и твоя мать обучила его любовному обряду на циновках из желтых перьев, меж гранитных стен, голубеющих в отблеске солнечных лучей, и не было других уст, которые бы умели целовать так, как целовали ее уста, в ее благоуханном лоне познал принц Уаскар истинную страсть, из-за которой со временем потерял империю и жизнь; глаза твоей матери были так огромны, что в них умещалось все небо Перу, мать звали Честан Ксефкуин, и всей душой ненавидела она имперское могущество Тауантинсуйо, ибо рожденные в Ламбайеке живут под другим солнцем и видят иные сны; на празднествах Чупиньамака она обнажалась догола и танцевала касайако, она извивалась в танце, и ноздри ее раздувались, точно голубиный зоб, она распалялась танцем, и сосцы ее твердели, точно капли из черного дерева, она заканчивала танец, и пот с нее лил в три ручья — до дрожи; мать звали Честан Ксефкуин, она чудом ушла от гибели, когда в Куско по приказу Атауальпы перебили всех наложниц Уаскара, ее не прирезали, как остальных, потому, что твоя мать, тосковавшая по морю и песням побережья, вернулась к тому времени на песчаные дюны Ламбайеке, и в Ламбайеке ее увидели конкистадоры и онемели, ослепленные красой ее тела; когда из моря вышли белые виракочи, твоя мать, Честан Ксефкуин, жила вместе с Митайей Уитамой, которой судьба назначила быть прислужницей твоей матери; Митайю Уитаму крестил брат Бенито де Харандилья, дабы отворить для нее небесные врата, Bautizacunqui cristiana tucunqui diostra yupanqui banacman rinque banacman rinque [1], ей дали благородное имя Мария, но она предпочла сохранить скромное прозвание Митайя, что означает служанка низкого происхождения; и в сорок лет твоя мать оставалась красавицей из красавиц, дон Блас де Атьенса, который вместе с Васко Нуньесом де Бальбоа открывал новое море-океан, был избран ею из десяти военачальников, приглашавших ее разделить с ними ложе; дон Блас де Атьенса отвез ее в Трухильо, он был ее последним любовником, дон Блас де Атьенса был твоим отцом, и он распорядился назвать тебя Инес.

Детство твое безмятежно протекало под сенью апельсиновых, лимонных, гранатовых, айвовых рощ; с тех пор как Альмагро основал город Трухильо, город не покладая рук трудился и преуспевал; твоего отца, в прежние времена бывшего военачальником у Бальбоа, уважали владельцы энкомьенд и судьи, твоя мать и в шестьдесят лет была красивейшей женщиной Перу, а за тобой, девочка, жадными, ненасытными взглядами следили мужчины — белые, метисы, негры, индейцы, они шарили глазами по твоим расцветшим грудям, по твоему неистовому рту, по твоим точеным ногам, по вызывающему заду; твой отец наливался яростью, замечая их взгляды, а мать — нет, она довольно улыбалась, а более нее довольна была Митайя Уитама, тайком она их еще и подстрекала: какая девочка, пальчики оближешь, а? — говорила она; метис Фелипе Салкамойя грозился убить себя, если ты его не полюбишь, ты его не полюбила, и он вонзил себе в грудь кинжал в ту самую ночь, когда маски отплясывали сайнату в честь твоего пятнадцатилетия; другой метис по имени Пабло де Альвин чуть

[1] Молитва, латынь вперемешку с кечуа.

не стал твоим возлюбленным так, что ты опомниться не успела, в тени рожковых деревьев он приникал к тебе в неиссякающем поцелуе, от тех поцелуев бедняга Пабло де Альвин едва не терял сознание; я говорю «бедняга», ибо о том прознал твой отец, пригрозил ему смертью, и бедняга на крыльях смертельного страха перенесся в Чили; Митайя Уитама при свете коптилки делилась с тобой воспоминаниями: мое тело знало многих мужчин, девочка. Нет ничего слаще, чем чувствовать мужчину, девочка, слышать его частое, тяжелое дыхание над собой, девочка. Ты еще красивее, чем была твоя мать, говорила Митайя Уитама, когда не было рядом твоей матери; и тут дон Педро де Арко влюбился в тебя, твоя мать сообщила тебе о том, озабоченно вздыхая, она знала, что тебе не удастся полюбить его, и знала, что не позволено отказывать столь благородному сеньору; дон Педро де Арко был другом вице-короля и хозяином половины долины Чиакама, на его хлебных полях трудились три мельницы, а на его тростниковых плантациях дымил спиртовой заводик, дон Педро де Арко был волосат и сед, как белая лама; тебе было восемнадцать, когда вас обвенчали, обряд совершал епископ, ибо в те времена в Трухильо уже был епископ, и коррехидор, и два монастыря; епископ пробормотал молитвы на латыни, и твоя мать танцевала катаури, в тот день она танцевала последний раз в жизни; ты потеряла девственность в первую брачную ночь, как и велено божеским законом, и потом жаловалась Митайе Уитаме, как тебе было больно. Тебе было больно потому, что ты не влюблена, влюбленным женщинам тоже бывает больно, но они не жалуются, сказала Митайя Уитама; и после замужества все мужчины, включая епископа и коррехидора, сверлили тебя взглядами похотливых жеребцов. Это потому, что ты самая красивая женщина в Перу, объясняла твоя мать, а Митайя Уитама хотела знать одно, хорошо ли взял тебя Педро де Арко; испанцы и метисы не смыкали ночами глаз, воображая тебя обнаженной, но никто из них не отважился сказать тебе об этом, отважился в конце концов дворянин Франсиско де Мендоса, племянник вице-короля Уртадо де Мендосы, который прибыл в Трухильо по военным делам; в разгар шумного праздника дон Франсиско де Мендоса приблизился к тебе и зашептал непристойности, что тебя напугало, как-то вечером он рукою дерзко сжал твою грудь, а в другой раз прошептал, что твой голос возбуждает самые мужественные части его тела; а потом дон Педро де Арко, твой муж, уехал из города по своим мучным и сахарным делам, Митайя Уитама открыла дону Франсиско де Мендосе дверь твоей комнаты, он прыгнул в окно весь в каплях дождя, он так долго сдерживал желание, что на первый раз удовольствие длилось один краткий миг; но немного погодя он снова собрался с силами и грубо овладел тобою, последний раз, когда дождь уже кончился и заря разгоняла тучи. Он хорошо взял тебя, девочка? — с тревогой спросила Митайя Уитама, и ты не знала, что ответить; донья Инес, душа моя, ты забыла, что Трухильо — завистливый, злоязычный городишко, стали шептаться о том, как смотрит на тебя дон Франсиско, о любви, что заставляла дона Франсиско стоять с поникшей головой перед запертыми балконами твоего дома, слухи долетели до Сиудад-де-Лос-Рейеса, достигли ушей вице-короля; дон Андрес Уртадо де Мендоса, разъярившись, повелел племяннику тотчас же отплыть в Испанию, так ему и не выпало больше ни одной ночи в Трухильо, кроме той, когда ты трижды отдалась ему; твой муж дон Педро де Арко воротился домой сотрясаемый кашлем, кашель бил его так, что вы ночи напролет не могли сомкнуть глаз, ему не давала спать болезнь, а тебе — думы; не прошло и четырех месяцев, как твой муж исповедался и помер, ты же, с ног до головы в черном, грустно бродила по коридорам. Ты самая красивая вдова в Перу, говорила твоя мать. Придет день, и найдется мужчина, который возьмет тебя так, как ты того заслуживаешь, говорила Митайя Уитама.

Когда в Гуанчако бросил якорь корабль, на котором прибыл дон Педро де Урсуа, ты еще носила траур, твой муж Педро де Арко умер три года назад, твоего отца дона Бласа де Атьенсу унесла оспа прошлым ноябрем, твоя мать Честан Ксефкуин вдруг сдалась старости и, напевая мрачные индейские напевы, затворилась в самых темных покоях. Митайя Уитама была того же возраста, что и твоя мать, но еще продолжала сражаться с годами, Митайя Уитама рассказывала тебе странные легенды, которых ты от нее никогда раньше не слыхала, легенды об извращенной похоти и колдовстве, о неистовых объятиях брата с сестрою на берегу какой-то лагуны, о гигантских корнях, которые превращались в символы плодородия и вздымались как утесы, посреди рассказа Митайя Уитама прикрывала глаза и погружалась в воспоминания, тогда-то и прибыл в Трухильо дон Педро де Урсуа, писцы говорили, что он перебил триста индейцев в Новой Гранаде и двести негров в Панаме, говорили, что вице-король маркиз де Каньете назначил его предводителем похода в Омагуас, пренебрегши желанием различных могущественных сеньоров возглавить это великое предприятие, ни одна из этих сплетен или правдивых историй не тронула тебя, Инес де Атьенса, а тронула тебя его рыжая борода цвета кукурузного початка, его гордый, как у небесного архангела, профиль, его решительная поступь солдата, уверенного в своей сноровке, радость, которую излучала его улыбка, и мужественная красноречивость рук под стать его речам, его слава удачливого и неболтливого покорителя женских сердец; дон Педро де Урсуа, едва увидев тебя, уже знал, что должно произойти между вами, он прибыл в Трухильо собирать средства на поход, обещать грядущие губернаторства, грядущие епископства, грядущие горы золота в обмен на жалкие тысячи песо наличными, все имущество дона Педро де Урсуа состояло из одежды на нем и коня под ним, он познакомился с тобой в четверг на празднике Тела христова в доме дона Лоренсо Альборноса, инспектора святой матери-церкви, неутомимого сборщика церковных податей и поборов, представителя его святейшества папы, дон Педро де Урсуа говорил тебе об изумрудах чистейшей воды, которые отнимают у земли индейцы племени мусо, ты его не слушала, а смотрела, как искрятся его глаза, восхищалась нарядом из сеговийского сукна, воротником из фламандских кружев, которые были на бравом командире, неожиданно дон Педро де Урсуа спросил, пойдешь ли ты в субботу в церковь, и ты ему ответила, что пойдешь к девяти в собор святого Доминго, и, покраснев, улыбнулась; домой ты вернулась с горящими щеками, и Митайе Уитаме не нужно было ни о чем тебя спрашивать. В любви женщина испытывает наслаждение, как викунья, а страдает, как сука, только и сказала вполголоса Митайя Уитама, это была уже не та Митайя Уитама, которая, бывало, подталкивала тебя к мужчинам в постель; в субботу в девять дон Педро де Урсуа уже стоял меж колонн собора, ты пришла с Митайей Уитамой и прошла мимо, почти не глянув на него, хотя и осязала, слышала, чувствовала его присутствие; когда служба окончилась и стали выходить из церкви, дон Педро де Урсуа пристроился в лад к твоим шагам, и вы пошли вместе, ты не знала куда, злобный и любопытный Трухильо следил за вами, Митайя Уитама понемногу отстала, дон Педро де Урсуа вынул из своей сумы ключ и отпер дверь дома, который он снимал, не забывай, Инес де Атьенса, что честной вдове вроде тебя заказано переступать порог дома красивого и одинокого кавалера, весь Трухильо подглядывает за вами через замочные скважины и оконные жалюзи, дон Педро де Урсуа легонько подталкивает тебя за плечи, и ты, высоко держа голову, входишь в пошлую, неуютную комнату, темные жесткие стулья с кожаными сиденьями, прибитыми гвоздями, посредине — стол под вышитой скатертью, как можно жить в доме, где нет ни листочка зелени, где нет даже запаха левкоев? Дон Педро де Урсуа,

который не сказал тебе еще ни словечка любви, обнял тебя и поцеловал в губы, и ты поцеловала его так, словно вы уже целую жизнь любовники, он, как маленькую девочку, за руку, отвел тебя в комнату, где во всей своей белизне раскинулась дерзкая постель, в этой самой постели он спал с другими, может быть, вчера ночью он забавлялся в ней с любовницей, не думая об этом или думая только об этом, ты серьезно, словно выполняя ритуальный обряд, сняла одежды, он остолбенел, завороженный сверканием твоей кожи, пошел закрыть окно, чтобы на тебя не падало столько света, ты не заметила, как он разделся, только почувствовала вдруг его жаркие руки на твоих грудях, они заскользили вниз по округлости бедер, потом вернулись на середину и остановились на твоем трепещущем животе, ты почувствовала близость его губ, которые искали твои губы и нашли их, влажные и неистовые, вот тогда-то он в первый раз сказал, что любит тебя, сказал, когда его тело и твое уже следовали музыке, которая нигде не звучала, такого наслаждения ты никогда не испытывала, Инес де Атьенса, ты выходишь на улицу, уже смеркается, и весь Трухильо вылез в двери поглядеть, как ты идешь. Митайя Уитама возвращается домой вместе с тобой, возвращается, не разжимая губ, голос отказывает ей спросить, хорошо ли взял тебя Педро де Урсуа, бедняжка Митайя Уитама плачет.

Какое тебе дело до того, что думают и говорят обманутые мужчины Трухильо, злоязыкие кумушки Трухильо, преподобный епископ Трухильо? Ты идешь по улицам, площадям, и Митайя Уитама не охраняет тебя, твердым шагом ты направляешься к дому, где дон Педро де Урсуа сгорает от нетерпения у зашторенного окна, дон Педро де Урсуа считает лошадей, цокающих мимо по каменной мостовой, сердце подсказывает ему, что ты придешь сразу после того, как проскачет девятая, иногда так и случается, но бывает, ты запаздываешь или слишком много всадников проезжает мимо, и он начинает пугаться, вот уже девятнадцатый проскакал, а тебя все нет, но вот ты наконец появляешься, и разом из головы улетучиваются все подсчеты и все страхи, в этот вечер дон Педро де Урсуа, лежа обнаженный, говорит тебе, обнаженной, что через неделю он отправляется к реке Мотилонес, не может он дольше оставаться в Трухильо, лейтенант Педро Рамиро шлет к нему из Санта-Круса гонца за гонцом, у капитана Хуана Корсо давно стоят готовыми одиннадцать судов; тебя сотрясает, колотит от желания заплакать, закричать, и ты кричишь, винишь его в жестокости, в том, что он мало любит тебя, ты говоришь: ты любишь одного себя, Педро де Урсуа; он, раненный твоей несправедливостью, хочет сказать что-то, но ничего не говорит, а только приникает к тебе горячим, неиссякающим поцелуем, который кончается только тогда, когда губы его отрываются от твоих и спускаются к твоим налившимся грудям, и ты чувствуешь, как от любви сосцы твои опадают в его губах, а потом его губы ускользают, чтобы перецеловать все — один за другим — пальцы на твоих ногах, он целует и шепчет каждому из десяти свою коротенькую молитву, но ты не разбираешь слов, и ты всхлипываешь: да, милый, да, милый, да, милый,— до тех пор, пока оба вы не откидываетесь на простыни, сокрушенные одной и той же вспышкой-судорогой, и ищете в темноте губы друг друга, которые потеряли на время.

— Это безрассудство, Педро де Урсуа, но если ты решишься взять меня в свое войско солдатом, я пойду с тобой.

— Это безрассудство, Инес де Атьенса, но я возьму тебя с собой.

То было ужасное безрассудство, несчастная донья Инес, но оно было начертано на звездах.

ЛОПЕ ДЕ АГИРРЕ — ИЗМЕННИК

Полтора года прошло с тех пор, как дон Педро де Урсуа отбыл из сельвы за деньгами и солдатами, поскольку и в том и в другом была большая нехватка. Еще один вечер опускался на воды реки Мотилонес, она же Уальяга, и снова Педро Рамиро, Хуан де Агирре и мастер корабельного дела Хуан Корсо говорили о том, что задерживается дон Педро де Урсуа. Уже завершил строительство судов мастер Хуан Корсо. Его новенькие бригантины так и просятся на воду. Позади восемнадцать месяцев тяжелой работы. Бывало, пот лил с нас градом в адской жаре, а случалось, зуб на зуб не попадал под бесконечными, непрекращающимися ливнями. Рядом в сельве индейцы и негры валят гигантские деревья. Отсюда слышно, как глухо ударяется о землю упавший ствол. Вниз по реке к глубокой заводи, где мастерят корабли, спускаются плоты, груженные очищенными стволами. Пильщики врезаются отточенной сталью в твердую кору. Кузнецы раздувают огонь, без устали бьют по наковальне, куют гвозди и топоры. Плотники трудятся молотками, строгают древесину, ветви деревьев превращаются в крепления. Конопатчики забивают паклю в щели между досками, заливают смолой палубы и борта будущих кораблей. Мастер Хуан Корсо ходит взад-вперед, и рой москитов вьется над ним. Он ходит под палящим солнцем и под проливным дождем, ходит и когда лихорадка трясет его. Мастер Хуан Корсо кричит, отдает распоряжения пятидесяти работникам, людям разной крови, кастильцам, эстремадурцам, бискайцам, наваррцам, каталонцам, мулатам, метисам, неграм, индейцам. По ночам поет грустная-прегрустная птица айаймама, от ее воплей хочется плакать, будь проклята ее пернатая мать! По планам мастера Хуана Корсо мы построили две бригантины и девять простых барок из тех, что называют плоскодонками. Каждая плоскодонка вмещает сорок лошадей и двести человек со всеми их пожитками и собаками.

Лейтенанту Педро Рамиро ждать возвращения Педро де Урсуа было еще тяжелее, чем мастеру Хуану Корсо. Лейтенант Педро Рамиро, основатель и коррехидор Санта-Крус-де-Капоковара, представляет здесь власть отсутствующего губернатора. Санта-Крус-де-Капоковар — индейское поселение, которое снабжает нас поденщиками, инструментом и продовольствием. Дома в поселении — тесные деревянные лачуги, обмазанные глиной, перемешанной с соломенной трухой. В Санта-Крус-де-Капоковар из самых отдаленных мест идут люди, согласившиеся отправиться походом в Омагуас. Из Куско, из Кито, из Попайяна и даже из мест еще более северных сходятся сюда на запах золота искатели приключений. Под вечер они набиваются в таверны или толпятся вокруг стола, где из рук в руки переходят монеты и замусоленные карты. Какой-то астуриец наигрывает на гитаре и усталым голосом поет старые романсы. На улице рокочут барабаны негров, взывающих к своим богам. А еще дальше изливают свою тоску безутешные флейты индейцев из племени хибарос. Солдаты выходят на улицу, пошатываясь, сыпля ругательствами и проклятьями. Столяр Мариано Феррер не выходит больше из дому, Мариано Феррер умом тронулся, столько было вранья. Шквал заразной лихорадки унес из этого мира девять индейцев, трех негров и одного испанца. В прошлый четверг из лесных зарослей принесли пеона-мулата Педро Мадроньо, его укусила змея шушубе, живот раздулся, как бурдюк, и не спасли его ни молитвы, ни лекарственные снадобья. Вчера ночью ударом кинжала убили сержанта Леандро Мору, который ни от кого не терпел ни шуток, ни угроз. Вчера же ночью братья Ирасабаль, хлебнув лишнего, пытались с двух или трех концов поджечь селение. Лейтенант Педро Рамиро опасается, как бы не стряслось и чего похуже, ежели Педро де Урсуа не вернется в скором времени, ежели корабли мастера Хуана Корсо не отчалят без промедлений.

Что касается Хуана де Агирре, казначея всего этого предприятия, то он рвет на себе волосы и клянет свою долю. Последнюю тысячу песо потратил он на самое необходимое продовольствие, на скот, на касабе, на растительное масло и вино, чтобы не волновался и не разбегался народ. Но если Педро де Урсуа не воротится в ближайшее время или апостол святой Иаков не сотворит какого-нибудь своего чуда, он пропал. Что ни ночь, казначею Хуану де Агирре снится, как раскачивается его труп, он предчувствует: повесят его на густой сейбе, что раскинула свои ветви перед маленькой церковью Санта-Крус-де-Капоковара.

И вот наконец возвратился дон Педро де Урсуа в сельву, где все его так ждали. В городе Чачапойас он горько жалуется на то, что ему не удалось собрать даже половины из двухсот тысяч песо, которые были ему нужны. Дон Педро де Урсуа обладает даром слова и убеждения, он так расписывает города из золота и замки из серебра, так реально излагает фантазии, что купцы из Сиудад-де-лос-Рейеса начинают верить ему и обещать тысячи эскудо. Негодяи! Когда же наступил решающий момент, ни один из них не выполнил данного мне слова, тот, что обещал десять тысяч, не дает и тысячи, тот, что обещал пять, отказывается принять меня, и на поверку дают деньги лишь те, готовые на приключения, что заодно вручают мне свою веру и свои мечты о сверкающем Эльдорадо, те, что ставят в этой игре на кон и свое состояние и свою жизнь; Педро Алонсо Галеас вносит три тысячи песо, Гонсало де Суньига отдает две тысячи и трех лошадей, две тысячи вручили мне Педрариас де Альместо и Хуан де Вальядарес, Хуан Васкес Саагун продает все свое имущество, Инес де Атьенса продает по дешевке за семь тысяч песо свой дом, чтобы отправиться вместе со мной; несмотря на это, у Хуана де Агирре концы с концами не сходятся, да и как им сойтись, не хватает денег, чтобы купить скот и заплатить солдатам, чтобы приобрести бочки с порохом и свинцовые слитки, чтобы запастись вином; эй, сатана, меняю душу на пригоршню мерзких песо для дела, которое сохранит мне доброе имя и жизнь!

В это самое время со священником Портильо приключилась история, которую каждый толковал на свой лад; священнику и викарию Мойабамбы удалось скопить шесть тысяч песо ценою голода и лишений, а также благодаря тому, что заставлял работать индейцев, не давая им за труды ни денег, ни чего-либо другого; этого священнослужителя по имени Портильо соблазняла мысль отплыть на бригантинах дона Педро де Урсуа, однако его не столько прельщало епископство в Омагуасе, обещанное губернатором, сколько манил и лишал сна запах золота; «Народ сей сделал великий грех: сделал себе золотого бога»,— написано в книге «Исход», но священник Портильо не разделял угрызений Моисея, пошли мне, господи, не спасение души, но заднюю ножку золотого тельца из Ветхого завета! Священник для начала вручил полторы тысячи песо дону Педро де Урсуа, а остального отдать не смог, сердце кровью обливалось, как у всякого скряги, когда наставал момент развязать свою суму, дон Педро де Урсуа (а вернее, мулат Педро Миранда, большой пройдоха, а может, молодой Фернандо де Гусман, который слыл хитроумным андалусцем) измыслил уловку, как вырвать у священника остальные четыре с половиной тысячи, они разыграли комедию, будто в полночь священника зовут к умирающему, священник, как был в ночной рубашке, помчался отпускать грехи, тот, что прикинулся умирающим, и трое его сотоварищей приставили к груди священника аркебуз с дымящимся фитилем, а к почкам два наточенных кинжала, и тот подписывает все бумаги, какие они велят, затем они сажают его на серого в яблоках коня и везут за собой, как есть голозадого, старый викарий хнычет на коленях перед доном Педро де Урсуа: тело мое больное и дряхлое, нет во мне сил ни плавать, ни сражаться, не гожусь я и грехи отпускать, ибо у меня самого их предостаточно, скупость что мерзкая язва, по-

хоть моя произвела на свет детей-метисов, раз ночью в ризнице снасильничал индеаночку, случалось, путался с кем попало, не заслуживаю я быть епископом в Омагуасе и ни в каком другом месте на земле,— дон Педро де Урсуа не внял его самоуничижению, взял его с собой.

Сержант Лопе де Агирре отказался участвовать в том фарсе, кощунственную затею он полагает недостойной воинов и христиан. Я скажу тебе прямо, что думаю, Лоренсо Сальдуендо, если священник отказывается дать четыре с половиной тысячи, нужные нам позарез, так убейте его честно и возьмите эти песо с холодного трупа — куда благороднее, нежели вырывать силком, да так, что его слабые ребра трещат, он умрет от позора, едва мы отправимся в плаванье, что на самом деле и случилось.

Гораздо больше досады, нежели забавная история с отцом Портильо, Инес, жизнь моя, причинили события, повлекшие за собой смерть Педро Рамиро, рехидора Санта-Крус-де-Капоковара, и еще двоих: капитана Диего де Фриаса, которого мне в свое время весьма рекомендовал вице-король, и капитана Франсиско Диаса де Альвеса, бывшего моим товарищем по оружию еще в Новом Королевстве и приходившегося мне дальним родственником. (Дон Педро де Урсуа пишет длинные письма донье Инес де Атьенсе, которая все еще находится в Трухильо и сгорает от желания скорее приехать к нему.) Случилось так, Инес, душа моя, что я отправил Фриаса и Диаса де Альвеса командирами отрядов в местность, где живут индейцы племени таволорос, за юккой и животными, годящимися в пищу, каковых в наших местах не так много, а проводником с ними я послал лейтенанта Педро Рамиро, который знал сельву как свои пять пальцев и мог бы каждого направить в самое подходящее место. Не подозревал я, Инес, сердце мое, что как у Фриаса, так и у Диаса де Альвеса сердце точила зависть к Педро Рамиро, который пользовался моим особым доверием, в силу чего и был назначен рехидором Санта-Крус-де-Капоковара, и я имел в мыслях назначить его начальником штаба нашей флотилии в походе на Омагуас. Движимые этой завистью, обожаемая моя Инес, Фриас и Диас де Альвес сговорились бросить начатое дело, уйти от Педро Рамиро с его людьми и возвратиться в лагерь, вооружившись дурными намерениями. Намерения же их были столь дурны, Инес, тоска моя, что, повстречав на своем пути двух солдат, шедших в противоположном направлении, они убедили их в том, что Педро Рамиро якобы восстал против короля и против меня, и позвали их с собою, чтобы схватить Педро Рамиро и казнить. Педро Рамиро они нашли на берегу реки, где он, имея в распоряжении всего одно каноэ, по трое переправлял своих людей, они предусмотрительно спрятались в кустах и дождались момента, когда лейтенант остался на этом берегу с одним лишь своим слугою — негром, всегда при нем находившимся. Тогда, Инес, желанная моя, они схватили его, связали ему руки, заткнули кляпом рот, а потом отрубили голову, заставив совершить это злодейство черного раба, принадлежавшего Фриасу. Затем они перешли реку и заверили людей Педро Рамиро, что убили их лейтенанта и рехидора по моему распоряжению в наказание за ужасную измену, которую он якобы совершил. Однако судьбе было угодно, чтобы черному рабу лейтенанта Педро Рамиро удалось бежать и, скрывшись в зарослях, наблюдать, как предавали позорной смерти его господина, после чего он помчался что было духу в Санта-Крус-де-Капоковар, где и поведал мне всю правду об этом деле. Таким образом я узнал о свершенном беззаконии, и когда Фриас и Диас де Альвес написали мне медоточивые письма, в которых лживо уверяли, будто Педро Рамиро восстал против моей власти и теперь содержится у них под арестом, а они просят моего позволения казнить его гарротой, я притворился, что поверил им, и вежливо попросил их вернуться в лагерь. Как только они

прибыли, Инес, страдание мое, я велел их арестовать и обвинил их в содеянном злодействе в присутствии тридцати свидетелей, тех самых тридцати солдат, которые находились на другом берегу реки во время совершения преступления, и приговорил четверых убийц к повешению на сейбе, что растет в селении перед церковью. Немало страданий, Инес, плоть души моей, стоило мне видеть висевшие на дереве тела людей, один из которых был в милости у вице-короля, а другой приходился мне родственником, они были храбрыми воинами, так необходимыми для моего дела, однако оставить безнаказанным их вероломство означало рисковать уважением и признанием людей, которые за мной следуют. Вести, которые я сообщаю тебе, Инес, любовь моя, недобрые, зараз я потерял троих своих лучших военачальников, но ты знаешь, я не сдаюсь бедам и слыву не смиренным, но гордым и уверенным в собственных поступках, еще более гордым и уверенным я чувствую себя с той минуты, как узнал тебя, полюбил и тобой обладаю, Инес, сладкая моя, желанная. (Тут дон Педро де Урсуа пустился на нескольких страницах в излияние своих любовных — духовных и плотских — переживаний с такими подробностями, что, попав в руки доньи Инес де Атьенсы под вечер в субботу, они заставили ее трепетать словно пламя свечи.)

Донья Инес де Атьенса увидела первые дома Санта-Крус-де-Капоковара в воскресенье в три часа пополудни и заспешила к ним по влажной, липкой жаре, предвещавшей ливень. О ее прибытии шепотом сообщили два священника в исповедальнях, женщины разнесли по всему городу эту весть, она громко обсуждалась в тавернах. Дон Фернандо де Гусман, как никто, охочий до всякого рода праздников и чествований, ходил по домам, призывая: давайте всем миром устроим роскошный прием самой красивой женщине Перу! Дон Фернандо де Гусман никогда ни вблизи, ни издали не видел доньи Инес де Атьенсы, но только в его присутствии (может, потому, что он был сыном благородных и уважаемых в Севилье родителей), только в его присутствии и в довольно сдержанных выражениях позволял себе дон Педро де Урсуа восхвалять красоту своей дамы.

С самого раннего утра повелел влюбленный губернатор открыть краны бочек, и вино полилось рекой, колокола звонили так, будто народился принц, с соломенных крыш и из окон свисали розовые ленты, рокотали военные барабаны испанцев, им вторили барабаны негров, всадники скакали по кругу и выделывали вольты, аркебузы стреляли в воздух, пахло порохом и потом.

Вдруг на пыльной дороге показались оперенные шлемы солдат, возглавлявших процессию, словно птицы вились знамена и праздничные стяги, загремели многоголосые приветствия и здравицы, но, по мере того как процессия приближалась к центру поселения, крики стихали и наступила почтительная тишина. Все слышали, что донья Инес де Атьенса — самая красивая женщина в Перу, но никто не подозревал, что она красива такой смуглой, таинственной красотой. Черными были глаза, черными волосы, черной была мантилья, которой она чуть прикрывала лицо, и черной была ее бархатная юбка. Но по контрасту белой была кобылица под ней, голубыми и золотыми — украшения на упряжи, красным — плюмаж.

Дон Педро де Урсуа, гордый и объятый мечтами, подал ей руку, чтобы помочь спуститься с седла. И в этот миг все — и мужчины и женщины — смогли в полной мере оценить могущество ее чаровства. Она была так стройна, что тотчас же изогнулась, дабы и на миг не превосходить ростом своего возлюбленного губернатора. И неотесанные, неудовлетворенные мужчины, и ревнивые, раздосадованные женщины угадали под одеждами длинные и стройные ноги, широкие и крепкие бедра метиски, маленькие округлые груди. Командиры Лоренсо Сальдуендо и Хуан Алонсо де Ла Бандера, мулат-альгвасил

Педро Миранда, солдат-казначей Педро Эрнандес, капеллан Алонсо де Энао и многие другие, о которых мы просто не знаем, почувствовали, что не в силах отвести взгляд от этой женщины и кровь закипает у них в жилах. Сержант Лопе де Агирре, напротив, поднял глаза к небу, ибо оттуда на головы собравшегося люда уже падали первые капли дождя.

■

С лихвою накричавшись и отпустив немало проклятий, отчалили мы от берега двадцать шестого сентября, в день святого Сиприано. Отец Энао поясняет, что святой Сиприано был языческим ведуном, милостью божьей обращенным в христианство. За это император Диоклетиан повелел его обезглавить, и поделом ему, полагаю я. Но зато четвертый день нашего плавания приходится на праздник святого Михаила-архангела, покровителя города Оньяте и моего, Лопе де Агирре, ангела-хранителя. Вот этот святой впрямь ясный и праведный, всегда послушный воле божественного провидения, тебе я вручаю себя, дабы ты защитил меня в превратностях плавания и помог мне избавиться от заклятых врагов моих, нынешних и грядущих.

Еще до отплытия на головы нам обрушилось столько бедствий, будто злокозненный демон обрек нас навеки отчаяться в этой унылой болотистой речной заводи. Самой большой невзгодой было, что растрескались корабли мастера Хуана Корсо. Одиннадцать судов было у нас, и немало пота пролили мы, пока их строили. Шесть из них разошлись по швам сразу же, как только их спустили на воду, вода хлынула в щели, деревянные борта рассыпались, что пук соломы, плоскодонки поболтались немного у берега и пошли ко дну. Мастер Хуан Корсо винил во всем и клял долгие месяцы пустого стояния на берегу, пока суда мокли под яростными, как при всемирном потопе, ливнями и зверьки устраивали норы в их пустующих трюмах, а потом прокаливались на прибрежном песке в ожидании дона Педро де Урсуа, который все никак не возвращался. Дабы освятить своим присутствием спуск на воду флота, губернатор покинул свой шатер, где донья Инес денно и нощно терзает и ублажает ему душу и иные части тела. И по мере того, как плоскодонки одна за другой шли ко дну, твое лицо, дон Педро де Урсуа, становилось из румяного желтым. Страх, что развалятся и бригантины, вырвал у тебя такие проклятия и ругательства, какие к лицу лишь кучерам и отступникам, ты даже словесно нагадил на бога, падре Энао от ужаса трижды осенил себя крестом. Еще немного — и ты бы вонзил шпагу в брюхо мастеру Хуану Корсо, как бы сделал я на твоем месте, ибо иного этот сукин сын не заслуживал. Ты же удовольствовался тем, что велел заковать его в кандалы, но назавтра освободил и послал без промедления чинить сгнившие корабли. Вот он мечется теперь, мастер Хуан Корсо, точно буйнопомешанный, сталкивает в реку индейцев, заставляя их вылавливать из воды доски, надрывается-кричит на плотников, кузнецов и конопатчиков, весь до ресниц в глине, ночами не смыкает глаз, понукая негров сменять друг друга. Я же, привыкший спать мало, а то и вовсе обходиться без сна, тоже бодрствую ночами, мне забавно смотреть под луною на негров, отлынивающих от дела, и слушать, как в темноте — тататао, тататао — распевает птаха, не дает задремать мастеру Хуану Корсо.

И наконец свершилось, как говаривал в Оньяте священник, брат Педро Мученик, наконец в день святого Сиприано нам удалось вырваться из этой позорной трясины. От одиннадцати новеньких судов у нас осталось две бригантины и три плоскодонки, латаных-перелатанных, грозящих, того и гляди, тоже уйти под воду. Взамен же утраченных с нами вышли в плаванье более двух сотен плотов и каноэ. Наши лесорубы свалили самое огромное из виданных нами деревьев и из

его ствола соорудили небывалых размеров каноэ, какое еще никогда не бороздило ни одни воды. На столь необычном челне разместился губернатор Педро де Урсуа со своими друзьями и лучшими командирами. Этот многочисленный разношерстный флот раскинулся от берега до берега, и мой склонный к точности товарищ Педро де Мунгиа ведет счет: 400 испанских солдат, 24 темнокожих адъютанта — негры и мулаты, 600 человек прислуги — индейцы и индеанки, кроме того 14 белых женщин вышли с нами в плаванье (не считая доньи Инес де Атьенсы и моей дочки Эльвиры, которые не белые, а метиски). Остальной груз — тюки с одеждой и постелью, кухонная утварь, всевозможное оружие, щиты и бочки с порохом и с вином, гитарные переборы, собачий лай, несчитанные козы и овцы и неизвестно сколько коров и телят, а также 27 лошадей с доброй сбруей, уж этих-то я сосчитал с превеликой точностью.

Самым печальным последствием поломки кораблей, построенных мастером Хуаном Корсо, было то, что нам пришлось оставить на берегу добрую часть наших пожитков, которые не умещались на плотах и каноэ. Пришлось забить и засолить большую часть скота, который был взят с целью основать хозяйства на земле обетованной, а также продать индюшек и кур двенадцати оставшимся в Санта-Крус-де-Капоковаре поселенцам и, уж самое бесчеловечное, бросить лошадей. Более ста лошадей топчутся и храпят на берегу без узды и без хозяина. Как может человек обходиться без седла в наших местах, где лошадь — лучшая и наиболее полезная половина нашего существа? Немало солдат чуть было не решили вовсе отказаться от плаванья, лишь бы не бросать лошадей. Генерал Педро де Урсуа не позволил им этого сделать. Одних он убедил, напомнив в красивых выражениях, что сокровища Омагуаса совсем рядом, всего в каком-нибудь месяце пути. Других, которых ничем не убедишь, силой заставил сесть на весла судна, где плыла донья Инес. Вместе с ними греб мастер Хуан Корсо, который все еще горевал над злосчастной участью своих кораблей. На веслах сидел и озлобившийся алькальд Алонсо де Монтойя, которому все было как по сердцу ножом.

Где теперь Гарсиа де Арсе? Что сталось с Хуаном де Варгасом? Три месяца тому, как губернатор Педро де Урсуа отправил их вниз по течению реки. Им было поручено встретить нас провизией и добрыми вестями в месте, где эта река сливается с другой большой рекой, открытой губернатором Хуаном де Салинасом, которую одни называют Кокама, а другие — Укаяли. Первым отбыл Гарсиа де Арсе с тридцатью людьми, на нескольких каноэ из легкой древесины и плотах из стволов, связанных крепкими лианами. Следом за ним — Хуан де Варгас с семью десятками людей, по указанию губернатора Урсуа он взял с собой одну из двух наших бригантин. Позднее с божьей помощью мы все соединимся, каноэ и плоты Гарсиа де Арсе, бригантина Хуана де Варгаса и наш разноперый флот, соединимся у впадения реки Кокамы, которую некоторые именуют Укаяли.

К случаю вспомнилось мне, что по этим самым или подобным водам, точно так же в поисках продовольствия, послал некогда Гонсало Писарро своего превосходного командира Франсиско де Орельяну. История свидетельствует, что Гонсало Писарро так его больше и не увидел, ибо Орельяна был не просто ловцом черепах, но жаждущим славы первопроходцем. Франсиско Орельяна несколько месяцев без остановки плыл через водопады и выплыл к морю-океану, овеянному славой, Гонсало Писарро все ждал его в сельве, забивая лошадей, чтобы хоть немного подкормить свое оголодавшее, оборванное войско. Где теперь Гарсиа де Арсе? Что сталось с Хуаном де Варгасом? Губернатор Педро де Урсуа слепо верит в них, он вознес Хуана де Варгаса в чин генерал-лейтенанта, Гарсиа де Арсе его друг и наперсник, облеченный особым доверием. Франсиско Орельяна был еще бли-

же к Гонсало Писарро и еще более им ценим, полагаю я, однако же и его верность с легкостью потонула в бешеных водах этих безбрежных рек.

Моя дочка Эльвира смотрит за борт, наблюдает, как вихрится, закручивается за нами водяной хвост. Предвечерний, съеденный облаками свет делает ее лицо еще более детским и, да простится мне, еще более ангельским. Два или три раза Антон Льямосо спрашивал меня: зачем ты потащил за собой девочку? Разве не разумнее, не осмотрительнее было оставить ее в Куско в обществе Марии де Арриолы и Хуаны Торральбы?

Мария де Арриола, компаньонка, женщина сдержанная и мрачноватая, служила в Алаве на складе вин и фруктов; как истая басконка, она верит в бога и всех святых, ей особо ненавистны воровство и плотский грех. Хуана Торральба весьма от нее отличается, то она говорит, что родом из Сории, то из Логроньо, в Индийских землях она оказалась по вполне определенной причине — отправилась следом за писарем-андалусцем, который обещал на ней жениться, неудачливый жених не сумел выполнить клятвы, ибо в ознобе куартаны [1] остыл навеки. Моя дочка Эльвира родилась на глазах у Хуаны Торральбы, и с той поры Хуана Торральба, глядя на нее, воображает, какой была бы ее дочь, которую не зачал в ее лоне писарь; Хуана Торральба перебралась в наш дом, когда умерла Круспа, и, услыхав, что я беру девочку с собою в поход, Хуана Торральба без лишних слов сложила свои нехитрые пожитки и отправилась с нами. У меня на свете кроме нее никого нет, сказала она мне. Хуана Торральба вместе с Марией де Арриолой совершает ночные молитвы, правду сказать, не дойдя до литаний, всякий раз засыпает.

Антон Льямосо спрашивает меня, зачем я потащил за собой девочку вместо того, чтобы оставить ее в Куско под охраной и покровительством обеих служанок. Я ему не отвечаю, я не должен ему отвечать. А боялся я оставить девочку под ненадежной опекой двух женщин из-за опасности, о которой нельзя говорить вслух ни с кем. Кто бы защитил ее от сластолюбия отцов церкви, что используют темноту исповедален для развратных дел? Кто защитил бы ее от неуемных солдат-насильников, от наглости похотливых помещиков, от вожделения ловкачей-судей, от уговоров и воздыханий чувственных мулатов? В этом городе тяжелых домов и суровых скал, где моя дочка Эльвира была подобна розе в саду из камня, мужчины в любой час дня и ночи думают об одном распутстве и непристойностях. Слушай же хорошенько, Антон Льямосо, раз уж тебе хочется знать мои доводы. В этот поход на Омагуас вышли более трех сотен настоящих мужчин, более трех сотен авантюристов с задубевшей кожей и мохнатым сердцем, но ни один из них не отважится бросить на мою дочку Эльвиру дурного взгляда, ни один не решится осквернить ее невинность низким желанием, пока я рядом с ней, пока рядом с ней ты и Педро де Мунгиа, Мартин Перес и Диего Тирадо, Хуан де Агирре и Кустодио Эрнандес, Роберто Сосайя и Хоанес де Итуррага и иные мои друзья, которые завтра станут моими мараньонцами, бог меня понимает. У Екклесиаста есть слова, Антон Льямосо, которые я затвердил наизусть: *«Дочь заставляет отца бодрствовать, ибо заботы о ней лишают его сна из страха, что будет запятнана ее непорочность»*. Так гласит Екклесиаст, Антон Льямосо, и так думаем мы, кто привержен заповедям святой матери римской церкви.

Лоцман Хуан де Вальядарес, стоя на носу бригантины, указывает путь всей флотилии, лоцман исходит кровавым потом, ведя корабли по этой незнакомой и коварной реке. Неожиданно возникает заводь, и мы на целые часы застреваем в ее застойных водах, потом как бе-

[1] Куартана — четырехдневная лихорадка.

шеные крутимся в бурном водовороте, и через каждые пол-лиги нас подстерегает или мель, или подводная скала, а то течение становится вдруг таким стремительным, что мы не справляемся с ним и против воли прижимаемся к берегу. Наша единственная бригантина (другая вышла раньше под командой Хуана де Варгаса) напоролась на риф, разодрала киль, в дыры на бортах хлынула вода, и бригантина стала тонуть. В момент, когда на матросов и лоцмана бригантины свалилась эта беда, с ними поравнялось длинное-предлинное каноэ, на котором плыло высшее командование. Губернатор Урсуа не остановился оказать им помощь, не вникая в дело, он поднялся со своего места и прокричал им:

— Поднажмите! Встретимся у поселения остроголовых!

Наша плоскодонка, напротив, отклонилась от курса и поспешила им на помощь. Терпящие крушение затыкали дыры чем придется: старыми одеялами, тряпьем, шерстью из матрацев, ветками, сушеными кожами, деревьями, которые несла мимо река, а заткнув дыры, забили их поверху досками и залили смолой.

У поселения остроголовых уже стоял на якоре Лоренсо Сальдуендо, которого выслали вперед добывать съестное. До сих пор ничего не известно ни о Гарсиа де Арсе, ни о Хуане де Варгасе, предполагают только, хотя и сомневаются, что оба они поджидают нас при впадении реки Кокамы, которую некоторые именуют Укаяли. Остроголовые — так называют индейцев этого племени за их смешные островерхие шапочки — дают нам фанегу маиса и полное с верхом каноэ черепах в обмен на толедскую с зазубринами наваху. Мы починили бригантину в бухте у остроголовых, и она подняла паруса под командой Педро Алонсо Галеаса, взяв курс вниз по реке до встречи с Гарсиа де Арсе и Хуаном де Варгасом. Единственной новостью за это время было то, что с алькальда Алонсо де Монтойи сняли ножные и шейные кандалы, которые давили его и бесчестили. Тщетно я пытался войти с ним в дружбу, ничего кроме яростного рыка и проклятий, Алонсо де Монтойя выговорить не мог.

Мы проплыли еще восемьдесят лиг и достигли устья Укаяли, которую иные называют Кокамой. Именно в этом бескрайнем перекрестье вод рождается настоящая и истинная река Амазонка. Здесь мы нашли Хуана де Варгаса с его людьми. С удивлением и опаской замечаем, что среди встречающих нас не видно Гарсиа де Арсе.

— Бог знает, где он, Гарсиа де Арсе,— говорит Хуан де Варгас с заметным мадридским акцентом.— Остроголовые сказали нам, что он проплывал мимо. Должен был ждать меня здесь, такой был уговор, но, видно, не терпелось ему отправиться дальше.

У всех нас возникла мысль и закралось подозрение, что Гарсиа де Арсе одолела честолюбивая страсть к личным подвигам и что ему захотелось самому открыть Эльдорадо себе на славу и на богатство, у всех закралось это подозрение, и только губернатор по-прежнему преисполнен нерушимого доверия к своему подданному. Вернейший Гарсиа де Арсе под его командой сражался против индейцев племени мусо в Новом Королевстве, вместе с ним строил смертельную западню и уничтожал беглых негров в Панаме, преданно помогал ему основывать Памплону и Туделу. Отец Энао пустил слух, что однажды на празднике тела Христова в Картахене, где чича текла рекою, генерал Педро де Урсуа и его соратник Гарсиа де Арсе обрюхатили двух индейских девушек и те положенное время спустя принесли каждому из них по младенцу женского пола.

— Не беспокойтесь,— твердо и уверенно говорит губернатор.— Гарсиа де Арсе ждет нас с добрыми вестями впереди.

Хуан де Варгас отдает военное приветствие и рапортует:

— Повинуясь указаниям вашего превосходительства, генерал Урсуа, и ввиду трудностей, возникших из-за того, что мы не нашли Гарсиа де Арсе в назначенном месте, я принял решение подняться

вверх по реке Кокаме в поисках продовольствия, о наличии которого сообщили примкнувшие к нам люди Хуана де Салинаса. Я взял с собою солдат крепких, в лагере же оставил больных и слабых, сделав над ними начальником Гонсало Дуарте. И зправду, как говорили нам люди Хуана де Салинаса, через двадцать два дня пути вверх по Кокаме мы вышли к индейским поселениям, где нас снабдили маисом, фруктами и юккой, иногда добровольно, а иногда против желания. Потом я вернулся сюда со множеством каноэ, груженных продовольствием и немалым числом полоненных индейцев, и тут глазам моим предстало самое что ни на есть печальное и неутешительное зрелище.

Хуан де Варгас говорит тише, чтобы слышал один губернатор, но мое рысье ухо не пропускает ни слова:

— Я нашел своих людей лежащими неподалеку от бригантины, одни были больны, других свалила усталость, все полумертвые от голода и тоски. Три испанских солдата скончались от недоедания, их трупы бросили в реку, чтобы не отдавать на растерзание стервятникам, ни у кого недостало воли похоронить их по-христиански. В воду выбросили и пятнадцать трупов индейцев, к вящей радости кайманов и хищных речных рыб.

Хуан де Варгас совсем тихо продолжает свой рассказ:

— В довершение всех бед, по мере того как время шло, а флот вашего превосходительства не появлялся, во многих недовольных просыпался дух мятежа. Были такие, что хотели бросить все и возвратиться в Перу, те, что посмелее, намеревались одни отправиться дальше искать места получше, а были злодеи, которые хотели простонапросто убить меня. Пришлось некоторых наказать, хотя большинство я постарался убедить, приводя доводы и примеры, объяснял им, что ваше превосходительство человек благородный и хозяин своему слову, печется о собственной чести, а потому живым или мертвым придет сюда к нам, как было обещано.

То, что рассказал Хуан де Варгас о своих злосчастиях, впрямь так и было, наше появление успокоило раздоры и уняло брожение, так что о трех умерших товарищах и думать забыли. Роздали продовольствие: маис, юкку, лепешки, соленую рыбу, фрукты и дичь,— при этом не обошлось и без недовольных, которые считали, что раздел был произведен не поровну и несправедливо. Они ворчали, что донье Инес досталось все самое лучшее за то, что она такая красавица и любовница губернатора. Я же никогда не гонюсь ни за юккой, ни за лепешками и потому взял лишь необходимое, чтобы не страдали от голода дочка моя Эльвира и женщины, заботящиеся о ней.

Нашему взору открывается бескрайнее и устрашающее пресноводное море, которое зовется рекой Амазонкой, для меня же оно — Мараньон, Мараньон из Мараньонов, всем Мараньонам Мараньон, мой Мараньон. и никак иначе.

Лишь первая капля зари упадет на купол Вильканоты
на темную колючую вершину Вильканоты
и гарпун верховного творца Виракочи вонзится в высокие
дозорные башни инков
как нетронутый голос снегов раздерет звезды пепельных вод
струйки домовых поскачут по ноздрявым дыбящимся утесам
свет скорбящих душ низойдет с облаков кипящими потоками
и снопы зарниц опрокинутся в ревущий Апуримак
что катит грохот и ярость по подвздошью неприступных гор
Апуримак парение серебристого ястреба над оцепенением
бездн
Апуримак усмиритель пылающей золотом сельвы
Апуримак ягуар рыкающих вод
пенящаяся пума что врывается в воды Мантаро
чтобы слиясь родить обнаженное течение Эни

невиданную прозрачность струящуюся навстречу с Перене́
стойким принцем сверкающей зыби
что просверлил адские пещеры и расплел тайны серых
водорослей
Эни и Перене соединяя свои воды превращают тебя в Тамбо
дикую Тамбо
и ты крутишь и крутишь
выдумываешь бессчетно опаловые дороги
тебя не останавливают холмы не усмиряют долины
ты мчишься и падаешь в объятия Урубамбы
брата Урубамбы
сына одного с тобой скалистого и мрачного отца
Урубамбы рожденного той же что и ты матерью
из алебастра и льда
Урубамбы свернувшего с твоего пути в обход
неприступных Анд
самому Богу не удалось бы помешать рождению Укаяли
блуждающей мелодии Тамбо
сладострастному ржанию Урубамбы
только что слабенькие ниточки спадающие с Вильканоты
и вот они уже хрустальное единство
спаянный воедино голубой свет и неприрученные лесные
ароматы
ты зовешься Укаяли чтобы увлажнить сердце Перу
ритмами твоего величественного млека
ты зовешься Укаяли чтобы безраздельно принять
дань трех десятков податели
Камисеа Сепауа Мисагуа Коенга Тауаниа Инуиа Чешеа
Хенипаншиа
Пачитеа Тамайа Абухао Утукина Кальериа Агуайтиа
Роабойа
Писки Унини Канчауайо Кушабатай Сантакаталина
Супайаку Ианакайю Макиа Пакайа Тапиче
столько вод возвеличивают твой блеск
ты мчишься как одержимая и бросаешься в Мараньон
могущественный и глубокий как ты сама
и твое темное безбрежие разбивается о его ясное
безбрежие
взрывается катаклизмом слепой радости
ураганом стеклянных валов и пальмовых ветвей
водоворотом поваленных деревьев
суматохой взбаламученных рыб и черепах
свирепый мираж расцвеченного плюмажами ада
под дремотным грозовым небом
и ты уже не Укаяли
и ты уже не Мараньон
но вечная праматерь Амазонка
сладкий бегучий океан
верховное божество лесов
самая вечная из всех рек Вселенной.

■

Под несчастливой звездой идет наше плаванье. От Укаяли мы пошли вниз по течению, и бедствия продолжались, разбилась бригантина Хуана де Варгаса, пришлось бросить ее тонуть, матросы, как могли, пристроились на каноэ и пирогах. Мы идем вниз по реке Амазонке, которую я всегда называю Мараньоном, идем вниз по течению, гонимся за Гарсиа де Арсе и страной Омагуас, а вернее говоря — за морем-океаном, в который эти воды неизбежно вольются. Вдруг слева в воды нашей реки врывается многоводная и широкая

река Канела, это ее мощный ток вынес сюда открывателя новых земель Орельяну на корабле «Святой Петр», в этом месте Мараньон навсегда и бесповоротно становится вселенской рекой, плывущий по нему начинает чувствовать себя бесконечно малым или безгранично великим, в зависимости от того, какого сам он о себе мнения. Лично я чувствую, как моей душе прибывает величия по мере того, как зеркало реки ширится пред моими глазами. Все равно как сызнова родиться из чрева матери, вновь испить все добро и все зло. Я заново пережил тот день в Куско, когда смертью отомстил за оскорбления и побои, нанесенные мне алькальдом Франсиско Эскивелем. И еще раз почувствовал, как умираю, возвратившись домой после битвы при Чукинге и поняв перед зеркалом раз и навсегда, что Лопе де Агирре до конца дней своих останется хромым, обгорелым пугалом. Но величие этой реки возвращает мне сознание, что́ я есть на самом деле: не колченогий, беззубый старик, а десница, готовая вершить небывалые подвиги, я вождь и предводитель и стою больше, чем кто бы то ни было, много больше, чем губернатор Педро де Урсуа, и не меньше, чем сам король Филипп, коего хранит господь, а со временем и ты, испанский король, будешь стоить меньше, чем я. Тебе, Педро де Урсуа, завидуют все мужчины, завидуют, что ты наслаждаешься любовью и владеешь раскрасавицей шлюхой, я не из этого стада голодных свиней, меня не лишают сна картины ваших любовных забав, но предпочтение, какое ты оказываешь донье Инес, мне не нравится. Ты красивый кавалер, Педро де Урсуа, у тебя ровная походка и борода в колечко, говорят, в Панаме ты предательски убил более двух сотен мятежных негров, славный поступок, под стать твоему великодушному сердцу, из ста претендентов тебя выбрал вице-король маркиз де Каньете и поставил руководить небывалым походом в Омагуас, ты спишь и тешишься с самой красивой женщиной Перу, и все-таки я сомневаюсь и спрашиваю, стоишь ли ты больше, чем я, стоишь ли ты больше этого колченогого, трепанного жизнью сержанта Лопе де Агирре, баска по рождению, а не развратного француза, как ты? Бесконечный язык этой реки говорит мне, что тебе, Педро де Урсуа, далеко до него, и если я в положенный срок не докажу этого, то лишь потому, что, видно, сам стою мало.

Что же все-таки сталось с Гарсиа де Арсе? Губернатор Урсуа твердит по-прежнему, что его любимец ждет нас где-то на богатой и изобильной земле, сгорая от преданности и рвения. А вот Франсиско Васкес, что мнит себя летописцем, примкнул к нашему походу с намерением описать его и теперь знай разукрашивает все своим лживым воображением, Франсиско Васкес уверяет, что Гарсиа де Арсе со своими людьми углубился в сельву в поисках пропитания, а там половину из них пожрали хищники, а другую половину — дикари. Что касается меня, я, как и прежде, стою на том, что Гарсиа де Арсе решил открыть все сам, и ныне он или спит под золотыми простынями в пресловутой стране Омагуас, или обливается горючими слезами, обнаружив, что такой страны нету и не было.

Через два дня события подтвердили, что прав был губернатор Урсуа, а не бакалавр Васкес и уж, конечно, не я. Второго ноября, в День поминовения усопших, в прозрачном свете полудня мы завидели остров посреди реки. Поначалу мы решили, что хохолок дыма предвещает индейское поселение, но, приблизившись, поняли, что несчастные, толпящиеся на берегу и орущие точно одержимые, это Гарсиа де Арсе со своими людьми.

Они жили за частоколом из стволов и ветвей, перевитых проволокой, вдали виднелись просторные квадратные хижины индейцев. Изумительная меткость Гарсиа де Арсе, славящаяся на весь Новый Свет, здесь ему пригодилась в охоте за речными ящерицами под названием кайманы, если он целился им в глаз, можешь быть уверен, в глаз и попадал, на протяжении многих дней его люди питались хво-

стами этих безобразных животных с жестким мясом, к тому же оно отдавало сушеными улитками. Свою сообразительность Гарсиа де Арсе употребил на уничтожение индейцев, знаменитый стрелок изобрел хитроумный способ, он связывал две пули проволокой и одним выстрелом убивал шестерых индейцев: двоих насмерть валили пули, а четверым проволока срезала головы.

Солдат из отряда Гарсиа де Арсе рассказал о той ночи, когда возникла вражда между их командиром и индейцами: поначалу индейцы отнеслись к ним дружелюбно, приносили плоды своей земли и черепашьи яйца, и так было до той пятницы, когда Гарсиа де Арсе приказал запереть пришедших к ним индейцев в тростниковой хижине и перебить всех до одного, более сорока индейцев были заколоты шпагами и перерезаны кинжалами, кровь ручьем стекала по склону до самой реки. Гарсиа де Арсе в оправдание сказал, что касик Паппа замышлял против них недоброе, солдат, поведавший эту историю, ждал, что губернатор Урсуа сурово осудит такую ненужную жестокость,— напрасно размечтался, приятель, забыл, видно, что офицер Гарсиа де Арсе повторил в точности военную хитрость, которую в Панаме придумал его любимый генерал Педро де Урсуа, когда лишил жизни две сотни беглых рабов, между теми и этими нет никакой разницы, разве что те мертвецы были неграми, а эти — индейцами, но и у тех, и у других равно в теле была душа человеческая, уж ваше-то преподобие, монсеньор Энао, обязаны верить в это.

Кровавая расправа Гарсиа де Арсе привела идейцев в такой ужас, что они скрылись из виду, бросив свои квадратные хижины, пустовавшие теперь в долине. Привязанность же, которой нас, напротив, дарят москиты, нестерпима, липкие кровожадные тучи окутывают нас, жалят сквозь одежду и одеяла, не дают спать моей дочке Эльвире своей надоедливой музыкой. На деревьях мы нарвали множество вкусных и диковинных плодов, зеленые — в форме груши с желтой сочной мякотью, другие — золотистые и такие кислые, что сводит челюсти, и еще были как яблоки, только с твердой кожурой и крупными семечками.

Во время нашего отдыха на острове губернатор вспоминает, что должен наделить полномочиями и повысить в чине некоторых своих офицеров — законный акт, приличествующий любому правлению, которого он, однако, не совершил, ибо его воля дремлет в сладких объятиях доньи Инес. Услужливого и храброго капитана Хуана де Варгаса он делает своим помощником и таким выбором разочаровывает Лоренсо Сальдуендо, Педро Антонио Каско и Хуана Алонсо де Ла Бандеру, все трое ждали и надеялись на этот пост еще со смерти Педро Рамиро. Дона Фернандо де Гусмана он делает генерал-лейтенантом, такого отличия тот добился ценою лести и славословия, дона Фернандо де Гусмана единственного приглашают к столу губернатора и доньи Инес, я подозреваю, что тому гораздо более по сердцу общество губернатора, нежели доньи Инес, да простит меня бог. Меня же, Лопе де Агирре, назначают уполномоченным по делам усопших, отныне я стану вести счет всем умершим во время нашего похода, с великим тщанием и заботой сохраню их бумаги и последние воли, строго по порядку перепишу всех скончавшихся и в день страшного суда передам этот список непобедимому святому Михаилу-архангелу, который без размышлений пошлет их всех в преисподнюю. Да позволит мне небо, Педро де Урсуа, начать этот поминальник твоим гордым именем вастанского дворянина.

По истечении недели мы покидаем остров Гарсиа де Арсе и упорно продолжаем путь навстречу нашему поражению. За чем гонимся вниз по Мараньону мы, триста испанских солдат с одной бригантиной, тремя плоскодонками, сорока плотами, сотней каноэ, тремя монахами, восемнадцатью женщинами, двадцатью четырьмя неграми, шестью

сотнями прислуги из индейцев, двадцатью семью лошадьми и многочисленными орудиями для защиты и унижения? За чем мы гонимся, спрашивают ваши милости? Господа историографы Индийских земель, мы ищем сокровища Омагуаса, сияющую сказку Эльдорадо, которые представляются нам пленительными, как никогда. Следует заметить inter nos[1], что ваш покорный слуга Лопе де Агирре, бдительный и дотошный уполномоченный по делам усопших, нимало не верит в призраки иного мира, равно как и в подлинность страны Омагуас, не верит он и в острова вечной юности, и в народы, живущие под водой. Я родился в баскской провинции, где пресвятая дева де Арансасу, дабы мы не усомнились в ее существовании, считала необходимым являться нам собственной персоной и с овечьим боталом. Я пришел в Новый Свет не для того, чтобы копить богатства себе на выгоду или наставлять в вере индейцев на благо нашей священной религии, а также не затем, чтобы состязаться в выдуманных подвигах с Флоризелем или Пальмерином[2], я пришел затем, чтобы с копьем в руке показать, чего я стою; двадцать четыре года я верно служил королю, я осваивал земли, бился в сраженьях, я охромел во славу твою, Карл или Филипп, а ныне, будь что будет, настал час потрудиться мне во имя собственного величия и собственной славы. Со своего места в плоскодонке смотрю я на двести девяносто девять своих товарищей — их пересчитал Педро де Мунгиа,— которые вышли на завоевание страны Омагуас. Взор их устремлен за горизонт и различает там очертания спрятавшегося в материнской зелени сельвы самого чудесного города на всем белом свете. В мыслях пробегают они по длинным улицам литого золота, стены домов в этом городе из чеканного серебра, кошки мяучат и мочатся на крышах из аметиста, королевская задница принца Куарики опорожняется в ночной горшок, оправленный бриллиантами, причинное место принц Куарика велит лакировать себе нежнейшей смолой, потом рабыни осыпают его золотой пудрой и украшают жемчужными нитями, в доме Солнца есть коралловые сады, где так и просятся в руки груши из золота, тыквы из золота и золотые яйца кладут бирюзовые куры с рубиновыми жопками. Вы уже прибыли, братья, в сияющее Эльдорадо, которое выдумали индейские пророки себе в защиту и вам в отместку за то, что принесли им испанские аркебузы и лошади. Пока мы гонимся за этой пустой химерой, нас заживо проглатывает мрачная сельва, захлестывают бурные реки, и мы сами, объятые завистью и честолюбием, убиваем друг друга. Вы уже прибыли в чудесное Эльдорадо, которым воспользовался вице-король маркиз де Каньете, чтобы избавиться от вас, трех сотен авантюристов, которые были ему помехой в плодотворном усмирении Перу. Вы уже прибыли в Эльдорадо, образ которого помогает командирам воскресить из мертвых своих обессилевших от голода и лихорадки солдат: впереди, за тем холмом — Эльдорадо! И солдаты поднимаются и бредут дальше, натыкаясь на скалы и увязая в трясине. Вам удалась эта затея — единым махом стать богатыми и могущественными, разом получить все, не обрабатывая земли, не меся хлеба, не выковывая железа, не читая книг, получить все за золото и серебро Омагуаса, и вы еще просите бога, чтобы золото с серебром лежали на земле под ногами, потому что рыть копи вас тоже не научили. Обезумевшие от золотых сновидений, мы оскверняем могилы, убиваем тысячи индейцев, и вооруженных и мирных, пытаем пленных, чтоб они заговорили, нам никогда не насытить нашей алчности, и если мы найдем золото, мы снова вернемся на это место, чтобы взять еще и еще, и мы кончим жизнь в нищете, или пронзенные отравленной стрелой, или продырявленные копьем, или на виселице, и с нашей смертью свершится мщение индейских жрецов, которые измыслили эту изумительную ложь.

[1] Между нами *(лат.)*.

[2] Герои широкоизвестных в ту эпоху рыцарских романов.

Нам попадаются только брошенные селения, вся округа прослышала о злодеянии Гарсиа де Арсе, жители в страхе бегут, дочке моей Эльвире не нравится ночевать в этих пустых домах, которые пахнут призраками, а в одном мы даже нашли мертвого младенца. Пройдя еще несколько лиг вниз по реке, мы начали встречать мирно настроенных людей, индейцы здешних земель, носящих название Карари, меняют нам полные каноэ рыбы на ножи и зеркальца, а Торральбе даже подарили красивого разноцветного попугая. Губернатор Урсуа, с головой ушедший в любовные забавы с доньей Инес, к тому же время от времени дрожащий в ознобе лихорадки куартаны, погрузился в меланхолию и пренебрегает своими обязанностями; вместо того чтобы взять проводников, знающих местность, упрямо слушает вранье бразильских индейцев, которых он приташил с собой из Перу, или того хуже — чушь, которую плетет матрос Алонсо Эстебан, восемнадцать лет назад проделавший этот путь вместе с первопроходцем Орельяной (передряги, выпавшие на нашу долю, похоже, окончательно лишили его рассудка), Алонсо Эстебан каждый день возвещает, что вот-вот появится страна Омагуас, стоя на плоту, приветствует кайманов, словно своих старинных знакомых, а то запросто разговаривает со звездами. Алькальд Алонсо де Монтойя, который не по доброй воле отправился с нами, пытается еще раз взбунтоваться, оторваться от нас и со своими людьми вернуться назад, в Санта-Крус-де-Капоковар, до которого пятьсот лиг; разумеется, губернатор Урсуа не дает ему это сделать, снова заковывает его в кандалы, а на шею надевает позорный ошейник, его сторонников он сажает на весла того судна, где плывет донья Инес; доброе сердце губернатора не позволяет ему убить Монтойю с дружками, что на его месте сделал бы я, дабы они сами меня не прикончили, как, без всяких сомнений, прикончат они тебя, Педро де Урсуа, если небу будет угодно. Так мы добираемся до земли Маникури, и тут у нас тонет последняя бригантина, остаются всего две плоскодонки, потому что третья прогнила, едва мы отплыли от острова Гарсиа де Арсе, остальная наша флотилия — плоты и пироги как у индейцев; губернатор Урсуа назначил отца Алонсо де Энао викарием и судьей на все время плаванья и еще раз подтвердил свое обещание сделать его епископом страны Омагуас, другой наш священник, Педро де Портильо, впал в агонию от лихорадки и от досады, и нынче ночью мы предадим его земле, дабы он вручил свою душу творцу.

Неожиданно начался голод. Богатые уловы первых дней — огромные пайче, мяса которых хватало на десятерых, бородатые багре или всевозможные кунчи, сардины, похожие на своих морских собратьев, паньи, или пираньи, способные сожрать человека, обглодать до костей, все куда-то исчезло, и даже мелкие пираньи-людоеды больше не ловятся. Бечева вяло волочится по воде за нашими каноэ, стоит ей дрогнуть, как рыболов с силой дергает, и в воздух взлетает пустой крючок, если, конечно, он не зацепился за корягу или водоросли. Мы не решаемся плыть в темноте и на ночь разбиваем лагерь на берегу, но тщетно мы ищем фруктовые деревья или дикий виноград, эта суровая земля отказывает человеку в пристанище и пропитании, даже индейцы давным-давно ее бросили. Наши стрелки уходят в непролазные заросли сельвы и возвращаются с пустыми сумками, в одежде, изодранной колючками, с лицами, расцарапанными дикими лианами, злые и усталые. Иногда им случается подстрелить отвратительного стервятника, или ящерицу со впалым скользким брюхом, или рахитичную обезьянку, как и они, едва живую от голода. На четвертый день лишений люди начинают горько сетовать на просчеты губернатора, на его слабоумных бразильских проводников, которые ничего не предвидят, и на запахи свиного сала и изысканных кушаний, которые распространяет судно, приютившее донью Инес. Солдаты ропщут и сыплют проклятьями, теснясь вокруг огромного котла, в котором буль-

кает отвратительное варево. Эти изголодавшиеся люди научились смаковать чешуйчатые лапки ящериц, поджаривать жаб, словно это кролики, жевать горькие корни, вызывающие понос, варить суп из седла и подошвы; обезьянка без шкуры все равно что трупик ребенка, и лицо Антона Льамосо становится грустным, когда он обсасывает детские косточки мартышки, а потом выпала честь быть поданными к столу и нашим верным друзьям — на шестой день не остается в живых ни одного пса, не услышим мы больше их преданного лая. А лошади, сеньор генерал? Губернатору Урсуа приходится произнести пламенную речь перед толпящимися на берегу солдатами: «Лошади для нас — самое священное, что будет с нами в стране Омагуас да и в самой преисподней, если нас лишить лошадей?» — именно так выразился Педро де Урсуа. Я не позволил дочке моей Эльвире страдать от голода, я вынул из сундука лепешки и разные фрукты, которые хранил там еще с Марикури, а Торральба, дабы подсластить ей ужин, пожертвовала своего попугая — великодушный жест, которого я никогда не забуду. Я же, Лопе де Агирре, по правде сказать, не ел ни мартышек, ни собак, ни ящериц, ни змей, ни стервятников,— чтобы не умереть, мне хватило того, что растет на земле: портулака и петушьего гребешка.

На девятый день голода на горизонте высыпали индейские хижины земли Мачифаро.

■

Индейцы земли Мачифаро толпятся на берегу, воинственно сжимая оружие, ты, Педро де Урсуа, решил использовать случай и поправить свою пошатнувшуюся репутацию, вернуть уважение солдат, освежить любовную страсть доньи Инес — добыть продовольствие для своих пожелтевших и отощавших людей; мы смотрим, как ты, выпрямившись, сходишь на землю с развевающимся в правой руке белым полотнищем мира, пятьдесят стрелков под водительством Гарсиа де Арсе вышли с тобой телохранителями, индейцы наслышаны о том, что наше огнестрельное оружие может всех их уничтожить в мгновение ока, осторожный касик отказывается от своих воинственных намерений, выступает тебе навстречу с поднятыми руками, донья Инес плачет, растроганная твоим геройством. «Да здравствует наш храбрый генерал Педро де Урсуа!» — кричит отец Энао; радушный, насмерть перепуганный касик ведет нас в центр селения, самого большого из всех, что мы видели за наше плаванье, дарит нам бессчетно черепах, мясистых, как бараны, изголодавшиеся солдаты глотают, обжираются, позабыв заботы и стыд.

Наша хижина оказывается довольно удобной и просторной, в первой комнате сплю я со всем оружием наготове, вернее сказать, делаю вид, что сплю, береженого бог бережет, в лагере уже подули ветры измены, в другом помещении, выходящем во внутренний двор, разместилась дочка моя Эльвира с обеими женщинами, которые о ней заботятся, в соседней хижине чутко спят те, кому я больше всех доверяю: Мартин Перес де Сарондо, Педро де Мунгиа и Антон Льамосо, с заходом солнца мы все собираемся вокруг костров, которые палим, спасаясь от москитов, москиты в Мачифаро — лютые звери, самые бесчувственные на земле, ни дым их не берет, ни огонь, ничем не прогонишь.

Иногда к нам наведывается бакалавр Педрариас де Альместо, друг и личный писарь губернатора Урсуа, бакалавр Педрариас де Альместо — человек более начитанный, чем все остальные, вместе взятые, бывает, мы засиживаемся с ним, беседуя о событиях исторических или фантастических, дочке моей Эльвире нравится слушать наши рассуждения, ни о чем не спрашивая, ничего не говоря.

Как-то утром дочка моя Эльвира видит меня делающим записи на листе и говорит с притворным удивлением: «Что это, папенька, ваша милость поэтом сделалась?» С каким удовольствием писал бы я стихи, будь у меня знания и таланты, но записываю я на этих листах одни только имена — имена тех, кто будет против губернатора Урсуа и кто будет с ним в тот неминуемый час, когда станут предавать его смерти, не убив его, никогда не исполнить нам предначертания судьбы (которое заключается — слава богу! — не в том, чтобы состариться или умереть в погоне за вымышленным Эльдорадо, а в том, чтобы завоевать чудесную страну по имени Перу, которая значится на всех картах).

Первым в моем списке отважнейший капитан, мадридец Хуан де Варгас, помощник губернатора, лучший и ближайший друг дона Педро де Урсуа,— убить. Вторым не менее храбрый офицер и преданный любимчик Гарсиа де Арсе, открывший остров, без промаха бьющий стрелок,— убить. Третьим сержант от кавалерии и кузнец Хуан Васкес де Саагун, верный и любящий друг губернатора Урсуа,— убить. Четвертым летописец и писарь Педрариас де Альместо, образованный и приятный дворянин, но и по-собачьи предан губернатору,— убить, хотя я истинно об этом сожалею. Пятым его преподобие монсеньор Алонсо де Энао, викарий нашей флотилии и будущий епископ Омагуаса,— убить, к вящей для меня радости. Шестым и седьмым командор Хуан Нуньес де Гевара и капитан Санчо Писарро, неисправимые холуи короля Филиппа, рано или поздно их все равно придется убивать. (На пергаменте, где я веду записи, отмечая усопших, я заблаговременно поставлю кресты против каждого из этих имен, чтобы заготовить немного горькой скорби на тот момент, когда придет их смерть.)

Вам же, мои пламенные соратники по заговору, предстоит счастливая жизнь и вечная слава. Ты, капитан Алонсо де Ла Бандера, кого пустобрехи незаслуженно (ибо никто не имеет права пятнать сомнением и тем более вовсе отрицать твои блистательные мужские достоинства) называют Бахвалом, ты, чья душа преисполнена гордыни и честолюбия, а сердце — безудержной любви к донье Инес де Атьенсе, которой ты ни на секунду не можешь скрыть, ты, Хуан Алонсо де Ла Бандера, отвратительный и самый необходимый соратник, завтра будешь со мною в великом испытании, вместе со мною предашь смерти тирана Педро де Урсуа. И ты, капитан Лоренсо Сальдуендо, который менее года назад прибыл в Куско созывать добровольцев в войско твоего генерала и земляка Педро де Урсуа, но колдовские чары доньи Инес де Атьенсы исказили твои намерения и подорвали верность, ты тоже по доброй воле пойдешь с нами убивать ненавистного тебе твоего покровителя Педро де Урсуа, как пошел бы ты убивать родную мать, если бы означенная сеньора встала между пьянящим телом доньи Инес и твоей жаждой обладать им. И ты, разъяренный алькальд Алонсо де Монтойя, плывущий с нами в кандалах и позорном хомуте, ты, который тысячу раз громко заявлял о желании вернуться со своими сторонниками в Санта-Крус-де-Капоковар, который страдал от бесчестья, сидя на веслах у шлюхи, ты, подстрекаемый праведной яростью мщения, будешь самым решительным в ту ночь, когда придет пора вершить правосудие над тираном.

Дон Педро де Урсуа в одиночестве грустно прохаживается по двору своей хижины, донья Инес поджидает его на ложе любви, чары прекрасной метиски увели его от солдат, такое пренебрежение солдатами уведет его из этого мира. Командор Хуан Нуньес де Гевара спит, но не дремлет, старость и вредоносные лихорадки рождают в его мозгу мрачные видения, как-то ночью из темноты ему явился призрак, который кричал: «Педро де Урсуа, губернатор Омагуаса и Эльдорадо, да простит тебя бог!» — а в другую ночь он видел четырех духов в белых одеяниях, под самую что ни на есть печальную музыку шли они

по улицам с носилками, на которых вытянулось хладное и отвердевшее тело, без сомнения Педро де Урсуа; командор доверился мне, осторожно поведал о своих видениях, и я тут же рассказал об этом всем, кому мог, дабы все мы в лагере привыкли к мысли о грядущей смерти губернатора. Между тем отец Энао направо и налево отлучает от церкви тех, кто отказывается передать в руки высшего командования орудия труда или принадлежащих им животных, ваше преподобие почем зря карает, отказывая в святом таинстве, не дает себе труда подумать, что означает для христианина отказ в отпущении грехов, ваше преподобие отлучило от церкви Алонсо де Вильену, столь верующего в святое таинство, канарца Хуана Варгаса, который каждый день читает все положенные молитвы, всего лишь за то, что они не захотели отдать своих лошадей, Алонсо де Вильена и канарец Хуан Варгас, отлученные вашим преподобием, не раздумывая долго, присоединились к нашему заговору.

Для победы и окончательного торжества нашего дела нам не хватает вождя, чей авторитет смелого и энергичного руководителя укрепил бы дух наших людей после смерти Урсуа. Такой фигурой не могут стать ни Ла Бандера, ни Сальдуендо, оба они из вассалов, вершина их честолюбивых помыслов — побаловаться ночку с доньей Инес, никогда им не было дела до того, что о них скажет история. Алонсо де Монтойя тоже не годится, им движет одно яростное желание — увидеть, как потечет кровь его врага. Ну, а дон Фернандо де Гусман? Дон Фернандо де Гусман — настоящий друг губернатора, в Санта-Крус-де-Капоковаре они были неразлучны, спали в одной постели, хотя у каждого была своя собственная, приезд доньи Инес разрушил их братство, я полагаю, что дон Фернандо глубоко переживает свое отдаление, присутствие доньи Инес ему как по сердцу ножом, да простит меня бог.

Дон Фернандо де Гусман — не тупой искатель золота и потаскушек, как остальные, я знаю его еще по нашим беседам в Куско и убежден, что в глубинах его сердца таятся мечты о славе и власти, отец его был членом городского совета порта Кадис, у дона Фернандо де Гусмана манеры образованного и благородного кавалера, а если он не удался ростом и редковата его рыжая борода, значит ли это, что он человек неисправимо верный? Может, он и таков, друзья мои, но надо рискнуть, поговорите с ним, ваша милость Лопе де Агирре, вы слывете красноречивым.

Я совершенно убежден, что ваша милость, мой сеньор дон Фернандо де Гусман, благородный дворянин из Севильи,— самый храбрый и прекрасный наружностью из всех, кого я видел, это говорю вам я, Лопе де Агирре, не гораздый на лесть и славословие. Ваша милость дала мне слово держать в секрете все, что я скажу, и я соответственно этому обещанию постараюсь выражаться ясно и откровенно, ибо иной язык вашей милости не по нраву. Всем известно, что благородное сердце вашей милости скорбит скорбями и несчастьями ближнего, тем более что этот ближний суть наши товарищи по боям и походам. Ваша милость никогда не оставляла в забвении того, что больные нуждаются в лечении, а страждущие — в утешении. Противу желания вынуждены мы признать, что наш губернатор дон Педро де Урсуа, в начале похода обнаруживший свои таланты великодушного и великолепного военачальника, в отношении своих солдат и слуг переменился, переменился в тот злостный миг, когда в нашем лагере появилась прекрасная дама, которая подточила рассудок нашего влюбчивого генерала и заставила его позабыть о существах, так ему преданных и так его любивших. Все заботы, все сладкие слова у него ныне для одной доньи Инес де Атьенсы, с ней он спит ночью, с ней запирается днем, все свои силы и достоинства тратит он в ненасытном лоне доньи Инес. В каждой хижине этого селения говорят и шепчутся о том, что безрассудство нашего губернатора губит нас безвозвратно,

никогда не найти нам и следов сказочного Эльдорадо, поиски которого стоили жизни сотням бесстрашных испанцев; славы и могущества достигнем мы, лишь возвратившись в Перу, воодушевленные бесповоротным решением восстановить утраченную справедливость и освободить от злодеев нашу чудесную отчизну. Вашей милости, сеньор мой дон Фернандо де Гусман, предначертано свершить славные деяния, в очах вашей милости светится знамение грядущего величия. Верно, что губернатор Педро де Урсуа назначил вашу милость генерал-лейтенантом, но так же верно и то, что над вашей милостью он поставил Хуана де Варгаса, который стоит много меньше, и над всеми нами на алтарь вознес он женщину, которая смущает его чувства и которая обернется роковой звездой его погибели. Только отвага и бесстрашие вашей милости, которая станет главою и предводителем этого неустрашимого войска мараньонцев, смогут вернуть веру нам, ее утратившим. Итак, одна лишь дерзновенная рука вашей милости, сеньор мой дон Фернандо де Гусман, способна привести эту гибнущую затею к славному концу.

(Походный шатер дона Фернандо де Гусмана в поселении Мокомоко. В центре — грубый стол, вокруг него — скамьи, сколоченные из бревен и струганых досок. В углу — разноцветный гамак, в котором сидит дон Фернандо де Гусман. Вокруг него собрались заговорщики. Лоренсо Сальдуендо, Хуан Алонсо де Ла Бандера и Алонсо де Монтойя стоят совсем близко к гамаку. Мулат Педро Миранда, Диего де Торрес, Алонсо де Вильена, канарец Хуан Варгас, Мигель Серрано де Касерес и Кристобаль Эрнандес сидят по скамьям. Лопе де Агирре и Мартин Перес де Сарондо не отходят от двери.)

Фернандо де Гусман *(метису Фелипе Лопесу, своему слуге, который позавчера был сурово наказан губернатором Урсуа за незначительный проступок).* Сходи к губернатору скажи, что от меня попроси немного растительного масла, а сам осторожно рассмотри, что он делает, кто с ним и какое у них оружие.

(Метис Фелипе Лопес выходит.)

Лопе де Агирре. Самый подходящий момент, чтобы довести до конца начатое дело. Педро де Урсуа отослал из лагеря семьдесят человек под командой Санчо Писарро разведать дороги в глубь страны. С возвращением Санчо Писарро наши враги станут многочисленнее, и нам придется вести бой куда как неравный.

Мигель Серрано де Касерес. Я в сомнении, господа. Какие шаги мы предпримем после того, как возьмем в руки власть и командование походом?

Алонсо де Монтойя. Некогда нам резрешать ваши сомнения, друг. Надобно действовать, и без промедления. Оставьте, ваша милость, все вопросы и недоумения на потом, когда губернатор будет убит.

Фернандо де Гусман. Убит? Разве обязательно губернатора убивать? Не кажется вам, что более по-христиански было бы не убивать его, а заковать в кандалы и взять с собою?

Лопе де Агирре. Все равно что тащить на своем горбу свидетельство собственной измены, зачем возить за собой пленника, коего обиды постоянно станут понуждать вернуть свои права? Я полагаю, куда более по-христиански оставить его здесь в индейском поселении, без защиты, зато в сладких объятиях его доньи Инес.

Хуан Алонсо де Ла Бандера. Ни за что! Его надо убить!

Лоренсо Сальдуендо. Я — за! Убить, иного не дано.

Фернандо де Гусман. Святой боже! Придется убить!

Алонсо де Монтойя. Надо убить, и я добровольно вызываюсь пронзить его шпагой. На моих щиколотках еще живы укусы его кандалов, а шея еще ноет от бесчестья ошейника.

Лопе де Агирре. Мы обязаны его убить и свершить те славные деяния, выполнением коих он пренебрег.

Мулат Педро Миранда. Смерть бесстыдному губернатору, тирану, бесчестному, гнусному сукиному сыну!

(Входит метис Фелипе Лопес.)

Фелипе Лопес. Я застал губернатора лежащим в гамаке, босым, приготовившимся ко сну, он уже вернулся из хижины доньи Инес. При нем были только бакалавр Педрариас де Альместо, с которым он беседовал, и два пажа. Один из них по имени Лира дал мне масла и проводил меня до двери.

Лопе де Агирре. Да здравствует наш вождь дон Фернандо де Гусман!

Фернандо де Гусман *(быстро поднимаясь из гамака).* Я буду вашим вождем. Пошли!

Алонсо де Монтойя *(вынимая шпагу).* Пошли!

(Все выходят.)

(Улица в том же селении Мокомоко. Издалека доносятся диковинные шумы сельвы, словно взбесившиеся музыканты наяривают кто во что горазд, извлекая из своих инструментов бессмысленную, мрачную мелодию. В один звуковой поток сливаются завывание ветра, далекие раскаты грома, треск сухих ветвей под чьей-то поступью, страшный шум падающих огромных деревьев, неумолчный рокот большой реки, шум воды, срывающейся с высоты в узкую пропасть, басовитое квакание гигантских жаб, пение и свист сотен различных птиц, скандальный хор попугаев, верещание обезьян, умоляющее, как у нищих, и заунывное, как у плакальщиц, вопль тапира, издыхающего в когтях у пумы, рев возбужденных кайманов, призыв священных рожков, которые индейцы изготовляют из раковин и выдолбленных тыкв и используют как сигнал в войне против испанских конкистадоров, густой треск трещоток и дробь барабанов слышны на расстоянии многих лиг. Рабы Хуан Примеро и Эрнандо Мандинга выныривают из темноты, в руках у Хуана Примеро светильник.)

Хуан Примеро *(раб Хуана Алонсо де Ла Бандеры).* Говорю тебе еще раз, губернатора собираются убить. Хуан Примеро слышал, как его хозяин толковал с мулатом Педро Мирандой.

Эрнандо Мандинга *(раб губернатора Урсуа).* Ты ничего не знаешь. Мы, черные рабы, никогда ничего не знаем.

Хуан Примеро. Испанцы ненавидят один другого, точно кровожадные звери, командиры собираются убить губернатора, Хуан Примеро не хочет видеть, как льется человеческая кровь, Хуан Примеро добрый негр и хороший христианин, Хуан Примеро ходил предупредить губернатора, что творится, Хуан Примеро не нашел губернатора в его шатре.

Эрнандо Мандинга. Он забавлялся с доньей Инес у нее в хижине, только мы, черные рабы, никогда ничего не знаем.

Хуан Примеро. Губернатора не было в его шатре, Хуан Примеро долго стучался, пажи не решились впустить его, беги скорей, скажи им, он — твой хозяин, и его хотят убить сегодня ночью.

Эрнандо Мандинга. Заткнись, врун черномазый!

(Из глубины улицы доносятся шаги приближающихся заговорщиков. Двенадцать заговорщиков идут строем, впереди — Алонсо де Монтойя и Хуан Алонсо де Ла Бандера. Лопе де Агирре при всем оружии и с обнаженной саблей ковыляет сзади.)

Хуан Примеро *(выходя из укрытия).* Господи боже, пресвятая богородица! Они идут убивать губернатора, Хуан Примеро знает!

Эрнандо Мандинга. Заткнись, дерьмо черномазое! Мы, черные рабы, никогда ничего не знаем!

(В шатре губернатора Урсуа. На столе остатки недоеденного ужина. Губернатор босой и без оружия лежит в гамаке, закинув руки за голову. Педрариас де Альместо, прохаживаясь, беседует с ним.)

Педрариас де Альместо. Ваше превосходительство отказывается видеть столь явную опасность, великодушное сердце мешает вашему превосходительству ее узреть. Но я еще раз обращаю внимание вашего превосходительства на то, что дерзость солдат — вернейший признак зреющего мятежа.

Педро де Урсуа. Вы повторяете слухи, о коих писали мне в своих письмах вице-король маркиз де Каньете и капитан Педро де Аньяско: страшные истории про бессовестных авантюристов, которые будто бы вышли в поход не завоевывать земли, но с бесчестным намерением взбунтоваться против короля Испании. Бог свидетель, никогда не верил я этому!

Педрариас де Альместо. А в письмах, что получила ваша милость, названы имена непокорных?

Педро де Урсуа. Названы Хуан Алонсо де Ла Бандера, Лоренсо Сальдуендо, Мартин де Гусман и Лопе де Агирре первыми в этом списке. Меня настоятельно просили изгнать их из войска.

Педрариас де Альместо. И вы изгнали одного Мартина де Гусмана.

Педро де Урсуа. Его я тоже не изгонял, друг мой. Он ушел по собственной воле, испугавшись знамения, предвещавшего ему смерть, но оставил мне своего племянника дона Фернандо, который у меня главный знаменосец и самый верный соратник.

Педрариас де Альместо. Ваше превосходительство сверх меры доверяется его отваге и удачливости. Клянусь богом, мне не по сердцу призывать к жестокости, но в подобных обстоятельствах благоразумнее всего было бы отрубить четыре чужие головы во имя спасения собственной.

Педро де Урсуа. Вы слишком осторожны, мой добрый Педрариас. Бунт, коего вы боитесь, не пойдет дальше нытья и бахвальства. Сегодня начинается год, каковой с божьей помощью станет самым счастливым и славным в моей жизни.

(В дверь громко стучат.)

Педрариас де Альместо. Кто там?

(Дверь от толчка распахивается. Входит Хуан Алонсо де Ла Бандера с обнаженной шпагой в руке, за ним — Алонсо де Монтойя и остальные заговорщики.)

Педро де Урсуа. Что вам надобно, друзья? Добро пожаловать, однако уже полночь, неподходящее время для посещений и праздных бесед. Видимо, важное дело привело вас ко мне в столь поздний час.

Хуан Алонсо де Ла Бандера. Сию минуту узнаете.

(Хуан Алонсо де Ла Бандера, держа шпагу обеими руками, делает выпад и пронзает губернатора насквозь.)

Педрариас де Альместо *(хочет обнажить свою шпагу).* Сеньоры, измена?

(Канарец Хуан Варгас и еще трое заговорщиков бросаются на Педрариаса Альместо и вяжут его.)

Фернандо де Гусман. Не убивайте его, Педрариаса не убивайте.

Лопе де Агирре. Бегите, Педрариас, торопитесь, если хотите остаться в живых.

(Педрариас де Альместо убегает. Алонсо де Монтойя вонзает свой кинжал в грудь губернатора. Фернандо де Гусман и Мартин Перес де Сарондо каждый своим оружием наносят губернатору раны.)

Педро де Урсуа. И ты, Фернандо, брат мой?

(Фернандо де Гусман, не отвечая, наносит ему удар.)

Педро де Урсуа. И ты, Мартин Сарондо, мой земляк?

Мартин Перес де Сарондо *(вонзая шпагу ему в живот).* Ты не баск, ты француз.

Педро де Урсуа *(в агонии).* Исповедаться! Дайте исповедаться!

Лопе де Агирре. Ошибаетесь, если думаете, что отец Портильо, даже не будь он при смерти, пришел бы вас исповедовать. Он не забыл четырех тысяч песо, которые вы у него украли, не забыл, на какие пытки вы обрекли его, насильно притащив умирать сюда, в мрачную сельву. Он бы отказал вам в исповеди, генерал Урсуа.

Педро де Урсуа. Господи, смилуйся надо мной в милосердии своем! Miserere mei... [1]

(Умирает.)

Лоренсо Сальдуендо *(выкрикивает).* Тиран умер, да здравствует король!

Хуан Алонсо де Ла Бандера. Да здравствует король дон Филипп, наш господин!

Лопе де Агирре. Да здравствует свобода!

(Бунтовщики идут по улице к хижине, где живет Хуан де Варгас, помощник губернатора. Хуан де Варгас выходит им навстречу. На нем эскаупиль — подобие стеганых лат, в руках круглый щит и жезл — королевские символы правосудия.)

Хуан де Варгас. Что происходит, сеньоры? Какова причина этого шума и беспорядка?

Лоренсо Сальдуендо. Да здравствует король тиран умер!

Хуан де Варгас. Бессовестные злодеи, грязные негодяи, изменники, дьявол вас попутал!

Хуан Алонсо де Ла Бандера. Настал и твой последний час, гнусный сводник, сын грязной потаскухи!

Хуан де Варгас. Опомнитесь, мерзавцы злодеи, сукины дети без стыда и совести!

(Несколько заговорщиков вяжут Хуана де Варгаса, отнимают у него жезл, разоружают. Мартин Перес де Сарондо вонзает ему в грудь шпагу с такой силой, что она проходит насквозь и острием ранит канарца Хуана Варгаса, который стоял за спиной у пленника, заломив ему руки назад. Оба падают на землю. Шпаги и кинжалы заговорщиков с яростью пронзают помощника губернатора.)

Хуан де Варгас. Предатели, предатели! Святой боже, я умираю!

(Умирает.)

Фернандо де Гусман. Да здравствует король, тираны мертвы!

Все, кроме Лопе де Агирре. Да здравствует король!

Лопе де Агирре. Да здравствует наш генерал дон Фернандо де Гусман! Да здравствует его начальник штаба Лопе де Агирре! Да здравствуют солдаты непобедимые мараньонцы!

(Солдаты в страхе и удивлении выглядывают из дверей хижин. Некоторые с перепугу бегут в сельву, другие запирают покрепче двери. Бунтовщики выстраиваются посреди центральной площади селения, ряды их растут, одни присоединяются по доброй воле, других загоняют угрозами и тычками. Антон Льамосо и Педро де Мунгиа, тотчас же примкнувшие к мятежникам, рьяно, как никто, привлекают сторонников и уговаривают колеблющихся).

Лопе де Агирре (*рабам*). Несите вино, отпразднуем нашу победу! Церковное или какое угодно, живо!

(Черные рабы уходят и через некоторое время возвращаются с двумя большими кувшинами вина. Между тем народ прибывает.

[1] Смилуйся надо мной *(лат.).*

Из хижины выходит отец Энао и благословляет дона Фернандо де Гусмана. Антон Льамосо, Педро де Мунгиа и Кристобаль Эрнандес обносят всех вином, разливая его по глиняным чашам и мискам из выдолбленных тыкв. Лопе де Агирре взбирается на скамью).

Лопе де Агирре. Солдаты, мои мараньонцы! Тиран Педро де Урсуа и его приспешник Хуан де Варгас преданы смерти не по злобе, не из зависти к их положению и не затем, чтобы воспользоваться их имуществом. Мы вершили правосудие, лишив их власти и умертвив, ибо принесение в жертву этих двух ничтожных жизней означает спасение двух сотен драгоценных жизней, которые попусту растрачиваются в этом походе, а также свободу тысяч человеческих существ, кои в Перу страдают от бесчинств королевских наместников, от алчности чиновников, от несправедливости судей. Эти наместники и судьи, которых поглотит геенна огненная и сатана будет поджаривать на угольях послали нас завоевывать Омагуас, которого нет и никогда не было, послали, чтобы избавиться от нашего непокорства, чтобы погубить нас всех в этой жестокой злокозненной реке. Мы же, мои мараньонцы, сменим поражение филистимлян на победу римлян, сменим нашу бесплодную погоню за пустыми химерами на завоевание истинной и на самом деле существующей отчизны. Мы не мучаемся и не терзаемся, смерть Педро де Урсуа была необходима, кровь его не пятнает нашей совести, напротив, осеняет нас, подобно знамени. Мы назвали нашим генералом и главою дона Фернандо де Гусмана, благородного рыцаря, решившегося возглавить наш поход, цель которого — победное возвращение в Перу. У нас нет ничего общего с теми последователями Гонсало Писарро, которые при первых же неприятностях норовили перейти на сторону короля, или с теми вероломными лжемятежниками, которые бросили Эрнандеса Хирона во власти его палачей. Мы — неукротимые мараньонцы, тигры-освободители, каких не видел свет. Мы клянемся, что ни один из нас не запятнает своего имени не променяет своего знамени на знамя противника, ни один из нас не попросит милости у врага даже в предсмертной агонии, клянемся, что наши сердца не узнают ни мира, ни покоя пока мы не выполним своего назначения мстителей Нового Света. Мы — меч святого Михаила-архангела, мы — гнев божий, мы — семь бичей правосудия, мы — одержимые мараньонцы, коих господь бог хранит, наставляет и стремит к победе.

(В шатре губернатора Урсуа. На средине залитый кровью труп губернатора. Черные рабы Хуан Примеро и Эрнандо Мандинга входят, волоча труп Хуана де Варгаса, кладут его рядом с телом Педро де Урсуа и выходят. В противоположную дверь входит Инес де Атьенса с дуэньей и двумя рабынями. Инес де Атьенса падает на колени подле тела Педро де Урсуа, нежным движением закрывает ему глаза, плачет.)

Солдаты (*стоя в дверях*). Шлюха, тысячу раз шлюха! Ведьма, тысячу раз ведьма! Ты была ему разорением и погибелью при жизни, и в смерти ты оплакиваешь его лицемерно.

(Инес де Атьенса плачет, не слыша их. Кладет руки на грудь Педро де Урсуа, внимательно смотрит на свои пальцы, испачканные кровью.)

Солдаты. Мерзкая, злобная шлюха! Отвратительнейшая и бесстыднейшая из шлюх! Ты ты одна повинна в этой крови, что теперь приводит тебя в отчаяние.

(Инес де Атьенса запечатлевает долгий поцелуй на лбу покойного. Ее черные распущенные волосы скрывают его лицо.)

Солдаты. Шлюха, тысячу раз шлюха! Ведьма, тысячу раз ведьма!

(Входит Хуан Алонсо де Ла Бандера, гонит солдат вон, подходит к Инес де Атьенсе.)

Хуан Алонсо де Ла Бандера. Чту вашу скорбь, сеньора, и страшусь за ваше будущее. Вы нуждаетесь в защите и покровительстве, и я пришел смиренно предложить их вам. *(Инес де Атьенса продолжает плакать, не обращая внимания на слова Хуана Алонсо де Ла Бандеры.)* Говорю вам, вы нуждаетесь в покровительстве, сеньора. Вы остались беззащитной в этой сельве, в руках у двух сотен взбесившихся мужчин, половина из которых ненавидят вас смертельной ненавистью, а другая, глядя на вас, испытывает животное желание. Как помощник губернатора, первое, что я сделал, пришел припасть к вашим стопам. *(Тело Инес де Атьенсы содрогается в рыданиях над трупом).* Просите что вам угодно, сеньора, я сделаю невозможное, дабы исполнить ваше желание.

(Инес де Атьенса в первый раз поднимает глаза на Хуана Алонсо де Ла Бандеру.)

Инес де Атьенса. Я лишь одного желаю и об одном прошу — позвольте мне похоронить покойного.

Хуан Алонсо де Ла Бандера. Вы похороните его, сеньора, вы похороните его, даю вам слово. Вы похороните его в сельве, и отец Энао прочитает над ним молитву, и христианский крест будет стоять над его могилой. Обещаю вам. *(Уходит.)*

Инес де Атьенса. Педро де Урсуа, несчастный возлюбленный мой, клянусь тебе твоим богом и богами моей матери... *(Рыдания мешают ей закончить.)*

(Занимается день. Инес де Атьенса беззвучно плачет, обнимая труп Педро де Урсуа. Медленно нарастает и крепнет неясная музыка сельвы: дикие звуки, похожие на угрюмое ворчание органа, жужжание хриплых цимбал, пасторальный говор дудочек и свирелей, пронзительный вопль флейт и рожков, торопливая дрожь цыганских бубнов и карибских марак, угрожающее завывание адского хора, нестройные звуки взбесившегося духового оркестра, прибой звенящего утра.)

(Окончание следует)

СИНЯНСКАЯ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА.

Советский переводчик испанской и латиноамериканской литератур. Переводила прозу Пабло Неруды, Хуана Карлоса Онетти, Марио Варгаса Льосы, Алехо Карпентьера, Лисандро Отеро, Хуана Гойтисоло, Франсиско Гарсиа Павона, пьесы Антонио Буэро Вальехо и др.

ПИТЕР УСТИНОВ

Крамнэгел

РОМАН

Перевод с английского Ю. ЗАРАХОВИЧА

Таверна «Гнедой конь и голова принца» еще не открылась. Крамнэгел потряс дверь и попытался заглянуть в мутное окно, прикрыв ладонью глаза. Неожиданно рано стемнело. Никаких признаков жизни. Было холодно. Пройдясь взад-вперед по унылому тротуару, Крамнэгел в конце концов ускорил шаг, потому что голубая вечерняя сырость уже пронизала его до мозга костей — на окрестных полях лежала дымка тумана. Из луж, въедаясь ему в ноздри, поднимался пронзительный запах навоза. Именно таким представлял себе он ад. Ботинки его вязли в грязи, той же грязью ласково обдавали его проходившие мимо машины. Выйдя в поле, он облегчился. Да, ужасный выдался день, просто ужасный, а ведь наступлению этого дня способствовало все бескрайнее двуличие его собственного полицейского управления! В небе крамнэгеловского воображения возникло улыбкой Чеширского кота [1] ухмыляющееся лицо губернатора — сверкая прекрасными зубами, он с презрительным равнодушием взирал на безобразную terra incognita [2], расстилавшуюся во мраке во все стороны от гордого одинокого утеса богом избранной страны. Доведенный до отчаяния неожиданным и непривычным одиночеством, Крамнэгел затянул «Америка прекрасная» [3], но внезапно прервал пение, ощутив, что ослабшая струйка мочи, конвульсивно дергаясь, льется ему прямо на ботинки. Завопив от отчаяния во всю глотку, он попытался вытереть ботинки о заднюю сторону брючин, но лишь забрызгал брюки грязью. Затем полез в карман за сигаретами и обнаружил, что сигареты кончились. Он вышвырнул пустую пачку таким жестом, будто пустил камешек «печь блины» по воде. От того, что в карманах нашлось несколько коробков спичек, ему стало совсем тошно.

Теперь окончательно стемнело. В «Гнедом коне и голове принца» зажглись огни, и издалека таверна походила на рождественскую открытку. В зале сидели четверо стариков и старуха. Заведение открылось минуты две назад, но они, казалось, сидели там давным-давно. Три старика, пристроившиеся на скамье, взглянули на пришельца с меланхолией, которую у стариков легко принять за враждебность. В пожилой даме было что-то кричаще мужеподобное; она была из тех потускневших, беззубых, потрепанных и изжеванных жизнью особ, чей когдатошний порок — любовь к черному пиву — увы, не считается больше пороком. Четвертый старик расположился за стойкой, и в позе его было нечто, свидетельствовавшее о желании обособиться. Если у остальных кепки на голове сидели прямо, символизируя тем самым конформизм, уравновешенность и, следовательно, добропорядочность, то он свою кепку лихо надел набекрень. Горло у него было укутано клетчатым шарфом, оба конца которого свисали до пола. Лицо, не лишенное сумасшедшинки, алело отблесками былых бурь, в глазах горело пламя нетерпимости, а испятнанные никотином губы время от времени кривились, когда его сознание пронизывала очередная буйная мысль. На кончике носа у него дрожала капля, и он тщетно пытался втянуть ее обратно в ноздрю.

— Привет,— сказал, войдя, Крамнэгел.

Продолжение. Начало см. в № 8.

[1] Персонаж из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

[2] Неизведанная земля *(лат.)*.

[3] Известная патриотическая американская песня.

Три старика изумленно посмотрели на него, а старуха пожевала пустым ртом. Только старик за стойкой вздрогнул при этом неожиданном вторжении, но не снизошел до слов.

— Пиво есть? — спросил Крамнэгел у барменши.

Но непосвященному не было дано понять ее ответ.

— Чего-чего?

Барменша повторила, выговаривая слова мучительно медленно, но так и не пролив света на их смысл.

— Послушайте, я всего лишь навсего хочу пива... холодного пива... со льда.

Из последующего ответа Крамнэгел ухитрился почерпнуть, что льда нет, поскольку сломался холодильник.

— Господи Иисусе — нет льда?!

— Никак янки? — поинтересовался старик-шотландец, ехидно подмигнув.

— Я американец, если вы это хотели сказать.

— Ну да, я так и думал... приперся сюда со своими замашками... поразительно, должен сказать...

Три старика на скамейке захихикали.

— Во-во, Джок, покажи ему! — подзадорил один из них.

По какой-то необъяснимой причине Крамнэгел почувствовал, что попал в ловушку, и огляделся по сторонам, оценивая противников.

— Ничего, ничего, не обращайте на него внимания,— подбодрил его самый миролюбивый из стариков.— Это всего лишь старый Джок.

— Всего лишь старый Джок! — сказал как сплюнул старик-шотландец.— В продажном мире буржуазных ценностей раздается трезвый глас, но вот и всё ему признание — «всего лишь старый Джок»... Что ж, позвольте вам кое-что заметить: старый Джок, конечно, не великий пророк, но у него вполне хватает мозгов, чтобы разъяснить мистеру замухрышке Эдварду Бриггсу, что дни его разложившегося общества сочтены и, более того, что не нужно быть гениальным математиком, чтобы на пальцах одной руки сосчитать, сколько осталось жить роялистско-капиталистическим заговорщикам, покуда их не сметет безжалостная волна народного гнева и возмущения.

Старуха бросила на него из-под своей заношенной фетровой шляпы неприязненный взгляд.

— Будь любезен, придержи язык, Джок, и не распускай его в присутствии дамы.— И она подмигнула.

— В присутствии дамы? Тоже мне дама! Да по сравнению с тобой, Лили, вавилонская блудница и та сойдет за даму!

Старуха даже хрюкнула от удовольствия.

— Что это вы за чертовщину несете? — осведомился Крамнэгел, принимая поданную ему кружку теплого пива.— И кто такой Эдвард Бриггс?

— Это я,— ответил ему один из стариков. И тоже подмигнул. Подмигиванье, похоже, было в этих краях своего рода хворью.

— Рад познакомиться. А я — Бартрам С. Крамнэгел.

— О!

— Звучит по-иностранному,— прошамкала Лили.

— Тебе все звучит по-иностранному, старый ты осколок эдвардианской старой империи! — отрезал Джок.

— Это уж точно, я такая,— согласилась та и мигнула.— А ты, милок, мне пивка не поставишь? — обратилась она к Крамнэгелу.

— Ну, разумеется. Эй, послушайте! — окликнул он барменшу.— Обслужите-ка нас, сударыня. Славлю всем.

Он буквально расцвел, чувствуя себя кем-то вроде посла среди этих чужаков. Он нуждался в их дружелюбии.

— Только не мне, Эгнес, будь любезна.

— Что это с вами такое? Вы не пьете? — поинтересовался Крамнэгел.

— Из принципа.

Из принципа?

— Из принципа не стану пить с представителем эксплуататоров трудящихся масс.

Крамнэгел хмуро улыбнулся и кивнул.

— Не обращайте на него внимания, это всего лишь старый Джок,— передразнивая своих новых знакомцев, заметил он.

Три старика одобрительно подмигнули. Крамнэгел решил выиграть время и поднес кружку к губам. Его чуть не стошнило.

— Это еще что такое, черт побери! Чем вы тут поите — подогретой мочой? — проревел он.

Старуха чуть не умерла от восторга, во взглядах трех стариков проскользнули искорки веселого злорадства. Мало что может прийтись англичанину больше по душе, чем быть неправильно понятым, да еще самым неожиданным и самым занятным образом. Если вкусы в большинстве своем приобретаются, то англичане из кожи вон лезут, чтобы приобрести именно такие вкусы, которые не присущи больше никому. Соответственно и получаемое ими удовольствие подогревается созерцанием тех, кто пытается следовать им в их предрассудках, но терпит в этом неудачу. В таких случаях все взгляды сосредоточиваются на той самой банановой кожуре, на которой человек поскользнулся.

— На этот раз я соглашусь с вами,— сказал неисправимый болтун Джок.— Англичанин любит мучить свое нёбо теплой водичкой из-под мытой посуды и выдавать ее за нектар, и все только потому, что никто другой ее пить не станет. Я выпью солодового виски, но за свой собственный счет.

— Вам же хуже,— заметил Крамнэгел, нисколько не обидевшись, ибо налицо была явная коммерческая глупость.

Хладнокровие Крамнэгела заметно раздражало Джока. Что за забава дразнить спокойного быка? И Джок стал искать тряпку достаточно красную, чтобы вывести это чужеродное тело из состояния апатии.

— Знаете что,— неожиданно сказал Крамнэгел.— Я тоже выпью виски. Сударыня, двойной скотч! — И он посмотрел на Джока так, будто сделал ему важную уступку, и сделал ее самым элегантным образом.

Джок внимательно изучал свою добычу.

— Будем!

— Дернули.

Они выпили, и все присутствующие приветствовали угощавшего своими кружками теплого пива.

— Так-то оно лучше,— объявил Крамнэгел.— Я вообще не любитель крепкого, но ваше пиво как будто прямо из стиральной машины. Одного стакана хватит, чтобы загадить всю Ниагару.

В ответ — смешки и подмигивание.

— Так чем же вы зарабатываете себе на жизнь, мистер? — поинтересовался Джок.

— Зовите меня просто Барт.

— Барт?

— Барт. Я полицейский.

— О...— «О» оказалось весьма длинным и протяжным, как будто полученная Джоком информация укладывалась на какую-то полочку таинственного шкафа.

— А что?

— Вы, значит, управляете движением этих хромированных чудищ, да? Этих огромных машин, в которых вдовы с огненными волосами ездят за покупками?

— Я управляю людьми, которые управляют ими,— ответил Крамнэгел, обретая в себе уверенность.— Я начальник полиции.

— Начальник полиции? — Брови Джока моментально взлетели к самым волосам.— Ну и ну, большая к нам заплыла рыбина. Большущая рыбина из тех вод, где кишат акулы Уолл-стрита и черномазые, которых эти акулы едят.

Крамнэгел с интересом посмотрел на Джока. В напыщенной речи и необычных образах ворчливого старика было что-то занимательное. В известном возрасте право на свою долю сумасшедшинки имеет каждый, и если существует умственная дорога, решил Крамнэгел, то он поможет Джоку благополучно перейти ее.

— А чем вы зарабатывали себе на жизнь, старина? — спросил он.

— Зарабатывал? Зарабатывал? — Не веря своим ушам, завопил Джок.— Зарабатываю!

— О, в таком возрасте и все еще ведете активный образ жизни — это же просто здорово!

Но Джок не принял жеста солидарности.

— Я цеховой староста профсоюза электриков. Профсоюза славной памяти и замечательных побед. Староста местного отделения номер девятьсот шестнадцать, металло-

мастерские «Паркер Маккиннон» ниже по шоссе, изготовителя домашних бойлеров и чудо-печек марки «Непобедимый».

— В самом деле?

Крамнэгел успел заметить, что все три старика исподтишка делают какие-то негативные жесты по адресу Джока.

— Он был цеховым старостой,— осмелился сказать один из них.

— И остаюсь им по сей день, мистер Бристоу, соглашение не было аннулировано, а посему оно и по сей день сохраняет силу и действительно, согласно всем законам, правилам и постановлениям.— Предвидя дальнейшие возражения, он заговорил еще пронзительнее: — Я получил решение, вынесенное самим министерством. От девятого апреля. Действительно по настоящее время и впредь до дальнейшего уведомления.

— «Паркер Маккиннон» больше не существует,— мягко заметил мистер Бристоу.

Джок закрыл глаза, готовясь торжественно изречь то, что последовало, и пропел на манер псалма:

— «Паркер Маккиннон» находится в процессе реорганизации и, даже можно сказать, консолидации. Это я признаю. Что верно, то верно. Сейчас происходит немало слияний, и такой фирме, как «Паркер Маккиннон», вполне разумно принять в этом процессе участие. Мы сливаемся с корпорацией «Интекс».

— Это американская корпорация,— вставил Крамнэгел.

— Нет, не американская.

— Нет, американская.

— Нет, не американская.

— Говорят вам: «Интернэшнл энд Тексас», ясно?

— «Интернэшнл телевижн эксчейнджес компани лимитед».

— Господи ты боже мой! Да ведь это одна из наших корпораций-гигантов! У них же филиалов где только нет! А дирекция в Делавэре. Ну да, Дувр, штат Делавэр. Вот уловка какая, чтоб, значит, поменьше налогов платить. Они делают ракеты класса «Земля — земля» марки «Старспаркл», ракеты класса «Спрейчив» для подлодок, а также антиантибаллистические баллистические ракеты «Тотем» и черт знает еще сколько всякого такого добра. Этот «Интекс» — большая штучка!

— Значит, мы говорим о разных «Интексах»,— надменно фыркнул Джок.

— Один только «Интекс» и есть — американский, вы уж мне поверьте. «Интернэшнл энд Тексас». Сокращенно: «Интекс». Разве не ясно?

— «Интернэшнл телевижн эксчейнджес компани лимитед»... город Абердин.

Удивительно, как распаляются взрослые люди из-за того, где находится компания, в которой никогда не служил ни один из них и по отношению к которой ни тот, ни другой не испытывали никаких чувств — ни глубоких, ни поверхностных. То, что до этого они разве что не оскорбляли друг друга, никоим образом их не взволновало, но вдруг у них вздыбились перья по причинам, глубоко скрытым во тьме человеческого сознания. Крамнэгела искренне разгневали попытки принизить американский индустриальный гигант, Джок же угрюмо кипел про себя, поскольку в глубине души подозревал, что ошибался, но считал, что это исключительно его дело и никого больше не касается. Чтобы успокоиться, оба пропустили еще по стаканчику.

Неожиданно Джок извинился и вышел.

— Все-таки кто он — этот старый хрыч? — спросил Крамнэгел.

— А, у него не все дома,— сказал мистер Бриггс.

— Я бы так далеко заходить не стал,— заявил старик по фамилии Бэйли. Как и все деревенские мудрецы, он был большой мастер по части оценок и ярлыков: всему своя полочка.

— А я бы и дальше зашел,— заметил Бристоу.

— Э, нет, я бы так далеко заходить не стал,— стоял на своем Бэйли.

— А я говорю, что у него не все дома,— повторил Бриггс.

— В любом случае он был большой шишкой, доложу я вам, в ранние дни профсоюзного движения на берегах Клайда, в судостроительной промышленности,— пояснил Бэйли.

— Трудно в это поверить,— пробормотал Бристоу.

— Да нет, правда. Дружил с Уиллом Галлахером и со всей компанией. Эрни Бевин. Суповые кухни. Голодные марши. Интернационал. А потом переехал на Юг с фирмой «Паркер Маккиннон», но они уже год как сидят без дела. А его, сдается мне, держат за ночного сторожа при пустой фабрике. В память о старых днях, наверное.

— Хорош ночной сторож, нечего сказать! Из пивной не вылезает,— хихикнула старуха.— И все равно надо отдать ему должное: никто не знает столько соленых анекдотов, как он. До чего грязный старикан — просто прелесть. Знатный, наверное, был в свое время жеребец!

— Вряд ли у него хватало времени, чтоб этим заниматься, как ты думаешь, Берт?— весело спросил Бриггс.

— Думаю, что вряд ли. Хотя он ведь не был женат, так что какое-то время у него *на это* находилось.

Раздался хохот.

— Что-то уж больно он голодранцем выглядит для профсоюзного вождя,— заметил Крамнэгел.

— Голодранцем? Нет, право же, я бы так не сказал,— возразил Бэйли.

— Да нет, просто он типичный шотландец.

— Голодранец, да еще какой!— подтвердил Бристоу.

— Шотландец из голодранцев,— предложил компромисс Бриггс.— Но ведь вряд ли можно ожидать от коммуниста, чтобы он носил костюм в полоску.

— Он коммунист?— приглушенным голосом переспросил Крамнэгел.

— О, да,— ответил Бриггс.— Баллотировался когда-то в парламент от коммунистической партии, но только потерял залог [1].

Как раз в этот момент Джок вернулся в зал, слегка путаясь ногами в концах своего шарфа, и заказал еще виски.

— И мне налейте,— прорычал Крамнэгел и увидел вдруг Джока в совершенно ином свете. Он увидел, как компания «Интекс» — «Интернэшнл энд Тексас», этот добрый и доверчивый гигант, раздающий лучшим рабочим свои акции в порядке поощрения и ставящий негров на должности, ну пусть не решающие, но все же ведь ответственные, эта великая сила, несущая миру добро, слепая, как само правосудие, во всей своей беспредельной доброте и милости пригревает на своей широкой груди участника коммунистического заговора с партийным билетом. Этому кошмару должен быть положен конец. И, благодарение господу, он оказался здесь, дабы сделать это.

— Мне сказали, что вы коммунист,— сделал он тонкий заход.

— Да, и горжусь этим.

— Гордитесь? Хм... Объясните-ка, что привело вас к коммунистам?

— Ну все, теперь он заведется,— простонали старики.

Джок окинул их презрительным взглядом, а Крамнэгел жестом призвал к молчанию. Он хотел вести следствие самостоятельно.

— Чувство истории,— величественно произнес Джок.— Чувство социальной несправедливости, социального неравенства. Желание добиться во всем справедливости.

— А разве не настанет справедливость, если научится быть справедливым каждый человек?— спросил Крамнэгел.

— Ей-богу, вы коммунист, хотя сами того не знаете! — в деланном изумлении воскликнул Джок.

— Никогда им не был. И никогда не буду.

Столь категоричная защита рабства со стороны раба заставила Джока нахмуриться. Рот его скривился в сатанинскую улыбку жалости, и он сощурил глаза.

— Ишь как вы в себе уверены! Выставляете свои цепи напоказ — будто они не кандалы, а наиценнейшие браслеты!

— Что вы мелете, черт побери!

— Сказать вам, кто вы такой, господин полицейский? Глина вы, вот кто. Глина, из которой правящие классы лепят все, что им заблагорассудится, что только позволят пределы человеческого унижения. Когда труба зовет, вы первым бежите на войну, подбрасывая шапку в воздух. В Берлин, в Париж, в Нью-Йорк — куда угодно, хоть к черту на рога! Когда кто-нибудь из ваших политиканов требует жертв, вы первым готовы жертвовать чем угодно: кровью, деньгами, жизнью. Когда тот же золотушный политикан чмокает какого-нибудь ребенка, вы тут же отдаете ему свой голос,— что, разве не так? А стоит ему нацепить ковбойскую шляпу и побренчать одним пальцем на банджо, как вы сразу считаете его человеком из народа, да? Вас слеза прошибает от патриотизма. Вы идеальный материал для гипнотизера. Стоит только войти сюда человеку с собачьим ошейником, как вы сразу начнете следить за тем, что вы говорите, сразу

[1] Избирательный залог, установленный для кандидатов в члены палаты общин, не возвращается, если кандидат собрал менее ⅛ голосов избирателей.

нацепите на себя тошнотворную улыбку, а когда раздастся голос — неважно чей: «На молитву!» — вы грохнетесь на колени хоть на долю секунды да раньше всех остальных, ну, разве не так?

— Что вы пытаетесь мне сказать? — спросил Крамнэгел, преисполненный решимости не утратить выдержки, которая должна была оставаться его козырем, его тайным оружием.— Вы пытаетесь мне сказать, что я сам себе не хозяин? — Сделав паузу, он заказал еще порцию выпивки для всех лишь для того, чтобы продемонстрировать свое спокойствие. Теперь всем уже было безразлично, кто платил.— Вы когда-нибудь слышали о демократии?— спросил он наконец.

— А, опять, значит, примемся за этот гнилой орех?— вскричал Джок.

— Вы пытаетесь мне сказать...

— Какого черта вы думаете, будто я пытаюсь вам что-то сказать?— заревел Джок, внезапно выйдя из себя.— Либо я сумел вам что-то сказать, либо нет. Если нет, то потому лишь, что вы слишком большой дурак, чтобы меня понять. Если да, то потому лишь, что каким-то чудом вы поймете. Я не пытаюсь вам ничего сказать. Я вам говорю!

Закрыв глаза и поджав губы, Крамнэгел ждал, пока тот выговорится до конца. Дождавшись, он открыл глаза.

— Вы говорите мне, что демократия — как вы ее назвали — гнилой орех?

— Я вам говорю, что демократия — гнилой орех.

— Будем,— сказал мистер Бриггс.

— Будем,— отозвались эхом все присутствующие.

— Дернули,— добавил от себя Джок после того, как все воздали дань традиции.

— Вы принимаете участие в выборах?— спросил Крамнэгел.

— Куда вы теперь гнете? Хотите развести бодягу насчет американской войны за независимость и про то, как вы изобрели демократию еще до греков и Сократа? Слушайте вы, голова садовая, я баллотировался в парламент. Знаете, что такое парламент? Порочный дядюшка вашего конгресса. И почти такой же бесполезный. Выборы? У вас они превращены в своего рода моральную повинность, разве не так? Вы не способны понять, что воздержаться от участия в выборах — такой же способ выразить свое мнение, как и любой другой. Нет. Раз вам дают пару паршивых кандидатов, вы должны голосовать за не самого паршивого из них. А по мне, именно это и есть предательство демократии! Нет, я никогда не голосовал на выборах. Никогда. Почему? Потому, что никогда не было кандидата-коммуниста, за которого я мог бы отдать свой голос, вот почему. А потуги лейбористов показать, что они почти что наши, меня не обманут, нет — я уж, пожалуй, скорее голосовал бы за тори. По мне, откровенный бандит лучше, чем маскирующийся. Волк в волчьей шкуре — это хоть по-честному.

— То есть вы не станете голосовать, если вам не дадут кандидата-коммуниста? — расхохотался Крамнэгел, качая головой.— Господи Иисусе, вы, значит, согласитесь воспользоваться благами демократии только в одном случае: чтобы отдать свой голос за человека, который заведомо поклялся их уничтожить. Ничего себе логика!

— Да, логика!— вскричал Джок.— А такие, как вы, используют демократию лишь для того, чтобы ограничить выбор народа рамками статус-кво...

— Чего-чего?

— Статус-кво. Существующее положение вещей. Капиталисты. Средний класс. И только на самом что ни на есть последнем месте—рабочие. Может такой человек, как я, баллотироваться на выборах в Соединенных Штатах?

— Конечно!

— А может он победить на выборах?

— Но здесь ведь вам победить тоже не удалось, а?

— Вот именно. Потому что здесь такая же прогнившая система, как и у вас. Вы же ее отсюда и заимствовали. А вот в Советском Союзе...

— В Советском Союзе вообще нет выборов.

— Есть, и еще какие!

— Нет. У них и партий даже нет.

— А у нас есть, да? А какая разница между этими нашими партиями, чтоб им пусто было? Ни малейшей! «Коммунистический манифест» — это единственная альтернатива великому заговору капиталистических партий. Как вы думаете, почему, едва кончилась война тысяча девятьсот четырнадцатого-восемнадцатого годов — прошу прощения, для вас это была война тысяча девятьсот семнадцатого-восемнадцатого годов,— почему, как только закончился этот грандиозный пожар с монументальным

побоищем, великие державы надумали послать армии интервентов в Советский Союз? Они знали, что опасность в конечном счете заключается не в одном из империалистических соперников, а в новой концепции о месте человека в обществе, провозглашенной юным голосом международного социализма. Британские войска высадились в Мурманске, друг мой, французские войска... А не забыл ли я кого? Ну, разумеется, забыл: американские войска вторглись в Советский Союз, чтобы в корне пресечь красную заразу. Но ничего у них не вышло.

Крамнэгел почувствовал, как в голову ему бросилась кровь.

— Позвольте вам сказать вот что,— начал он задыхающимся от волнения голосом.— Во-первых, Соединенные Штаты никогда не вторгались в Советский Союз, и вам прекрасно это известно. Во-вторых, Соединенные Штаты никогда еще не проигрывали ни одной войны. Никогда! Никогда!

— Соединенные Штаты никогда не вторгались в Советский Союз? — вскричал Джок.— Как же тогда, по-вашему, называется высадка войск одного государства на территории другого? Вы, видно, называете это вторжением лишь в том случае, если оно увенчалось успехом? Так я должен вас понимать? Тогда спасибо за поправку, господин полицейский. Ваше вторжение провалилось, поэтому вы тактично набросили на него вуальку в учебниках истории, чтобы детки продолжали верить сказкам о том, будто великие Соединенные Штаты никогда не проигрывали войны.

— Это грязная ложь! — завопил Крамнэгел.

— Спокойно, спокойно,— пробормотал мистер Бэйли.

Джок щедрым жестом заказал выпивку для всех.

В напряженной тишине все уставились в пол, за исключением Джока, вперившего взгляд в потолок. Старуха облизнула губы в поисках последней капли горькой пены.

— Ну, ладно, ладно,— произнес Крамнэгел более примирительным тоном,— давайте оставим в покое историю, хорошо? Давайте говорить про сейчас.

— Сейчас — часть истории, то есть скоро станет ею.

— Ну, хорошо, а как насчет трудовых лагерей в России? Как насчет разгонений евреев...

— Вы, надо понимать, хотели сказать: «Как насчет гонений на евреев»...

— Черт с ним, что́ я хотел сказать, это неважно,— храбро заявил Крамнэгел.— Вы что, отрицаете, что они существуют? А как насчет того, что русские вооружают арабов? А насчет того, что писатели у них не могут писать чего хотят? А тайная полиция, которая понаставила микрофонов в гостиницах и частных квартирах? А дикие собаки и колючая проволока на границах — я сам в кино видел! Все это вы тоже будете отрицать?

Джок прикрыл глаза.

— Совершенства в мире нет,— ответил он.— Я уверен, что в Советском Союзе есть своя доля потенциальных преступников, подонков и подрывных элементов. Я всего лишь хочу сказать, что они их лучше держат в руках, нежели мы. Потому-то и существуют трудовые лагеря, друг мой. В вашей стране такие элементы либо сидят в тюрьме, либо шатаются по улицам, собираясь совершить преступление, за которое сядут в тюрьму. Что же до писателей, которые, по вашему мнению, не могут писать как хотят...

— Будем,— предложил мистер Бристоу.

— Будем,— откликнулись эхом остальные.

— Дернули,— сказал Джок.— Что же до писателей, то позвольте вас спросить, а есть ли в мире такой писатель, который пишет именно то, что он хочет? Писатель пишет на продажу, не так ли? Так же, как женщина, которая старается быть привлекательной не только для себя самой, но и для других... И если писатель не может удовлетворить требованиям капиталистического рынка, он терпит неудачу; а если он терпит неудачу, он голодает. Если коммунистический писатель не может писать так, чтобы удовлетворить требованиям коммунистического рынка, он тоже терпит неудачу, но при этом не голодает никто. Наша свобода, как видите, так далеко не заходит.

Ирония Джока не дошла до Крамнэгела, которого все больше и больше раздражало красноречие оппонента, но ему не удавалось вцепиться в какую-нибудь более или менее понятную фразу, чтобы дать ему отпор.

— Вы тут говорили, что полиция ставит микрофоны в гостиничных номерах и в частных квартирах. Что ж, недавно я видел фильм о том, как именно этим занимает-

ся ФБР. И, наконец, если мне не изменяет память, вы упомянули о том, что Советский Союз вооружает арабов. Что вы, черт побери, вообще об этом знаете?

— Очень даже много,— заявил Крамнэгел.— И как бы вы ни искажали факты, вам это не поможет. Евреи имеют право на свой национальный очаг, так? И, значит, много веков подряд им в этом праве отказывали. Шесть миллионов евреев погибли в концентрационных лагерях. И они всего лишь хотят добиться права на свой национальный очаг, а Соединенные Штаты как раз и помогают им осуществить это право.

— И все?

— А чего же вам еще? Разве этого мало?

— Мало. При чем тут арабы? Разве арабы уничтожили шесть миллионов человек в концентрационных лагерях?

— Вы же сами знаете, что нет. Их убили фрицы. Немцы то есть.

— Так что же плохого в том, что Советский Союз вооружает арабов? Разве вы не вооружаете Израиль?

Крамнэгел вздохнул. Его прямо передернуло от раздражения. Заказав еще раз выпивку для всех, он почесал в затылке.

— Вы антисемит? — спросил он наконец.

— Как может коммунист быть антисемитом? — расхохотался Джок.— Согласно религиозным авторитетам, евреи были народом, избранным богом. По мне, так пожалуйста. Но, может быть, этого хватит? Зачем же им еще и самим себя избирать? Или они относятся к выбору, сделанному богом, так же скептически, как и я?

— Вы атеист? — тоном обвинителя спросил его Крамнэгел.

— Разумеется.

Вот ведь наглец — даже не стыдится открыто признаться в этом.

— Более того, я хотел бы заметить, что объявление евреев избранным народом было первым в истории проявлением расизма.

Крамнэгел моргнул. Он видел двух Джоков, сидевших впритык и двигавшихся до отвращения синхронно.

— Все это мура собачья!

— Убедительным аргументом отвечаете, нечего сказать.

Крамнэгел попытался громко и добродушно рассмеяться, уловив даже сквозь внезапно окутавший его туман, что тут есть вроде бы что-то смешное. Он сделал усилие, чтобы встать, но рухнул прямо на старуху, да так, что та расплескала свое пиво. Старуха добродушно хохотнула: она-то пить умела.

— Будем,— сказал мистер Бэйли.

— Дерни себя за нос,— пробормотал Крамнэгел и затрясся от охватившего его хохота — до того он был рад, что сумел сразу отреагировать.

— Будем,— сказал Джок.

Его взгляд тоже утратил былую твердость, но он был полон презрения к человеку, не умеющему пить. Он вцепился в стойку бара, как в поручень корабельной палубы, раскачиваемой бурными волнами моря.

— Сионизм — это европейская концепция, сформулированная европейскими евреями в конце прошлого века в попытках вновь обрести утраченное достоинство. И когда... да слушайте же вы, чтоб вас... я же не для себя излагаю сию премудрость, я все это и так знаю — знаю, ясно?.. Так к чему же ведет поиск утраченного достоинства? К самому порогу фашизма — вот к чему! Взять хотя бы Бенито Муссолини...

— Сами, чтоб вам треснуть, не знаете, чего несете,— тихо, угрожающе произнес Крамнэгел.

— Взять хотя бы Бенито Муссолини,— не отступался Джок, брызгая слюной и пытаясь чеканить каждое слово, чтобы побороть растущее опьянение исключительно четкостью речи.— Любовался гробницами вдоль Аппиевой дороги! Йозеф Шикльгрум, то есть Адольф Гитлер...

— Сами, чтоб вам треснуть, не знаете, что несете,— повторил Крамнэгел.

— А как насчет Кубы?

— Кубу вы сюда не приплетайте! — мгновенно встрепенулся Крамнэгел, ибо Джок явно покушался на доктрину Монро.

— А вы меня не пугайте,— вдруг завопил Джок, гордость которого была уязвлена чванливостью пьяного полицейского.— Почитали бы лучше кое-какие материалы Общества дружбы с Советским...

— Ей-богу, не будь ты таким плюгавым старым замухрышкой, я б тебе показал...

— Где же твой боевой дух? Остался в развалинах какой-нибудь сожженной напалмом вьетнамской деревни?

— А, чтоб тебя, довел ты меня все-таки!

Крамнэгела даже передернуло от ненависти к непонятности огромного мира. Он попытался было рвануться к Джоку, но пол так качался под его ногами, что он не мог сдвинуться с места.

— А ну, иди сюда, ты, гук [1] паршивый! — зарычал он.

— Рот себе прополощи,— приказала ему вдруг неожиданно ожившая старуха.

— Вот, полюбуйтесь на эту великую руку помощи, протянутую миру! — кричал Джок, брызгая слюной.— Припрется всякая горилла и начинает пороть всякую пошлятину...

— Гук! Гук! Гук! — вопил Крамнэгел.

Оба прочно, как якорями, уцепились за мебель, поскольку не могли двинуться ни вперед, ни назад, столь же величественные и столь же беспомощные, как парусные фрегаты в безветренный день. Джок вдруг вспомнил о висевшей на кончике носа капле и полез в карман — по всей вероятности, за носовым платком.

Сквозь пьяную мглу Крамнэгел заметил, что рука Джока нырнула в карман и, должно быть, мгновенно сработал рефлекс, ибо, когда щелкнули два револьверных выстрела, даже сам Крамнэгел толком не сообразил, что стрелял он. Глянув секунду спустя на собственную руку, он увидел в ней револьвер, из ствола которого курился дымок. Джок с изумлением глянул на свою руку, затем перевел взгляд на грудь. Его кепку подбросило к потолку, и она упала за стойку бара.

— О, боже, ты еще хуже, чем я думал,— прошептал Джок и медленно сполз на пол.

Старики, пошатываясь, поднялись с мест, а старуха все повторяла: «Что ты наделал, что ты наделал?» — будто увещевая ребенка. Крамнэгел первым осознал, что произошло.

Протрезвев от случившегося, он заметил, что все присутствующие напуганы видом револьвера, который он все еще держал в руке, и сунул револьвер в кобуру под мышкой.

Спустя минут пять появился молодой полисмен. За ним прибыл доктор.

— Вы были очевидцем происшествия? — спросил полисмен Крамнэгела.

— Разумеется, это же я в него стрелял.

Полисмен уставился на него неверящим взглядом.

— Вы, сэр?

Три старика и старуха нервно подтвердили слова Крамнэгела.

— Сдайте, пожалуйста, ваше оружие, сэр.

— Я бы лучше оставил его у себя,— ответил Крамнэгел, доставая свое удостоверение в целлофановой обложке.— Я, видите ли, сам полицейский. Начальник полиции. Вот здесь все про меня сказано... Да я же с вами разговаривал, помните, в поселке? Так вот, это я.— Он указал на свою фотографию на удостоверении.— А этот тип,— ткнул он пальцем в Джока,— полез в карман за оружием, чтоб в меня стрелять. Я выстрелил в него в порядке самозащиты.

— Самозащиты? Вот как?

Полисмен опустился на колени рядом с Джоком.

— Он жив? — спросил полисмен доктора.

— Жив, но в тяжелом состоянии. Надо срочно вызвать «скорую помощь».

— У него нет в кармане оружия, сэр,— сказал полисмен Крамнэгелу минуту спустя.— Только носовой платок.

— Только платок,— повторил Крамнэгел, впервые начиная испытывать смутное беспокойство.— Поищите в другом кармане.

— Там только ключ и коробок спичек.

Поднявшись на ноги, полисмен отряхнул колени.

— Будет лучше, если вы сдадите оружие мне, сэр.

— А обратно мне его вернут? Я вам лучше подпишу что угодно. Я же вам сказал: я в этого типа стрелял в порядке самозащиты. Ведь я вас сам сюда и вызвал, понимаете? Я...

— У вас есть разрешение на ношение оружия, сэр?

— Конечно есть, я же начальник полиции...

[1] Презрительная кличка, которой американские солдаты называли вьетнамцев.

— Я имею в виду разрешение, выданное английскими властями, сэр?

— Нет. На черта мне сдалось английское разрешение?..

— В таком случае, сэр, будет лучше, если вы сдадите мне оружие. Вы носите его незаконно.

— То есть как это незаконно...

— Мы не носим оружия, сэр.

— Не носите...

Крамнэгела разобрал смех. Издевательский или истеричный — сказать трудно. Так или иначе, но Крамнэгел рассмеялся, и от этого ему стало легче. Проверив, стоит ли револьвер на предохранителе, он протянул его полисмену.

— А теперь, сэр, прошу следовать за мной.

— После вас.

— Пожалуй, я должен предупредить вас, что все, сказанное вами, будет внесено в протокол и может быть использовано как показания.

— Показания?

Крамнэгел даже пошатнулся и нахмурился, как человек, внезапно ставший жертвой измены.

— Какого черта?..

6

Сэр Невилл Ним был холостяком и человеком слишком блестящим для своей должности — возможно, даже чуть-чуть излишне блестящим для любой должности. Занимая пост главного прокурора министерства внутренних дел, он постоянно соприкасался с самой неприглядной стороной человеческой натуры, но сумел найти среднюю линию между двойным искушением — безграничной черствостью и безграничной строгостью и придерживался ее не без своего рода иронической мягкости. Он рано вставал и завтракал в своих пыльных унылых покоях. Завтрак ему подавала экономка миссис Шекспир. За завтраком сэр Невилл был не очень разговорчив, поскольку читал в это время газету, решал кроссворд в «Гардиан», пока набиралась вода в ванну, и только после ванны, прежде чем отправиться пешком на работу в министерство, сэр Невилл уделял пять минут для ласковой и не лишенной сложности беседы на самые разнообразные темы со своей экономкой. Сегодня же, однако, не успел он раскрыть газету, как сразу воскликнул:

— О, боже!

Миссис Шекспир моментально почувствовала, что ее хозяин на сей раз жаждет общения.

— Я могу быть чем-нибудь полезной, сэр?

Сэр Невилл нахмурился и улыбнулся одновременно.

— Вы знаете, миссис Шекспир, мир стал настолько тесен, что стандарты и принципы, не имеющие ничего общего между собой, внезапно оказываются в вынужденном соседстве. В нашем веке столько аномалий, что количество предсказуемых несчастий растет с пугающей быстротой. Их безбрежное множество так пугает меня, что я каждое утро открываю газету с мрачным предчувствием. И вот сегодня — да, именно сегодня — сбылся один из терзающих мое воображение кошмаров.

— Глубоко сожалею, сэр Невилл, право, сожалею.

— Спасибо, миссис Шекспир. Полагаю, вы бы хотели узнать, что именно произошло.

— Да, я бы не прочь, если и вы не возражаете.

— Американский полицейский открыл огонь в сельской пивной в Хартфордшире и ранил местного профсоюзного лидера — шотландца.

— Ну, от них всего можно ждать — от американцев. Вы ведь бываете в кино, сэр Невилл?

— В кино я не ходил со времен расцвета Гарольда Ллойда, а тогда так называемый «постовой» представлялся персонажем забавным, объектом добродушных насмешек и шуток.

— Теперь-то все по-другому,— проворчала миссис Шекспир.— Я знаю, я ведь вожу в кино своего младшего. Теперь все фильмы — сплошная кровавая баня с легавым в центре — их теперь так называют, этих ваших постовых.

— Легавый? — Сэр Невилл даже поморщился.

— Да, легавый. И легавый должен выстрелами проложить себе дорогу из любой беды.

— Вот здесь-то вы и попали в самый корень проблемы, миссис Шекспир.

— Да? — Миссис Шекспир даже несколько растерялась от собственных достижений.

— Совершенно верно. Мы не можем изменить американский образ жизни. Пытаться сделать это — значит слишком много брать на себя, даже если бы это вообще было возможно. Американцы, по всей видимости, приписывают смерти качества веселого приключения, и они, безусловно, имеют право на это. Пожалуй, это наш недостаток, но мы не способны найти в смерти ничего, кроме довольно безвкусной скуки или, при некоторых обстоятельствах, явного облегчения. Тот же человек, который в Америке выстрелами прокладывает себе дорогу из беды, может легко оказаться тем человеком, который здесь своими выстрелами проложит себе дорогу в беду. Сдается мне, что точнее характер нашего дела и не сформулировать. Поймите меня правильно: я критикую его поведение отнюдь не с позиций высокой морали. Профсоюзный лидер-шотландец в самом сердце сельского Хартфордшира — явление само по себе уже настолько невероятное, что, кто знает, возможно, он действительно заслуживал смерти, пусть даже от руки какого-то заезжего легавого. Так ли иначе, мое беспокойство вызвано вопросами чисто технического характера, так же как и мои постоянные кошмары. Ведь на наши головы обрушилось дело, выносить суждение по которому не компетентны ни английские судьи, ни английские адвокаты, ни английские присяжные, ни английское общественное мнение.— Сэр Невилл сделал паузу.— Спросите меня «почему», миссис Шекспир.

— Почему, сэр Невилл?

— Потому, что никому из нас не понять, что такое быть американским легавым в американском городе. Попробуйте осмыслить с английской точки зрения мотивы, которые заставляют человека подобного сорта применять оружие, и вы не найдете в них никакого смысла. Английская жидкость обладает намного более высокой точкой кипения, чем ее американский эквивалент. Да, нам предстоит одно из тех злосчастных дел, где судебная ошибка просто неизбежна.

— Неизбежна, сэр? Но ведь такого никак не может быть в Англии.

— Если бы я опустился до того, чтобы застрелить человека в американском городе Де Мойн, миссис Шекспир, я бы не хотел, чтобы меня судили по американским стандартам или — что еще хуже — по американским стандартам, видоизмененным во имя проявления доброй воли в духе Дэвида Копперфилда и миссис Минивер.

— Я понимаю, сэр, понимаю,— в суровом раздумье пробормотала миссис Шекспир. А она большую часть того, что говорил ей сэр Невилл, не понимала, именно поэтому он ей это и говорил. Возможность еще утром разогреть свой мыслительный механизм на глазах свидетеля, не способного ни на какие инициативы, которые могли бы затуманить обдумываемый вопрос, вызывала у него удивительное чувство освобождения от бремени.

— А сейчас я приму ванну, миссис Шекспир.

— Вы еще не доели яйцо, сэр Невилл.

Сэр Невилл скрылся в ванной, никак не обосновав свой отказ доесть яйцо.

Придя на работу, он принял своего помощника Билла Стоккарда и высокого чина из Скотланд-Ярда — главного инспектора уголовной полиции Пьютри. Они сидели, попивая чай.

— И ведь он отнюдь не рядовой полицейский,— говорил Пьютри.— Он начальник полиции города с почти миллионным населением.

— Я этого не знал.— Сэр Невилл задумчиво помешивал ложечкой чай.— О боже, да это же намного осложняет дело, не правда ли?

— Почему же?

— Видите ли, нам будет еще труднее судить его.

Стоккард еле заметно улыбнулся. Он хорошо понимал ход мыслей своего начальника.

— О господи, да начни мы размышлять над тем, что судить легко, что трудно, а что вообще невозможно, мы бы уже давно все свихнулись,— заметил Пьютри, раскуривая трубку.— Вы только вспомните все эти обрядовые дела — ритуальные убийства

и каннибализм в районе Ноттинг-Хилл-Гейт [1]! А кровная месть в Беркемпстеде, когда сводились счеты вражды, начавшейся пятьсот лет назад в Северной Нигерии! Вы думаете, его светлость судья Бекуит и судья миссис Макквистон были способны принять в том случае справедливое решение, а? Что скажете? Нам тогда нужен был колдун в полном боевом облачении, который в порядке наказания отрезал бы виновнику нужный орган — и точка.

— Но потом все равно последовала бы, я полагаю, апелляция,— сухо улыбнулся сэр Невилл.

Пьютри рассмеялся.

Загудел зуммер селектора, и Стоккард щелкнул рычажком.

— К вам господин из министерства иностранных дел,— раздался голос секретарши.

— О? — Стоккард вопросительно глянул на сэра Невилла, тот кивнул.

— Хорошо, просите.— Стоккард выключил аппарат.— Что же теперь? — спросил он.

— Янки, наверное, пригрозят направить Шестой флот, если мы не выпустим их человека,— пошутил Пьютри.

— Вряд ли они пошлют Шестой флот из-за какого-то полицейского чиновника. Рональда Рейгана или Ширли Темпл [2] — еще куда ни шло, но Шестой флот — маловероятно,— заметил Стоккард.

Отворилась дверь и вошел коротенький, очень неопрятный человечек, который как-то очень странно держал голову — то ли собираясь извиняться, то ли играя на воображаемой виолончели и прислушиваясь к ее звучанию. Глаза его бегали вверх, вниз и по сторонам, и при этом на губах бродила жеманная улыбочка. Когда он переставал гримасничать, лицо его сразу становилось утонченным и достойным, однако это обстоятельство, казалось, очень смущало его, и он изо всех сил старался произвести впечатление неприглядной никчемности. Представился он как Гайлз де Монтесано. Он был отпрыском одной из старых английских католических семей, и звук «р» раскатывался в его устах далекой барабанной дробью.

— Сегодня утром мы получили сообщение из консульства Соединенных Штатов по поводу господина Крамнэгела,— заявил он.

— Уже? Однако, быстро они работают, быстро,— заметил сэр Невилл.

Улыбнувшись, Монтесано стал похож на святого, умирающего мученической смертью на костре.

— Сообщение, полученное нами, носит неофициальный характер, поэтому мы так быстро и получили его,— пояснил он.— Прошу учесть, однако, что оно носит неофициальный характер только потому, что за ним пока еще не последовало официальной памятной записки или чего-либо подобного.

— Не понимаю,— сознался Пьютри.

— Видите ли,— еще отчаяннее скривился Монтесано,— видите ли, сообщение поступило в форме телефонного звонка мистера Элбертса, личного помощника генерального консула США, и он вполне ясно дал понять, что его звонок не следует считать сугубо неофициальным, поскольку за ним, безусловно, последует письменное сообщение. Не знаю, право, достаточно ли понятно я изъясняюсь...

— М-м-м... Не могли бы вы изложить нам содержание сообщения американцев? — мягко направил его в нужное русло сэр Невилл.— Полагаю, что именно в этом и заключалась цель вашего визита к нам.

— Совершенно верно, совершенно верно,— захлебнулся безрадостным смехом Монтесано.— По всей видимости, американцы хотят заверить нас, что не рассчитывают на какое-то особое отношение к этому человеку. Говоря словами мистера Элбертса, он должен был бы лучше соображать. И сам виноват, если не сообразил.

— То есть никакого давления,— сказал Пьютри.

— Что есть отсутствие давления, как не способ оказать давление? — заметил сэр Невилл.

— А-а...— с мудрым видом протянул Стоккард.

---

[1] Ноттинг-Хилл-Гейт — район бедноты в западной части Лондона; населен в основном иммигрантами из бывших колоний Британии, известен как место расовых столкновений в 50—70-х годах.

[2] Ширли Темпл — известная американская актриса, ставшая работником дипломатической службы и дослужившаяся до ранга посла.

— Должен отметить, что сначала именно так восприняли звонок мистера Элберта и мы,— заявил Монтесано.— Сообщение показалось нам слишком уж поспешным... И все же у меня сложилось впечатление, что они искренне смущены случившимся.

— Они и должны быть смущены,— сказал Пьютри.

— Они полагают, что он подвел свою страну.

— Это только потому, что он — за границей,— заметил сэр Невилл.— Дома, по всей вероятности, он получил бы за это медаль.

— Ну, что вы! — Стоккард никак не мог поверить, что существует такая огромная разница между англичанами и людьми, которых он любил называть «нашими американскими кузенами».

Зазвонил телефон.

Стоккард снял трубку. Послушав немного, он сказал:

— Ясно.— И положил трубку на рычаг. Сэр Невилл даже не взглянул на него.

— Умер шотландец, не так ли?

— Да.

— Рассуждать больше не о чем,— сказал Пьютри.

— Да, я ждал этого. Мне так и казалось, что наша проблема разрешится возникновением новой проблемы. Итак, мистер де Монтесано, все рассуждения о давлении носят теперь исключительно академический характер. Я больше не могу закрывать глаза на случившееся. Я могу пойти на некоторые скидки, но только в рамках дела об убийстве.

— Конечно, разумеется.

— Можно ли спросить, что вы намерены предпринять? — поинтересовался Пьютри.

— Буду всеми силами добиваться обвинения в непредумышленном убийстве. Какое же здесь предумышление!

— А почему он носил с собой оружие?

— Почему все мы носим с собой зубные щетки, стоит нам уехать из дому хоть на одну ночь? Сила привычки.

— Неужели, по-вашему, он такой идиот?

— Не забывайте, что он полицейский.

— Н-да. К тому же их полицейский.

Узнав о смерти Джока, Крамнэгел, не стесняясь, расплакался, к вящему смущению присутствовавших при этом полицейских.

— Он же был просто милый старичок,— повторял Крамнэгел как молитву, то и дело спрашивая, осталась ли у Джока семья. Когда ему отвечали, что, насколько известно полиции, семьи у Джока не было, Крамнэгел стал благодарить за это господа бога. Глубина скорби Крамнэгела смутила его стражей, которые обращались с ним скорее как с достойным военнопленным, чем с арестованным преступником. Неожиданное сочувствие к жертве, вызванное лишь тем, что жертва скончалась, возбудило в них изрядное недоумение, поскольку до сих пор оправданием поступка Крамнэгела служило то, что закоренелый и злобный агитатор-коммунист оскорбил Соединенные Штаты и лез из кожи вон, чтобы спровоцировать обычно уравновешенного американца, начальника полиции, и заставить его совершить преступление.

К концу дня Крамнэгел постепенно взял себя в руки. Улучшению его настроения во многом способствовал визит Эди, хотя она и явилась в сопровождении нелюбимого им майора Батта О'Фехи, который смачно жевал резинку во время пылких родственных объятий.

— Пойди и скажи им все, как ты сказал на своем чествовании,— потребовала Эди, ударяя его кулаком в грудь.

— Обязательно. Я себя в обиду не дам. Если б только тот бедный старикашка...— Он умолк, глаза его наполнились слезами при одной только мысли о Джоке.

— Он не первый в мире покойник и не последний,— заявила Эди, которой совсем не нравилось то, как действовал на воображение супруга этот подохший шотландец.

— Во-во,— заметил О'Фехи, перекатывая жвачку в другой угол рта.

— Помнишь тот день, когда ты пришел сообщить мне про Чета... Чета... Козловски... Я тогда была замужем за ним и имела право плакать, верно?

Крамнэгел чисто по-мужски потер челюсть.

— Знаю, Эди, знаю. Просто я не спал всю ночь.

— Я понимаю. Эди все понимает.— Встав на цыпочки, она поцеловала мужа в щеку.

— Слышь, Батт, сигаретки у тебя не будет?

— Извини, друг, сигаретки нет, есть жвачка, если желаешь. С куревом я завязал: табак и подводное плавание — вещи несовместимые.

— На жвачку меня что-то не тянет. Во всяком случае сейчас.

Атмосфера напоминала канун важного матча по боксу, за исключением того, что репутация и данные противника оставались факторами абсолютно неизвестными. Герой и его свита не могли даже строить догадок относительно противостоящего им бойца. Нельзя было ни посоветовать, ни поглумиться, ни посмеяться, ни порыдать. И Крамнэгел уж никак не чувствовал себя в большей безопасности от того, что Батт О'Фехи смачно жевал резинку и время от времени посматривал на часы. Надо же было, чтобы с ним это случилось, сволочь он эдакая.

На следующий день произошли два события. Прежде всего Крамнэгелу предложили адвоката — Мод Эпсом, королевскую советницу юстиции. Как он сам сказал посетившей его Эди, он чуть не лопнул от злости.

— За каким чертом мне суют эту бабу? Да где это слыхано — баба-адвокат! Я этих сукиных детей насквозь вижу: хотят, чтоб я продул процесс! Ведь обвинение-то явно подстроено, чтоб их... Да я, черт возьми, абсолютно уверен, что этот вонючий комми где-то прятал револьвер — успел, наверное, сунуть его за стойку. Полицейский-то там оказался совсем зеленый, такой сопляк, что ему даже личного оружия не доверили — он вообще не догадался там и посмотреть, а теперь-то уж этот паршивый кабак обыскивать без толку... все они заодно. Чтоб их!

— За каким дьяволом ему посылают бабу? — вскипела Эди, воображение которой уже нарисовало сцену в камере: встрепанная адвокатесса в пылких объятиях нежных лапищ ее Барта.

— Должен заметить, что мисс Эпсом — одна из лучших защитниц в стране,— ответил полицейский сержант.— Я никогда не слышал, чтобы она позволяла мужчинам какие-нибудь глупости. Поэтому, наверное, она до сих пор и не замужем,— добавил он добродушно.

Вообще-то идея пригласить для защиты Крамнэгела женщину родилась в мозгу сэра Невилла. Принимая мистера Элбертса, личного помощника американского генерального консула, нанесшего ему визит в сопровождении Гайлза де Монтесано, сэр Невилл предельно ясно изложил свои опасения в связи с данным делом к вящему удовлетворению своего гостя, и одновременно предложил пригласить женщину-адвоката блестящего дарования, чтобы тем самым изощренно и хитро повлиять на атмосферу этого невероятного процесса. Надо полагать, что рассказ о стрельбе и убийстве, изложенный мелодичным контральто, существенно отдалит существо дела от реальной действительности.

И теперь мистер Элбертс нанес визит Крамнэгелу, чтобы установить необходимый контакт с ним и попытаться убедить его в том, что приглашение женщины-адвоката было искренней попыткой помочь ему, а не грубым маневром, рассчитанным на то, чтобы подорвать силы этого Самсона в предстоящем ему бою.

К несчастью, между четой Крамнэгелов и мистером Элбертсом лежала пропасть привычек, мнений, взглядов и вкусов еще более глубокая, чем та, что отделяла каждую из сторон от англичан, которые хотя бы пытались эту пропасть преодолеть. С первого же взгляда друг на друга соотечественники насторожились. Крамнэгел олицетворял все то, что раздражало и огорчало Элбертса в его собственной стране. Усевшись с изяществом афганской гончей на шатком стуле в маленькой комнате, предоставленной в их распоряжение руководством полицейского участка, Элбертс изучал злоумышленника из-под опущенных век.

Убогость его речи, неспособность его мозга следовать (пусть даже на почтительном расстоянии) за логическим ходом мысли, грубость черт и выражения лица, вся отвратительная вульгарность этого человека и его жены преисполнили Элбертса тупого чувства ярости. Мысль же о том, что эта дубина была представителем власти на местах, заставляла Элбертса вновь и вновь приходить к выводу, что за исключением ряда районов Новой Англии его Соединенные Штаты — это всего-навсего огромная недоразвитая страна.

— Я искренне убежден, что вам следовало бы всерьез подумать о том, чтобы согласиться с кандидатурой мисс Эпсом,— сказал мистер Элбертс, настоятельно качнув головой.

— Слушайте, вы женаты? — без обиняков спросил Крамнэгел.

— Некоторым образом да,— ответил Элбертс, придав своему ответу известную весомость.

— Тогда вы должны знать, что есть вещи, которых собственной жене не расскажешь, но выложишь первому встречному. Не суйся в разговор, Эди,— бросил он жене, которая и не собиралась открывать рот.

— А вы подумайте о том впечатлении, которое произведет женщина-адвокат на суд, особенно на процессе по делу о непредумышленном убийстве с помощью огнестрельного оружия. Мне удалось узнать, что люди, ведущие ваше дело, руководствуются именно этими соображениями.

— Значит, у них головы набиты трухой, если они этим руководствуются,— прорычал Крамнэгел, так что Элбертс вздрогнул.— А кто у них здесь вместо окружного прокурора? Что он из себя представляет?

— У них нет окружных прокуроров.

— Я же спросил: «Кто вместо»? Я знаю, что наших прокуроров у них нет, я грамотный.

— Не имею представления. Нам, видите ли, не каждый день приходится иметь дело с соотечественниками, угодившими за решетку за уголовное преступление. Я не очень разбираюсь в их юридической системе, да и в любой другой, слава богу.

— Ну, он-то уж точно будет мужчина, да?

— Надо полагать.

— Вот и я про то же. Так разве моей дамочке сдюжить против него в драке?

— В драке? Не понимаю. право, каким вы себе представляете английский суд.

— Но ведь наши традиции позаимствованы отсюда. Так?

— Да,— терпеливо согласился Элбертс.

— Значит, раз мы позаимствовали свои традиции отсюда, то и у них в суде все происходит с грызней и дракой, как и у нас. А в судебной драке обо всей этой ерунде собачьей насчет того, чтоб «женщин вперед», никто и не вспоминает. Адвокат туда приходит, чтоб выиграть дело, и если он хоть чего-нибудь стоит, плевать ему, как именно он его выиграет. Слушайте, я в суде полжизни провел, я, черт побери, знаю, о чем говорю. И я вам вот что скажу, мистер: дамочке-адвокату в суде делать нечего. Ну, конечно, если она защищает какую-нибудь смазливую бабенку, которая только что пришила мужа, разоделась во все черное и жутко жалеет о том, что натворила, а сама до смерти рада,— тогда все о'кей. Здесь я с вами согласен. Но некоторые дела просто не для женщин. Может, епископы — это одно, а адвокаты — совсем другое. И вы, черт побери, можете сказать это кому угодно с большим приветом от начальника Крамнэгела.

Вздохнув, Элбертс поднялся со стула.

— Я уверен, что все будет хорошо,— сказал он, протягивая руку с улыбкой столь же великодушной, сколь и неискренней.

— Иначе быть не должно, это я вам говорю.

— Пожалуйста, не волнуйтесь, миссис Крамнэгел.

— Мне случалось переживать и худшее,— сказала Эди.

— Вот это правильное настроение.

И покачав головой на тонкой шее — прощальный знак вызывающей изрядные сомнения солидарности,— Элбертс отправился на ретроспективную выставку Джэксона Поллока [1] в галерее Тейт.

По настоянию Крамнэгела кандидатура мисс Эпсом была снята, и его посетил новый кандидат в защитники — Локвуд Крэмп, член парламента от избирательного округа в Северной Ирландии. Он не совсем соответствовал представлениям Крамнэгела о том, каким следовало бы быть его союзнику, ибо даже внешность его никоим образом не укладывалась в рамки привычного американцу стандарта. Но при всем при этом выглядел он как человек, отобранный для защиты Крамнэгела именно за умение драться в суде и ни за что иное. Его изрядно помятое лицо, по которому, оставив глубокие следы, прокатились и война и мир, являло собой гамму разнооб-

[1] Джэксон Поллок (1912—1956) — известный американский художник-абстракционист.

разнейших оттенков красного цвета, разрываемую пучками буйной верескоподобной рыжеватой растительности, украшавшей его уши, ноздри и скулы.

(«Хоть бы сбрил он эту пакость, что ли»,— жаловался Крамнэгел потом жене.)

Локвуд Крэмп носил длинные и колючие бакенбарды, обрамлявшие большой рот, из которого торчали бивнеподобные зубы, оставляя, однако, место для изгрызенной черной трубки. Трубка эта беспрерывно изрыгала удушающие клубы дыма, а по подбородку из-под нее все время сочилась слюна. Самым же интересным в его лице были голубые глаза, детски-наивные и доверчивые,— огромные круглые пуговицы, совершенно плоские. они выглядывали из-под рыжих бровей с искренностью, одновременно смешной и волнующей. Сразу становилось ясно: вот человек, который в жизни не знал ничего, кроме физической отваги, и эта черта характера была, вероятно, и его силой, и его слабостью. Возможно, он и был рожден для того, чтобы вести за собой людей, но вряд ли для того, чтобы люди за ним шли.

Его совещание с Крамнэгелом в камере носило мучительный характер беседы учителя с учеником, пытающимся сдать «хвосты» по домашним занятиям.

— В вооруженных силах вы не служили вообще?

— Нет, сэр, не служил.

— Жаль, жаль... Ну, ничего.

— Это вы к тому, что присяжных было бы легче разжалобить, имей я «Пурпурное сердце»? [1]

Крэмп хмуро усмехнулся.

— Такие вещи помогают, хотя и не должны бы помогать. Я когда-то знавал немалое количество героев войны — в мирное время они, как правило, становились весьма неуравновешенными гражданами. Дело в том, что одно с другим несовместимо и не может ужиться в человеке, но суды все равно этого не понимают. Вас не взяли в армию по здоровью?

— Да, сэр, по здоровью.

— Чем вы были больны? Может, удастся выжать сочувствие к вашей болезни. Что у вас было? Рак? Туберкулез? Что-нибудь повлиявшее на психическую уравновешенность?

— Нет, сэр, не это.— Крамнэгел сглотнул слюну.

— Ну, раз нет, то мне и знать ни к чему.

О, черт, теперь у этого типа сложится превратное о нем представление!

— Болезнь была такая, которую каждый человек может подцепить.

— А, одна из тех, значит...— хмыкнул Крэмп.— Ну, тогда лучше о ней и не заикаться.

— Нет, вовсе не «одна из тех»,— возразил Крамнэгел.— Одна из других.

— Из каких таких других? — пристально посмотрел на него Крэмп.

— Да не из тех... из этих...

— Не понимаю... Вы случайно не гомосексуалист?

— Господи Иисусе! — Крамнэгел швырнул коробок спичек через всю камеру.

— Сядьте и не будьте ребенком,— одернул его Крэмп.— Сейчас нет времени ни на что, кроме полного и безраздельного делового сотрудничества. Нам надо как следует подготовиться к процессу, а застрелив в пивной беззащитного старика, вы даете мне не такой уж богатый материал для защиты. У нас есть выбор только из двух возможностей. Первое: объявить вас маньяком. Второе: доказать, что все происшедшее явилось лишь результатом трагического недоразумения. Говоря по правде, первое сделать легче.

— Какой же я маньяк! Я просто вдрызг надрался! — вскричал Крамнэгел.

— Это, поверьте мне, отнюдь не лучшая линия защиты.

— Но он ведь тоже надрался!

— Он, к сожалению, мертв. И нам уже нет никакого дела до того, надрался он тогда или нет.

— И все равно никакой я вам к черту не маньяк!

— Глубоко сожалею об этом.

— Вот что, я хочу ехать домой, вернуться, значит, к тому, что оставил. Я начальник полиции и намерен им оставаться. Начальник полиции — и никто в мире этого у меня не отнимет.

---

[1] Медаль за ранение в бою.

Но тут на Крамнэгела внезапно нахлынули нелегкие мысли об Але Карбайде, о котором он за последнее время начисто забыл.

— Вы хотите сказать, что ожидаете оправдательного приговора, после которого вас отпустят домой и разрешат возобновить вашу прежнюю деятельность?

— Конечно. А как же иначе?

— Ну, знаете, вы верите в меня и в мои возможности гораздо больше, чем верю в них я сам,— пробормотал Крэмп.

— Слушайте, ведь то, что случилось со мной, могло случиться с кем угодно, и вам отлично это известно.

— Нет,— ответил Крэмп.— Мне это неизвестно. Здесь такое могло случиться только с уголовным преступником или с американским полицейским. А теперь я должен— если мне это удастся, разумеется,— попытаться доказать суду, что уголовный преступник и американский полицейский — это не одно и то же.

7

Сэр Невилл обнаружил, что по мере приближения суда он все чаще и чаще задумывается над делом Крамнэгела, рассматривая его со всех возможных сторон — со стратегической, и с тактической, и просто с человеческой. С людьми, овладевшими сложным предметом во всей его многогранности, случается порой, что широта их воззрений и терпимость к новому увеличиваются, а не уменьшаются по мере их профессионального и служебного роста. Таким человеком был и сэр Невилл: его видение мира давно уже не сковывалось буквой закона, но всего лишь ограничивалось рамками его духа. Предложить всеми силами добиваться обвинения в непредумышленном убийстве мог только человек либо юридически безграмотный, либо столь чистый в помыслах, как сэр Невилл. Это было невообразимо, ибо в Англии заведомо никто не мог поверить, чтобы человек — будь он хоть зулус, или мальгаш, или туземец с Мальдивских островов, не говоря уже о начальнике полиции американского города,— не отличил бы старика, достающего из кармана носовой платок, от выхватывающего револьвер бандита.

Как заметил по этому поводу Билл Стоккард, «ребенку, смотрящему вестерн, никогда и в голову не придет, что ковбои, сходящиеся на главной улице Карсон-Сити, лезут в карман за носовым платком. С какой же стати требовать от людей веры в противоположное?».

Сэр Невилл рассмеялся. Ему нравился Стоккард. Нравился своей молодостью и прямотой: ведь сэр Невилл знал, что вслед за покидающей тело молодостью душу вскоре покидает прямота. Глядя на Стоккарда, он вспоминал свой собственный путь наверх.

— Я согласен с вами,— ответил он Стоккарду, у которого сразу отлегло от сердца.— Суд сам должен прийти к обвинению в непредумышленном убийстве, и прийти на основании доказательства того, что обвинение в предумышленном убийстве в данном случае неуместно.

— Вот именно! — И, улыбнувшись собственной нескромности, Билл Стоккард добавил: — Но ведь вы знали это с самого начала и просто водили нас всех за нос, не так ли, сэр Невилл?

— Я знал это с самого начала,— очень серьезно ответил сэр Невилл.— В противном случае я не занимал бы этого кресла в этом кабинете. Но уверяю вас, что за нос я не вожу никого. Ну, разве что только самого себя. Я просто-напросто бьюсь в обычной агонии демократических порядков, Билл. Я точно знаю, как именно следует поступить — и отнюдь не во имя торжества правосудия, о нет, вовсе не ради этого, а только для того, чтобы правосудием не злоупотребляли. К несчастью, мои полномочия не так уж широки, и мне ничего не остается, кроме как следить за происходящим и доверять действующим лицам. А я не доверяю им, Билл. Я никому не доверяю, кроме себя самого.— Улыбнувшись наконец, сэр Невилл добавил: — Разумеется, я говорю это со всей должной скромностью.

— Вы совершенно правы, называя происходящее «обычной агонией демократических порядков». Все мы в этой агонии бьемся.

— Да, и поскольку бьемся действительно все, то при диктатуре было бы не в пример спокойнее.

— Не могу представить себе вас под пятой диктатуры, сэр.

— Какой же толк в диктатуре, если попадешь под ее пяту? Вот будь диктатором я сам, тогда бы я не возражал против нее никоим образом.

— Я вам не верю, сэр. Не при вас будь сказано, но диктатор из вас вышел бы никудышный. Уж больно сложный вы человек.

— Серьезно?

— О да. К тому же вы чересчур вежливы.

— Я тешу себя мыслью, что временами бываю очень груб.

— Только истинно вежливому человеку доступна великолепная техника настоящей грубости. А у диктаторов на это нет времени. Они вынуждены быть нечувствительными. И не могут себе позволить прислушиваться к чужому мнению.

— Гм-м... Пожалуй, вы были бы столь же плохой опорой диктатору, сколь я был бы плохим диктатором. Дойдя в нашей беседе до столь обнадеживающего момента, позволю себе пригласить вас отобедать.

Билл знал, что означало приглашение сэра Невилла, и на минуту замялся. Он был слишком современен, чтобы получать удовольствие от обедов в клубах. Он предпочел бы где-нибудь быстро перекусить. К тому же дома жена, трое детей... Нет, у него совсем не было времени на сидение в залах, где почтенные старцы потягивают портвейн, пересказывая друг другу последние сплетни.

— С удовольствием,— ответил он.

По дороге в клуб сэр Невилл разговорился:

— С вашей стороны было очень любезно принять мое приглашение, Билл. Я ведь знаю, что для клубов у вас просто нет времени.

— О, это совсем не так...

— Именно так, и я вполне это понимаю. Вы — человек семейный. И ваша жизнь идет совсем по другому руслу. Клуб как общественный институт — всего лишь прибежище для стареющих подростков, но есть, разумеется, и иная подоплека. Англия — это страна, не имеющая конституции. Письменно не фиксируется практически ничего; по ходу дела мы уничтожаем все свидетельства, не оставляя иного наследия, кроме никем не истолкованных традиций, причем все, что мы делаем, мы делаем с кажущимся безразличием, в действительности же в своем таинственном поведении мы руководствуемся неписаными и никогда не упоминаемыми вслух правилами, по сравнению с которыми мафия выглядит скорее организацией муниципальной службы, нежели тайным сообществом. Своего рода инстинкт, выработанный привычкой, предрассудками, реакцией на нюансы и бог знает какими еще движениями души, всегда подскажет упорядоченному уму британского чиновника, в каком клубе и в котором часу могут вероятнее всего встретиться его друзья и его враги. И только в тех редчайших случаях, когда ему случается ошибиться, он горько вздыхает, думая о неисповедимых путях, которыми следует жизнь: «Никогда ведь не угадаешь...». Но подобные ошибки случаются столь редко, что не стоят и внимания. Тем не менее, исходя из соображений политики — ведь политика не делается ни в парламенте, ни в министерствах, она делается в клубах,— так вот, исходя из этих соображений, а вовсе не из желания помочь вам приятно убивать время, я и настаивал на том, чтобы вы баллотировались в клуб «Блэкс».

— Я вполне понимаю ваши мотивы, сэр Невилл, и я глубоко вам признателен, несмотря на то что мой годовой доход сокращается на семьдесят пять фунтов.

— Ну, вас ведь еще не приняли! Дело, несомненно, затянется еще лет на пять, не меньше. Так вот, видите, не такое уж это разорение, как вам кажется. Однако сейчас мы идем не туда.

— Я знаю.

Сэр Невилл метнул на Стоккарда цепкий взгляд.

— Почему вы так думаете?

— В основном потому, что мы идем совсем не в ту сторону.

— Ах, да...

— Мне кажется, что мы идем в «Кембл».

— Почему, черт побери, вам кажется именно так?

— Мне кажется, что вы хотите повидаться с сэром Аароном Уэллбехолденом. В это время он обычно бывает там.

— Вы способный ученик,— удовлетворенно кивнул сэр Невилл.

Сэр Аарон Уэллбехолден был человеком огромных размеров; нижняя губа его

всегда была так выпячена, что влажность ее внутренней стороны оказывалась доступной всеобщему обозрению. Временами он ворчал и принюхивался, подобно старому бульдогу. Он обладал благородством крайнего уродства, скрашивавшим даже вспышки его скверного характера или по крайней мере делавшим их извинительными.

— Что это вдруг вам загорелось меня видеть? — спросил он, шумно и с удовольствием потягивая розовый джин.

— Я пришел сюда отнюдь не только для того, чтобы повидаться с вами,— солгал на ходу сэр Невилл.— Я просто хотел угостить обедом моего юного помощника Билла Стоккарда. Я ведь, знаете, тоже член этого клуба.

— Ходили слухи, что вы променяли нас на клуб «Блэкс»,— проворчал сэр Аарон, окропляя джином свой жилет, залитый слезами многих других не донесенных до рта деликатесов.

— Semper fidelis [1].

— Что?

— Я сказал: «Semper fidelis».

— А, да, латынь.— Сэр Аарон одобрительно хмыкнул.— Что ж, тогда не будем портить себе обед делами, а? Давайте покончим с ними до того, как перейдем в столовую. Зачем вам понадобилось искать меня в моем логове?

— Право же, А. У., совершенно ни за чем, разве что для душевного спокойствия.

— Для душевного спокойствия? Неужели ваша душа бывает когда-либо спокойной... как, впрочем, и моя, а?

— Сразу слышу совестливого юриста.

Сэр Аарон чихнул и весь заколыхался от удовольствия, его нижняя губа блестела, как коралловый риф на мелководье.

— Хорошо зная вас, могу предположить, что вы обеспокоены делом этого американского парня.

— Мы оба слишком уж долго занимаемся нашей профессией,— помолчав, тихо заметил сэр Невилл.

— Я не буду притворяться, будто понимаю его характер или мотивы его поступков. Я не понимаю их совсем. Абсолютно не понимаю. А я терпеть не могу дел, которых не понимаю. Вы же сами знаете: в таких случаях теряешь всякое чувство справедливости. Или, по меньшей мере, становишься мысленно в оборонительную позицию.

— Может, оно и к лучшему?

— Почему вы так говорите? — спросил сэр Аарон.— Мы все время забываем — а это, пожалуй, единственный приятный сюрприз, который мы можем обеспечить нашему заокеанскому гостю,— мы все время забываем, что роль обвинителя в английском суде заключается не в том, чтобы выиграть дело, но лишь в том, чтобы как можно точнее и беспристрастнее изложить суду факты. Проиграть процесс для нас грехом не считается. Некоторые из нас были бы рады проигрывать каждый свой процесс.

— Что ж, А. У., вы, безусловно, правы, мы об этом забываем,— и я так благодарен вам, А. У., хотя и не так уж удивлен тем, что вы мне об этом напомнили. Ведь некоторые из лучших юристов страны не в состоянии противостоять воздействию повышения температуры в зале суда.

— Потому-то их и считают лучшими,— пробормотал сэр Аарон лукаво.

Наступило молчание. Сэр Аарон покручивал в руке свой второй стакан розового джина, пристально разглядывая плескавшуюся в стакане жидкость и как бы пытаясь увидеть в ней будущее.

— Есть ли у вас хоть малейшее представление о том, почему нормально устроенный человек вдруг стреляет в другого человека в пивной?

— А почему китаянки уродуют себе ноги, или африканцы удлиняют себе шею с помощью колец, или буддийские монахи сжигают себя на улицах, чтобы придать большую убедительность своим аргументам?

— Иными словами, вы считаете его поступок настолько для него естественным, что тут и объяснений не требуется?

— Пожалуй.

— Но почему же такого не бывало раньше?

---

[1] Верен всегда *(лат.)*.

— Может, и бывало.

— Вы хотите сказать — здесь, у нас?

— Да, разумеется.

— Ужасно.

Снова пауза.

— У вас ведь есть внуки, А. У.?

— Целых четверо маленьких попрошаек. Только не говорите мне, что жаждете взглянуть на их фотографии. Я умышленно не ношу с собой фотографии моих родных.

— Вот еще одна черта характера, из-за которой вам трудно понять американцев.

— Да что американцы — англичане ведь тоже путешествуют. И, распаковывая чемоданы, первым делом достают нечто вроде складного алтаря, на котором красуются все, кого они успели произвести на свет. О боже мой, да ведь если человек не способен запомнить, как выглядят его жена и дети, он просто их не заслуживает. Но почему вы заинтересовались моими внуками?

— Они ведь смотрят вестерны, верно? — спросил сэр Невилл, благодарно посмотрев на Билла, который несколько раньше навел его на эту мысль.

— Да что внуки! Я сам смотрю вестерны, старина. Жизнь была бы много беднее без столь простых выходов из положения и столь простых решений. Тем не менее это вымысел, а не реальная жизнь.

— Как бы далеко ни заходил вымысел автора, он ведь всегда — пусть отдаленно — основывается на реальной жизни.

— Верно, только *людей* таких в жизни не бывает, я это хотел сказать.

— Где-то они есть. Почти такие.

— Я вам не верю.

Сэр Невилл решил зайти с другой стороны:

— Если вам нравится опера, вы ведь обычно ходите в оперу ради музыки, а не ради сюжета, не так ли?

— Я не люблю оперу.

— Я тоже не люблю оперу, но если бы мы ее любили, то ходили бы в театр слушать музыку, а не затем, чтобы выяснить, кому достанется девушка, а кому — нож под ребра. То есть проникновенная мелодия может тронуть даже обывателя, в то время как история шута, в бурю и дождь несущего в мешке труп своей дочери, явно абсурдна.

— Верно... И все же — было же дело буквально на днях: какой-то безработный комик — нелепейшее убийство века...

— Абсолютно точно. Вы сами сделали вывод, к которому я вел, А. У. Процесс, о котором вы говорите, даже бульварную прессу вынудил проявить интеллект, и она окрестила его «Делом Риголетто».

— Ваш вывод мне ясен. Я и сам к нему приходил. Нет такого абсурда, который не мог бы случиться в жизни.— И сэр Аарон неожиданно спросил: — Кто защитник?

— Крэмп [1].

— Крэмп.

Оба произнесли это имя как нечто малозначительное, и, однако же, этим было все сказано, как будто собеседники обладали умением читать мысли друг друга. В их интонациях не слышалось никакой злобы. Скорее даже звучал некоторый оттенок восхищения, и все же оставался стойкий привкус чего-то ограниченного, лишенного полета, ибо, разумеется, сама фамилия уже создавала ощущение узости и заземленности. Собеседники задумались.

— Я полагал, что защиту поручат Мод Эпсом.

— Так и было. Но человек, которого вы именуете «нашим американским гостем», дал ей отвод.

Сэр Аарон состроил гримасу.

— Он совершил ошибку.

— Разумеется.

— Ваша, должно быть, идея — пригласить Мод Эпсом?

— Сознаюсь — моя.

— Я так и думал. Что же, пообедаем? — сказал сэр Аарон, впервые за всю беседу по-настоящему оживляясь.

---

[1] «Cramp» по-английски означает «ограниченный, узкий».

Вернувшись из клуба в свой кабинет, сэр Невилл заявил, что встреча с сэром Аароном успокоила его, насколько это вообще возможно при данных обстоятельствах. Во всяком случае, пища была съедобной. Полтора года назад «Кембл» пережил кулинарный кризис, но сейчас явно уже оправился. Сэр Невилл радовался этому, хотя был одним из очень немногих членов клуба, способных заметить упадок, а ныне возрождение кухни. Теперь оставалась лишь одна неизвестная — или, вернее, практически неизвестная величина: лорд-судья Плантагенет-Уильямс, которому надлежало слушать дело на предстоящей квартальной сессии в Хартфорде. Судья был стар — один из самых старых судей — и пользовался репутацией очень хорошего судьи, но сказать, как это следовало понимать — то ли «очень хорошего» для своего почтенного возраста, то ли «очень хорошего» с точки зрения объективной оценки его профессиональных качеств,— было почти невозможно. Для процесса Крамнэгела сэр Невилл предпочел бы Джорджа Глэдборна или Говарда Фитцэндрю — судей более современных, в меру прагматичных, толковых и решительных, воспринимающих быстро меняющийся мир с чувством тревоги, не сужающим, однако, широты их мышления. А вот свидетельств того, что судья Плантагенет-Уильямс движется в ногу со временем, не было никаких, как, впрочем, и того, что он вообще сохранил еще способность двигаться. Он никогда в жизни не состоял ни в одном клубе, поэтому в том, что он добрался до высшей ступеньки в своей профессии, было нечто и сверхъестественное и одновременно пугающее. У сэра Невилла даже мелькнула мысль, что Плантагенет-Уильямс вполне мог достичь таких результатов неодолимой цельностью характера — качеством, вызывавшим отнюдь не меньшее количество судебных ошибок, чем многие другие.

Однако никаких практических мер принять было нельзя. Главному прокурору не подобает создавать впечатление, будто он пытается повлиять на судью перед началом процесса. Вот здесь-то и оказывалась полезной дружба-дружба и клубы, которые при необходимости позволяли придать вид дружбы мимолетным знакомствам. Если человек предпочитает всех чураться и полагает, что подобная изоляция позволяет ему сохранять объективность и открытый взгляд на жизнь, что ж, это его личное дело. Однако же сэр Невилл подозревал, что большинство из тех, кто решает сохранять открытый взгляд на жизнь, приходят к подобному решению через некоторое время после того, как их мозги герметически и навсегда закупориваются. Черт бы побрал эту демократию!

Сэр Невилл принял решение за день до суда. И сказал Биллу Стоккарду, что на следующий день не придет на работу. Билл сразу же понял, в чем дело.

— Уж не хотите ли вы этим сказать, что едете в Хартфорд, сэр Невилл?

Сэр Невилл взглянул на него с некоторым раздражением. Не ответить совсем означало придать делу излишнюю значимость. Утвердительный же ответ непонятно почему заставлял его испытывать чувство вины.

— Почему бы и нет? — спросил он.

— Надеюсь, что этот процесс не превратится в навязчивую идею.

— Справедливость вполне может стать навязчивой идеей, Билл. И если навязчивая идея находит выражение в данном процессе, мне не остается ничего другого, как просто ей не препятствовать.

— Чем мне объяснять ваше отсутствие? Легким недомоганием?

— Это слишком уж в стиле Букингемского дворца. Просто отвечайте, что меня нет.

— Вы хотите, чтобы я поехал с вами?

— Я бы предпочел, чтобы именно вы говорили, что меня нет на работе. У вас это прозвучит правдивее, чем у кого-либо другого.

— Пожалуй, вы правы. Благодарю вас.

Уровень личной свободы отнюдь не возрастает по мере продвижения человека по социальной лестнице — это сэру Невиллу было прекрасно известно. Будь он простым начальником тюрьмы, он мог бы удовлетворять свое любопытство по поводу Крамнэгела сколько душе угодно. Но главному прокурору это было недоступно. Поэтому ему приходилось полагаться на источники столь же доброжелательные, сколь и далекие от него по кругозору и среде,— например, на инспектора уголовной полиции Пьютри.

— Чудной парень,— сообщил Пьютри.— Похож на человека, спятившего после какого-то случая на войне — иначе и не объяснишь. По складу характера типичный

сержант, или, точнее сказать, фельдфебель. То совершенно толково рассказывает о своей работе — а он прекрасно разбирается в полицейской службе, и у него дельные соображения; мы, правда, привыкли думать совсем иначе, но его соображения вполне могут и сработать,— в общем, профессионал, настоящий стопроцентный полицейский. Это с одной стороны. А потом он вдруг ни с того ни с сего начинает бушевать — нет, до драки не доходит. Лично я убежден, что в тот раз все дело было в проклятом алкоголе: он просто заводится, и это, пожалуй, еще опаснее. Выражается очень соленым языком — особенно при дамах. В больнице, когда его обследовали на вменяемость, стоило зайти в комнату женщине, как он разражался потоком отборнейших ругательств...

— Вы уверены, что он не пытался симулировать сумасшествие?

— Да нет же, совсем наоборот! — вскричал Пьютри.— Он убежден, что его оправдают и что со следующей недели он снова сможет приступить к исполнению своих обязанностей. Он же нам всем разъяснил самым недвусмысленным образом, что весь остальной мир мы можем оставить себе — он его по завязку насмотрелся в Англии, а о том, что делается в других местах, вполне может догадаться: везде глупость, бестолковщина, никакой современной техники, кругом кишмя кишат коммунисты — американцу в таком мире без оружия не прожить. Причем, учтите, имеется в виду не просто револьвер в кобуре под мышкой, а автомат у бедра да куча даров цивилизации в придачу.

— Вот это меня и беспокоит,— вздохнул сэр Невилл.— Сам я не имею ничего против подобных речей. Я нахожу их освежающими и колоритными. Но где же гарантия, что британский судья преклонного возраста не истолкует в том духе, в каком они произносятся?

— Вы меня совсем замучили, сэр Невилл,— рассмеялся Пьютри.— Вас всегда приходится слушать очень внимательно, чтобы понять, что же вы все-таки имеете в виду. Но я понял. «В том духе, в каком они произносятся». Здорово!

— Рад, что вам понравилось,— сознался сэр Невилл.— Но удовольствие, доставленное вам моими шуточками, вряд ли поможет нам решить проблему. Весьма печально, что все же выдвинуто обвинение в предумышленном убийстве.

— Но ведь с технической точки зрения это было убийство.

Сэр Невилл еле заметно поморщился.

— Мне до смерти надоели формальности и технические детали,— отрубил он.— Будь моя воля, я бы настоял на непредумышленном убийстве. Мне совсем не улыбается допустить применение иного термина хотя бы на секунду — это слишком рискованно.

— Ну, какой же там риск, сэр Невилл. Крэмп обязательно выстроит сильную защиту. Сэр Аарон не дурак, а лет десять назад Плантагенет-Уильямс считался очень хорошим судьей.

— А сейчас?

— Сейчас? Насколько мне известно, он и сейчас пользуется хорошей репутацией, но сейчас он стар.

— Он был стар и десять лет назад.

— Но сейчас он... сейчас он еще старше.

Открытие процесса омрачилось происшествием, которого не мог предвидеть никто. Войдя из темного коридора в зал суда, Крамнэгел увидел льва и единорога, держащих щит с государственным гербом,— зрелище, веками леденившее сердца и виновных, и невинных, поскольку означало оно, что они стоят перед судом самой нации, стоят в наготе своей перед полками, брящающими мушкетами, перед взмыленными лошадьми, гибралтарской скалой и заблеванными палубами броненосцев, перед всем ужасающим геральдическим ритуалом,— одиноко стоят под бременем предъявленных им обвинений. Но Крамнэгелу это все было как об стенку горох, потому что его рефлексы вырабатывались совсем другим набором раздражителей. Он разглядывал убранство зала суда как экспонаты выставки какой-то затерянной в джунглях культуры, а затем перевел взгляд на лорда-судью Плантагенета-Уильямса, который делал вид, будто изучает разложенные перед ним документы. Крамнэгел увидел престарелого патриция, что-то бубнившего себе под нос, нацепившего себе на голову то ли швабру, то ли какую-то скомканную тряпку, которую, словно теннисную туфлю, кто-то опустил в белый раствор, чтобы отчистить. Крамнэгел нахмурился, затем улыбнулся. Потом перевел взгляд на сэра Аарона Уэллбехолдена, тоже старательно копавшегося

в бумагах; у него ярко блестела губа, а взгляд был тусклый. Голову сэра Аарона венчал такой же необычный головной убор. Крамнэгел хихикнул про себя и тут заметил Локвуда Крэмпа, которого привык видеть либо простоволосым, либо в потрепанном котелке — настолько потрепанном, что сквозь протертые поля местами виднелся картон. Сейчас же голубые глаза взирали на него по-дружески ободряюще (сохраняя при этом обычную непреодолимую дистанцию) из-под точной копии головных уборов судьи и прокурора. Багровую физиономию с ее морковного цвета порослью обрамляли белые кудряшки... Нет, это уж было слишком! Крамнэгел не сдержался и дал волю распиравшему его смеху.

Судья и сэр Аарон подняли от бумаг удивленные глаза, а на галерее для зрителей зашуршал шепоток. Крэмпа такой поворот дела заинтересовал и встревожил. Судья хотел было призвать к порядку, но не решился: сначала надо все же уяснить до конца причину сего веселья. Поскольку все судьи страдают привычкой притворяться, будто их потрясает каждый пустяк, дабы заставить злоумышленников прочувствовать всю глубину своих преступлений, лицо судьи Плантагенета-Уильямса немедленно и без особых усилий приняло безмерно возмущенное выражение, но выражение это было всецело следствием привычки, и потому дальнейшее поведение судьи никак не соответствовало принятой им позе. Подобно школьному учителю, стоящему перед хихикающим классом, он, разумеется, в ужасе заподозрил, будто что-то не в порядке с его внешним видом. Скрюченные пальцы судьи быстро пробежались по макушке парика, словно пытаясь найти там какой-то малопристойный предмет, пришпиленный булавкой. Ничего не обнаружив, судья решил заодно поправить парик, который и так сидел безукоризненно. Тогда он как бы между делом, но тщательно ощупал свое лицо и, будто охорашивающаяся птица, оправил мантию. Затем посмотрел на стул, на потолок, на Крамнэгела. А Крамнэгел, вцепившись руками в барьер перед скамьей, как в ручки мотоцикла, дергался и извивался над ним в попытке подавить охвативший его приступ смеха.

— Что с вами такое? Вы больны? — спросил судья.

Почему-то, заговорив, эти субъекты в париках становились еще смешнее. Так бесконечно смешны люди, расхаживающие нагишом по душевым спортивных клубов с благопристойным видом одетых особ И так же нельзя удержаться от смеха, когда из-под невероятного головного убора выглядывает существо, обладающее, оказывается, даром речи да еще требующее, чтобы его принимали всерьез.

— Он болен? — спросил судья, обращаясь неизвестно к кому.

Один лишь сэр Невилл прикрыл глаза как человек, ожидавший самого худшего и увидевший, что все его опасения сбылись. Он мгновенно понял что даже самые незыблемые, освященные временем символы не могут оставаться вечными в мире, который веками довольствовался пешей ходьбой, потом вдруг неожиданно — на памяти одного поколения — затрусил рысцой, потом понесся галопом, а потом вдруг полетел и летит теперь так быстро, что глаз не успевает следить за тем, что происходит вокруг, за постоянно меняющимся пейзажем. А все эти старики, упорно верящие, что они руководят событиями, по-прежнему продолжают исполнять старинный церемониал, по-прежнему садятся в самолеты и автомобили и входят во дворцы, отдают почести и пожимают руки, возлагают венки к могилам неизвестных солдат. Они по-прежнему делают заявления для печати и отвечают на вопросы с тщательно отрепетированной и потому глубоко прочувствованной искренностью. Но хоть они и не замечают этого, на них почти никто не обращает внимания. Они похожи на актеров, играющих перед пустым залом и кланяющихся при гробовом молчании.

Обретя дар речи, Крамнэгел начал защищаться, но совсем перед другим судом, совсем в другом измерении.

— Здесь, значит, вот какое дело, ваша честь,— начал было он, но не смог сдержать нового приступа смеха.

— Меня следует называть «милорд», а не «ваша честь»,— объявил судья только ради того, чтобы сказать хоть что-то.

Нахмурившись, Крамнэгел подумал с минуту и решил, что согласиться со словами судьи никак не может, поскольку в подобном обращении есть оттенок богохульства: «милорд» — это же «мой лорд», «мой владыка»; да что он в самом деле, владыкой небесным себя возомнил, что ли? Вдруг на Крамнэгела накатилась новая волна смеха, от которой он затрясся как заячий хвост и даже стал подвывать.

— Я вынужден приказать вам взять себя в руки! — крикнул судья и обратился

к Крэмпу:— Могу ли я просить вас повлиять на вашего клиента и заставить его держать себя в руках?

— Прошу позволения напомнить вам, милорд, что мой клиент — иностранец и что, без сомнения, тягостные обстоятельства и непривычная обстановка подействовали на него,— вступился за своего подзащитного Крэмп.

Неужели они не способны понять, что выглядят смехотворно в глазах тех, кого не приучили с детства содрогаться при их виде? В конце концов Крамнэгел, разумеется, сумел справиться с охватившим его приступом, хотя во время всего процесса на губах его то и дело блуждала желчная улыбочка, угрожая рецидивом смеха. Он уразумел, что подобным поведением ему не расположить к себе людей, в руки которых попал. Пленнику каннибалов не пристало шутить о калориях.

Сэр Аарон излагал дело продуманно и тактично, ясно давая понять, что обвинение отнюдь не требует головы подсудимого, а всего лишь выполняет печальный, но необходимый долг в силу того, что превратности судьбы положили конец жизни старого Джока. Призванные в свидетели три старика стояли на том, что вплоть до печального финала беседа носила исключительно добродушный характер, хотя Крэмп своим перекрестным допросом все же добился и от них, и от старухи признания в том, что Джок изрядно провоцировал Крамнэгела.

— Не забывайте,— заметил мистер Бриггс,— что Джок был коммунистом, хоть их у нас немного, а они кого хочешь могут завести, даже социалиста — я про нынешних социалистов говорю,— и для Джока это была не политика, а религия, вот именно — религия.

Сэр Невилл с симпатией посмотрел на Бриггса. Вот, пожалуйста,— старый простак, у которого своя голова на плечах и который героическими усилиями почти добивается того, что его понимают.

— То есть, по-вашему, коммунизм заменял ему веру в бога? — спросил Крэмп.

«Ну и идиот же ты Крэмп! Ведь своим лицемерным вопросом ты убил всю простодушную непосредственность сделанной Бриггсом оценки!»

— Мне трудно сказать, сэр, поскольку в его душу влезть я не мог, да и поздно уже...

— Но в любом случае впечатление складывалось именно такое?

«Это уже лучше, Крэмп, но напортил ты все же здорово».

— У меня да.

— Ясно. Не могли бы вы припомнить, как именно он провоцировал подсудимого?

— Да нет...— Мистер Бриггс старался припомнить.— Нет... Но он точно подзуживал его. Это все знают, но только мы все тогда не очень... Нет, точных слов я не припомню...

Выступая в собственную защиту, Крамнэгел проявил склонность к словоохотливости. Но ведь он совсем не привык ни к выступлениям в подобном качестве, ни к манере давать суду показания по возможности односложно — для того, по всей вероятности, дабы обезопасить невежд и возложить всю тяжесть их оправдания или обвинения на плечи тех, кто умеет красноречиво выступать в суде, и черт с ними, с теми фактами, на которые нельзя ответить просто «да» или «нет». Поэтому Крамнэгел то и дело игнорировал требования судьи лишь подтвердить или отрицать тот или иной факт и напористо ввязывался в словесную баталию. Он не привык к тому, чтобы с ним обращались как с дураком, и не имел желания проводить подобный эксперимент в столь ответственный момент, когда решалась его судьба. И ни молоток судьи, ни грозные его предупреждения не могли остановить Крамнэгела. Поэтому открытые и бурные столкновения между чванливым величием суда и бурным негодованием обвиняемого в убийстве временами казались просто неизбежными.

— Можете ли вы припомнить, как именно он вас провоцировал? — спросил Крамнэгела Крэмп.

— А то нет? А вы как думали? — пролаял Крамнэгел.

— Вовсе не следует прибегать к подобному тону,— упрекнул его судья.

— А вас никогда не привлекали по обвинению в убийстве, ваша честь? Нет? Так вот, если б привлекли, да еще по сфабрикованному...— Молоток: тук, тук, тук.— Да дайте же договорить! По сфабрикованному, подтасованному обвинению...— Тук! тук! — ...вы б любой тон испробовали...— Фортиссимо.— ...чтоб посмотреть, от какого будет больше толку!

— Если вы не прекратите, я обвиню вас в неуважении к суду! — крикнул судья.

— Нашли чем пугать, меня ведь по обвинению в убийстве судят! — Крамнэгел огляделся по сторонам, ища одобрения проявленной им иронии, но обнаружил лишь послушную и исполненную благоговения публику.— Надо же, что за чучела,— пробормотал он.

— Не могли бы вы описать некоторые из провокаций, о которых вы упоминали? — спросил Крэмп.

— Мне что, опять разрешается говорить только «да» и «нет»?

— Я настоятельно рекомендую вам изменить тон и поведение,— заявил судья,— в особенности по отношению к вашему собственному адвокату. Мы ведь здесь для того, чтобы помочь вам, в рамках, разумеется, предъявленного вам обвинения.

— Ну да, конечно, я и забыл совсем,— ответил Крамнэгел, проявляя свое оригинальное чувство горького юмора.

— Да не заводись ты так, Барт,— пробормотала Эди.

Сидевший подле Эди майор Батт О'Фехи обнял ее за плечи, философски покачал головой и глубоко запустил зубы в свою жевательную резинку.

— Вы хотите знать, что сказал мне тот старикашка? — спросил Крамнэгел.— Что ж, я помню, как он обозвал демократию гнилым орехом.

— И что же, по-вашему, он хотел этим сказать? — осведомился Крэмп.

— А разве и так не ясно? — Крамнэгел сбычился, не веря собственным ушам.

— Я хотел бы знать, как истолковали его слова *вы*.

— По-моему, он хотел сказать, что демократия окочурилась, что демократия обделалась, что демократия — выжатый лимон. Продолжать или хватит?

— Делал ли он какие-либо специфически антиамериканские заявления?

— А то нет! Он заявил, что Соединенные Штаты вторгались в Россию. Заявил, что нам нечего делать во Вьетнаме. Заявил, что он — коммунист.— Но здесь Крамнэгел запнулся. Он вдруг понял, что все это звучит не очень-то провокационно. И сменил тон.— Дело не в том, что он говорил, а в том, *как* он это говорил, вы уж мне поверьте. Да он просто издевался и все пытался меня как-нибудь уесть, ясно, нет? У нас дома всегда предупреждают и дипломатов, и военных, что в некоторых заграничных странах, где, значит, люди нам здорово завидуют, такие вещи часто случаются. Перед отъездом за границу у нас даже брошюрки такие выдают, вроде «Как быть хорошим американцем за границей». Там сказано: «Помните, что каждый гражданин является таким же послом нашей страны, как и любой аккредитованный посол США». Именно так и сказано, я сам видел такую брошюрку, и я, значит, изо всех сил старался делать то, что там рекомендуется, только, видно, так уж люди устроены, что ли,— стоило мне услышать, как поносят мою страну, да еще кто? Человек, открыто признавшийся, что состоит членом коммунистической партии... и при этом еще и атеист — да, вот еще, он к тому же атеист: мол, на бога и на молитвы у него нет времени, прямо так при всех и заявил! — Крамнэгел понизил голос, как нашкодивший ребенок.— Ну, а тут еще виски с пивом и незнакомая обстановка... да просто отсутствие должного самоконтроля — вот и все дела... Так что, когда старик сунулся в карман, я и подумать толком не успел: у нас ведь в полиции, пока не дослужишься до руководящей работы, все время приходится заниматься огневой подготовкой, но я, даже когда стал начальником полиции, все равно ее не бросил, до сих пор раза два в неделю хожу в спортзал, чтоб, значит, сохранять форму, и в тир хожу обязательно, может, я и впрямь чересчур активен для своего положения — кто его знает... Ну, в общем, как я увидел, что тот старик лезет в карман за пушкой — я ведь честно думал, что за пушкой,— ну, я и колебаться не стал.

— Во дает!..— пробормотал Батт О'Фехи.

— О Батт, он может быть таким великолепным! — проворковала Эди.— Я так люблю его!

— Знаю, милая, знаю.

— И такое с вами случилось впервые в жизни? — спросил Крэмп.

— Нет, сэр,— отвечал Крамнэгел.

Судья выпучил глаза и наклонился вперед.

— Не будете ли вы любезны изложить суду обстоятельства, при которых имело место предыдущее происшествие подобного рода? — попросил Крэмп.

— Пожалуйста... Дело было в конце сороковых... в сорок восьмом — сорок девятом, где-то в этом районе... Я, значит, дежурил по участку в деловой части нашего города, а там тогда жуть что творилось... Ну, знаете, ребята из армии возвращались

обученные убивать, а тут ночью податься некуда, днем скучища... ну и мы, конечно, начеку. И вот, значит, на углу Монмут и Седьмой, где ювелирный магазин Зиглера — он там и теперь стоит,— вижу, молодой парень лет двадцати, светловолосый и коротко остриженный, пулей вылетает из двери магазина и бежит по тротуару. Я ведь таких случаев — кино сколько угодно видел, публика тоже — поэтому уже и начала терять к нам доверие. Я и подумать не успел, как револьвер оказался у меня в руке и начал плеваться свинцом, а этот юноша — Касс Чокбэрнер его звали, по гроб жизни не забуду — уже лежит на тротуаре ярдах в двадцати от собственных мозгов. Вот, кажется, и все.

Он ограбил ювелирную лавку? — спросил судья с жадностью ребенка, слушающего сказку на ночь.

Как было бы легко и приятно ответить «да»!

— Нет, сэр, не ограбил. Он...— Крамнэгел запнулся. Касс Чокбэрнер и старый Джок начали сливаться в его мозгу воедино, в один тяжкий крест, который теперь не снимешь с плеч.— Он только... только обручился, сэр... ваша честь... и просто зашел в лавку купить к свадьбе кольца, сэр... У него был отличный послужной список, и он собирался жениться на прекрасной девушке... А я его убил, ваша честь.

Зал суда замер. Столь простодушно обвиняя себя, Крамнэгел выглядел не менее достойно чем Дрейфус, даже еще достойнее, ибо тот всего лишь показал себя стойким, тогда как Крамнэгелу представилась возможность изложить свою вину, хладнокровно ее при этом преуменьшив. И, правильно уловив чутьем момент и обстановку, он не преминул этой возможностью воспользоваться.

Тишину нарушил Крэмп:

— Не будете ли вы добры сообщить суду о последствиях ваших действий?

— Никаких последствий не было, сэр.

— Никаких? — не веря своим ушам, переспросил судья.— И суда не было?

— Нет, ваша честь, не было.

— Почему?

— Расследование, конечно, имело место.

— Не было суда несмотря на то, что поведение вашей жертвы не давало вам ни малейшего повода стрелять?

— Нет, сэр. Как я уже сказал, имело место расследование.

— И каков же был его результат?

— Я получил выговор, ваша честь, но я помню, что тогдашний начальник полиции — Ритчи Маккэррон, прекрасный человек и отличный полицейский, просто отличный — вызвал меня к себе в кабинет, и я решил, что сейчас-то меня мордой в гов..., то есть в экскременты и сунут... Я уж думал, мне так врежут, что я захочу, чтоб я сам лучше помер вместо того парня. А начальник мне сказал так. И я цитирую, насколько точно помню. «Барт,— сказал начальник,— на том, что ты натворил, и погореть недолго, но я не собираюсь полоскать тебе мозги — хоть бессмысленной пальбы я не люблю: мы в городе ее не потерпим — это одна сторона вопроса, а теперь, когда этим покончено, я хочу тебе сказать, что на твоем месте я поступил бы точно так же. С каждым постовым это разок-другой случается, и я такому полицейскому доверяю больше, чем человеку, который никогда нигде не оступится. Это все, конечно, строго между нами»,— говорит он и угощает меня сигарой. Сигара была зеленая, я к таким не привык, и меня стошнило. А в следующем же списке на повышение была моя фамилия.

— Не хотите ли вы сказать,— заметил судья дребезжащим голосом,— что сейчас вами и произошла вторая из тех ошибок, которые каждый стоящий полицейский рано или поздно должен совершить?

— Я ничего такого не хотел сказать, ваша честь,— покорно ответил Крамнэгел.— Я, значит, просто рассказал про то, что было, как вы просили.

Судья счел за лучшее объявить перерыв на обед.

8

В маленьком захолустном городке не так-то просто пообедать в день ярмарки, если не заказать места заранее. Сэр Невилл это предвидел и сейчас пробирался к своему месту сквозь толпу толкавшихся у стойки бара фермеров. Уже получив желанные стаканы с выпивкой и держа их над головой, они с грубоватой деликатно-

стью прокладывали себе путь к столикам, громко сообщая друзьям об удачно выполненной наконец миссии. В этом водовороте сэр Невилл внезапно столкнулся лицом к лицу с сэром Аароном, и, словно два мореплавателя, потерпевших кораблекрушение в бурном море, они заговорили, насколько позволял рев стихии:

— Начал он просто катастрофически, но к концу собрался и, по-моему, финишировал весьма солидно. Занятный тип. Совсем из иного мира. Ведь из иного, а?

— Вы заслуживаете величайшей признательности,— отвечал сэр Невилл, которого толкали со всех сторон.— Ведь даже в предусмотренных законом границах вы могли бы допрашивать его намного жестче.

— Делаем, что можем. Но я согласен с вами, главный прокурор: мы не способны его судить. Довольно скоро неизбежно начинаешь задавать себе вопрос: а кого мы вообще способны судить? Вот какую реакцию вызывает парень вроде нашего американского гостя.

— Как, по-вашему, идет процесс?

— Если бы судьей был я, он шел бы вполне прилично. Иногда бывает полезно произвести два столь разных впечатления, какие произвел на суд Крамнэгел... Не знаю, право... Все теперь зависит от старика Плантагенета-Уильямса.

Прибой придвинул к ним мистера Элбертса, и тот услышал их разговор. Теперь он проследовал за сэром Невиллом в обеденный зал. Они миновали Крэмпа, приютившегося подле стены. Упершись рукой в стену и не давая толпе вдавить себя в Крэмпа, сэр Невилл спросил защитника Крамнэгела, чем, по мнению последнего, может кончиться процесс.

— Не имею ни малейшего представления. Воевать с гуннами было куда легче, чем защищать янки. Это все равно что пытаться выжать правду из ребенка: он беспредельно простодушен и всю работу делает сам. Но потом вдруг попадается узелок в веревочке, и он застопоривается на какой-то ужасной ерунде. Он показался мне конченым, когда пытался защищаться,— хотя бы потому, что в его положении все равно не победишь, а только произведешь плохое впечатление,— *мы-то* все это знаем, *а ему*, к сожалению, пришлось это познать на опыте. С другой стороны, когда он начал объяснять, то был просто великолепен. Просто великолепен! Благороден, как древний римлянин. Не пойму даже, что́ на него нашло.

— Очевидно, при всей разнице в наших проблемах и традициях человек, поднявшийся до его положения в обществе, должен все же иметь какие-то хорошие качества.

— Это верно, но я ожидал от него большего.

— Тоже правильно. А каковы ваши предположения?

— Старик Плантагенет-Уильямс своих мнений не выдает. Сидит — неприступный, как айсберг. Не знаю, право.— Крэмп хитро улыбнулся.— Не ожидал я вас здесь встретить, главный прокурор. Неужели дело настолько захватывающее?

— Если я скажу, что просто случайно проезжал мимо, вы ведь мне все равно не поверите?

— Вряд ли.

— Вы беседовали с сэром Аароном?

— О да, в туалете. Старый адвокатский трюк. К сожалению, в здешнем туалете три кабинки — я его знаю издавна,— и кабинку номер три занял господин из «Дейли мейл». Правда, через четверть часа ему пришлось капитулировать перед натиском перегруженных мочевых пузырей; нас же с сэром Аароном тревожить не решились, поскольку мы люди чересчур почтенные, так что нам удалось перемолвиться словцом. Наши мнения во многом совпадают.

Сэру Невиллу пришлось пригласить мистера Элбертса составить ему компанию, поскольку мистеру Элбертсу некуда было деваться, но сэру Невиллу удалось получить лишь очень маленький столик — и то лишь в награду за свою предусмотрительность. Удовольствия от проявленной им любезности он не получил, ибо мистер Элбертс с его несколько ядовитой изысканностью и повадками всезнайки отнюдь не принадлежал к тому разряду заморских обитателей, которым сэр Невилл мог симпатизировать.

— Да,— начал мистер Элбертс,— с каждым днем я все больше восхищаюсь величием и красотой вашей замечательной страны.

— Очень любезно с вашей стороны, право,— пробормотал в ответ сэр Невилл.

Столь поразительно щедрая лесть казалась наиболее подходящей стрелой для ахиллесовой пяты англичан. Сэр Невилл с куда большим удовольствием предпочел бы

отбиваться от какой-нибудь вполне обоснованной критики. Здесь он себя чувствовал на привычной почве. Он сам был настолько полон критицизма, что знал все щелочки в броне и умел в зависимости от желания либо защищаться, либо атаковать.

— Я мог бы получить никому не нужное повышение по службе и стать советником на острове Маврикий или культурным атташе в каком-нибудь Мали, но я предпочел остаться в Лондоне. Я просто с наслаждением — не могу подобрать иного слова — окунаюсь в британский образ жизни,— продолжал мистер Элбертс.

— Что вы говорите?

— Да, да. Конечно, музей Гуггенхейма или Музей современного искусства, возможно, обладают лучшими коллекциями, но где там душа? — Он энергично покачал головой и сам ответил на собственный вопрос: — Нет, мне уж лучше подавайте старушку галерею Тейт с ее паршивым освещением и некоторыми сомнительными шедеврами.— Он постучал себя в грудь двумя пальцами.— Душа,— повторил он.— Она хотя и неохотно, а все-таки присутствует в каждой артерии британской жизни.

Сэр Невилл встревожился. Слова мистера Элбертса произвели на него довольно приятное впечатление, но как-то огорчительно слышать справедливые замечания из уст человека, которому ты уже решил не симпатизировать. В своем роде мистер Элбертс оказывался столь же непонятным, сколь и Крамнэгел. Странные все-таки люди эти американцы.

— Какое впечатление производит на вас процесс? — осведомился сэр Невилл.

— Именно такое, как я только что объяснял. Хотел бы я знать, насколько к этому всему причастны лично вы, сэр Невилл.

— Абсолютно нинасколько. Я к этому процессу не причастен совсем,— отрезал сэр Невилл.

— Вот это и замечательно. Нет никакой возможности открыто признать, что Крамнэгел идиот, не развязав при этом мешок с неприятностями, и все же то, что дело носит ненормальный характер, явственно звучит в каждом вопросе обвинителя и судьи. Если бы все эти нюансы можно было выразить словами, то самым подходящим словом было бы «сговор», ибо во всей атмосфере процесса чувствуется понимание того, что перед судом очутился недоумок, действовавший в момент стресса под влиянием своего замутненного сознания,— человек, которого можно судить лишь по его собственным меркам. Я ощущал эту атмосферу так сильно, что просто был потрясен, услышав, как обвинитель облек мои мысли в слова. Меня это потрясло, потому что в подобном выступлении не было необходимости. Ведь суд и так все уже понял.

— Суд-то, возможно, и понял, но понял ли судья? Вот что нас сейчас тревожит.

— О, разумеется.

— Вы думаете, ему удастся выкрутиться?

— Думаю, что у него есть шансы. Другой вопрос — думаю ли я, что он этого заслуживает.

— И что же?

— Думаю, что нет.

Сэр Невилл поднял брови.

— Оригинальная точка зрения,— заметил он.— Почему же нет?

Улыбка мистера Элбертса получилась мрачноватая, как у человека, знающего, что ему придется отстаивать заведомо непопулярную точку зрения.

— Не знаю право, как начать, сэр Невилл. У нас дома сейчас очень много говорят о расизме.

— Как и везде.

— Верно, как и везде. Обычно расизм воспринимается как производное от весьма жестких оценок, базирующихся лишь на цвете кожи. Черные, белые, желтые и краснокожие. Нечто вроде грубой и зловещей игры, в которую, увы, могут играть все, кому не лень. Но расизм — не только это. Я твердо придерживаюсь мнения — это мое убеждение, от которого я ни при каких обстоятельствах не откажусь,— что Америка держится на английских корнях. И я полагаю, между тем, что дала Америке Англия и что дала ей Германия, что дали ей Ирландия, и Италия, и евреи, и Швеция, и Голландия, и Япония, лежит такая же разница, как между тем, что дала ей любая из этих стран, и тем, что ей дали негры. Иными словами, между белыми существуют такие же острые расовые противоречия и трения, как и между черными и белыми, особенно если учесть, что мы страдаем привычкой оценивать черных, исходя не из их специфических качеств, а только лишь исходя из их способности или неспособности

выполнять работу белого. Расист, который считает, что из негра не выйдет такого же хорошего полицейского, как из ирландца, не просто белый расист, а ирландский расист, поскольку с таким же предубеждением ирландец относится и к армянам, и к пуэрториканцам. В полиции терпимо относятся ко всем национальностям, потому что это демократично и по-американски, но эта интеллектуальная терпимость лишь обостряет потаенные предубеждения, из которых и произрастают всякого рода идиотские побасенки, принимаемые всеми на веру, если они достаточно хлесткие,— это тоже демократично, тоже по-американски и все такое прочее. Мы любим говорить о драчливости ирландцев, почему-то мы миримся с драчливостью ирландцев, но ни секунды не потерпим драчливого ливанца. То, что в одном рассматривается как здоровый бойцовский дух, в другом будет рассматриваться как зловещая склонность к насилию и поножовщине. Мы любим говорить о еврейском юморе, но кто когда-либо слышал о финском юморе или о назиданиях турецких мамаш?

— Возможно у турок просто нет такого института мамаш?

— Есть, и еще какой! Я ведь там работал и, доложу я вам, сыновья почтительность у турок — это нечто чудовищное. У каждого хоть мало-мальски стоящего турецкого генерала обязательно есть свирепая мамаша годков эдак под сто.

— Из того, что мне известно о вашей стране — а известно мне позорно мало,— у меня сложилось впечатление, что вы всегда особенно широко открывали двери именно малым народам, которые на ваших берегах обретали свое второе «я». В частности, я имею в виду ирландцев и евреев. Ведь у себя дома ирландцам не с кем драться, кроме как друг с другом, да иногда с англичанами. Вряд ли такая диета удовлетворит голодный кулак. И чтобы проявить себя подлинными ирландцами в той степени, как им бы хотелось, ирландцам пришлось перебраться в Америку. То же и с евреями. Они ведь больше умеют говорить, чем слушать,— это красной нитью проходит через всю их историю,— и, пожалуй, Иисус Христос не кончил бы так трагически, если бы евреи в его аудитории больше слушали и меньше говорили, а римляне — наоборот: больше говорили и меньше слушали. Так это или не так, но факт остается фактом: в Израиле, где у них нет другой аудитории, кроме арабов, евреям изощряться в своем юморе бесполезно. Их юмор требует более широкой публики, вот они и двинулись в Америку, чтобы всем проповедовать свое кисло-сладкое восприятие жизни. А вот такие меньшинства, как русские, имеют предостаточно местного колорита и у себя дома — от Достоевского до Сибири и обратно,— поэтому тем из них, кто прибыл в Америку, нет особой необходимости так уж держаться за свою специфику.

— Интересное утверждение, сэр Невилл, и все же это не совсем верно.

— Ничто не бывает «совсем верно», в противном случае не было бы нужды в законах.

— И разговаривать тоже было бы не о чем.

— Вот именно.

Мистер Элбертс улыбнулся.

— С англичанином невозможно быть серьезным.

— С англичанами *всегда* можно быть серьезным,— строго поправил его сэр Невилл.— Что действительно трудно — это быть глубокомысленным. Отсюда и Оскар Уайльд.

— Но он был ирландцем.

— Однако писал об англичанах и для англичан. Ирландцы спьяну не поняли бы.

Мистер Элбертс поиграл вилкой.

— Крамнэгел,— сказал он,— просто образец ограниченного провинциального деспота, который вечно болтает о правах и равных возможностях; помогает друзьям и гадит тем, кто не проявляет по отношению к нему должной почтительности; бьет ниже пояса, когда никто не видит; пускает слезу, глядя на флаг; не доверяет неграм, мексиканцам и евреям; любит поговорить о равенстве всех рас; носит зеленое в день святого Патрика [1] и излишне рьяно мажет лоб пеплом в черную среду [2]. Он ничего не дает обществу, но зато много берет и мнит себя воплощением мужества, чистоты и благочестия.

Сэр Невилл рассмеялся.

---

[1] 17 марта, в день св. Патрика, покровителя Ирландии, принято надевать что-либо зеленое.

[2] Первый день великого поста в римско-католической и протестантской церквах.

— О боже, ну и изобразили же вы его! Ваш Крамнэгел (надеюсь, я выговариваю его фамилию правильно) кажется мне одним из тех сентиментальных, бравых и безжалостных людей, которых сотрудник Скотланд-Ярда, ведущий его дело, причисляет к разряду «фельдфебелей». А вы ведь знаете, как ведет себя унтер, случись ему очутиться среди тех, кто, по его мнению, занимает более высокое положение в силу удачи или происхождения,— он начинает чваниться и из кожи вон лезет, пытаясь показать, что всем обязан только себе, не то что некоторые, которых он мог бы назвать. «Не то что некоторые» — это расхожая фраза унтеров. Подобная черта характерна для людей такого рода в любой стране, и мы способны распознать ее, как и вы. Я сразу вижу человека, приученного думать своей головой, он и думает своей головой, пытаясь угадать, каких мыслей ждут от него те, кто учил его думать; понимаете, о чем я? Этот человек получает власть и, прежде чем отдавать приказы, вспоминает, какие приказы получал сам, и отдает их как свои собственные. Возможно, я клевещу на него, а возможно, сужу о нем, исходя из того, что мне известно о его английском эквиваленте. Поэтому причины, на основании которых вы его осуждаете, я не могу признать достаточно вескими. Нам нужны собаки, чтобы защищать наши дома, нам нужны люди, чтобы воевать на наших войнах. Мы, черт возьми, сами во всем виноваты. Иногда собака согрешит от избытка усердия и укусит хозяина. Иногда фельдфебель потеряет ориентацию и начнет воевать в пивной. Как я уже сказал, мы во всем виноваты сами. Мы хотели создать таких людей, и мы их создали!

Мистер Элбертс прикрыл глаза, всем своим видом выражая благоговейную почтительность.

— Все это лишь укрепляет меня в высоком мнении о вашей стране.

— Что «это»? — Теперь сэр Невилл рассердился. Разрази гром Генри Джеймса, его треклятый котелок и преклонение перед королевой... или тогда был король?

— Как что? Да то, что, невзирая на все приведенные доказательства и все эти игры в суде, вы умудряетесь сохранять подобное великодушие.

— Вы говорите, как первый из отцов-пилигримов, решивший воспользоваться обратным билетом.

— Именно таковым я и являюсь, хоть и ношу маску личного помощника генерального консула Соединенных Штатов, будучи по званию консулом первого ранга.— И мистер Элбертс покачал головой над собственной шуткой, пряча от сэра Невилла взгляд.

Вслед за стремительным обменом репликами наступило молчание, во время которого сэр Невилл размышлял о судье. В вопросах общественных личное мнение в силу хрупкости ценится не слишком высоко Как часто в театре он искренне наслаждался первым актом и в прекраснейшем настроении выходил в буфет, где узнавал, что общее мнение оказывалось куда более сдержанным. В итоге ему приходилось либо отстаивать свою точку зрения, либо малодушно уступать по ряду вопросов, чтобы не быть невежливым. Дискуссия в антракте неизбежно сказывалась на его отношении ко второму акту, чистота восприятия исчезала. В конце спектакля он аплодировал, если полученное им удовольствие все же оправдывало подобное выражение восторга, или же начинал лучше понимать ход мыслей других людей и покидал театр уже не таким расстроенным, а по большей части обеспокоенным самим собой. После этого все светские разговоры о данной пьесе воспринимались, как вдруг открывшаяся старая рана. Необходимость защищать ее или осуждать с помощью аргументов, которые пришли в голову не ему первому, утомляли его И он с удивительной быстротой забывал, что происходило на сцене, что вызывало тогда его восторг и заставляло ожесточенно спорить, и лишь повторял то, что говорил уже раньше, когда речь заходила на данную тему. Так постепенно привычка подрывает память. Потому-то сэр Невилл, несмотря на частые приглашения, боялся театральных премьер как огня.

В юриспруденции же каждый процесс был премьерой, и избежать этого было невозможно. И вот теперь, когда наступил антракт, сидя над деревенским пирогом и сосисками с пикулями, они все пытались угадать, что там черкает на полях программки великий критик Сэр Невилл окинул соседние столики быстрым взглядом. Разумеется, судьи Плантагенета-Уильямса оказаться здесь не могло, но сэр Невилл все равно поискал его глазами. Судья, наверное, заперся в своих покоях, чтобы оградить себя от давления извне и сквозняков, жует бутерброд без корочки, потягивает чай и раскладывает все по кристально чистым полочкам своих непостижимо упорядоченных мыслей.

Процесс закончился быстро. Свидетелей было мало, и в силу не зависевших от них обстоятельств они не могли припомнить ничего из случившегося с той сжатой четкостью, которой всегда требует хороший судебный процесс, в противовес расплывчатой неопределенности и путанице, с какою происходят в жизни события. И сэр Аарон, и Крэмп оправдали возлагавшиеся на них надежды, причем сэр Аарон сделал особый упор на постигшее подсудимого невезение, выразившееся в том, что многолетняя практика обращения с огнестрельным оружием взяла верх над алкогольным опьянением и пуля нашла цель. Сэр Аарон признал даже, что дело Крамнэгела не лишено элементов личной трагедии — элементов, которые должны смущать всех, ибо перед каждым нормальным человеком время от времени неизбежно встает вопрос: «Где пределы моего терпения? Где пределы моей выдержки? На что я способен, если в моем присутствии начнут поносить все, что для меня свято? До какой степени я способен владеть собой, если выпью лишнего? Когда я, изрядно выпив, веду свою машину домой, вижу ли я сквозь лобовое стекло реальный мир или навязанную алкоголем фантазию?»

Временами судья моргал от изумления, не веря своим ушам, до того невозможно было понять, на чьей стороне выступает сэр Аарон, вовсю используя свой викторианский дар нагнетания ужаса: ведь если так пойдет и дальше, то мистеру Крэмпу вообще не придется ничего говорить.

Крэмп попросил присяжных поставить себя на место американского полицейского, оказавшегося за границей, но присяжные единодушно отвергли это предложение. С поистине беспредельным упорством описывал он им умственное состояние человека, ищущего утешения в одном-единственном стаканчике после ужасной аварии, в которую он попал; описал Крэмп и то, как единственный стаканчик перерос в серию стаканчиков — исключительно потому, что в сложившейся ситуации уклониться от участия в выпивке было бы просто невежливо. И то, как разговор — вначале невинный и веселый — перешел в ожесточенный спор, когда спорщиков разгорячил алкоголь.

— Спиртное, виски растревожило тот тихий омут, который таится в глубине души каждого из нас, омут, воды которого обычно удерживаются в покое полученным нами воспитанием, чувством гражданской ответственности и образованием, но которые, если их взбаламутить, выносят на поверхность все, что есть в наших душах первобытного, всю скопившуюся там ненависть, агрессивность, болезненные воспоминания детства, кошмары — всю атавистическую темень, восходящую к каиновой печати.— На этой страшной фразе он сделал паузу и обвел присяжных взглядом непроницаемых голубых глаз, вызвав у каждого чувство неловкости.— Такой омут, такие мутные воды таятся в душе каждого из нас.

— Однако здесь не то место, где избавляются от них,— прошептал сэр Невилл мистеру Элбертсу, который вдруг весь затрясся от бурного, хоть и молчаливого приступа смеха, так что сэр Невилл сразу же пожалел о своей шуточке.

Завершая речь в защиту своего клиента, Крэмп решительно отверг обвинение в предумышленном убийстве: при данных обстоятельствах оно просто смехотворно, хотя с формальной точки зрения и нет другого обвинения, которое можно было бы выдвинуть против подсудимого. По мнению защитника, действия подсудимого еще можно было бы рассматривать как непредумышленное убийство, да и то на подобной точке зрения могли настаивать только лишь исключительно безжалостные и бездушные люди. Он искоса взглянул на судью, но лицо судьи хранило беспристрастное выражение. Разумеется, оставлять безнаказанным беспричинное убийство в общественном месте, да и в других местах, нельзя никак, признал защитник. Но перед нами достойный слуга общества, человек, занимающий в своих родных краях ответственнейшее положение и добившийся в порученном ему деле больших успехов, которым воздали должное его сограждане, наградив его этим завидным свидетельством (здесь Крэмп полностью привел текст памятного адреса, слегка морщась от «неоклассицизмов» в выражениях). В силу сложившихся обстоятельств человек этот, прожив на свете более полувека, ни разу в жизни не выезжал за пределы Соединенных Штатов. И если в проблемах своего края он разбирается до тонкостей, то представления о жизни в других краях не имеет никакого. И посему присяжные — пусть даже из одного уважения к нашему великому союзнику, который всегда был важнейшим, а иногда и просто единственным оплотом демократии в нашем резко разделенном мире,— должны счесть своим священным долгом оправдать одного из ответственных должностных лиц великой союзной державы, запутавшегося в трагической ловушке вдали от

родных берегов,— человека, которому грозит тяжкое наказание не за преступление, как убедительно показали все представленные суду факты, а всего лишь за совершенную им ошибку.

— Понравилось бы вам, если бы местный главный констебль был арестован американской полицией и предстал перед американским судом, совершив столь же глупейшее преступление?

В зале суда стояла тишина, и что-то в характере этой тишины подсказало Крэмпу, что многие из присутствующих не имели бы ничего против подобной ситуации. Поэтому он быстро вернулся к прежней — менее умозрительной, более риторической — аргументации и закончил свою речь на высокопарной ноте, которая вполне была под стать высокопарно-мрачному стилю сэра Аарона, не прозвучи она в устах Крэмпа с оттенком раздражения. Раскрасневшись, весь дергаясь, он взмахнул несколькими листами чистой бумаги и уселся на место, стиснув зубами желтый карандаш взамен отсутствующей трубки. По его подбородку потекла струйка слюны, отчего он сразу стал похож на огромного младенца в белом чепчике; в глазах его по-прежнему не отражалось ничего.

Судья начал заключительную речь. Голос его звучал бесстрастно, но манера ласкать языком каждое слово свидетельствовала о былом умении наслаждаться вещами, абсолютно безразличными большинству других людей. Если этого старичка как следует выбить, подумалось сэру Невиллу, то из него поднимется облачко библиотечной пыли и навечно повиснет в воздухе.

— Если вы решите,— заявил он присяжным, произнося слова нараспев, как детский стишок,— если вы решите, что перед вами человек, вошедший в пивную с желанием убить и удовлетворивший это желание, лишив жизни свою несчастную жертву, то возможен лишь один вердикт: виновен в предумышленном убийстве. Из показаний свидетелей следует, что подсудимый никоим образом не мог быть ранее знаком с убитым, следовательно, нет никакого сомнения в том, что их встреча носила случайный характер, характер встречи двух людей, которым довелось утолять жажду — или, вернее сказать, предаваться своим слабостям — в одном и том же заведении. Поскольку подсудимый не проявил никаких признаков ненормальности, за исключением склонности чересчур поспешно хвататься за оружие, с которым, как нам стало известно, ему позволено расхаживать у себя дома, то не возникает и предположения, что мы имеем дело с сумасшедшим, страдающим манией убийства первого встречного. Следовательно, нельзя предполагать, что подсудимый мог бы совершить предумышленное убийство ранее неизвестного ему лица.

С другой стороны, вы можете посмотреть на это и так, что — как весьма красноречиво показал защитник и в чем его, к некоторому нашему удивлению, поддержал королевский прокурор — перед вами стоит человек, занимающий высокий официальный пост в дружественной нам стране и волею несчастного случая забредший далеко от родных и привычных ему мест. Если этому поверить, то здесь перед нами стоит заблудшая овца с золотой душой и безупречной репутацией, хотя эта овца уже и заблудилась однажды в том же направлении, что и сейчас, и притом в тех краях, где ей следовало бы от этого воздержаться и где наказание, как мы поняли, заменили поощрением и повышением по службе. Но как бы там ни было, сей вопрос, слава богу, лежит за пределами нашей юрисдикции и, следовательно, за пределами нашего суждения, хотя нам, пожалуй, вполне позволительно заметить, исходя из представлений о жизни в нашей относительно безопасной сфере существования, что поощрение и продвижение по службе являются сомнительным методом пресечения произвольных убийств. И если подсудимый вскормлен на подобного рода интеллектуальной диете, то нет ничего удивительного в том, что наш образ мышления не приходится ему по вкусу. Персонажи «Алисы в стране чудес» тоже, вне всякого сомнения, испытывали бы подобные затруднения, попытайся они приспособиться к жизни в Англии, и мы сочли бы своим долгом позволить чувству жалости умерить выносимое им порицание. Вполне естественно, что человеку, вздумавшему играть в гольф, схватив за ноги фламинго вместо клюшки, придется иметь дело с Королевским обществом защиты животных от жестокого обращения; более того, играя подобным образом, он вряд ли добьется на поле успеха, и — такова уж человеческая натура — он оставит фламинго в покое скорее по этой причине, нежели из боязни преследования со стороны Королевского общества.

Волшебные сказки всегда доставляют нам безграничное удовольствие. Особенно

с возрастом, когда перед нами все больше и больше раскрывается литературный и житейский подтекст этих полетов фантазии и границы между ними и реальностью становятся все более расплывчатыми. Я всегда готов верить сказкам, и все же мы обязаны спросить себя: правдоподобна ли, допустима ли вообще мысль о том, чтобы иностранец был совсем уж незнаком с образом жизни в других странах и прибегал к оружию в качестве последнего аргумента в политической дискуссии с незнакомым ему человеком? И даже если подобная мысль покажется нам допустимой и приемлемой, должны ли мы проявлять к такому человеку особую снисходительность, учитывая его высокое положение на родине, или же, напротив, должны ожидать от него более высоких стандартов поведения? Если мы осуждаем простого человека с улицы за то, что он не знает, что к чему, то может ли закон подходить с иными мерками к ответственному лицу, которому сам бог велел это знать? Можно ли вообще по-разному трактовать закон в зависимости от обстоятельств? Давайте предложим Алисе спросить об этом Червонную даму.

Если же вы поверите, как нас только что просили поверить, что этот высокопоставленный «простак за границей» [1] ввязался в кабаке в острую дискуссию и прибег к оружию для утверждения своей точки зрения только потому, что привык к подобной аргументации, как и к поощрениям и к повышениям по службе за ее применение, тогда ваш долг состоит в том, чтобы вынести оправдательный вердикт.

Есть, однако, и иная альтернатива. Если вы считаете, что перед вами стоит человек, у которого не хватило ума заявить об имевшемся у него оружии при таможенном досмотре,— а это само по себе исключило бы все дальнейшие проблемы,— если вы видите в нем человека столь наивного и искренне считающего, что начальник полиции автоматически остается начальником полиции, куда бы он ни приехал, человека ограниченного, лишенного живости ума, тщеславного, задиристого, грубоватого, в чем-то добросердечного дурака и очень во многом избалованного ребенка, то следует вынести вердикт одновременно и строгий, и милосердный. Если вы верите, что он зашел в пивную с единственной целью провести время, пока не вернется его жена, и начал невоздержанно пить исключительно под влиянием той атмосферы любезной щедрости, которая часто возникает при случайных знакомствах в барах и пивных, и что затем он оказался втянутым в дискуссию, которая становилась все более и более ожесточенной и бессмысленной и которая закончилась тем, что он застрелил беззащитного человека, тогда ваш долг состоит в том, чтобы вынести вердикт: «Виновен в непредумышленном убийстве».

И последнее. Если вы верите, что подсудимый — в невежестве своем и под воздействием алкоголя — искренне считал, будто его жертва пыталась достать оружие, чтобы напасть на него, тогда еще можно квалифицировать его действия как акт самообороны. Если же вы полагаете, что есть большая и очевидная разница между тем, как человек лезет в карман за носовым платком, и тем, как он лезет в карман за огнестрельным оружием,— разница в скорости, характере и манере движения, которую не может не заметить даже изрядно выпивший человек, то не может быть иного вердикта, кроме: «Виновен в непредумышленном убийстве». Помните: ни в чем не повинный человек вошел в ту пивную одновременно с подсудимым. Но один из них вышел оттуда живым, а другой расстался там с жизнью

Присяжные совещались недолго и вернулись в зал суда с вердиктом: «Невиновен в совершении предумышленного убийства, виновен в совершении непредумышленного убийства». Судья присудил Крамнэгела к семи годам каторжных работ, и Крамнэгела, выкрикивавшего во всю глотку незанесенные в протокол выражения, удалили из зала суда. Эди завопила на судью, но мысли его уже блуждали где-то далеко.

— И все же Англия — великая страна,— сказал мистер Элбертс сэру Невиллу, улыбаясь самой несносной своей улыбкой.

Сэр Аарон был мрачен.

— Боюсь, что это я во всем виноват. Я, кажется, перестарался.

— Вы здесь совершенно ни при чем,— возразил сэр Невилл.— Во всем виновата демократия. Когда на одном борту корабля скапливается слишком много людей, они склонны перебраться на другой борт, чтобы чертова посудина сохраняла равновесие и держалась на плаву. Все лицемерно распинаются в уважении к личности, но на самом-то деле все пекутся только о корабле, и ни о чем ином.

---

[1] Здесь автор обыгрывает название повести М. Твена «Простаки за границей».

— Но не будь под нами корабля, мы бы все очутились сейчас в воде и шли ко дну.

— Я знаю.

— Следовательно, вы ничего лучшего предложить не можете?

— Нет. Пока нет,— добавил он скромно, с грустной улыбкой.— Но не очень это все складно.

— Вы просите невозможного.

— Если не просить невозможного, то какой же тогда смысл жить?

9

Процесс сразу имел целый ряд последствий. Заливаясь горючими слезами, Эди дала пресс-конференцию. Все сдерживающие центры ее тотчас отказали, когда она, такая маленькая и тоненькая, стояла одна посреди конференц-зала лондонского отеля «Лексингтон». Майор Батт О'Фехи не сопровождал ее, поскольку она сама пожелала драться в одиночку.

Вопросы в основном задавали репортеры бульварных газетенок и воскресных приложений, специализирующихся на скандальных процессах.

— Что вы думаете о нашем английском правосудии?

— Спросите лучше, что я думаю о ваших английских законах, а правосудия здесь я что-то не заметила.

— Что ж, справедливо. Вы, значит, считаете, что вашего мужа просто следовало отпустить на все четыре стороны?

— Что за идиотский вопрос! Ты, никак, только-только попал в репортеры, сынок?

— Что вы намерены делать теперь?

— Что я намерена делать? Драться! Вот что! Смешно вам, а? Смешно, что женщина хочет драться? Позвольте вам заметить, что мы умеем это делать лучше, чем многие из вас, мужчин. И хотите знать почему? Потому что у нас бóльший выбор оружия, чем у вас, вот почему! Да, я намерена драться за своего мужа, и никаких гвоздей!

— Как именно вы собираетесь драться?

— Если хотите услышать, как именно, то вам придется услышать еще кое-что. Вы думаете, наш родной город потерпит такое? Вы думаете, такое потерпит Америка? Я сделаю все, что смогу, чтобы доставить вам кучу неприятностей. Я обращусь на радио, на телевидение, если надо — выйду на улицы, только чтоб рассказать людям, какие у вас тут на самом деле порядки. Все им расскажу о вашем гостеприимстве и о вашем христианском чувстве добрососедства — семь лет в вонючей яме!

— Вы, значит, христианка?

— Он еще спрашивает, нахал! Я — католичка.

— Намерены ли вы просить о свидании с мужем перед отъездом на родину?

— Естественно. И еду я домой только для того, чтобы потом вернуться и вырвать его отсюда! Я еду, значит, домой, чтоб подсобрать денег, создать фонд борьбы и выступить по телевидению, как я уже говорила. Я своего мужа не брошу!

— Сколько бы ни пришлось за него драться?

— Сколько бы ни пришлось за него драться!

— Хоть все семь лет?

— Хоть все семьдесят, хоть сколько угодно. Я люблю своего мужа, понятно вам? И прошу вас, ребята, об этом написать.

— А вас не смущает... вас никогда не смущала мысль о том, что вы живете с человеком, способным стрелять в других людей?

— Я не могла бы уважать человека, не способного решить дело перестрелкой, если нужно. Я не могла бы уважать мужчину, не способного обращаться с оружием. Я, видите ли, не первый раз замужем, так что смело могу утверждать, что знаю, о чем говорю.

— Сколько же раз вы были замужем?

— Я-то? Четыре раза. И всегда за полицейским, чем и горжусь.

— Четыре раза? Но вы же только что заявили, что вы — католичка. Разве ваша религия допускает такое количество браков?

Эди помолчала, затем с угрожающим видом покачала головой, не сводя с допрашивавших ее репортеров пронзительного взгляда.

— Ишь умник какой сыскался,— сказала она наконец.— Я вышла замуж в пятнадцать лет за постового Уоррена С. О'Хэрити. Мы не очень-то вместе уживались, но я оставалась с ним, пока он не погиб в катастрофе, когда на Сто семьдесят третьем шоссе между Бекфордом и Нью-Уиттенбергом столкнулось сразу семь машин... В семнадцать лет я стала вдовой.— Эди выкрикивала все это размеренно, точно диктовала чтобы репортеры успевали записывать ее слова.— Затем был Ларри Баньян из уголовного розыска. Отличный был сотрудник, но мне изменял. Я ничего такого плохого о нем сказать не хочу, потому как он скончался. Продолжать, нет? Он помер от лейкемии. Диагноз ему только перед самой смертью поставили. Слушаете, да? Потом, значит, начал за мной ухаживать Чет Козловски. Пока ухаживал, был мужик — первый сорт, но вот потом... В общем, идеала не бывает, так, что ли? Это, наверное, даже вы здесь знаете. Чет ввязался в перестрелку с гангстером у Барниева «Погребка на крыше» — есть у нас такая забегаловка на одном чердаке. Погибли оба... А потом на меня положил глаз начальник полиции Крамэгел. Вот мы вроде и подошли к сегодняшнему дню — верно? Ну так вот, в Священной книге ничего нет такого, чтоб запретить доброй католичке снова выйти замуж, если ее дражайшей половины не стало. Говорится-то ведь так: «Пока не разлучит нас смерть» — помните? Или вы не женаты? — усмехнулась она.

Но журналист попался на редкость бессовестный. Нимало не смутившись, он хладнокровно продолжал допрос:

— А не удивительно ли, что женщина четыре раза подряд выходит замуж только за полицейских?

— Вы что же, хотите состряпать из моей жизни колонку для «Хотите верьте, хотите нет» и сорвать свой кусок на гонораре? Ничего тут нет удивительного! Если б не мое невезение, я до сих пор была бы замужем за одним полицейским, так? Мой отец — он ведь тоже полицейский, лейтенант Каспар Х. Миттелхаузер-младший — сейчас уже на пенсии. В родительском доме я мало с кем могла познакомиться, разве что с другими полицейскими, поэтому мои замужества в порядке вещей. Как в порядке вещей и то, что я собираюсь сейчас драться за своего мужа.

— Апелляцию подавать будете?

— Случись мне еще раз увидеть этого сукина сына судью с его засаленной тряпкой на куполе, я харкну ему в глаза, чтоб им лопнуть. А насчет апелляции, так я здесь затем, чтоб драться, а когда я собираюсь драться, я собираюсь победить!

Следующим утром две газеты опубликовали огромные фотографии Эди. На одной, подобранной умышленно злобно, она была изображена с широко раскрытым ртом под заголовком: «Я здесь затем, чтоб драться». На другой она была изображена, приложив кулак ко лбу, с закрытыми глазами.

Сэр Невилл заказал все газеты, вышедшие в тот день, и за завтраком миссис Шекспир нашла его непривычно молчаливым. Прочитанное — как стандартная «клюква» газетенок, претендующих на выражение взглядов среднего человека, так и безликая сухость более респектабельных изданий — вызвало у него чувство отвращения. Никто из журналистов не смог выйти за привычные рамки описания суда или хотя бы поразмышлять над обломками человеческих судеб, остающихся после каждого судебного процесса. Рассматривая портреты Эди, втиснутые между изображениями обнаженной скульптуры, которую только что запретил за непристойность муниципальный совет города Фишгарда, и улыбающимися лицами трех волосатых английских хиппи, выставленных с Азорских островов за полуночную черную мессу у городского фонтана, сэр Невилл ощутил глубочайшее разочарование. До этого он имел обыкновение читать лишь две наиболее известные газеты и, отказываясь от других источников информации, пожалуй, сознательно закрывал глаза на все невероятные события, повседневно происходящие вокруг. Само по себе человеческое существование мало в чем изменилось, но вот манера, в которой оно стало подаваться — или теперь, кажется, это называется у публицистов: «продаваться»? — начала походить на попытку предугадать мнение публики и потрафить ему, выделяя и обсасывая наиболее лакомые аспекты события в ущерб всем остальным. Общее впечатление создавалось такое, будто каждый кусочек информации то ли тщательно выхолащивался, чтобы его легче было усвоить читающим кретинам, то ли подавался сквозь мутную призму восприятия развратника, вздумавшего читать мораль. Разносторонней объективной информации как таковой в газетах не было; ее заменяли по-телеграфному коротенькие сенсацион-

ные заметочки, состряпанные на скорую руку и с полным пренебрежением к грамматике, причем одна казалась невероятнее и инфантильнее другой, и каждая была аккуратно, как леденец, упакована в обертку стандартной стилистики. От них и пахло, как от леденцов — эрзацем.

Стоит ли тщательно воспитывать детей, думал сэр Невилл, обучать их искусству цивилизованной дискуссии, прививать им основы гражданственности, если с первых же шагов их жизнь подвергается такому ужасающему воздействию посредственности? Зачем биться над развитием интеллекта, зачем гнаться за такими химерами, как справедливость, беспристрастность, права человека, когда везде и всюду торжествует убожество и верхоглядство? Это был один из тех редких дней в жизни сэра Невилла, когда он искренне был счастлив, что у него нет детей. Он чувствовал себя бессильным, изможденным, никому не нужным педантом, то есть бесполезным излишеством, без которого вполне могло обойтись — да и должно было бы обходиться — любое современное государство. Он принял твердое решение бросить разгадывать кроссворды — подобно тому как многие решают бросить курить — и благодаря недюжинной силе воли продержался целую неделю. Зато, вновь предавшись своему пороку, устроил себе настоящую кроссвордную оргию, благо он тщательно сохранял все номера «Гардиан» на случай проявления слабости.

Крамнэгел же тем временем начинал свое восхождение на голгофу, автоматически превратившись в объект для обычных унижений, сопутствующих вступлению в тюремную жизнь. У него изъяли личные вещи и переписали, чтобы вернуть их владельцу по истечении срока заключения. Самого же его — голого и дрожавшего от холода — подвергли малоприятному медицинскому осмотру. После осмотра заключенному пришлось расхаживать в белой простыне, напоминая своим обликом куклуксклановца, потерявшего капюшон во время негритянского погрома,— пока ему не выдали грубую тюремную робу. Крамнэгел всеми силами пытался сохранять самообладание, и к чести его надо сказать, что по большей части ему это удавалось. Удавалось благодаря тому, что он пытался оценить все с ним происходящее беспристрастным взглядом социолога, изо всех сил убеждая себя, что происходит это все не с ним, а с кем-то другим, он же всего лишь присутствует как своего рода почетный наблюдатель, которому предоставили возможность ознакомиться для сравнения с работой исправительных заведений по обе стороны Атлантики.

Ему сообщили, что его приговор может быть пересмотрен по отбытии четырех с половиной лет заключения из полученных им семи; что по истечении двух лет и трех месяцев его дело рассмотрит комитет по помилованиям, но в любом случае Крэмп преисполнен решимости подавать апелляцию. В итоге предстоявший Крамнэгелу срок заключения как-то не обретал законченных очертаний во времени. Еще сохранялись надежды на будущее, и сам факт пребывания в тюрьме не представлялся ему чем-то неизбежным и ужасным. Он еще не освоился с этой полужизнью, подменившей вдруг его настоящую жизнь, и, дай бог, никогда с ней не освоится.

Но все равно первая ночь в тюрьме показалась ему вечностью.

В камере не было ни воздуха, ни света, кроме ввинченной в потолок тусклой лампочки, мерцавшей как глаз сторожевой собаки, чуть подернутый настороженным сном и готовый в любую секунду вспыхнуть при малейшем движении пленника. Ночь не принесла облегчения, не принесла ничего, кроме часами длившихся кошмаров, которые на самом деле длились не более десяти секунд,— вспышки молний под закрытыми веками, барабанный грохот в ушах.

Пришел рассвет, но светлее в камере не стало. Только стало слышно, как ворочаются во сне уже свыкшиеся с тюрьмой соседи, цепляясь за остатки сна, как за обломки детства, будто ища в них убежища от горестей ждавшей их наяву жизни. Услышав, что соседи начали пробуждаться, Крамнэгел затих — теперь ему предстояло одиночество в толпе, а не наедине с самим собой. Он даже потрузился в короткий (а может, долгий?) сон.

К тому времени, как его выпустили из камеры умыться к завтраку, он уже был в состоянии трезво обдумать дальнейшую линию поведения. Все еще кипя от обиды и возмущения, он, однако, уже начал понимать, что пропадет совсем, позволь он превратить себя в покорного арестанта. Инициатива во всем должна оставаться за ним. Он не станет ни с кем дружить, потому что дружба разносит заразу духовного крушения. Он ни за что не станет членом этого коллектива временно изъятых из об-

шества, потому что позже, когда он выйдет отсюда, подобная капитуляция перед желаниями покаравших его властей оставит на нем неизбежный отпечаток. Под прикрытием дымовой завесы угрюмой замкнутости он развернет резервы, коварно эшелонирует оборону и начнет с тюрьмой войну на изматывание.

Его навестил священник — улыбчивый человек с обманчиво мягкими манерами и ухватками атлета, воспринимающего жизнь как спортивную игру, ведущуюся по свистку судьи.

— Спалось, наверное, ужасно? Все мы так первую ночь.

Мы? Ну и нахал!

— Я спал как убитый, ваше преподобие,— отвечал Крамнэгел.

— О, вот как... А вы... вы что же, здесь впервые?

Да как он смеет, что́ я ему, уголовник какой? Спокойно. Споко-о-йно. Крамнэгел собрал всю свою выдержку.

— Конечно, впервые. А почему вы спрашиваете?

— Обычно первую ночь спят хорошо лишь те, у кого, к сожалению, уже создалась привычка бывать здесь часто и относиться к королевским тюрьмам как к гостиницам. И все равно, учтите, первую ночь и они хорошо не спят.

— Что вы говорите,— сказал Крамнэгел с полнейшим безразличием, не удосужившись даже придать своим словам характер вопроса.

— Боюсь, что это действительно так. Меня информировали, будто вы кричали во сне, вот я и решил зайти удостовериться, что у вас просто синдром новичка — и ничего больше.

— Я кричал во сне? — спросил Крамнэгел недоверчиво, но без особого удивления.— Нет, сэр, вы, вероятно, ошиблись. Я не имею привычки кричать во сне.

Увидев, что священник ему все равно не верит, Крамнэгел прищурился, как бы напрягая память (явно при этом переигрывая), и медленно пробормотал:

— Вообще-то, если припомнить, кричал тут один вроде как от боли... Дальше по коридору...

— Нет ничего постыдного в том, что человек тоскует по дому, если чувствует себя всеми брошенным. В конце концов отнеситесь к этому как мальчик в школе-интернате к своему первому дню.

Надо поставить этого хмыря на место, но только спокойно, не теряя хладнокровия. Мальчик, значит? Интересно, что это он вдруг загнул насчет «мальчика»? Не понимает, что ли, что к чему?

— Вы, наверное, не знаете, кто я такой, ваше преподобие.

— Здесь мы все равны, и никому нет дела до того, кто кем был раньше. В беде мы все живем одной семьей, пытаясь с божьей помощью примириться с выпавшим нам уделом.

— Вас это тоже касается? Почему же вы тогда одеты по-другому, а не так, как мы?

— Разница между нами лишь в том,— отвечал священник,— что я могу на ночь уходить домой. Да, конечно, я понимаю, что вам это кажется очень большой разницей, и, однако же, почти все время, когда я не сплю, я провожу здесь.

— Разница есть и в другом, ваше преподобие. Вы ко мне обращаетесь сверху вниз, а я должен отвечать вам снизу вверх.

— Ну, это не совсем так. Просто дело в том, что я в каком-то смысле представляю бога, пусть даже в самой малой мере. Вы верующий?

Крамнэгел нахмурился.

— Конечно. И никто не посмеет этого отрицать. У меня есть свой исповедник, преподобный Делрикс из лютеранской епископальной церкви в Солнечной долине, и когда я вернусь домой, я собираюсь задать через него пару вопросов большому боссу там, наверху.

— Какому боссу?

— Ну, тому, который в облаках. Который движет землей и солнцем и читает наши мысли, как раскрытую книгу.

— А, понимаю.

— И если он может прочесть мои мысли прямо сейчас, то он должен знать, что я очень даже взбешен.

— Взбешен?

— Да, взбешен,— спокойно отвечал Крамнэгел, как бы найдя наконец после долгих поисков нужное слово.— Может, вам по душе весь этот треп насчет дружков

по несчастью и что мы здесь все равны, а мне — нет и никогда не будет. *Мой* бог мне никогда не указывал, что я такой же, как все, и со всеми равен, кроме как в том смысле, в каком записано в конституции, что мы все перед богом равны.

— Но я только это и имел в виду...

— Э, нет, дело не только в этом. Вы хотели, чтоб я забыл, кем я был, пока не попал сюда. Вы хотели, чтоб я сдался и начал думать, будто я такой же, как все здесь,— душой и телом, потому что на мне такая же вонючая тюремная роба. Нет, я на это никак не согласен, и *мой* бог никогда не указывал, что готовит мне такой удел, потому что зачем ему, в противном случае, было делать меня начальником полиции, поручать мне такую ответственность и заставлять почти с миллион людей приветствовать меня на улицах? Только и слышно было, куда ни пойди в любое время дня и ночи: «Привет, начальник!», «Как дела, начальник?», «Не берите в голову, начальник!» Меня уважали! Я даже позволю себе сказать, что меня любили! Правда, без балды, я вам мозги не вкручиваю. Меня действительно все любили и часто говорили мне об этом. А почему? Потому что знали: я, с божьей помощью, старался работать как можно лучше, старался изо всех сил. Вот почему.

— Что значит для вас бог? — спросил священник.— Каким вы его видите?

Глаза Крамнэгела сузились.

— Мне не нравится ваш тон, ваше преподобие.

— А я вас не боюсь,— ответил священник, от которого вдруг повеяло спокойствием человека, всегда имеющего про запас несколько благочестивых приемов дзюдо.

— А я вас и не пугаю,— выдавил из себя улыбку Крамнэгел.— Но у меня есть вам один совет. Тюряга здесь, похоже, большая, места хватит нам обоим. Так что держитесь от меня подальше, и это все, о чем я вас прошу. Мне осложнения ни к чему. И моему богу тоже.

Священник усмехнулся. Он любил заглядывать вперед и искать во всем потенциальный пример для чтения морали. Его мысленному взору уже рисовалось, как это огромное тело с горькими рыданиями падает на колени, обнаружив, что его бог — это всего лишь умозрительное отражение его самого, раздутое до невероятных размеров, и что смирное блеяние ягненка еще никогда не находило отклика в его сердце. Священник уже предвкушал великолепную проповедь, которую в конечном счете составит на этой истории. Чтобы добиться победы, ему следовало лишь проявить терпение, потому что он чувствовал, что *его* бог одолеет бога Крамнэгела, если даже с Крамнэгелом не сумеет справиться он сам.

Никто из заключенных не произвел на Крамнэгела особого впечатления, но они все безо всякого стеснения пялили на него глаза, поскольку следили за процессом по газетам и хотели теперь понять, что же на самом деле представляет собой новый член семьи «собратьев по несчастью».

Только один из заключенных не оставлял упорных попыток сблизиться с Крамнэгелом. Это был веселый, надрывно кашлявший старичок с приятно-озорным выражением лица. Время от времени он наставлял на новичка указательный палец и, делая вид, будто стреляет, голосом довольно сносно имитировал треск автоматной очереди. Затем, как бы поясняя, он выкрикивал что-нибудь вроде: «Чикаго!», или: «Ишь ты, умник», или: «Я нашпиговал тебя свинцом, бэби!» с акцентом, который он считал присущим чикагским гангстерам, но который на самом деле был всего лишь рычащим кокни.

Только такой полубезумный старик мог проникнуть сквозь все укрепления возведенной Крамнэгелом обороны и тем самым поставить его душевное равновесие под угрозу. В конце концов происшествие, закончившееся смертью старого Джока, началось ведь с неожиданного приступа симпатии к старикам и их невинным старческим причудам. Тщательно все обдумав, Крамнэгел решил, что терпимое отношение к старому дурню прекрасно может сочетаться с твердой линией, проводимой ко всем остальным. В этом решении сказался и прилив оптимизма, вызванный в его душе первой волной писем от Эди со вложенными в них газетными вырезками, освещавшими ее вызывающе боевую пресс-конференцию Сентиментальность, размягчившая его душу при виде такого проявления солидарности и готовности драться за чего, требовала выхода, вот он и разговорился со старцем, которого, как выяснилось, звали Гарольд, или попросту Гарри.

Единственный сохранившийся зуб запирал, подобно скале, вход в рот Гарри, и,

как о скалу, о него разбивались, разлетаясь брызгами во все стороны, потоки гонимой языком слюны.

То обстоятельство, что между Гарри и Крамнэгелом столь явно и столь быстро завязалась дружба, объяснялось, по-видимому, тем, что оба они в своем развитии не так уж далеко ушли от мира детских фантазий и, очутившись в суровой и мрачной атмосфере тюрьмы, не дающей воображению никакой пищи, оба оказались вынуждены замкнуться в своем вымышленном мире, воспринимая порой свои вымыслы как реальность.

В ответ на телефонный звонок сэра Невилла начальник тюрьмы майор Эттлиси-Гор сообщил ему, что заключенный привыкает к своей новой жизни с большим трудом, что он угрюм и некоммуникабелен, что священник, который умудряется превращать закоренелых преступников в пай-мальчиков, ничего не смог от него добиться. Но обнадеживает то, что он, кажется, сумел подружиться с одним рецидивистом лет под восемьдесят, неким Гарри Мазерсом, который провел за решеткой более тридцати лет.

— Рецидивист лет под восемьдесят? — не поверил своим ушам сэр Невилл.

— Да. Но он не совсем нормален. Отчасти старческий маразм, по-моему, отчасти же просто врожденный идиотизм. Всю жизнь он то и дело был нашим гостем.

— За что же?

— Да в основном по всякой ерунде, но последнее время в нем вдруг взыграло честолюбие, и он взялся за ограбление банков, хотя для таких дел ни к черту не годен. Он, вообще-то, дай бог чтобы награбил тысчонки на две за все свои тридцать лет преступной деятельности.

— Весьма печально. И все же я рад, что Крамнэгел нашел себе друга.

— Да, но... Боюсь, что ненадолго. Через две недели Гарри выходит на волю.

— О боже! Но если вы о нем справедливо судите, то он на воле не задержится.

— Он может скоро умереть. Ему семьдесят шесть лет, и он был отравлен газом еще в первую мировую войну.

10

На следующей неделе кампания, начатая Эди в родных краях, достигла апогея. Эди нанесла визит мэру Города, который был весь участие и даже осушил ее слезы собственным, украшенным монограммой, носовым платком. Когда Эди в третий раз излагала свою печальную повесть, описание судебного процесса приобрело в ее устах столь зловещий характер, что у слушателя волосы вставали дыбом, поэтому к тому времени, как она добралась до Арни Браггера, процесс над Крамнэгелом в ее изложении начал выглядеть таким же фарсом, как облыжное обвинение Сократа.

Судья, согласно версии сей патриотки, выглядел человеком злобно пристрастным и понятия не имевшим в невежестве своем о широчайших свободах, к которым привыкли граждане США, а потому и явно антиамерикански настроенным, самодовольно окопавшимся в своем ограниченном книжном мирке среди разваливающейся от ветхости страны, где вместо кондиционеров приходится довольствоваться сквозняками, вместо свободы — абсолютным произволом, а вместо широких горизонтов бескрайних вольных просторов — туманом, густым, как гороховый суп-пюре. Тамошние юристы в описании Эди выглядели чудовищами из диснеевских мультипликационных фильмов: у одного вся рожа поросла какой-то дрянью, у другого выпирает рыло, как носик у кофейника, а уж кто из них прокурор, а кто защитник — вообще не поймешь, потому что оба дуют в одну дуду. Свидетели там не свидетели, а те же диснеевские уроды; полицейские ничего из-под своих шлемов не видят, носят жуткие башмаки и невнятно мычат.

В своем донельзя наэлектризованном мифотворчестве Эди заходила слишком уж далеко, и потому для большинства ее слушателей это звучало неубедительно, но достаточно невероятно, так что история Эди заняла еще больше полос в местной печати, чем в лондонской. Единственная утренняя газета Города — «Правдоискатель и свободный оратор» — даже тиснула передовую под заголовком «Природа правосудия», в которой цитировались источники столь разные, как Библия и судья Феликс Франкфуртер [1],

[1] Член Верховного суда США с 1939 по 1962 г.

и где напоминалось гражданам, что государственный департамент обязан защищать американцев не только в тех странах, которые не приемлют свободы личности, но и в таких, как Южная Корея и Англия, где прокламируется дружба к Америке. «В наш век развитых средств связи не так уж много и требуется от наших аккредитованных послов. Пусть наш представитель в Лондоне пойдет куда следует и задаст кому следует пару острых вопросов. Этого требует не только один наш Город, но и вся Америка, и сама Справедливость, вечно слепая, но, будем надеяться, не глухая все же», — так кончалась статья.

Как только в печати наметилась подобная линия, легко удалось организовать комитет и без труда найти для него фигуру председателя в лице одной из наиболее занозистых личностей Города — генерал-майора в отставке Кливера Т. Камбермора, крепкого орешка, человека с багровой физиономией, на которой виделся рот, словно наспех зашитая рана, и смелыми крупными мазками был явственно выписан скверный характер.

Общественный, как принято выражаться, вес генерала Камбермора покоился сразу на нескольких китах. Прежде всего он был генералом, а генералы в Америке, подобно птице Феникс, склонны до бесконечности восставать из пепла бессмысленно разрушительных битв — они восстают в первозданной чистоте своей во всем безупречные, с репутацией непреклонных авторитетов в любой области. Мнения генералов по любому вопросу, включая образование, архитектуру и изобразительные искусства и социологию, постоянно выясняются и широко освещаются печатью. Разумеется, каждый отдельно взятый генерал получает свою долю лавров соответственно громкости своей репутации. и вот в этом-то отношении лично генералу Камбермору что-то не везло. Если генерал Паттон однажды ударил солдата и нажил крупные неприятности, то генерал Камбермор бил солдат не единожды, но никто не обратил на это никакого внимания. Даже жертвам его рукоприкладства не пришла в голову мысль пожаловаться. Все дело, видимо, было в каких-то особых качествах генерала Паттона, придавших влепленной им солдату затрещине характер исторического события, и в отсутствии тех же качеств у генерала Камбермора, из-за чего раздаваемые им солдатам оплеухи оставались явлением сугубо эфемерным. Хотя ему вечно мешали развернуться либо события, либо отсутствие оных, любви к шкодливости в нем оставалось предостаточно, а это уже немало.

— Это дело... дело об аресте этого... как его... ну, начальника полиции Крамнэгела... это, значит, позор, чтоб их так и разэтак... Будь по-моему... по-моему... я б уж показал этим... этим красномундирникам [1]... как трогать наших! Мы, ей-же-ей, знаем, что такое справедливость красномундирников, а? Спросите хоть генерала Вашингтона! — заявил генерал Камбермор в ходе телевизионного интервью, раскрасневшись от гнева и, как принято выражаться, от того, что выкушал лишнего. Этого заявления оказалось достаточно, чтобы разжечь страсти наиболее экстремистски настроенных элементов в Городе, тех мужчин и женщин, пресная жизнь которых была напрочь лишена каких бы то ни было острых ощущений.

Группа этих экстремистов (во всяком случае, все подумали на них, поскольку полиция не спешила даже выдвинуть свою версию) подложила бомбу в британское консульство в Хьюстоне, оказавшееся ближайшим к Городу британским представительством. Бомба взорвалась, ранив прислугу-негритянку, которая несла из буфета кофе и пирожные. Как раз в это время местное отделение процветающего и способствующего просвещению торгового дома «Сакс и Фриденберг», раскинувшего сеть гигантских универмагов по всему Югу и Среднему Западу Соединенных Штатов, приступило к проведению в Городе Недели британских сыров с целью помочь британской торговле и показать этим французам, что на них, черт побери, свет клином не сошелся. Однако выставка-продажа сыров, для украшения которой из Англии прислали типичный лондонский автобус и четырех «бифитеров» [2], закончилась плачевно. «Чеддеры» и «чеширские», «уэнслейдельские» и «кэрфилли» вылетали из разбитых окон вперемежку с британскими флажками и портретами королевы. Автобус перевернули и подожгли, а бедным старикам «бифитерам» изрядно намяли бока. Британское консульство в Хьюстоне отправило в Лондон депешу, рекомендующую министерству иностранных дел

[1] Так американцы называли английских солдат во время войны за независимость американских колоний.

[2] «Бифитеры» — «мясоеды» — прозвище стражников лондонского Тауэра. Их живописными средневековыми костюмами до сих пор любуются туристы.

воздержаться от дальнейшей посылки в США автобусов и сыров вплоть до нормализации обстановки. «Бифитеров» же отослали обратно в Тауэр через Монреаль.

Когда известия об этих событиях достигли тюрьмы, авторитет Крамнэгела вырос до небес. В глазах заключенных он превратился в таинственную личность, и замкнутость его стала вызывать в их сердцах благоговейный трепет. Ведь не каждый день британской тюрьме выпадает честь принимать человека, способного вдохновить бунт на расстоянии пяти тысяч миль. На тюремщиков это все произвело впечатление, пожалуй, еще более сильное, чем на заключенных, и, будучи как-никак хозяевами положения, они реагировали не молча, а с юмором — правда, не без оглядки. Лед был сломан, и они уже начали относиться к Крамнэгелу не столько как к человеку, совершившему преступление, сколько как к человеку, которому просто не повезло.

Даже священник подошел к Крамнэгелу и сказал:

— Я прочел в газете, что ваши подчиненные в дальних краях поднялись с оружием в руках.

— Наверное, мой бог услышал мои молитвы,— отрубил Крамнэгел и удалился такою царственной походкой современного Лира, что за его спиной почти явственно возникла фигурка пожилого шута, натягивавшего священнику нос.

Сидя в своем кабинете, сэр Невилл искренне и с детским упорством надеялся, что хулиганы уничтожат побольше британской собственности и докажут тем самым правоту его точки зрения. Погром, устроенный на ярмарке сыров,— платформа для демарша неубедительная, и даже перевернутый автобус вряд ли привлечет к себе особое внимание во времена, когда каждый день по всему миру переворачивают сотни автобусов то недовольные водители, то возмущенные студенты, то разозлившиеся пассажиры, то разъяренные мусульмане, то объявившие крестовый поход католики, то праведные протестанты, то скорбящие евреи — любая из миллиона сект, групп и фракций, имеющая повод для недовольства. Что же до избиения «бифитеров», то тут газеты явно преувеличили, дабы придать делу побольше пикантности, в действительности же им намяли бока не больше, чем при прохождении через Тауэр обычной группы американских туристов.

И все же сэр Невилл развил в обеденный перерыв бурную деятельность, выпив коктейль в одном клубе, пообедав во втором и выпив кофе в третьем, и в каждом из них старался коснуться в разговоре дела Крамнэгела. Как часто бывает в Англии, его собеседники, которые пользовались репутацией хорошо осведомленных людей, по большей части отвечали:

— О, а я этого и не заметил. На какой, говорите, странице? — Или: — Что ж здесь удивительного? Провинция, она и есть провинция! — А затем, не веря ушам своим:— Где-где это произошло?

С одним или двумя собеседниками сэру Невиллу повезло больше, чем с другими, но в целом орешек оказался чересчур крепким. Слишком незначителен был ущерб от бунта, и слишком уж незаметен был Город Крамнэгела. Другое дело, случись это все в Нью-Йорке или еще лучше — в Вашингтоне...

Как уныло подытожил потом результаты сэр Невилл в разговоре с сэром Аароном:

— Раньше говорили: «Слишком мало и слишком поздно». А теперь надо сказать: «Слишком мало и слишком далеко».

— До тех пор,— пробурчал в ответ сэр Аарон,— пока обстоятельства еще позволяют нам жить, сохраняя иллюзию комфорта и мираж благосостояния, управлять страной через парламент, вести дела через министерства, а на самом деле править ею из клубов, всегда что-нибудь будет казаться «слишком», а что-то чем-нибудь еще.

— Верно,— согласился сэр Невилл с присущим ему ненавязчивым лукавством.— И дай бог, чтобы так было всегда. Выпьем за это.

Тем временем комитет, столь успешно созданный Эди в родном Городе, начал выдыхаться. Жизнь, к несчастью, не остановишь; и в общей сумятице убийств, изнасилований, грабежей, похищений, сидячих забастовок в служебных помещениях, сидячих забастовок перед входом в служебные помещения, демонстраций «за» и «против», сексуальных извращений, наркомании, избиений и нападений нюни, распущенные по поводу начальника полиции, влипшего в невероятную историю, и его отважной половины не

могли надолго завладеть вниманием публики. Комитет провел два-три заседания и тщательно разработал план предстоящей кампании, осуществление которой, как всегда в подобных случаях, требовало изрядных средств. Но поскольку деньги в фонд комитета жертвовались весьма неохотно и в скромных количествах, то в итоге вся грандиозная программа действий оказалась на мели. Выжав, согласно своему обыкновению, из этой авантюры минимально возможное количество дивидентов, генерал Камбермор проявил достойную стратега мудрость и сказался больным. Попытки Эди привлечь к своей кампании людей за пределами Города не увенчались успехом. Газеты считали, что уже внесли свой вклад в борьбу, опубликовав передовицы, но редакторов разочаровала вялая реакция читателей, а даже такие великие издания не могут позволить себе отдавать свои страницы не пользующимся успехом темам из боязни потерять читателей, объясняли Эди редакторы. Не помогла, разумеется, деятельности комитета и распространенная по газетам фарисейская статейка, которую сочинил Ред Лейфсон, сидя в своей инвалидной коляске, столь же далекой от житейских бурь, как папский престол. «Что же сталось с великой кампанией по спасению начальника полицейского управления Крамнэгела, начатой с такою помпой не кем иным, как генералом Камбермором и вечной полицейской женушкой Эди Крамнэгел,— кампанией, которая уже обошлась бывшей Великой Британии в половину национального дохода от продажи сыра «чеддер» в будущем году? Неужели мои друзья и коллеги-читатели (привет вам, друзья!) сыты по горло старомодными рыданиями в платочек и уже готовы забыть тех, кто все равно сошел с пробега?»

Эди возмутилась злобным тоном статьи, но редактор лишь пожал плечами:

— Газета есть газета, Эди, вы же понимаете. Вы ведь напечатали у нас, что вам было нужно, факт? Публике начхать на то, что говорят газеты, если это говорят газеты, сказал ли это Уолт Уитмен или Орсон Уэллес, или еще кто — неважно, кто именно, важно, что правильно сказал. Поймите, Эди, у Реда Лейфсона в нашем Городе полно врагов. Мы только потому его и держим: его ведь по большей части читают из злости. А эта его статейка только вызовет сочувствие к вам, честно говорю.

Правильно. А дело было в том, что мало кто любил Крамнэгела, когда тот был на вершине славы, и факт его падения никоим образом не способствовал увеличению числа его сторонников. Не нашлось ему значительной поддержки и среди законодателей общественного мнения — другой источник дохода, откуда можно было ждать крупных сумм при небольшом количестве жертвователей. Так называемое «свободное общество» никогда не отличалось милостивым отношением к своим жертвам. Оно неизменно проявляет больше благотворительности, чем милосердия, потому, наверное, что затраты на благотворительность снижают сумму налогообложения, а милосердие лишь попусту съедает время. У столпов местного общества, привыкших думать лишь о наиболее легких путях обогащения и об образе жизни, наглядно демонстрирующем успех, просто не оставалось времени ни на что, кроме удачливых и прибыльных деяний, особенно с тех пор, как исполняющим обязанности начальника полиции стал Ал Карбайд, тем более что он перестал показывать зубы. Напротив, он относился теперь к Джо Тортони, Бутсу Шиллигеру, Милту Роттердаму и другим широко известным и уважаемым в обществе бандитам и мошенникам со всей почтительностью, какая подобает их высокому положению на социальной лестнице. Мэр Города даже устроил на своем ранчо небольшой ужин с купанием в бассейне, на который пригласил всех почтенных мошенников вместе с достаточно гибкими представителями юридического и политического мира, причем счел возможным включить в число гостей и Карбайда, чего он никогда не позволил бы себе с его предшественником, так как Крамнэгел всегда казался ему человеком слишком глупым, на которого нельзя положиться ни в добре, ни во зле. А поскольку мэр считал— и временами даже искренне,— что ухитряется творить добро посредством зла (исходя из той же логики, согласно которой лекарства для больных можно покупать и на фальшивые деньги, если никто не знает, что они фальшивые), он, вполне естественно, чувствовал себя намного спокойнее, имея дело с откровенной осведомленностью Карбайда, нежели с неуклюжим лукавством Крамнэгела.

Единственное, чего смогла добиться Эди от тех, кто присутствовал на чествовании Крамнэгела три месяца назад, было сочувственное письмо от губернатора, подписанное в его отсутствие (отсутствовал он, надо полагать, в соседней комнате) секретарем, да обещание монсеньора Фрэнсиса Ксавьера О'Хэнрэхэнти послать Крамнэгелу составленный им сборничек утешительных изречений для тех, кто сбился с пути истинного, с предисловием архиепископа Бостонского.

Хотя звезда полицейской славы Крамнэгела быстро закатывалась, на его горизонте уже начала восходить другая. Поскольку старик Гарри стал для него исповедником, которому он изливал всю накопившуюся в душе горечь, они частенько усаживались поболтать в уединенных уголках тюрьмы. Вернее, говорил — и без удержу — Крамнэгел, а Гарри слушал как ребенок, раскрыв рот. Пробелы в своих познаниях Крамнэгел заполнял фантазией и поэтому вскоре стал для старика светочем премудрости. Крамнэгел говорил о Джесси Джеймсе, Малыше Сиско, Диллинджере, Капоне, Эллиоте Нессе так, будто лично знал их всех и не раз обменивался с ними словами и пулями. Его рассказы о старых американских гангстерах были опоэтизированы той же романтической эйфорией, которая заставила людей забыть весь ужас воздушных боев первой мировой войны и придала им характер прекрасного эпоса.

Старик, не ведавший в жизни иного источника знаний, кроме комиксов, временами впадал в меланхолию.

— Всю жисть,— говорил он, уставясь в пространство и сморщив лицо так, что подбородок придвигался к самому носу,— да, всю жисть я работал в одиночку. Никак не попадался партнер, чтоб, значит, слепить с ним скок в пополаме [1].

— Тут стыдиться нечего, тут гордиться нужно. Диллинджер тоже был одиночка. Его и пришили-то, когда он выходил из киношки один.

Гарри изобразил автоматную очередь и сделал вид, будто падает мертвым.

— Во-во, так оно и было,— не улыбнувшись, продолжал Крамнэгел.— А вот Капоне — этот другое дело. Аль всегда хотел, чтоб вокруг него толпились люди Без своей банды он был ничто, один он не испугал бы и ребенка. Но когда собирались его ребята, тут уж хоть святых выноси, до того они были отчаянные.

— Я нашпигую тебя свинцом, бэби.

— Еще бы, чего-чего, а пуль у них хватало. Уж если скажут, что продырявят кого, так продырявят за милую душу. и никаких гвоздей. В наше время их сочли бы неэкономными, теперь-то мы стреляем аккуратно прямо в цель, но те старички любили палить из кармана. В былые времена, как попадешь в Чикаго и увидишь парня с дырой в кармане, можешь ставить свой последний доллар — гангстер, и все дела.

Гарри даже присвистнул — до того трудно было такому поверить.

— Точно тебе говорю. Знавал я в Чикаго одного типа, твоего примерно возраста, ну, может, чуток помоложе был Звали его Израэл Менделсон — еврей был, портной, все звали его просто Иззи, так он жутко разбогател на одной штопке карманов для гангстеров. Целое состояние нажил! Когда бросил работать, купил себе домину в Майами — это знаешь где? Во Флориде. И поставил в гостиной орган. Умер не так давно. Денег у него развелось точно грязи, и самое смешное, что ни он, ни его жена на органе отродясь не играли, а детей у них не было.

Оба задумались над столь горькой иронией судьбы, и вдруг Гарри спросил:

— А банки эти ребята грабили?

— И еще как! Но большинству из них не было в том нужды. Они так разбогатели, что начали банки скупать.

— То есть как это? — оторопел Гарри.

— Банкиров шантажировали.

Гарри снова присвистнул.

— Точно. А вот одиночкам приходилось попотеть, чтобы взять банк. У таких ребят, как Джесси Джеймс, первая заповедь была: никогда не входить в банк через парадную дверь.

— А я всегда через парадную! — разволновался Гарри.— Берешь напильник, проволоку...

— Ты что, сдурел?

— А как бы ты пошел?

— Только через черный ход.

— Мне его не найти ипочем.

— Тогда через окно.

— Я ростом не вышел, не достану. А с лестницей враз заметут, если без напарника.

— Я тебе вот что скажу, Гарри. Нынешние медвежатники-одиночки, они, конечно, соображают, что времена меняются и что даже одиночке надо шагать в ногу с про-

---

[1] Жаргонное выражение, означающее «совершить вдвоем ограбление».

грессом. Сегодня под Джесси Джеймса работать смысла нет — понаставили везде скрытых камер и всякого такого дерьма, так что сколько себе чулок на голову не напяливай, все равно в конце концов заметут. Поэтому многие из нынешних — я их зову «новой волной в преступности» — вообще не лезут ни в двери, ни в окна.

— А как же?.. Не, не говори, я сам догадаюсь... Через чердак, да?

— Не-а. Они, значит, берут взрывчатку и пробивают в стене дыру. Все надо планировать заранее, понял? Потом другим зарядом отшибают от сейфа дверь, а если кто помешает — ну, тем хуже для него, пусть не лезет. Налетчик тогда швыряет три-четыре бутылки с горючей смесью, и начинается пожар. А ничто так не пугает, как пожар. Я вот одного знал — взяли мы его в конце концов, хоть он от нас десять месяцев бегал, звали его Джо Корилли, или короче Джо, а полностью значит Джозеф,— так он именно таким путем в банк и проник. Тоже один работал. Все подготовил заранее: в семь вечера заявился, значит, в банк, одетый под водопроводчика, и заложил часовую бомбу. Ну, она и грохнула в час ночи, как положено, и он пролез в банк, взорвал вторым зарядом сейф, а тут как раз подъезжает к банку патрульная машина — банк-то стоял на «стороже»,— заходит, значит, полицейский вовнутрь через пролом в стене, а Джо знаешь что учудил? Взял и крикнул полицейскому сдавленным голосом: «Скорее... вызывайте подмогу... в сейфе пожар... Я ночной сторож...» — и с этими словами швырнул бутылку с горючей смесью. Ну, полицейский как услыхал «пожар», так и побежал в машину вызывать по радио пожарную команду, вместо того чтобы открыть огонь по Джо. А Джо тем временем отворил изнутри входную дверь и преспокойно, как хозяин, вышел из банка на шестьдесят две тысячи долларов богаче, чем был, когда вошел. И поймали мы его только десять месяцев спустя — взяли по обвинению в похищении с целью изнасилования, когда он пересекал границу штата с одной девицей. При обыске у него нашли пять тысяч еще в банковских упаковках. Я эту историю помню, потому что именно мне пришлось закатить тому патрульному — Келли его звали — головомойку за то, что он не пристрелил Джо а побежал звать на помощь.— Крамнэгел рассмеялся.— Я, должно быть, здорово ему тогда мозги прочистил, потому как в следующий раз он нарвался на настоящего водопроводчика и, ни слова не спросив, открыл огонь.— Крамнэгел снова помрачнел.— На этом Келли и спекся. Вышибли его психиатры из полиции.

Астматически хрипя, Гарри в изумлении покачивал головой.

— Не, не пойму, как он это сделал,— пробормотал он наконец.

— Кто, Келли?

— Не, не Келли, Джо. Не пойму, и все тут.

— Я ведь тебе объяснил,— сказал Крамнэгел, уже теряя терпение.

— Ну да, объяснил. Я потому и говорю, что не пойму. Бомбу-то ведь сделать надо, нет? Ее ж у «Хэрродса» не закажешь. Потом эти бутылки с горючей смесью...

— Ну это не проблема. Я тебе за час такую бомбу смастерю, что живо в тюремной стене дырку продырявит.

— Что ж до сих пор не смастерил?

— Чокнулся ты, что ли? Где ж я здесь материал возьму?

— А что для бомбы надо?

— Сейчас расскажу...

И Крамнэгел начал перечислять на пальцах ингредиенты и чертить прутиком на земле схему. Гарри впитывал в себя премудрость как ребенок, которого учат азбуке. Перед ним раскрывался мир безбрежных возможностей.

Два дня спустя Гарри выходил на свободу. Прощание было дружеским и трогательным — печальным и в то же время возвышающий дух момент. Со слезами на глазах протянул Гарри руку своему наставнику. При виде его слез у Крамнэгела перехватило горло и невольно задрожали губы.

— Ты знаешь, дружище, мне даже уходить отсюда не хочется,— пробормотал Гарри

— Иди, дружище, иди и покажи им там... И за меня покажи... за Большого Барта...

И надзиратель повел старика навстречу немилой его сердцу свободе.

Для Крамнэгела освобождение Гарри оказалось катастрофой. До ухода Гарри он не отдавал себе отчета в том, до какой степени тот стал ему необходим — как в роли дружелюбного пусть и не совсем нормального слушателя, так и в роли исповедника, которому можно излить душу. С его уходом вокруг Крамнэгела воцарилась тишина, и на него навалилось то ужасное состояние, которое мучило его в первую тюремную ночь, он снова увидел вокруг себя заключенных и обнаружил, что за неимением других заня-

тий изучил всю обстановку своей камеры до тошнотворных подробностей. Об апелляции не поступало никаких новостей, письма от Эди приходили все реже и становились все короче, а улыбка священника — все наглее.

Затем, шесть дней спустя, около семи часов утра сильнейший взрыв потряс Найтсбридж [1], и весь эдвардианский фасад здания «Манчестер коттон бэнк» с его карнизами, горгульями, бойницами, башенками и прочими финтифлюшками обрушился на мостовую, полностью перекрыв движение. Прохожих на улице в этот час, к счастью, не оказалось, хотя кинувшиеся к месту происшествия люди и нашли там старика водопроводчика со сморщенным лицом, выхаркивавшего в клубах пыли легкие. Сначала полиция приняла Гарри за невинно пострадавшего человека, случайно оказавшегося на месте катастрофы, но у одного из констеблей вызвали подозрения три канистры, висевшие на обмотанной вокруг талии старика веревке.

— Зачем они вам? — спросил констебль, но Гарри все еще бился в тисках сильнейшего кашля и ничего членораздельного ответить не мог.

— Как по-твоему, Билл, что это у него такое? — спросил констебль у коллеги и услышал в ответ:

— На мой взгляд, канистры с горючей смесью.— После чего полицейские переглянулись, затем пристально посмотрели на старика и все поняли.

В участке Гарри быстро опознали, поэтому ему разрешили сесть, и теперь он сидел, завернувшись в одеяла, потягивая сладкий горячий чай, и отвечал на вопросы примчавшегося из Скотланд-Ярда Пьютри, решившего, что акт столь невероятного вандализма обязательно должен иметь либо политическую, либо расовую подоплеку, ибо чем же еще объяснить его размах, неистовство и явное отсутствие профессионализма в исполнении?

— Но почему вы взялись именно за «Манчестер коттон бэнк», Гарри? Почему? Вы, случайно, не спутали его с каким-нибудь другим зданием?

— Спутал? Как бы не так,— сплюнул Гарри.— Я знал, что делал.

Пьютри переменил тон:

— Вы работали без помощников, старина?

— Я всегда работаю только один.

— Я знаю, что так оно всегда и было, но человек ваших лет не станет, черт возьми, обрушивать фасад банка просто так — ни с того ни с сего. Кто еще работал с вами, Гарри?

— Никто! — сверкнул глазами Гарри.

— Тогда скажите, сколько вам заплатили? И кто?

— Я сам. Я сам собирался заплатить тем, что оттуда вынесу.

Пьютри поднялся со стула.

— Не заставляйте меня тратить зря время, Гарри. Я человек занятой.

— Я тоже был занятой, пока меня не сволокли сюда.

Сыщик наклонился к Гарри, придвинул лицо к самому его носу и попробовал очень мягкий, очень деликатный подход:

— Здесь замешана политика?

— Чего?

— Кто вам заплатил? Арабы? Или ирландцы?

— Да не-е. Зато вот ему теперь будет что рассказать.

— Кому, Гарри? Кому?

Гарри крепко сжал челюсти, так что даже губы исчезли. Он молчал.

Пьютри вздохнул.

— Вам теперь легко не отделаться, мой мальчик Гарри. Вам семьдесят шесть лет. Это ваш двадцать девятый арест. И если раньше суд всегда проявлял к вам снисхождение — именно потому, что вы работали в одиночку,— то теперь вы выступаете как участник шайки, причем, извините меня, самый глупый ее участник, который берет все на себя, в то время как остальные продолжают гулять на воле. Нет, теперь от суда снисхождения не ждите. К тому же на этот раз вы попались не на мелочи, не на каких-нибудь серебряных подсвечниках. Вы уничтожили черт знает на сколько миллионов частной собственности, так что я не удивлюсь, если...

Пьютри запнулся, потому что в глазах Гарри вдруг вспыхнул огонек, зажженный сознанием исполненного долга. В них так и светились уничтоженные им миллионы, и

[1] Фешенебельный район лондонского Уэст-Энда, известный своими ювелирными магазинами.

в сердце Пьютри впервые закралось неприятное подозрение, что старик действительно работал один.

— Ну, хорошо,— сказал он устало.— Допустим, у вас не было соучастников.

— Так-то оно лучше. Больше похоже на правду,— сказал Гарри.

— Почему вы маскировались под водопроводчика?

— Под кого же мне еще маскироваться?

— Почему вы не пошли на дело в своей обычной одежде?

— Меня слишком хорошо знают, нельзя было рисковать. И вообще, когда у них идут брать банк, почти всегда переодеваются водопроводчиками.

— Где это «у них»?

— В Дикси [1].

— В Дикси медвежатники обычно переодеваются водопроводчиками, когда идут на дело. Вы это хотите сказать?

— Вот именно.

— Откуда, черт побери, вы это узнали?

— Слухом земля полнится.

— Слухом, значит. Так-так. А одежду водопроводчика где взяли?

— Взял напрокат в театральной костюмерной мастерской Абрахамса.

— Ну, хоть с этим разобрались,— сказал Пьютри своему помощнику.— Отправьте костюм обратно к Абрахамсу. Так, а горючая смесь вам на что?

— Проникнув в банк, я собирался его поджечь.

— Вы соображаете, что несете? Сержант, этих слов в протокол не записывать!

— Конечно, соображаю! Если б в дыру, которую я проделал в стене, полезла полиция, я бы сказал им, что в банке начался пожар, а чтоб они в этом не сумлевались, бросил бы туда одну из своих малюток, ясно?

— Но как вы вообще додумались до взрывчатки и горючей смеси? Кто вам изготовил бомбу и смесь?

— Я сам все изготовил! — рявкнул Гарри.

— Ни черта вы сами не изготовили! — закричал в ответ Пьютри.

— Не верит,— вдруг захихикал Гарри.— Он мне не верит! — И снова сцепил челюсти так, что исчезли губы.

Пьютри раздраженно посмотрел на него.

— О, боже мой, только этого еще не хватало. Ну, хорошо, вы сами ее изготовили, сами.

— Так-то оно больше на правду похоже.

— Но кто же вас научил?

— Сам сделал. А кто учил — неважно.

— Мне как раз важно.

— Сам сделал, и все тут.

— Да вы же в жизни ничего сами не сделали.

— Спорим?

Придя в отчаянье, Пьютри сгреб Гарри за плечи, рывком поднял его из кресла и завопил:

— Кто?! Кто вас надоумил, Гарри?!

— Он,— ответил Гарри испуганно.

— Кто он?

— Барт. Мой кореш. Большой янк с веснушками. Лучший стрелок на Западе. Дрался с Диллинджером.

— Крамнэгел? — переспросил Пьютри, не веря собственным ушам.

— Во-во, он самый.— Гарри был полон желания поддержать репутацию друга.— И он совсем не виноват, что у меня не вышло. Он-то мне все растолковал как надо. Он не виноват — просто она у меня грохнула раньше времени. Я, наверно, не тот провод к будильнику подсоединил, или он отошел, или будильник я взял какой-то барахольный, кто его знает. В общем, она должна была рвануть в час ночи, а рванула, только я ее поставил.

— Как вы прибыли на место преступления?

— Автобусом.

— Народу ехало много?

---

[1] Распространенное название южных штатов США.

— Пришлось стоять.

Пьютри закрыл глаза: его било мелкой дрожью.

— Ну, хоть она и рванула раньше положенного, я все равно мог забраться вовнутрь и взять деньги. Одного вот только не учел.

— Чего же именно?

— Пылищи. Я же еще в первую мировую наглотался газа, а потом схватил туберкулез. Одно осталось легкое. Вот про пыль я и не подумал — дышать-то не смог, а то б пролез вовнутрь и зажег горючку.

В Скотланд-Ярде все забегали. Снеслись с тюрьмой. Майор Эттлиси-Гор опросил надзирателей, и один из них припомнил сцену прощания друзей.

— Так точно, сэр, ясно помню, как Крамнэгел говорил Гарри: «Иди покажи им — с приветом от меня, от Большого Барта».

— Вот как,— мрачно произнес майор.— А еще с кем-нибудь этот Большой Барт беседовал, вы не заметили?

— Никак нет, сэр, он ведет себя очень замкнуто,— доложил другой надзиратель, и все его коллеги подтвердили то же самое, за исключением одного, который видел, как Крамнэгел не раз прикуривал у Неда Прэтфолда. Майор Эттлиси-Гор сразу насторожился. Нед Прэтфолд был одним из самых многообещающих талантов преступного мира Британии — больше, правда, пока обещающим, чем добившимся рекордных результатов Нет, все эти прикуривания не пришлись начальнику тюрьмы по душе. Где-то в глубине его подсознания засело туманное изображение американских гангстеров. неизменно обсуждающих каждый свой отчаянный шаг, прикуривая друг от друга, обжигая спичками палец за пальцем. Весьма вероятно, что это была всего лишь картина, навеянная виденными в юности гангстерскими боевиками, но кто знает, как попадает в наш мозг добрая половина содержащейся в нем информации? Достаточно будет сказать, что вставшая перед умственным взором майора сценка подействовала на него весьма убедительно, и по его просьбе Крамнэгела перевели в отделение максимально строгого режима расположенной на морском острове тюрьмы — как раз в тот день, когда апелляцию Крамнэгела отклонили.

11

Узнав о случившемся, сэр Невилл был вне себя — не столько от гнева (за всю свою жизнь он так и не научился отводить им душу в тяжелую минуту), сколько от беспомощности и сознания того, что с его ведома и отчасти даже его именем попираются каноны справедливости. Подобных и еще более трагических случаев полна история. Склоняясь перед обстоятельствами, правосудие часто творится безжалостно и наспех, буква закона редко оказывается способной объективно воздать за совершенный грех, и несть числа смертным приговорам, вынесенным дрогнувшим голосом и нетвердой рукой.

Сейчас, правда, о казни не шло и речи, так что сэр Невилл был избавлен от душевных мук, которые выпали бы на его долю, будь приговор по подобному делу вынесен сто лет назад. Но все равно даже самая незначительная судебная ошибка, хоть на гран допустившая отклонение от справедливости, так же непростительна, как и ошибка, вопиющая в своей очевидной грубости. Можно было пытаться утешать себя тем, что Крамнэгел никак не походил на героя. Он не Андре Шенье, способный найти бессмертные слова в тот момент, когда была доказана его принадлежность к смертным. И все же общие представления о том, что такое героизм, изменились настолько — хоть это и не облечено в слова, но, по крайней мере, подсознательно признано,— что Крамнэгел, сей огромный, грубый, крикливый и тупой бурбон, скорее мог воззвать к чувствам современного человека, нежели утонченный и изысканный поэт в рубашке с распахнутым воротом...

Горячо сочувствуя молодежи, сэр Невилл соглашался с большей частью ее жалоб и протестов, и если в своей поддержке молодых не заходил далеко и не одобрял их, когда они били по голове полицейских, то лишь потому, что считал, что они бьют не по тем головам, по которым следовало бы. Не испытывал он и тяги к бунту, в отличие от некоторых своих сверстников, пытающихся вспрыснуть подобным образом в свои умирающие вены немного живительной влаги. Напротив, подобно большинству холо-

стяков, он чувствовал себя старше, чем был на самом деле, выглядел моложе своего возраста и со всем смирился.

Однако некоторые его друзья встревожились тем, что столь блестящий человек начал проявлять растущие признаки беспокойства. Не будучи от природы грубым, он все чаще стал затевать ссоры. Друзья сэра Невилла высказывали предположения, что всему виною перемены в образе жизни (предположения, вероятно, отчасти справедливые), и тем не менее недуг носил столь явно интеллектуальный характер, что только слепой мог принять причину за следствие.

Дело в том, что сэр Невилл занимал пост главного прокурора вот уже почти три года; срок его пребывания в этой должности подходил к концу. Что станется с ним потом — это уже его дело, но пока ему приходилось жить в заточении своего кабинета, в панцире официального костюма, терзаясь значительной, хотя и ограниченной ответственностью. Случались дни, когда он влетал в свои клубы с таким видом, точно готов был кого-нибудь ударить, но вместо этого натыкался на хорошо знакомого и принимался за самокопанье, приправленное чувством юмора, что помогает и сохранить лицо, и вовремя остановиться.

Однако иногда ему все-таки случалось взорваться, наткнувшись на какого-нибудь сэра Иниго (фамилия его писалась Чивернейкс, но произносилась Чинни), мертвенно-бледную, выжившую из ума мумию из бывшего министерства колоний, или на багроволицего, вечно ворчащего и трясущегося от злости бизнесмена сэра Пола Гора.

— Нет, Н. Н., это никуда не годится — услышать такое от главного прокурора, просто ни в какие ворота не лезет. Что подумают иностранцы, услышь они вас? И так в доброй старой Англии стало не продохнуть от всякой пакости, набившейся из колоний. А уж что сказал бы мой дражайший дед? Могу себе представить! Повернулся бы, наверное, к Асквиту[1] или к тому, кто этим ведал, и спросил бы без обиняков: «Не слишком ли мы миндальничаем с черной костью?» Он никогда не грубил, наш первый лорд Гор, но подколоть умел. И вас, Н. Н., он бы уж никак по головке не погладил, убежден. Он был много талантливее меня, хотя я оставлю намного больше денег после своей смерти, но, видимо, нельзя иметь все сразу. Так вот, как я вам говорил, пока речь не зашла о моем предке: в стране нашей развелось столько всякой накипи из колоний, что Англии не узнать. Заезжаю я тут в воскресенье в соседнюю таверну пропустить стаканчик — и что же вижу? Сплошные негры, пакистанцы, барменша и та из Югославии. А американцы — те вообще едут и едут. В газетах только и читаешь, что они проглотили еще одну почтенную старую фирму, а потом, когда их полицейский приезжает сюда и превращает старинную английскую деревеньку в какое-то Чикаго, вы еще хотите этого мерзавца отпустить восвояси! Я вам скажу, что бы я сделал, будь моя воля. И не сомневаюсь, что деду бы это понравилось. Вывез бы из Синг-Синга дюжину профессиональных американских гангстеров и приговорил бы этого полисмена с непроизносимым именем к казни, причем чтобы казнь эту осуществили его же сородичи.

Сэр Иниго выражал свои мысли экономно, вероятно потому, что провел изрядную часть своей долгой жизни в тропиках, а не среди сырых торфяников подобно лорду Гору, который, казалось, всегда говорил не для того, чтобы высказать мысль, а для того, чтобы разогреться.

— Розга эффективнее виселицы. Виселица бесчестит, розга лишь унижает,— проскрипел сэр Иниго.— Держите в каждом доме моченую розгу, и в ваших исправительных заведениях будет тихо, как в больнице Челси.

— Ваша точка зрения, возможно, и была бы правильной применительно к Британскому Гондурасу тысяча восемьсот семидесятого года, то есть времен вашей молодости, сэр Иниго, но у нас сегодня такой метод могут одобрить разве что в домах терпимости. Вероятно, с вами согласятся еще и те, кому из-за отсутствия материнской любви пришлась по душе жизнь в частных закрытах школах, но вряд ли согласится кто-нибудь еще,— заявил сэр Невилл и нажил себе еще одного врага.

С лордом Гором он не потрудился полемизировать вообще, ограничившись лишь напоминанием о том, что одна из его собственных компаний — «Горекс», производящая лампочки, батарейки и тостеры, только что стала так называемым «уважаемым членом» американской корпорации «Морнингсайд», более известной своими крематориями из сборных панелей и пластиковыми корпусами для счетчиков на автомобильных стоянках.

---

[1] Генри Герберт Асквит (1852—1928) — видный деятель либеральной партии, премьер-министр Великобритании с 1908 по 1916 г.

— Я вовсе не прикидываюсь, будто не похож на других,— прорычал лорд Гор.— Я, слава богу, не такой фарисей, чтобы бить себя в грудь и кричать, что я лучше своих соседей. Я лишь говорю, Н. Н., что вы из тех немногих, с кого мы еще можем брать пример.

— Интересно, согласился бы с вами ваш дед?

Намек был столь прозрачен, что даже лорда Гора привел в недоумение. Ничего не поняв из слов сэра Невилла, он пришел к заключению, что тот оскорбил память его деда, и выскочил из комнаты, бурча себе что-то под нос насчет нежелания сидеть за одним столом со всякими большевиками.

— Почему бы вам не отдохнуть от ваших клубов? — спросил Билл Стоккард сэра Невилла, когда тот вернулся на работу.

— По-вашему, они для меня вредны?

— Сейчас — да, и даже очень.

— Сейчас? Вы считаете, что я нездоров?

— Этого я не могу сказать. Но вы последнее время на себя не похожи. И я заметил, что по утрам вы себя чувствуете лучше. Однако складывается впечатление, что вы с нетерпением ждете обеда, а потом возвращаетесь с обеда расстроенный и уже ничего не можете делать и уходите без пяти шесть. Когда вы уходите, я слежу за вами из окна. У вас даже походка меняется. Вы сутулитесь и семените мелкими шажками.

— Да вы и вправду за мной следите!

Билл вынул из стола пачку промокашек.

— Вот, взгляните, сэр. Раньше вы всегда оставляли свой кабинет в таком же безупречном виде, в каком он был до вашего прихода. На вашем столе не было ни пылинки. Вы никогда не прикасались ни к календарю, ни к промокашке, потому что держали в голове все телефоны и дела. Мне казалось, что вы гордились этим. А сейчас...

Он веером разложил на столе промокашки, словно колоду огромных карт.

— Вы каждый день изводите по штуке — вот, пожалуйста!

Все промокашки были исчерканы, покрыты сложными геометрическими фигурами, изображениями отрубленных голов, тонущих кораблей, причем линии были прочерчены с такою силой, что местами прорвали бумагу.

— Н-да, если посмотреть на дело с этой стороны...— задумался сэр Невилл.— И все равно, класть мне каждый день на стол новую промокашку — просто расточительство.

— Я все время надеялся, что это заставит вас опомниться.

— Совесть курильщика скорее пробудится, если он увидит полную пепельницу на другое утро после вечеринки.

— Что ж, могу оставить вам исписанные промокашки...

— О нет, спасибо,— рассмеялся сэр Невилл, и вдруг в нем проглянул славный, мягкий и легко ранимый человек.— Вы очень добры ко мне, Билл,— сказал он.

— Трудно работать с человеком, не имея...— Билл замялся и, посмотрев на сэра Невилла, отважился довести свою мысль до конца: — Мы тут с Эллен — это моя жена — подумали как-то, что, может быть, вы согласились бы сделать в своей светской жизни перерыв и поужинать с нами.

— С большим удовольствием, Билл,— тихо ответил сэр Невилл.

— Мы живем в маленькой квартирке в одном из этих огромных современных домов, поэтому Эллен сначала хотела вызвать на вечер няню для детей и пригласить вас поужинать с нами в ресторане, но я воспротивился. Я сказал ей, что в вашем нынешнем состоянии вам будет много полезнее побыть у семейного очага, пусть даже и очень скромного.

— На какой день назначаете, доктор? — подмигнул ему сэр Невилл.

— Как насчет завтра? — Настойчивость Билла объяснялась одним: он понимал, что сэр Невилл остро и безотлагательно нуждается в помощи.

— Отлично.

— Вот и прекрасно. Я напишу вам адрес на бумажке.

— Не надо писать, Билл, я и так запомню,— ответил сэр Невилл.— Право же, запомню.

Сэр Невилл не только запомнил адрес, но даже и не забыл вовремя исчезнуть с дегустации вин, сославшись на мигрень.

То ли на него подействовала уютная теснота квартирки, в затемненных комнатах которой спали с приоткрытыми дверьми дети, то ли общество иной, нежели миссис Шекспир, женщины, но ужин в семье Стоккардов сразу же начал оказывать на него

целебное воздействие. Миссис Стоккард оказалась проворной, толковой и мягкой женщиной с открытым взглядом задумчивых зеленых глаз, в которых сверкали черно-желтые искорки, и с породистым, чуть вздернутым носиком, слегка раздувавшимся в ноздрях. Ей часто приходилось вставать из-за стола, поскольку она была и поваром, и официанткой, и хозяйкой. В ней было что-то от женщины, носящей толстую шерсть и разъезжающей в фургоне, но голос ее и манеры были лишены аффектации.

Сэр Невилл смотрел на нее с удовольствием, и это было столь неожиданно, что даже вызвало у Билла улыбку.

— Я рассказал Эллен об этой истории с Крамнэгелом,— заметил Билл,— и она во многом разделяет вашу точку зрения.

— О, вот как?

— Тягостная история,— сказала миссис Стоккард.— Тем более тягостная, что уж очень она нелепа. Ведь ее можно воспринимать серьезно только потому, что это действительно произошло. А иначе в жизни не поверишь, что такое может быть.

— Абсолютно точно. Самое же неприятное заключается в том, что произойти может все что угодно, как мы, к своему ужасу, узнаем.

— А какого вы мнения о Крамнэгеле? — спросила миссис Стоккард.— С вашей точки зрения, это высокопоставленный кретин?

— Дело даже не в этом, миссис Стоккард, а в том, что в разных концах света под словом «разум» понимаются разные вещи, и в отличие от денег стандарты разума нельзя перевести из одной валюты в другую. Крамнэгел не укладывается в стандарты нашего понимания не потому, что они выше или ниже американских, а потому, что они абсолютно и коренным образом отличаются от них. Я никогда не был в Америке и не имею ни малейшего намерения ехать туда, но у меня тем не менее складывается твердое убеждение, что американцы до сих пор так и не оправились от шока, полученного ими, когда они вырвали у нас свободу.— сие достижение весьма легко поддается преувеличению, учитывая то состояние, в каком мы пребывали в те времена,— но, может быть, мы будем понимать их лучше, когда настанет наша очередь вырывать свою свободу у них. Как бы там ни было, мы с ними придерживаемся разных представлений о свободе. Мы знаем, что свобода — подобно никотину, алкоголю и сплетням — приятна и даже полезна в малых дозах, но злоупотребление ею может привести к летальному исходу.

В результате — и, надо думать, к сожалению — мы привыкли жить, употребляя даже меньше драгоценного снадобья, чем надо бы. У них же запасы исчерпываются до дна, как только проклевывается жила, вероятно, поэтому они кажутся нам похожими на врача, который вводит больному такое количество противоядия, что больной заболевает. В качестве примера позвольте вам сказать, что в ходе следствия по этому делу я узнал, что у них во многих городах судьи и начальники полиции избираются голосованием, и при том, как обстоят там дела, я не удивлюсь, если узнаю, что и жертвы у них тоже избираются.

Ужин у Стоккардов встряхнул и оживил сэра Невилла, но и заставил его по-хорошему взгрустнуть. Прежде чем погасить ночник, он долго смотрел в потолок и плыл на волнах воображения.

На следующий день сэр Невилл явился на службу очень пунктуально, и его промокашка до конца дня хранила первозданную чистоту. Обедал он в ресторане с Биллом и работал допоздна. Среди людей, которым он звонил в тот день, был и Пьютри; сэр Невилл высказал ему свое неудовольствие: зачем потребовалось наказывать Крамнэгела за то, что он рассказал выжившему из ума старику, как изготовить горючую смесь.

— Тут можно возразить, что Крамнэгел несет ответственность за случившееся, поскольку он прекрасно знал, сколь по-детски впечатлителен и легко поддается убеждению Гарри Мазерс.

— Можно, но не должно,— резко ответил сэр Невилл.— Крамнэгел сам так же по-детски впечатлителен и так же поддается убеждению, а кроме того, можно возразить, что, поскольку Гарри Мазерс старше Крамнэгела, ему следовало бы знать, что к чему.

— Он так стар, что уже просто выжил из ума.

— То же самое можно сказать о судье Плантагенете-Уильямсе, но до сих пор ему это не мешало.

Теперь сэр Невилл ждал лишь удобного случая, чтобы обратиться по поводу Крамнэгела непосредственно к министру внутренних дел. Срок его пребывания на занимаемой должности истекал, а вместе с ним истекало и терпение.

Крамнэгел в своем новом обиталище попал в атмосферу иную, нежели в прежней

тюрьме. Надзиратели здесь казались моложе и подтянутее, заключенных было меньше, и они принадлежали к другой породе. Несмотря на то, что поток писем от Эди давно превратился в обмелевший ручеек и из длинных и исступленных они стали короткими и грустными, у Крамнэгела несколько поднялось настроение — отчасти, наверное, благодаря осознанию того, что он не поддается, а, стиснув зубы, борется за существование, но вполне возможно и потому, что он снова почувствовал себя причисленным к сливкам общества, пусть даже это были сливки преступного общества. В его новой тюрьме содержался Эдвард Тайхоу, получивший сорок лет тюремного заключения за шпионаж — продажу за границу некоторых из все еще имеющихся в Англии секретов. Правда, его волнистые светлые волосы и скошенный подбородок не соответствовали представлениям Крамнэгела о шпионах. Сидел там и Джереми Сабак, один из братьев-мальтийцев, повинных в смерти не менее сорока видных членов преступного мира. Их считали столь опасными, что почти в каждой тюрьме сидел кто-нибудь из этой семейки, но нигде не содержали больше чем одного. Познакомился Крамнэгел и с Портером Эллисоном, Ноэлом Бурпейджем, Уильямом Гансмитом и несколькими другими ловкачами по части продажи автомобилей, которые прикарманили четыре миллиона фунтов стерлингов, захватив перевозивший золотые слитки «боинг». Дело это изрядно нашумело в свое время. Пилот «боинга» Перси Каули-Мидлторп — прославленный герой битвы за Британию — до сих пор находился в бегах и считался особо опасным преступником. Снобизм заключенных, обитавших в отделении максимально строгого режима, питался не только сознанием собственной профессиональной исключительности, но и тем, что они зарабатывали изрядные деньги, печатая в журналах из номера в номер рассказы о своих похождениях и даже публикуя свои мемуары. Всех их раздражал Тайхоу, поскольку никто не мог за ним угнаться. Он спокойно отказался от услуг литературных обработчиков, заявив своим размеренным тихим голосом, что не позволит засорять свой литературный стиль дешевым журнальным жаргоном.

Его книга вышла в свет вскоре после прибытия в тюрьму Крамнэгела, и собратья по заключению жадно листали критические рубрики газет в поисках рецензий на нее. «Санди таймс» и «Обсервер» отозвались о книге более чем лестно. «Телеграф» же реагировал весьма сдержанно: его литературный критик считал, что шпиону нельзя разрешать наживаться на приговоре к сорока годам заключения. Книга хорошо расходилась, и Тайхоу послал экземпляр с автографом начальнику тюрьмы мистеру Макинтайру-Берду. Прочитав книгу, мистер Берд немедленно созвал совещание персонала с целью усилить меры по обеспечению охраны.

Повесть о зловещей карьере братьев Сабак увидела свет в нескольких номерах журнала «Новости мира», а захват «боинга» освещался журналом «Народ».

К Крамнэгелу поначалу относились без того уважения, к которому он привык в прежней тюрьме, главным образом потому, что английский преступный мир достиг зрелости, позволявшей ему держаться независимо от служившего ранее примером американского собрата. Более того, наиболее выдающиеся его представители считали, что американская преступность загнивает и находится в состоянии упадка — не потому отнюдь, что ФБР преуспело в очищении от нее страны, а потому что она начала отклоняться от былого четкого курса на наживу в запутанную область политических и расовых проблем, лишенных какого бы то ни было финансового интереса. Мало того американцы еще позволили хиппи скомпрометировать наркоманию... Однако сам факт пребывания Крамнэгела в тюрьме максимально строгого режима говорил в его пользу и помог ему обрести определенный вес, поэтому когда к нему обратился выходящий огромным тиражом еженедельник «Затемнение» с предложением печатать из номера в номер его мемуары, Джереми Сабак охотно ввел его в круг тюремных литераторов и даже дал ряд ценных практических советов по поводу того, как следует торговаться с редакцией.

«Все расскажу, как знаю» — называлась первая часть воспоминаний Крамнэгела, опубликованная в «Затемнении». Снова раскопали фотографию Эди и рядом с ней тиснули портрет какого-то Гекльберри Финна, больше похожего на персонажа немого кино начала века, чем на Крамнэгела. «Когда взрослые спрашивали меня, босоногого взъерошенного уличного мальчонку, кем я хочу быть, я гордо задирал веснушчатую мордашку и отвечал: «Буду полисменом, чтоб, значит, убивать гангстеров». Мог ли я тогда знать то, что знаю теперь, разглядывая сквозь решетки моей камеры серое английское небо в крупную клетку...» Из текста сразу становилось ясным, что у Крамнэгела появился двойник-англичанин.

Поощряемый большинством грабителей «боинга» и не послушавшись Джереми Сабака, Крамнэгел согласился продавать каждую публикацию своих мемуаров за пятьсот фунтов стерлингов и велел переводить деньги в свой банк в США. Но к советам Сабака относительно авторского права на публикацию своих трудов в других странах он отнесся очень внимательно.

— Рассказы об успешных преступлениях хорошо идут в Италии,— говорил тот,— и при умном подходе к делу можно заиметь целый капитал в лирах. На открытом рынке они почти ничего не стоят, но если нужно уйти «на дно», на них можно уютно и много лет прожить в Сицилии, включая расходы на взятки и покровительство мафии. Хорошо идет товар и в Германии, но там больше любят преступления с политическим или сексуальным уклоном — вот если вставить в текст каких-нибудь амазонок в мехах, высоких сапогах и с хлыстом да еще сделать одну из них бывшей любовницей Геринга, тогда дело в шляпе. В Голландии и Бельгии рынок, конечно, небольшой, но ведь миллионные состояния начинаются с копеечных доходов, а большие деньги со временем приходят сами. Америка? Нет, там слишком сильна конкуренция, да и потом придуманные сюжеты обходятся им дешевле. У них меньше платят по суду за клевету.

В ответ на звонки сэра Невилла начальник тюрьмы сообщал, что в отделении максимально строгого режима установилась необычно спокойная атмосфера. Он объяснял это тем, что наступил разгар литературного сезона, но, разумеется, то, что его подопечные превратились в группу школьников, усердно и старательно корпящих над контрольной, никоим образом не означает, что свойственная им склонность к проказам оставила их навсегда. Начальник тюрьмы ожидал бури после затишья, особенно когда литературные упражнения приведут к тому, что банковские счета авторов пополнятся достаточными суммами и им захочется начать тратить деньги на воле.

И действительно, неделю-две спустя Крамнэгел вдруг ощутил вокруг себя атмосферу необычной напряженности. Без сомнения, человек, не имеющий опыта и подготовки полицейского, не заметил бы ничего из ряда вон выходящего, но в людях, подобных Крамнэгелу, полное отсутствие чувствительности ко многим другим биениям жизни всегда сочетается с обостренным нюхом на назревающие взрывы человеческих эмоций. Здесь проявляется та самая интуиция, которая позволяет им, придя на место преступления, со сверхъестественной быстротой разобраться в происшедшем и мгновенно выделить и арестовать всех, вокруг кого чувствуется атмосфера вины. Подобно тому, как приступ ревматизма предсказывает старику наступление плохой погоды, полицейское чутье подсказывало Крамнэгелу, что под внешне безмятежной гладью существуют мощные подводные течения. Вглядываясь в глаза собратьев по заключению, он пытался уяснить характер, направление и силу этих течений, но для этого было еще слишком рано.

Как-то к концу вечерней прогулки — уже наступило то неопределенное время дня, когда водители начинают включать фары,— Крамнэгел заметил, что налетчики, сидевшие по делу о захвате «боинга», обмениваются такими намеренно лишенными выражения взглядами, что ошибиться в их значении было невозможно. Любопытная особенность человека — всегда либо переигрывать, либо недоигрывать, не умея точно соблюсти чувство пропорции даже в создаваемых им шедеврах. А теперь налетчики стали подтягиваться к одной стороне двора, передвигаясь с подчеркнутым безразличием, явно свидетельствовавшем о наличии тайных намерений.

— Сейчас что-то будет,— уголком рта шепнул Крамнэгелу Сабак.

— Он мне рассказывает,— весь напрягшись, тихо буркнул тот в ответ.

Теперь уже все начали понимать, что назревают какие-то события,— все кроме двух надзирателей. Откуда-то издалека донесся рокот вертолета, словно в воздухе забил крыльями огромный беззащитный доисторический ящер. Надзиратель взглянул вверх и насторожился наконец. Шум исходил непонятно откуда и нарастал с невероятной быстротой. Что-то здесь было явно не так. Устраивать такой шум в городе не положено. Тем не менее он становился все громче и громче, и вот — разинув рты, подобно персонажам фантастического фильма, перепуганным сверхъестественным явлением,— они увидели, как над их головой, словно огромное черное насекомое, появился вертолет и перелетел над тюремной стеной, хитро и ехидно отражая своим единственным выпуклым глазом последние лучи заходящего багрового солнца.

На землю с грохотом обрушились канистры, и из них повалил густой дым. В ответ на робкие выстрелы надзирателей застрекотал пулемет. Один из надзирателей пошат-

нулся и упал, второй схватился за грудь, задыхаясь в жестоком приступе кашля. Вслед за канистрами из вертолета полетели картонные коробки. Крамнэгел рванулся вперед — в облака дыма и слезоточивого газа.

— Куда ты?! — крикнул ему вслед Сабак.

Но Крамнэгел, набрав в легкие как можно больше воздуха, не мог ему ответить. Он вцепился в одну из картонок как раз в тот момент, когда ее начал раздирать, доставая оттуда противогаз, один из налетчиков — Билл Гансмит. Сбив Гансмита с ног мощным ударом в челюсть, Крамнэгел подхватил выроненный им противогаз. В этот момент из люка вертолета вывалилась веревочная лестница, и две фигурки, обе в противогазах, начали карабкаться по ней вверх сквозь дымовую завесу, охватившую уже изрядную часть двора. Вскочив на ноги, Гансмит бросился на Крамнэгела, пытавшегося натянуть на себя противогаз. Сцепившись, оба рухнули наземь. Один из людей на веревочной лестнице замешкался, затем полез было вниз, но второй схватил его за плечо. Пилот беззвучно кричал что-то в стеклянном пузыре своей кабины а лопасти винта с чавканьем и скрежетом рубили воздух. Гансмит вскочил было обливаясь слезами задыхаясь и размахивая руками, но Крамнэгел вцепился ему в лодыжку мертвой хваткой. Пилот решил, что с него хватит, и вертолет полетел прочь. Дымовая завеса оказалась плотнее, чем рассчитывали налетчики, и пилоту пришлось сбавить высоту. Эллисон успел залезть в кабину, но менее черствый Бурпейдж, тревожась за товарища, замешкался на лестнице. Вертолет прошел над самой тюремной стеной; Бурпейдж врезался в нее, и тело его протащило по вмурованным в ее поверхность железным шипам и битому стеклу. Невыносимая боль пронзила Бурпейджа, он выпустил из рук лестницу и рухнул на проложенное вдоль тюрьмы шоссе. Его изуродованное, неестественно сплющенное тело распласталось посреди дороги, и даже противогаз не мог скрыть страшного оскала смерти на его лице.

Когда дым рассеялся, надзиратели с автоматами на изготовку взяли в кольцо Крамнэгела и Гансмита, которые все продолжали кататься по земле, хотя Гансмит наглотался газа так, что его рвало. Крамнэгела удивила ярость с какою надзиратели оторвали их друг от друга, и возмутили удары прикладами под ребра, когда надзиратели погнали его в камеру. Слышно было, что он что-то кричит в противогазе, но надзиратели с перепугу не желали терпеть никакого неповиновения. Крамнэгела втолкнули в тесную камеру, а вслед за ним втолкнули и Гансмита. Минуту спустя в дверь вошел бледный и взволнованный начальник тюрьмы. Надзиратели которым было явно не до шуток, сорвали с Крамнэгела противогаз. На лице его вокруг глаз остались два красных отпечатка — там, где в кожу впились стекла.

— Что, бежать пытался? — забрызгал слюной начальник тюрьмы.

— У меня и в мыслях...

— Молчать! Нет, это вам не поможет. Уж я позабочусь. Не поможет! Я-то собирался обойтись с вами по-хорошему, замолвить словечко перед комитетом по помилованию, но теперь дудки! Ни за что в жизни! А вы, Гансмит, осуждены на двадцать лет, и вам прекрасно известно, что́ вас теперь ждет,— никаких послаблений, никаких пересмотров, отсидите от звонка до звонка, сколько вам сейчас? Двадцать пять? Двадцать шесть? Вот вам и вся жизнь впустую. Что же до вас,— он повернулся к Крамнэгелу, нахмурившемуся от недоумения,— то нам здесь не нужны ваши грязные американские штучки, ясно? У вас семь лет, да? По-моему, мало еще. Вы, говорят, были начальником полиции в какой-то богом забытой дыре? Стоит ли удивляться, что наш мир дошел до такого состояния, если таких, как вы, назначают руководить полицией!

Этот град незаслуженных и несправедливых оскорблений заставил Крамнэгела вскипеть. Лицо его задергалось, запылало от ярости.

— И это ваша благодарность? — прорычал он.

— Благодарность?! — взвизгнул начальник тюрьмы.

— Какого же хрена я, по-вашему, сцепился с этим парнем?

— Вам, кажется, велели заткнуться,— угрожающе рявкнул старший надзиратель

— А вы не суйтесь!

— Почему вы с ним сцепились? — заорал начальник, выйдя из себя и не обращая внимания на старшего надзирателя.— Да потому, что вы ударились в панику, как трусы во время кораблекрушения, когда возникает драка за места в шлюпке и люди топчут друг друга, чтобы спасти свои шкуры. Но вы могли бы не беспокоиться. Все равно мы всех вас переловим, всех. И вашего подполковника Каули-Мидлторпа в придачу. А сейчас обоих на неделю в одиночный карцер. Потом поговорим еще.

— Да скажи ты ему, что я пытался помешать тебе бежать!— приказал Крамнэгел Гансмиту.

— Молчать! — крикнул старший надзиратель.— А ну, двигайте, двигайте. Пошли в карцер!

Крамнэгел попятился в угол камеры. Гансмит же застыл на месте, безучастно глядя на него.

— Вот что я скажу вам, ребята,— подобравшись, тихо сказал Крамнэгел.— Барахло вы. Просто барахло, и ни в какой я ваш карцер не пойду.

— Не пойдешь? — так же тихо переспросил старший надзиратель.— И кто мы, потюему, как ты говоришь?

После взаимной прикидки сил и возможностей надзиратели кинулись на Крамнэгела и принялись его лупить. А он, исполненный сознания своей правоты, яростно отбивался.

— Сэр! Сэр! — донеслось из коридора.

— В чем дело? — откликнулся начальник тюрьмы.

— Бурпейдж мертв, сэр.

— Мертв?

— Сорвался с лестницы и упал на Балаклавское шоссе.

— Вот бедняга.

— Он еще был жив, когда мы нашли его, но в себя так и не пришел.

Неожиданно схватка вспыхнула вновь. Надзиратели, на минуту отпустившие Крамнэгела, чтобы выяснить, не требуются ли они в каком-то другом отсеке тюрьмы, были застигнуты врасплох стремительным броском Гансмита, который безо всякого предупреждения налетел на Крамнэгела и принялся колотить его, выкрикивая: «Сволочь! Сволочь! Сволочь!» Гансмита еле оттащили, а из разбитого носа Крамнэгела на бетонный пол камеры хлынула кровь.

Начальник тюрьмы и надзиратели в полной растерянности услышали, как Гансмит, истерично всхлипывая, обвинял Крамнэгела в убийстве своего друга и всякий раз с удвоенной яростью обзывал его сволочью.

— То есть как же это понять...— начал было начальник тюрьмы, но осекся, боясь ответа на собственный вопрос и его возможных последствий. Но волновался он напрасно, поскольку Крамнэгел все равно уже был не в состоянии отвечать.

— Мы бы все удрали,— простонал Гансмит,— если бы не эта сволочь...

Надзиратели ловили взгляд начальника тюрьмы, как гончие, ждущие свистка хозяина но начальник, растерянный и встревоженный, прятал от них глаза.

— Что стоите, помогите ему подняться! — приказал он, как будто это приказание было вполне в порядке вещей.

— Отправить его в карцер, сэр?

— Отведите в мой кабинет. В карцер отправьте Гансмита.

Уходя, Гансмит смерил Крамнэгела взглядом, в котором читалось нечто большее, чем отвращение.

Глаза у Крамнэгела слипались, когда он, скорчившись, сел на краешек дивана в кабинете начальника тюрьмы,— он походил на боксера, который сидит в своем углу ринга после полученного нокаута ничего уже не понимая, но все еще готовый снова ринуться в бой несмотря на багровую пелену, застилающую глаза.

— Сигарету? — спросил мистер Макинтайр-Берд.

Сигарету! Когда он застрелил Касса Чокбэрнера, начальник угостил его сигарой, но что взять с Англии — это же страна без шика. Крамнэгел попытался заговорить, но разбитые губы не слушались его. Он просто покачал головой.

— Ужасно неприятно... Но вы, надеюсь, понимаете, что нам очень трудно было представить себе, чтобы заключенный стал помогать администрации тюрьмы. Когда вы схватились с Гансмитом... да еще в противогазе... Ну, поставьте себя на мое место!

— Попробуйте для разнообразия поставить себя на мое,— с трудом выговорил Крамнэгел.— Хотел бы я посмотреть, как вам это понравится.

— Если бы я не обладал такой способностью любезный, то, наверно, и не пригласил бы вас к себе в кабинет, не так ли? — ехидно заметил начальник тюрьмы.

— Пригласили бы или нет — не в том вопрос,— внешне спокойно произнес Крамнэгел.— Вы что, думаете, это такая уж большая честь — сидеть в вашем каби-

нете? Подумаешь! Вот у меня был кабинет, так перед ним приемная была в два раза больше вашей. И ковер от стены до стены, и холодильник в виде комода под Марию-Антуанетту...— Он умолк и потрогал свои распухшие губы. Ему было больно говорить, больно думать.

Начальнику отнюдь не доставила удовольствие столь критическая оценка его представлений о комфортабельном кабинете, но ввиду совершенной им опасной ошибки он вынужден был унять свою гордость.

— Мне остается лишь поблагодарить вас,— сказал он с довольно глупым видом, инстинктивно оглядываясь, чтобы лишний раз убедиться в отсутствии свидетелей.

— За что?

— Видите ли...

— За что? — сухо повторил Крамнэгел.— Эти ребята, надо отдать им должное, прекрасно знали свое дело. Все рассчитали до доли секунды — просто отлично все спланировали, прямо как израильтяне на Ближнем Востоке, когда послали свою авиацию ниже уровня действия радаров,— так рассчитали, что их не схватить бы за хвост, особенно при такой дымовой завесе, да еще слезоточивый газ...— Он приложил платок к губе, пососал ее и вздрогнул от боли.— Все так отработано, будто они прикидывали операцию в разных погодных условиях, затем выбрали безветренный день, рассчитали, как долго будет рассеиваться завеса... Нет, отличный план, отличный... Одного они только не предусмотрели...

— Чего же именно? — невольно спросил начальник тюрьмы.

— Любой самый отличный план не срабатывает, если вдруг что-то срывается. Так досконально все планировать нельзя — когда план чересчур хорош, его должны выполнять роботы, а не люди. Один маленький просчет — и весь план летит к чертям.

— В чем же, по-вашему, они просчитались? Чего не учли?

— Вы что, смеетесь? — спросил Крамнэгел.— Разве они учли, что в дело вмешаюсь я? Вы же знаете, что произошло, да? Не полезь я в драку и не схватись с Биллом Ганнсмитом, вся шайка унесла бы ноги прежде, чем вы успели бы сообразить, что́ происходит. Они растерялись, а этого уже достаточно. Они испортили все дело паникой. Пилот пытался наверстать потерянное время, слишком близко подошел к стене и убил Бурпейджа. Вы за это хотите меня поблагодарить? За это за все?

— Да, за это,— пробормотал, растерявшись, начальник.

— Тогда благодарите меня не за то, что я *помог* сорвать побег, а за то, что я его *сорвал*. Да, я! — Он ткнул себя в грудь пальцем.— Я, заключенный номер шесть один шесть дробь один девять пять семь. Крамнэгел, Бартрам Т. Начальник полиции в какой-то богом забытой дыре США. И раз уж мы заговорили об этом, позвольте вам сказать, что ваша охрана ни к черту не годится. *Они* ничем *мне* не помогли. В жизни не видел такой дерьмовой охраны.

— Не говорите так,— с обидой сказал начальник тюрьмы, словно Крамнэгел начал богохульствовать в его присутствии, чем не столько разгневал, сколько смутил его.

— Если кто и почуял сразу, что назревает что-то, так это мы, заключенные. А ваши охранники все трепались друг с другом. Даже когда уже был слышен шум вертолета, один из ваших парней продолжал рассматривать свои ногти, решая, пора их стричь или нет. В жизни такого не видел.

Зазвонил телефон. Начальник тюрьмы, измученный всем случившимся и уже до того свыкшийся с необходимостью все время оправдываться, что сам перестал понимать, как и на что ему реагировать, снял трубку так испуганно словно был абсолютно уверен, что кто-то придумал очередной и еще более зловещий способ помучить его.

Послушав немного, он сказал:

— Да, я понимаю.

Лицо его оставалось почти непроницаемым.

— В море? — Он снова послушал собеседника.— Благодарю вас.

И повесил трубку. Крамнэгел вопрошающе посмотрел на него. Начальник стоял с бесстрастным видом, не зная, как сообщить американцу полученные новости, да и стоит ли вообще откровенничать с заключенным.

— Что упало в море? — спросил Крамнэгел.— Вертолет упал в море?

— Что? Нет, ничего.

— Вертолет упал в море? А что с Портером?

— Его взяли.

Наступила пауза.

— Что же, вы так и не поблагодарите меня?

— Я уже высказал вам всю признательность — больше ничего добавить не могу,— с неожиданным, поистине детским упрямством сказал начальник тюрьмы и почувствовал острый прилив раздражения: почему обстоятельства ставят его в столь неловкое положение — ведь он даже ясность мысли потерял.

Крамнэгел поднялся с места.

— Куда вы? — спросил начальник.

— Пожалуй, хватит с вас моего общества на сегодня.

— Я еще не отсылаю вас. Наш разговор еще не окончен.

— Да бросьте вы,— сказал Крамнэгел, которого вдруг охватила страшная усталость.— Вам, наверное, не очень-то приятно видеть меня здесь и выслушивать мои нотации по поводу того, как управлять тюрьмой.

Такого проявления сочувствия начальник тюрьмы не ждал. Он вообще не знал, чего теперь ждать.

— Да, неприятно,— признался он.

— Могу себе представить,— усмехнулся Крамнэгел.— Нужны вам мои замечания как рыбе зонтик, да и вообще — каким путем, черт побери, может тюремщик отблагодарить уголовника, разве что чисто неофициально?

— Вовсе необязательно. Мне пришла в голову мысль, которая может быть осуществлена вполне официальным путем. Я полагаю — особенно в свете нашего... гм... временного недопонимания мотивов ваших действий,— что вы заслуживаете самого внимательного к себе отношения. Таким образом я склоняюсь к решению отослать вас отсюда.

— Отослать? — переспросил Крамнэгел. Надеяться на полное освобождение он никак не мог — на это у начальника тюрьмы нет власти, но что же он хочет сказать, идиот чертов?

— Да, я не вижу никаких оснований содержать вас и впредь в тюрьме максимально строгого режима.

— Знаете, что я вам скажу? Все тюрьмы одинаковы, что одна, что другая. Я даже скажу вам больше: здесь хоть преступники классом выше, чем в той бочке с сельдями, куда меня засадили поначалу.

— Это, конечно, очень любезное замечание с вашей стороны.— Начальник откашлялся.— Всегда приятно услышать, что...— Начальник тюрьмы оборвал фразу на полуслове. «Нечего его распускать, а то оглянуться не успеешь, как он усядется на мое место».— В общем-то моя мысль перевести вас была продиктована не одним лишь стремлением воздать должное вашему поступку, но и опасением, что вы больше не будете пользоваться здесь такой популярностью, как прежде.

— А что вы, собственно, против меня имеете? — нахмурился Крамнэгел.

— Нет, нет, дело не в нас,— торопливо заверил его начальник тюрьмы.— Уверяю вас, что с нашей стороны вы встретите наилучшее к себе отношение... но это едва ли поможет вашим отношениям с другими заключенными. Боюсь, что это вызовет совсем противоположный эффект.

Крамнэгел побледнел.

— Верно... И, зная, какая у вас здесь паршивая охрана, мне вряд ли стоит рассчитывать на защиту с ее стороны. Пока тот ублюдок решит, стричь ему ногти или нет, меня уже пришьют.

Начальник тщетно пытался что-то придумать, чтобы защитить репутацию своих подчиненных, но в конце концов решил, что молчание само по себе обладает достаточно бесценным достоинством, которое только и может заменить отсутствие конструктивных мыслей в неудачные дни.

— Господи Иисусе, был бы со мной мой револьвер...— сказал Крамнэгел.

Начальник тюрьмы подскочил. Он не был уверен, что правильно услышал слова собеседника, но Крамнэгел уже направлялся к двери.

— Один последний вопрос,— сказал начальник.

Крамнэгел остановился и повернулся к нему.

— Что вас заставило так поступить?

— Наверное...— И Крамнэгел замолчал, задумавшись, только челюсти его ходили ходуном, как будто коренные зубы увязли в море жвачки и пытались высвободиться из него.— Наверное, то, что полицейский всегда останется полицейским, сэр.

Он открыл дверь и, прежде чем ожидавший в коридоре охранник успел что-либо произнести, сказал:

— Ладно, пошли.

На следующее утро Крамнэгела нашли полумертвым в дальнем углу камеры. Никаких следов драки не было видно. Говорил он шепотом:

— Скажите начальнику, чтоб он меня отослал отсюда, как хотел. Скажите, чтоб поживей, иначе слишком за многое придется ему отвечать... Слишком, черт побери, за многое...

— Одно хорошо,— заметил начальник тюрьмы, ожидая, пока его соединят с министерством внутренних дел.— Если возникнут вопросы, почему у Крамнэгела в кровь разбито лицо, нам лишь останется списать все на уголовников.

— Так точно, сэр,— согласился старший надзиратель.— Нет худа без добра.

12

Газеты были полны фотографий вертолета, лежавшего на дне, водолазов и полицейских. Почти все печатные издания изложили на своих страницах ход событий, иллюстрируя рассказ либо схемами, либо старыми фотографиями тюремного двора с нарисованными на них стрелками. О Крамнэгеле, однако, не упоминалось ни словом. И только позвонив по просьбе сэра Невилла под каким-то благовидным предлогом начальнику тюрьмы, Билл Стоккард узнал, в ответ на вскользь заданный вопрос, что Крамнэгела переводят обратно в прежнее место заключения.

— Очень рад это слышать,— сказал Стоккард,— но не могли бы вы мне сказать почему?

— Ну просто... просто мы решили, что так будет лучше.

— Лучше? — Молчание в телефонной трубке.— Я понимаю, что это дело больше не находится в нашей компетенции, но сэр Невилл проявил к нему такой интерес, что, право же, из простой любезности, если даже не по какой-либо другой причине....

— Честно говоря, его очень невзлюбили другие заключенные.

— Почему же?

— Ну, знаете... он высокомерен... строит из себя этакого всезнайку... да и потом среди заключенных в крыле максимального режима сильно развиты антиамериканские настроения... Печально, но факт.

— Как, по-вашему, чем они вызваны?

— Думаю, что разницей в методах. Янки когда-то держали монополию по части преступности, но это уже все в прошлом. Преступники других национальностей, особенно британцы, ушли в этой области далеко вперед, они применяют огромное количество усовершенствованных войной новых методов и к янки теперь относятся как к публике, безнадежно устаревшей, но по-прежнему задирающей нос и хвастающейся своим мастерством.

— Но достаточно ли этих причин, чтобы объяснить неприязнь лично к одному человеку? Извините, мистер Берд, я хотел бы задать еще один вопрос, если позволите. В чем выразилась неприязнь к нему? Имели ли место... ну, скажем, какие-то эксцессы?

— Эксцессы? — проворчал мистер Берд.— Так, всего лишь синяки.

— Синяки? И много?

— Вы что, допрашивать меня решили? — Начальник стал приходить в свое обычное взвинченное состояние.— Разве управление главного прокурора имеет право меня допрашивать?

— Разумеется, нет, но ведь правилами отнюдь не возбраняется задавать межведомственные вопросы, не так ли? Если возбраняется, то мне подобная инструкция неизвестна.

— Я отвечаю на ваши вопросы в полную меру своих возможностей.

— Именно так, мистер Берд, и я очень вам признателен. Разрешите мне только задать один последний вопрос.

— Давайте спрашивайте.

— Разве ваши надзиратели не в состоянии помешать заключенным наставлять друг другу синяки?

Начальник тюрьмы перешел на крик:

— С тех пор как я принял эту тюрьму, я только и делаю, что прошу увеличить штаты! Это уже старая история! У меня слишком мало людей, а те, которые есть, либо

совсем одряхлели, либо безответственные мальчишки. Да вы покажите мне такого парня, который решит сделать службу в королевских тюрьмах делом своей жизни, пока не получит отказа по меньшей мере в десятке других мест!

— Благодарю вас за проявленную любезность, мистер Берд.

Положив трубку, Билл рассказал о случившемся сэру Невиллу. Тот позвонил майору Эттлиси-Гору.

— Нет, его еще не доставляли, но думаю, что скоро привезут. По правде сказать, я принимаю его обратно без особого восторга. Неужели его больше некуда было деть?

— Но почему его вообще отправили обратно к вам? — поинтересовался сэр Невилл.

— Насколько я понял Макинтайра-Берда, он в неважном состоянии.

— Но нам сказали, что ему просто наставили синяков.

— Синяков? Его везет сюда карета «скорой помощи».

— «Скорой помощи»? — встрепенулся сэр Невилл. Он принял решение.— Скажите, вы не будете возражать, если мой помощник или кто-нибудь еще из моих сотрудников побеседует с Крамнэгелом, как только он прибудет к вам?

— Пожалуйста. Если вы сумеете меня от него избавить, я буду только рад. Насколько я могу судить, он сеет смуту везде, куда бы ни попал. Сначала застрелил в пивной старика, потом инспирировал взрыв банка, а теперь вот сцепился с другими заключенными, и они избили его до полусмерти.

— Скажите,— неожиданно спросил сэр Невилл,— а вам известно, когда это произошло? Когда они напали на Крамнэгела?

— Вчера. И администрация тюрьмы настаивает на его немедленном переводе.

— Вчера. А позавчера имела место попытка побега, не так ли?

— Я об этом и не подумал.

— Пойманных беглецов вернули в прежнее место заключения?

— Полагаю, что да. Такова обычная практика.

— Благодарю вас.

Крамнэгела внесли на носилках в комнату, откуда заключенные обычно выходят за стены тюрьмы. В этом странном аквариумном мире молчания и подводных течений никто и не обратил особого внимания на то, что его доставили из тюремного лазарета, где он провел ночь под охраной надзирателей. Принесли его личные вещи, а машина «скорой помощи» въехала задним ходом во двор. Крамнэгел, закрыв глаза, лежал на стоявших на полу носилках.

— Что случилось, дружище?

Крамнэгел с трудом разлепил веки. В глазах его расплывалось смутное изображение склонившегося над ним старика, так сморщившегося, что половина лица его исчезла.

— Не смеши меня, Гарри,— пробормотал он,— смеяться больно, черт его...

— Достали они тебя?

— Достали, приятель.

— Я отомщу им за то, что́ они с тобой сделали.— И Гарри изобразил очередь из автомата.

— Ну и лопухнулся же ты со своей бомбой, приятель.

— Я все сделал, как ты сказал, но что-то получилось не так, а что — я и сам не знаю.— Старик расплылся в улыбке.— Ну да ничего. Мне сказали, что я нанес убытку миллионов на двадцать. Представляешь? Вот это да! — Старик был счастлив и исполнен сознания собственного достоинства.— А все благодаря тебе, дружище. Теперь я проведу последние годы в максимально строгом режиме. Я о таком и мечтать никогда не смел — Гарри Мазерс в спецтюрьме! Да еще месяц назад меня просто засмеяли бы, но теперь — и все благодаря тебе — я могу высоко держать голову!

— Вам нельзя быть здесь! Как вы сюда попали? Вас ищут по всей тюрьме!

Черт бы побрал надзирателей. Крамнэгел снова закрыл глаза не столько от боли, сколько от отвращения. Пока они там перекуривали и сравнивали, у кого ногти длиннее, его уже десять раз могли пришить.

Затем Крамнэгела отнесли в санитарную машину и отправили в старую тюрьму.

Днем в тюрьму приехал Билл Стоккард и навестил Крамнэгела в лазарете. Стоккард пришел в ужас от того, что ему пришлось увидеть и услышать.

— И все это случилось с вами после того, как вы помогли предотвратить побег банды налетчиков?

— Совершенно верно. Но, знаете ли, сэр, мне вряд ли пристало обвинять их. Я должен был бы помнить, что такое тюрьма — тюрьмы ведь везде одинаковы. Может, в Греции и в Гватемале они потеснее, а в Калифорнии в лучших камерах теперь, возможно, стоят телевизоры, а в Китае заключенным вместо завтрака вбивают в глотку труды председателя Мао, но в принципе разница между тюрьмами небольшая. Любая тюрьма — это место, где люди надеются на лучшее и ожидают худшего. Это всех касается — и заключенных, и тюремщиков. С моей стороны было безумием ввязываться в это дело, чтоб помочь им. Я, пожалуй, просто, значит, забыл, что сам сижу за решеткой. Я, наверное, все время так сильно пытался об этом забыть, что и вправду забыл.

Такой Крамнэгел пришелся Стоккарду по душе.

— Что же, может, и не зря вы пострадали, мистер Крамнэгел. В конце концов, вы привлекли внимание к своему делу.

Вернувшись в Лондон, Билл рассказал о своей поездке сэру Невиллу и подробно ответил на все его вопросы. Сэр Невилл не столько расстроился, сколько почувствовал облегчение. Ему казалось, что все происшедшее оправдывает его задиристое поведение в своих клубах. Как и во время суда, Крамнэгел, хотя и неудачно начав, все же давал своему защитнику право гордиться им. Поэтому сэр Невилл снял телефонную трубку и попросил срочной встречи с министром внутренних дел. Естественно, она произошла лишь два дня спустя, за обедом в отдельном кабинете Клуба юных ветеранов, членом которого состоял министр. В свои сорок с лишним лет достопочтенный Клайв Белпер был сравнительно молод для занимаемого им высокого поста, но он жил в эпоху, когда молодость сама по себе уже считалась достоинством в высших кругах. Он был достаточно высок и потому несколько сутулился, голову его венчали рыжеватые мальчишеские кудряшки, оставлявшие свободным лишь темя, на котором сквозь редкие волосы просвечивала лысина, поэтому в одних ракурсах он казался совсем лысым, в других — пышноволосым. Он носил очки с довольно толстыми стеклами, так что глаза за ними, когда он с кем-то беседовал, часто казались застывшими, то ли потому, что он так внимательно вслушивался в слова собеседника, то ли потому, что мысли его в это время были где-то очень далеко.

Сэр Невилл поведал ему сагу о Крамнэгеле — историю, увы, еще не завершенную,— излагая ее в свойственной ему убедительной манере, рассказывал все, как было, и в то же время нисколько не пытаясь скрыть своего предвзятого к делу отношения.

— Совершенно ясно одно — не правда ли, сэр Невилл? — что необходимо произвести расследование того, что происходит в наших тюрьмах максимально строгого режима. Если потребуется, вызовите начальника той тюрьмы. Сейчас, кстати сказать, вполне удобный момент для подобных действий, поскольку у членов парламентской оппозиции появилась четкая тенденция задавать неприятные вопросы. Растущее количество сенсационных побегов и растущий уровень преступности автоматически делают меня мишенью для них. Они, говоря по правде, спекулируют на страхах публики. Будь я в оппозиции, я делал бы то же самое.

— Могу ли я напомнить вам, мистер Белпер,— не без язвительности заметил сэр Невилл,— что вы состоите не в оппозиции, а в правительстве. И что, следственно, в ваши обязанности входит не создавать сумятицы, задавая неприятные вопросы, а, напротив, предотвращать постановку таких вопросов, принимая мудрые решения. Я добивался встречи с вами не для того, чтобы просить расследования работы тюрем максимально строгого режима. И хотя подобное расследование во многом облегчит мою душу, оно вообще вряд ли входит в компетенцию моего ведомства. Я хотел встретиться с вами для того, чтобы обратить ваше внимание на следующее: в тюрьме находится человек, который не должен там находиться. И я хотел бы посоветоваться с вами относительно имеющихся у нас возможностей прекращения дела или, по меньшей мере, облегчения участи этого человека.

— Вашу критику, сэр Невилл, я воспринимаю в том духе, который вы, без сомнения, и хотели ей придать — в духе нотации доброго дядюшки,— сказал Белпер, показывая в улыбке зубы и хорошее воспитание,— но я, право же, считаю, что вы проявляете некоторую, пожалуй, сентиментальность по отношению к этому американскому полицейскому. В конце концов, он ведь убил человека, англичанина.

— Шотландца.

— В самом деле? Ну, в любом случае он убил британского подданного, находясь на английской земле. И согласно закону — поправьте меня, если я ошибусь,— он должен предстать за совершенное преступление перед судом, и если его жертва умерла, то не может быть иного обвинения, чем обвинение в убийстве.

— Верно.

— Итак, этот человек предстал перед судом, суд признал его виновным в непредумышленном убийстве и приговорил к семи годам. Суд уже продемонстрировал достаточную степень милосердия и присущего нашему веку разума. Суди его присяжные, какие обычно заседали лет пятьдесят назад, и судья прошлого века — висеть бы ему на виселице...

— Я подхожу к делу не с юридической, а с человеческой точки зрения, господин министр. Или, вернее, лишь в том смысле с юридической точки зрения, что я убежден: будь на процессе судьей Максуэлл Лиройд или, например, Ламли Джейкобс, а не Плантагенет-Уильямс, у обвиняемого были бы изрядные шансы получить оправдательный приговор...

— Даже при наличии мертвеца?

— Могла быть допущена мысль о самозащите. Даже мысль об иллюзорной необходимости самозащиты в глазах человека, привыкшего защищаться против применения огнестрельного оружия. Для этого лишь требовались судья с воображением, адвокат, способный эффектно подчеркнуть наиболее немыслимые аспекты дела, не выставляя их в совсем уж невероятном виде, и пара завзятых любителей кино в составе жюри. Мне мало встречалось дел, которые столь сильно зависели бы от элементов удачи в подборе состава суда, как это.

— Но вы, я надеюсь, и не рассчитываете на полное исключение элементов удачи из судебного процесса?

— Против них есть только один прием, и этот прием непогрешим,— медленно произнес сэр Невилл.

— Какой же? — был вынужден спросить министр.

— Сострадание.

Министр улыбнулся, не веря собственным ушам.

— Право же, сэр Невилл, от вас я ожидал более профессионального подхода. В конце концов вы ведь не просто профессионал, вы — блестящий профессионал.

— Что вы подразумеваете под словом «профессионал», сэр?

— Человека, ищущего решений в рамках возможного, но не за их пределом.

На этот раз настала очередь сэра Невилла улыбнуться.

— Нам не следует забывать, что пределы возможного — это царство человека, а то, что лежит за этими пределами,— царство божие. Если под понятием «профессионализм» подразумевается отчуждение от всего божьего, то я с вашим определением не согласен. «Сострадание» может казаться вам слишком простым словом для словаря искушенного человека, но я и не намерен оправдываться в том, что употребил слово «сострадание». Я просто снова обрел его и устыдился того, что сорок лет легко без него обходился. Сострадание — это все, чего я прошу для Крамнэгела.

Белпер не сводил с лица сэра Невилла пристального взгляда: столь неожиданное и настораживающее проявление душевного тепла тронуло его, и тем не менее он спрашивал себя, не начинает ли сэр Невилл постепенно расставаться с разумом.

— Как, по-вашему, мог бы почувствовать подобное сострадание я? — спросил он наконец.

— Пока не знаю. Давайте вместе рассмотрим факты и, может быть, придем в итоге к какому-то решению. О процессе нам все известно. Суд под председательством Плантагенет-Уильямса приговорил Крамнэгела к семи годам. Крамнэгел отправляется в тюрьму, где завязывает дружбу со старым чудаком, с отрочества не расстающимся с тюрьмой. Удовлетворяя любопытство старого дурня, Крамнэгел рассказывает ему несколько историй о жизни Чикаго и Дикого Запада, а заодно объясняет, как делаются бомбы и горючая смесь. По воле случая обстоятельства складываются так, что срок заключения старика кончается и он выходит на волю; поскольку в том, что он считает своим мозгом, еще свежи формулы изготовления адских машин, он взрывает здание банка. Обвиняют в случившемся — причем совершенно несправедливо — Крамнэгела и переводят его в тюрьму максимально строгого режима. Здесь он помогает тюремной администрации предотвратить групповой побег, а его в награду сначала избивают надзиратели, затем еще более жестоко избивают заключенные. Что же происходит теперь?

Вы намерены расследовать деятельность начальника и руководящего состава персонала тюрьмы максимально строгого режима, и они, безусловно, будут строго наказаны, когда вся правда о случившемся выплывет наружу. В итоге Крамнэгел наживет себе непримиримых врагов как среди заключенных, так и среди тюремщиков. За жизнь его — за то, что останется от его жизни,— нельзя будет дать и ломаного гроша. Думал ли обо всем этом судья Плантагенет-Уильямс, бесстрастно приговаривая Крамнэгела к семи годам заключения? Полагаю, что нет.

— Ваши аргументы очень убедительны, господин главный прокурор,— беспомощно рассмеялся Белпер,— но я просто не осмелюсь пойти на какие-либо официальные шаги, чтобы облегчить участь этого несчастного. Я, в конце концов, типичное политическое животное. При нашей системе правления получается почему-то так, что здравый смысл рождается не в итоге мудрого решения правителя или бдительности оппозиции, а в итоге столкновения двух противоположных точек зрения, выраженных со страстью и с юмором. Я просто не могу ускорить решение комитета по помилованию, не могу и приказать освободить под предлогом примерного поведения вашего Крамнэгела после того, как он отбыл всего несколько недель из семилетнего срока наказания. Мы живем в такое время, когда общественное мнение реагирует на преступность все более и более нервозно, а обе политические партии, как я уже говорил, подливают масла в огонь, пытаясь использовать эту нервозность в своих целях во время выборов.

— И все-таки необходимо что-то сделать,— решительно заявил сэр Невилл.

Белпер задумался, потом нахмурился и заговорил очень серьезно, тщательно подбирая слова:

— Я понимаю, что́ вас мучает, лучше, чем вы думаете, сэр Невилл, но если вы позволите покритиковать вас человеку, который несколько младше вас по возрасту, то я хотел бы заметить, что вы ослабляете собственную позицию, добровольно отказываясь от профессионального подхода к делу и заменяя его высокоморальными соображениями, которые вы делаете своим единственным оружием, вместо того чтобы более, чем когда-либо, полагаться на ваш макиавеллиевский талант ориентироваться в запутанных ситуациях. Вы же в конце концов стремитесь спасти человека. Привлекая в качестве союзника меня, вы не имеете ни малейшего шанса на успех. Должен вам сказать, что я вообще не верю в успех вашего дела, но у вас все-таки будет больше шансов, если вы начнете действовать один... Или рука об руку с Макиавелли.

— Что же предлагаете вы, о государь? [1]

— Идею, заведомо бредовую, но она может послужить иллюстрацией того, в каком направлении работает у меня мысль. Вы могли бы, например, перевести вашего Крамнэгела в одну из этих новых экспериментальных тюрем без решеток и замков — в Лайберн или в Трассмор, а там начать подстрекать его к побегу.

Сэр Невилл задумался, затем лицо его просветлело.

— Вы совершенно правы,— сказал он.— Ведь нарушать законы куда веселее, чем соблюдать высокие принципы, да и сами-то эти принципы существуют лишь благодаря беззаконию.

— Послушайте, ведь я, ей-богу, просто так сказал первое, что в голову взбрело... в качестве примера...

— Напротив, напротив, вы подали прекраснейшую идею. Лайберн находится всего в двадцати милях от Ливерпуля, а там порт и суда. Можно, пожалуй, уговорить Скотланд-Ярд не гнаться за Крамнэгелом прямо по пятам и позволить ему, так сказать, выскользнуть из рук, когда его корабль выйдет из трехмильной зоны.

— Я ничего больше не желаю слышать, сэр Невилл.

— Что вы имели в виду, когда сказали, что, взяв вас в союзники, я обрекаю все дело на неудачу? — сердито спросил сэр Невилл.

— Каждый делает все, что может, сэр Невилл,— в этом главное... Никто тут возражать не станет. А ни о чем другом я и не прошу.

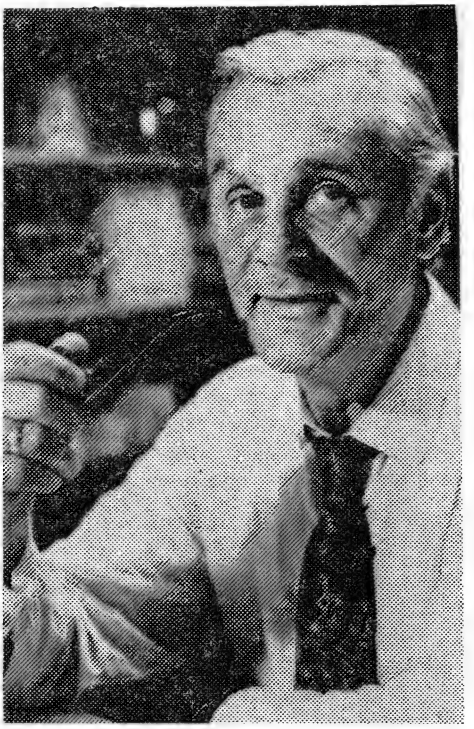
— Вы совершенно правы,— с самым серьезным видом отвечал сэр Невилл.— Никто ведь не может сделать больше, чем способен сделать.

(Окончание следует)

[1] «Государь» — известное произведение Н. Макиавелли.

Критика

ГОРИЗОНТЫ ИНДИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС,

лауреат премии Дж. Неру

СТРАНА ДРЕВНЯЯ И НОВАЯ

Открыть Индию невозможно. Это доказал Колумб.

Индия — целый космос, приведенный в движение великой мыслительной энергией и таящий в себе высокие ценности духа. Немыслимо познать его до конца. Можно быть счастливым, если удастся выполнить скромную роль,— узнав хоть немногое, попытаться донести открывшееся тебе до других.

Индия — и реальный мир. Мир разнообразной и прекрасной природы. Мир человека с его мыслями, чувствами и делами. Мир поэзии, литературы, музыки, танца, похожего на оживающую скульптуру, мир древних храмов, где танцующие статуи замерли на века. Мир памятников далекой древности. Мир сохраненной памяти.

Нам, европейцам, этот мир кажется сложным для понимания, и, может быть, поэтому он особенно влечет к себе.

Ты взгляд мне подари, как в дни былые
Протягивала руку. Широка,
Как многоводный Ганг, судьба-стихия
Разъединила наши берега.

МЕЖЕЛАЙТИС ЭДУАРДАС БЕНЬЯМИНОВИЧ (род. в 1919 г.).

Советский литовский поэт. Лауреат Ленинской премии и премии Дж. Неру. Печатается с 1935 г. Автор многих сборников стихов, книг поэтической публицистики, сборников для детей. В его переводе на литовский язык выходили сочинения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Т. Г. Шевченко и др. Произведения Э. Межелайтиса переведены на многие языки мира.

Глубинный холодок судьбы я этой
Почувствовал. Она меня зовет,
Как Брахмы знак в Бенарес звал аскета
Смешать свой пепел со святыней вод.

Но всех судьбы загадок разрешенья
Мне не найти... И я не жду, пока
Придет посмертно перевоплощенье,—
Живой, я превращаюсь в мотылька.

Парю над цветом розовым ашоки...
Зеленые объятия ветвей
Мне распахнет деревьев мир высокий,
А плечи камня — всех опор прочней.

Как руку мне протягивала прежде,
Ты взгляд свой подари мне. Широка,
Как многоводный Ганг, судьба-надежда
Соединит, быть может, берега?

(Перевод с литовского Лазаря Шерешевского[1])

Судьба трижды сводила меня с Индией, и я стал понемногу разбираться в элементарных основах ее мысли и духа. Желая понять как можно больше, много читал, много размышлял. Потом решился написать об Индии — не потому, что был готов истолковать ее, а только потому, что писатель обязан в полную меру своих сил помогать читателю расширять горизонты культуры и мысли, помогать ему узнавать созданное другими народами.

Функция литературы — интернационализация мышления.

Я думаю о читателе: если мне было дано вступить в живой контакт с Индией и я коснулся ее земли, вдохнул ее воздух — я хочу повести читателя к тому, что познал сам, чтобы по моим следам и он прошел Индию.

Я сознательно строю свои отношения с читателем таким образом, чтобы через индийскую тему, через мое восприятие индийской философии и мысли, через попытки воссоздать ощущение индийского космоса читатель мог бы ощутить и единство человечества, и многообразие проявлений его духа.

Я постоянно продолжаю размышлять об Индии, вчитываюсь в памятники индийской классики, такие как «Махабхарата», третья книга которой недавно стала нам доступна в переводе. Однако в последнее время я все чаще обращаюсь к тем жизням и произведениям, которые стоят ближе и к нашей современности, и к области единения культур Востока и Запада: перечитываю книги Ромена Роллана о Рамакришне и Вивекананде, изучаю письма Неру.

Как литовец, я нахожу бесконечное удовольствие в сравнении слов моего родного языка с санскритскими: ведь литовский сохранил наибольшую из всех славяно-балтийских языков близость к санскриту. Я слышал, будто в Ассаме есть деревни, где люди говорят совсем как мы, литовцы. Не могу об этом судить, я не лингвист, но, сопоставляя слова своего языка с санскритом, я вдруг начинаю различать в них дополнительные оттенки значений, слова делаются и ближе, и новее.

Рабиндранат Тагор писал в «Садовнике»:

«Я забываю, я всегда забываю, что не знаю пути, что нет у меня крылатого коня... Я забываю, я всегда забываю, что закрыты все двери дома, где жил я в одиночестве...»

Но если не знаешь пути, это отнюдь не значит, что его нет.

Порой нам кажется, что Индия вечна и неизменна, как колос, как храм, который всегда был в руинах,— все было таким и пребудет вовеки. Между тем Индия не стоит на месте: там идут и те процессы, которые меняют облик всей земли, и те, которые способны преобразить одну только Индию. Новое среди древнего то словно приближает к нам эту страну, то делает и вовсе непонятной.

Мы стремимся осознать смысл и характер этих перемен и потому стараемся больше переводить из современной индийской литературы. Человечество и отдельные люди идут к интернационализации через культурный, литературный обмен. Высшая ступень национального есть интернационализм, выявление в каждой национальной культуре черт, способных обогатить все человечество.

Я думаю, что ускорение ритмов жизни, свойственное XX веку, делает особенно важной для всех нас ту способность к сосредоточению и интенсивной духовной работе, которой издавна отличалась Индия.

И не нужно заново открывать Америку — ее открыли в поисках пути в Индию,— нужно постараться открыть свою Индию для себя.

[1] Перевод выполнен специально для журнала «Иностранная литература».

КАРТАР СИНГХ ДУГГАЛ

ПИСАТЕЛЬ В НЫНЕШНЕЙ ИНДИИ

Одна из древнейших стран мира, Индия, после многовекового иноземного владычества возродилась в 1947 году к новой жизни. Совершенно чуждый стране язык, завезенный для целей колониальной администрации, с течением времени проник в университетские аудитории и распространился по всему субконтиненту. Более того, он полюбился индийской элите. Через английский же знакомилась Индия и с современной наукой и техникой, вырабатывала научное мышление [1].

Англия оставила нам наследие, которое и помогало и мешало развитию литератур на различных индийских языках. С одной стороны, новое поколение индийских писателей, не испытывая больше давления чужого языка, могло бы творить свободно. Однако длительная зависимость от Англии оказалась камнем преткновения на пути создания собственных эстетических норм. Писатель стремился писать по-своему, но никак не мог отделаться от влияния английской литературы и традиции письма Возникла весьма странная ситуация — не индийские литературы воздействовали одна на другую, а все вместе они постоянно равнялись на литературу англоязычную. Кто из индийских писателей хорошо ее знал, тот и задавал тон, тот и устанавливал критерии оценок.

Скажем, возвратился из-за границы Нирмал Варма и в силу этого сразу занял место на верхней ступеньке литературной иерархии хинди. То же произошло с Ананта Мурти в литературе каннада; в общем, примеров такого рода не счесть.

Речь о другом — в этой обстановке индийский писатель все же предпринял отважную попытку возвратиться к национальной классике и фольклору. Так, кашмирский писатель заново открыл для себя поэзию Хаббы Хатун; пенджабский литератор Ванджара Беди поставил себе труднейшую задачу — решил в одиночку составить фольклорную энциклопедию. Маратхский писатель начал перечитывать Тукарама, а тамильский взялся за новые комментарии к «Тирукуралу» Классические произведения диктовали форму, народные песни — интонацию. Средневековые повествования о любви и мифологические сюжеты, переложенные на современный язык, многое говорили читателю о политических идеях того времени, о борьбе за свободу. Писатель, верный этим идеям, получил способ их выражения.

Но индийское общество менялось, и писатель не мог не видеть ту огромную социальную и экономическую перестройку, которой жила страна, стремление создать равные возможности для всех. Тракторы на полях и линии высоковольтных передач постепенно меняли деревенский пейзаж Индии. Синтетическая рубаха и пластмассовые сандалии делались в деревнях привычными. Появился транзистор — в деревню хлынул поток информации. Деревня получала и развлечения, которые раньше были доступны только горожанам и служили предметом зависти крестьян. Всевозможные проекты развития и строительство школ во многом способствовали высвобождению деревенской Индии из пут безграмотности и предрассудков.

Все это писатель должен был принять во внимание.

Но тут выяснилось, что прогресс — это палка о двух концах, что в индийском обществе возникают новые противоречия. Чем больше новых веяний проникало в деревню, тем сильней тянуло крестьянина в город. Индустриализация вызвала к жизни рабочий класс и сотворила новые трущобы со специфической субкультурой. Заводской рабочий забывает народные песни, а в деревнях гремит киномузыка. Новые тенденции жизни порождают новое для Индии явление — одиночество современного человека. Механизация оставляет ему больше свободного времени. Это свободное время заполняют средства массовой информации. Страна приобрела привычку слушать радио, а теперь его торопится догнать телевидение.

Писатель всем этим ошеломлен: простой человек быстро утрачивает связи с прошлым, а преимущества нового как-то ускользают от него или, во всяком случае, крайне медленно входят в его жизнь.

Вдобавок, у писателя еще и свои проблемы, не менее сложные. Главная из них — степень его подготовленности к новой жизни. Его университетский диплом мало что значит. Классиков мировой и родной литературы он знает недостаточно. Его представления о том, что пишется на других языках Индии, весьма поверхностны. И перед ним, казалось бы, нет конкретного противника. Поколение отцов вело борьбу против британского владычества. Борьба поглощала все их помыслы. Она обогащала писателя бесценным опытом и прочно связывала с народом, а весь индийский народ на протяжении десятилетий был заряжен огромной

[1] О роли английского языка в формировании индийской культуры см. в статье Бхишама Сахни «Очень многое предстоит сделать» («ИЛ», 1980. № 5).

КАРТАР СИНГХ ДУГГАЛ (род. в 1917 г.).

Индийский прозаик и литературный критик. Пишет на пенджабском языке, лауреат премии Литературной Академии Индии. Большой известностью пользуется его роман «Ногти и мясо», посвященный разделу Индии и Пакистана в 1947 г. Роман этот переведен на ряд индийских и европейских языков. В Советском Союзе печатались его рассказы и статьи.

Статья «Писатель в нынешней Индии» взята из журнала «Индиан энд форин ревью» («Indian & Forein Review», August 1980).

эмоциональной энергией. Лозунги, демонстрации, преследования, жертвенность, мученичество во имя родины...

Сегодня Индия сражается с противником не менее сильным, чем иностранное владычество. Мы должны выстоять в борьбе против нищеты, безграмотности, отсталости и, наконец, а может быть в первую очередь, против социального неравенства в нашем обществе. Раз Индия решила бороться ненасильственными методами, то борьба будет долгой и суровой. Писателю нечего надеяться на скорую победу, он должен приготовиться и к поражениям.

Ему необходима подготовка по двум линиям: прежде всего он должен как следует изучить национальную традицию. Затем быть в курсе всего, что происходит в стране. Знать свой народ, и не только в целом. Новая Индия — это уже не одни крестьянские массы. Рабочие Бхилаи и Читтаранджана, угольщики Чота Нагпура и горняки Мадхья Прадеш, техники предприятий тяжелого электрооборудования в Бхопале и ученые из Тромбейского научного центра — все они требуют его внимания. Ведь это потенциальные завтрашние читатели, и писатель обязан о них написать. Обязан осмыслить их жизнь, конкретизировать их помыслы, исследовать причины их тревог. Немало, верно?

Однако попытаемся понять и то, что у индийского литератора уйма своих волнений, миллион собственных трудностей. Во-первых, это проблемы, которые мучают писателей его поколения во всем мире: редакции авторитетных литературных журналов не спешат его печатать. Тогда он затевает издание собственных «малых» журналов. Издание требует денег, денег у него нет, и журнальчики умирают, едва успев родиться. В издательствах — длинные очереди желающих напечататься, и, пока писатель ждет, его книга может устареть. В результате — писатель должен оплачивать публикацию книги из собственных средств. Допустим, он сумел это сделать. Но тут оказывается, что читатель не проявляет к этой книге интереса. Читателя еще нужно приучить к чтению серьезной литературы, вкус его нужно развить. А это процесс длительный. И писатель, естественно, теряет терпение, приходит к выводу что судьба забросила его в жестокий мир. Писателя охватывают отчаяние, чувство горечи, он может стать и циничным. И это в конечном счете находит отражение в его произведениях.

Но самая серьезная проблема современного индийского писателя заключается в том, что его корни в родной земле неглубоки. Большинство нынешних писателей родились и выросли в городе, им неизвестно, что такое крепкая традиция, они только знают, что все ломается, что все вокруг плавится. И теряются под напором противоречивых событий. Система их ценностей нередко зыбка, отсюда и неустойчивость их жизненной позиции. То они хватаются за прошлое, то плывут в волнах перемен. Мать убеждена, что семью надо лечить наговорами, а дочь — студентка медицинского или политехнического. Сын гоняет на скутере, а отец погоняет волов. И каждый считает, что живет правильно.

У нас в Индии нет недостатка в циниках, которые предсказывают индийской литературе мрачное будущее на том основании, что сейчас, казалось бы, нет писателей, равных тем, кого выдвинуло поколение отцов. Я считаю, что индийская литература развивается нормально и в правильном направлении: за исключением нескольких ревнителей прошлого, которых никто не принимает всерьез, современные писатели Индии смотрят в будущее. В последнее время кое-кого обеспокоили настроения группы молодых экспериментаторов. Мне кажется, незачем торопиться наклеивать ярлыки на молодежь. Не надо забывать, что крупнейшие наши писатели — будь то Умашанкар Джоши или Бишну Де, Бендре или Гопинатх Моханти, Шиварама Карант или Сант Сингх Секхон — начинали как экспериментаторы. Любой отход от традиции открывает перед нами новый опыт, а поскольку индийскому обществу еще предстоит со многим распроститься, то экспериментирование неизбежно, и ничего дурного в нем нет. Я тем не менее убежден, что подлинное экспериментирование всегда будет привилегией тех, кто полностью овладел мастерством в соответствующем жанре. Уважение к традиции учит молодого писателя внутренней дисциплине, которая ему в любом случае необходима. Если в литературе царит здоровая атмосфера, не стоит тревожиться из-за отдельных вывертов молодежи. Она вообще бывает шумливой, заносчивой, агрессивной. Придет время, и все определится. Ведь в литературе остаются лишь те, у кого есть талант.

Перевод с английского

М. САЛГАНИК

ПО ЗАКОНУ УСКОРЕНИЯ

О НЕКОТОРЫХ ЯВЛЕНИЯХ В ЛИТЕРАТУРЕ 70-х ГОДОВ

Гималаи исчезли.

Не существуют больше как преграда между нами и Индией: за шесть часов «ИЛ-62» перелетает из Москвы в Дели, оставляя далеко внизу громадные горные гряды.

Но существует барьер повыше гималайского — различия в культурах,— не взяв который, мы не сможем уяснить себе глубинный смысл перемен, происходящих в Индии.

Именно сегодня, когда Индия с такой стремительностью выходит на орбиту XX века — что должно бы приблизить ее к нашему пониманию,— именно сегодня резко возрастает необходимость в «транскультурном» переводе явлений ее жизни в привычные для нас понятия. Новое вступает в сложнейшие реакции взаимодействия с прошлым: ведь Индия сорок веков прожила в собственном культурном космосе и представляет пример непрерывавшегося развития культуры. Без понимания своеобразия индийской традиции мы рискуем не оценить неоднозначность ее роли в формировании современного общества.

Бывший президент Индии, известный философ С. Радхакришнан, писал, что индуизм не столько религия, сколько образ мышления.

Образ мышления Индии метафоричен. Метафоры нашли свое воплощение в мифологии, в прославленных эпических поэмах «Махабхарата» и «Рамаяна», персонажи которых — и это очень важно помнить — живут в сознании сотен миллионов индийцев как идеальные модели поведения, как высокие образцы различных социальных функций личности. Идеальный правитель — это Рама, идеальная жена — это Сита, и так далее.

Жизнь индуса регламентирована до интимнейших деталей — чего стоит одна «Кама-сутра», древнеиндийский трактат о любви, где чуть ли не каждая фраза начинается с предписания: идеальный любовник обязан...

И предписание, и запрет облечены в яркие художественные формы, обладающие огромной эмоциональной силой воздействия, а если учесть, что знакомство с ними начинается со сказок раннего детства и продолжается всю жизнь, более того, из поколения в поколение, тысячелетие за тысячелетием,— можно представить себе, как глубоко впечатана традиция в душу Индии.

Строго регламентирована не одна, а бесконечное множество жизней индуса — его рождений и смертей,— поскольку человек возрождается в высшей или в низшей касте в зависимости от того, как он соблюдал кастовые правила в предыдущей жизни. И перейти из низшей касты в более высокую — при очередном рождении, разумеется,— можно только при неукоснительном их выполнении.

Понятно, чем ограниченнее сфера свободного выбора для человека, тем слабее его чувство ответственности за действия в рамках традиции и тем труднее даются ему самостоятельные решения. Кастовая система внушает человеку мысль об отсутствии несправедливости, а следовательно, мешает выработке критического мышления. В мире, где зло обязательно карается, а добро неизменно торжествует — неважно, в какой из жизней,— критиковать нечего.

Почти две сотни лет британского владычества добавили к этим этнопсихологическим особенностям Индии еще и комплекс колониальной неполноценности, неуверенности в способности соперничать с европейской цивилизацией.

Но как бы там ни было, Индия вступила в четвертое десятилетие своей свободы, и о ней уже говорят как о «наиболее развитой из развивающихся стран».

Рост промышленности в стране — и вызванная им урбанизация; «зеленая революция» — и классовое расслоение деревни; политизация буквально всех сторон индийской жизни — и банкротство многих буржуазных политических институтов, показавших свою нежизнеспособность в условиях новой Индии,— все это, понемногу подтачивая кастовую и семейную иерархию, поставило под сомнение устоявшиеся нормы поведения, потребовало умения делать осознанный выбор вместо следования авторитетам и традиции, повысило удельный вес личной ответственности и послужило стимулом к развитию критического мышления, за которым шло становление реализма в литературе и искусстве.

Одного не произошло: новая система моральных ценностей еще не появилась на смену отживающей. Перемены в индийской жизни очень уж опережают перестройку сознания.

«На полпути» — так назвал свою пьесу прекрасный прозаик и драматург Мохан Ракеш. Героиня пьесы работает. По вечерам она возвращается домой с сумкой, набитой служебными папками и покупками. Возвращается усталая и заранее раздраженная домашним беспорядком, неудачником-мужем, эгоистами-детьми. Знакомая картина? Но только не в Индии, для Индии это ново.

Женщину зовут Савитри, и здесь — ключ к пониманию пьесы, потому что в Индии Савитри — имя нарицательное, подразумевающее преданную жену: Савитри из леген-

---

САЛГАНИК МАРИАМ ЛЬВОВНА

Советский литературный критик-индолог, переводчик. Автор ряда статей по проблемам литератур Азии и Африки. Переводила прозу и поэзию современных писателей Индии, Пакистана, Бангладеш.

ды ценой собственной жизни заплатила за жизнь своего мужа.

Савитри Ракеша твердо знает, что долг требует безропотно делить с мужем его неудачи, что женщина реализует себя в семье. Но ее уже коснулись современные веяния: надо опираться на собственные силы, ценность человека измеряется его КПД, а КПД — материальными благами. Все остальное несовременно. Савитри, однако, живет в Индии, где и сегодня единственная для женщины возможность преуспеть — это преуспевающий мужчина. Савитри не понимает, что сама сломила дух своего мужа, обделила детей материнским теплом. Она делает попытку уйти к другому, правда, безуспешную: Савитри — за сорок, и ее собственный КПД быстро снижается. Но не в сюжетной концовке пьесы суть. Мохан Ракеш нарисовал убедительную картину распада семьи — ячейки общества, и, судя по тому, что пьеса уже лет десять не сходит с индийской сцены, его Савитри типична: женщина уже не способна играть социальную роль, предназначенную ей традицией. Но еще и не способна осознанно выбрать свой путь в жизни. Героиня Ракеша — на полпути. От одной нравственной нормы к другой.

Савитри работает, значит, у нее есть хоть какое-то образование. А у Чертовой Митро, героини одноименной нашумевшей повести писательницы Кришны Собти,— никакого. Митро из простой, но вполне обеспеченной семьи, и замуж ее отдали за зерноторговца, в дом благопристойный, традиционный.

Митро бунтует — не желает прислуживать свекрови, слушаться мужа, смеется в лицо двум другим невесткам, кокетничает с кем придется. Свекровь винит во всем дурную наследственность — мать Митро, Бало, пользуется репутацией женщины, живущей в свое удовольствие, что, по индийским представлениям, никак не приличествует вдове. В то время как новая родня пытается взнуздать Митро, обнаруживается, что младший из сыновей утаивал деньги из общего семейного дела, чтобы открыть собственную лавку. Совместное владение семейным достоянием — основа основ индусской семьи, и этот поступок воспринимается как святотатство.

Митро отправляют погостить к матери — сейчас не до сумасбродной невестки. Мать и дочь «эмансипированы» настолько, что Бало предлагает дочери провести ночь с одним из ее «друзей». Сама Бало не прочь познакомиться поближе с собственным зятем...

И опять-таки суть не в сюжетной концовке повести, не в яростной ссоре между матерью и дочерью, Кришна Собти сумела достоверно и ярко показать социально-экономические факторы, взрывающие изнутри традиционные семейные устои, вскрыть психологическое явление, чрезвычайно существенное для понимания сегодняшней Индии: разрушение жестких, действовавших тысячелетиями, установок сменяется ощущением вседозволенности. Формирование моральной личности, обладающей способностью внутреннего самоконтроля и способностью нести личную ответственность за осознанный выбор,— процесс долгий и трудный.

«Чертова Митро» — свидетельство и того, что перемены в индийской действительности, захватывая народные массы, становятся, таким образом, необратимыми — семейный клан, о котором рассказала Кришна Собти, не может быть отнесен ни к англизированной верхушке индийского общества, ни к его образованной прослойке.

А у образованной прослойки, в первую очередь у молодежи,— свои проблемы.

Но сначала немного статистики: в 1947—1948 годах в Индии было 19 университетов, 400 колледжей, в которых обучалось 250 тысяч студентов. По данным на 1975 год, университетов стало 102, колледжей — 4388 с общим числом студентов, приближающимся к четырем миллионам.

Образованная, во всяком случае дипломированная, молодежь выделяется в отчетливо

ИЗ ХРОНИКИ КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА

ЗНАКИ ДРУЖБЫ

ИНДИЯ — СССР

«Я не хочу закрывать окна моего дома... Хочу открыть мой дом всем ветрам, но не хотел бы, чтобы порыв ветра сбил меня с ног».

Это — слова Ганди, человека, который не мирился ни с какими формами замкнутости, ни с какими доктринами превосходства одного народа над другими.

До независимости реальность индийской жизни допускала связи читающей публики только с литературой метрополии. В колониальные времена индийская интеллигенция получала образование на английский лад. Оно не только давало ей больше знания Шекспира, чем Калидасы, но и влияло на зависимость ее вкусов от литературных суждений Англии.

Именно это обстоятельство и имела в виду Индира Ганди, когда, выступая перед писателями, она отметила, что освобождение от британского владычества открыло перед Индией путь к культурному плюрализму. И действительно, несмотря на нехватку переводческих кадров, на недостаток средств, Индия стала менять свою культурную ориентацию и расширять литературный горизонт.

Литература чашей страны играла и продолжает играть в этом процессе совершенно особую роль. Начать с того, что творчество целых поколений индийских писателей XX века формировалось под влиянием произведений классиков русской прозы; знакомство с ними, естественно, шло через английские переводы. Произведения До-

очерченную макрогруппу, которая помимо собственных трудностей, обусловленных в первую очередь несоответствием архаичной системы просвещения требованиям сегодняшней жизни, знакома благодаря средствам массовой информации с проблемами, терзающими умы молодежи развитых индустриальных стран Запада.

В 1976 году произошло событие, последствий которого в то время никто не мог предвидеть: крестьяне деревни Наксалбари в Западной Бенгалии сожгли долговые расписки и потребовали справедливого распределения земельных наделов. Восстание продолжалось 52 дня и было подавлено силой. К деревенским бунтарям присоединились бунтари городские; образованная молодежь из обеспеченных семей увидела здесь начало той самой революции, которая представлялась ей простым решением наболевших вопросов. Так началось левоэкстремистское молодежное движение, участники которого называли себя наксалитами — по имени деревни Наксалбари.

Сегодня об этом движении можно говорить уже в прошедшем времени, как о потерпевшей крах террористической кампании. Наксалиты парадоксальным образом совмещали «мелкобуржуазный революционаризм» с цезарианским высокомерием по отношению к народным массам, а ведь они утверждали, что действуют от имени и во имя народа. Наксалиты не сумели оценить уровень социального сознания масс, не учли политическую ситуацию в Индии. Все попытки наксалитов навязать народу свои ультралевые идеи и террористические методы привели к бессмысленной гибели тысяч людей. «Всеобщее вооруженное восстание» так и не состоялось.

В книге «Коммунистическая партия и наксалиты» члены Национального Совета Компартии Индии Гиратап Митра и Мохит Сен отмечали, что в социальном контексте Индии молодежный протест отражает рост активной неудовлетворенности окостеневшими установлениями и нормами общества. И далее: только личный героизм и искренность наксалитов могут до какой-то степени служить оправданием их страшных действий.

Многие индийские писатели пытались разобраться в психологии молодежного бунтарства. Лучше других это удалось Кашинатху Сингху в романе «Наши окопы» и Наянтаре Сахгаль в романе «Ситуация в Нью-Дели». Поскольку в «Наших окопах» речь идет преимущественно о событиях внутри университетского городка, а Наянтара Сахгаль рассматривает вопрос в более широком контексте, обратимся к «Ситуации в Нью-Дели».

Ришаду — девятнадцать. Он — гордость Делийского университета, прекрасно учится, умен, начитан. Его мать, Деви,— министр просвещения Индии, сестра и ближайшая сподвижница недавно умершего премьер-министра страны Шивраджа, в образе которого отчетливо угадывается Джавахарлал Неру.

Ришад — член молодежной террористической организации, смысл деятельности которой он излагает так: «...насилие здравомыслящих, где идея справедливости обретает характер страсти. Старый мир должен быть стерт с лица земли, чтобы на его месте мог быть построен новый... От паники — через хаос — к разрушению. Разрушение приведет к бунту, бунт — к захвату власти. Только тогда возникнет новый правопорядок. Не Утопия. Просто пища в желудке и приличная зарплата. Утопия нищих и задавленных. Утопия по-индийски».

Наянтара Сахгаль ставит перед собой цель — исследовать причины, в силу которых за тотальную перестройку общественной системы выступает как раз та часть молодежи, что может заполучить место на самом ее верху.

Пытаясь понять сына, Деви говорит: «Неудивительно, что молодежь — да и не только она — приходит в смятение от жизни

стоевского, Толстого и Чехова входят в культурный багаж индийской интеллигенции, что же касается поэзии, то до независимости она была знакома Индии лишь понаслышке.

Октябрьская революция вызвала подлинный взрыв интереса ко всему, что происходило и писалось в Советской России. Однако английские власти в Индии ввели целую серию цензурных ограничений, дабы воспрепятствовать проникновению «красной пропаганды» в свою взрывоопасную колонию. Советская литература оказалась под строжайшим запретом. Все же наши книги—и книги об СССР—попадали в Индию и, несмотря на связанный с этим риск, хранились и распространялись подпольно.

Широкое знакомство с литературой нашей страны началось в годы второй мировой войны, когда Англия, став союзницей СССР по антигитлеровской коалиции, была вынуждена отменить цензурные запреты на советские книги. Произведения Горького и Маяковского, Шолохова и Фадеева переводились — с английского — на языки народов Индии и расходились по всей стране.

В наши дни растет и количество, и качество переводов советской литературы; появляются кадры переводчиков, владеющих русским языком, побывавших в вашей стране. Однако таких переводчиков пока не очень много, и английский продолжает играть значительную роль в сближении наших литератур.

Калькуттское издательство «Писательская мастерская» уже полтора десятка лет занимается трудной, но очень важной работой: публикует произведения индийских писателей в переводе на английский, таким образом и помогая национальной интеграции этой многоязычной страны, и открывая перед зарубежным читателем дверь в современную литературную Индию.

Произведения иностранных авторов «Писательская мастерская» печатает крайне редко. Тем значительнее выглядят два томика русской поэзии, только что изданные в Калькутте: «Избранные стихотворения» А. С. Пушкина и «Сто стихотворений русских

между мифами древности и индустриальной современностью».

Старый друг семьи, проректор университета Усман Али, до полусмерти избитый студентами, отмечает противоречивость устремлений молодых бунтарей, рвущихся одновременно и к равенству, и к руководству обществом: «Хоть у нас и республика, но мы страдаем от ностальгии по монархии и блистательным личностям, которые возвысились бы над миллионами».

Наянтара Сахгаль сталкивает в романе не только мировоззрение отцов и детей, но и две концепции преобразования жизни: гандистскую теорию ненасилия, действенность которой кажется детям проблематичной, и террористические акции, естественно, неприемлемые для отцов.

Автор романа фокусирует внимание читателя на подчеркнутом рационализме Ришада. Мне кажется, об этом стоит поговорить чуть подробнее.

Деви, участница национально-освободительной борьбы, осознает: народные массы — это не сумма нулей (что в результате все равно дает нуль), а сообщество людей. Ее сын, Ришад, при всех своих эгалитарных убеждениях не сомневается, что народ — инертная масса, которую необходимо силой толкнуть на «правильный» путь, и тогда «простые люди поймут, что для них хорошо».

Ришад и его товарищи щеголяют своим технократизмом, логичностью, с которой они «планируют перемены, планируют революцию». Отчасти это реакция на высокие замыслы поколения Шивраджа, Деви, Усмана Али, практические результаты которых проявляются так скудно, а главное, так нестерпимо медленно. Отчасти же это попытка пересадить на индийскую почву идеи ультралевого западного терроризма, те самые, что приносят на Западе столь горькие плоды.

Рационализм как противоядие покорности божественному промыслу — один из идеалов не только поколения Деви, но и предшествовавшего поколения. Было бы естественным ожидать, что сын Деви, современник научно-технической революции, воспримет рационализм как единственно возможное мировоззрение. Ришад же — человек активно, фанатически верующий, только не в бога, а в компьютерную логику. Свято уверовав в могущество холодного рассудка, считая единственным моральным критерием все тот же пресловутый КПД, он практически не принимает во внимание нравственный аспект; есть задача, предлагается оптимальный вариант решения

Мера презрения Ришада и его единомышленников к индийскому истэблишменту может сравниться разве что с мерой их презрения к тому самому народу, ради которого они готовы идти на смерть. Умереть ради простых людей они могут, а жить среди них — нет. В конце романа Ришад погибает при попытке взорвать бомбу в переполненном кинотеатре. Но при встрече с рабочими каменоломен, которые прячут террористов от полиции, добывают для них взрывчатку, Ришад понимает: между ними — стена.

Усмана Али тоже не оставляет мысль о необходимости революционных перемен, но он знает, что «революции происходят не в воздухе, а на земле». И чтобы найти путь к людям на земле, он кладет в основу своего проекта реформы системы народного образования принцип доступности знания простому человеку. Усман Али выступает за образование, которое стало бы общедоступным не по конституции, а на деле, которое дало бы миллионам не сумму абстрактных сведений, а профессиональные навыки, применимые в сегодняшней Индии, и сократило бы разрыв между образованной элитой и народом.

Усман Али очень хорошо понимает, что не в одной общеобразовательной реформе ключ к решению проблемы, что и на одно

поэтов», в оглавлении которого — имена Пушкина, Лермонтова, Фета, Анненского и Блока. Томик Пушкина подготовили американские исследователи Б. Раффел и А. Бураго, а сто стихотворений — австралиец Р. Х. Моррисон. Факт публикации этих книг в Индии — еще одно подтверждение серьезного и глубокого интереса индийского читателя к прошлому и настоящему нашей литературы.

Необходимо подчеркнуть растущее внимание Индии к советской поэзии. Появляется все больше переводов, причем по большей части они делаются через подстрочники крупнейшими поэтами страны. Например, Шубхаш Мукерджи перевел на бенгальский книгу стихов Олжаса Сулейменова, Шрикант Варма — на хинди — Андрея Вознесенского, а Амрита Притам — на пенджаби — Римму Казакову.

По этому пути пошло и делийское издательство «Раджкамал пракашан», не так давно выпустившее в свет первый из трех томов «Антологии советской поэзии», подготовленный СП СССР по просьбе издательства. Над первым томом работали известные поэты, пишущие на хинди: Бхарат Бхушан Аграваль, Шрикант Варма, Раджив Саксена.

В предисловии к первому тому критик-коммунист Намвар Сингх говорит о советской поэзии так:

«Анализируя современную советскую поэзию, необходимо помнить, что в Советском Союзе печатается огромное количество поэтических переводов с иностранных языков, и это давно уже стало традицией. Для современных советских поэтов знание зарубежной поэзии — естественнейшая вещь на свете...

Высоты, которых достигла советская поэзия, и ее внимание к сложным проблемам жанра служат для нас примером и вдохновляют нас. Диалектическая связь традиции и новаторства обусловливает различные направления развития советской поэзии. Так страстно любят советские поэты свою страну, так блистательно их мастерство и так заинтересованно относятся они к совершенствованию общества, в котором живут и в будущее которого верят, что их стихи никого не могут оставить безразличным».

ее проведение уйдет много времени. А вместе с тем: «Я вижу, как зарождается нечто новое, и у этого нового — лицо хаоса. Хаос необходимо предотвратить».

Мысль о хаосе, о том, что он может быть на руку только реакции, заставила и Шубхаша Мукхопаддхайю (Мукерджи), одного из ведущих индийских поэтов, лауреата Национальной премии, коммуниста, впервые обратиться к прозе и написать роман «Голодовка» (М., «Прогресс», 1979), в частности, адресуя его молодым экстремистам.

Роман посвящен событиям, происходившим в Индии почти четверть века назад, его герой — также молодой человек — из ортодоксальной брахминской семьи, сын добропорядочного чиновника.

Рисуя образ Оробиндо, Мукерджи показывает, как человек идет от веры к знанию. Вера, в отличие от знания, упрощает жизнь — не потому, что дает ответы на мучительные вопросы, а потому, что предупреждает возможность их постановки. Оробиндо становится коммунистом, и на его примере Мукерджи показывает, каким нелегким был путь к зрелости и для КПИ.

В предисловии к роману Мукерджи объясняет: «...прошло двадцать два года. За это время в коммунистическом движении Индии произошел еще один серьезный кризис — левые экстремисты привели партию к расколу. И в 1972 году у меня с новой силой возникло желание написать давно задуманный роман, чтобы те, кто родился после нас, извлекли для себя уроки из прошлого».

Нужно сказать, что стремление проанализировать уроки прошлого, представить себе длительное взаимодействие великого множества сил и факторов, суммой которых и является Индия наших дней,— новая тенденция в индийской романистике. Появляются романы-хроники, в которых прослеживается история жизни нескольких поколений. Причем появляются на различных индийских языках. Таковы романы Курратулайн Хайдар «Кто с нами шел до зари» и Джилани Бану «Дворец поэзии», написанные на урду, только что удостоенный Национальной премии роман-дилогия той же Кришны Собти «Да живет революция» — на хинди, роман Шиварама Каранта «Хроники Ватапуры» — на каннада.

Во «дворце поэзии» Джилани Бану живет богатая аристократическая семья во главе с бывшим тахсильдаром — начальником округа — и поэтом Вахидом Хуссейном. Он-то и дал своему дворцу столь поэтическое название. Во дворце — его замужние дочери, женатые сыновья, внуки и внучки, а также огромное количество прислуги, бедных родственников и приживалок.

По обычаю, во дворец берут на воспитание девочек из неимущих семей, которые, подрастая, становятся утехой мужской половины семьи, а затем переводятся в разряд служанок.

Джилани Бану подробно рассказывает о вторжении новых, капиталистических, отношений в устоявшийся феодальный быт и о тех переменах в морали и взглядах на жизнь, которые этим вызваны: сын Вахида Хуссейна, Рашид, занимается спекуляцией, один зять, Хайдар Али, увлекается политической деятельностью и даже сближается с «левыми коммунистами», а другой, Хумаюн, пытается жить по «закону предков» и доходит до полного обнищания.

Расколу семьи способствует и начавшееся в Теленгане крестьянское восстание, политика врывается в покои «дворца поэзии». Дочь Хайдара Али, Чанд, окончившая медицинский колледж, в полном противоречии с тем, что ислам предписывает женщине, влюбляется в индуса Сандживу и покидает дом. Но Сандживу с оружием в руках уходит в джунгли, а Чанд, раздавленная и больная, возвращается домой; Сандживу не поверил, что наследница «дворца поэзии» способна принять участие в вооруженном восстании; его женой стала Кайсар, дочь одной из полурабынь при дворце Вахида Хуссейна.

Восстание в Теленгане захлебнулось в крови. Кайсар и Сандживу казнены, а их маленькая дочка Кранти (Революция) попадает на воспитание все в тот же «дворец поэзии».

Поколение сменяется поколением. Внуки и правнуки Вахида Хуссейна уже не слагают изысканные газели, не владеют громадными земельными наделами — все они учились за границей, стали врачами, техническими экспертами и тому подобное. Участие в политической жизни для них — форма укрепления деловых контактов.

Подросшая Кранти, которая открыто курит и вместо воздушных шелков носит

СССР — ИНДИЯ

МАЛЕНЬКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЮГ

И мы в Советском Союзе продолжаем открывать для себя Индию. Всматриваемся не только в ее нынешний облик, но и обращаемся к истокам ее древней культуры. Исторически мы начали с наших географических соседей — народов северной Индии. Теперь мы постепенно расширяем горизонты наших знаний, продвигаясь на юг.

Издательство «Наука» (1979) выпустило в свет небольшую антологию «Стихи на пальмовых листьях», где впервые относительно полно представлена самая ранняя поэтическая традиция индийского юга — классическая тамильская поэзия, поэзия «санги». Традиция эта, сложившаяся к началу нашей эры, пережила бурный расцвет в I—III веках, прервалась в последующем тысячелетии, но, продолжая жить в памяти народа, оставила миру прекрасные образцы героической, гимновой и любовной лирики.

По своему культурному значению тамильский язык — важнейший в дравидийской

джинсы, уходит из «дворца поэзии» в подпольную левоэкстремистскую молодежную организацию.

Первая глава романа есть, по сути дела, и его эпилог. «Дворец поэзии» принадлежит правительству, в нем размещены культурные организации туманного назначения; дворец слишком громоздок и неудобен для наследников Вахида Хуссейна, и наследники с радостью избавились от него. Вечера поэзии, проводящиеся теперь во дворце, несут на себе печать официальной скуки. «Революционность» декламируемых стихов оттенена тем, что, хотя всем присутствующим известно о разгроме наксалитов, говорить здесь об этом не принято. Судьба Кранти — Революции,— выросшей на женской половине ветшающего феодального «дворца поэзии», остается читателю неизвестной.

Роман Джилани Бану перенаселен действующими лицами, как сама Индия. Его сюжетные ходы сплетаются в лабиринт и почти не поддаются пересказу, точно так же, как невозможно передать в пересказе мельчайшие детали жизни деревни, города и дворца, который стоит где-то посредине, соединяя приметы и сельского, и городского укладов.

Весьма важная особенность новых романов-хроник как раз и заключается в том, что в них пересекаются две основные линии движения индийской прозы последних десятилетий: деревенская и городская. Деревня в романах-хрониках окончательно утрачивает ностальгическую дымку пасторальности, а дымы большого города перестают быть пугалом: и деревня, и город предстают перед читателем в реалистическом взаимодействии, так, как это и есть сейчас в Индии.

Шиварам Карант в «Хрониках Ватапуры» показывает процесс превращения деревни в город, пусть и не большой, не индустриальный.

В начале романа Ватапура — поселок, знавший лучшие времена, свидетельства которых — храмы и водоемы — теперь быстро разрушаются. Примета деревни — большущее баньяновое дерево. Маленький поселок — «на одном конце подохнет крыса, учуешь на другом» — жестко разделен кастовыми перегородками. Всего два раза в них как будто бы появляется брешь: когда брахмины затевают починку водоема, и им постепенно начинают помогать все сельчане и когда деревня объединяет свои скудные продовольственные запасы, чтобы пострадавшие от засухи не перемерли с голоду. Вот тут-то местный правдоискатель Рамайя Бхатта говорит, что умрет счастливым; он убедился, что люди все же способны оставаться людьми.

Сменились четыре поколения — так ведет счет неспешного индийского времени автор романа. Часть баньяновых веток пришлось обрубить при строительстве шоссейной дороги. Население Ватапуры увеличилось, стало более мобильным, люди уходят в города на заработки. Ватапура узнает, что идет борьба за свободу, что Ганди восстал против кастовой системы. Политические страсти захватывают Ватапуру, но ненадолго — после того как кое-кто из крестьян побывал в тюрьме, они решили, что лучше им заниматься собственными делами. Исключение представляет лишь Гопалайя, убежденный приверженец Ганди. Он следует примеру Ганди буквально во всем, и в деревне его даже начинают звать Ганди Гопалайя. Гопалайя много делает для облегчения участи неприкасаемых, но, подстрекаемые неразборчивыми политиканами, рвущимися в деревенский совет, панчаят, они выступают против него... Гопалайя умирает в одиночестве.

Ватапура разрастается в городок. Баньяновое дерево срублено под корень. Появляются административные здания, школы и даже колледж и суд. Самой популярной личностью становится адвокат Анантайя, который, как много лет до него Рамайя и Гопалайя, считает своим долгом служение обществу и... служит обществу тем, что помогает горожанам уклоняться от уплаты налогов.

При всех переменах, которые произошли в Ватапуре, положение неприкасаемых ни на йоту не изменилось. Они живут в неописуемой грязи, нищете и невежестве. Неприкасаемые поджигают спичечную фабрику, выстроенную, чтобы им же дать работу,— и это не единственный случай, когда науськивание местных политиканов толкает неприкасаемых на поступки такого рода.

По мысли автора, история Ватапуры символизирует упадок нравов, причина которого — в неспособности людей, разделенных на касты, осознать свою принадлежность к общенациональному единству, свою зависи-

---

языковой семье. Поэзия «санги» создавалась в соответствии с определенными канонами. Ее образный строй, символику и «ситуативность» следует рассматривать непосредственно в контексте жизни древних тамилов. Тем больше заслуга советских исследователей и переводчиков, обратившихся к классической тамильской лирике, которая во многом еще являет собой загадку и для специалистов в самой Индии. Предисловие и комментарий к «Стихам на пальмовых листьях» А. Дубянского (он же — составитель сборника и автор подстрочного перевода) читаются едва ли не с тем же интересом, что и стихи в переводе А. Наймана. Ответственный редактор книги — С. Д. Серебряный.

Малаялам — тоже язык южной Индии, на нем говорят в штате Керала. Изучение литературы малаялам и ее переводы на русский — явление последних десятилетий, и пока что число произведений, с которыми следовало бы познакомить советского читателя, значительно превышает уже сделанное исследователями и переводчиками.

Безусловная удача наших востоковедов — опубликованный тем же издательством «Наука» (1980) поэтический сборник Валлаттола (1878—1958), одного из «великой триады» стихотворцев Кералы, революционизировавших керальскую поэзию и приблизивших ее к народу. Ответственный редактор сборника «Гимн утренней заре»—Е. П. Челышев, составители — В. А. Макаренко и Чандра Сеххар, переводчики — М. Павлова,

мость от общего уровня развития Индии. И еще — Шиварам Карант показывает в своих «Хрониках» начало медленного и сложного процесса перестройки кастового сознания в классовое.

Может показаться парадоксом, но классовое расслоение деревни укрепило подчиненное положение низших каст, и в особенности неприкасаемых: появился мощный экономический стимул для ничем не ограниченной и освященной традицией эксплуатации 180 миллионов людей, веками лишенных даже права считаться людьми

Индийская конституция запрещает само слово «неприкасаемые», она предоставляет им не просто равные права, а предусматривает целый ряд привилегий, но между правами и возможностями высится цитадель кастового сознания подкрепленная экономической выгодой от практически даровой рабочей силы

Большинство неприкасаемых живет, как сорок веков назад, не подозревая о своих правах, а тем более привилегиях, несмотря на то что с 1975 года правительство Индии взялось за проведение мер по реальному улучшению условий их жизни.

В последние годы проблема неприкасаемости приобрела в индийской литературе острый почти болезненный характер. Передовые писатели и мыслители Индии всегда рассматривали неприкасаемость как позор, с которым нельзя примириться, и выступали против нее. Однако все та же система кастовых перегородок не давала им возможности отобразить жизнь неприкасаемых иначе как извне, точнее, в проекции сверху: никакая сила сочувствия, никакие муки стыда за положение миллионов людей не могли открыть писателю подробностей их бытия, ибо неприкасаемые — и это необходимо понять — соблюдают кастовые запреты так же строго, как и брахмины, истово оберегая единственную возможность обрести иной статус — в следующем рождении.

Болью за неприкасаемых, ненавистью к обществу лишающему их самых простых человеческих прав, включая право на понимание своей отверженности, пронизаны романы Шанты Рамешвара Рао «Дети божьи» и Джагдиша Чандры «Своей земли не хозяин» (М., «Прогресс», 1980).

Можно представить себе, как встретил передовая Индия голоса самих неприкасаемых, когда после тысячелетий молчания они заговорили об ужасе своего существования.

По оценке индийского критика-марксиста П. С. Неруркара, литература неприкасаемых, далит-литература (неприкасаемые сегодня называют себя «далит» — задавленные), «ведет бой не за улучшение доли отверженных, а против самой концепции кастовости и провозглашает активный гуманизм в его острособременном понимании». Ярость и гнев против кастовой иерархии — главный стимул первого в Индии литературного движения такого рода.

Наша жизнь с рожденья отмерена.
Мне заранее определили судьбу.
Лишь дозволенные произносил я слова,
Плелся по одной и той же тропинке,
возвращаясь в каморку мне
отведенную...
Говорят, что, если всю жизнь идти
покорно
по назначенному пути,
потом все небо будет твоим —
все бескрайнее небо!..
Да плевал я на это!
Слышите?!

(Нараян Сурве. «Наша жизнь с рожденья отмерена...». Перевод Роберта Рождественского)

Очень важно, что лучшие писатели этой группы понимают необходимость освобождения от внутренних пут кастового сознания. Если еще десятка два лет назад неприкасаемые искали выход в принятии религий, не знающих каст, даже пытались основать новую религию — «необудизм», поскольку Будда каст не признавал, то сегодня один из наиболее ярких далит-писателей Дая Павар — его «Автобиография», вышедшая недавно, отмечена Литературной премией правительства Махараштры, признана «самой читаемой книгой» в Индии — создал стихотворение «Город Будды», где, обращаясь прямо к Сиддхарте Гаутаме Будде, показывает несостоятельность любых попыток облегчить участь неприкасаемых в условиях кастовой системы и требует решительной борьбы за перемены:

Город Будды

О Сиддхарта,
в нашем двадцатом веке
город имени твоего
перепахан
безжалостным плугом...

Е. Рейн, А. Сечкевич. Сборник вышел с предисловием Ч. Ачуты Менона, видного политического деятеля и члена Национального Совета Компартии Индии, автора ряда работ по истории индийской культуры, который неоднократно выступал на страницах «Иностранной литературы» со статьями о поэтическом искусстве малаялам. Ч. Ачута Менон отмечает, что Валлаттол черпал вдохновение в борьбе своего народа за национальное освобождение, и в этом — источник мощи и выразительности его стихов.

Поэт всегда был большим другом нашей страны. В своих стихах он славит «Отечество Свободы» — Советскую Россию, которая «не уставая, идет вперед...».

Валлаттол — тончайший лирик, способный ощутить и передать оттенки настроения, звуки, цвета и запахи чувственного мира.

**Эй, посмотри, как разводит широкие
крылья
Белая птица и медленно к счастью
летит...**

Поэт, влюбленный в жизнь, Валлаттол всегда боролся за счастье человека, обличал зло и несправедливость, отстаивал идеалы мира и демократии.

Хибары
убирают, как камни с поля.
И полицейский автомобиль
с достоинством катит мимо таблички,
на которой написано имя твое.
Поддетые полицейской дубинкой,
летят из хибарок тряпье и циновки —
«богатство» семнадцати поколений.
Сгрудилась голая детвора.
Вопли слышны на шоссе и крики:
— Да позвоните же в Дели!..
— Надо поставить в известность
министра!..
— Милый, но ведь это для их же блага...
— Наконец-то кончится безобразие
под нашими окнами...

Сносят квартал.
В современнейшем здании из стекла
и бетона
сидят чиновники в классических позах
трех обезьян.
И одна обезьяна
говорит понятливому секретарю:
— Если будут спрашивать, я уехал...
Будда, слышал ли ты, что имеется план
перевоспитания бандитов лаской?
А пока что в цивилизованном мире
судьбами правит бесчеловечность
в свежевыглаженной сорочке...
Друзья твои — Ананда и Сарипутра —
оттерты в угол...
— Скинемся, что ли,
по пять рупий на марш протеста?..

Бандиты пользуются именем твоим,
Будда!
О Сиддхарта,
ты заставлял трепетать тиранов.
А как же быть нам —
твоим невезучим последователям?..
О Будда, ты осуждал убийства,
но если только мы выйдем драться —
зубами драться, драться ногтями,—
ты постарайся понять нас, Будда!
Постарайся поиять!

(*Перевод Роберта Рождественского*[1])

...Основы индийской литературы закладывались в одно время с египетскими пирамидами, и может иной раз показаться, что течение времени не затрагивает их.

Но прямо на наших глазах происходят изменения в самой толще мощной традиции: уже не говоря о том, что традиция неизбежно меняет свой изначальный смысл, когда ее воспринимает человек XX века,— индийская литература охвачена процессом внутреннего движения от создания идеальных образов, через бытописательское отображение реальности, к активному освоению жизненного материала.

«Иностранная литература» (1978, № 10) уже рассказывала о первых шагах неприкасаемых в литературе. Здесь хочется повторить: как ни тернист путь Индии в будущее, великая страна идет по нему, идет быстрее, чем это может нам показаться.

◆

Изобразительное искусство за рубежом

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

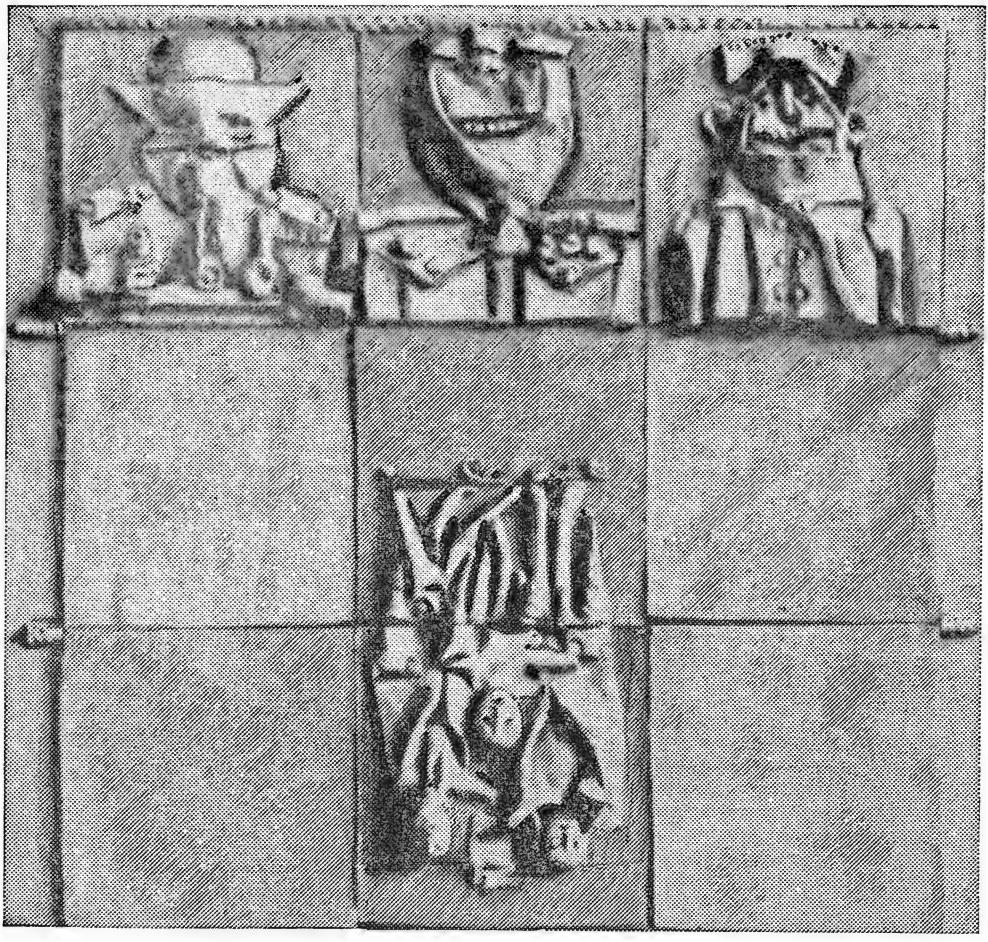
Несколько слов о недавнем прошлом, иначе будет непонятна степень перемены. Индийское изобразительное искусство 60-х годов — в основном своем направлении — существовало как бы вне времени и пространства: вольно, непринужденно рука художника плескала на холст разведенную краску, и она текла, как и куда ей хотелось. Иногда художник воссоздавал мир своего подсознания в замысловатых иероглифах; зачастую они напоминали дождевую каплю, рассмотренную под сильным увеличением. А между тем жизнь настойчиво стучалась в двери студий. На рубеже 70-х, казалось, сильный порыв ветра распахнул двери и окна художественных мастерских, с глаз художника спала пелена: беспредметные полотна были повернуты к стене, а на мольбертах появились работы, отображающие действительность, жизнь простого человека в ее многообразии.

Прежде Индия никогда не переносила на свои полотна большой мир, она всегда оставалась в себе, в своем микрокосме. Но вот впервые в индийское изобразительное искусство была вписана тема Вьетнама, Чили, Бангладеш, а шире — тема тирании, тема человека-жертвы и человека-борца.

Ключевым событием явилась национально-освободительная война в Восточном Пакистане, в результате которой на Индостанском полуострове родилась республика Бангладеш. Ее рождение происходило в обстановке геноцида, осуществлявшегося военщиной Пакистана. Десять миллионов беженцев из Восточной Бенгалии хлынули в Индию в поисках убежища, крова и пропитания. В те дни по Индии проходили бурные демонстрации протеста против массовых расстрелов мирных жителей пакистанскими солдатами. В кампанию протеста включились и индийские художники, даже те, кто ранее демонстративно подчеркивал обособленность искусства от политики.

Хочется отметить общий характер произведений этого времени: они стали более резкими по цвету, угловато-колючими в рисунке и пластике, более непосредственными по своему образному строю. Не случайно, по-видимому, тяготение многих живописцев к различным видам графики — литографии, офорту, сложным, смешанным техникам гравюры. Отсюда — появление во многих произведениях живописи и скульптуры сатирических, гротесковых образов.

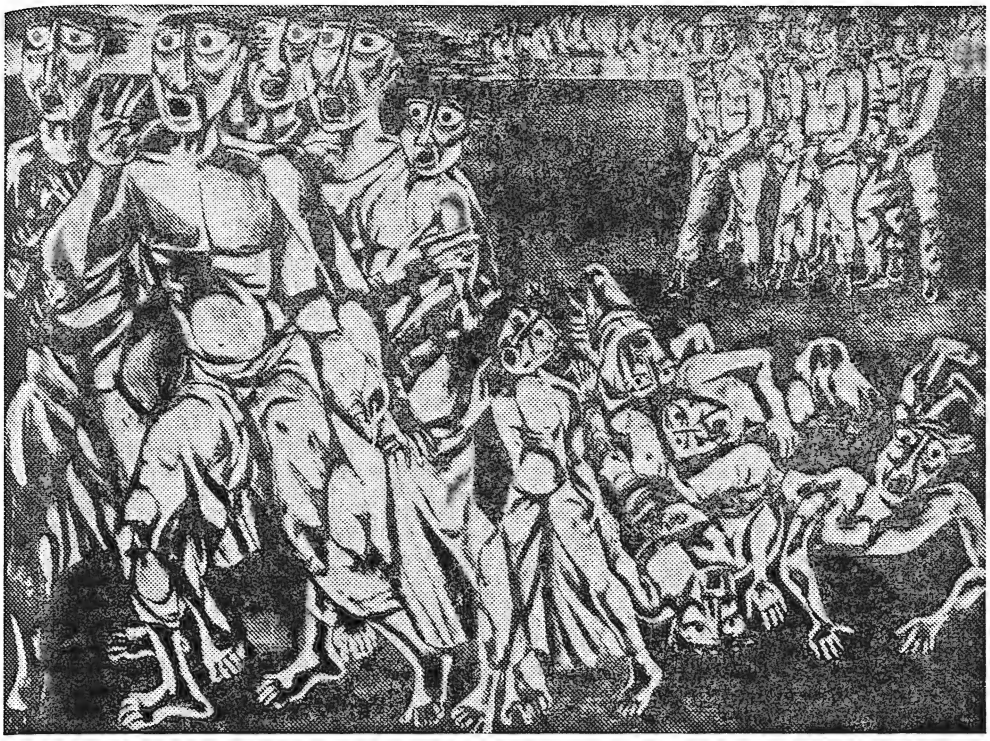
[1] Переводы стихов Н. Сурве и Д. Павара выполнены Р. Рождественским специально для «Иностранной литературы».



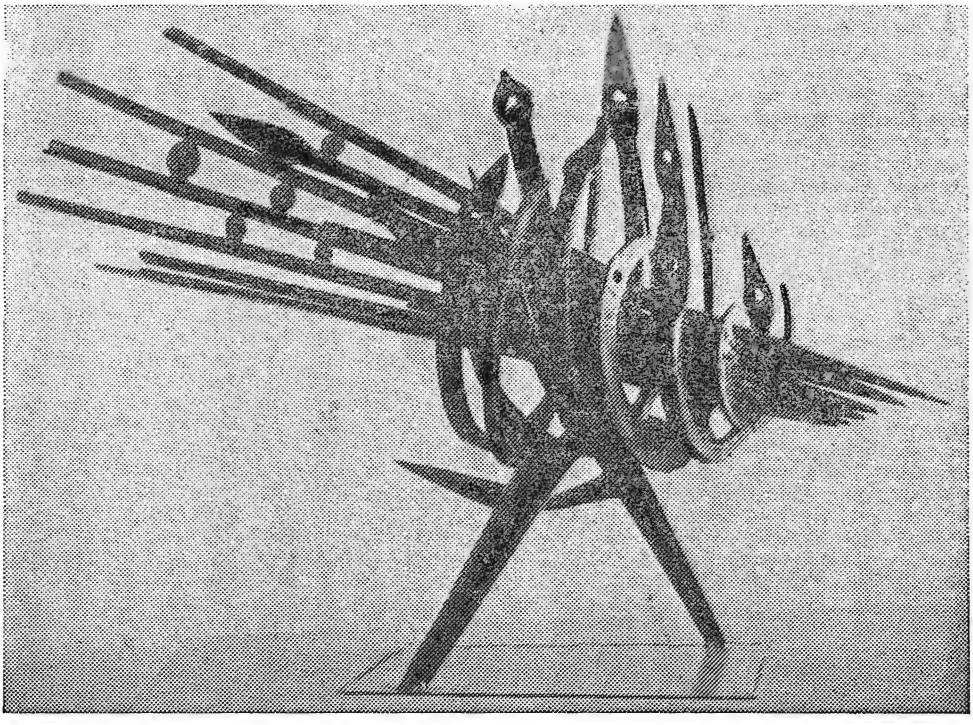
К. Г. СУБРАМАНИЯМ. «Генералы». Терракота.

К. Г. СУБРАМАНИЯМ. «Генералы» (фрагмент).

Д. ДОРАИСВАМИ. «Геноцид в Бангладеш». Масло.



Д. ДОРАИСВАМИ. «Угнетатели». Масло.



А. ДАВИЕРВАЛЛА. «Война». Металл.

Яркий тому пример — керамическое панно «Генералы», созданное в 1971 — 1972 годах известным художником и педагогом К. Г. Субраманиямом (род в 1924 г.). На серо-коричневых плитках изображены палачи и их жертвы. Палачи-генералы занимают верхний ряд композиции, олицетворяя собой антинародную, контрреволюционную, узурпированную власть, олицетворяя все хунты мира. У Субраманияма они карикатурны и ненатуральны, это — монстры, чье реальное бытие овеществлено в трупах замученных ими жертв. Поражает пустота и тишина «убитого» пространства, окружающего палачей.

Другой индийский художник, Д. Дораисвами (1926—1978), начал создавать в 1973 году серию полотен, тема которых актуальна и поныне: ее отправным моментом была трагедия Бангладеш. «Угнетатели» Дораисвами — воплощение грубой силы и жестокости. Фигуры угнетателей окружены зловещими символами, это — пес с оскаленной пастью, гриф, змея и ружье. Палачей роднит, объединяет, делает соучастниками кровавых деяний крепкое рукопожатие. Да и похожи они друг на друга, как близнецы. Их жертвы, подавленные террором люди, представлены на другом полотне — «Геноцид в Бангладеш» (1972). Мы видим, как солдаты хладнокровно перезаряжают оружие для нового залпа по бегущей в панике толпе беззащитных женщин и детей.

А. Давиервалла (1924—1976) всю жизнь создавал скульптуры, в которых ясно прочитывалась антивоенная тема. Это были либо зашитые в железо роботы, запрограммированные на убийство, либо вот такой ощетинившийся смертоносными иглами-копьями Солдат — инструмент Войны. Давиервалла работал в тяжелой технике сварного металла, порой его скульптуры были очень больших размеров; одну из них — «Поверженного» — установили в жилом квартале Бомбея. Любопытная подробность: скульптор слыл знатоком европейской музыки, его любимым композитором был Шостакович. Такое не часто встретишь в Индии, где, как правило, ценят свою, малопонятную нам музыку.

Бесспорно, художники Индии видят в окружающем мире не только насилие и смерть. Они воспевают служение высоким идеалам лучших представителей рода людского и всем своим творчеством утверждают победу духовного начала над низменным, пошлым, буржуазно-мещанским в человеке и обществе. Таков портрет Пабло Неруды (из графической серии, иллюстрирующей его поэзию), выполненный одним из самых интересных сегодняшних художников Индии — Виваном Сундарамом (род. в 1943 г.). Идея этой работы предельно ясна — поэт причастен ко всему, что есть родина: земля — с ее суровыми горами и узкими прибрежными долинами, океан с его глубинными течениями, с его подводным миром. Соки земли, переплетение подземных корней, океанские испарения, восходящие воздушные потоки, люди, их творения, горные вершины наподобие величественной Макчу-Пикчу — из всего этого как бы соткан образ поэта. Это портрет-метафора, передающий слова самого Пабло Неруды: «Пяти чувствам поэта должны быть доступны все горизонты». Это портрет, восславляющий вечную, непреходящую силу творческого гения, остающегося навсегда со своим народом, со своей землей.

С. ПОТАБЕНКО

ВИВАН СУНДАРАМ. «Портрет Пабло Неруды». Б. Тушь, перо.

◆

С. РОЖНОВСКИЙ

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ АВСТРИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Не совсем академические раздумья

Существует ли австрийская литература? Многим людям, читающим иностранную литературу в переводах, этот вопрос может показаться нелепым. Им знакомы десятки книг, написанных писателями Австрии. Эти книги, даже если они поднимают общераспространенные в европейской литературе темы, всегда обладают своеобразием, которое не стирается даже в переводах. На такой вопрос они ответят: конечно, существует.

Тем, кто изучает немецкий язык и получает возможность читать произведения в оригинале, этот вопрос тоже может показаться простым и даже странным. Им знакомы десятки книг, написанных писателями Австрии. Эти книги, конечно, всегда обладают особыми национальными чертами, которые проявляются и в мотивах, и в подходе к темам, и в лексико-грамматических чертах. Но ведь написаны они на немецком языке! А значит, существует только немецкая литература, включающая в себя и писателей Австрии!

Ученым-филологам этот вопрос не покажется ни нелепым, ни странным, ни простым. Они сразу ответят, что за ним стоит сложная проблема. Что, конечно, нельзя отрицать ни своеобразия австрийской литературы, ни того, что она создавалась на немецком языке. Но в германистике принято рассматривать всю историю письменности от древнегерманских памятников до литературы наших дней сквозь призму формирующегося общелитературного языка — Neuhoch deutsch — и называть ее историей немецкой литературы.

Выходит, что все три точки зрения по-своему обоснованны и что третья словно бы снимает противоречие двух первых и, кроме того, имеет по сравнению с ними еще и то преимущество, что опирается не на ограниченный эмпирический опыт, а на научный критерий, систематически применяемый при оценке фактического материала.

И тем не менее лингвоцентрическая концепция немецкой литературы дает лишь мнимое разрешение проблемы австрийской национальной литературы. Выдвинутый немецкой филологией критерий лишь кажется незыблемым. Он ненадежен, ибо не учитывает такие важные моменты, как политическая и экономическая история, процесс формирования наций и ту особую роль, которую играет литература в утверждении национальной самостоятельности. Принятый филологический критерий пренебрегает идейно-содержательным, идеологическим аспектом литературы, игнорирует литературу как социальное и историческое явление. Именно поэтому традиционное понятие «немецкая литература» постоянно наталкивается на социальные, политические и исторические реалии нашей современности и заставляет, отбросив его, говорить о литературе ГДР и ФРГ, Швейцарии и Австрии, а не о «немецкой литературе».

Более того, история Европы XIX и XX

РОЖНОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ВАЦЛАВОВИЧ (род. в 1926 г.).

Советский литературовед-германист, кандидат филологических наук. Автор монографий «Генрих Бёль» (1965), «Социалистический реализм в немецкой литературе» (1973) и многих работ по немецкой, австрийской, швейцарской литературам.

веков показала, что филологическая концепция единой литературы на немецком языке приобрела неожиданный смысл и стала одним из оплотов политической идеи пангерманизма. Небезынтересно вспомнить, что Гитлер свою первую речь на съезде фашистской партии после захвата власти в 1933 году назвал «Немецкий язык как последний оплот свободы». А затем эта идея была трансформирована во внешнеполитические лозунги нацистов: «Один народ — один рейх — один фюрер», «Все немцы — в рейх», под которыми гитлеровская Германия осуществила в 1938 году аннексию Австрии. Страна с многовековой историей не просто лишилась своей государственной независимости. Само слово «Австрия» исчезло из языка и должно было быть вытеснено из памяти людской. Вместо него на картах появилось название «Восточная марка», которое затем — ввиду того, что ассоциировалось с австрийской историей,— было заменено казенным гитлеровским ярлыком «Альпийский и Дунайский рейхсгау».

Что же думают об этом сами австрийцы?

Вопрос, в риторической форме поставленный в начале статьи, на деле не является риторическим. Он уже тысячекратно задавался и варьировался и читателями, и писателями, и литературоведами, и журналистами, и политиками Австрии и ФРГ.

«Никто не отрицает существования австрийской национальной футбольной команды, так же как и сборной австрийских лыжников, но многие отрицают австрийскую национальную литературу,— иронически замечает профессор Венского университета Венделин Шмидт-Денглер.— Существование ее, конечно, нельзя доказать примитивной аналогией. К решению проблемы мог бы привести окольный путь через другой вопрос: является ли литература из Австрии австрийской литературой?.. Является ли то, что пишут авторы из Австрии, литературой, которая по своей сущности и обличию принципиально отличается от другой, создаваемой на немецком языке литературы».

Указав на такие особенности современной литературы Австрии, как внутренняя соотнесенность с историей австрийского народа, активное неприятие идущих из Германии философских идей и теорий, ориентация на своих, австрийских мыслителей, особый колорит, живая связь с традицией барокко, профессор Шмидт-Денглер еще более сужает и заостряет поставленный вопрос: «Так является ли литература из Австрии немецкой, а не австрийской?» Он дает на него однозначный ответ: «Во всяком случае не западногерманской». Он полагает, что «на основе выше рассмотренных констант следует уверенно говорить о существовании австрийской литературы», хотя и считает понятие «национальной» для нее неприменимым.

Австрийские германисты рассматривают историю литературы на немецком языке не как историю литературы некой единой Германии, а как историю литератур в странах, говорящих на немецком языке. «Литературной историей немецкоязычного региона» называет свою книгу Герман Лехнер, дающий очерк развития немецкой словесности от раннего средневековья до наших дней. «Введение в литературу немецкого языкового региона, от ее истоков до современности, с особым учетом австрийской письменности» — так озаглавили свое трехтомное издание Герберт Похлатко и Карл Ковейндль. «Литература и писатели Австрии в XIX и XX столетиях» назвал свою двухтомную историю Адальберт Шмидт.

Собственно, можно сослаться на многих других ученых, писателей, культурных деятелей, высказывавших мнение о самостоятельности австрийской литературы. Можно указать на то, что эта точка зрения активно отстаивается кафедрами австрийской литературы в университетах Вены, Зальцбурга, Граца и Инсбрука. Можно указать на огромный фактический материал по этой проблеме, собранный в венском «Документационном центре новой австрийской литературы». Углубляться в эти доказательства ссылками на авторитет самих австрийцев нет нужды. Гораздо важнее разобраться в аргументах, которые выдвигаются против выделения самостоятельной австрийской литературы.

А что думают об австрийской литературе германисты Федеративной Республики?

Наиболее прямолинейно выражают пангерманскую точку зрения литературные критики вроде Марселя Райх-Раницкого, прочно обосновавшиеся в ведущих средствах массовой информации ФРГ и потому активно влияющие на формирование общественного мнения. Очевидно, памятуя геббельсовское наставление о том, что повторение одних и тех же утверждений с успехом заменяет в пропаганде логическую аргументацию, они продолжают оперировать категориями третьего рейха и твердят, что все написанное по-немецки и есть единая немецкая литература.

Догму о «единой немецкой литературе» М. Райх-Раницкий создал в 50-е годы. Он неизменно возвращался к ней в 60-е, развивая своеобразный литературный вариант «доктрины Хальштейна», согласно которой только Федеративная Республика унаследовала от довоенной Германии право государственности. Но особенно ретиво он стал усердствовать после решения конституционного суда ФРГ, заявившего в июле 1973 года, что «немецкий рейх сохранился, пережив катастрофу 1945 года», что внешнеполитическая концепция ФРГ исходит из «существования единой Германии с единой немецкой нацией и единой государственностью». В своем конкретном политическом применении эта шовинистическая великогерманская доктрина направлена в первую очередь против Германской Демократической Республики, а также против Польши и СССР. Но по духу и букве закона она направлена и против суверенитета Австрии.

«Культурный аншлюс» Австрии к ФРГ для М. Райх-Раницкого нечто само собой разумеющееся. В обзоре по случаю Франкфуртской книжной ярмарки «Немецкая литература за 1977 год» он без всяких око-

личностей заявляет, что «литературная палитра» Федеративной Республики «в последние годы многими красками и блеском обязана авторам из Австрии». А в интервью телекомпании ОРФ по случаю франкфуртской книжной ярмарки 1979 года Райх-Раницкий прямо утверждал, что «единство литературы на немецком языке стоит выше всех региональных и политических границ».

Не менее последовательно австрийская словесность растворяется в немецкой и в книгах наподобие двухтомной «Истории немецкой литературы» Пауля Фехтера. Автор иногда упоминает об австрийском происхождении писателей (Гуго фон Гофмансталь, Райнер Мария Рильке, Стефан Цвейг), иногда говорит о вкладе австрийцев в немецкую литературу (глава о Карле Краусе, Йозефе Роте, Роберте Музиле, Германе Брохе, Хаймито фон Додерере), а иногда просто молча числит их по немецкой епархии (Ингеборг Бахман, Пауль Целан). Великогерманский дух этого опуса, собственно, не может вызывать удивления. Свою «Историю немецкой литературы» Фехтер впервые выпустил в 1941 году на самом высоком гребне нацистской истерии. В слегка подлатанном виде она вновь появилась на прилавках в 1952 году и затем неоднократно переиздавалась.

С 1960 года эта «История» публикуется под редакцией литературоведов Курта Лотара Танка и Вильгельма Якобса. Редакторам и в голову не пришло усомниться в правомочности концепции Фехтера. Наоборот, они нашли новые обоснования для непризнания национальной самостоятельности австрийской литературы (как, впрочем, и швейцарской, и литературы ГДР). Прикрывшись цитатой из Дюрренматта, они пытаются представить эту самостоятельность просто ненужным анахронизмом: «О нации и национальном чувстве здесь больше нет речи. Эти понятия или эмоции исчезли либо отодвинулись на задний план, они в лучшем случае проявляются как нюанс, как языковая окраска или оттенок, которые в масштабах европейского континента значат не больше, чем диалектные или племенные различия внутри одного народа». Так на почве идеи «атлантического сообщества» вновь распускаются цветы немецкого шовинизма.

Нет необходимости по крупицам собирать аргументы, которые выдвигаются западногерманскими литературоведами против вычленения самостоятельной австрийской литературы из поглощающего ее понятия «немецкая литература». Важнейшие из них уже сведены воедино профессором Шмидт-Денглером в статье, напечатанной западногерманским журналом «Франкфуртер хефте». Для простоты воспользуемся его формулировками.

Во-первых, защитники лингвоцентрической концепции считают, что «гений языка» — то есть его внутреннее существо — идентичен «гению» литературы на этом языке, и таким образом вопрос о самостоятельности австрийской литературы объявляется просто неправомочным. По их мнению, отклонения от немецкого языка, на котором говорят и пишут в Австрии, настолько незначительны, что не составляют помехи для понимания текстов как в Австрии, так и в ФРГ, хотя в них постоянно наблюдаются вкрапления, которые однозначно относят текст к австрийской сфере языкового употребления.

Во-вторых, они считают, что существование австрийской национальной литературы не может быть оправдано и с точки зрения распространения текстов. Все признаваемое наиболее значительным в австрийской литературе вплоть до сегодняшнего дня попадает в книжную торговлю преимущественно через западногерманские издательства, рецензируется западногерманскими литературными критиками в западногерманских газетах, читается большинством западногерманской публики и, наконец, распространяется учителями немецкого языка и германистами Федеративной Республики за рубежом — к великому огорчению австрийских культурных деятелей и политиков — как современная немецкая литература.

В-третьих, в качестве аргумента выдвигается тот факт, что многие авторы, которые могут быть причислены к австрийской литературе, либо родились вовсе не в Австрии, либо живут теперь за пределами Альпийской республики (Элиас Канетти, Эрих Фрид, Манес Шпербер, Герхард Рюм, Освальд Винер, до недавнего времени Петер Хандке).

Насколько обоснованы аргументы противников концепции национальной австрийской литературы?

Рассмотрим эти аргументы по существу. Неприемлемость лингвоцентрической концепции национальной литературы с точки зрения исторического опыта уже была показана нами. Но она неприемлема и на чисто филологическом основании и немедленно отпадает при сравнительно-типологическом анализе становления национальных литератур в масштабах европейского и мирового литературного процесса.

Конечно, язык как система обладает своей самостоятельностью и функционирует по своим законам, независимым от воли отдельных людей. Арсенал его средств определяет поэтические возможности создаваемой на этом языке литературы. Но не следует забывать, что язык со всей его системой выразительных средств сам является средством коммуникаций определенной исторической общности людей, именуемой народом. Эта общность людей подчиняет используемые средства языка своим потребностям и формирует их соответствующим образом. Общественная практика порождает то, что называется «гением языка», точно так же как она определяет и «гений литературы» народа. Именно таким приспособлением нововерхненемецкого языка к своим потребностям, к своему типу мировосприятия и жизненным реалиям и отличается язык народа Австрии И дело не в степени отклонения его от грамматической нормы, а в самом факте

этого отклонения, оспорить который невозможно.

Но даже если бы в Австрии не сложился свой вариант нововерхненемецкого языка, это не могло бы служить аргументом против существования самостоятельной национальной австрийской литературы. Постулат, согласно которому не может быть разных наций, говорящих на одном языке, опровергается фактами самой жизни. На английском языке, например, говорят не только в Англии, но и в Соединенных Штатах Америки. Нельзя же на этом основании отвергать существование самостоятельной американской нации и национальной американской литературы на английском языке и утверждать, что есть только английская литература. Нельзя же отрицать существование национальной бельгийской литературы потому только, что писатели этой страны пишут большей частью на французском языке. Подобных примеров существует множество.

Не может литературоведение при определении специфики национальной литературы руководствоваться и категориями купли-продажи. Книжный рынок — не литература. Он обеспечивает материальное существование писателей. Он обеспечивает циркуляцию духовных ценностей. Он превращает эти духовные ценности в меновой товар, но не создает их. Литература создается духовными исканиями людей, обладающих талантом, проникающих в глубинное существо своего народа и отдающих искусству свою жизнь.

Главным образом духовные узы определяют принадлежность писателя к национальной литературе. Точно так же как жизнь в эмиграции в годы фашизма не изменила австрийского национального характера произведений Р. Музиля, Э. Хорвата и Й. Рота, ничего не меняется и в австрийской сущности лирики Ингеборг Бахман и Пауля Целана, в «австрийском духе» произведений Элиаса Канетти, Петера Хандке, Освальда Винера или Манеса Шпербера. Совершенно права Барбара Фришмут, когда она говорит: «Все мы чувствуем себя австрийскими писателями, чувствуем особый общественно-политический и психологический климат своей страны. Можно указать черты австрийского характера в каждом отдельном произведении литературы...»[1]

Кого же можно считать австрийским писателем?

Когда приходский священник из Штеттельдорфа на Вараме, небольшого поселения близ Вены, Иоганн Баптист Габриэль Марек в конце XVIII века писал свои записки об истоках и особенностях австрийской литературы, вряд ли он мог предполагать, что им суждено увидеть свет лишь двести лет спустя. Но еще меньше он мог предполагать что его «Каталогу австрийских немецкоязычных поэтов» суждено будет стать чрезвычайно злободневным и жизненно важным для австрийской нации в конце XX века. Для нас особенно интересно «предуведомление» Марека к «Каталогу».

Прежде всего обращает на себя внимание взгляд на австрийскую нацию как историческую общность, которую Марек отличает от австрийской монархии «во всем объеме включаемой массы государств». «Я не включил в это собрание достойных поэтов из других земель Австрии, я отбирал их только в границах самого отечества»,— пишет автор, вычленяя австрийскую национальную культуру из всего конгломерата культур, существовавших на территории империи.

Второе разграничение, которое проводит Марек, касается латинской письменности. «Я выбирал таких поэтов, которые, будучи урожденными австрийцами, прославляли Отечество стихами на немецком языке, и я думаю, что меня не осудят за то, что я представляю здесь только немецкие, не учитывая латинских, в которых Австрия поистине не испытывает недостатка. На протяжении многих лет у нас немало занимались латинской поэзией, но только в ущерб немецкому языку и австрийской нации».

Марек, вычленяя круг австрийских поэтов, не противопоставляет их специально другим поэтам, писавшим на немецком языке. В этом просто не было нужды. Как отмечает во введении к публикации «Каталога» Курт Адель, к началу XVIII века Австрия «весьма основательно изолировалась от духовной жизни Германии». Только к середине XVIII века «поэзия в Австрии начинает снова восстанавливать свои контакты с современной поэзией в Германии». Лишь после 1760 года Австрия присоединяется к движению за единство немецкого языка, возглавляемому Готшедом и Аделунгом, но сохраняет при этом свою самостоятельность.

Помимо таких признаков, как принадлежность к австрийской нации, локализация территорией «отечества», немецкий язык, Марек называет в своих обоснованиях также духовную связь с жизнью народа. «Я включил наряду с этим некоторых, о ком нельзя с уверенностью сказать, что они урожденные австрийцы, но важные обстоятельства дают возможность поставить их как соотечественников в определенный ряд». Этими обстоятельствами он считает «такие стихотворения, которые представляют примечательный и достойный материал к австрийской истории». Особое значение он придает многовековой традиции, в которой коренится австрийская национальная словесность. Истоки ее он видит в поэзии миннезингеров. «Вообще поэзия в последующие столетия высоко почиталась у австрийских князей, и в их землях усердно занимались ею. Уже среди первых мастеров пения, которые представлялись в Павии папе и кайзеру, называются писец Оттена Австрийского Вольфрам фон Эшенбах и рыбак из Штирии по прозванию Канцлер».

Поистине этот деревенский священник был не только большим ценителем, но и большим знатоком австрийской литературы. Он умел очень трезво, точно и последовательно мыслить. Он выдвинул целую систему критериев, которые в своей совокупности представляют логически стройную

[1] См. «ИЛ», 1980, № 2.

систему, находящуюся на уровне науки своего времени. У него есть что позаимствовать и современным германистам.

Поднятый наконец вопрос об истоках австрийской национальной литературы ставит нас перед необходимостью более точной оценки и памятников германского эпоса.

С самого зарождения науки германистики под влиянием тенденции к выявлению общих языковых закономерностей многие факты, имеющие первостепенное значение для литературоведа, отодвинулись на второй план. Мало придавалось значения, например, тому, что все три древнейших рукописи «Песни о Нибелунгах» обнаружены в близрасположенных пунктах (списки 1230 и 1270 годов обнаружены в замке Хоэнемс неподалеку от города Фельдкирх в австрийской провинции Форарльберг, список 1250 года — в библиотеке монастыря Сант-Галлен. находящегося на территории нынешней Швейцарии в двух десятках километров от австрийской границы. Не придавалось должного значения и тому, что на территории Австрии и поныне сохраняется реликтовый диалект, идентичный языку древнейших списков «Песни о Нибелунгах»). Кроме этого, совершенно не связывались такие факты, как «рыцарская» и христианская обработка более древней первоосновы в рукописи 1230 года и процесс колонизации, христианизации и утверждения государственной самостоятельности так называемых «коронных земель» Австрии. А ведь из истории феодальной Европы известно, что именно на конец XII века приходится распад единой «Великой Римской империи германской нации», упадок папской и императорской власти. Именно в это время возвышается династия австрийских маркграфов Бабенбергов, и в 1156 году отпрыск этого рода Генрих Язомиргот добивается у кайзера Фридриха Барбароссы так называемой «Privilegium minus» — «вольной грамоты», дававшей Бабенбергам право собственного законодательства.

Генрих Язомиргот сделал Вену своей резиденцией, в результате чего этот город быстро становится важным политическим центром и средоточием духовной и культурной жизни всего придунайского региона. «Как пчелы к улью, спешили безрадостные люди к достославным князьям дома Бабенберг, чтобы там избавиться от забот своих»,— свидетельствует хронист. Это были далеко не самые маловажные предпосылки того, что именно в австрийских землях Бабенбергов стало культивироваться легендарное героическое сказание о древних государствах бургундов и гуннов — «Песнь о Нибелунгах».

Но не только при объективно исторической оценке содержания хоэнемсской рукописи выявляется ее связь с судьбами Австрии, с возвышением австрийского правонаследия. Сама структура «Песни» и ее локальный колорит тоже свидетельствуют об этом. Вспомним, что именно в Вене скрещиваются согласно «Песни о Нибелунгах» пути и судьбы бургундов и гуннов. Маркграф Рюдигер фон Бехларен, владения которого в полусотне километров от Вены, едет по просьбе короля гуннов Этцеля в качестве посла и свата в столицу бургундов Вормс. Благодаря его посредничеству становится возможным брак Этцеля и Кримхильды. Более того, признание вассальной зависимости бехларенского маркграфа от вдовы Зигфрида является условием, на котором Кримхильда соглашается стать супругой Этцеля. Рюдигер оказывается центром пересечения конфликтов, возникших в королевстве бургундов в прошлом, и тех, которые созревают после второго супружества Кримхильды.

На то, что локально повествование «Песни о Нибелунгах», в особенности во второй части, привязано к территории между Пассау и Веной на Дунае, уже неоднократно указывали ученые. «География тогдашней Австрии и примыкавших к ней областей известна автору несравненно лучше, нежели другие части Европы»,— замечает автор послесловия и комментариев к русскому переводу этого эпического сказания А. Гуревич. Но нельзя не видеть и того, что автор «Песни» не только знает в точности географию театра действий, но и всячески выделяет роль Вены. По дороге из Венгрии к себе в Бехларен маркграф Рюдигер посещает Вену, чтобы экипировать всем необходимым брачное посольство. В Тульне на Дунае, неподалеку от Вены, Этцель и его вассальные князья и короли со своими свитами встречают Кримхильду. В Вене празднуется свадьба Этцеля и Кримхильды.

«Духом австрицизма» пронизан и другой древний памятник германского эпоса — героическая песнь «Кудруна». Имя автора его неизвестно, но известно, что он был австриец, родом, видимо, из Штирии. Оригинал этого эпоса утерян, но сохранился единственный список его, находящийся в так называемой Амбразской книге героев, которая была изготовлена по повелению австрийского герцога Максимилиана I после бракосочетания с дочерью Карла Бургундского Марией в 1477 году. Образцами, которыми руководствовался неведомый поэт, были «Песнь о Нибелунгах» и рыцарский эпос. Автор «Кудруны» в еще большей степени чем автор «Песни о Нибелунгах», стремился приспособить старый героический эпос к новым временам, которые кроме верности и мести знают и такие достоинства, как примирение и уважение прав. Тройная свадьба, которой кончается похищение дочери короля хегелингов норманнами, весьма прозрачно истолковывает высший смысл союза австрийцев и бургундцев.

Вопрос об оценке «Песни о Нибелунгах» или «Кудруны» — это вопрос об исторических корнях национального самосознания австрийской литературы. Имеющиеся факты дают, как нам кажется, достаточные основания для принятия следующей гипотезы. «Песня о Нибелунгах», «Кудруна» и весь цикл сказаний о Дитрихе Бернском не случайно культивировались в австрийских землях. Это территория бывших остготских

С. РОЖНОВСКИЙ
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
АВСТРИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

королевств, история которых запечатлена в героических сказаниях. И бургунды и готы относились к восточной группе германских племен, имевших общую языковую основу. После распада Бургундского и Остготского королевств культурно-историческая и племенная противоположность бывших готских владений Западному племенному союзу франков продолжала жить в сознании народов Придунайской равнины. И когда Бабенберги добились признания независимости Восточной марки римско-германской империи, унаследованная память золотых времен готского королевства стала знаменем поднимающейся герцогской династии.

Идеологический смысл остготского культа в землях Бабенбергов довольно прозрачен. В «Песне о Нибелунгах» после гибели всех королей остается единственный правопреемник — доблестный остготский рыцарь Дитрих Бернский. Это делает поэтическое сказание апологией исторических прав Австрийской марки на самостоятельность. Более того, за первым планом угадывается далеко идущая политическая идея правомочности на более высокий государственный статус. Впоследствии такая мысль не оставляла в покое и династию Габсбургов, сменившую угасший род Бабенбергов. Недаром герцог Рудольф IV Габсбург велел изготовить фальшивую грамоту «Privilegium maius» (ок. 1357 г.), дававшую ему права курфюрста. Недаром владетели австрийской короны постепенно начинают претендовать на ведущую роль в землях римско-германской империи и в конце концов добиваются титула императоров.

На исходе средних веков складывается фундамент национального самосознания австрийцев. «Когда угас род Бабенбергов и настало время «ужасное, безцарственное», процесс созревания австрийского народного характера уже завершился,— пишет об этом Эрнст Марбё.— На плодотворной ниве смешения народов, которое благодаря внешним судьбам происходило в австрийских землях, дремали глубоко скрытые и готовые прорасти инстинкты и таланты диаметрально противоположных людских типов. Готическая фантазия, эллинистическая одухотворенность, кельтская приверженность к форме, славянская тоска, связанная с мечтательностью Востока, нашли себе выход в существе австрийца, созрели в глубине души, чтобы дать плоды, творить и облекать в художественную форму».

Новый подъем наступает с зарождением барокко, открывающим в Австрии блестящую эпоху национального искусства. Эта эпоха дала таких гениев, как Гайдн, Глюк Моцарт. Она породила поэзию Михаэля Дениса и Пауля Вайдмана, великолепное искусство комедиографа Филиппа Хафнера, прозу Йозефа фон Зоннефельса. И хотя литературные достижения этой поры бледнеют перед славой выдающейся плеяды XIX века — Франца Грильпарцера, Адальберта Штифтера, Фердинанда Раймунда и Иоганна Нестроя,— без созданной тогда основы было бы невозможно рождение австрийской классики.

Если проследить самые общие черты последних пяти веков австрийской литературы, то в глаза бросается прежде всего постоянный поиск внутренней сущности, «души» австрийской нации и настороженность к внешнему давлению. Идея австрийской государственности противопоставляется не только посягательствам Османской империи, но и прежде всего политическим амбициям Пруссии и Саксонии, австрийский католицизм — немецкому протестантизму, австрийская одухотворенность и человеческая мягкость — прагматизму пруссаков. Доминирующее место занимает национальная тема, разрабатываемая как на материале прошлого, так и на материале современной политической жизни Австрии.

Нынешнюю австрийскую литературу критики часто упрекают в том, что она живет не столько действительностью, сколько «габсбургским мифом». Причем в констатацию этого факта вкладывается уничижительная оценка и упрек в консерватизме. В качестве примера подобных суждений можно сослаться на «приговор», вынесенный Ульрихом Грайнером в 1979 году: «В австрийской литературе все еще продолжает умирать габсбургский миф... «дезертирство из действительности» является ее определяющей чертой». Что ж, отрицать, что времена габсбургской монархии еще живы в современной австрийской литературе, нельзя. Но нельзя и делать из этого факта аргумента против самостоятельности современной австрийской литературы. Если этот факт о чем-нибудь и говорит, то только о том, что и в искусстве современных писателей Австрии продолжает жить и остается плодотворной исконная традиция национальной австрийской литературы, всегда черпавшей духовные силы в истории своего народа.

Итак, в чем же своеобразие национальной австрийской литературы?

Барбара Фришмут в интервью журналу «Иностранная литература» обронила фразу о том, как трудно определить специфику австрийской литературы: «Можно указать черты австрийского в каждом отдельном произведении литературы, но чрезвычайно трудно отыскать какие-то глобальные и в то же время точные критерии».

Наш маленький экскурс в историю проблемы убеждает в том, что трудность коренится не в отсутствии критериев. Трудно преодолеть устоявшийся стереотип мышления, узаконенный двумя столетиями традиции в германистике от Готшеда и Аделунга до наших дней. Трудность для многих состоит в необходимости отбросить выявившую свои пороки лингвоцентрическую концепцию национальной литературы и стать на позиции историзма, обратиться к методам социальных наук. Но самая большая трудность состоит в том, что люди наподобие М. Райх-Раницкого сознательно используют филологическую теорию «единой немецкой литературы» в виде средства политической экспансии и реваншизма. Они готовы сколько угодно разглагольствовать по поводу «своеобразного колорита» австрийской литературы, чтобы только обойти вопрос о ее национальной самобытности. Как показывает специальный

выпуск журнала «Ойропеише рундшау» за 1980 год, посвященный 25-летию государственного договора о нейтралитете Австрии, они готовы говорить о самостоятельности и независимости Австрии, только противопоставляя ее Советскому Союзу, говорить об исторической роли Австрии только для обоснования враждебных выпадов против бывших «австрийских» земель — Венгрии, Польши, Чехословакии. По поводу же реальных попыток поглощения Австрии экономически более сильной Федеративной Республикой Германии они хранят полное молчание.

Найти «глобальные и в то же время точные» критерии национальной литературы можно. Целый ряд надежных критериев был приведен нами. Но германистика в прошлом почти не прибегала к ним. Ей еще предстоит сформулировать развернутую концепцию национальной австрийской литературы, разработать методику и исследовать огромный фактический материал.

Наука еще никогда не страдала от отсутствия глобальных критериев, но она иногда грешит тем, что на их основе возникают теории, которые нельзя доказать на конкретных фактах. Теория самостоятельной национальной австрийской литературы отличается тем, что она доказуема и на основании общих критериев, и на основании того, что, говоря словами Барбары Фришмут, «можно указать черты австрийского в каждом отдельном произведении литературы».

Когда вопрос, с которого мы начинали свои размышления, был задан Томасу Манну, жившему в эмиграции в Кюснахте под Цюрихом, он ответил: «Вы спрашиваете меня, можно ли говорить о специфической австрийской литературе. Утвердительный ответ на этот вопрос для меня самоочевиден. Специфическую особенность австрийской литературы, конечно, определить нелегко, но ее чувствует каждый, и если ужасное время не убило в нем последних остатков симпатии к милосердию культуры и ее возвышающей душу одухотворенности — он любит и восхищается этими несомненными особенностями. Говоря в общем и целом, я считаю, что австрийская литература во всем, что касается артистической отточенности, вкуса, формы — свойствах, которые, по-видимому, никогда не перестанут играть своей роли в искусстве и вовсе не обязательно должны носить эпигонский характер и не исключают чувства нового и смелости,— п р е в о с х о д и т (подчеркнуто Томасом Манном. — С. Р.) собственно немецкую. Это связано со слиянием рас и культур, восточные, западные и южные наслоения которых отличают австрийскую сущность как нацию вообще и всем своим характером отделяют ее от немецкой сущности в исторически сложившемся виде. Это слияние породнило немецкоязычную европейскую культуру с южногерманской народностью и великосветски окрашенной образованностью — чрезвычайно приятную и в высшей степени незаменимую» [1].

Слова великого писателя, знатока немецкого языка и ценителя немецкой культуры XX века не мешает помнить всем, кто оспаривает существование феномена национальной австрийской литературы.

[1] T h o m a s M a n n. Gesammelte Werke, Oldenburg, S. Fischer—Verlag, 1960, Bd. 10, S. 919.

◆

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

ДРАМА ГОРОДКА БРОННЕН

Молодой газетный репортер Зеебаум смотрит в театре спектакль. На сцене — будни Броннена, типичного промышленного городка где-то в Австрии, недалеко от границы с ФРГ. Пьеса кажется молодому журналисту откровенно скучной: слишком обыденные разговоры о повседневных делах, а больше всего о работе. Лишь некоторые частности вызывают у него интерес, например, проблемы, связанные с охраной окружающей среды.

Так начинается роман «Броннен» молодого австрийского писателя Михаэля Шпрингера. Дальнейшее развитие событий незаметно начинает все более захватывать Зеебаума. Оказывается, происходящее касается уже лично его. Ужасная катастрофа, вызванная утечкой промышленных ядов в «соседней стране», приобретает пугающую реальность: жертвами ее оказываются родители Зеебаума. И лишь тут становится ясно, что речь уже идет не о спектакле, а о действительности.

Критик Герман Ступак, рецензирующий роман на страницах газеты «Фольксштимме», органа Австрийской компартии, пишет, что прием, использованный и Шпрингером, имеет глубокий смысл. «Зеебаум воспринимает реально происходящие события как пьесу, которая перед ним разворачивается. Такое отстранение позволяет ему (а вместе с ним и читателю) как бы заново увидеть и оценить многие факты».

К 70-летию ИРЖИ ТАУФЕРА

«...В МОИХ КНИГАХ ЕСТЬ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО Я НЕ МОГ НЕ СКАЗАТЬ»

Вступление и перевод с чешского Л. БУДАГОВОЙ

Оглядываясь на прожитые годы, Народный поэт Чехословакии Иржи Тауфер в одном из недавних стихотворений писал:

И если бы дано мне было жизнь свою
перемотать, как фильм,
и вновь пустить
— нет, не пустить! — а пережить сначала,
я ни от чего бы в ней
не отказался,
ничего бы не зачеркнул,
не вырезал,
не выбелил,
не стер...

(*«История моего сердца»*)[1]

Жизнь Тауфера — жизнь человека удивительно цельного, убежденного в правильности избранного пути, а выбор свой он сделал еще девятнадцатилетним юношей, вступив в Коммунистическую партию Чехословакии в начале 30-х годов.

Тауферу всегда было чуждо стремление отделять «общественную активность» от «активности творческой», разводить по разным руслам политическую и поэтическую деятельность. Поэзия революции, «возвышенная поэзия объективных законов истории», нашла в нем своего художника.

Вместе со Ст. К. Нейманом, И. Волькером, В. Незвалом, Б. Вацлавеком, Ю. Фучиком, Л. Штоллом Тауфер принадлежит к когорте тех мастеров слова, тех писателей и критиков, которые по праву считаются первопроходцами чешской революционной литературы, утверждавшей себя еще в довоенный период. Иржи Тауфер — один из самых младших представителей этой когорты, и ему суждено было продолжить дело своих соратников, передавая их опыт новым поколениям.

Его творчество питает современную чешскую поэзию мощной революционной энергией, соединяя четкость социальных критериев и высочайшую поэтическую культуру,— незваловскую традицию взыскательного отношения к качеству стиха, его художественному уровню. Тауферу близка мысль, высказанная Незвалом еще в конце 40-х годов: «Поэзия должна оставаться поэзией, даже если мы ставим перед ней новые задачи».

---

[1] Поэмы и стихи Иржи Тауфера публиковались в «ИЛ». 1958. № 2; 1958. № 5; 1959. № 12; 1966. № 5; 1967. № 3. *(Здесь и далее переводы стихов, где это не оговорено, и примечания принадлежат Л. Будаговой.)*

«В моей поэзии, в моих книгах есть только то, чего я не мог не сказать»,— заметил Тауфер однажды. В его произведениях живет ненависть к фашизму, к войне. Его поэзия протягивает руку помощи чилийским патриотам. К униженным и угнетенным он обращает пролетарский призыв к сплочению, потому что верит в рабочий класс:

Соединяйтесь со своими красными братьями,
с рабочими
всех цветов кожи, всех континентов и стран,
с ними вы станете на волны морские
похожи,
на Великий,
иль Тихий, но неукротимый океан.

(«Индиания»)

Нет, кажется, другого зарубежного поэта, который посвятил бы СССР, «рабочей стране», столько проникновенных строк, сколько Тауфер. Впервые он побывал у нас нелегально в 1933 году, написав об этом в поэме «До свидания» (1935). Подчеркивая эпохальное значение государства, рожденного Октябрем, поэт предложил вписать буквы СССР «в монограмму нашего столетия». Тауфер провел на советской земле годы Великой Отечественной — от «летнего дня, прозрачного, как стакан с питьевой водой», когда впервые упали грозные слова «война», «вероломство», до «изумительного майского утра земли» — утра победы. «Героическая поэма» (1955)[1], посвященная этому времени, стала неотъемлемой частью «летописи войны за свободу народов».

Как «песня Москве» прозвучала поэма Тауфера «Люблю», пронизанная неповторимой атмосферой знакомого и любимого города, где поэту не по душе лишь аэродромы, предвещающие разлуку:

Люблю воскресную Сретенку и вкусный
запах из булочной,
Люблю будничный день — он памятный,
а не будничный,
Люблю московское лето и запах асфальта
тяжелого,
Люблю лазурное небо и серое, словно олово,
Люблю московскую осень, всхлипывающую
непрестанно,
Москву, где разбрызганы краски с палитры
Левитана.

(Перевод Д. Самойлова)[2]

Среди книг прежних лет есть у Тауфера сборники стихов «Рентгенограммы» (1937—1938), «Летопись» (1938—1957), поэма «Тема — память» (1966), в названиях которых как бы обозначены глубина и масштабы его поэзии. Проникая, словно лучи рентгена, в глубь жизни, в суть вещей, она высвечивает социальную структуру бытия, прослеживая его в движении, создает летопись одной судьбы и целой эпохи, определившей эту судьбу. И все в поэзии Тауфера выстрадано, подсказано и согрето живой памятью, переливается яркими красками жизни.

В произведениях последнего периода особенно отчетливо выявляется ренессансное, жизнеутверждающее начало, столь свойственное тауферовскому искусству. Ведь социалистические убеждения художника возникли не на основе аскетического, одностороннего, но полнокровного и целостного восприятия мира, венчая собой страстную любовь к жизни, придавая ей активный, боевой характер. В стихах поэта много гнева и боли, но вместо «крокодиловых слез над горем бедняков», которые еще в 20-х годах высмеяло незваловское поколение,— азарт и упоение борьбой. Лирический герой Тауфера умеет «радоваться буре, как Джон Рид», «всему наперекор до смерти жизнь любить»:

Я преклоняюсь пред искусством жить,
но антижизнь — я ненавижу.

(«Простое, как признание»)

Сама ткань тауферовского стиха несет в себе конкретное, чувственное восприятие жизни. Тауфер избегает слов расплывчатых, туманных, «что парят словно души умерших предметов». Он не любит, когда из стихов «выхолащивается природа», понимая проблему «поэт и природа» широко, не сводя ее к тематике произведений. «Я имею в виду *отношение* к природе,— писал недавно Иржи Тауфер в одном из писем,— оно совсем не обязательно скажется на темах творчества, но непременно — на мироощущении поэта. Маяковский — «урбанист», но он был наполнен природой и солнцем, ведь он — дитя грузинских гор и лесов, и в его поэзии все это есть!»

Погруженный в собственное поэтическое творчество, Тауфер одновременно много переводит, занимается литературными исследованиями, публицистикой. И, пожалуй, трудно сказать, что для него главное, а что — второстепенное. Очевидно, главное — все! Все делается с увлеченностью и мастерством. Все грани его творчества значительны и ярки, порой они как бы вступают в соперничество между собой, но вместе с тем дополняют друг друга. Поэзия Тауфера вбирает его жизненный и творческий опыт, богатейший опыт общения с другими творческими индивидуальностями и продолжает себя в переводах и литературоведческих работах.

[1] Опубликована в «ИЛ», 1958, № 2.
[2] Иржи Тауфер. Стихи. М., «Художественная литература», 1977, с. 128.

Перу Тауфера принадлежат статьи и книги о Маяковском, Незвале, Ст. К. Неймане, Волькере, Хлебникове, Пастернаке, Хикмете. Ему ведомы сложности и парадоксы развития искусства XX века. Он не сглаживает острых углов и в то же время не старается выискивать ошибки и заблуждения. Его цель — заразить читателя своей увлеченностью, непременно выявить то особенное, что отличает любимого автора и что столь трудно поддается выявлению. Поистине только большой поэт может так хорошо понять другого поэта и так ярко нарисовать его словесный портрет! Вот как, например, пишет Тауфер о поэзии Маяковского, о слиянии в ней лирики и сатиры, боли и юмора: «Юмор в искусстве — редчайшая ценность. И не потому, что он дорого дается, а потому, что на нем лежит отблеск душевной чистоты художника... Я имею в виду юмор, который оттачила боль и закалила кровь. И если агитационная поэзия Маяковского, поднимающая на борьбу с голодом и тифом, и его любовные стихи — это две разные *темы*, две разные стороны *одной и той же словесной работы*, то лирика и сатира — разные формы ее выражения. Нет в творчестве Маяковского ни одного крупного произведения, ткань которого не была бы пронизана лирическими и эпическими элементами, нервными волокнами трагического и сатирического мироощущения. При этом обыденность сплетается с фантастикой, с явлениями космического масштаба, и «темы дня» перерастают в «темы века»...»[1].

А много ли характеристик сложнейшего творчества Хлебникова могут поспорить с той — яркой и точной,— которую предложил нам Тауфер? «Творчество Хлебникова... напоминает бурю словесных стихий, где среди хаоса и обломков разбушевавшейся материи вдруг сверкнет образ удивительной силы и красоты, чтобы тут же исчезнуть в этом светопреставлении. Шесть, десять, двадцать строчек удивительнейшей поэзии — и опять, страница за страницей, прорва немыслимой мешанины. Но тот, кто возьмет на себя труд в этом разобраться, поймет, что хаос возникает не из-за нехватки конструктивного начала, а из-за переизбыточной жажды вновь и вновь пересоздавать, перекомпоновывать, переделывать материал, уже однажды освоенный и отлитый в формы, но чью обработку поэт никак не может признать окончательной... У Хлебникова будут жить те стихи, где филологические изыскания не подавили поэзии, и в первую очередь — лирика. Она напоминает разрозненные страницы потерянной книги об одной необычной судьбе».

Надо сказать, что и Маяковского, и Хлебникова Тауфер много переводил, то есть изучал их, вживаясь в мир их поэзии, устанавливая с ними самые тесные духовные контакты, какие только возможны между двумя поэтами. А переводчик Тауфер блистательный. В его переводах Маяковский остался Маяковским, Есенин — Есениным, Пастернак — Пастернаком! Перевод — начало новой жизни поэтического произведения. Войдет ли оно в иную языковую культуру столь же полноценным и благозвучным, каким создала его стихия родного языка, зависит от переводчика, его таланта и отношения к переводимому автору. Самозабвенная увлеченность «чужим» творчеством — вот на чем решительно настаивает Тауфер, не признающий никаких теорий и правил переводческого искусства.

В 1973 году в издательстве «Праце» вышла антология тауферовских переводов русской советской поэзии, куда включены самые любимые работы поэта. В публикуемом ниже отрывке из предисловия к ней Тауфер, пожалуй, впервые столь подробно рассказывает о работе переводчика, об этой своей «страсти», которой он одержим, давно щедро делится личным опытом — опытом мастера.

Пафос этой темпераментной статьи, показательной для Тауфера проникновением в глубины творчества, направлен и против теоретических нагромождений вокруг не поддающегося программированию труда переводчика, и против превращения его в бездушное ремесло...

Лишь за последние два-три года появилась большая поэма Тауфера «Индиания» (1979), доклад «Что есть, а что не есть поэзия» (1979)[2], сборник статей и эссе «Портреты и силуэты» (1980). Параллельно Тауфер вел тщательную подготовку издания девятого тома сочинений Маяковского. На вопрос автора этих строк, как удается ему так много работать и столько всего успевать, он ответил: «Просто мне это доставляет удовольствие...» И, наверное, не случайно недавно вышедшая книга стихов Иржи Тауфера озаглавлена «Продолжение следует».

ИРЖИ ТАУФЕР

МОИ РАЗГОВОРЫ С ПОЭТАМИ

Составляя книгу избранного из русской советской поэзии, я долго ломал голову над тем, как ее назвать. Некогда Паскаль с горькой иронией заметил: *«Того, кто всю свою жизнь переводит, самого никогда не переведут»*. Человек, не разделяющий судьбу подобных людей и чья переводческая работа идет параллельно с собственным творчеством поэта, критика, литературоведа, в конце концов задумывается над тем, что же такое труд переводчика.

Я не верю в *теории перевода*, которые создаются в духе непонятных своей живучестью новомодных тенденций подбирать

[1] Taufer J. Údĕly a díla. Praha, 1973.

[2] Опубликован в «ИЛ», 1980, № 9, вместе со статьей советского поэта Давида Самойлова.

к любой разновидности человеческого труда что-то вроде свода правил, рецептов, нечто подобное патентованной отмычке или универсальной системе дешифровки...

Я полностью согласен с Отокаром Фишером [1], который на вопрос, что можно сказать о правилах переводческого искусства, отвечал: «Никаких правил, обязательных и общих для всех, здесь не существует».

Вспоминая, как начиналась моя работа переводчика, которую я считаю для себя не профессией, а скорее причудой, увлечением, одержимостью, похожей на страсть к азартной игре, никотину или алкоголю, я прихожу к выводу, что у меня вообще нет никакой теории и что, если бы она у меня была, я никогда бы в жизни ничего не перевел.

Страсть эта начала овладевать мною еще в 30-е годы. Однажды Бедржих Вацлавек принес удивительные, совершенно покорившие меня книжки немецкого поэта Вальтера Меринга [2] и в брненском кафе «Авиньон» рассказал о немецком дадаизме. От него и пошло послевоенное *политическое кабаре*, одним из самых замечательных поэтов которого, поэтом «Европейских ночей» и «Молитвенника еретиков», и стал Меринг.

Именно Вацлавек, переводя мне шансоны и зонги Меринга, созданные в стиле грубоватых уличных куплетов, с архаизмами и жаргонными словечками, пробудил во мне стремление побратать мой родной язык с его немецким, превратиться, так сказать, в «медиума» немецкого поэта, чьи произведения, которые сам автор порой не принимал всерьез, были брошены в огонь, стали жертвами гитлеровских литературных аутодафе.

Конечно же, Меринга я переводил *не так*, как стихотворные цитаты для сборника статей Генриха Манна «Настанет день», над которым работал Вацлавек, предложив мне сотрудничать с ним, и *совсем по-другому* я осваивал Маяковского. Для воссоздания его стихов я, в свою очередь, использовал «трансформатор» иной конструкции, чем позже для переводов из Хлебникова, Асеева, Блока, Мартынова и других.

Не хочу останавливаться на своих школьных забавах по озвучиванию на чешском языке (еще до Незвала!) стихотворений Артюра Рембо — его стихи в издании «Меркюр де Франс» я нашел среди отцовских книг,— или на неловких попытках перевести несколько стихотворений из «Шехеразады» Тристана Клингсора. Мой перевод «Ворона» Эдгара По, вышедший в сумрачные предвоенные дни в дешевом издании Братиславской художественно-промышленной школы... был и остается для меня олицетворением призрачной жутковатой атмосферы той поры. А еще именно тогда я понял, что при переводе гораздо важнее поисков каких-то технических новшеств и приемов *ощутить ритм поэзии, точно воспроизвести внутренний ритм, свойственный каждой поэтической индивидуальности*, а не тот внешний ритм, который определяется характером стопы, размерами и метрическими рядами. А важнее всего — испытать волнение и восторг, настоящую влюбленность в автора и его творчество. И все это только ради того, чтобы поэт, пока для чешского читателя безгласный, внезапно обрел для него дар речи.

Не поймите меня так, что, решившись на перевод того или иного произведения, я сознательно приступал к работе «на благо просвещения и культуры». Нет, все начиналось с простого любопытства, с предвкушения азартной игры, в которую я бросался, испытывая огромное удовлетворение, если мне удавалось выиграть пусть не целую ставку, а хотя бы несколько звонких грошиков. Только потом уже появлялось желание разделить свое увлечение и радость с другими, способными так же сильно увлекаться и радоваться. К переводам меня влекла острая потребность испытать тот головокружительный восторг, ради которого — стоит его хоть раз пережить — ты готов жертвовать чем угодно: и «выгодной» работой, и сном...

Если стихотворение, как считает Незвал, «дитя *замысла и случая*, а случай — это взаимное тяготение слов, образов, ритмов», если работа над переводом начинается с *разрушения архитектурной целостности* произведения, с *превращения его в груду материала*, после чего наступает *момент, когда «надо забыть, что ты переводишь»*, то явный и скрытый смысл переводимого стихотворения становится *замыслом*, а игра созвучий, возникающих в языке, *на который* переводишь, тем самым *случаем*.

Оглядываясь назад, на одолевавшие меня приступы переводческого безумия, и пытаясь осознать, «зачем» и «как» я работал, я вижу, что невольно, в силу внутренней потребности, повторил и подтвердил практический опыт своих предшественников (а никакие не «теории», которых *у них не было!*), а именно:

перевод есть и должен быть *фактом чешского языка*, именно *дух* языка, с которого переводишь, «должен вступать во взаимодействие с духом чешского языка, а не буква оригинала с чешской буквой» (Горжейши)[1];

стремление к *дословному* переводу годится «лишь для упражнений по-латыни в начальной школе» (Матезиус) [2];

при переводах «законы языка, на который переводят, важнее законов языка, с которого переводят» (Горжейши);

и, наконец, эта самая пресловутая «дословность», о которой так много говорят в связи с поэтическими переводами и по поводу которой столько всего наворотили неистребимые любители теоретизировать, должна подчиняться *принципу выбора*, потому что выбираем мы не только автора, но буквально «в каждой строфе, в каждой строчке выбираем *главное и второстепен-*

[1] Фишер Отокар (1883—1938) — чешский поэт, драматург, литературовед.

[2] Меринг Вальтер (род. в 1896 г.) — немецкий писатель-сатирик, антифашист. С 1933 года жил в эмиграции во Франции и Америке. Его книги в фашистской Германии были запрещены.

[1] Горжейши Индржих (1886—1941) — чешский поэт. Переводил с французского. Перевел на французский язык «Похождения бравого солдата Швейка» Я. Гашека.

[2] Матезиус Богумил (1888—1952) — чешский поэт, прозаик, драматург. Переводил с русского, немецкого, французского, латыни.

мое» (Фишер), а потому *заменимое*. И «слово» (в языке оригинала и в языке перевода) надо понимать не буквально в значении *WORT*, а — как считает Отокар Фишер — в значении древнегреческого *LOGOS*.

Теперь вернемся к блестящей мысли Незвала о *взаимотяготении*, то есть ассоциативности, которая в *каждом языке своеобразна* и свойственна только *данному* языку. И довольно рассуждать о дословности и степени допустимого отклонения от нее, ибо тогда следовало бы поговорить и о том, *почему в переводе рифмуются совсем другие слова, чем в оригинале*.

Когда я думал, как назвать эту несколько необычную антологию, которая замышлялась как собрание самых дорогих мне переводов из русской советской поэзии, мне было жаль отказываться от первоначального заглавия ее «В гостях у поэтов», потому что еще задолго до меня Врхлицкий[1] назвал книгу своих переводов из французской, итальянской, немецкой и английской поэзии «Я гость у поэтов» (1891). Но потом, когда я вдумался в характер отношений между поэтом и переводчиком, огорчение прошло. Ведь если не для всех, то по крайней мере для меня они похожи на откровенную беседу двух друзей, которые любят и понимают друг друга.

Я решил назвать книгу «Мои разговоры с поэтами», и, по-моему, придумано неплохо, а может быть, лучше и не придумаешь. Название это отражает самое главное в отношениях поэта и переводчика — обоюдную активность. Их можно сравнить с длительным совместным *путешествием вдвоем*. Да, именно *с совместным путешествием*, хотя бы на поезде. За вагонным стеклом проплывают пейзажи и станции, мимо которых уже когда-то проезжал ваш собеседник. Теперь он рассказывает вам об этом стихами. Увлеченные его рассказом, вы, вместо того чтобы разговаривать с ним на его родном языке, вдруг начинаете думать и говорить на *своем языке*. Так незаметно вы превращаетесь в его «медиума» и в этом состоянии начинаете воспроизводить его доверительную исповедь, «как если бы ее произносил сам поэт на языке перевода» (Незвал)...

Многолетний опыт убедил меня, что надо полностью посвящать себя долгому разговору с *одним и тем же поэтом* и сразу проехать с ним *весь путь*, не пересаживаясь на другие поезда, не переходя в другие вагоны и не заводя случайных дорожных знакомств. Пусть даже в результате этого длительного путешествия возникнет всего одно-единственное стихотворение. Но только так можно избежать слияния разных индивидуальных голосов в общий монотонный шум вокзала, в безликий язык усредненной разговорной речи, только так можно расслышать *один-единственный голос*, не похожий на все остальные, голос, звучащий в определенной тональности, со своими придыханиями и паузами, то с юмором, то с глубокими вздохами печали и тоски. Важно, чтобы тебе при этом не мешали *другие голоса*... Ведь «чужое литературное произведение, которое надо перевести, похоже на произведение музыкальное... Мелодия, которую исполняет на своем инструменте автор, должна быть такой же, которую воссоздает на другом инструменте переводчик» (Горжейши).

В умении воспроизводить такую же мелодию на другом инструменте Незвал видел способность к «аналогиям и имитациям», а они под силу «только тому, кто способен всем своим существом стать медиумом поэта. *И решает здесь не столько культурная потребность, сколько внутренняя поэтическая настроенность*».

[1] Врхлицкий Ярослав (1853—1912)—крупный чешский поэт, прозаик, драматург.

◆

Из месяца в месяц

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ОН И САМ БЫЛ БОРЦОМ

«Романетто» — недавно вышедшая на экран вторая картина молодого режиссера Ярослава Соукупа. На этот раз он обратился к одной из колоритнейших фигур культурной жизни Чехии конца прошлого — начала нынешнего века — писателю Якубу Арбесу (1840—1914).

Активный участник чешского национально-освободительного движения 1860—1880 годов, Арбес принадлежал к его левому, радикальному крылу. Опираясь на идеи утопического социализма, он в своих статьях, очерках и романах резко критиковал капиталистические порядки и был среди первых чешских писателей, отражающих в своем творчестве судьбы рабочего класса. Любимые герои Арбеса — люди, борющиеся за светлые идеалы справедливости и свободы, духовно близкие автору. Именно Арбес ввел в литературу оригинальный эпический жанр романетто — небольших размеров роман или повесть с острым, захватывающим сюжетом, романтическими героями, причудливым совмещением реалистических и фантастических элементов.

В основу фильма положено наиболее широко известное романетто Арбеса «Святой Ксаверий», действие которого органически спаяно сценаристом с важнейшими переломными моментами в жизни самого писателя — главного героя картины.

Высоко оценивая работу молодого режиссера (он же и автор сценария), чешская критика отмечает правдивое изображение социальных конфликтов эпохи, свидетелем и участником которых был Арбес, точное и в то же время эмоционально окрашенное (в духе избранного жанра) воспроизведение облика Праги 70-х годов прошлого века (оператор Рихард Валента). Успеху фильма, несомненно, способствовала и великолебная игра Виктора Прайса — исполнителя роли Якуба Арбеса.

Заметки на полях

РАБОЧАЯ ТЕМА: РЕПОРТАЖ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Дважды в течение 1980 года французский еженедельник «Нувель литтерер» обращался к проблеме литературы о рабочем классе Франции. Вопросы были сформулированы так:

«Есть ли сегодня в стране пролетарская рабочая литература?

Есть ли у современного рабочего время для того, чтобы писать книги?

Как, в какой форме отражают современные пролетарии свое отношение к жизни?»

А под ними — заметки-рецензии постоянных критиков «Нувель литтерер» Андре Лода и Жиля Пудловски и краткие интервью писателей, обращавшихся к рабочей теме. Внушителен для данного объема заметок экскурс в прошлое, перечислены авторы рабочих романов, некоторым из них журнал предоставил слово (Луи Ури, Робер Линар). А вскрыта ли суть проблемы? Андре Лод и Жиль Пудловски усилия свои как критики тратят не на то, чтобы, анализируя содержание романов, показать рабочего наших дней, а на то, чтобы доказать, что всякий рабочий сегодня стремится во что бы то ни стало вырваться из рамок своего класса.

«Чего желает в наши дни пролетарий? — задается вопросом Андре Лод.— Богатства арабских эмиров? Нет, он просто мечтает о маленьком доме с садом.

Кто опровергнет эту рабочую мудрость?»

Как видим, критик достаточно однозначен в своей оценке, если не сказать — пренебрежителен. Но о том, каким разочарованием оборачивалась иллюзия уединенной жизни в маленьком домике с небольшим садиком, каким крахом заканчивалась робинзонада разобщенных тружеников, в одиночку пытавшихся противостоять сильным мира сего, не раз читал Андре Лод, так же как и мы, в произведениях упомянутых им писателей, например, Бернара Клавеля («Пираты Роны») или Андре Стиля («Кто?»). Нам кажется, что эти произведения могли пробудить у него иные размышления. И все же никто не станет оспаривать желание труженика иметь то, чего он сейчас лишен и что есть у хозяина, на которого он работает. Совсем демагогически звучат слова того же Андре Лода, который делает следующее обобщение:

«Рабочий класс перестал быть тем, чем он был прежде. Он не представляет собой единения, видимого невооруженным глазом, поскольку присвоил себе ценности «общества потребления». На улице в джинсах все равны. Полунагота на пляже смешала стенографистку и чиновника, пролетария и директора предприятия, они посещают одни и те же бары и рестораны. Их трудно отличить друг от друга».

Обидно, что критик, претендующий на серьезное отношение к предмету, использует в своих обобщениях приметы унифицирующей массовой культуры. Она отнюдь не снимает самой проблемы положения рабочего класса и его отражения в современной литературе. Конечно, богатые ходят в джинсах и иногда заходят в дешевые бары, но отличить простого труженика от буржуа довольно просто по их реальному доходу.

Концептуально Андре Лод фактически примыкает к тем западным теоретикам (Уильям Ростоу, Раймон Арон), которые провозглашают «интеграцию» пролетариата в систему «общества потребления». Видимо, не случайно тот же «Нувель литтерер» рядом с материалом о рабочем романе помещает весьма симптоматичные рецензии на книги Андре Горца «Прощай, пролетариат. По ту сторону социализма» и Алена Турэна «Постсоциализм». Рецензент приводит такую цитату из книги Горца:

«Большинство населения сегодня принадлежит к неопролетариату постиндустриального периода, это люди без социального положения, находящиеся вне

класса, занимающие временные должности помощников или замещающие ушедших в отпуска, а также рабочие или служащие, занимающиеся случайной работой неопределенное время...

Речь идет не о том, чтобы трудящимся завоевать власть, а о том, чтобы только завоевать власть и более не функционировать в качестве трудящихся».

Из этих слов, выделенных журналом для вящей убедительности специальными рамочками, напрашивается заключение, что во Франции сегодня вообще нет рабочего класса, а есть трудоустроенные единицы, мечтающие стать правящим классом исключительно для того, чтобы не трудиться.

Не надо быть выдающимся политологом и экономистом, чтобы утверждать, что работать лучше, чем не работать. Достаточно, к примеру, памятуя о том, что во Франции число безработных осенью 1980 года превышало 1 млн. 800 тыс. человек, взять на себя труд призадуматься над судьбой одного из них. Любопытно в этой связи вспомнить фантастический рассказ Жильбера Сесброна «Полуостров». Миллиардеры всего мира собрались на одном полуострове, где условия лучшие из всех возможных. Сначала они просто отдыхают, но нельзя отдыхать вечно. Тогда они начинают имитировать свою привычную жизнь, делают ставки, рискуют вкладами, изучают политические интриги и тому подобное. Спустя еще немного времени, не видя результатов своей деятельности, они начинают болеть и чахнуть от затянувшихся «каникул» и в конце концов создают коммуну — перепахивают зеленые лужайки около своих особняков, начинают выращивать картошку и разводить кроликов. При всей утопичности нарисованной ситуации, Сесброн точен в своем выводе-аксиоме: бездействие губительно.

Противопоставляя в «Постсоциализме» экзистенциальную концепцию Жан-Поля Сартра экономическому учению Маркса, Андре Горц утверждает:

> «История не имеет смысла, поэтому не надо приносить ей жертв. Царство свободы не наступит как следствие экономических процессов».

Иными словами, Андре Горц отрицает право пролетариата на экономическое освобождение, которое должно стать залогом его духовной свободы. Более того, он одобряет нерешительность некоторой части интеллигенции, не желающей стать на определенную точку зрения в социальных битвах наших дней, и даже говорит об особенном праве интеллигенции на предательство интересов рабочего класса, носителя «идей революционного мессианства». Класс трудящихся и его вожди нарисованы им как люди жалкие, завистливые. Никакого страха или боязни по отношению к таким испытать нельзя. Но стоит ли в таком случае декларировать особое «право на предательство», если действительно сомневаешься в поступательном ходе истории, если не испытываешь страха перед все возрастающим гневом класса трудящихся?

Буржуазные философы доступными им средствами стараются увести читателя от неминуемо возникающего вопроса об отношении труда и капитала, укрепить основательно износившуюся экзистенциальную философию, остающуюся преградой на пути радикализации некоторой части интеллигенции. И тем не менее ежегодно появляются книги, свидетельствующие о внимании писателей к рабочему человеку, и звучат они убедительней, чем выкладки буржуазных «теоретиков».

В 1978 году французский социолог Робер Линар издал публицистическую книгу «Итак, я работаю на заводе...» [1], в которой в живой и конкретной форме попытался рассказать об организации промышленности и технологии и о положении рабочих на автомобильных заводах «Ситроен». Для создания этого не совсем обычного повествования Роберу Линару самому пришлось стать у конвейера. Его книга рождена действительностью и отражает сегодняшнее положение рабочего класса, в частности рабочих-эмигрантов, занятых в автомобильной промышленности.

> «Сопротивление. Я чувствую, оно таится в коллективах иностранных рабочих, люди шепчутся о нем по-кабильски, по-арабски, по-сербскохорватски, по-португальски. Оно скрывается под маской покорности...»

Философ по образованию, Робер Линар — также автор книги «Ленин, крестьяне, Тейлор» (1976). Далеко не со всем можно согласиться в его книге, но он выступил в ней и как защитник марксистской мысли об эксплуатации трудящихся при капитализме.

Писатель-коммунист Андре Ремакль обратился к проблеме рабочего класса тоже в публицистической книге «Твое дело — рыть (Хроника Фоса)» (1979). Фос — это порт и рабочий город в окрестностях Марселя, «империя одной из крупнейших фирм «Солмэр», на предприятиях которой трудится более шестнадцати тысяч рабочих. Название книги Андре Ремакля относится более всего к разнорабочим. Фос — это стройка контрастов. На ней используются новейшие достижения науки и техники, но одновременно существуют и новые формы эксплуатации трудящихся. Наряду с французами здесь трудятся бесправные иммигранты. Писатель стремился документально отразить все трудности жизни неквалифицированного или малоквалифицированного рабочего.

Новое по подходу к материалу и по способу выражения исследование представляет собой книга «Стена презрения» (1978). Это коллективный труд, написанный группой рабочих, в нее вошли и социологи из центра социальной этнологии, и психосоциологи. Авторы констатировали: современный рабочий во Франции ощущает, что его сословие — самое презираемое. Серия документальных зарисовок, подкрепленных любопытными и существенно новыми выводами, свидетельствует о глубокой заинтересованности людей, порой далеких друг другу по политическим убеждениям, но единодушно желающих облегчения жизни пролетариата. Среди них Морис Комб, Поль-Анри Шомбар де Лов, Мари-Поль Зиглер.

Репортерски точное воспроизведение забастовки виноделов 1975 года департамента Од в провинции Лангедок представляет собой

[1] См. «ИЛ», 1979, № 8, 9.

книга Жан-Пьера Шаброля и Клода Марти «Каминарем» (на южном диалекте французского языка: «Мы пойдем дальше», 1978). Несмотря на обилие документальных событий, эту книгу, где присутствуют яркие психологические характеристики героев, можно считать романом. Она представляет собой коллективный портрет крестьян и тех, с кем им приходится сегодня сталкиваться. С бальзаковской конкретностью и умением обобщать рисуют авторы современного труженика ферм.

Литература о крестьянах, казалось, была давно и навсегда забыта критикой, но вот в одной рубрике с Андре Лодом Пьер Янкель сказал о ней два слова:

«Публика ожидает, что пишущий крестьянин будет говорить с ней о возделываемой земле, о коровах, о навозе и непременно на грубовато-провинциальном языке... Если он не растворяется в живописных деталях, к нему относятся с подозрением.

А в общем, никто себе не представляет, что такое писатель из крестьян. Тем не менее их книги помогли бы по крайней мере очертить проблему и возможно приблизиться к ее решению».

В подтверждение своих слов он дал рецензию на одну только книгу Жана Англада «Хорошая роса», назвав ее типичной для жанра. Но напомним также, что в последнее время во Франции вошли в моду рассказы о сельской жизни конца прошлого — начала этого века, рассказы о том времени, которое сейчас еще в памяти у старшего поколения. Одна за другой выходят серии повестей о провинциях Франции. Часть из них — произведения, стремящиеся выйти из рамок региональной литературы, несмотря на некоторую идеализацию деревни и на общую ностальгическую тональность. Среди прочих можно отметить книги «Охота наудачу» (1978) Анри Венсено, «Туану. Крик ребенка из Оверни» (1980) Антуана Сильвера.

Уже давно и основательно изменилось положение женщины во Франции. Она больше не рассматривается, как прежде, лишь в качестве «хозяйки дома». Женщина все более и более овладевает «мужскими» профессиями, участвует в общественной и политической жизни. Женщины составляют 38 процентов активного населения Франции. Но осуществилась ли их полная эмансипация? В условиях экономического кризиса, безработицы часто первыми жертвами становятся именно женщины. Нет никаких льгот для беременных женщин, им просто предлагают уйти с работы и т. д.

Об этом — книги Ортанс Дюфур и Доротеи Летесье. В истории современного рабочего романа их имена можно поставить рядом с Клер Этчерелли, автором знакомой советскому читателю книги «Элиза, или Настоящая жизнь».

Ортанс Дюфур — рабочая, получившая филологическое образование. Она выпустила книгу, в которой в высокохудожественной форме сумела рассказать о своих жизненных впечатлениях. «Мария Крестная» не книга воспоминаний, а роман о жизни дорожных рабочих, о людях, кочующих с одной автомагистрали на другую. В романе все подлинно, все достоверно. Герой — коммунист: он интеллигентен, искренен, лиричен. Все это не может не пробудить симпатии у читателя.

О профсоюзной борьбе, о работницах завода бытовых аппаратов поведала Доротея Летесье в первом романе «Путешествие в Пэмполь». «Я начала писать для того, чтобы изгнать, как злых духов, трудности из моей жизни»,— сказала она. Прототипом главной героини была она сама, но это художественное произведение, в котором чувствуется типизация.

«Я хотела рассказать о буднях,— пишет она в интервью для «Нувель литтерер»,— о том, чего нам не хватает, о несбывшихся надеждах. Я не хотела высокопарно рассуждать о рабочих. Я сама рабочая. Все в романе очень близко к тому, что пережито. Мои товарки, которые прочли мою книгу, сказали, что все именно так и есть, что это действительно мы. Единственно, я боюсь, чтобы не сложилось мнение о том, что рабочие не так уж и задавлены жизнью, если они еще к тому же занимаются сочинительством. Я бы не хотела, чтобы моя книга дала к тому повод».

Приехав из провинции, героиня сначала работает продавщицей в магазине твердых цен, потом служащей в учреждении. Затем уезжает с мужем в Сен-Бриек, чтобы устроиться на завод бытовой аппаратуры. Такова судьба многих бретонцев, пишет Доротея Летесье и вместе с ней автор рецензии на ее роман в «Нувель литтерер» Жиль Пудловски. Получив среднее образование, сдав экзамен на бакалавра, они не могут найти себе работу по профессии и вынуждены идти на пронзводство.

Даже краткое перечисление некоторых книг на рабочую тему, вышедших в последние три года, свидетельствует о неослабном и все возрастающем внимании передовой интеллигенции к проблемам пролетариата. И потому нельзя согласиться с ироническим замечанием Андре Лода:

«Рабочий, труженик сегодня не входят в круг сюжетов «большой» литературы. Можно подумать, что во Франции живут только доктора (романы Жана Фестье, Алена Боске), суперзвезды рок-музыки (Франсуаза Малле-Жорис), слегка облысевшие сорокалетние интеллигенты в состоянии душевного надлома (тут вы найдете целый набор имен и названий), архитекторы, работники управленческого аппарата, инженеры, кандидаты в начальники, финансисты... Труженик — это труп в холодильнике».

Если, как предлагает французский критик, за словами «рабочая проблема» понимать не узко производственную тему, а посмотреть шире, на социальный роман вообще, то можно увидеть, как в сути конфликта между рабочими и капиталистами явно или неявно пытаются разобраться многие сегодняшние романисты. Вспомним хотя бы переведенные и опубликованные в журнале

«Иностранная литература» романы таких французских авторов, как Рене-Виктор Пиль («Обличитель»), Жан Жубер («Человек среди песков»), Пьер Гамарра («Женщина и река») и так далее. Тема воздействия НТР на человека в условиях капиталистического общества волнует десятки авторов, пишущих на разные темы и о разных сферах человеческой деятельности.

Хочется добавить, что в конце 70-х годов четче стали и позиции ведущих писателей — членов Гонкуровской академии. Оставил традиционные романы семейного цикла Эрве Базен, заинтересовавшись политической ситуацией в Чили («Огонь пожирает огонь», 1978). О джазовом певце, об идолах и идеалах современной молодежи написала Франсуаза Малле-Жорис, тяготевшая прежде к романам, камерным по звучанию. Близко подошел к животрепещущим проблемам современности Эмманюэль Роблес в романе «Венеция зимой» (1981). Его снова заинтересовала судьба современной интеллигенции в Европе, живущей в условиях терроризма, покушений и политических убийств, ее возможные контакты с рабочими.

Но вернемся к собственно рабочей теме. Во Франции и сейчас бытует мнение, что семнадцатый век выдвинул писателей-аристократов; последующие столетия выдвинули великолепную плеяду классиков и сотни прекрасных авторов второго и третьего ряда, которые по своему социальному положению были выходцами из буржуазии. А теперь если уж наступает время восхождения пролетариата, то за ним и слово. Только где они, эти авторы? В такой постановке вопроса нельзя не усмотреть вульгарно-социологического подхода, которому может быть противопоставлено только ленинское положение о двух культурах, существующих в лоне одной национальной культуры. Элементы социалистической и демократической культуры утверждают себя трудно и медленно, но неуклонно. В последние двадцать лет этот процесс особенно затруднился в связи с распространением массовой литературы.

«Народу нужна память,— во введении к публикациям «Нувель литтерер» верно отметил Андре Лод,— для того, чтобы организовать новые социальные битвы, и для того, чтобы реализовать свои замыслы».

Такой народной пролетарской памятью может быть, с его точки зрения, только творчество самих рабочих. Однако, как показывает действительность, путь рабочего к культуре труден. Возможность выражать себя осложнена тем, что рабочему не хватает ни времени для того, чтобы записать то, что он думает, ни общего развития.

«Я получаю много рукописей,— пишет Андре Стиль в интервью для «Нувель литтерер».— Очень часто сюжет интересен, но авторы, жертвы системы, не обладают достаточной культурой, чтобы создать действительно художественное произведение. Вот почему слишком много неудач. Часть рукописей посвящена трудовому процессу. Часто они представляют собой свидетельства политической или профсоюзной борьбы. В основном хромает язык, но в том-то и заключается драматизм ситуации, что существует пропасть между теми, кому есть что сказать, и теми, кто умеет сказать».

Андре Стиль как нельзя более точно определил суть проблемы пролетарской литературы, но он же выразил надежду, что с «улучшением условий жизни трудящихся, за которые надо бороться, изменятся и условия их духовной жизни». Они станут настоящими художниками. А пока выход на большую читательскую аудиторию — удел одиночек.

«Во Франции 1980 года,— пишет там же Робер Линар,— созданы все условия для того, чтобы помешать рабочим выразить себя. Неудивительно, что слишком мало пролетариев видит опубликованными свои произведения. Писатель должен уметь подавать себя. Он должен участвовать в дискуссиях, показываться по телевидению, выступать по радио. Иными словами, он должен принимать участие в системе культурной, коммерческой по духу рекламы, а он не умеет сделать рентабельной свою продукцию.

Рабочий выражается неумело,— поддерживает Андре Стиля и Робера Линара Луи Ури,— его язык часто несет на себе отпечаток усталости, утомления. Писать — это значит публиковаться. Но последнее крайне сложно для рабочего, у которого иной склад ума...»

Буржуазное общество предпочитает видеть в пролетарии аполитичного робота, думающего так же, как и буржуа, только о потреблении. Однако действительность показывает, что, несмотря на все возрастающие преграды — средства массовой информации, находящиеся в руках монополий, шаблоны и стереотип массовой культуры,— все мощнее звучат голоса рабочих, все осязаемее мир их тревог и надежд.

О. ТИМАШЕВА

◆

Публицистика

Э. БАТАЛОВ

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

О книге Олвина Тоффлера «Третья волна»

ПРОЛОГ

«Когда террористы играют в жизнь и смерть с заложниками, когда на фоне толков о третьей мировой войне курс валют скачет то вверх, то вниз, когда посольства полыхают в огне, а десантники во многих частях мира подымаются по тревоге, мы в страхе глядим на заголовки новостей. Цена золота, этого чувствительного барометра страха, бьет все рекорды. Банки лихорадит. Инфляция выходит из-под контроля. Паралич и бессилие поражают правительства.

Глядя на все это, мощный хор Кассандр заполняет пространство звуками песен о судном дне. Пресловутый «человек с улицы» говорит, что мир сошел с ума, а эксперт указывает на тенденции, ведущие к катастрофе.

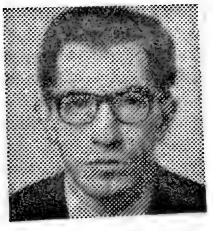
Наша книга предлагает совершенно иной взгляд на вещи. Мир, утверждает она, не катится к безумию, и за шумом и бегом, казалось бы, бессмысленных событий угадываются поразительные черты будущего, несущего с собой надежду. Наша книга — об этом будущем и об этой надежде».

Так начинается «Третья волна» — новая книга американского футуролога Олвина Тоффлера, автора нашумевшего в 70-х годах «Футурошока» [1]. То был, как, наверное, помнит читатель, и тревожный «репортаж» о столкновении современного человека со стихиями будущего времени, и философские размышления об эфемерности нынешнего мира, и страстный публицистический призыв немедленно приступить к действию, чтобы с минимальными потерями приспособиться к темпам быстротекущей жизни и стать вровень с требованиями эпохи...

И вот теперь «Третья волна», к которой Тоффлер шел целых десять лет — через «Доклад об экоспазме», через статьи о проблемах демократии, через организационно-практическую деятельность, связанную с созданием проектов «альтернативной Америки».

Наш автор и сегодня верен пафосу и манере «Футурошока»: то же энергичное стремление навести мосты между настоящим и будущим, тот же призыв к активному историческому творчеству и поискам новых форм организации общественной жизни, тот же броский, динамичный, порою рекламный стиль письма. Но теперь, десять лет спустя, Тоффлер ставит перед собой куда более сложную задачу, чем в «Футурошоке». Не просто известить человечество о происходящих в мире изменениях, связь между которыми теряется в сутолоке повседневной жизни. Автор «Третьей волны» берется указать основное

[1] Фрагменты этой книги были опубликованы в «ИЛ» (1972, № 3) под названием «Столкновение с будущим». *(Здесь и далее прим. авт.)*



БАТАЛОВ ЭДУАРД ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1935 г.).

Советский философ. Автор книг «Философия бунта» (1973), «Современное политическое сознание в США» (в соавторстве, 1980) и других, а также статей по проблемам философии и политической науки.

направление этих изменений, очертить контуры грядущего мира, показать обнаруженные им тропы, ведущие в этот мир. По словам самого Тоффлера, в его новой книге «предпринимается крупномасштабный синтез. Она описывает старую цивилизацию, в условиях которой выросли многие из нас, и дает подробную, всеохватывающую картину новой цивилизации, рождающейся у нас на глазах».

Замысел, как видим, грандиозный — из числа тех, за осуществление которых охотнее берется именно смелый футуролог либо писатель-фантаст, нежели умудренный опытом научных изысканий социолог, отлично понимающий, сколь тяжек будет труд и сколь проблематична отдача.

Тоффлер примыкает к тем западным исследователям либеральной ориентации, которые, относясь критически и к капитализму, и к реальному социализму, пытаются противопоставить им некую «гуманистическую альтернативу» и которые часто по существу не отдают себе «отчет в том, насколько несовместимы с капитализмом выдвигаемые ими цели, ценности и лозунги...» [1]. Как и многие авторы докладов Римскому клубу, опубликованных в 70-х годах, он погружен в поиски «глобальных истин», которые помогли бы избавить человечество одновременно от «затруднений», войн и революций и открыли бы перед ним горизонты «новой цивилизации».

Конечно, Тоффлера не поставишь в один ряд с такими научными авторитетами, как, скажем, Д. Медоуз, Я. Тинберген или Д. Габор, под руководством которых был подготовлен ряд докладов Римскому клубу. Автор «Футурошока» и «Третьей волны» — эссеист, популяризатор, «поп-футуролог», как называют его некоторые американские критики. Но эссеистика — это тоже весьма почтенное занятие, которое подчас позволяет, как сказал один философ, «достигнуть горних вершин». А интуиция может иной раз осветить такие горизонты, каких не откроет ни одна «строгая наука». Так что не будем ни спешить с выводами о результатах предприятия Тоффлера, ни одаривать его преждевременными комплиментами, как это делают сегодня многие популярные западные издания.

Как и «Футурошок», его новая книга весьма уязвима для серьезной критики. Отчасти это связано с тем, что автор «Третьей волны» затрагивает настолько широкий круг вопросов, что о многих из них он просто не в состоянии судить профессионально и потому достаточно компетентно. Но главное все-таки в его мировоззренческой позиции, в его философии. Тоффлер, как уже было сказано, буржуазный либерал, сторонник теории «индустриального общества», приверженцем которой он показал себя еще десять лет назад. В этом корень многих его просчетов и иллюзий, о которых пойдет разговор в данной статье.

Книга американского футуролога по-своему весьма примечательна — не как историко-философско-социологический трактат, каким прежде всего полагает ее сам автор, а как документ времени. Документ, который при внимательном чтении позволяет лучше понять и реальные проблемы, с которыми столкнулось западное (в первую очередь американское) общество на рубеже 70—80-х годов, и те надежды, ожидания и иллюзии, которые рождаются в общественном сознании, и спектр политических позиций, существующих в буржуазном обществе.

Сегодня эти вопросы представляют тем больший интерес, что в последнее время в США много говорят и пишут о «новой консервативной волне». О чуть ли не тотальном и устойчивом «поправении» в массовом политическом сознании. О том, что будущее Америки связано с возрождением ценностей прошлого, которое, по утверждению консерваторов, кажется теперь многим американцам чуть ли не «золотым веком». Книга Тоффлера позволяет в какой-то мере судить о степени правомерности такого рода утверждений, равно как и о социальных альтернативах, контуры которых формируются в американском общественном сознании.

Название книги метафорично. Тоффлеровские «волны» — это «волны» истории, рождающей цивилизации, через которые проходит человечество в своем развитии. Накатываясь одна за другой, сплетаясь друг с другом, эти «волны» образуют фон, на котором развертывается драма всемирной истории. Драма в трех действиях, ибо Тоффлер различает три цивилизованных «волны».

Возраст первой из них он исчисляет в восемь — десять тысяч лет и границей полагает 1650—1750 годы. То была «сельскохозяйственная цивилизация», основанная, как он пишет, на простом разделении труда, кастовой структуре общества, авторитарной власти и децентрализованной экономике. Потом — промышленная революция. «Высвобожденная ею гигантская сила, распространившаяся по миру — Вторая волна,— пришла в соприкосновение с институтами прошлого и изменила образ жизни миллионов».

Натуральное хозяйство распалось, «производитель» оказался отделенным от «потребителя» (чему Тоффлер придает исключительно важное значение), получил развитие рынок. Так складывалась нынешняя, «индустриальная», цивилизация. И вот теперь, на исходе второго тысячелетия, мы видим, говорит Тоффлер, как на мир накатывается третья по счету гигантская «волна», которой суждено с течением времени породить совершенно новый тип цивилизации.

Почему именно «три волны»? Что побуждает «поп-футуролога» делить историю человечества на три, а, скажем, не на четыре или пять этапов? Бессознательная дань мистике чисел; или требование здравого смысла, расчленяющего историческое время на прошлое, настоящее и будущее; или, быть может, стремление следовать гегелевской триаде? Не случайно ведь грядущее общество должно, по представлению автора «Третьей волны», нести в себе преобразованные черты и «сельскохо-

[1] Д. М. Гвишиани. Послесловие к книге Аурелио Печчеи. Человеческие качества. М., «Прогресс», 1980, с. 284.

зяйственной», и «промышленной» цивилизаций.

Не стоит гадать. Сам Тоффлер честно признается, что избрал трехчленную формулу исключительно по причине удобства. «Можно было бы, конечно,— прикидывает он,— расчленить прошлое (и будущее) на 12, или 38, или 157 частей... Для наших целей полезнее более простое, пусть даже и более грубое членение».

Как видим, наш автор не скрывает, что принадлежит к тому довольно распространенному сегодня типу социологов, которые, обращаясь к фактам истории или современности, прежде всего озабочены тем, чтобы подвести базу под заранее сконструированную ими концепцию. Еще даже не зная толком этих фактов, такой социолог уже прекрасно представляет себе, как он «уложит» их в свою схему и придаст ей видимость исторически обоснованной теории. Эта существенная характеристика методологии Тоффлера во многом определяет и логику его конструкций, и выводы, к которым он в итоге приходит.

Но не будем торопить события. Впереди нас ждет подробный экскурс в обитель тех житейских радостей и комфорта, той демократической идиллии, которые по воле американского публициста уготовил нам XXI век. Пока же, следуя за автором «Третьей волны», вглядимся с его помощью пристальнее в общество, в котором, как он утверждает, мы имеем несчастье жить сегодня... Это тем более необходимо, что способ мышления Тоффлера — логика контрастов, и, не выяснив его отношения к «индустриальной цивилизации», трудно разобраться в характере изображаемой им модели мира будущего.

МИФ

Судя по его книгам, Тоффлер испытывает устойчивую неприязнь к «индустриальному обществу». «У меня,— признается он,— вызывают отвращение способы, с помощью которых индустриализм разрушал Первую волну и подавлял первобытного человека. Я не могу забыть, как он придал войне массовый характер, породил Освенцим, высвободил энергию атома, чтобы испепелить Хиросиму. Мне стыдно за высокомерие, проявляемое им в культуре, за его хищническое отношение к остальной части мира. Мне больно видеть, сколько человеческой энергии, воображения, духовных сил пропадает понапрасну в наших гетто и баррио [1]».

И хотя он уверяет читателя, что не питает «слепой ненависти к своему времени», что общество, в котором мы живем, есть нечто большее, нежели «кондиционированный кошмар, пустынная земля, сплошной ужас», легко почувствовать, что Тоффлеру неуютно в «индустриальном мире». Своим остраненно-критическим отношением к нему он напоминает Дикаря, героя романа Олдоса Хаксли «Прекрасный новый мир». Попав по чистой случайности из резервации в технически высокоразвитое общество, Дикарь одновременно и поражен, и подавлен увиденным: высоким уровнем научного и технического прогресса, материальным богатством и сопутствующей им духовной нищетой и моральным убожеством обитателей этого общества, стандартизацией и унификацией их поведения, выхолощенностью человеческих отношений.

Только в отличие от Дикаря, который уходит из «прекрасного нового мира», кончая жизнь самоубийством, Тоффлер видит выход в перестройке современного общества. Как бы продолжая традиции теперь уже почти забытых американских левых радикалов 60-х годов, он стремится пробудить в читателе радикально-критический дух, направить его по пути поиска социальных альтернатив. Тоффлер вовсе не призывает к бунту против существующего общества, к ниспровержению капитализма. Его идеал — хорошая реформа. Но пробудившийся критический дух обладает способностью к саморазвитию, а Тоффлер такой дух, несомненно, пробуждает.

Остановитесь на мгновение, посмотрите на «индустриальное общество» трезвым взором, предлагает автор «Третьей волны». И тогда вы увидите, что это — бездушный, искусственный, массовизированный во всех отношениях мир, в котором просто нет места для индивидуальности, для живой свободной души.

Тоффлер не отрицает, что «индустриальная цивилизация» дала человеку массу материальных благ, избавила от многих болезней. Но какой ценой! Ценой утраты былой непосредственности и свободы, отрыва от природы. В прежние времена жизнь человека была подчинена ритмам, естественным, как биение сердца. «Вторая волна» заставила его подчиниться ритму машины. Миллионы людей живут и действуют — подчас сами того не сознавая — по единой «программе», отвечающей требованиям «индустриального кода», в основе которого лежат принципы стандартизации, специализации, синхронизации, концентрации, централизации и максимизации.

Шаг за шагом на протяжении всей книги ведет Тоффлер читателя по «индустриальному миру» и везде обнаруживает одну и ту же картину: над человеком властвует машина, точнее — система машин, то есть фабрика. По типу фабрики построены учреждения, определяющие траекторию человеческой жизни: нуклеарная семья, готовящая молодое поколение к учебе и труду; школа, через которую прогоняются — поколение за поколением — будущие рабочие и служащие корпораций; наконец, сами корпорации, концентрирующие в своих руках гигантский капитал и организующие массовое производство и потребление.

А взять «министерства, спортивные клубы, церкви, торговые палаты, профессиональные организации, политические партии, библиотеки, этнические ассоциации, рекреационные группы». Разве, спрашивает Тоффлер, они построены не по типу фабрики с характерным для нее разделением

[1] Так называют трущобы в американских городах, населенные преимущественно пуэрториканцами и мексиканцами.

труда, иерархической структурой и «железной ответственностью»? Даже оркестр, «если говорить о его внутренней структуре, отражает некоторые черты фабрики».

Тоффлер убежден, что именно фабрика определила природу и тип политической организации в «индустриальном обществе». К власти пришли «Они». Не короли и не шаманы, не военачальники и не святые, как до индустриальной революции, не буржуазия, владеющая средствами производства, и не рабочий класс. Наверх, уверяет он, поднялись интеграторы. К этой категории он относит исполнителей или администраторов, координаторов, президентов, вице-президентов, бюрократов или менеджеров. При этом, утверждает он, чем дальше шло развитие «индустриального общества», тем больше становилось «интеграторов», так что в итоге образовалась целая «пирамида власти», у основания которой стоят мелкие менеджеры а вверху — «большое правительство». Посмотрите, наконец, предлагает Тоффлер, на граждан этого общества. «Личные отношения, семейные узы, любовь, дружба, отношения между соседями и членами общины — все окрашивается или разъедается коммерческим эгоистическим интересом... В таком обществе, независимо от его политической структуры, покупаются, продаются, служат предметом торга и обмена не только продукты труда, но и сам труд, идеи, искусство, души».

Наверное, можно дальше не продолжать. И так уже ясно, что Тоффлер справился с критической частью своей задачи, показав рассматриваемое им общество с самой неприглядной стороны и подведя читателя к выводу о необходимости его радикальной перестройки.

Но вот вопрос: какое же все-таки общество изобразил он в своей книге и есть ли у этого общества реальный исторический прототип? Да, есть, отвечает автор. Страны «индустриального пояса»: Соединенные Штаты Америки и Канада, Западная и Восточная Европа, Советский Союз, «азиатский индустриальный район», охватывающий Японию, Гонконг, Сингапур, Тайвань, Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею и часть материкового Китая...

Во всех этих странах, убежденно заявляет «поп-футуролог», господствует рынок, производитель отделен от потребителя, а промышленное и техническое развитие достигли достаточно высокого уровня. Значит, все они — детища «второй волны», имеют общие характеристики и разделяют общую судьбу.

Рефрен «и так везде» проходит, словно в гигантском рондо, через все пятьсот страниц книги, образуя ее ритмический стержень и... не делая ее более доказательной. Порою Тоффлер буквально задыхается от нехватки фактов, работающих на его конвергентную концепцию, уравнивающую капитализм с социализмом. Тогда он призывает на помощь фантазию, а случается, и анекдот, который с серьезным видом выдает за достоверный факт. Однако убедить вдумчивого читателя, что в социалистических странах господствует рыночная экономика, что принцип «время — деньги» прочно укоренился в массовом сознании советского общества, что американская и, скажем, чешская семья стоят перед одними и теми же проблемами, а болгарский или румынский рабочий имеют ту же психологию, что и британский пролетарий,— автору так и не удается. Иными словами, Тоффлер не представляет читателю книги весомых доказательств того, что между современным капиталистическим и социалистическим миром существует принципиальное тождество, что они подчиняются одним и тем же закономерностям и в итоге имеют одну и ту же историческую судьбу — оказаться сокрушенными накатывающейся на мир «третьей волной». Да и где взять эти доказательства, если перед нами две разные цивилизации, одна из которых уже прошла свой пик, а вторая еще не достигла его?

Капиталистические и социалистические страны могут порою сталкиваться с одними и теми же проблемами. Некоторые из них непосредственно связаны с промышленным развитием, научно-техническим прогрессом, урбанизацией, усложнением общественной структуры и т. п. Все промышленно развитые страны стоят сегодня перед необходимостью выработки мер защиты окружающей среды и объединения усилий в этом направлении. Всем приходится серьезно думать о новых источниках энергии, о более рациональных формах организации производства и внедрения более эффективных систем управления. Все страны стоят сегодня перед такой жизненно важной проблемой, как прекращение гонки вооружений и предотвращение новой мировой войны. Это действительно общие проблемы, которые могут порождать некоторые общие следствия, даже некоторые общие типы дисфункций.

И все же это не устраняет различия двух систем и их исторических судеб. При внимательном взгляде не так уж трудно заметить, что сплошь и рядом даже одни и те же задачи, проблемы и противоречия капиталистические и социалистические страны решают различными, подчас диаметрально противоположными методами. При этом они опираются на социальные и политические механизмы, существенно, если не принципиально, отличающиеся друг от друга. Мы уже не говорим о том, что каждая из двух систем имеет собственные, только ей присущие черты, что взгляды людей, живущих в капиталистических и социалистических странах, на мир, на человека, на самих себя порою по самой сути отличаются друг от друга.

Нравственные законы, правящие жизнью социалистического мира, мало похожи на те, которые существуют в капиталистическом обществе или постоянно рисуются воображению Тоффлера, глядящего на социалистические страны из его заокеанского далека.

Но если описанное им «индустриальное общество» не может быть в целом отождествлено с современным социализмом, то остается предположить, что «вторая волна» — это слепок с высокоразвитого капиталистического общества. Ведь Тоффлер приводит множество реальных имен и цифр, характеризующих различные сторо-

ны жизни США, ФРГ, Японии, Франции. Он со знанием дела описывает реальные явления современного западного общества. Он громогласно разоблачает агрессивный, антигуманный характер капитализма, ограниченность буржуазной демократии и тому подобное.

И все же если говорить не о фрагментах, а опять-таки о картине «индустриального общества» в целом, то придется признать, что она не тождественна высокоразвитому капиталистическому обществу второй половины XX века. Современный капитализм — американский, французский, западногерманский — сложнее, противоречивее, многомернее. В нем действуют разнонаправленные силы и тенденции, он скрывает различные потенции, оставаясь, как и прежде, «материальной подготовкой социализма», как было сказано Лениным. И потому он тоже не укладывается в плоскую тоффлеровскую схему, сконструированную для доказательства заранее заданной цивилизационной концепции.

Таким образом, на поверку «индустриальное общество», нарисованное на страницах «Третьей волны», оказывается вовсе и не портретом реального общества, а интеллектуальной фикцией, точнее — мифом в самом прямом и точном смысле этого слова.

Классический миф давал иллюзорную, фантастическую картину мира, населяя его добрыми и злыми духами, превращая естественные процессы в сознательные поступки одушевленных сил природы. Современный миф сплошь и рядом облекается в теоретическую форму, но суть его от этого не меняется. Реальные социальные силы, господствующие над человеком, замещены в нем иллюзорными силами, действительные институты и отношения — фикциями, предстающими обычно в хорошо знакомых и популярных образах и символах, легко усваиваемых массовым сознанием.

В итоге «капитализм» и «социализм», о которых пишет на Западе буржуазный журналист и какой-нибудь «поп-футуролог» или «поп-социолог» и образ которых укореняется в массовом сознании, оказываются не слепками с реальных общественных форм, а искусственными, сознательно «аранжированными» схемами, имеющими лишь частичное, внешнее сходство с оригиналом.

Конечно, далеко не всякую теоретическую конструкцию можно называть мифом только на том основании, что она ошибочна или сознательно «приспособлена» для выполнения определенной идеологической функции. Но сегодня мифосознание и мифотворчество действительно получили широкое распространение в социально-политической жизни Запада. Этому способствует и дальнейший рост отчужденности массового индивида от реального мира, и обострение социальных конфликтов, заставляющее видеть мир в жестких, контрастных тонах, и — если говорить о технической стороне дела — расширение той самой «инфо-сферы» (системы средств массовой информации), о которой пишет Тоффлер.

Миф стал сегодня активно используемым орудием манипулирования массовым сознанием, средством защиты существующего социального порядка. Правда, он стал и орудием его критики. Когда американские левые радикалы 60-х годов пошли в теоретическое наступление на современный «корпоративный капитализм», они взяли на вооружение миф «одномерного общества», созданный незадолго до этого идеологами интеграции.

Сегодня Тоффлер пытается убедить читателя, что «индустриальная цивилизация» обречена на неминуемую гибель. Но делает он это, исходя из представлений о фантастическом, реально не существующем мире. Его общество «второй волны» — это сплав самых разнородных элементов: фрагментов философских и социологических концепций, сформировавшихся в буржуазном теоретическом сознании на протяжении послевоенного времени, отрывочных впечатлений о жизни разных стран, полученных во время многочисленных путешествий, «обломков» популярных утопий и антиутопий.

Читая иные пассажи «Третьей волны», невольно ловишь себя на мысли, что перед тобой антиутопический фарс. И что, рассуждая с серьезным видом о современном «индустриальном обществе», автор на самом деле просто разыгрывает доверчивого читателя, вводя его то в мир Уэллса, то в мир Хаксли или Замятина...

«Став доминирующей, Вторая волна подчинила ритму индустриальной системы даже самые интимные стороны жизни. В Соединенных Штатах и Советском Союзе, в Сингапуре и Швеции, во Франции и Дании, Германии и Японии люди в одно и то же время просыпаются, в одно и то же время принимают пищу, отправляются на работу, работают, возвращаются домой, отходят ко сну, спят и даже любовью занимаются более или менее в унисон, ибо цивилизация, в условиях которой они живут, требует помимо стандартизации и специализации еще и синхронизации».

Ну чем не замятинский антиутопический мир, где «в один час встают, работают под команду, едят пищу, в определенные часы любят по розовым талончикам...» — мир, в котором все точно измерено, рассчитано, синхронизировано, где тошно жить и противно умирать?

Но Тоффлер и не думает никого разыгрывать, изображая общество «второй волны». И о синхронизации, и о стандартизации, о всех других чертах изображаемого им мира он говорит с самым серьезным видом. И несчастному члену «индустриального общества» остается уповать только на то, что густонаселенные страны лежат в различных временных поясах, так что полная синхронность исключена и, отходя ко сну, можно вздохнуть чуть спокойнее...

Нет сомнений — миф по-своему интересен и поучителен. При соответствующей расшифровке он способен не меньше, чем иная «реальная» теория, поведать о состоянии конкретного сознания, его «болевых точках», глубинных противоречиях, способе видения мира и тому подобном. Он может

Э. БАТАЛОВ
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

предметно проиллюстрировать, какое представление о тех или иных сторонах жизни, о том или ином обществе хотели бы внедрить в массовое сознание мифотворцы XX века, выполняющие идеологический заказ. Одним словом, это, как, возможно, сказал бы наш эссеист с его любовью к «словечкам», своеобразная «психограмма» общества (или определенной его части).

Взять хотя бы тот же «индустриальный код», придуманный Тоффлером. Что это — объективно обусловленная программа поведения, регулирующая деятельность миллионов во всех областях жизни, как утверждает сам автор, или скорей «матрица сознания» критически настроенного субъекта, дающая конкретное представление о тех «очках», сквозь которые он смотрит на окружающий мир, сам того не ведая? А что такое «новые правила» или «новый кодекс», приходящий на смену «шести взаимосвязанным принципам»? И в первом, и во втором, и во многих других случаях нам говорят не столько о реальном обществе, сколько о внутреннем мире субъекта этого общества, хотя и уверяют в обратном. В этом своеобразие мифа, в этом его иллюзорность и ограниченность. В этом и его коварство, ибо способ видения мира нынешнего в значительной мере определяет способ конструирования в воображении мира грядущего.

КРИЗИС

Казалось бы, критическое отношение Тоффлера к «индустриализму» неизбежно должно было привести его в лагерь той довольно многочисленной группы интеллектуалов-пессимистов, которые глубоко уверены в том, что человечеству не миновать тоталитарного мира, описанного Джорджем Оруэллом в его знаменитом романе «1984» [1], что «индустриальное общество», словно гигантский космический корабль, бежать с которого невозможно, с нарастающей скоростью приближается к месту катастрофы под названием «1984». «Большой Брат», вероятно, явится в точно назначенный час»,— предрекает Дэвид Гудмен на страницах журнала «Фючерист».

Но, как ни странно на первый взгляд, Тоффлер придерживается совсем иной точки зрения, честно выполняя свое обещание быть оптимистом. Мы, утверждает он, не только не приближаемся к миру тотального единообразия, но, напротив, удаляемся от него. Ибо мир «единообразных, стандартизированных, легко управляемых роботов, предсказанный столь многими социологами и фантастами»,— это удел «индустриальной цивилизации». А она, слава богу, переживает тяжелый кризис, из которого ей уже не выбраться: «...индустриальная игра окончена».

Мотив кризиса современного уклада, цивилизации проходит через всю книгу Тоффлера, в чем, несомненно, есть своя логика. Ведь если мир «1984»-го нам не грозит только потому, что мы в некотором смысле уже находимся «под колпаком» «Большого Брата», то оптимисту не остается ничего другого, как искать и находить противоречия и трещины в корпусе «индустриального мира», свидетельствующие о его всестороннем и необратимом кризисе. Именно так и поступает автор «Третьей волны».

«Мы видим,— пишет он,— кризис систем социального обеспечения. Кризис почтовых систем. Кризис школьных систем. Кризис систем здравоохранения. Кризис городских систем. Кризис международной финансовой системы. В состоянии кризиса находится само национальное государство. В кризисе система ценностей Второй волны. Даже система ролей, скрепляющая индустриальную цивилизацию, пребывает в состоянии кризиса». Куда идти дальше, вопрошает Тоффлер, если забастовку объявляют учителя, призванные по долгу службы внедрять в сознание юношества ценности «индустриализма», или — страшно даже сказать — полицейские, обязанные расправляться с теми самыми учителями, которые устроили забастовку... «Система» если еще не сломалась, то роковым образом надломилась, и хотя она продолжает по инерции работать, душа ее мертва, а годы сочтены.

В радостном возбуждении пересказывает Тоффлер то, о чем уже многие месяцы пишут «Бизнес уик» и «Форчун», о чем говорят экономисты Фридмен и Гэлбрейт, как, впрочем, и многие другие западные ученые-социологи и политологи различных направлений. Экономика «индустриального общества» переживает тяжелые времена. Люди не хотят работать. Корпорации чувствуют себя неуверенно.

В этом кризисе автор «Третьей волны» видит предвестие новых времен. Дело не в том, что люди вообще не хотят работать. Те, кто с прохладцей трудится на своем рабочем месте, с увлечением работают за пределами учреждения или предприятия: обкладывают кафелем стены ванной, вяжут ковры, шьют, выращивают овощи, пишут рассказы... Дело, следовательно, в существующей организации труда и структуре производства, которые перестали удовлетворять требованиям времени и которые порождают естественную массовую отрицательную реакцию.

Но сегодня человеку все-таки очень трудно: ему плохо не только на работе, но и дома, ибо семья тоже переживает глубокий кризис. Да и личность, эта «самая хрупкая из структур», испытывает сегодня чувство потерянности. «Мы видим сегодня, как миллионы людей отчаянно пытаются поймать собственную тень, как жадно поглощают они фильмы, пьесы, романы, книги, посвященные самоусовершенствованию, которые — какими бы туманными они ни были — обещают им помочь в поисках ускользающего «я»... Они страстно стремятся порвать со своим нынешним существованием и начать новую жизнь — стать теми, кем они не являются. Они хотят сменить работу, супруга, роли и обязанности». И мало кто из них понимает, замечает автор, что испытываемые ими чувства — всего лишь «субъективное отражение значительно более широкого объективного кризиса: сами того

[1] О Дж. Оруэлле и его романе см. статью Г. Шахназарова «Этот прекрасный новый мир в этом пресловутом 1984 году», опубликованную в «ИЛ» (1979, № 7).

не ведая, они играют драму внутри драмы».

Олвин Тоффлер чутко схватывает внешние признаки кризиса трудового этоса, семьи, личности, особенно отчетливо проявившиеся на Западе в 70-е годы. Он приводит поражающие воображение факты и статистические данные, характеризующие масштабы разложения буржуазной цивилизации. Ну, например, что алкоголизм ежегодно обходится американской экономике в 20 миллиардов долларов или что в современных США существует около тысячи самых разнообразных религиозных культов, к которым обращаются миллионы американцев. Однако характер связей между внутренней и внешней драмами, о которых упоминается в книге, так и остается нераскрытым. Общие ссылки на «крушение цивилизации» выглядят не более чем торопливыми отговорками. Ибо осмыслить глубинные причины, в конечном счете побуждающие индивида порвать традиционные, устойчивые связи с организацией, семьей, обществом, можно, только всесторонне анализируя социальную структуру современного капитализма и господствующие в нем отношения собственности и контроля. Тоффлер этого не делает.

Он ищет другой путь обоснования объективных тенденций, изнутри разрывающих нынешнее буржуазное общество и «открывающих,— как он уверяет,— простор для свободного исторического творчества». Этот путь — анализ политической жизни современного западного, в первую очередь американского, общества, выявление различных аспектов охватившего его политического кризиса.

Конечно, исследуя политическую жизнь Америки, Тоффлер остается, как и во многом другом, тем буржуазным либералом, выводы которого надо проверять с пристрастием. Но вникнуть в его рассуждения все же стоит — именно потому, что его устами говорит тот либерал начала 80-х годов, чей голос сегодня заглушает шум неоконсервативной волны, но который может заставить себя слушать с большим вниманием если не завтра, то послезавтра.

Характерной чертой политической жизни современных США, по мнению Тоффлера, является «почти полная неспособность принятия решений, касающихся жизненно важных вопросов, стоящих перед обществом», ибо страна «не имеет ясной (или вразумительной) политики в отношении городов, окружающей среды, семьи, технологии. Она не имеет даже — если послушать зарубежных критиков — четко сформулированной внешней политики. Но американская политическая система,— подчеркивает Тоффлер,— не смогла бы интегрировать свои политические курсы и определить их приоритеты, даже если бы такие курсы существовали...

Эта неспособность принятия решений отражает лежащие в основе устройства общества структурные проблемы, которые ни один президент — республиканец или демократ — не в состоянии разрешить в рамках существующей системы».

В чем здесь дело? В том, говорят нам, что политическая машина устарела, что она перегружена и, стало быть, подлежит реконструкции. Сила инерции велика. Законы продолжают разрабатывать и принимать — и бывает, что хорошие законы,— но их никто уже не выполняет. А люди, занимающие ответственные посты, чувствуют себя бессильными и беспомощными. «Видный американский сенатор,— доверительно сообщает Тоффлер,— признался мне в частной беседе, что он испытывает чувство полной безнадежности, неспособности предпринять что-либо полезное», «занимающий высокий пост чиновник из Белого дома жаловался... что даже президент, этот, по идее, самый могущественный человек в мире, испытывает ощущение бессилия: у президента такое чувство, будто он кричит в телефонную трубку, а на другом конце провода — ни души».

Тоффлер уточняет, что речь идет не просто о временном или частичном разладе в существующих бюрократических системах. Речь идет, подчеркивает он, о кризисе института репрезентативной демократии. Избранные представители в действительности никого не представляют. Они не представляют «нацию», ибо она распалась (или, по крайней мере, распадается) на множество различающихся по своему статусу, взглядам и интересам групп — на эти своеобразные «меньшинства», которые лишь в редких случаях способны прийти к общему мнению по сколько-нибудь широкому кругу вопросов. Они не представляют даже самих себя, ибо зачастую не обладают знаниями, необходимыми для того, чтобы разобраться самостоятельно в рассматриваемых ими вопросах и найти разумное решение. И вот итог: власть «распределяется — чем дальше, тем больше — кое-как, так что в конце концов порой никто не знает, кто за что отвечает, у кого реальная (в отличие от номинальной) власть или сколько времени эта власть будет удерживаться. В условиях такой безумной полуанархии рядовой человек с цинизмом смотрит не то что на своих «представителей», но — что хуже — на саму возможность быть представленным».

Можно понять, почему Тоффлер сосредоточил огневую мощь своей критики именно на репрезентативной демократии. Вот уже в течение многих лет (об этом шел разговор еще в «Футурошоке») он разрабатывает проект ее реформы. Но хочет того автор «Третьей волны» или нет, он дает вдумчивому читателю убедительные свидетельства того, что дело не просто в несовершенстве существующей в США системы представительства, или распаде «нации на миожество «меньшинств», или невежестве «избранников нации». В конечном счете дело в кризисе всей политической системы буржуазного общества, в общем кризисе капитализма, который на разных стадиях исторического развития способен принимать разнообразные формы.

Конечно, картина распада, нарисованная Тоффлером, далеко не полна и не во всем точна — даже если говорить о чисто фактической стороне дела. Многие проблемы,

---

Э. БАТАЛОВ
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

противоречия, напряженности, присущие современному Западу, ускользают от его взора. С другой стороны, Тоффлер рассуждает о явлениях, имеющих сегодня явно мнимый характер. Так, в частности, обстоит дело с «кризисом национального государства», о котором в последние годы немало говорили и буржуазные политики, и члены Римского клуба, и некоторые военные стратеги (когда дело касалось вмешательства империалистических держав в дела других государств).

В своем представлении о кризисе, переживаемом сегодня Западом, и в первую очередь Соединенными Штатами, Тоффлер далеко не одинок. К такому же выводу (судя, в частности, по опросам общественного мнения) приходят сегодня многие — и в Америке, и в Европе. Только для массового сознания он в основном так и остается неясным, теоретически и политически не оформившимся ощущением, будто что-то неладно и необходимо что-то — неизвестно только что — предпринять. Если же говорить о западных теоретиках и политиках, то они, чуть ли не единодушно констатируя наличие кризисных явлений, делают из этого разные заключения и предлагают разные политические выходы — от праворадикального, ориентированного на переворот фашистского типа, до социалистического.

Тоффлер не предлагает ни того, ни другого. Констатируя тяжелый кризис, он воспринимает его как точку перелома к лучшему. Он преисполнен веры (которая явно перевешивает рациональные аргументы), что через трещины разрушающегося мира непременно пробьются — уже пробиваются — ростки нового. «...Если мы внимательно оглядимся вокруг, то рядом с признаками банкротства и крушения увидим первые ростки нового, первые признаки новых возможностей. Прислушаемся внимательно, и тогда мы услышим, как Третья волна бьется в недалекие от нас берега».

УТОПИЯ

Странный и неожиданный мир открылся бы взору современного чикагца или лондонца, попади он вдруг в общество «третьей волны». Полупустые или пустые коробки оффисов, превращенные в жилые или складские помещения. Множество мелких и средних промышленных предприятий, разбросанных по стране и вытеснивших индустриальные гиганты прошлого. Трудовой и рекреационный «нон-стоп», стирающий прежние границы между дневной и ночной жизнью крупных городов. Масса так называемых «просьюмеров» [1], сочетающих в одном лице производителей и потребителей и ведущих полунатуральное хозяйство. И, наконец, чудо XXI века — «электронный коттедж», поражающий техническим совершенством и населенный людьми, прошедшими через новую школу, связанными друг с другом новым нравственным и политическим сознанием и поднявшимися до новых высот в культуре...

Но это только внешняя сторона, фасад, за которым, как легко догадаться, скрываются новые экономические, политические и социальные структуры, придающие грядущей цивилизации неповторимый колорит.

Первым делом, помня о своем обещании предложить модель «демассифицированного» общества, автор «Третьей волны» избавляет новую цивилизацию от общественных классов (не забывая, впрочем, сохранить частную собственность), массовых политических партий и коалиций. «Классы,— провозглашает он,— потеряют свое значение» и «вместо глубоко стратифицированного общества, в котором несколько крупных блоков образовывали большинство, мы будем иметь конфигуративное общество — общество, где тысячи меньшинств, существование многих из которых носит временный характер, находятся в непрерывном круговороте, образуя совершенно новые переходные формы, редко составляющие коалицию, обеспечивающую согласие в 51% по основным вопросам».

Развивая идеи, изложенные им ранее в «Футурошоке» и статьях о так называемой «антиципаторной [1] демократии» (цель которой обеспечить «участие граждан» в формировании моделей собственного будущего), американский футуролог детально обсуждает, как эти меньшинства могли бы влиять на решения, принимаемые представительными учреждениями. Он с серьезным видом рассуждает о том, что если бы, например, за этими учреждениями было оставлено 50% решающих голосов, а остальные 50% были бы переданы «публике», то принцип «соединения правления большинства с властью меньшинства» стал бы реальностью.

Вообще, надо сказать, сплошь и рядом Тоффлер поражает читателя «простотой» своих выкладок. Там, где другие обращаются к алгебре, он спокойно обходится с помощью арифметики. «Народная демократия» в условиях капитализма? Пожалуйста. Берем компьютер, быстро обрабатываем результаты опросов общественного мнения, сообщаем их законодателям, и те, потрясенные прозорливостью и мудростью народа, принимают решение, соответствующее его воле. И никаких революций.

Так или примерно так выглядит один из фундаментальных принципов сконструированной нашим реформатором политической системы будущего — принцип «полупрямой» демократии, когда воля народа выражается и через его представителей в соответствующих учреждениях, и путем «самопредставительства». Во всяком случае, сам Тоффлер нисколько не сомневается (или делает вид, что не сомневается), что если, скажем, тот же конгресс США, принимая свои решения, учитывал бы голоса рядовых американцев — сторонников и противников данного законопроекта,— то это привело бы к возрождению и даже расцвету гибнущей ныне демократии. Правда, для этого рассмотренные выше принципы, как следует из рассуждений автора «Третьей волны», должны быть дополнены принципом «разделения решений». Центральные институты власти, задыхающиеся

[1] Производное от английских слов producer (производитель) и consumer (потребитель).

[1] Предвосхищающей.

от «перегрузки» и потому часто пробуксовывающие, были бы наконец «разгружены». Решения местных и общенациональных вопросов принимались бы соответственно на местном и общенациональном уровнях. Наиболее важные рассматривались бы и в центре, и на местах. Одновременно были бы созданы транснациональные институты, занимающиеся вопросами глобального значения, с которыми отдельное национальное государство справиться не способно.

Таковы контуры новой политической системы, предложенной на страницах «Третьей волны» и создающие, если верить ее автору, необходимые предпосылки для стремительного продвижения к «демократии XXI века».

В разных ракурсах рассматривая общество «третьей волны», нетрудно обнаружить, что во многих отношениях оно представляет собой антипод «индустриальной цивилизации». Правда, отвергая последнюю как отжившую свой век и рассуждая о «диалектическом возвращении» «сельскохозяйственной цивилизации», Тоффлер настаивает на огромном значении науки и техники как фактора социального прогресса. Собственно говоря, именно благодаря научно-техническим достижениям, считает он, «индустриальная цивилизация» и перерастает в свою противоположность.

Принципы концентрации и централизации, господствующие сегодня едва ли не во всех сферах воспроизводства общественной жизни, сойдут в новом обществе на нет, обещает Тоффлер. Произойдет рассредоточение промышленных предприятий и рабочей силы; во многом этому будут способствовать достижения в области биологии, электронно-вычислительной техники, освоения космоса и океана и открытие новых, возобновляемых источников энергии. Огромная армия работников будет переведена с заводов, фабрик, оффисов в те самые «электронные коттеджи», о которых упоминалось выше. Уже сегодня, по мнению автора, многие архитекторы, дизайнеры, юристы и представители других профессий могли бы с успехом работать дома. А если оснастить дома современной техникой, включая портативный компьютер (как у самого автора «Третьей волны»), то возможности для продуктивной работы у себя на квартире возрастут неизмеримо.

Сколько выгод для индивида и для общества сулит такая перестройка! Уменьшение вынужденных поездок, а следовательно, транспортных издержек и загрязнения окружающей среды, укрепление отношений между супругами и членами общины... Даже нервотрепки, неизбежной в условиях фабрики или оффиса, с той, уверяют нас, наверняка стало бы меньше.

С «возвращением к домашнему производству» связывает Тоффлер и свой грандиозный план расширения армии мелких собственников. Ведь если бы «индивиды обратили в свою собственность электронную оснастку и оборудование, возможно, приобретенные в кредит,— объясняют нам,— они стали бы по сути дела не классическими наемными тружениками, а скорее независимыми предпринимателями. А это означало бы не что иное, как распространение собственности рабочего на «средства производства».

Тоффлер и сам понимает, что эти его прожекты многим покажутся наивными, идущими вразрез с логикой современного исторического развития. Но он, видимо, не вполне сознает, что в условиях, когда развитие производительных сил требует обобществления производства, попытки разрешить противоречия капитализма на пути увеличения числа мелких собственников носят консервативный, чтобы не сказать реакционный характер. И если бы вдруг план нашего прожектера каким-то чудом осуществился, он бы только затормозил решение проблем, над которыми бьется автор «Третьей волны».

Большие надежды связывает он с изменениями в сфере производства и распространения информации. Массовые газеты и журналы, издающиеся в крупных центрах, вытеснятся «децентрализованными», «демассифицированными» изданиями, рассчитанными на небольшую аудиторию с конкретными интересами и потребностями. Резко возрастет число местных радиостанций, вещающих на определенную категорию слушателей. Кабельное телевидение рассечет некогда монолитную телеаудиторию на множество секторов, каждый из которых будет ориентироваться на специализированный блок информации. А поскольку телеприемники, как обещают нам, будут обеспечивать еще и обратную связь, то потребитель информации окажется, как всерьез уверяет Тоффлер, включенным в процесс ее производства. Сойдут на нет и другие принципы, образующие код «индустриальной цивилизации». Производство продукции дестандартизируется — оно будет ориентировано в основном на нового, индивидуального, конкретного члена общества, активно участвующего в создании потребляемого им самим продукта. Внедрение в производство и быт компьютеров и видеофонов, введение гибких графиков, а главное, перевод части работников на «домашнее производство» позволит покончить с синхронизацией основных жизненных ритмов. И тогда каждый сможет более чутко прислушиваться к голосу собственной индивидуальности.

Знакомя читателя с «личностью будущего», Тоффлер предупреждает, чтобы мы не ждали от него «единой идеальной модели», которую обычно создавали мыслители прошлого. В завтрашнем «демассифицированном» обществе «индивиды будут отличаться друг от друга еще отчетливее, нежели сегодня», и всякая попытка сконструировать и внедрить некий стандартный тип личности была бы просто бессмысленна. «Третья волна» формирует не идеального супермена, не новых героев, исподволь вырастающих среди нас, она ведет к драматическим изменениям в чертах характера, имеющих широкое распространение в обществе...»

Верно, история видела немало драматических попыток сконструировать и внедрить в качестве чуть ли не единого образ-

ца стандартный, функциональный тип личности. По этому пути шел не только фашизм, о котором резонно упоминает американский автор. Либеральная буржуазия в принципе тоже была заинтересована если не в едином типе личности, то, по крайней мере, в наличии стандартных массовых типов, необходимых для воспроизводства капиталистических общественных отношений. Так что, отказываясь строить некую образцовую модель «личности будущего», Тоффлер выражает тенденции, проистекающие из реального процесса социального развития. Ибо если общественный прогресс — это не только новый шаг в развитии производительных сил, но и новая ступень в развитии самого человека, что не раз подчеркивали наши великие учителя, то, следовательно, чем более развито общество, чем более оно свободно, тем богаче и содержательнее спектр формирующихся в нем личностных типов, тем чаще встречаешь на его просторах людей с «лица необщим выраженьем», тем шире распространены черты характера, отражающие природу нового, более передового общественного строя.

Какова же она, эта тоффлеровская «личность будущего»? Наверное, люди XXI века, отмечает он, станут быстрее взрослеть и у них раньше, чем у нас, будет проявляться чувство ответственности. Отличаясь большей индивидуальностью, они смогут решительнее, чем мы, оспаривать авторитеты. Не забывая о деньгах, они не будут, однако, работать только ради денег. Им меньше, чем нашим современникам, будут присущи гедонистическая и потребительская ориентации. Они будут обладать способностью умело сочетать работу с игрой, производство с потреблением, физический труд — с умственным, абстрактный подход — с конкретным, объективный — с субъективным. Не аристотели, но и не чингисханы, они будут просто гуманными, счастливыми людьми, свободно созидающими свой внешний и внутренний мир...

Это, конечно, не более чем абстрактная схема — произвольная и, как видит сам читатель, далеко не оригинальная. Сознательно или нет, Тоффлер воспроизводит в ней (пусть в несколько измененном виде) многие из черт личности, о которой писали в 60-х годах Г. Маркузе, Т. Роззак, Ч. Рейч, Э. Фромм и некоторые другие американские авторы леворадикального или либерально-реформистского толка. Однако нельзя не заметить и другого. В тоффлеровской схеме нашел отражение и тот процесс «обновления личности», признаки которого давали о себе знать в Америке конца 60-х — начала 70-х годов. Как писал советский социолог Ю. Замошкин, их можно различить «в противоборстве различных разнонаправленных ценностных и политических ориентаций. Ориентации на успех в частнопредпринимательском, бюрократически-карьеристском и узкопотребительском вариантах противостоит стремление личности к саморазвитию, к проявлению инициативы и творчества в общественно полезном труде и социально значимой деятельности... Ориентации на конкуренцию противостоит стремление к сотрудничеству и человеческому общению, к созданию форм такой коллективности, развитие которой необходимо предполагает рост индивидуальности. Конформистской ориентации противостоит ориентация на активность личности, на превращение ее в действительный субъект истории и политики, на борьбу за расширение демократии» [1].

Получат ли эти тенденции ощутимое развитие в ближайшем будущем? Многое здесь будет зависеть от экономической и внутриполитической обстановки в США, от направления процессов международной жизни. Однако если всерьез говорить о становлении черт личности будущего, то, разумеется, главная предпосылка этого процесса — в радикальной перестройке существующего общества. В какой-то мере Тоффлер это учитывает, выдвигая целый ряд необходимых, на его взгляд, условий: перестройка системы образования, промышленного производства, информации, поиск конструктивных решений больных, тревожащих общество проблем, касающихся семьи, молодежи (о чем мы, к сожалению, сказать более подробно в рамках даиной статьи не имеем возможности). Однако главный акцент он делает на преобразование социальной структуры общества и его политических механизмов: «личность будущего должна сочетаться с политикой будущего» — той самой политикой, о «реформе» которой шла речь выше.

Не исключено, что все эти «реформы», будь они осуществлены, смогли бы в какой-то степени «смягчить ход» политической машины буржуазного общества. Позволило бы это создать «новую психосферу», то есть новый психологический и культурный климат в стране? Ведь вне этого климата немыслимо взрастить ту самую «личность будущего», о которой сказано столько слов. И — самое главное — возможно ли совместить формирование искомого типа личности и сохранение системы частной собственности, которая, как убедительно свидетельствует вся многовековая история буржуазного общества, воспроизводит в массовом масштабе совсем не те черты, какие хотел бы видеть в этой личности наш автор?

Тут, как говорится, «или — или». Либо предлагаемые нам модели личности и общества не будут типичными, либо «общество XXI века» действительно породит широкий спектр личностных типов — но при том непременном условии, что сама структура экономических, политических и социальных отношений претерпела бы гораздо более радикальные изменения, чем намечает Тоффлер, так что милые его сердцу корпорации стали бы такими же воспоминаниями прошлого, как и фордовские автомобильные гиганты...

Мы не собираемся становиться в позу критиков, делающих вид, что у них имеются готовые ответы на все «проклятые» вопросы. Тем более не беремся безапелляционно судить, каким будет мир XXI века, и выносить категорические суждения относительно всех предсказаний Тоффле-

[1] Ю. А. Замошкин. Личность в современной Америке. М., «Мысль», 1980, с. 245.

ра. Это не марксистская позиция, хотя сам автор «Третьей волны», судя по всему, считает, что марксистам свойственны такого рода претензии.

«Когда я был марксистом — мне было тогда что-то около двадцати, то есть более четверти века назад,— снисходительно замечает он,— я, как и многие молодые люди, думал, что у меня есть ответы на все вопросы. Но вскоре я понял, что мои «ответы» были частичными, односторонними и устаревшими».

Если бы Тоффлер — тогда, когда он считал себя марксистом, или теперь, когда он с облегчением вспоминает о «преодоленном прошлом»,— дал себе труд вникнуть в суть марксизма, он должен был бы понять, что ни Маркс, ни его сторонники и подлинные последователи никогда не претендовали на роль пророков и провидцев. Напротив, они всячески предостерегали от претензий на всезнание, от пустых гаданий и пророчеств. В мае 1893 года в интервью корреспонденту «Фигаро» Энгельс говорил: «*Мы сторонники постоянного, непрерывного развития,* и мы не намерены диктовать человечеству какие-то окончательные законы. Заранее готовые мнения относительно деталей организации будущего общества? Вы и намека на них не найдете у нас» [1].

Маркс и Энгельс считали возможным говорить (да и то с большой осторожностью) лишь о принципиальных чертах общества будущего, созидаемого в процессе свободного социально-исторического творчества народных масс. Так что не будем спорить с автором «Третьей волны» по частностям и попусту гадать, какие из его пророчеств сбудутся, а какие нет. Плодотворнее, нам кажется, другой подход к прогнозам, а именно, их соотнесение с действительными тенденциями общественного развития, выявленными наукой и подтвержденными общественно-политической практикой.

ТЕНДЕНЦИИ

Как может судить и читатель данной статьи, многое из того, о чем пишет Тоффлер, выглядит не просто любопытным, но достаточно обоснованным и реальным. Вопросы о диверсифицированных источниках энергии, о перестройке системы образования, о новых формах организации труда (в том числе о гибком графике), о широком внедрении кабельного телевидения, массовом использовании вычислительной техники, как и некоторые другие, поднимаемые Тоффлером, стали в последние годы предметом теоретических дискуссий, а в ряде стран — и практического решения.

Вместе с тем очень многие черты будущего, о котором он пишет, выглядят необоснованными и потому сомнительными. Автор «Третьей волны» судя по его книгам, человек увлекающийся и несколько торопливый в суждениях, а это идет ему как «поп-футурологу» только во вред. Он слишком спешит с выводами, из «узких» фактов делает широкие обобщения и далеко идущие заключения, временные, локальные процессы превращает в устойчивые универсальные тенденции.

Увлеченный идеей распада «массового», «централизованного», «стандартизированного» общества и его перехода в свою противоположность, Тоффлер видит только те тенденции, которые действуют в этом направлении, как в пределах Америки, так и в глобальном масштабе.

Но он почему-то не замечает, что в современном мире действуют одновременно и прямо противоположные тенденции, связанные, в частности, с процессом интернационализации общественной жизни и усилением идеологической функции государства. Причем за последнюю четверть века (когда, по Тоффлеру, начался процесс формирования новой цивилизации) эти тенденции не только не ослабли, но в целом еще более усилились. Разумеется, они не могли не вызвать ответную реакцию, которую только и видит Тоффлер.

Даже если предположить, что в недалеком времени какие-то из его предсказаний и сбудутся, вряд ли это приведет к фрагментаризации общественной жизни и перестройке политического процесса. Этому будут «противиться» прежде всего мощные интеграционные тенденции, о которых, кстати сказать, много говорит (правда, в связи с другими проблемами) и сам Тоффлер. Этому будет противодействовать, как можно ожидать, и буржуазное государство.

Тоффлер надеется перестроить мир и сделать его более гуманным с помощью спутников, компьютеров, кабельного телевидения и других технических чудес. В осуществлении революционных изменений в сфере собственности и производственных отношений он не видит ровно никакой необходимости. Более того, он опасается их. Но в таком случае ему надо было бы говорить не о новой цивилизации которая, как убедительно подтверждает вся человеческая история, требует именно революционных изменений, а просто о новой фазе развития капитализма.

Правда, Тоффлер рассчитывает, как мы видим, «перековать» 10—20 процентов рабочих и служащих в мелких собственников. Но если бы это даже каким-то образом произошло, последствия такой перестройки были бы явно не в пользу гуманистических ценностей, о которых он так печется.

Автор «Третьей волны» хочет убедить читателя, что является горячим поборником справедливости и борцом за торжество демократических принципов. И при этом оставляет без ответа вопрос, как практически его обеспечить — ведь речь ведется лишь о перестройке системы выработки и принятия решений и не касается проблемы их реализации. Будут ли осуществляться принятые «по воле народа» решения и будет ли проводимая политика отвечать этой воле — остается тайной.

Неужто расчет здесь на джентльменское поведение американских буржуа, которые станут неукоснительно выполнять волю

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, с. 563.

Э. БАТАЛОВ

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

народа, даже если она придет в противоречие с их собственными интересами? Неужто он уповает на лояльность и добропорядочность американской публики, которая не станет досаждать законодателям неумеренными притязаниями и, преисполнившись чувствами гражданского долга, исторической ответственности и патриотизма, будет просить у властей только то, что они готовы ей дать?

Пытаясь «запросто» отделаться от общественных классов, растворяя их в «группах интересов», он не замечает того, что сами эти группы действуют, как правило, в рамках и на базе определенных классов. И как бы ни были многочисленны, подвижны или даже диффузны данные «группы», до тех пор, пока в обществе господствуют капиталистические отношения, будут существовать и извечные противники в лице буржуазии и пролетариата, которых не «растворит» в общей социальной массе ни одна реформа.

Можно сомневаться в том, что американская буржуазия, конечно же, останется классом, который пойдет на любое нарушение правил политической игры, если та будет складываться не в его пользу. Что же касается рядовых американцев, то они вряд ли относятся к числу терпеливых молчунов, готовых безропотно нести на своих плечах бремя, возложенное на них господствующим классом. Или быть может, Тоффлер думает, что нынешняя Америка изжила революционные традиции, которые, как отмечал Ленин, существовали в «американском народе» [1]?

А разве не является иллюзией представление Тоффлера о возможности радикальной перестройки функций и изменения облика капиталистических корпораций, с чем он связывает осуществление своих надежд на гуманизацию буржуазного общества? Тоффлер здесь, надо сказать, не одинок. Сегодня многие на Западе рассуждают о необходимости «гуманизации бизнеса» и повышения его социальной ответственности. И в этом есть свой резон. Не исключено, что, испытывая давление и со стороны самих трудящихся, и со стороны государства, капиталистические корпорации несколько изменят свою политику и возможно, умерят свои аппетиты. Но мыслимо ли серьезно рассчитывать на то, что сознание ответственности за судьбы общества перевесит стремление корпораций к наживе и власти, что они позволят истребить в себе хищнический дух и превратятся в кротких овечек, мирно пощипывающих травку на ниве государственно-монополистического капитализма?

Борьба трудящихся за свои права, необходимость учета стратегических интересов господствующего класса заставили буржуазное государство в высокоразвитых капиталистических странах пойти на осуществление социальных программ, облегчающих положение эксплуатируемой массы. Не исключено, что, желая «откупиться» от трудящихся и предотвратить накопление «горючего материала» в недрах капитализма, буржуазия окажется вынужденной и дальше развивать эту функцию государства. Но разве это меняет суть последнего как выразителя и защитника интересов сильных мира сего? Разве это ведет к утрате буржуазией ее политической, экономической и духовной власти в странах Запада?

Одним словом, знакомясь с «третьей цивилизацией», спроектированной Тоффлером, читатель невольно ловит себя на мысли, что перед ним не что иное, как специфическая форма современной социальной утопии.

Тенденция к утопизации западной футурологии наметилась уже довольно давно. Как писали в начале 70-х годов известные американские футурологи Г. Кан и Б. Брюс-Бриттс, «многие прогнозы многих видных американских мыслителей суть констатация того, что́ автор хотел бы видеть случившимся, и не обязательно того, что́, по его мнению, случится. Часто эти прогнозы представляют собой неприкрытую попытку сформулировать какую-то особую политику или программу» [1].

Надо заметить, что и сам Тоффлер не раз высказывался в том духе, что создание утопических проектов открывает путь к массовому пробуждению социального воображения и активному вовлечению рядовых граждан в процесс исторического творчества. Сегодня он собственной персоной выступает в роли утописта, но при этом, вопреки всем ожиданиям, отказывается признать, что предлагаемый им проект носит утопический характер. «Мы видим здесь,— пишет Тоффлер о «Третьей волне»,— контуры... совершенно нового образа жизни, оказывающего влияние не только на отдельных индивидов, но на все человечество. И вряд ли описанная здесь новая цивилизация может быть названа утопией... Но цивилизация Третьей волны — это и не «антиутопия»... Мы присутствуем здесь,— торжественно провозглашает «поп-футуролог»,— при рождении жанра, который можно было бы назвать «практопией», когда изображается не лучший и не худший из всех возможных миров, а мир, которому мы отдаем предпочтение перед реально существующим и который практически осуществим... практопия предлагает позитивную, даже революционную альтернативу, лежащую в пределах реально достижимого».

Тоффлера можно понять. Потратить уйму времени на изучение «новейших тенденций общественного развития», прочесть пятьсот тридцать четыре научных труда (как значится в библиографическом приложении), не считая газет и массовых журналов, исколесить в поисках материала чуть ли не весь земной шар, провести десятки интервью с менеджерами, законодателями, инженерами и генералами, чтобы в итоге прийти... к утопии. Обидно.

И тем не менее замечание Кана и Брюс-Бриттса в полной мере относится к новому творению Тоффлера. Ведь он тоже пишет не о том, каким, по всей вероятности, будет новое общество, но о том, каким он хотел бы его видеть. А то, что автор изображает не самый лучший из рождающихся в его воображении миров, в данном случае не

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, с. 58.

[1] H. Kahn, B. Bruce-Briggs. Things to Come. N.Y., 1972, p. 246.

имеет принципиального значения. Ведь суть утопии не в том, что она рисует недостижимый идеал, а в том, что этот идеал формируется в отрыве от объективных тенденций общественного развития. Нынешняя западная либеральная утопия вообще достаточно умеренна в своих притязаниях — времена такие. Но это не меняет ее сути как утопии.

ПОЛИТИКА

Тоффлер не ограничивается изображением картин светлого будущего. Он предлагает еще и нечто вроде плана действий, если угодно — стратегию продвижения к обществу «третьей волны».

Читая его книгу, легко представить себе всю сложность положения человека, живущего в обстановке социально-политического и нравственного распада, когда старые структуры и ценности во многом уже утратили свою силу, а новые еще не обрели ее, когда за пристойными вывесками существующих институтов скрывается ложь, фальшь и мерзость интеллектуального запустения. Что остается человеку в такую пору — пору безвременья, когда, говоря словами Германа Гессе, «целое поколение оказывается между двумя эпохами, между двумя укладами жизни в такой степени, что утрачивает всякую естественность, всякую преемственность в обычаях, всякую защищенность и непорочность» [1].

Тоффлер чутко схватывает происходящее в последние годы на Западе изменение общественных настроений — как в широкой массе, так и среди интеллигенции, часть которой сознательно переходит на эскапистские позиции, не видя никакой возможности оказать влияние на течение событий. Развязаться со всякой там политикой. Погрузиться как в единственную подлинность в атмосферу непосредственного человеческого общения, простых и естественных радостей жизни. И ждать, пока накатит какая-нибудь «третья волна» и, смыв рухлядь старого мира, расчистит поле для «подлинно социальной деятельности».

Такую позицию наш автор отвергает не только потому, что хочет предстать перед общественностью как реалист и человек дела, но прежде всего потому, что ему ясна совершенная ее бесперспективность, глубоко консервативный характер такой позиции. Повернуться спиной к нынешнему миру — значит затянуть период его гниения.

Отвергает Тоффлер и другую, не менее опасную позицию, когда пытаются спрятаться за чью-то широкую спину, опереться на сильную руку, которая железной хваткой соединила бы распадающиеся куски «современного общества». С понятным волнением и тревогой пишет он о вновь распространяющемся на Западе «комплексе мессии» — иллюзии, будто возможно решить все проблемы, справиться с одолевающими трудностями, если «наверху» окажется «сильная личность».

Видя, как рушится привычный порядок, и глядя на лидеров, которые просто не в силах совладать с усложняющимся миром, пишет Тоффлер, миллионы людей, подстегиваемых прессой, приходят к простому, понятному им и, казалось бы, единственно правильному объяснению всех своих бед: «несостоятельность правителей». «Вот если бы на политическом горизонте появился мессия и снова поставил все как надо!» Вот если бы Рузвельт... Если бы Черчилль... Если бы де Голль... Такие настроения, замечает Тоффлер с горечью, приходят сегодня в голову не только людям старшего поколения, с ностальгией вспоминающим о старых временах, когда будто бы властвовал «закон» и царил «порядок». Подобными настроениями заражены многие, и хуже всего то, что они, не раздумывая, готовы пожертвовать своей (а еще лучше чужой) свободой ради того, чтобы «поезда ходили по расписанию».

Тоффлер горячо пытается убедить читателя — и это, быть может, лучшие страницы его книги,— что расчет на «мессию» — опасная иллюзия. Глубокое заблуждение считать, что «сильная личность», устанавливающая тоталитарный режим, несет с собой «законность и порядок»,— если, разумеется, не считать законностью узаконенное беззаконие, а порядком всеобщий страх. К тому же следует иметь в виду, подчеркивает он, что разные условия требуют от руководителей разных качеств и методов руководства. То, что было хорошо вчера, плохо сегодня. Так что присутствие «наверху» «сильной личности» еще не дает надежной гарантии, что дела в государстве пойдут на лад. И, окажись сегодня Франклин Рузвельт снова в Белом доме, еще неизвестно, сумел ли бы он справиться с нынешними проблемами, стоящими перед Соединенными Штатами...

Остается в таком случае третий — и последний — выбор: не полагаясь на «мессию», самим «ввязаться» в бой, принять на свои плечи ответственность за собственное будущее и за судьбы человечества. За этот путь, казалось бы, и ратует Тоффлер. «Многое,— замечает он,— зависит от гибкости и интеллекта нынешних элит, субэлит и супер-элит... Но элиты, сколь бы просвещенными они ни были, сами не могут создать новую цивилизацию. Здесь требуется энергия всей нации». Именно нация, говорят нам, должна «совершить революцию» (!), покончить со старыми политическими структурами и преобразить мир, как это сделали два столетия назад американские «родители-основатели».

Ну что же прекрасные слова. И нам не оставалось бы, наверное, ничего другого, как поддержать автора «Третьей волны», если бы вскоре не стало ясно, что замышляемая им «революция» носит довольно своеобразный, хотя и не вполне оригинальный характер.

Тоффлер объявляет себя решительным противником «традиционной» ориентации на революционный класс (или союз классов), возглавляемый революционной партией. Он придерживается своеобразной вульгаризованной версии так называемого «великого отказа», который активно пропо-

[1] Герман Гессе. Избранное. М., «Художественная литература», 1977, с. 223.

ведовался некоторыми леворадикальными теоретиками в период подъема массовых демократических движений и уже тогда обнаружил иллюзорный характер как принцип практической политики. Говоря проще, американский футуролог считает, что в обществе «второй волны» вообще не существует социальных классов, групп и политических организаций, способных выступить в авангарде сил, открывающих путь в новое общество. И потому делать ставку на какую-либо из этих сил — значит обрекать борьбу на поражение. «...Наши существующие политические партии, устаревшие и по структуре и по идеологии, так похожи на размытые зеркальные отражения одна другой. Демократы и республиканцы, равно как тори и лейбористы, христианские демократы и голлисты, либералы и социалисты, коммунисты и консерваторы,— все они, несмотря на существующие между ними различия, являются партиями Второй волны».

Тоффлер, несомненно, мог бы легко доказать, что некоторые буржуазные партии мало чем отличаются одна от другой. Он мог бы также с полным основанием сослаться на трудности идентификации политических сил современного капиталистического общества, связанные с реальным сдвигом границ между различными частями политического спектра. Но ставить на одну доску все классы и политические организации у него не больше оснований, чем отождествлять капитализм и социализм.

Впрочем, столь радикальный разрыв с существующим политическим миром, способный озадачить любого практического политика, не смущает Тоффлера. Ведь «революцию» он собирается делать не с помощью классов и партий, а с помощью «лагеря сторонников Третьей волны», наступающего на «лагерь защитников Второй волны». Так сказать, стенка на стенку. При этом в лагере борцов за демократию и гуманизм оказываются крупные бизнесмены и мелкие лавочники, либертаристы и «неосоциалисты», «феминисты» и активные борцы за гражданские права, бывшие хиппи и нынешние конформисты. Понятно, что ни о каком идеологическом единстве, ни о какой общности социальной базы или единстве цели здесь не может быть и речи.

А как же тогда революция? Но в том-то и дело, что никакой революции Тоффлер в действительности совершать не собирается. Не нужно, говорит он, повторения прежних «революционных драм» со стрельбой, насилием и классовой ненавистью. Тысячи нововведений на многих уровнях во многих местах на протяжении десятилетий вместо «какого-то одного кульминационного переворота» — такова его программа. Начать же перестройку Тоффлер советует, как нетрудно уже догадаться, с самих себя.

Давайте, предлагает он, строить проекты новых политических институтов, организовывать публичные дебаты с новой политической системе, конференции, телевизионные программы конкурсы. Но давайте начнем с самих себя, с собственного сознания. «Если мы положим начало этому уже сейчас, то вместе с нашими детьми мы сможем принять участие в волнующей перестройке не только наших устаревших политических структур, но и самой цивилизации. Как и поколению давно уже умерших революционеров, судьба назначила нам стать творцами».

Как видим, стратегия, предлагаемая Тоффлером, действительно не вполне оригинальна. Что-то похожее было еще у русских народников, позднее — у английских фабианских социалистов, а в последнее время — у американских теоретиков «революции посредством сознания». Дальше этих рубежей автор «Третьей волны» не идет. А это означает только одно: политического решения вопроса о том, как приблизиться к сияющим вершинам новой цивилизации, у него нет. Точнее сказать, формально оно имеет место, но оно несет на себе ту же печать отвлеченности и «потусторонности», что и его концепция «второй и третьей волн», и потому представляет интерес только как феномен сознания, но не как явление политической практики.

Конечно, трезвый политик вправе связывать осуществление своих планов с перестройкой массового сознания, с просветительской деятельностью, он может рассчитывать на содействие «честных людей» (которые, как замечает Тоффлер, есть во всех классах и партиях). Беда в том, что, как учит история (а другого авторитетного критерия у нас пока нет), всего этого слишком мало, чтобы серьезно ожидать успеха там, где решающую роль играет не просто мнение честных людей, не один лишь свет разума, а постоянная борьба классов, групп, партий, объединенных вполне конкретными потребностями и интересами, общей идеологией и направляемых людьми, как правило, твердо стоящими на земле.

Позиция Тоффлера, хочет он того или нет, отражает обозначившийся в 70-е годы кризис политической стратегии левого крыла американской либеральной буржуазии, распад политической коалиции, на которую опиралась в течение последних десятилетий демократическая партия США, отсутствие среди ее приверженцев ясных и четких ориентиров дальнейшего движения. И то, что Тоффлер именует обществом «третьей волны» — это, конечно, не новая цивилизация. Это, скорее, размытые контуры социальной альтернативы, которая могла бы, по его представлению, не выводя Америку за пределы буржуазной цивилизации, дать ее гражданам новую социально-политическую перспективу.

Одним словом, американский футуролог хотел бы провести США, а вместе с ними и другие капиталистические страны через «огнь очищающий», который ликвидировал бы их нынешние проблемы и противоречия, выжег все язвы, сделав в итоге сильнее и моложе.

О подобном «очищении» мечтали многие либерально мыслившие буржуа задолго до Тоффлера. Маркс и Энгельс называли их — с некоторой долей иронии — «буржуа-социалистами», стремящимися «излечить общественные недуги для того чтобы упрочить существование буржуазного общества... Буржуа-социалисты... хотят сохранить современное общество, однако без тех элементов, которые его революционизируют и разлагают. Они хотели бы иметь бур-

жуазию без пролетариата. Тот мир, в котором господствует буржуазия, конечно, кажется ей самым лучшим из миров. Буржуазный социализм разрабатывает это утешительное представление в более или менее цельную систему»[1].

КОДА

Каков же общий итог нашего экскурса в мир Олвина Тоффлера, каков остаток?

Можно с увереииостью сказать, что полагаться на Тоффлера как иа историка цивилизаций — дело крайне рискованное. Не потому, что он не знает фактов прошлого, а потому, что он не зиает стеснений в обращении с этими фактами. Древний Египет, Древняя Греция, средневековый Арабский Восток, Англия XVII века спрессовываются им в единый цивилизациоиный блок, Великая Октябрьская социалистическая революция оказывается не более чем «российской версией американской Гражданской войны» (?!), а диалектика исторического развития капитализма выводится из противоречий между производителями и потребителями. Теряется своеобразие и значимость реальных исторических событий, ускользает нить, связывающая этапы, проходимые человечеством. В итоге и сами «волны» оказываются умозрительными коиструкциями, собранными (в соответствии с общим замыслом) из произвольно подобранных исторических деталей. Такого рода коиструкции могут иеплохо послужить исследователю при изучении реальных процессов и явлений. Но лишь при условии, что ие будут отождествляться с самими явлениями. Как учат буддисты, ие следует принимать палец, указывающий на луну, за ночное светило. В противном случае мы вступаем в сферу иллюзий и фикций.

Не стоит доверяться Тоффлеру и как пророку. Общение с пророками вещь вообще опасиая, тем более когда дело касается человечества. Послушавшись Тоффлера, можно, пожалуй, «хватить», как говорил Писарев, совсем ие в ту сторону, куда в коиечном счете приведет ход событий, потеряв на этом драгоцеииое время, а заодно и некоторое количество человеческих голов.

Остается последиее. Посмотреть иа «Третью волиу» как иа современную социальную утопию, оценив ее с помощью тех мерок, которые прилагаются к произведениям данного жанра.

Характеризуя утопические программы, существовавшие в дореволюционной России, Ленин писал, что бывает утопия, которая, «развращая ... *социалистическое* сознание, является спутником, симптомом, отчасти даже выразителем ... демократического подъема»[1]. При этом в зависимости от исторических условий одна и та же утопия может приобретать различное политическое значение и выполнять различные социальные функции.

То, что «Третья волна» «развращает» социалистическое сознание, не стал бы, наверное, оспаривать и сам Тоффлер. Однако если оценивать ее в контексте Америки начала 80-х годов, когда и в центре и иа местах упрочились позиции консервативно-реставраторских сил, то нельзя, как нам кажется, ие отметить ее демократический и гуманистический пафос — пусть это будет лишь пафос буржуазно-либеральной утопии.

С этим связан еще один важный момент, который также допустимо занести в актив Тоффлера. Его книга может рассматриваться как документальное подтверждение тезиса о том, что «поправение», о котором так много говорят и пишут на Западе, не имеет всеобщего характера, что ие все политики, социологи и журналисты перешли на охранительно-реставраторские позиции и сделали своим идеалом Америку прошлых дней. Сам факт появления «Третьей волны» и вызванные ею разноголосые отклики — свидетельство того, что Соединенные Штаты Америки и сегодня представляют собой в интеллектуальном и политическом отношении, не говоря уже о социальной структуре, внутренне противоречивое, «разорванное», многомерное общество, что в нем остаются силы, которые если и ие имеют еще ясиой и глубоко продуманиой демократической альтернативы, то пытаются иайти ее — пусть пока в форме утопии.

Правда, сказать откровенно, нас ие прельщает мир «третьей волны». И потому, что он выглядит — как и всякий утопический мир — искусственным и мертвым. И потому, что предлагаемые нам модели имеют довольно жалкий вид по сравнению с тем, о чем мечтали и к чему звали великие и светлые умы прошлого.

Да и стоит ли вообще завидовать внукам и правнукам нашим, которым суждено жить в XXI веке? Каждая эпоха иеповторима, по-своему привлекательна и прекрасиа. Будущий век разрешит многие из иаших проблем, породив собственные. Но будем все же надеяться, что жизнь людей в грядущем мире окажется богаче и содержательнее той, которую предлагает Олвин Тоффлер, что наши потомки будут знать действительную историю своей социальной и политической эволюции, помнить свое историческое родство и при этом смогут с уверенностью сказать: мы сделали шаг вперед и выше.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, с. 453—454

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 22, с. 119.

◆

Документальная проза

ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ

ДЕЛАТЬ ФИЛЬМ

Перевод с итальянского Ф. М. ДВИН

ДЖУЛЬЕТТЕ

Хочу поблагодарить Ренцо Ренци, Туллио Кезича, Камиллу Чедерну, Энцо Сичилиано, Лилиану Бетти, Бернардино Дзаппони, Джан-Луиджи Ронди и всех моих друзей — писателей и журналистов, чей искренний интерес и живое участие столь часто побуждали меня рассказывать о своей работе.

ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ

I

Ощущение, что я — предмет, вещь, становится особенно острым, когда меня привозят в рентгеновский кабинет. Это залитое холодным светом помещение похоже на Маутхаузен или на зал перезаписи. Меня оставляют полуголым на каталке, там, за стеклянной стеной, врачи в белых халатах что-то говорят обо мне, курят, жестикулируют: жесты я вижу, а слов не слышу. Родственники других больных проходят мимо по коридору и смотрят на меня, полуголого. Смотрят как на предмет. Или, например, утром: я распростерт на кровати, в носу у меня резиновые трубки, в вене — игла капельницы, а санитарки, убирающие палату, переговариваются над моей постелью. Одна говорит: «Да ты бы сходила в Сан-Джованни — как выйдешь за арку, сразу налево. Там вдвое дешевле». Вторая возражает: «Так они ж все-таки кожаные!» — «А я говорю — замшевые. Помнишь, в каких туфлях была моя сестра на свадьбе у Пиладе?» — «Может, скажешь, у нее не кожаные?» — «Да замшевые же!»

По ночам коридоры полны цветов, вынесенных из палат,— цветы, цветы, цветы, как на кладбище. Свет оставляют только нижний: открыв в полутьме глаза, видишь плывущую по воздуху и подсвеченную снизу голову — как в каком-нибудь старом детективном фильме. Это монахини или санитарки, направив свет своих электрических фонариков кверху, проверяют градусники.

Парящие в воздухе лица тихо выплы-

© Diogenes Verlag AG, Zürich, 1974, 1980.

ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ — FEDERICO FELLINI (род. в 1920 г.).

Итальянский кинорежиссер и кинодраматург. В сороковые и пятидесятые годы участвовал как сценарист в создании многих фильмов известных кинорежиссеров неореалистического направления. Мировое признание Феллини-режиссеру принес в 1954 г. его фильм «Дорога». В последующие годы на экраны мира вышли его картины «Ночи Кабирии», «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной» (главный приз III Международного кинофестиваля в Москве), «Джульетта и духи», «Казанова», «Репетиция оркестра» и др. Большинство фильмов Ф. Феллини удостоено премий итальянских и международных кинофестивалей.

В русском переводе в сборниках «Сценарии итальянского кино» напечатаны «Дорога» и «Сладкая жизнь», сценарий фильма «Амаркорд» («Я вспоминаю») — в журнале «Искусство кино» (1976, № 3,4). Мы публикуем первую книгу Ф. Феллини «Делать фильм» («Fare un film». Zürich, Diogenes Verlag AG. 1980. Torino, Giulio Einaudi, 1980).

Федерико Феллини

вают в коридоры. Иногда монахини делают инъекции, даже не разбудив тебя,— как убийцы, подосланные Цезарем Борджа, и потом убегают, только и успеешь увидеть спину, скрывающуюся в темноте.

Часто меня словно молнией поражают видения, вспыхивающие в полной тишине перед самым моим лицом.

В первый момент как-то не реагируешь на них, кажется, что ничего и не было, но немного погодя память заявляет о себе — вроде бы что-то случилось, что-то такое ты видел и, ошарашенный, недоумевающий, начинаешь соображать: что же это все-таки было? И откуда оно взялось? Позавчера, например, перед тем как врач, бледный от испуга, срочно доставил меня на своей машине сюда, в клинику, я спокойно куда-то звонил по телефону и вдруг увидел маленькое-маленькое яичко, лежащее на кружевной салфеточке,— обычное пасхальное яичко. Оно вертелось на какой-то бугристой, словно бы дышащей черной-пречерной поверхности. Потом куда-то исчезло. Я искал яичко, но перед глазами у меня тянулась темная стена, словно я оказался в утробе какого-то чудовища. Разбиться оно вроде бы не могло, ведь стенка была мягкая, слизистая.

Я постоянно думаю о фильме, который давно хочу сделать [1]. Быть может, нужен еще инкубационный период, маленькое «яичко» должно подрасти? Так ли это? Кто знает! Однажды в помещении съемочной группы на виа Васка Навале я растянулся на огромном продавленном диване: хотелось немного отдох-

[1] «Путешествие Масторны» *(прим. авт.)*.

нуть. Дело было летом, снаружи уже давным-давно доносилось стрекотание цикад. Внезапно рядом со мной, буквально в миллиметре от моего носа, обрушилось двадцать пять миллионов тонн камня. Целый фасад Миланского собора, а может Кёльнского, не знаю. Я почувствовал толчок воздушной волны, и тут же у самых моих ног раздался страшный грохот. Совершив акробатический прыжок, я очутился в центре комнаты. Стена величиной с Гималаи отгородила от меня все: все небо, все пространство, весь воздух. Я был жалким муравьишкой. И мне вдруг пришла в голову мысль, что на пути этой картины стоят какие-то серьезные преграды и таятся они, как это ни горько признать, во мне самом. Я был немного напуган, но желание — этакое донкихотское желание фильм все-таки сделать — лишь усилилось. Если там, за всеми этими соборищами-Гималаями, есть небо, открытое пространство, значит, именно там нужный мне простор, и я должен найти способ туда пробиться. До сих пор, однако, я его так и не нашел.

В те дни я был уверен, что могу умереть от инфаркта еще и потому, что опасался, как бы задуманное дело не оказалось для меня непосильным. «Избавить человека от страха перед смертью — желание, достойное ученика чародея, который бросает вызов сфинксу, морской пучине и — погибает. Мой фильм убивает меня»,— думал я.

Когда это случилось, мне показалось, что я умираю, окружающие меня предметы вдруг перестали претерпевать превращения. Телефон, обычно напоминающий какого-то огромного чудо-паука или боксерскую перчатку, был телефоном, и только. Хотя нет, даже не так, он стал просто ничем. Трудно объяснить: я вообще не знал, что это за предмет, ведь представления об объеме, цвете, перспективе — тоже своего рода способ найти общий язык с действительностью, ряд позволяющих ее определить символов, нечто вроде понятной каждому географической карты или азбуки; так вот, именно эта логическая связь представлений о вещах с самими вещами внезапно пропала. Как в тот раз, когда я, на радость приятелям-врачам, изучавшим воздействие ЛСД на человека, согласился стать подопытным кроликом и выпил полстакана воды с растворенной в ней ничтожно малой долей миллиграмма лизергиновой кислоты Тогда реальность предметов, цвета, света тоже утратила всякое привычное содержание. Вещи, оставшиеся самими собой, пребывали в состоянии полного покоя, светлого и страшного. В такие мгновения все для тебя становится невесомым и ты не оставляешь — как амеба — своих влажных следов на всем вокруг. Вещи делаются безупречно чистыми, потому что ты сам избавляешь их от себя и начинаешь испытывать такое же чувство первозданной неопытности, какое, должно быть, испытывал самый первый человек, увидев долины, луга, море. Как непорочен мир, пульсирующий живым светом и цветом в ритме твоего дыхания; и ты сам — все это и больше не отделен от вещей; вон то облако на головокружительной высоте посреди неба — это ты, и сама небесная лазурь — ты, как и красный цвет герани на подоконнике, и листья, и каждое волоконце занавески. А вон та стоящая перед тобой скамеечка для ног — что она такое? Ты уже не в состоянии определить словами эти очертания, этот материал, этот рисунок, который вибрирует, колышется в воздухе, но тебе все равно, ты счастлив и так. Хаксли [1] в своей книге «Врата восприятия» прекрасно описал это состояние, возникающее под воздействием ЛСД: символика значений утрачивает смысл, предметы доставляют радость уже одной своей ненужностью, своим отсутствием-присутствием. Какое блаженство. Но внезапно то, что ты оказался вне привычных представлений о вещах и вне связей с ними, повергает тебя в глубочайшую, невыносимую тоску; и все, что еще какое-то мгновение назад было блаженством, вдруг становится адом. Кругом одни лишь чудовищные формы, без смысла, без назначения. И это отвратительное облако, и яростно-синее небо, и непристойно колышущаяся ткань занавески, и эта скамейка, которая вообще неизвестно что такое, тебя душат, вызывают у тебя безмерный ужас.

В клинике я окружен монахинями-иностранками. Одна из них, входя в палату, говорит: «Все писать, все писать. Столько философия». Перечитываю написанное, и мне становится стыдно: о каком «философском» уровне тут может идти речь?

Другая каждый вечер приносит мне стакан лурдской воды [2] и протягивает его со словами: «Это нужно!» На днях она мне сказала: «Свою плевру вы очистили, теперь нужно очистить сердце». Я испугался, подумал, что опять предстоят какие-то инъекции. «Да, да, у вас очень, очень перегруженное сердце».— «Когда же будем его очищать?» — «Когда угодно вам, можно в любое время». Недоразумение вскоре рассеялось: я понял, что она советовала мне исповедаться. А посему кроме стакана лурдской воды она теперь ежедневно присылает ко мне священника-американца, очень похожего на Де Сику. Входя, он говорит: «Как самочувствие? Плеврит? Мерзкая штука».

В пять утра — еще совсем темно — появляется сестра Бургунда в черном, похожем на крылья летучей мыши рогатом чепце, с зажатой в зубах резиновой трубкой и с большой корзиной пробирок. Этот вампир с берегов Дуная говорит: «Не дадите ли вы мне немного своей крови, синьор Феллини?»

А сестра Рафаэлла — колумбийка. «Как васе самосуствие сегодня? Лусе?» — спрашивает она. Потом, став посреди комнаты, сообщает: «Встретились сонсе и луна, луна и говорит сон-

[1] Хаксли Олдос — английский писатель (1894—1963). *(Здесь и далее прим. перев.).*

[2] Лурдская вода — вода из «священного» лурдского источника, считается целебной.

су: как тебе не совесно, ты такое большое, а тебя носью гулять не пускают». Поскольку эта шутка ей нравится, она повторяет ее каждое утро.

В девять вечера приносит снотворное сестра Эдмеа. Она подходит, и я вижу у нее на верхней губе темный пушок. Сестра Эдмеа из Фаэнцы; она похожа на «усачек» из церкви Паолотти в моем Римини. Мне приходится часто беспокоить ее по ночам. Сестра Эдмеа сразу же приходит и заботливо осведомляется: «Может, еще немного отвара из ромашки?» Она рассказывает, что ее отец до шестидесяти лет имел любовниц: спрячет, бывало, любовницу в курятнике, а потом является за ней. В свои шестьдесят лет он всем им делал предложение руки и сердца, но предупреждал: «Мои родители согласны, обо мне и говорить нечего, вот только моя жена возражает». Сестре это кажется остроумным.

Через несколько дней (когда после коллапса из-за инъекции баралгина я казался себе этаким камешком, выпущенным из пращи, то есть чувствовал, что со свистом несусь в какое-то иное измерение, куда — неизвестно, во всяком случае за пределы клиники) все стали меня навещать. Я видел толпившихся в дверях палаты статистов — совсем как на картинах Таможенника [1]; слышал, как они канючат, а монахини их оттаскивают. Я всех благословлял, гладил по головке, а у самого в ушах звучал пасхальный перезвон.

С этого момента болезнь моя стала праздником. Приходили Титта и Монтанари из Римини. Титта, увидев меня, от самых дверей стал издавать губами неприличные звуки. Его пытались задержать, а он чуть не врукопашную схватился с монахинями и санитарками: «Да ну вас всех... я что, не могу повидаться с Федерико?»

На столах телеграммы. Я прошу прочитать мне те, что на бланках земляничного цвета,— они от министров. Мне кажется, что я попал в рай. Позавчера утром в дверях появились букеты роз — как на картине Боттичелли,—розы словно сами пытались войти в комнату, нежные, трепещущие цветы несли две юные, подпрыгивающие от радости монахини. Розы были от Риццоли [2], прощавшего меня после нашей ссоры. Я сразу же позвонил ему: «Твоя записка для меня — лучше всех антибиотиков». И вдруг на другом конце провода кто-то вместо Риццоли торжественно сообщил: «Феллини, коммендаторе плачет!» — прямо как в финале «Черного корсара» [3]. Потом прерывающимся голосом снова заговорил Риццоли: «Я даже слезу пустил, до того ты растрогал меня своими словами». Наконец он и сам пришел меня навестить. «Надеюсь,— сказал он,— от этой болезни мозги у тебя прочистились и ты перестанешь делать такие фильмы, как прежде, а то башка у тебя может переутомиться. Теперь ты должен слушаться меня и снимать картины, какие я скажу».

Однажды утром в коридоре я увидел человек десять, они говорили по-гречески и держали в руках множество воздушных шариков — и круглых, разрисованных, и продолговатых, как сардельки. Эти люди пришли не ко мне, а к какому-то своему родственнику, который перенес инфаркт. Я видел его: он, очень бледный, лежал на кровати, а воздушные шарики — желтые, красные — прилепились к потолку. Почему именно шарики? Эти посетители не знали, что принести больному — апельсины, печенье? Навстречу попался продавец воздушных шаров, вот они и принесли шары.

Но самым главным был приход Сеги. Тут я должен кое-что пояснить. За несколько дней до этого, открыв глаза, я увидел у изножья кровати черное пальто, чьи-то испуганные глаза и бороду... «Феллини, ну как ты? Я — Пиги из Барафонды, вы еще дразнили меня Фигой, а ты за пару сигарет заставлял меня сырую рыбу лопать. Все спрашивают: «Ты куда собрался, Пиги?» — «В Рим»,— отвечаю. «Тогда,— говорят,— зайди, передай привет этому патаке [1] Феллини и скажи ему, что он — патака».

Тут явилась сестра и выставила его вон. Потом каждое утро в списке справлявшихся обо мне по телефону стояла фамилия не то Пиги, не то Фиги. Я думал, это он: просто монахини не расслышали как следует. Оказалось, это был Сега, который просидел в Риме уже три дня и в надежде повидаться со мной все откладывал свой отъезд. Лишь на четвертый день я догадался, что это Сега, Сега по кличке Багароне [2]. Я умолял монахиню принести мне телефон, у меня было такое предчувствие, что, если я не поговорю с Сегой, случится беда. Но телефона мне давать не хотели: я не должен утомляться, должен лежать тихо. Это мне внушали даже по-немецки, а когда, протестуя, я начал ругаться, монахиня очень строго посмотрела на меня и сурово изрекла: «Вы не есть поэт»,— таким тоном, словно уличила меня в обмане. Пусть. Все равно мне нужен был Сега, звонивший уже с вокзала. Нарочито слабым, почти умирающим голосом я сказал в трубку: «Багароне, не уезжай, приходи ко мне». В школе его прозвали Багароне: разозлившись, он начинал заикаться и бубнить, как эта птица. Но, несмотря на заикание, Сега был первым учеником в лицее и отличался

[1] Таможенник — прозвище французского художника-самоучки Анри Руссо (1844—1910), служившего на таможне.

[2] Риццоли — один из крупнейших итальянских издателей и продюсеров.

[3] «Черный корсар» — книга итальянского писателя Сальгари (1863—1911), автора многочисленных приключенческих романов.

[1] Грубое ругательство (романьольский диалект).

[2] Багароне — птица из семейства чаек.

необычайной прилежностью. Перешагнув через последний класс, он поступил прямо в университет, на медицинский. Узнав об этом, я очень обрадовался: в случае болезни можно было рассчитывать на помощь друга — прекрасного врача.

Сега все-таки приехал в клинику. Я, только что перенесший коллапс, рассказал ему, что со мной было и как меня теперь лечат. И он сразу же заключил: «Санарелли — Шварцман». Мне показалось — он шутит, и я рассмеялся, вспомнив о моде на двойные фамилии в довоенных юмористических журналах. Но Багароне не шутил. Тогда я сказал: «Ты останешься в Риме и изложишь свою точку зрения здешним светилам». И назавтра Багароне все им объяснил. Светила выслушали его очень внимательно, а потом сказали: «Ваша теория весьма привлекательна... блестящее истолкование...» — и т. д. и т. п. Багароне покраснел. Когда Багароне краснеет, лицо его приобретает фиолетовый оттенок.

Мой друг Багароне, мой школьный товарищ, мой Римини... Этой ночью мне снился наш порт и бурное, зеленое, грозное море, похожее на движущийся луг. Над ним в сторону берега неслись огромные тяжелые тучи.

Сам я тоже был огромным и старался выплыть в открытое море из бухты — маленькой, тесной. Я говорил себе: «Хоть я и гигант, но море — это все-таки море. А ну, как не выберусь?» И все-таки меня это не тревожило. Я быстро плыл брассом по маленькой бухте. Утонуть я не мог, так как доставал дно ногами.

Какой многозначительный сон: быть может, он вернет мне веру в то, что я способен противостоять морю. Не призыв ли это оценить выше свои силы? Или перестать перестраховываться, прибегая чуть что ко всяким мелким уловкам, которые могут меня только связывать? В общем, так я и не понял, то ли мне с самого начала надо избавиться от этого комплекса «тесного порта», то ли не следует переоценивать свои силы.

Во всяком случае, ясно одно: охоты возвращаться в Римини у меня нет. Должен в этом признаться. Срабатывает некий тормоз. Мои родные — мать, сестра — живут по-прежнему там. Значит, я боюсь каких-то чувств? Прежде всего возвращение туда связывается у меня с этаким самодовольным, мазохистским пережевыванием воспоминаний: позой, в которой есть что-то от литературы, от театра, хотя и ей не откажешь в известной привлекательности, очаровании вялом, смутном. Дело вот в чем: я не могу принимать Римини как некий объективный факт. Для меня он скорее всего — и только — одно из измерений памяти. Это верно: стоит мне оказаться в Римини, как на меня набрасываются призраки, уже сданные в архив и разложенные по полочкам.

Останься я там, эти безвредные призраки, возможно, задали бы мне один щекотливый вопрос, от которого меня не спасли бы ни увертки, ни ложь, и тогда пришлось бы без обиняков открыть свою изначальную связь с родным городом, Римини... Что это? Одно из измерений памяти, воспоминания (между прочим, выдуманные, фальсифицированные, обработанные), на которых я уже столько спекулировал, что самому как-то неловко.

И все-таки я должен продолжать рассказывать о нем. Иногда я даже спрашиваю себя: в конце пути, когда жизнь еще больше тебя ломнет, когда ты устанешь, сойдешь с дистанции, не захочется ли тебе купить домишко где-нибудь поближе к порту? В гавани старого города? В детстве я смотрел на порт через пролив, видел, как сколачивают там каркасы лодок. Жизнь по другую сторону пролива рисовалась чем-то вроде сценок из «Кьоджинских перепалок» [1] — в них не было места немцам, приезжавшим к морю на своих «даймлер-бенцах».

По правде говоря, купальный сезон открывали у нас немцы из тех, что победнее. В один прекрасный день на пляже можно было увидеть брошенные на песке велосипеды и какие-то свертки, а в воде — толстух, «тюленей». Нас, детей, обряженных в шерстяные шапочки, приводил к морю приказчик отца. Тогда там, в старой части гавани, я видел чахлые кустики, прислушивался к каким-то голосам.

Не так давно через приятеля Титту Бенци я за баснословные деньги купил себе дом. Думал, обрету, наконец, постоянное пристанище и, может, даже заживу простой, тихой жизнью. Пустые мечты: дома этого я до сих пор ни разу не видел; больше того, меня раздражала сама мысль, что стоит где-то этот домик запертый, без жильцов, и тщетно ждет кого-то.

Когда я решил от него избавиться, Титта сказал: «Но ведь это твоя земля!» — как бы напоминая мне, что я опять ее предаю.

Еще до приобретения этого дома, в котором так никто и не жил, Титта уговорил меня купить участок земли в долине Мареккьи. Ну и местечко. Только проституток там приканчивать.

В тот вечер, когда мы отправились смотреть участок, поблизости зазвучала труба. Какой-то человек в трусах изображал спуск флага. Это был Фьорентини — человек, знающий все о Гарибальди. О Гарибальди и еще о «санджовезе» [2]. Дом Фьорентини на берегу Мареккьи забит всевозможными гравюрами, штандартами и прочими реликвиями. Сам он всегда ходит в трусах. Его лицо, лицо марионетки из обожженной глины, в тот вечер прямо лучилось в темноте.

[1] «Кьоджинские перепалки» — пьеса Карла Гольдони.

[2] «Санджовезе» — сорт вина.

«Вижу, человек симпатичный,— сказал он,— но кто этот синьор, не знаю».— «Как,— воскликнул Титта,— это же Феллини!» — «Порка ма...»[1] — отреагировал Фьорентини и тотчас добавил: — Я тут откопал такое «санджовезе»... вы непременно должны его попробовать». Сей жрец вина — пожалуй, даже чересчур усердный — отругал меня за то, что я не согрел бокал в ладонях. «Феллини переезжает сюда! — продолжал Титта.— Чтобы жить здесь!» — «Значит, будем вместе ловить кефаль»,— уверенно заявил Фьорентини.

Нужно заметить, что Мареккья в тех местах обнажает свое каменистое ложе, являя весьма унылое зрелище.

Но Титта советовал участок все же взять. «Ты, патака, погоди,— твердил он,— скоро здесь пройдет автострада, земля поднимется в цене». Автостраду действительно проложили. Правда, в другом месте. Сегодня Фьорентини предлагает мне за участок пятьсот тысяч лир. Но пока эта земля моя.

Впервые я попал на Мареккью мальчишкой. Однажды мы, как водится, смылись с уроков. Я увязался за Карлини. У реки стояла черная «баллила», битком набитая полицейскими, которые, словно жабы, спрыгивали с нее на гальку пересохшего русла. Медленно кружась, наползали на деревья и затаивались среди сухих веток низкие тучи. Мы дошли до тополевой рощи и там увидели удавленника. Он был в кепке. Рядом уже дежурили двое полицейских. Я не мог понять, что происходит: видел только свалившийся на землю башмак, босую ступню и две латаные-перелатанные штанины.

Дом в Римини. Все дома, в которых мы жили, я помню хорошо, за исключением одного — того, где родился,— на улице Фумагалли. Однажды — мне было уже лет семь — в воскресенье после обеда нас повезли в коляске на прогулку. Зимой семья пользовалась закрытым ландо. Мы вшестером — родители, я с сестрой и братом и служанка — сидели в тесноте и в темноте, так как окошко пришлось закрыть из-за дождя. Мне ничего не было видно, кроме едва различимых лиц отца и матери. Зато сколько радости доставляло разрешение сидеть рядом с кучером там, наверху, хоть дышать можно было.

В то воскресенье коляска свернула на бульвар, по которому мы никогда не ездили: вдоль него тянулся сплошной ряд домов. Папа сказал: «Здесь ты родился», и коляска покатила дальше.

Первый дом, который я действительно помню,— это палаццо Рипа. И не просто палаццо, а палаццо на Корсо — главной улице. Хозяин дома одевался во все синее: синий костюм, синий котелок... А борода у него была белая, окладистая — ну прямо божество, которому можно только поклоняться и ни в коем случае нельзя перечить. Увидев его, мама вытирала руки и говорила: «Дети, угомонитесь, пришел синьор Рипа». И тут появлялся наш старец. Однажды утром я услышал громкое мычание, протяжные вопли: во дворик дома нагнали множество волов и ослов. Не знаю, что там было, может, базар, может, какая-нибудь ярмарка.

Воспоминания о Римини... Rimini — слово, состоящее из палочек, шеренга солдатиков. Не знаю даже, как объяснить поточнее. Римини... сочетание чего-то смутного, страшного, нежного; и это могучее дыхание, этот распахнутый пустынный простор моря... Там грусть становится светлее, особенно зимой, когда на волнах белые гребешки и дует сильный ветер — таким я и увидел впервые море.

А еще один наш дом, то есть дом, в котором мы жили, находился поблизости от вокзала. Именно там, похоже, предопределилась моя судьба. Это была небольшая вилла с палисадником и большим фруктовым садом позади дома, примыкавшим к какому-то огромному зданию — то ли казарме, то ли церкви,— на фасаде которого полукругом белыми буквами была выведена надпись: «Риминская поли ама»[1] Две буквы отвалились, пропали. Поскольку наш сад находился в низине, участок, на котором за невысокой каменной оградой стояло соседнее здание, казался этаким холмом.

Как-то утром я играл в саду — мастерил себе лук из лозины — и вдруг услышал грохот: это сворачивали огромную железную штору, на которую я никогда не обращал внимания. Но вот открылось черное нутро дома, и я увидел мужчину в плаще и береге и женщину с вязанием в руках. И услышал такой диалог. Мужчина: «Убийца мог проникнуть в дом через окно». Женщина: «Окно закрыто». Мужчина: «Сержант Джонатан обнаружил следы взлома».

Потом он обернулся ко мне и спросил: «На этом дереве есть инжир?» — «Н-не знаю»,— ответил я.

Мужчина и женщина репетировали «Гран гиньоль» — спектакль ставила труппа Беллы Стараче Саинати.

Я ухватился за протянутые мне руки и попал в какое-то темное помещение. Там были позолоченные ложи, а прямо перед собой я увидел пузатое туловище паровоза, подвешенного на канатах и мерцавшего в лучах прожекторов с красными, белыми и желтыми фильтрами.

Это был театр.

Потом мужчина снова завел разговор об окне. Я не понимал: игра это такая или еще что. По-видимому, прошло много времени. Вдруг я услышал голос матери, звавшей меня обедать: «Суп уже на столе!»

«Ваш мальчик здесь»,— сказал муж-

[1] Porca madonna — очень грубое итальянское ругательство.

[1] Политеама — театр, где устраиваются спектакли разных жанров.

чина в берете и помог мне перебраться обратно в сад.

Через два дня родители повели меня на спектакль. Мама рассказывает, что за все время представления я ни разу не шелохнулся. Из темной глубины, из ночи, надвигался паровоз, а на рельсах лежала связанная женщина. Но в последний момент женщину успевали спасти, и сразу же опускался огромный, тяжелый, мягкий красный занавес.

Всю ночь я не мог успокоиться. Ведь в антрактах мне надо было еще рассмотреть кулисы, кресла, бархат, латунные украшения, коридоры, таинственные переходы, по которым я шнырял, словно мышь.

В этом доме, находившемся неподалеку от вокзала, у меня появились и первые друзья.

А вот дом по улице Клементини, 9 стал домом моей первой любви. Его владелец — «Агостино Дольчи и бр. Скобяные изделия» — был отцом Луиджино, моего товарища по гимназии, который играл в «Илиаде» Гектора («Илиаду» мы ставили сами).

Напротив нас жила семья южан по фамилии Сориани, и было там три девочки — Эльза, Бьянкина и Нэлла. Бьянкина была смуглянка, я мог наблюдать за ней из окна своей спальни. Впервые я увидел ее через оконное стекло, а может — не помню уж точно,— когда она вышла в форме «маленьких итальянок»[1]. Груди у нее были налитые, как у взрослой женщины. Сама Бьянкина — она живет в Милане — теперь отрицает, что мы с ней в детстве убегали в Болонью, как я кому-то рассказывал (неужели действительно рассказывал?), в лучшем случае, допускает она, я увозил ее на раме своего велосипеда за городские ворота — Ворота Августа.

В те времена все женщины были для меня в основном «тетями». Правда, я слышал разговоры об одном доме, где живут «такие» женщины. Это был дом Доры на виа Клодиа, где-то на берегу реки, так и говорили «Дора, что у реки». Но при слове «женщины» мне представлялись только тети, приходившие к нам домой шить гюфяки, или крестьянки из бабушкиной деревни Гамбеттолы, которые веяли зерно в решетах. В общем, чего-то я недопонимал. Потом уж я убедился, что эти тети были не «такими». Дважды в месяц Дора нанимала пару извозчиков и провозила свой новый выводок по Корсо — в целях рекламы; тогда-то я и увидел накрашенных, в замысловатых, таинственных вуалетках женщин, куривших сигареты через золотые мундштуки,— новых женщин Доры.

В Гамбеттолу, затерянную где-то в глубине Романьи, я ездил летом. Моя бабушка всегда держала в руках хворостину, и когда она размахивала ею, люди начинали двигаться, как в мультфильмах. Ничего не скажешь, умела она подгонять поденщиков, которых нанимала для работы в поле. По утрам слышались гомон, взрывы смеха. Но стоило появиться бабушке, как эти здоровенные свирепые дяденьки становились смиренно-почтительными, как в церкви. И тогда бабушка принималась разливать кофе с молоком и вникать во все дела. Она заставляла Ньикелу «дыхнуть», чтобы узнать, пил ли он граппу, а тот смеялся, смущенно подталкивал локтем соседа, словом, вел себя, как мальчишка. Повязанная черным платком голова, большой ястребиный нос и блестящие, как горячая смола, глаза делали мою бабушку Францискейну (Франческу) похожей на подругу вождя краснокожих Сидящего Быка. Отношение к животным у нее тоже было необычное: она распознавала у них болезни, угадывала настроение, мысли и хитрости — как было, например, с конем, которого угораздило влюбиться в кошку. «Через три дня задует гарбеин»,— заявила она уверенно. И не ошиблась. «Гарбеин» — это один из многочисленных ветров, дующих у нас в Романье. Ветер капризный, переменчивый, совершено непредсказуемый. Для всех, только не для нее.

Была у моей бабушки закадычная подруга, чуть постарше ее, но еще даже покрепче. По вечерам, бывало, она отправлялась в остерию, сажала своего пьяного мужа в тачку и отвозила домой. Звали его Чапалос — это не греческое имя, а просто кличка, означающая: «бери кость». Однажды вечером жена везла его на тачке, а он сидел, свесив ноги через бортик, в отрешенно-униженном состоянии человека, ставшего всеобщим посмешищем. В тот вечер наши взгляды встретились, я увидел его глаза под полями старой шляпы.

Крестьяне часто ссорились между собой. Три престарелые сестрицы целых двадцать лет грызлись из-за какого-то наследства со своим соседом-извращенцем. Они кидались комьями навоза, крали друг у друга кур, передвигали туда-сюда межевые колышки. А однажды на рассвете, просовещавшись, по-видимому, всю ночь, сестры ворвались в дом к соседу и отдубасили его до потери сознания выбивалками для одежды.

Когда-нибудь я, может быть, сделаю фильм о крестьянах Романьи — этакий «вестерн», но без стрельбы — и назову его «Ошадламадона». Это ругательство, но звучит ведь оно не хуже, чем «Расёмон»[1].

Некий Нази любил приговаривать: «Могу, приказываю и хочу». У этого Нази, похожего на одну из масок народной романьольской комедии, были искалечены обе ноги, так как он, решив однажды спилить дерево, уселся на сук не с той стороны, с какой следовало. Занимался он посредничеством при продаже скота. Из-за своих переломанных ног Нази передвигался неуклюже, как лягушка. Идет вот так, раскорякой, и кричит: «Могу, приказываю и хочу»! Однажды он вынул сигарету изо рта Тео-

[1] «Маленькие итальянки» — одна из детских фашистских организаций.

[1] «Расёмон» — фильм известного японского кинорежиссера Акиро Куросавы.

дорани — типа, который всегда носил фашистскую форму и начищенные до блеска сапоги, а кончики своих усищ намазывал мылом, чтобы они торчали, как пики,— и сказал: «Ты уже накурился, хватит. Теперь покурит Нази».

Когда я вспоминаю Гамбеттолу, карлицу-монахиню, всех этих греющихся у огня горбунов и сидящих на лавках хромых и калек, у меня всегда встает перед глазами Иероним Босх.

Проходили через Гамбеттолу и цыгане, и угольщики, направлявшиеся в горы Абруццо. Иногда вечером, под страшный рев и визг чуявших опасность животных, в деревню въезжал фургон, над крышей которого поднимался дым. Видны были искры, языки пламени. В черном плаще и старой потрепанной шляпе проходил по широкой дороге человек, занимавшийся холощением свиней. Свиньи, чуя его приближение, начинали испуганно хрюкать. Этот тип успевал переспать со всеми местными девушками. Однажды от него забеременела деревенская дурочка, и все решили, что ее младенец — дьявольское отродье. Отсюда тема, которую я использовал для эпизода «Чудо» в фильме Росселлини [1]. И душевное волнение, побудившее меня взяться за фильм «Дорога»[2], тоже отсюда.

В деревне — это связано все с теми же цыганами — я часто слышал разговоры о каких-то приворотных зельях, чарах. Одна женщина, синьора Анджелина, ходившая по домам шить тюфяки (нужно бы посвятить целую главу этим ремеслам: точильщику с его станком, измазанному сажей трубочисту — грозе прислуги), так вот, синьора Анджелина три дня работала в доме у бабушки, где ее и кормили. Когда она, склонившись, пришивала к тюфяку ватные шарики, я заметил висевшую у нее на шее ладанку — маленькую такую стеклянную коробочку, в которой виднелась прядка волос. «Что это?» — спросил я. «Вот тут мои волосы,— ответила она,— а тут — усы моего жениха. Я отстригла от них ночью, когда он спал. Жених уехал на заработки в Триест, но теперь все равно будет привязан ко мне навсегда».

Какой-то старик с базарчика у Мареккьи мог наводить порчу на кур и овец или заговаривать их от дурного глаза.

А жена одного железнодорожника «впадала в транс». Она неплохо подрабатывала исцелением больных. Как-то я, затесавшись в группу стариков и старух, которые явились к ней на «консультацию», пробрался к самым дверям ее убогой гостиной; там я увидел сидевшую на стуле старушку с обрызганным водой лицом; она напряженно выгибала спину и говорила какому-то человеку, лица которого я не мог разглядеть: «С этой женщиной тебе не совладать, ты должен от нее отказаться». Сказав несколько слов, старушка начинала жалобно стонать. Потом из комнаты, пытаясь скрыть свое волнение, вышел здоровенный дядя. Он надел шляпу, но так и остался стоять на лестнице, рассчитывая, возможно, собраться с духом и вернуться в комнату за другим предсказанием.

Слышал я еще всякие истории о домах с привидениями. Вилла, в которой жил мой друг Марио Монтанари, называлась «Карлетта». Поговаривали, что лет сто тому назад хозяин виллы подпоил свою кузину, а потом задушил ее, после чего по ночам из винного погреба стало доноситься какое-то бульканье. Люди считали, что это задушенная кузина вставляла резиновый шланг одним концом в винную бочку, а другим — в рот своему убийце, чтобы он в вечных муках захлебывался вином.

Романья — какая смесь матросского удальства и набожности. Край, над которым высится торжественно-мрачная гора Сан-Марино. Странная психология, отчаянная и еретическая, сочетающая в себе предрассудки и вызов самому господу богу. Люди без чувства юмора и потому беззащитные, но любящие понасмешничать и повыхваляться. Один романьолец сказал, что может съесть восемь метров сосисок, трех цыплят и свечку. Еще и свечку. Цирк. И съел. Правда, сразу же после этого его с посиневшим лицом и закатившимися глазами увезли на мотоцикле. Но эта чудовищная история всех рассмешила: надо же, умер от обжорства!

А одного человека звали Салито Даль Монте, то есть Восходящий с Горы. Именно Восходящий, а не какой-нибудь там Нисходящий, так и видишь его шествующим прямо по воздуху. Или взять парня по кличке Нин. Он был матросом и вечно пропадал в море, но время от времени присылал открытки своим друзьям из кафе Рауля: «Находясь проездом на острове Попугаев, подумал о вас...»[1].

И все-таки есть в здешней жизни какая-то размеренность, какая-то необычайная мягкость, объясняющаяся, возможно, близостью моря. Я помню голос девочки, прозвучавший однажды летом в затененном переулке: «Который час?» — «Уже добрых четыре...» — ответил кто-то.— «А вот и не *добрых*»,— нараспев сказала девочка, имея, вероятно, в виду, что уже давно перевалило за четыре.

Здешние женщины наделены прямо какой-то восточной страстностью. Еще когда я ходил в детский сад, была там одна послушница с черными локонами, в черном фартуке и с прыщами на воспаленном лице — признаком бурного брожения крови. Сколько ей было лет, сказать затрудняюсь. Несомненно только, что в ней, как говорится, пробуждалась женщина. Так вот, эта послушница, изловив меня, начинала обнимать и тискать, обдавая запахом картофельных

[1] Речь идет о фильме Росселлини «Любовь» (1948).

[2] «Дорога» — фильм Ф. Феллини (1954).

[1] «Попугай» — презрительная кличка итальянских ловеласов.

очистков, прокисшего супа и юбок монахинь.

Это был детский сад при женском монастыре Сан-Винченцо, монахини которого ходят в белых чепцах. Помню, как однажды нас выстроили для участия в какой-то процессии, а мне поручили нести свечку. Одна из монахинь, в очках, делавших ее очень похожей на киноактера Гарольда Ллойда, указывая на свечку, сказала строго: «Смотри, чтоб она не погасла, Иисусу это неугодно». Дул сильный ветер. Я, совсем еще ребенок, был просто подавлен такой ответственностью. Такой ветер, но свечка не должна погаснуть. А что, если это случится? Как покарает меня господь? Между тем процессия двинулась — медленно, тяжело, растягиваясь, как мехи аккордеона. Короткая пробежка, остановка, снова несколько шагов вперед, опять остановка. Что там происходило в голове колонны? Участники процессии должны были еще и петь: «Возлюбим, господи, тебя, ты отче наш...» Где-то в гуще этих сутан монахов, священников, монахинь вдруг раздался скорбный, торжественный, глухой рокот музыки. Оркестр меня испугал, и кончилось тем, что я расплакался.

Первый и второй класс я проучился в школе Театини. Учился я вместе с тем самым Карлини, с которым мы видели удавленника на берегу Марекьи. Наш учитель был настоящим живодером, но в иные дни он внезапно добрел. Случалось это перед праздниками, когда родители учеников приносили ему подарки, которые он складывал горкой рядом с собой, как это делают сейчас регулировщики уличного движения в праздник Бефаны [1]. Набрав множество подарков, он, прежде чем отпустить всех на каникулы, заставлял нас петь «Giovinezza, giovinezza, primavera di bele-e-e-ezza...»[2] и очень следил, чтобы отчетливо слышались все четыре «е».

По окончании начальной школы меня отправили в Фано, в маленький провинциальный колледж при монастыре дей Кариссими. Именно к тому времени относится достопамятная встреча с Сарагиной, о которой я рассказал в фильме «Восемь с половиной».

В Римини я вернулся, когда нужно было поступать в гимназию, что на улице Темпьо Малатестиано, теперь там находятся городская библиотека и картинная галерея. Здание гимназии казалось мне высоченным. Подниматься и спускаться по его лестницам было целым событием, сулящим уйму приключений. Иные из этих лестниц казались просто нескончаемыми.

Директор гимназии, прозванный Зевсом, был самым настоящим Манджафуоко [3] и своими ножищами — каждая величиной с малолитражку — старался пристукнуть кого-нибудь из детей. Одним пинком он мог перебить позвоночник. Стоит себе вроде неподвижно, а только подойди, так саданет копытищем, что расплющишься, как таракан.

Годы, проведенные в гимназии, были годами Гомера и «бигв». В классе мы читали и заучивали наизусть «Илиаду»: каждый из нас отождествлял себя с одним из персонажей Гомера. Я был Улиссом и потому во время чтения стоял чуть в сторонке и смотрел вдаль. Титта, уже тогда парень тучный, был Аяксом, Марио Монтанари — Энеем, Луиджино Дольчи — Гектором, «коней укротителем», а самый старший из нас, Стаккьотти, сидевший в каждом классе по три года, был «быстроногим Ахиллом».

После обеда мы отправлялись гурьбой на небольшую площадь — разыгрывать Троянскую войну, бои между троянцами и ахейцами. А проще говоря, ходили «биться». Учебники тогда связывались ремешками, и вот, потрясая этими связками, мы набрасывались друг на друга, пуская в ход то ремни, то книги.

Все перипетии «Илиады» мы переживали и в классе, где видели уже не товарищей, а одних лишь героев Гомера: их приключения становились нашими собственными. Например, когда мы, читая «Илиаду», дошли до того места, где Гомер называет Аякса «глупой грудой мяса», Титта — Аякс, воспылав ненавистью к Гомеру, стал протестовать, словно поэт еще в те незапамятные времена решил оскорбить лично его, Титту.

А когда дело дошло до смерти Гектора, для нашего Гектора — Луиджино Дольчи наступил звездный час. Бедный Луиджино! Его, словно презренного червя, волокли по земле вдоль стен Трои:

> Черные кудри крутятся, глава
> Приамида по праху
> Бьется, прекрасная прежде, а ныне
> врагам Олимпиец
> Дал опозорить ее на родимой земле
> илионской!

Луиджино был мертв.

> Мать увидала,
> Рвет седые власы, дорогое с себя
> покрывало
> Мечет далеко и горестный вопль
> подымает о сыне[1].

Класс сидел затаив дыхание.

Только Стаккьотти, которому Вулкан выковал новые доспехи, мог обратить троянцев в бегство одним своим криком.

Но у Стаккьотти тоже было слабое место: пятка. И тогда троянцы вчетвером схватили его, стащили с ноги башмак и стали яростно лупить по пятке угольниками для черчения.

Лицо у Стаккьотти было словно ошпаренное, красное, сальное, все в угрях, а глаза какие-то оцепенелые, бесцветные и ускользающие, как яичный белок. Улыбался он вялой, неподвижной улыбкой, глядя куда-то в сторону, никогда ни с кем не разговаривал, вечно держал руки в карманах, быстро-быстро что-то там делая, и при этом начинал косить. А то вдруг, навалившись грудью на парту, он часами шепотом упорно окликал

---

[1] 6 января в день св. Епифании (Бефаны) жители итальянских городов «задабривают» регулировщиков уличного движения подарками.

[2] «Джовинецца» — фашистский гимн.

[3] Манджафуоко — буквально: пожиратель огня — персонаж из сказки К. Коллоди «Пиноккио».

[1] Перевод Н. И. Гнедича.

девочку, сидевшую впереди, приговаривая: «Обернись, детка, что я тебе покажу». И когда та, наконец, сердито фыркнув, оборачивалась, Стаккьотти делал непристойный жест. Может, парень был ненормальный. Он и в тюрьме сидел, и из всех школ объединенного королевства его выгоняли,— по крайней мере, такие ходили слухи. Как видно, наш Римини не был частью королевства, раз Стаккьотти продолжал посещать школу вместе с нами. Впоследствии он покончил жизнь самоубийством. Однажды зимним утром, когда было еще совсем темно, Стаккьотти нашли — уже застывшего и легкого, как марионетка,— перед церковью Поленты: он стоял там на коленях, весь засыпанный снегом.

Постепенно изучение английского языка и знакомство с новыми экзотическими именами привели к тому, что мы променяли Гомера на Эдгара Уоллеса [1]. И вот Аякс, Эней, Улисс превратились в Тони Томаса (им у нас был Титта по кличке Жирный), в шулера международного класса графа Джимми Полтаво (Марио Монтанари) и в полковника Блэка Дэн Бондери (я).

Мы образовали этакое разбойничье трио, одним из первых подвигов которого было, например, похищение курицы у нашего соседа полковника Бельтрамелли. Поскольку из книжек нам было известно, что полковник Дэн Бондери часто пускал в ход автоген, мы для проведения операции против нашего второго полковника пытались выпросить ацетиленовую горелку у одного механика, который нам ее, конечно, не дал. Пришлось довольствоваться обыкновенными ножницами: перерезав сетку курятника Бельтрамелли, мы утащили у него курицу. Убийство было ужасным: свернуть шею курице — это же варварство, почти что преступление.

Вечерами мы, окунаясь в белые слои тумана, который окутывал Римини зимой, ходили к морю. Жалюзи были спущены, пансионы закрыты, всюду царила тишина, которую нарушал лишь шум моря...

Зато летом мы изводили парочки, которые, спрятавшись за лодками, занимались любовью: мы быстренько раздевались и, представ в чем мать родила перед влюбленными, обращались к мужчине: «Скажите, пожалуйста, который час?»

Поскольку я был худ и страдал от этого комплексом неполноценности (меня дразнили Ганди или Килькой), то стыдился появляться на людях в плавках.

Я уединялся, обосабливался, ссылался на пример великих людей — таких, скажем, как Леопарди [2],— чтобы оправдать этот свой страх перед плавками, свою неспособность наслаждаться морем, как наслаждались им другие ребята, всласть плескавшиеся в воде (возможно, поэтому меня до сих пор так влечет к морю, оно, как вещь, которой ты никогда не обладал; вот откуда мир, населенный всякими чудовищами и призраками).

Как бы там ни было, я, чтобы заполнить эту пустоту, стал увлекаться искусством. Вместе с Демосом Бонини мы открыли художественную мастерскую, на витрине которой была выведена надпись: «Феб». Мы рисовали карикатуры и портретики синьор — как в ателье, так и на дому. Почему-то я выбрал себе псевдоним Феллас. Моей обязанностью было делать рисунки, а Бонини, настоящий художник, их раскрашивал.

Ателье фирмы «Феб» находилось как раз напротив белостенного собора, который летом казался еще белее обычного, словно высушенная солнцем раковина моллюска, а по ночам его стены как бы испускали лунное сияние. Это чудо из известняка, столь необычное и величественное, не похожее ни на какую другую церковь, ни на какое другое строение, всегда притягивало меня своей загадочностью и вселяло чувство робости.

Несколько раз летом я заходил в собор, когда там никого не было; от мраморных скамеек веяло прохладой; изображенные на гробницах епископы и средневековые рыцари взирали покровительственно, но в полумраке собора все же казались немножко зловещими. Была там вытесанная из древнего камня кафедра с лесенкой, по которой поднимался настоятель — еще один мастер раздавать оплеухи,— чтобы читать воскресную проповедь.

Однажды, в августе — в церкви не было ни души — я взобрался на эту кафедру. От камня несло могильным холодом. Оглядев пустую церковь, я тихо сказал: «Возлюбленные чада мои...» Потом чуть погромче: «Возлюбленные чада мои...» Потом еще громче, так что стены откликнулись эхом: «Возлюбленные чада мои...»

Сойдя с кафедры, я едва не поддался соблазну опустошить кружку с пожертвованиями — такую попытку мы с Титтой однажды уже предприняли: он делал вид, будто молится, а я и еще кто-то, привязав к шпагату брусочек намагниченного свинца, опускали его в щель кружки. Но монеты почему-то не приставали. И хорошо, так как дело это мне не нравилось.

А вот при церквушке деи Паолотти была маленькая часовня, отделенная от основного здания; туда время от времени привозили святить у монахов свою живность «усачки». «Усачками» мы прозвали этих женщин потому, что на верхней губе (да и на крепких, подрагивающих икрах) у них отчетливо виднелся золотистый или темный пушок. Мы, мальчишки, стоя снаружи, лихорадочно пересчитывали велосипеды, прислоненные к стене церкви, чтобы узнать,

[1] Эдгар Уоллес (1875—1932) — английский писатель, автор детективных романов.

[2] Джакомо Леопарди (1798—1837) — итальянский поэт-романтик.

сколько «усачек» приехало сегодня. По разбитому фонарику, по педали без резины, по каким-то штуковинам, изготовленным вручную и прикрепленным проволочками и веревочками к рулю, мы пытались определить, находится ли в часовне рыжеволосая «усачка» из Сант-Арканджело, не надевавшая лифчика под свой вязаный свитер; приехали ли две сестры из Санта-Джустины — коренастые и самоуверенные (они собирались принять участие в велосипедных гонках «Джиро д'Италия»). Был еще велосипед, один вид которого заставлял наши сердца биться учащенно: принадлежал он могучей и мрачной «гладиаторше» из Сан-Лео — женщине с копной черных волос и фосфоресцирующими, как у львицы, глазами, лениво и равнодушно смотревшими на тебя, как на пустое место.

Мы нетерпеливо заглядывали в часовенку, наполненную гулким блеянием, квохтаньем, ослиным ревом. Наконец, «усачки» выходили со своими курами, козами, кроликами и усаживались на велосипеды. Тут-то и наступал главный момент! Заостренные рыльца седел быстро, словно мышки, юркали под юбки из черного блестящего и скользкого сатина, отчего обтягивались, надувались, вспыхивали ослепительными бликами задницы, равных которым не было во всей Романье. Но насладиться зрелищем в полной мере мы не успевали: иногда «вспышки» происходили одновременно — слева, справа, впереди, позади нас, не могли же мы вертеться юлой, да и видимость приличия тоже нужно было соблюдать, хоть это стоило нам немалых потерь. К счастью, некоторые «усачки», уже усевшись на велосипеды, на какое-то время задерживались, чтобы посудачить; поставив одну ногу на землю, а другую на педаль, они, выгнув спины, медленно покачивались в седлах, как волны в открытом море; потом загорелые икры напрягались для первого поворота педали и «усачки» трогали, громко прощаясь друг с другом, и вот уже кто-то из них заводил песню. «Усачки» возвращались в деревню.

Церковь деи Серви казалась просто высоченной стеной без окон, начинавшейся сразу за кинотеатром «Фульгор». Много лет я вообще не подозревал, что это церковь, так как своим фасадом и порталом она выходила на маленькую площадь, загроможденную рыночными палатками. Приходским священником там был дон Баравелли преподававший у нас в лицее закон божий. Этот широкоплечий и совершенно лысый коротышка старался быть живым воплощением христианской заповеди о терпении. Чтобы не переудушить всех нас, дон Баравелли входил в класс с закрытыми глазами, ощупью взбирался на кафедру и так проводил весь урок: он не желал нас видеть! Иногда, прикрыв лицо своими здоровенными, как у крестьянина, лапищами, он даже опускал голову на кафедру. Один только раз дон Баравелли открыл глаза и увидел большой костер между партами и нас самих, изображавших вокруг огня танец краснокожих.

В церкви деи Серви было темно и мрачно, зимой там стоял зверский холод и мы часто простужались. Так у нас и говорили: «Он схватил грипп в церкви деи Серви». Была и еще одна сакраментальная фраза: «А за десять лир ты согласился бы посидеть в церкви деи Серви всю ночь?» Бедасси по кличке Тарзанья Задница вызвался сделать это на пари и как-то вечером, прихватив с собой килограмм сладких бобов лупина и две сосиски, спрятался в одной из исповедален. Назавтра, в шесть утра, когда в церкви появились первые старушки, вдруг раздался рев простуженного осла: это храпел Бедасси, крепко заснувший в исповедальне среди лупинной шелухи. Когда церковному сторожу удалось наконец его растолкать, Бедасси промычал: «Ма, 'e caflat» — «Ма, кофейку бы!»

На протяжении многих лет «исповедальня Бедасси» оставалась местом паломничества, объектом недоверчивого и восхищенного интереса публики, оттеснив на второй план даже росписи главного алтаря.

Новая церковь деи Салезиани — раз речь зашла о церквах — строилась на наших глазах и была непременным этапом воскресных прогулок. «Поехали,— говорили у нас,— посмотрим, как строят новую церковь». Но поскольку это бывало по воскресеньям, а в воскресные дни работы там, естественно, не велись, нам оставалось лишь глазеть на погруженные в тишину строительные леса, большие замершие подъемные краны, кучи песка и извести. При освящении церкви было произнесено много речей. Праздничный перезвон колоколов так оглушал, что невозможно было разобрать ни слова. Главарь местных фашистов, некий Л. (его щеки бывали синеватыми от щетины, даже когда он выходил от парикмахера), во время речи, которую он произносил с кафедры, стоя рядом со священником, вдруг скрестил руки на груди и стал кричать так, что, казалось, у него сейчас лопнут вздувшиеся на шее вены: «Ко-ло-ко-ла, кончай! Хватит, ко-ло-ко-ла!» И сразу же все находившиеся в церкви фашисты подхватили крики своего начальника и тоже стали отдавать приказ колоколам.

Года через два — мне тогда было уже десять — я провел целое лето на полупансионе у монахов-салезианцев. Вечером меня забирали домой. С очень тягостным чувством вспоминаю мрачный колодец церковного двора, два унылых столба для баскетбольных щитов. Все это было обнесено каменной стенкой, над которой тянулась еще двухметровой высоты металлическая сетка. Оттуда, из-за сетки, до нас доносились автомобильные гудки, звон извозчичьих колокольцев, голоса свободных людей, прогуливавшихся со стаканчиками мороженого в руках.

Какой-то парень — слизняк лет двадцати, бледный, как воск (непонятно бы-

ло, священник он или нет),— все пытался завести разговор со мной и с одним моим дружком, у которого были миндалевидные и нежные глаза одалиски. Он угощал нас липкими карамельками, вздыхал, говорил, что мы должны вести себя хорошо, быть пай-мальчиками и пойти с ним в одну из пустых классных комнат, где он станет обучать нас бельканто. У этого слизняка действительно был неплохой голосишко, и он помнил наизусть песенки, которые тогда мне казались занудными; я услышал их вновь лишь спустя много лет — в Термах Каракаллы, где давали «Лючию де Ламмермур».

Помню я и еще одну церковь — церковь братьев капуцинов, которая называлась «Колоннелла», потому что перед самым ее входом, на паперти, торчала обломанная древнеримская колонна. Впервые я отправился туда как-то вечером. Меня сопровождала бабушка, но не Францискейна — Сидящий Бык, а другая. Эту мы звали «маленькой бабушкой», потому что она вся была какая-то усохшая и личико у нее было малюсенькое и сморщенное, как трофей охотников за человеческими головами, о которых я читал в книжках Сальгари. Мне никогда еще не доводилось бывать в церкви после захода солнца. Эта церковь была огромная, высоченная, звуки шагов гулко отдавались под темными сводами, словно кто-то невидимый шагал следом за мной. В глубине, рядом с алтарем, в свете множества свечей я увидел Бонфанте Бонфантони — художника, работавшего над фреской «Семь казней египетских». Мне предстояло быть натурщиком для одной из этих казней, не помню уж, для какой именно, но поскольку в детстве я был очень худым, речь шла скорее всего о «Голоде». Перед этим у нас с матерью были долгие споры. Она не очень-то доверяла Бонфантони, говорила, что на его картине, чего доброго, будут изображены голые женщины, пусть и с ангельскими крыльями, а это может смутить душу ребенка. Потребовалось вмешательство епископа — паралитика, святого человека: через отца приора он передал, что отдает должное благочестивым помыслам моей матери и ручается, что опасения ее безосновательны. Тогда мама помыла мне уши, причесала вихры, и мы с «маленькой бабушкой» отправились в «Колоннеллу».

На стене церкви, за дрожащими язычками свечей, можно было разглядеть большую, иссеченную молниями и огненными хлыстами черную тучу и еще — разверзшуюся гору: овцы, пастухи, собаки падали в глубокую пропасть. Волны бушующего моря подбрасывали к небу челны вместе с гребцами.

Мне велели лечь на пол ничком и приподнять руку так, будто я заслоняюсь от чего-то, что валится на меня сверху (стада, челны? Не знаю), а лицо мое должна была искажать гримаса ужаса. Но рядом со мной на полу растянулся одноглазый нищий по кличке Пилокк, которого тоже взяли потому, что он смахивал на ходячий скелет. Этот Пилокк потребовал пол-литра вина за каждый сеанс, а поскольку он чуть не с пеленок был алкоголиком, то приходил в неистовство от одного вида пробки. И вот теперь, в церкви, обдавая меня своим зловонным дыханием, он творил что-то непотребное и, яростно вопя и подвывая, призывал жену местного дантиста — косоглазую синьору, славившуюся своими торчащими, остроконечными, похожими на два дирижабля грудями. Бонфантони ругался и швырял в Пилокка пустыми банками, но тот со смехом отругивался, а братья капуцины затягивали псалом.

Старый епископ — святой человек, которому было уже больше ста лет, однажды в полдень внезапно умер, а новый, не жаловавший братьев капуцинов из «Колоннеллы», перестал выплачивать авансы Бонфантони, и тот в один прекрасный день бросил все и уехал в Бразилию. Фреска так и осталась незаконченной; ее прикрывало большое грязное полотнище, краешек которого я иногда приподнимал, чтобы в нижнем левом углу увидеть свою руку (я-то знал, что она моя), простертую вверх, туда, где в постепенно сгущающейся черноте все падали и падали овцы, челны, собаки.

В те времена, если ты хотел приобщиться к компании людей «бывалых», нужно было проводить время с приятелями в баре Рауля, так называемом «кафе друзей», которое находилось в средней части Корсо. Сам Рауль был очень подвижным круглолицым толстячком. Его заведение — подобие тогдашних миланских баров — посещали художники, беспокойная молодежь, спортсмены. Там допускалось даже некоторое политическое фрондерство, этакий робкий намек на него. Зимой в баре собирались «маменькины сынки» (летом все переносилось на море, к Дзанарини. Важная деталь: в Римини времена года четко разграничены, и смена сезонов носит не просто метеорологический характер, как в других городах. Это совершенно разные Римини).

Так вот, именно в баре Рауля возникла однажды идея встретить Новый год в тюрьме. При соучастии надзирателей, среди которых были наши друзья, мы пронесли в тюрьму булочки и колбасу, чтобы разделить трапезу с арестантами.

Тюрьма была забита тогда мелкими воришками (которые крали на стройке мешки с цементом) и пьяницами. Это приземистое и мрачное здание навсегда осталось темным пятном в моих воспоминаниях о родном Римини.

Перед тюрьмой была огромная неровная пыльная площадь; здесь, на самой окраине города, останавливались бродячие цирки. Выступая на площади, клоун Пьерино переругивался с арестантами, которые через зарешеченные окна от-

пускали сальные шуточки по адресу наездниц.

Однажды утром сквозь облако пыли я увидел, как на дальнем конце площади отворились ворота тюрьмы и из них вышел какой-то человек. Сказав что-то часовому, он стал быстро удаляться — значит, отбыл свой срок,— но, дойдя до середины площади, вдруг в нерешительности остановился и.... вернулся в тюрьму.

А вот Гранд-отель был у нас символом сказочного богатства, великолепия, восточной роскоши.

Когда описания в книжках, которые я читал, не вызывали в моем воображении достаточно убедительных картин, я выуживал из своей памяти Гранд-отель: так иные захудалые театришки на все случаи жизни используют один и тот же задник. Преступления, похищения, ночи страстной любви, шантаж, самоубийство, сад пыток, богиню Кали — все это я переносил в Гранд-отель.

Мы шныряли вокруг него, как крысы, чтобы хоть одним глазком заглянуть внутрь. Тщетно. Мы обследовали большой задний двор (там всегда была тень из-за высоких, доходивших до шестого этажа пальм), уставленный автомобилями с восхитительными и не поддающимися расшифровке номерными знаками. «Изотта Фраскини» — у Титты от восхищения вырывалось ругательство. «Мерседес-бенц» — еще одно крепкое словцо, вполголоса. «Бугатти»... Шоферы в начищенных до блеска крагах курили, прохаживались взад-вперед, прогуливая на поводках крошечных злобных собачонок.

Через большие решетки, находившиеся на уровне тротуара, можно было увидеть огромные кухонные помещения. Там, внизу, полуголые потные повара работали, не поднимая головы, среди шипения сковород и рева внезапно взлетавших под потолок огромных языков пламени.

Помню одного из поваров, которого я видел прямо у своих ног (зимой этот парень работал санитаром и водил карету «скорой помощи» с лихостью заправского гонщика). Пот тек с него ручьями, хотя он был в одних трусах; обваливая в сухарях отбивную, он пел: «О белокурый корсар, смейся и плюй на все...»

Летними вечерами Гранд-отель превращался в Стамбул, Багдад, Голливуд. На его террасах, отгороженных густыми зелеными шпалерами, наверное, устраивались развлечения — в стиле Зигфельда[1]. Иногда удавалось разглядеть обнаженные, казавшиеся нам золотыми, спины женщин, которых обнимали мужчины в белых смокингах, легкий ветерок доносил до нас запах духов и обрывки синкопированной музыки, томной до потери сознания. Это были мелодии из американских фильмов «Санни-бой», «Я вас люблю», «Одинокие» — еще зимой мы слышали их в кинотеатре «Фульгор», а потом целыми днями мурлыкали себе под нос (положив для вида на стол раскрытый «Анабазис» Ксенофонта), глаза ничего не видели, горло сжималось.

И только когда приходила зима со слякотью, туманами, темнотой, мы завладевали просторными террасами Гранд-отеля, насквозь пропитанного зимней сыростью. Но ощущение было такое, будто вы добрались до бивака, когда все уже давно ушли и костер погас.

Из темноты доносился рев моря, ветер швырял в лицо холодную водяную пыль. А сам Гранд-отель, таинственный, как египетская пирамида, с растворившимися в тумане куполами и зубцами башен, был для нас еще более запретным, чужим, недосягаемым.

В утешение нам Титта, уходя, изображал бой часов Вестминстера, граф Джимми Полтаво делал через карман пальто три выстрела из пистолета с глушителем, Титта, ругаясь, выискивал местечко посуше и, смертельно раненный, падал, сопровождая свою странную агонию непристойными звуками.

Один только раз — это было ранним летним утром — я взбежал по ступенькам отеля, пересек, не поднимая головы, залитую солнцем террасу и вошел... Поначалу я ничего толком не разглядел. Там царил полумрак и чувствовался легкий запах воска, как в соборе утром по понедельникам. Было покойно и тихо, словно в аквариуме. Потом постепенно из полумрака стали выступать широкие, словно лодки, диваны и кресла, побольше иной кровати. Обтянутый красным бархатом канат-поручень, повторяя повороты мраморной лестницы, тянулся вверх, к мерцающим ярким витражам, всюду были цветы, павлины, грандиозные клубки змей, сплетавшихся языками, с головокружительной высоты падала и чудесным образом зависала в воздухе самая большая в мире люстра.

За похожим на неаполитанский катафалк барьером стоял разряженный, точно факельщик на богатых похоронах, высокий седовласый синьор в очках с золотой оправой. Глядя мимо меня, вытянутой рукой он указывал мне на дверь.

Медленно текла жизнь и в кафе «Коммерчо» (на углу площади Кавура) — солидном заведении, которое посещали представители местной буржуазии, лица свободных профессий. Там был паркетный пол, в пять часов подавали горячий шоколад, желающие могли сыграть в шахматы или на бильярде. Это кафе для стариков внушало нам даже некоторую робость.

Там можно было увидеть слабоумного Джудицио, который помогал женщинам разгружать фургон с продуктами и работал, как осел, потому что и впрямь был ослом. В шесть вечера Джудицио внезапно прекращал свою безвозмездную деятельность и, вырядившись, словно клоун, отправлялся гулять по набережной. Здесь, среди всей этой иностранной публики, им вдруг овладевала безумная жажда светской жизни. Зимой же за сигарету-другую он устанавливал

[1] Зигфельд — основатель известного американского эстрадного ревю.

шары на бильярде. Джудицио знал все карамболи. По ночам у него было другое занятие — охранять имущество граждан. Напялив на голову раздобытую где-то форменную фуражку, он отправлялся в обход, подсовывая под жалюзи магазинов бумажки: рядом с карточкой настоящего ночного сторожа «Проверил» появлялась и записка Джудицио — «Я тоже».

Однажды ночью, когда мы сидели в кафе и вели свои бесконечные разговоры, с улицы вдруг донесся скрип автомобильных тормозов. Дверь распахнулась, и вошли иностранцы — мужчина и две женщины, ну вылитые Ганс Альберс, Анита Экберг и Мерилин Монро. Мы как зачарованные уставились на них. Мужчина — на нем была тяжелая меховая шуба — спросил ликер какой-то марки; в кафе такого не оказалось, и иностранец удовольствовался чем-то другим. Одна из женщин — совершенно потрясающая — смотрела на все отсутствующим взглядом. Потом они вышли, уселись в свою сказочную машину и скрылись в ночи. Мы еще не стряхнули с себя оцепенения, как тишину вдруг нарушил голос Джудицио: «А что, заплати мне эта красотка полсотни франков, я бы с ней побаловался».

Романья Гоатто... У Гоатто была темная кожа и глаза, налитые кровью, как у тех черных рыб, гоатт, которые в нашем порту попадаются на крючок только в марте. По его словам, он участвовал в войне 1915—1918 годов, но тут у него что-то не сходилось: хоть Гоатто и выглядел на все пятьдесят, в действительности ему было не больше тридцати лет.

Гоатто занимался выделкой кож, знал свое дело превосходно и вечно торчал в мастерской — она была без дверей и потому напоминала пещеру,— работал себе и ни с кем не разговаривал. И лишь когда в кино показывали какой-нибудь военный фильм, он являлся в кинотеатр в два часа дня и выходил оттуда только в полночь, совершенно одуревший, и при этом разговаривал сам с собой. «Накатывало» на него внезапно, словно он слышал какой-то голос, подавший команду. Тогда, бросив все, Гоатто поспешно напяливал на себя одну из своих военных форм (морскую, «ardito»[1] или альпийского стрелка — формы у него были всякие, хоть и драные и годные разве что для карнавала; а к ним целый арсенал всевозможных клинков, штыков, ручных гранат — и настоящих, и бутафорских), опускал жалюзи своей мастерской и, мягко крадучись вдоль стен, с кинжалом в зубах и гранатой в руке добирался до площади. Там он бросался на землю и лежал неподвижно, уткнувшись лицом в булыжники мостовой, тихо и яростно бормоча себе под нос: «Тоньини! Проклятые тоньини!» (так он называл немцев). Наконец, с воплями, похожими на рев осла, он вскакивал на ноги и бросался в атаку под яростный свист пуль, буханье гаубиц, страшные ругательства и грохот взрывов — вперед, савояры! Да здравствует Италия!

Обычно «битва» заканчивалась, когда он добегал до кафе Рауля, где молодые лоботрясы встречали его аплодисментами и струями воды из сифона — прямо в лицо. Мокрый с головы до ног, Гоатто отдавал всем честь, поворачиваясь на каблуках то в одну, то в другую сторону, потом, подражая звуку далекой трубы, сигналил отбой. И получалось у него это так хорошо, так печально, что шалопаи, даже самые безжалостные, еще минуту назад швырявшие ему в лицо пирожные с кремом, вдруг грустнели и, притихнув, слушали «трубу» до конца.

Однажды утром перед кафе Рауля остановилась карета «скорой помощи» с зеленым крестом. Мы все, конечно, припустили туда. Шофер-санитар, зашедший к Раулю выпить кофе, рассказывал, как все произошло. Какой-то «тоньино», то есть немец, из тех, что, надев шорты и шляпу, украшенную перьями и всякими значками, колесят на велосипедах по белу свету, остановился у мастерской Гоатто, чтобы спросить дорогу. Не говоря ни слова, Гоатто, за всю жизнь не обидевший и мухи, схватил один из своих клинков и оттяпал немцу ухо. И вот теперь его везли в Имолу — в сумасшедший дом.

Высоко подпрыгивая, мы старались хоть на миг заглянуть через запыленные стекла в машину: там на койке, перетянутый, словно колбаса, веревками, лежал Гоатто, рот у него был завязан синим платком. Недоуменно и испуганно водил он по сторонам налитыми кровью глазами, медленно опуская и поднимая веки, как курица на базаре.

А Фафинон? Фафинон — это старик из Сан-Лео, который вечно околачивался у прачечной на окраине Римини. Полная его кличка была Фафинон из канавы; когда ему нужно было облегчить кишечник, он укладывался, словно мостик, поперек канавы и так лежал часами, оголив нижнюю часть тела, опустив зад в холодную воду и блаженно пересвистываясь с ласточками и воробьями. Случалось, птички, описав в воздухе спираль, слетали вниз и прыгали у него на лбу или на груди.

Однажды прачки привели приходского священника — они не желали больше терпеть такое безобразие. Фафинон же стал доказывать, что сам святой Франциск разговаривал с воробьями. «Только он не валялся голым в канаве, как ты, старая свинья!» — заорал священник.

Для нас, детей, встреча с Фафиноном была праздником. Мы окружали его, дергали за пиджак и не отпускали до тех пор, пока он не выполнял нашу просьбу: дело в том, что у старого Фафинона кроме умения разговаривать с

[1] «Ardito» — «отважный», солдат ударных отрядов итальянской армии в 1915—1918 гг. *(итал.).*

птицами был еще один талант — он мог производить непристойные звуки бесконечно много раз подряд. Достаточно ему было постучать кончиками пальцев по определенным участкам живота, слегка сосредоточиться — и готово! Вы могли заказать Фафинону звуки любой тональности, попросить воспроизвести голос любого музыкального инструмента, любого домашнего животного. Вот радость! Вот восторг! «Фейерверк», которого мы требовали от него, крича и прыгая, был достойным финалом представления: тут старик порой сам себе удивлялся. Мы катались по земле, хохотали до слез: ну что за чудо-человек!

Гораздо менее симпатичными — один вечно раздраженный, второй вечно мрачный — были Джиджино и Бестеммья [1].

Джиджино — здоровенный детина (я даже завидовал его силе) — все время проводил на пляже или у мола; зимой — в толстых свитерах и замшевых куртках, летом — почти голый, в одних трусах. Как-то на молу он встретил одного своего принаряженного приятеля с девушкой. «Сдается мне, патака,— сказал он своим писклявым голосом,— что ты слишком закутался!» — и швырнул парня в воду.

И хотя выходки Джиджино были унизительными, все смеялись, потому что побаивались его. Заглянув в кафе, он задерживался у бильярда и принимался комментировать игру: «Вот этот шар — ну, чистый патака. А вот тот — еще хуже!..» Уходил он со словами: «Спокойной ночи, зас...цы. Я отправляюсь к своей мамочке». Но вот однажды вечером, встретив своего парикмахера с барышней, Джиджино сообщил ей, что ее кавалер уже женат. И тогда парикмахер избил его до полусмерти, отомстив разом за всех парней Римини.

Бестеммья был отчаянным ругателем, потому-то его и прозвали Бестеммьей. И выходило, что каждый, кто его окликал, сам вынужден был как бы ругаться. Бестеммья заворачивал иной раз такое, что казалось: вот сейчас разверзнутся небеса и господь испепелит весь Римини. Взгляд у Бестеммьи был как удар кинжалом. Если кто-нибудь осмеливался поставить свой велосипед рядом с велосипедом Бестеммьи, он заходил в кафе и грозился: «Я сейчас заткну тебе в глотку статую епископа вместе с голубями». Или: «Ты у меня слопаешь бильярд». Или еще: «Я вырву твои усишки, затолкаю тебе в глотку и заставлю выпить слабительного. Потом ты у меня сожрешь их вторично».

В общем, мрачный был тип. Встретишь таких людей где-нибудь на площади, и кажется, будто масштабы местности передаются и им. Совсем по-иному они выглядят у себя дома или на какой-нибудь тесной улочке. Я видел убогую спальню Бестеммьи, видел его самого, валяющегося на постели в драной майке.

Перед кафе «Коммерчо» обычно прохаживалась Градиска. Она носила черное, с металлическим отливом, атласное платье, приклеивала только вошедшие тогда в моду искусственные ресницы, а свои светлые кудряшки укладывала одну к другой так, что они казались налепленными на голову крендельками; и даже среди зимы было заметно, как под почти прозрачной блузкой высоко вздымалась ее легендарная грудь. В такие моменты все посетители кафе прилипали носами к стеклу. Звали ее у нас Градиской, хотя настоящее имя у нее было совсем другое (в Римини многие женщины, родившиеся во время первой мировой войны, носили такие имена, как Градиска или Подгора, а одна была даже Мария-Пьяве [1]). Но нашу Градиску, если верить слухам, прозвали так потому, что, когда однажды в Римини остановился какой-то принц крови, ему предложили ее услуги, а ей по такому случаю велели вести себя как можно учтивее. И вот, стоя перед принцем в чем мать родила, она во исполнение этого наказа вежливо сказала: «gradisca» [2].

Вид проходившей мимо кафе Градиски пробуждал в нас сокрушительные страсти: аппетит, голод, жажду молока. Ее бедра напоминали колеса паровоза — именно движение этого могучего механизма рисовалось нам при виде Градиски.

Когда я, благодаря нашему «художественному ателье», приобрел кое-какую известность в городе, мы заключили соглашение с владельцем кинотеатра «Фульгор», который очень походил на актера Рональда Колмена и сам это знал: поэтому он отрастил себе такие же усики, плащ носил даже летом и старался сохранять одно и то же выражение лица — как свойственно людям, знающим, что они на кого-то похожи. За работу, которую я для него выполнял (карикатуры на кинозвезд и портреты артистов выставлялись вместо рекламы в витринах магазинов), мне было разрешено бесплатно посещать его кинотеатр. В тогдашнем «Фульгоре» — этой жаркой клоаке, этом скопище всяческих пороков — работал капельдинер по кличке Мадонна. Воздух в кинотеатре был отравлен каким-то мерзким, приторно пахнущим веществом, которое он разбрызгивал в зале. Перед самым экраном стояли ряды скамеек, а за ними была загородка — такие делают в хлевах,— отделявшая «простую публику» от «благородной». Мы платили по одиннадцать сольди за билет, а место в рядах за загородкой стоило одну лиру десять сольди. Когда гасили свет, мы старались прошмыгнуть в отделение для «благородных» (считалось, что там бывают красотки), но тут же оказывались в лапах капельдинера, который подстерегал нас, спрятавшись за портьеру. Правда, его присутствие всегда выдавал огонек сигареты, хорошо различимый в темноте.

Так вот, после того как я начал рисовать карикатуры, мне с братом и Титтой разрешили посещать кино бесплатно.

[1] Bestemmia — ругательство *(итал.)*.

[1] Градиска, Подгора, р. Пьяве — места ожесточенных боев во время первой мировой войны.

[2] Gradisca — здесь: извольте, окажите честь *(итал.)*.

Однажды, придя туда, я увидел в отделении «для благородных» Градиску. Она была одна. Обманув бдительность Мадонны, я перепрыгнул через загородку и с волнением уставился на Градиску. Сноп света из кинобудки создавал вокруг ее белокурых волос мерцающий ореол. Я сел, скорее всего, от волнения. Сначала я сидел далеко, потом стал придвигаться все ближе. Градиска курила, медленно выпуская дым своими полными губами. Оказавшись, наконец, в соседнем кресле, я протянул руку. Ее пышное бедро, охваченное подвязкой, было похоже на перетянутый шпагатом зельц. Градиска не обращала на меня внимания и смотрела вперед, великолепная и невозмутимая. Я, осмелев, прикоснулся рукой к ее белому пухлому телу. Тут Градиска медленно повернула голову и по-хорошему так спросила: «Ты что там ищешь?» На большее я уже не отважился.

Но это воспоминание меня все-таки тревожило, и вот, спустя много лет, я отправился в Комаско, чтобы отыскать Градиску, которая, как мне сказали, вышла замуж за своего кузена-матроса. В общем, хотелось ее повидать. Я проехал на своем «ягуаре» по улочкам жалкого, утопающего в грязи поселка и обратился к какой-то старушке, развешивавшей возле дома белье: «Простите, где здесь живет Градиска?» — «А кто ее спрашивает?» — в свою очередь поинтересовалась старушка. «Я ее знакомый. Не можете ли вы сказать, где она?» — «Это я»,— ответила старушка. Передо мной действительно была Градиска. Но ничего, совершенно ничего не осталось от ее прежнего карнавального, горделивого сияния. Впрочем, если подсчитать, теперь ей было уже лет шестьдесят.

В те времена мы жили в городе безвыездно. Иногда только выбирались в окрестности. Мне вспоминается холм Благодати господней, храм, крестный путь, к которому восходит ужасный, рассчитанный на жажду чуда, апокалипсический обряд нашей религии — великий пост: впоследствии я показал это в некоторых эпизодах моих фильмов.

По склону холма было разбросано множество часовенок, соединенных зигзагообразной дорожкой. Однажды, по случаю окончания великого поста, на холме устроили грандиозное празднество. Помню крестьян, старушек, вонь, бобы лупина, свертки с колбасой. Кого-то рвало. Распевая псалмы, все ползли на коленях вверх до последней часовни. Во главе процессии полз дон Джованни и вопил: «... И тут он упал во второй раз». Потом начались еще более драматические события, развивавшиеся в мрачном, панихидно-кровавом крещендо. Кто знает, почему всегда бывало именно так? Почему все, что имело какое-то отношение к религии, обязательно должно было устрашать?

В тот период к страху перед церковью прибавился страх перед фашистами. По-видимому, кто-то из них избил моего отца. Я подозревал нескольких негодяев, являвшихся в бар в черных рубашках. Отец скрывал от меня эту историю. Когда заходил разговор о некоторых вещах, мои родители обменивались многозначительными взглядами, мол, не надо вмешивать его в эти дела. Мое душевное смятение усилилось, когда я увидел, как подозреваемые мною типы поют в церкви, да еще вместе с настоятелем. Хотя африканская кампания еще не закончилась, одного из них, некоего С., уговорили отправиться добровольцем в Испанию. Когда нас, школьников, привели на вокзал, чтобы с почетом проводить на войну нашего учителя гимнастики, мы увидели там и С. в окружении трех-четырех всхлипывавших женщин: куда подевалась вся его наглость! Мы спели «Фаччетта нера» [1], и длинный состав тронулся.

На молодежные сборы я никогда не приходил в полной форме: вечно у меня чего-нибудь недоставало — то черных ботинок, то серо-зеленых брюк, то фески. Я прибегал к такому пассивному саботажу, чтобы не выглядеть фашистом с головы до ног: это был акт неподчинения, инстинктивного неприятия тогдашней милитаристской атмосферы, такой же мертвящей, как и атмосфера религиозных процессий.

Однажды через Римини должен был проследовать Стараче [2]. Вот показался украшенный флагами поезд. Солнце палило нещадно... Грянул оркестр, взревели трубы; окутанный клубами белого пара состав подошел к платформе. Какое зрелище! Потом пар и дым рассеялись и на платформе остался один Стараче — маленький человечек с большим носом. Он воскликнул: «Камерати [3] риминцы...» Публика прямо с ума сошла. Наверное потому, что человечек произнес это слово — «риминцы», и вновь взревели трубы. По-моему, Стараче так больше ничего и не сказал. Потом ему представили одного инвалида войны, которого вынули из инвалидной коляски и несли на руках. Этого человека мы видели в кафе: вместо ампутированных ног у него болтались пустые штанины. Почему-то в подобных случаях выставляли вперед слепцов, калек, хромых и начинали вдруг с ними носиться. Повидали мы их в то время предостаточно — на балконах, на площадях, в театрах.

А вот на короля мы ездили смотреть в Форли, где нас выстроили шеренгами вдоль платформы. Поскольку было очень жарко, я отступил чуть назад, чтобы стянуть апельсин у лоточника, стоявшего за нами. И тут вдруг заиграли трубы. Я уже начал было очищать апельсин штыком от карабина и теперь никак не мог его примкнуть, а учитель гимнастики ругался. Потом прибыл поезд,

[1] «Фаччетта нера» — фашистская песня.

[2] Стараче — один из главарей итальянских фашистов.

[3] От итальянского camerata — соратник, товарищ по оружию. Так обращались друг к другу фашисты.

и к нам вышел старичок с белым кустиком усов под носом. Это был король.

Развлекались мы, конечно, тоже. Чудесным уголком в Римини было, например, кладбище. Никогда не видел мест менее печальных. Поскольку кладбище находилось за полотном железной дороги, посещению его обычно предшествовало веселое, волнующее событие — пропуск поезда. Шлагбаум со звоном опускался; за ним виднелась светлая каменная стенка со множеством небольших углублений, по форме напоминавших домики, какие рисуют дети. Кладбище я открыл для себя, когда умер дедушка. Нас, внуков, посадили в экипаж, и кучер, чтобы мы перестали шуметь, старался добраться до нас кнутом через дыру в стенке экипажа. Это была грандиозная загородная прогулка. Мы затеяли беготню среди могил, стали играть в прятки. Я помню, как мне понравились все эти лица — фотографии на могилах. То, что раньше люди одевались как-то по-другому, я открыл для себя именно на кладбище. И еще я увидел там много знакомых фамилий: Баравелли, Бенци, Ренци, Феллини — все они были наши, риминские. На кладбище постоянно что-то строили; каменщики, работая, пели, так что там всегда царила праздничная атмосфера. По утрам туда приезжала на велосипеде необыкновенно красивая крестьянка, торговавшая цветами. Она связывала букеты шпагатом, перекусывая его своими крепкими зубами, носила свободное платье из черного сатина и башмаки на босу ногу — ей всегда было жарко.

Об этой белокурой крестьянке велись разговоры и во время ежевечернего «гулянья» на Корсо: полкилометра туда, полкилометра обратно, черепашьим шагом. От кондитерской Довези до кафе «Коммерчо». Зажигались огни, и сразу же начиналось «гулянье» с непременными перемигиваниями и смешками. Гуляющие двигались в противоположных направлениях двумя потоками, как бы настигая друг друга. Казалось, от такого долгого шарканья у людей должны стереться, укоротиться ноги.

За площадью Кавура, где был один из конечных пунктов этого маршрута, уже темнело чистое поле. На противоположном конце, за площадью Юлия Цезаря, тоже была темнота. Так что «гулянье» — будоражащее, волнующее — происходило между этими зонами темноты.

А вот с вокзалом были связаны мечты о приключениях. Поезда. Станционный колокол. Живая изгородь, а за ней — разветвляющиеся колеи. Едва умолкал станционный колокол, как на стрелке уже можно было увидеть состав: он вырастал в тишине — шум колес долетал позже. Иногда проходил синий поезд: в нем были спальные вагоны. Как-то в одном из окон поднялась шторка и показался синьор в пижаме.

Однажды после странного дня, когда говорить уже было не о чем, мы с Титтой, Монтанари и Луиджино Дольчи сфотографировались последний раз у моря, поклонились нашим любимым местам, и друзья проводили меня на станцию. Какие-то типы на привокзальной площади все поглядывали на меня. В станционном баре мы заказали себе по стаканчику вермута — это мы-то, никогда не бравшие в рот вина! — и я поднялся в вагон. Монтанари сказал: «Федерико выходит на международную арену». А Титта добавил: «...порка ма...» Гудок, сильный толчок, от которого, казалось, из вагона сейчас вылетят все заклепки, и поезд тронулся — дома и кладбище поплыли назад.

Я уехал из Римини в 1937 году. А вернулся туда в 1946-м и оказался среди сплошных руин. Ничего больше не было. Но из развалин доносился наш местный говор — такие привычные интонации и зовущий крик: «Дуилио, Северино!» Странные, забавные имена.

От многих домов, в которых я когда-то жил, ничего не осталось. Люди говорили о фронте, о пещерах Сан-Марино, где все укрывались от бомбежек, и мне было неловко оттого, что катастрофа обошла меня стороной.

Потом мы бродили по городу, хотелось посмотреть, что все же уцелело. Совсем не пострадала маленькая средневековая площадь, где мы устраивали свои «битвы». Среди всех этих развалин она казалась декорацией архитектора Филиппоне в Чинечитта.

Меня поразила активность людей, нашедших себе приют в деревянных бараках: они уже обсуждали планы строительства пансионов и гостиниц, гостиниц, гостиниц... Что за поразительная страсть к строительству домов.

На площади Юлия Цезаря нацисты повесили трех риминцев. Теперь здесь лежали на земле цветы.

Помню, я реагировал на все это как-то по-детски. Разрушения казались мне несоразмерно большими. Как же так, нет больше здания Политеамы, нет того дерева, того дома, квартала, кафе, школы! Мне представлялось, что уважение к некоторым вещам должно было удержать от подобных крайностей. Да, война — это война, но зачем же разрушать все подчистую?

Потом мне показали большой макет города, выставленный в витрине. Ходили разговоры, что американцы обещали все восстановить за свой счет, в порядке возмещения убытков. И этот макет был прообразом будущего Римини. Горожане разглядывали его. Потом говорили: «Похоже на американский город. А кому он нужен, американский-то?»

Возможно, что мысленно я уже раньше вычеркнул Римини из своей жизни. Война же сделала это фактически. В то время мне казалось, что, поскольку исправить уже ничего невозможно, все должно так и остаться навсегда.

Между тем свой Римини я вновь нашел в Риме. Римини в Риме — это Остия.

До того вечера меня никогда не тянуло в Остию. Я слышал, что люди назы-

вали ее «пляжем, созданным по приказу дуче», слышал, что, мол, «теперь у Рима тоже есть море», и одно это вызывало во мне чувство антипатии к Остии. Кстати, живя в Риме, я даже не знал, в какой стороне море.

Вечерами — уже было введено затемнение, и автобусы ходили тихо, с защитными синими фарами,— в полумраке Рим еще больше, чем обычно, походил на большую заброшенную, захолустную деревню. Мы с Руджеро Маккари [1] и группой коллег что-то весело отмечали в одной из пиццерий. Выпили, конечно, и в помещении нам показалось тесно. И тут, в разгар хмельного веселья, Руджеро вдруг сказал: «Все за мной. Поехали на трамвае!»

Выйдя из трамвая после ночной поездки, я вдруг почувствовал, что воздух стал как-то свежее. Мы были в Остии. Пустынные аллеи, колышущиеся на ветру высокие деревья, а за бетонной балюстрадой, как в Римини,— море. Оно казалось черным. Во мне проснулась тоска по Римини, была в этом моем открытии какая-то тайная радость, радость от мысли, что рядом с Римом есть местечко — ну настоящий Римини.

Часто, отправляясь на прогулку, я бессознательно вывожу свою машину на дорогу, ведущую в Остию. В Остии я снимал «Маменькиных сынков», потому что она для меня — воображаемый Римини и даже больше похожа на мой родной город, чем нынешний настоящий Римини. Остия воспроизводит Римини, как театральная декорация,— театральная и потому безобидная. Это мой город, почти очищенный, свободный от всяких личных настроений, обид и неожиданностей. В общем, это словно бы восстановленный декораторами город моей памяти, в который можно вернуться — как бы это сказать поточнее? — только туристом, так, чтобы он тебя не засосал.

«В настоящий момент в Римини есть 1500 отелей и пансионов, более 200 баров, 50 дансингов, пляж протяженностью 15 километров. Ежегодно к нам приезжает полмиллиона гостей. Половина из них — из-за рубежа. Ежедневно здесь приземляются самолеты из Англии, ФРГ, Франции, Швеции...»

Я снова в Римини — этого потребовала работа над книгой [2]. А сведения о городе сообщает мне сын моего школьного товарища. Да, теперь уже встречаются наши дети. «Ты помнишь Антея, носильщика с нашего вокзала? Теперь он владелец нескольких отелей». «Мои крестьяне,— говорит Титта,— бросили землю и построили четыре отеля с ресторанами в Барафонде». «Ты видел наш небоскреб?» «Один здешний деятель создал целую сеть отелей и на холмах, где приезжие могут отдыхать весной и осенью, и в горах — для зимнего отдыха. Он, видите ли, не желает расставаться со своими летними клиентами и держит их при себе круглый год».

[1] Маккари Руджеро (род. в 1919) — итальянский писатель-юморист.

[2] «Мой Римини» («La mia Rimini»), Болонья, 1967 г.

Открывающемуся передо мной Римини не видно конца. Прежде город со всех сторон обступала темнота, и тянулась она на многие километры; вдоль побережья проходила только одна, да и та разбитая, дорога. Изредка, словно призраки, возникали здания «фашистского стиля» — так называемые «морские лагеря». Зимой едешь, бывало, на велосипеде в Ривабеллу, и слышно, как в окнах этих домов свистит ветер: ставни растаскивали на дрова.

Теперь темноты нет вообще. Зато есть пятнадцатикилометровая цепь отелей и светящихся вывесок и нескончаемый поток сверкающих автомашин, этакий Млечный Путь из автомобильных фар. Свет, всюду свет: ночь исчезла, отступила в небо, в море. Светло даже в деревне, в каком-нибудь Ковиньяно. Там сейчас открыли роскошнейший ночной клуб, каких не увидишь и в Лос-Анджелесе или в Голливуде, и находится он как раз на месте прежних крестьянских гумен, где раньше только собаки лаяли. А теперь эти места напоминают восточные сады: музыка, джук-боксы [1], многолюдье, мелькание ослепительных картинок, страна забав. Лас-Вегас.

Я видел отели из стекла и меди, а за стеклами — танцующих, видел людей, сидящих на террасах, магазины, универмаги — огромные, освещенные лампами дневного света, открытые всю ночь, а в них — готовое платье, самые модные вещи, добравшиеся уже и сюда,— настоящая Карнаби-стрит [2], поп-арт, ночные рынки с самыми невероятными консервами (ризотто по-милански с шафраном!). Всюду царила атмосфера фальши и благополучия, и еще — беспощадная конкуренция: в некоторых пансионах за тысячу с лишним лир тебе давали и завтрак, и обед, и ужин, и комнату, и кабину у моря. Все за какую-то горстку монет.

Я уже перестал понимать, куда я попал. Разве не стояла на этом месте новая церковь? А куда девался проспект Триполи? Неужели мы в Римини? И опять меня охватило то же чувство, какое я испытал, вернувшись сюда сразу после войны. Тогда я увидел сплошные развалины. Теперь с таким же смятением я смотрел на сплошное море света и стекла.

Фотограф Мингини, удовлетворенно посмеиваясь над моим изумлением, гнал машину, чтобы показать мне еще и аквариум, и самые красивые здания Гранд-отеля, и новые кварталы. То и дело я слышал: «Три месяца назад на этом месте ничего не было, а теперь такой-то приобрел участок и на другом берегу реки. Уже есть проект строительства над Мареккьей четырех небоскребов, объединенных бетонным кольцом,— это

[1] Juke-box — музыкальный автомат *(англ.)*.

[2] Карнаби-стрит — улица в Лондоне, известна магазинами молодежной моды.

будет гараж на две тысячи автомобилей». На огромном кольце, которое обовьет небоскребы как венок, высадят деревья: гуляя по нему, можно будет подниматься вверх. Прямо комикс в духе Флеша Гордона: дворец царя меркуриан Рибо.

Люди, съехавшиеся сюда со всего света, продолжали заходить в магазины и среди ночи (лица их от реклам и вывесок становились желтыми, красными, зелеными), чтобы купить подкрашенное мороженое, рыбу, привезенную из Испании, плохо приготовленную пиццу. Они совсем не спали, потому что музыкальные автоматы были у них даже под кроватью, неумолчное завывание певцов-крикунов и электрогитар оглушало гостей непрерывно, на протяжении всего сезона. И день переходил в ночь, а ночь в день без всякой паузы. Один сплошной день продолжался четыре месяца подряд, как на Северном полюсе. У Мингини глаза блестели от удовольствия. «Ты уехал в Рим,— сказал он,— а здесь-то, здесь...» Он был прав. Я чувствовал себя чужаком, обойденным, какой-то козявкой. Я присутствовал на празднике, который был уже не для меня: по крайней мере, для участия в нем не оставалось больше ни сил, ни желания. И тщетно было ждать, когда стемнеет, чтобы отправиться на поиски какого-нибудь уголка, сохраненного памятью. Шумное веселье не кончалось. Там, в верхних этажах домов, над кронами деревьев, виднелись освещенные окна, из них вырывалась магнитофонная музыка. На молу, где прежде было совсем уж темно и где за гранитными глыбами находили себе приют обнимающиеся парочки, теперь тоже гремела музыка, компании шведов веселились на террасах рыбных ресторанов. По другую сторону мола, где когда-то можно было разглядеть лишь редкие мерцающие фонарики рыбачьих лодок, сейчас змеились гигантские гирлянды огней.

Наконец, мы расположились на террасе риминского Городского клуба. Приехавший сюда с нами Титта вдруг странно притих. А я почему-то вспомил, как еще до войны мы с Титтой ходили в кружок любителей драматического искусства и там шарили по карманам пальто самодеятельных артистов. И даже украли семьдесят три лиры, которые позволили нам всю зиму лакомиться пирожными и шоколадом. Но однажды мы услышали, как владелец пальто сказал: «Ну, попадись мне эти двое, что сперли у меня семьдесят три лиры, я им ... оторву!» А мы в этот момент сидели в каком-нибудь шаге от него, заслонившись страницами прикрепленной к планке «Иллюстрационе итальяна».

И вот теперь Титта, глядя на это море людей, для которых не существовало ночи, вдруг встрепенулся и чуть насмешливо спросил: «Скажите-ка, синьор Феллини,— вы же любите во все вникать,— что все это значит?» И заторопился домой, спать: утром у него разбиралось какое-то дело в Венеции. Мингини решил его проводить.

Я остался один. Тихо было лишь в старой части города, да и света там было поменьше. Медленно ведя машину по улицам, я увидел в одном из маленьких кафе человека в майке. Это был Демос Бонини, мой компаньон по фирме «Феб»,— сейчас он недурно гравирует на меди. Бонини курил, а рядом с ним сидел Луиджино Дольчи, «укротитель коней Гектор». Оба держали между колен по бутылке содовой. Демос, должно быть, рассказывал что-то смешное, потому что Луиджино смеялся, качая головой, и утирал слезы кулаками — совсем как в школе.

Продолжая кружить по городу, я два или три раза проехал мимо моего отеля. Спать не хотелось. И я отдался спокойному и праздному течению мыслей. В душе шевелилось смутное чувство горького недоумения: каким образом все, что я уже привел в порядок, рассортировал и упрятал в архив, вдруг выросло до гигантских размеров, выросло, не спросив у меня ни разрешения, ни совета? Я даже, кажется, чувствовал себя обиженным! Рим мне представился вдруг более уютным, маленьким, обжитым, домашним. Короче — более моим. Мной даже овладело чувство какой-то нелепой ревности. Хотелось спросить у всех этих шведов и немцев: «Да что в конце концов хорошего вы здесь нашли? Зачем вы сюда приезжаете?»

Но тут двое каких-то парнишек знаком руки попросили их подвезти. Я открыл дверцу машины. Ребята держались очень вежливо, скромно. У одного из них были длинные белокурые локоны. У другого чуть не до самого носа доходила детская челка; на нем были оранжевые бархатные брюки и рубашка, отделанная кружевами какого-нибудь восемнадцатого века.

Поскольку оба сидели не открывая рта, трудно было понять, откуда они — из Стокгольма, Амстердама или, может, из Англии. Наконец, я спросил: «Вы откуда?» — «Из Римини»,— ответили ребята. Удивительно, до чего же они все одинаковые, у всех у них одна общая родина.

«Вы можете высадить нас здесь?»— спросили ребята немного погодя. Когда я открыл дверцу, музыка, которую слышно было еще издали, стала оглушительной. Она неслась со стороны полей, оттуда, где светилась вывеска: «Мир иной». Ребята поблагодарили меня и направились ко входу. Немного поколебавшись, я оставил машину и последовал за ними. Фасадом это заведение смотрело на дорогу, а позади была обширная утрамбованная площадка, уходившая куда-то вдаль, в поля, где к музыке примешивался запах сена. Под большим, похожим на цирковой, шатром находился ночной клуб, там танцевали тысячи юношей и девушек.

Меня они не замечали. Мы для них— никто, что-то вроде гарибальдийцев на пенсии, и наши дела их не интересуют. Пока мы обсуждали проблемы перехода от неореализма к реализму, спорили

о качествах кинокамеры «пансинор» и т. д., эта молодежь потихоньку выросла и вот теперь стала перед нами лагерем, как армия нагрянувших внезапно инопланетян — загадочных, игнорирующих нас.

Я сел за один из столиков. Рядом парень ласкал девушку, целовал ее, нежно щекотал ей нос. По всему было видно, что это его девушка. Потом пришел другой парень из той же компании и сел на место первого, который отправился за арбузом. Меня удивило, что второй парень обращался с девушкой точно так же, как ушедший. Вскоре первый вернулся и стал есть арбуз,. поглядывая, как приятель целует его девушку. Наконец, приятель ушел, растворился среди танцующих, а я придвинулся к парню и, надеясь понять, как он терпит столь явную измену, спросил: «Разве эта девушка не твоя?» — «Нет, не моя,— ответил он.— Просто ей нравится быть со мной».

II

До лицея я никогда не задумывался над тем, какому занятию посвящу свою жизнь; мне не удавалось представить себя в будущем. Профессия, думал я,— это нечто неизбежное, как воскресная месса. И я никогда не загадывал: «Вот вырасту и буду тем-то или тем-то». Я думал, что вообще никогда не стану взрослым. В сущности, не так уж я и ошибся.

Со дня своего рождения и до момента, когда я впервые попал в Чинечитта́, за меня жил кто-то другой — человек, который лишь изредка, причем тогда, когда я меньше всего этого ожидал, одаривал меня какими-то обрывками своих воспоминаний. И потому я должен признаться, что в моих фильмах-воспоминаниях воспоминания от начала и до конца выдуманы. Впрочем, что от этого меняется?

Так вот. В детстве я сам мастерил себе марионеток. Сначала рисовал на картоне фигурки, потом вырезал их, приделывал к ним головы, слепленные из глины или из пропитанной клеем ваты. Напротив нас жил один здоровенный дядя с рыжей бородой. Он был скульптором и частенько с любопытством заглядывал в продовольственный склад моего отца, где его приводили в восторг черные и пузатые сыры «пармиджано». Он утверждал, что это «произведения чистого искусства», и все уговаривал отца одолжить ему парочку — для вдохновения, но отец обычно переводил разговор на другое. Однажды скульптор увидел, как я, сидя в уголке, с чем-то вожусь, и научил меня пользоваться жидким гипсом и пластилином. Я даже краски делал себе сам, дробя и растирая кирпич. В одном из переулков, по которому я обычно ходил к своему репетитору (а с репетитором мне приходилось заниматься круглый год, так как в школе я ничего не усваивал), жил Амедео — маленький беззубый человечек, который, напевая что-то себе под нос, мастерил превосходные вещи из кожи. Амедео относился ко мне с симпатией и дарил обрезки кожи, валявшиеся у него под столом. Чуть подальше жили два столяра — близнецы, которые только тем и отличались друг от друга, что один был глухим, а другой постоянно насвистывал. В их мастерскую я тоже любил заглядывать, и они давали мне плашки мягкого дерева. В общем, если вспомнить, то можно, пожалуй, сказать, что фантазия у меня всегда как-то связывалась с ручным трудом.

Меня никогда не занимали никакие игры, кроме марионеток, красок и изготовления объемных картинок-раскладок, которые я сам рисовал на тонком картоне, вырезал и склеивал. И все. Ни разу в жизни я не наподдал ногой мяча. Мне нравилось также, запершись в туалете, часами пудрить себе лицо, приделывать усы и бороду из пакли, наводить жженой пробкой баки и мефистофельские брови.

Да и в кино, мальчишкой, я бывал нечасто. Обычно у меня не было на это денег, мне их не давали. Кроме того, в кинотеатре «Фульгор», куда я обычно ходил, могли и поколотить. На местах «для простой публики», то есть на расставленных перед самым экраном расшатанных скамьях, во время некоторых сцен в приключенческих или военных фильмах между мальчишками вспыхивали яростные потасовки: все орали, норовили ударить друг друга башмаком по голове, катались под скамейками. Дело завершалось вмешательством «Ушацы» — злобного верзилы, бывшего боксера, бывшего уборщика пляжа, бывшего рыночного грузчика. Теперь он носил красную феску и целлулоидный козырек и работал капельдинером в кинотеатре. Расправлялся он с нами просто как бандит.

Мое первое воспоминание о кино связано, пожалуй, с фильмом «Мацист в аду». Я сидел на коленях у отца в битком набитом зале; было жарко, пахло дезинфекцией, от нее першило в горле и немножко мутило. В этой слегка одурманивающей атмосфере на меня, помню, произвели впечатление желтоватые изображения с множеством больших тетенек. Остались у меня в памяти и диапозитивы, которые показывали нам священники в просторной комнате с деревянными скамьями,— это были черно-белые изображения церквей, Ассизи, Орвьето. Но особенно запомнились мне киноафиши: они меня просто зачаровывали. Как-то вечером я с одним своим другом, вооружившись лезвием «жилетт», вырезал из афиши изображение актрисы Эллен Майо, казавшейся мне необыкновенно красивой. Это был фильм с Маурицио Д'Анкора[1], по-видимому «Венера»: герой клал голову на рельсы,

[1] Маурицио Д'Анкора — киноактер, снимался с 1929 по 1946 год.

а потом в кадре возникало огромное лицо Эммы Граматики [1]. Она произносила: «Нет!» — и герой поднимал голову, просто так, в силу телепатии.

Я не знаю классиков кино — Мурнау, Дрейера, Эйзенштейна. К стыду своему, я никогда не видел их фильмов.

Приехав в Рим, я стал ходить в кино чаще — каждую неделю или раз в две недели, когда не знал, как убить время, и еще — если после фильма выступали артисты варьете. Моими излюбленными кинотеатрами были «Вольтурно», «Фениче», «Альчоне», «Бранкаччо». Варьете, как и цирк, всегда меня волновало. Кино для меня — это зал, гудящий голосами и пропахший потом, капельдинерши, жареные каштаны, «пипи» малышей, атмосфера светопреставления, катастрофы, облавы, суматоха, предшествующая эстрадному концерту; музыканты, занимающие свои места в оркестре, настройка инструментов, голос комика, шаги девушек за занавесом или люди, выходящие зимой через запасную дверь в переулок, немножко обалдевшие от холода,— кто напевает мотивчик из только что увиденного фильма, кто смеется, кто мочится в уголке.

И все же кино имело какое-то отношение к моему приезду в Рим: я пересмотрел множество американских фильмов, в которых весьма привлекательная роль отводилась журналистам. Названий этих фильмов я не помню — столько лет прошло,— но ясно, что показанная в них жизнь журналистов произвела на меня весьма сильное впечатление: в общем, я тоже решил стать журналистом. Мне нравились их пальто, манера носить шляпу, слегка сдвинув ее на затылок.

Какой это был год? 1938-й, 1939-й? Я работал репортером, и главному редактору газеты — он был к тому же еще и портным, разговаривал, держа в зубах булавки, да и вообще, казалось, состоял из одних ниток, ленточек, иголок — понадобилось интервью с Освальдо Валенти. Таким образом, однажды утром я впервые оказался в Чинечитта́. Мне хотелось выглядеть таким же раскованным, как Фред Макмюррей в роли журналиста, но в действительности я очень робел и, стоя на солнцепеке и разинув от удивления рот, глазел на башни, эскарпы, коней, темные накидки, закованных в железные латы рыцарей и самолетные пропеллеры, поднимавшие в нужных местах тучи пыли. Призывы, вопли, заливистые трели свистков, грохот огромных колес, звон копий и мечей, Освальдо Валенти на каком-то подобии колесницы, ободья которой усеяны острейшими шипами; крики статистов, изображающих объятую ужасом толпу, зловещий, захватывающий дух хаос... Перекрывая всю эту сумятицу, какой-то мощный металлический голос отдавал приказания, звучавшие как приговор: «Красный свет — группа А атакует слева! Белый свет — группа «варвары» в панике бежит! Зеленый свет — всадникам поднять коней на дыбы и вместе со слонами идти в наступление! Группам Е и Ф упасть на землю! НЕ-МЕД-ЛЕН-НО!!!»

От тембра голоса, звучавшего через мегафон, от четких приказаний начинало даже казаться, что ты очутился на вокзале или в аэропорту в момент какой-то страшной катастрофы. Я только никак не мог понять, откуда доносится этот голос, и был немного встревожен: сердце билось учащенно. Потом, совершенно неожиданно, во внезапно наступившей тишине невероятно длинная стрела подъемного крана поплыла по воздуху и стала подниматься вверх, все выше, выше, вот она уже над постройками, над съемочными павильонами, над деревьями, над башнями — вверх, еще вверх, к облакам, и, наконец, остановилась в беспощадном свете заходящего солнца, слепившего миллионами своих лучей. Кто-то дал мне свой бинокль: там, более чем на километровой высоте, в кресле «фрау», прочно привинченном к площадке стрелы, в сверкающих кожаных крагах, с шейным платком из индийского шелка, в шлеме, с болтающимися на груди тремя мегафонами, четырьмя микрофонами и двумя десятками свистков сидел человек. Это был он. Это был режиссер. Это был Блазетти.

Тогда я думал, что не гожусь в режиссеры. У меня не было склонности к тираническому подавлению чужой воли, не было настойчивости, педантизма, привычки трудиться до седьмого пота и многого другого, а главное — властности. Все эти качества не свойственны моему характеру. С детства замкнутый мальчонка, я любил одиночество и был уязвим и чувствителен чуть не до обморока. Да и до сих пор, что бы там обо мне ни говорили, я очень робок. Ну можно ли было все это совместить с высокими сапогами, мегафоном, громкими приказаниями — традиционными аксессуарами кино? Быть режиссером фильма — это все равно что командовать матросней Христофора Колумба, которая требует повернуть назад. Куда ни глянь, вечно видишь лица осветителей с написанным на них немым вопросом: «Дотторе, неужели и сегодня вы заставите нас торчать здесь до самого вечера?..» Не проявишь немного властности, и тебя самого очень любезно выставят из павильона.

Я уже работал сценаристом, бывал на съемочной площадке, когда приходилось по ходу дела менять сцены и реплики, и все удивлялся, как это режиссеру удается держаться от актрис на приличном расстоянии. В такой кутерьме было трудно написать какой-нибудь диалог; меня страшно раздражала необходимость коллективной работы, когда все сообща что-то делают и при этом разговаривают во весь голос. А кончилось дело тем, что сейчас хорошо работать я могу только в сутолоке, как в те времена, когда я был журналистом и писал статьи в последнюю минуту, не обращая внимания на редакционный хаос.

Мне были больше по душе съемки не в павильоне, а на натуре. Подлинным

[1] Эмма Граматика (1875—1965) — известная актриса итальянского театра, кино и телевидения.

новатором в этом деле был Росселлини. Благодаря работе с ним, нашим поездкам во время съемок его картины «Пайза» я открыл для себя Италию. До того времени я видел не так уж много — Римини, Флоренцию, Рим и несколько южных городков, куда меня заносило вместе с эстрадными труппами; это были селения и городки, погруженные в ночь средневековья, они мало чем отличались от селений и городков моего детства, разве что люди говорили там на других диалектах. Мне нравилось умение Росселлини превращать работу над фильмом в приятное путешествие, в загородную прогулку с друзьями. По-моему, в этом как раз и было семя, давшее добрые ростки.

Сопровождая Росселлини во время съемок фильма «Пайза», я вдруг ясно понял — какое приятное открытие,— что фильм можно делать так же свободно, с такой же легкостью, с какой ты рисуешь или пишешь, делать его день за днем, час за часом, наслаждаясь, мучаясь и не слишком заботясь о конечном результате; что здесь завязываются такие же тайные, мучительные и волнующие отношения, какие складываются у человека с его собственными неврозами; и что сложности, сомнения, колебания, драматические ситуации и напряжение сил в кино примерно такие же, какие приходится преодолевать художнику, который добивается на полотне определенного тона, или писателю, который зачеркивает и переписывает, исправляет и начинает все сызнова в поисках единственного верного образа — ускользающего и неосязаемого, скрывающегося среди тысячи возможных вариантов. Росселлини искал свой фильм, гонялся за ним по дорогам, не обращая внимания на танки союзников, проходившие в каком-нибудь метре от него, на людей, которые высовывались из окон, что-то кричали и пели; на сотни каких-то типов, шнырявших вокруг в надежде что-нибудь нам всучить или что-нибудь у нас стащить, сначала в этом раскаленном аду, в этом вселенском лазарете — Неаполе, а потом и во Флоренции, и в Риме, и в бескрайних болотах у реки По; невзирая на всевозможные трудности, на то, что полученные разрешения в последний момент аннулировались, планы срывались, а деньги непонятным образом таяли; не обращая внимания на увивавшихся вокруг и связывавших его по рукам и ногам самозваных продюсеров, которые с каждым днем становились все более алчными, капризными, лживыми, готовыми на любую авантюру.

...Так вот, у Росселлини я, пожалуй, научился (процесс этот никогда не облекался в словесную форму, никогда не носил характера какой-то программы) умению сохранять равновесие и идти вперед в самых сложных и неблагоприятных условиях; и еще я перенял у него естественную способность оборачивать даже эти сложности и противоречия себе на пользу, перерабатывая их в чувства, в эмоциональные ценности, в определенную точку зрения. Да, именно так работал Росселлини: он жил жизнью своего фильма, относясь к ней как к удивительному приключению, которое нужно в одно и то же время и переживать, и отображать. Его свободное, непринужденное обращение с действительностью, всегда внимательное, ясное, пристрастное отношение к ней, его умение естественно находить неосязаемую и точную грань, отделяющую безразличие от отчужденности, от неуместного соучастия, позволяло ему охватывать и рассматривать реальную действительность во всех ее измерениях, видеть вещи одновременно и изнутри и снаружи, снимать на пленку сам воздух, окружающий их, раскрывать все самое неуловимое, сокровенное, волшебное, что есть в жизни. Это ли не настоящий неореализм? Вот почему, когда речь заходит о неореализме, ссылаться можно только на Росселлини. Остальные создавали просто реалистические, веристские [1] произведения или пытались свести свой талант, призвание к некой схеме, рецепту.

Даже в последних фильмах Росселлини, которые он снимал либо потому, что уже получил аванс, либо потому, что его увлекла какая-то идея, которую он тут же забыл, так вот, в фильмах, порой для него обременительных, делавшихся без всякой охоты, даже в них всегда присутствуют элементы, в которых угадываешь его глаз, его ощущение действительности, схваченной в постоянстве и неотвратимости, в первозданной трагичности — трагичности почти священной именно потому, что она маскируется мучительной обыденностью самых банальных поступков, самых распространенных привычек, самых простых вещей. Казалось, достаточно Росселлини бросить свой легкий, рассеянный взгляд на какую-нибудь ужасную ситуацию, чтобы навсегда сохранилась неизменной ее впечатляющая сила: словно ужас этот сам находил для себя пищу в откровенной бессознательности обращенного на него взгляда. И такой взгляд, такая манера смотреть на вещи пришлись как раз на период, когда все происходившее само по себе уже было историей, то есть готовым повествованием, готовым образом, готовой диалектикой. И пока реальная действительность оставалась тяжкой, неустроенной, неустойчивой, трагичной послевоенной действительностью, сохранялась и какая-то чудесная связь между нею и холодным взглядом наблюдавшего ее Росселлини.

Потом, когда положение изменилось и такая манера, такой способ смотреть на вещи стали нуждаться в большей углубленности, поскольку сама действительность становилась все сложнее, все скрытнее и утрачивала свою внешнюю

[1] Веризм — от итал. vero (правдивый) — реалистическое направление в итальянской литературе и изобразительном искусстве конца XIX века, близкое к натурализму.

драматичность, Росселлини, который был так влюблен в жизнь, которому так нравилось жить с риском, полноценно, не сдерживаясь и ни от чего не отказываясь, по-видимому, решил, что не участвовать в жизни лишь ради того, чтобы иметь возможность смотреть на нее со стороны, размышлять, раздумывать над ней, фиксировать ее взглядом, сохранившим все ту же чистоту, все ту же остроту,— слишком дорогое удовольствие. И тогда он, вероятно, подумал, что жизнь все же стоит прожить самому; не следует оставаться вне ее, совершенствуя или сберегая в целости и неприкосновенности свое орудие восприятия, предохраняя его от помутнения, от близорукости страстей, желаний, алчности. Подумал, но не сделал и как бы вступил в спор с этой частью самого себя, отринул ее, отказался от нее, заявив, что она — эта часть его самого — незрелая, инфантильная, порочная, аристократичная и вообще никому не нужна.

Но в его настойчивом стремлении утверждать — что он и делал на протяжении нескольких лет — свое несогласие, свое презрение ко всему, не носящему откровенно дидактического характера, есть, по-моему, и элемент ностальгии, обиды и растерянности, словно он понимал, что чему-то изменил, что-то предал. Но возможно, что это мое толкование абсолютно субъективно, что оно — всего лишь отражение, и тоже искаженное, растерянности и ностальгии человека, который не сумел или не смог стать другим.

Росселлини был для меня чем-то вроде столичного жителя, который помог мне перейти улицу. Не думаю, чтобы он оказал на меня глубокое влияние — в том смысле, какой вкладывается обычно в это слово. Я признаю за ним, по отношению к себе, известное первородство — как первородство Адама; он был своего рода прародителем, от которого произошли мы все. Определить со всей точностью, что именно я от него унаследовал, нелегко. Росселлини помог мне перейти от смутного периода абулии [1], движения по замкнутому кругу, к этапу кинематографа. Моя встреча с ним и фильмы, которые мы делали вместе, важны для меня; это было чем-то вроде дара судьбы и произошло без всякого расчета или сознательного стремления с моей стороны. Просто я созрел для дела, а рядом оказался Росселлини.

Когда впоследствии я сомневался и колебался, не зная, браться ли за предложенную мне первую режиссерскую работу, именно эти милые моему сердцу воспоминания придавали мне храбрость.

III

С каких философских позиций вы подходите к работе над фильмом? Какую задачу ставите перед собой, снимая его? Есть ли у вас какая-то иная, скрытая, цель, кроме стремления развлечь публику?.. Я никогда не знаю, что отвечать на такие вопросы. Мне кажется, фильмы я делаю потому, что не умею делать ничего другого, да и сами обстоятельства как-то очень спонтанно, очень естественно подводили меня к осознанию этой неизбежности. Как я уже говорил, мне никогда не приходило в голову, что я стану режиссером, но с первого же дня, с первого же раза, когда я крикнул: «Мотор! Начали! Стоп!» — мне показалось, что я этим занимался всегда и ничего другого делать просто не могу: Это был я сам, это была моя жизнь. Вот почему, делая фильмы, я стремлюсь лишь следовать своей природной наклонности, то есть рассказывать средствами кино всякие истории, созвучные моему образу мыслей, истории, которые я люблю придумывать, закручивая в один запутанный клубок и правду, и фантазию, и желание поразить, исповедаться, самооправдаться, и откровенную жажду нравиться, привлекать к себе внимание, морализировать, быть пророком, свидетелем, клоуном... смешить и волновать. Требуется еще какая-нибудь побудительная причина? «Огни варьете» я задумал и прочувствовал как свой собственный фильм; в нем были воспоминания — и подлинные, и вымышленные — о тех временах, когда я разъезжал по

Джельсомина («Дорога») — рисунок с обложки книги[1]

[1] Рисунки к книге работы Федерико Феллини.

[1] Абулия — болезненное безволие, отсутствие желаний и побуждений к деятельности.

Италии с группой эстрадных артистов. Это были первые кинозарисовки той итальянской провинции, которую я увидел когда-то из окон вагонов третьего класса или из-за кулис жалких театриков в крошечных селениях, лепившихся на открытых всем ветрам макушках гор или утопающих в тумане мрачных долин. Фильм мы ставили вдвоем — Латтуада и я. Главным был Латтуада с его способностью принимать решения, с профессиональной уверенностью, которую придает опыт, со свистком в руках и с режиссерской шляпой. Это он командовал: «Мотор! Начали! Стоп! Всем уйти! Тихо!» Я же находился с ним рядом, занимая весьма выгодную позицию человека, ни за что не несущего ответственности. А с «Белым шейхом» все шло как-то странно.

Продюсер Карло Понти купил у Антониони короткий сюжет — всего три или четыре странички — о мире фотороманов: на эту тему у режиссера уже был документальный фильм «Милые обманы».

Делать фильм — я имею в виду сам процесс его постановки — по тем временам было целым событием. Впрочем, разве сегодня это не так?

Понти предложил Пинелли [1] и мне написать сценарий. Позднее к нам должен был присоединиться еще и Флайяно [2].

Мы намеревались снять ироничный и пронизанный чувством горечи фильм о романтических и сентиментальных иллюзиях, которые сеял в душах людей придуманный мир комиксов.

Как-то Пинелли сказал мне: «А почему бы нам не показать историю новобрачной, которая убегает из дому, чтобы познакомиться со своим любимым киноартистом?» Я, словно пума, вцепился в эту идею: «Тогда пусть она убегает во время свадебного путешествия!» Потом мы уже вместе добавили эпизод посещения папы римского, сцены с грозными родственниками, комический героизм покинутого супруга, пытающегося скрыть свой позор. Однако на Антониони история в том виде, в каком преподнесли ее мы, не произвела впечатления, он слушал молча, качал головой, в общем, явно сомневался. Тогда за дело взялся другой продюсер — комендаторе Мамбронио — здоровенный миланец с седыми прилизанными волосами, с очками в золотой оправе и с улыбкой человека, умудренного жизненным опытом. Не было большего удовольствия для Мамбронио, чем собрать за своим столом сценаристов и довести до их сведения, что он просто не представляет себе, как можно жить в квартире, где нет хотя бы трех ванных комнат. После чего он молча заглядывал нам в глаза, надеясь прочесть в них недоверие, но мы, жившие надеждами на аванс или гонорар, изображали на своих лицах лишь полнейшее восхищение. Затем Мамбронио, заявив, что обувь следует покупать только в Лондоне, несколько непоследовательно добавлял, что, если бы его «синьора» вышла к столу с ненакрашенными губами, он от возмущения снял бы... пиджак. Затем он бросал еще один суровый взгляд в нашу сторону, на который мы отвечали все теми же изъявлениями восторга. И вообще комендаторе Мамбронио вечно всех учил правилам хорошего тона, охотно раздавал советы на все случаи жизни и адреса магазинов, а сам лезвием «жилетт» разрезал каждую сигарету на четыре части и складывал их в малюсенькую коробочку, так и ожидая, что кто-нибудь не выдержит и спросит: «Комендаторе, а для чего вы их режете?» Тогда он со снисходительной улыбкой человека, много повидавшего на своем веку, смог бы ответить: «А для того, чтобы меньше курить, друг мой»,— и добавить своим хорошо поставленным голосом дублера: «И вам советую делать так же». Зато все пальцы у него были в порезах.

В общем, Мамбронио купил наш сюжет у Понти, намереваясь поручить постановку Латтуаде, потом сценарий еще долго переходил от одного продюсера к другому, пока, наконец, не оказался на столе у Луиджи Ровере, который однажды, взглянув на меня с неприязнью, сказал: «А почему бы тебе самому не сделать этот фильм? Ведь поработал же ты пару дней над картиной «Закрытые ставни» и справился вполне прилично».

Фильм «Закрытые ставни» должен был снимать в Турине Джанни Пуччини [1], но у него начался приступ тяжелой меланхолии, и Ровере отправил в Турин меня — помочь режиссеру, пока на смену ему не пришлют Коменчини [2]. Я отснял несколько небольших сценок на набережной По, потолкался среди людей, с любопытством наблюдавших за нашей работой, но не очень охотно вступавших в разговоры. А мне было все равно: какой с меня, временного, спрос? И едва Коменчини приехал, я отбыл в Рим. Но Ровере настаивал: «Да ладно тебе, возьмись, сделай сам! Ну как не стыдно?» Ровере был удивительно похож на одного моего дядюшку из Гамбеттолы, который не в пример всем моим деревенским родственникам внушал мне чувство этакого опасливого почтения. Он не верил ни единому моему слову; стоило мне открыть рот, как дядя сразу, даже не взглянув на меня, заявлял: «Не верю. Все это враки». С другой стороны, сюжет мне нравился, да и приключенческие комиксы были моей страстью. Разве я не работал в издательстве «Нербини», когда там шли приключенческие серии, разве не я писал тексты для комиксов Флеша Гордона, когда издатель решил запустить их в Италии?

[1] Пинелли Туллио (род. в 1898 г.)—итальянский драматург и киносценарист.
[2] Флайяно Эннио (род. в 1910 г.)—итальянский писатель, критик, киносценарист.

[1] Пуччини Джанни — итальянский кинорежиссер (род. в 1908 г.).
[2] Коменчини Луиджи — итальянский кинорежиссер (род. в 1916 г.).

А фанатичные поклонники кинозвезд вызывали мое любопытство еще в те времена, когда я сотрудничал в журналах «Чинемагадзино» и «Чинеиллюстрато», вел рубрику «Почта читателей» и в заметках, которые подписывал псевдонимом «Арамис», откликался на читательские исповеди, исполненные мечтаний и восторгов. В общем, этот мир я знал хорошо.

Вот так однажды утром я, к собственному удивлению, оказался в павильоне, где должен был отснять первые пробы, и, прильнув к видоискателю, смотрел на изумленное лицо Леопольдо Триесте[1], который в свою очередь пытался разглядеть меня за кинокамерой. Надо сказать, что сначала на роль молодожена я хотел пригласить Пеппино Де Филиппо[2], но Ровере решительно замотал головой: «Он не принесет в кассу ни лиры». Возьми уж лучше Крокколо». Крокколо почему-то казался ему ужасно смешным, и даже сейчас, при одном упоминании этого имени, Ровере смеялся до слез. Как знать, возможно, мне и пришлось бы уступить, не очутись я однажды по ошибке в просмотровом зале «Текностампы». Там на экране тянулась одна нескончаемая сцена: шел просмотр отснятого за день материала к какой-то псевдомексиканской картине с весьма драматическим религиозным сюжетом; в ней рассказывалось о жизни одного священника, принявшего страдания за веру. Называлась она «На пути к Гваделупе». В кадре была беспредельная, уходящая за горизонт песчаная равнина, по которой двигалась, незаметно, но неуклонно приближаясь, черная точечка. Точечка постепенно увеличивалась, было ясно, что она должна вырасти до крупного плана, но сколько для этого понадобится времени! Вот уже можно разглядеть человека в пончо и в широкополой шляпе. В темном зале кто-то произнес: «Вот. Это он, отец Бирильо». И тут, наконец, показали крупным планом священника-страстотерпца. Он медленно поднял голову: под полями сомбреро я увидел недоуменно улыбающуюся физиономию Леопольдо Триесте. Мне пришлось заткнуть рот бархатной портьерой, чтобы не расхохотаться, я корчился в конвульсиях — так смеяться меня не заставлял даже Оливер Харди.

Первый день работы над «Белым шейхом» начался неудачно, просто даже плохо. Предстояли натурные съемки. Я выехал из Рима на рассвете. Когда мы с Джульеттой прощались, сердце у меня колотилось, как у человека, отправляющегося на экзамен. Я даже остановил свой «фиат-500» у какой-то церкви и зашел туда помолиться. В полумраке мне померещился катафалк, и я стал суеверно убеждать себя, что это плохое предзнаменование. Но в действительности никакого катафалка не оказалось, и вообще в церкви не было никого. Ни живых, ни мертвых. Я стоял там один, но, увы, не мог вспомнить хоть какую-нибудь молитву. Дав богу несколько туманных обещаний исправиться, я вышел из церкви с неспокойной душой.

Когда я выехал на автостраду, ведущую к Остии, спустил баллон; нужно было сменить его, но я понимал, что сам сделать этого не смогу, и стоял возле машины, в отчаянии сознавая, что опаздываю на свой режиссерский дебют. К счастью, мимо ехал грузовик, а его шофер-сицилиец был в хорошем настроении, так что баллон менять собственноручно мне не пришлось.

В Фреджене я явился без четверти десять, а встреча со съемочной группой была назначена на половину девятого.

Все уже погрузились на баржу, которая качалась на волнах в целом километре от берега и казалась мне далекой и недосягаемой. Пока меня везли туда на моторке, я совсем ослеп от солнца и наша группа уже не казалась недосягаемой — я вообще ее больше не видел, в голове была только мысль: «Что теперь делать?» Я не помнил сюжета фильма, вообще ничего не помнил, хотелось одного — бежать. Забыть. Но едва я занес ногу на веревочный трап, как все сомнения вдруг рассеялись. Я поднялся на баржу, протиснулся сквозь столпившихся артистов. Самому было любопытно, чем кончится дело. Мне, бывшему помощнику режиссера, бывшему сорежиссеру, который кинокамеры и не нюхал, в этот день нужно было снять сцену, способную смутить самого Куросаву: ведь съемка велась в открытом море. Как поймать в кадр объект, который находится в непрерывном движении и поминутно уходит за рамку? Даже пытаться это сделать было бессмысленно. Я и не стал пытаться. В тот первый день я так ничего и не снял. Члены съемочной группы косились на меня; их взгляды выражали гнев и презрение. Мне казалось очень трудным и даже вовсе невозможным втиснуть всю сцену в маленький глазок кинокамеры. Я пробовал припомнить, что делали в подобных случаях режиссеры, с которыми мне довелось работать в качестве сценариста. Но на память приходил главным образом Росселлини, неподражаемый, непредсказуемый Росселлини. Как бы поступил на моем месте Роберто?

К берегу мы плыли на катере. Слышалось только глухое постукивание мотора; все молчали, даже Сорди было как-то неловко за меня. Чувствуя на себе укоризненные взгляды, я делал вид, будто целиком поглощен мыслями о чрезвычайно важных вещах. Мне было ясно, что на вторую попытку рассчитывать не приходится, да мне и самому не улыбалась перспектива еще раз стать жертвой капризов моря. В десять часов вечера состоялось экстренное совещание в кабинете Ровере, который был со мной очень мил. «Ну что, погрелся немножко на солнышке? — спросил он.— Хорошо загорел, молодец. А я вот сразу облезаю, надо же!» Все были встревожены, но держались пока вежливо. Меня спросили, что я намерен делать завтра. «То, чего мы не делали

[1] Триесте Леопольдо — известный итальянский киноактер-комик.

[2] Пеппино Де Филиппо — известный итальянский комический актер, брат Эдуардо Де Филиппо.

сегодня,— ответил я и почувствовал, что успокаиваюсь.— Будем снимать морские сцены... на берегу». Тут директор картины выдал мне тираду, на которую я возразил: «А по-моему, можно...» Сам же я в этом вовсе не был уверен, что, однако, ничуть не поколебало моего совершенно необоснованного спокойствия. Затем я обратился к бригадиру постановщиков (мы с ним оба когда-то крутили роман с одной и той же девушкой, и он обычно поглядывал на меня добродушно-укоризненно) и сказал, что необходимо, чтобы судно с моими артистами стояло на берегу, а впечатление было бы такое, будто оно — в открытом море. Для этого потребуется срыть часть пляжа, так, чтобы она была ниже уровня воды. Выслушав меня, он сказал: «Попробовать, конечно, можно, только все-таки скажи, Федерико, кто из нас был у нее первый — я или ты?» Сцена получилась неплохо. А через неделю я рассорился с директором картины. Съемки велись в Риме, во дворце Барберини, а этажом выше проходил какой-то конгресс фармакологов.

Директор картины обратился ко мне как обычно: «Послушай, Фефеуччо...» Не знаю, какая муха меня тут укусила. Со мной приключился истерический припадок самодурства. Я орал: «Хватит крутить мне...» — я надрывал себе глотку, осыпая его оскорблениями, он же, обиженный и гордый, спускался по лестнице, а через перила верхнего этажа свешивались головки двух тысяч потревоженных фармакологов. В общем, я обеспечил себе единовластие, стал хозяином своего фильма и с того момента, ничего не смысля в объективах и в технической стороне дела, в общем, не разбираясь ровным счетом ни в чем, превратился в режиссера-деспота, всегда добивающегося своего, требовательного, придирчивого, капризного, наделенного всеми теми недостатками, которые я всегда ненавидел, и достоинствами, которым завидовал, глядя на настоящих режиссеров.

Директор картины не мог забыть нанесенных ему оскорблений и со следующего дня стал осуществлять контроль за работой над «Белым шейхом» на расстоянии, из своей «тополино», с помощью бинокля и нескольких курьеров, которым пришлось-таки попотеть. Обнялись мы с ним лишь в просмотровом зале после демонстрации готового фильма.

Спустя много лет мы снова работали вместе над «Сатириконом», на этот раз все обошлось благополучно.

Никто из кинопрокатчиков не хотел брать фильм «Маменькины сынки»: мы ходили как проклятые и упрашивали всех заключить с нами контракт. Страшно вспомнить некоторые просмотры. Каждый раз по окончании демонстрации фильма все бросали на меня косые взгляды и сочувственно пожимали руку продюсеру Пегораро — так выражают соболезнование жертвам наводнения в дельте По. Имен этих людей я не помню, а если и помню, то лучше их не называть.

Не могу забыть один просмотр, устроенный в два часа дня, летом, для президента какой-то крупной компании. Пружинистым шагом в зал вошел загоревший под кварцевой лампой брюнет с золотой цепочкой на запястье — тип торговца автомобилями, из тех, кто пользуется успехом у женщин. Мы прошли в очень удобный небольшой зал, весь размалеванный и яркий, как леденец. Хозяин во что бы то ни стало хотел, чтобы мы с Пегораро последовали его примеру и положили ноги на спинки кресел, стоявших впереди: ужасно неудобная поза. Фильм уже начали показывать, а он вдруг стал названивать по телефону, который был у него под рукой: как дела, что ты ела, приходи попозже, насчет этого дела мы еще поговорим... Потом раздался стук в дверь, и два грузчика внесли огромную статую обнаженной женщины, увитую кинопленкой, и он спросил у меня: «Вот вы, художник, скажите, как она на ваш взгляд?» Едва унесли статую, явилась секретарша с корреспонденцией, потом пришел бармен с чашечкой кофе. В какой-то момент фильм вдруг заинтересовал прокатчика, и он наклонился ко мне. Оказалось, он хотел узнать, какой марки машина, которую водил в фильме мой брат Риккардо, и тут же стал во весь голос посвящать нас в историю этой модели. Но вот фильм с божьей помощью окончился, и мы поднялись с мест. Сначала вышел наш хозяин, за ним — Пегораро, потом оба они удалились по коридору. Я только услышал слова прокатчика: «Ну что я могу тебе сказать... по-моему, в нем не хватает...» — при этом он сделал выразительный жест рукой, сжав пальцы щепотью и потерев их друг о друга.

В общем, фильм не взяли. Смотрели его еще в каком-то месте, но там не понравилось название «Маменькины сынки», и нам предложили другое — «Бродяги!» — вот так, с восклицательным знаком. Я сказал, что оно очень подходит, но посоветовал подчеркнуть содержащийся в нем вызов и записать на звуковую дорожку чей-нибудь грубый голос, который во всю мочь вдруг как заорет: «Бродяги!» Прокатчики приняли наше название только после того, как Пегораро дал им еще два фильма, на их взгляд, безусловно коммерческих. И еще от нас потребовали убрать из первых афиш и из титров первых копий имя Альберто Сорди: зрители от него бегут, говорили нам, он антипатичен, публика его терпеть не может.

Отношения между режиссером и продюсером почти всегда исполнены драматизма, во всяком случае, они редко выливаются в подлинное сотрудничество, а если сотрудничество все-таки налаживается, то бывает обычно весьма сдержанным, непрочным и неизменно приобретает характер изнурительного поединка; при этом в ход идут всевозможные ухищрения, удары ниже пояса, страст-

ные увещевания, грозные позы. Отношения режиссер — продюсер я считаю одними из самых комичных, неискренних и в корне порочных из-за их непоследовательности и непримиримых антагонистических противоречий. С одной стороны, здесь режиссер с его идеями и сюжетами, с другой — продюсер, который считает себя посредником между автором и публикой, причем верит в это с истовостью древнегреческих жрецов, не допускавших никакого контроля над их страстным диалогом с божеством. Продюсеры часто мнят себя непогрешимыми оракулами, которым ведомо все о вкусах и запросах зрителя, хотя почти всегда их представление о публике и их интуиция бывают совершенно абстрактными и отражают какую-то придуманную ими самими, несуществующую, фальсифицированную действительность. Если, скажем, какой-то фильм пользуется у зрителя успехом, продюсеры, подогреваемые нетерпеливой жаждой наживы, впадают в пароксизм неразумного детского упорства. После того как вышла «Сладкая жизнь» [1], то и дело находится какой-нибудь продюсер, горящий желанием уговорить меня либо сделать еще один вариант этого фильма, либо подновить его, либо снять продолжение: жила эта неистощима, поскольку число возможных комбинаций на основе существительного «жизнь» и прилагательного «сладкая» поистине огромно. Так было и после «Маменькиных сынков»: встретишься с тем же самым или с каким-нибудь другим продюсером, и после изъявления своих восторгов по поводу только что вышедшего фильма мой собеседник на мгновение замолкает, вроде бы задумавшись, а потом, с трудом скрывая надежду — не более реальную, чем породившая ее идея,— пускает «пробный шар»: «А что ты скажешь насчет «Тёлок»? [2] Или звонит несколько часов спустя, возбужденный, счастливый: «Муравьищи»! А? Каково?» И если спросишь: «Да кто они, муравьищи-то?» — в ответ слышишь: «Ну, это уж тебе лучше знать! Ты режиссер!» Они готовы были заплатить любую назначенную мной сумму, забыв, что еще совсем недавно делали все возможное, чтобы заставить меня отказаться от «Маменькиных сынков». После фильма «Дорога» [1] я тоже получил множество предложений, не имевших, однако, никакого отношения к картине «Мошенник» [2], над которой я тогда работал: они предлагали мне снять «Возвращение Джельсомины» или вообще что угодно, лишь бы в названии присутствовало это имя. Всем была нужна Джельсомина.

Кино — это ритуал, которому широкие массы сейчас подчиняются совершенно безропотно; следовательно, тот, кто делает фильмы для широкого потребителя, определяет направление образа мыслей и нравов, психологическое состояние целых народов, на которые повседневно обрушивают с экранов лавины изображений. Кинематограф отравляет кровь, как работа в шахте, он разъедает живую ткань, может обернуться своего рода кокаином, наркотиком, не выбирающим своих жертв и тем более опасным, что действует он скрытно, исподтишка. А с другой стороны, лично я нуждаюсь в продюсере. Не только потому, что вместе с продюсером появляется аванс, но и потому еще, что наличие продюсера побуждает меня оберегать фильм от всяких отклонений, от ловушек и интриг, выдаваемых за проявление заботы, от опасностей, которые начинают угрожать фильму с той самой минуты, когда принимается решение о его производстве. Эта постоянная защита фильма весьма благоприятно сказывается на его качестве; она закаляет режиссера, делает его еще более фанатичным, непреклонным и в то же время заставляет смотреть на фильм с разных точек зрения, как бы со стороны, подозрительно, с антипатией, как на причину, порождающую всевозможные трения, проблемы, огорчения... В общем, в создании фильма продюсер — фигура второстепенная, но у него есть своя мнимая необходимость и, как ни трудно это объяснить, своя безусловная полезность.

IV

Разве скажешь, как рождается идея фильма? Когда и откуда она приходит, какой иной раз непредсказуемый или запутанный путь проделывает?

Прошло двадцать пять лет с тех пор, как я снял «Дорогу», и теперь трудно припомнить, что и как было. Когда фильм снят, он словно уходит от меня навсегда, унося с собой все, в том числе и воспоминания. Если я и говорил, к примеру, что фильм может родиться из совершенно пустяковой детали, такой, скажем, как впечатление от какого-то цвета, чей-то засевший в памяти взгляд, музыкальная фраза, неотступно терзающая твой внутренний слух целые дни напролет, или что фильм «Сладкая жизнь» явился мне в образе женщины, идущей ясным утром по виа Венето в платье, делающем ее похожей на какой-то корнеплод,— ну вот, если я и говорю что-нибудь подобное, то сам не уверен в своей абсолютной искренности, и когда тот или иной приятель-журналист ссылается на эти мои высказывания, мне даже бывает неловко. Не думаю, чтобы в мире нашлось так уж много людей, считающих, что жизнь у них не удалась только из-за моей неспособности со всей точностью выразить связь между модным мешкообразным платьем той жен-

[1] «Сладкая жизнь», 1959 г.

[2] Фильм «Маменькины сынки» снимался и шел под названием «Vitelloni». В Италии словом «vitelloni» (телки, бычки) называют обычно молодых бездельников, лоботрясов.

[1] «Дорога», 1954 г.

[2] «Мошенник», 1955 г.

щины и фильмом, который я потом снял. А может, моя инстинктивная неприязнь к подобного рода разысканиям объясняется тем, что нередко изначальные мотивы творческого процесса — особенно если их, для придания веса аргументации, слишком прямолинейно и прочно привязывать к логике строгого семантического анализа — начинают вдруг казаться малоубедительными, порой даже немного смешными, невыносимо претенциозными, вообще фальшивыми или, наконец, просто голословными.

Почему я делаю этот фильм, именно этот, а не какой-нибудь другой? Не знаю и знать не хочу. Побудительные мотивы неясны, запутанны, смутны. Единственный стимул, который я могу назвать, не кривя душой,— это подписание контракта: подписываю, получаю аванс, а поскольку возвращать его желания нет, я вынужден приниматься за работу. И стараюсь делать ее так, как, мне кажется, сам фильм того хочет.

В начале работы над «Дорогой» у меня было только смутное представление о картине, этакая повисшая в воздухе нота, которая вселяла в душу лишь безотчетную тоску, какое-то неясное ощущение вины — расплывчатое, как тень, непонятное, жгучее, сотканное из воспоминаний и предчувствий. Оно настойчиво подсказывало, что тут необходимо путешествие двух существ, которые волею судеб, сами не зная почему, оказались вместе. Сюжет сложился на редкость легко: персонажи возникали стихийно, одни тянули за собой других, словно фильм готов уже давно и только ждал, чтобы о нем вспомнили. Что же мне помогло его сделать? Думаю, все началось с Джульетты [1]. Мне уже давно хотелось сделать фильм для нее: по-моему, это актриса, наделенная необыкновенным даром очень непосредственно выражать удивление, смятение чувств, исступленное веселье и комическую серьезность — все, что так свойственно клоуну. Вот-вот, Джульетта — это актриса-клоун, самая настоящая клоунесса. Это определение, которым, я считаю, можно только гордиться, иные актеры принимают с неудовольствием, возможно, им чудится в нем что-то уничижительное, недостойное их, грубое. Они ошибаются. Клоунский дар, на мой взгляд,— самое ценное качество актера, признак высочайшего артистизма.

В общем, Джельсомина представлялась мне именно такой, в клоунском обличье, и тут же, рядом с ней, по контрасту, возникала мрачная массивная тень — Дзампано. Ну и, естественно, дорога, цирк с его лоскутной пестротой, его жестокая, надрывающая душу музыка, вся эта атмосфера жутковатой сказки... Я слишком часто распространялся о цирке, чтобы снова бессовестно злоупотреблять этой темой.

Когда я — пока еще неопределенно — намекнул Пинелли, какой тут может получиться фильм, у него от радостного удивления зарделись уши. Оказывается, еще летом, объезжая верхом свои бескрайние тосканские владения, он сам придумывал всякие истории о людях, бродивших по пыльным дорогам и древним городкам: получалось что-то вроде плутовских новелл из жизни цыган и акробатов. Мы говорили с ним взахлеб до самого вечера: казалось, будто Джельсомина и Дзампано сами поведали нам историю своих скитаний, встреч, всей своей жизни.

Джельсомина

В деревнях, полях и долинах, по которым они бродили, мне виделись уголки тосканских и романьольских Апеннин. Когда я был еще мальчишкой, зимой с этих свинцово-серых гор, под доносившийся из свинарников испуганный визг уже чуявших недоброе свиней, спускались люди с висящими у пояса наточенными ножами — совсем как на картинах Брейгеля.

Одно время была у меня, помню, записная книжка — я заносил туда все, что, на мой взгляд, могло пригодиться для фильма — всякие заметки, наброски, что-нибудь в таком роде: «В волшебной тишине над морем падает снег... Скопление туч с причудливыми очертаниями... Светлая ночь. Песня соловья заполняет все небо и внезапно обрывается... Проказливые эльфы в августовский полдень строили всякие пакости тем, кто засыпал под дубами с открытым ртом...» Вот такими примерно были первые заметки, относившиеся к фильму. Но что они означали? Что за фильм это был? В Гамбеттоле жил мальчик, крестьянский сын, уверявший, что, когда в хлеву ревет бык, он видит, как из стены хлева вырывается широкая красная лапшина, длиннющая такая дорожка; она колышется в воздухе, а потом, пройдя через его голову где-то под левым глазом, постепенно тает в солнечных бликах. Этот ребенок уверял также, что од-

[1] Актриса Джульетта Мазина.

нажды он сам видел, как два больших темных серебряных шара отделились от колокольни, когда часы на башне пробили два, и тоже прошли через его голову. Странный ребенок. Вот и Джельсомина, по-моему, в чем-то сродни ему.

Если бы я не опасался показаться и вовсе нескромным, то, вероятно, мог бы вспомнить и о других побудительных мотивах, о других корнях, конечно же давших в моем воображении жизнь персонажам и их историям: рассказать об угрызениях совести, смутной тоске, сожалениях, мучительной тяге к светлому миру искренности и доверия, о сознании несбыточности всех этих мечтаний и об измене им,— в общем, о том смутном и безотчетном чувстве вины, которое так заботливо и неустанно насаждает, культивирует и направляет шантажирующая нас католическая мораль. Но чтобы добраться до этих корней, понадобилась бы помощь какого-нибудь гениального психоаналитика.

Фильм я сделал, наверное, потому, что влюбился в эту девочку-старушку, немножко сумасшедшую, немножко святую, в этого взъерошенного, смешного, неуклюжего и такого нежного клоуна, которого я назвал Джельсоминой; даже сегодня, когда я слышу звук ее трубы, на меня наваливается тоска.

Что до «Ночей Кабирии», то, помнится, был у меня сначала просто рассказик с небольшой ролью, рассчитанной на Анну Маньяни. Дело было так: Росселлини нужен был какой-то зачин, какая-то зацепка, идея для короткого, сорокапятиминутного фильма, который можно было бы добавить к другой, уже отснятой короткометражной картине по пьесе Жана Кокто «Человеческий голос». Хотя нет, теперь я вспомнил: сама Маньяни, увидев меня как-то за ресторанным столиком, сказала: «Сидишь тут, объедаешься, вот растолстеешь — и прощай, романтический вид человека, умирающего с голоду. Лучше бы придумал для меня хорошенькую историю, которая нужна твоему ненормальному другу Роберто».

Но, конечно, такую, чтобы она «заставляла людей плакать и смеяться, была слегка неореалистической, но приятной, а также хорошо закрученной, как некоторые довоенные американские фильмы; чтобы она прозвучала недвусмысленным обвинительным актом нашему обществу, но все же не отнимала у зрителя надежду. И еще в ней во что бы то ни стало должна быть настоящая римская песня».

Маньяни мне нравилась, я восхищался ею, но меня смущала ее мрачноватая внешность цыганской королевы, долгие испытующие взгляды, взрывы хриплого смеха в самый неподходящий момент. Она всегда казалась недовольной, скучающей, высокомерной, а в действительности была просто робкой девчонкой; за ее сердитой настороженностью скрывались наивность, отчаянная застенчивость, девчоночья восторженность и горячее, щедрое сердце настоящей женщины — с такими бы встречаться почаще.

В общем, посовещались мы с Пинелли и набросали на скорую руку неплохой сюжетец. Это была история одной задиристой и сентиментальной шлюшки; прохаживаясь как-то вечером по виа Венето, она видит, как из дверей ночного клуба стремительно выходит потрясающая женщина в норковом манто; следом за ней выбегает высокий представительный мужчина в смокинге — весьма популярный в то время киноактер. Мужчина и женщина — это его любовница — бурно ссорятся, в конце концов он закатывает ей пощечину. Потом, все еще взбешенный, он садится в свой огромный «кадиллак» и тут ловит на себе растерянный, восхищенно-мечтательный взгляд потаскушки, присутствовавшей при скандале. Поддавшись неожиданному капризу, словно желая кому-то что-то доказать, артист с вызовом, демонстративно сажает ее в машину и увозит к себе домой — на сказочно прекрасную виллу, где велит подать обед с омарами и шампанским. Они уже готовы сесть за стол, но тут появляется любовница, горящая желанием продолжить ссору. Мужчина поспешно запирает потаскушку в туалет, и та, уже из-за двери, с жадным интересом прислушивается к перепалке. Но вот ссора затухает, голоса становятся тише, паузы дольше...

Стоя на коленях на мраморном полу туалета и припав глазом к замочной скважине, которая превращается в этакую рамку для меняющихся кадров, бедняга смотрит, как те двое бросаются друг к другу в объятия, как они страстно целуются и всю ночь предаются любви. А наутро кинознаменитость избавляется от девчонки, сунув ей в руку несколько тысячных купюр, и она, отупевшая от бессонной ночи и словно грезящая наяву, удаляется по пустынной аллее роскошной виллы, поправляя на ходу свою жалкую пелеринку из куриных перьев.

Я как можно ярче изобразил этот эпизод Анне Маньяни, особенно выпячивая детали, которые могли разохотить любую актрису: прическу, манеру одеваться, походку потаскушки, подчеркивал самые патетические или самые комические моменты, заложенные в этой истории. Но по выражению лица Анны Маньяни, становившегося все более отрешенным, по чрезмерному интересу, с которым она рассматривала свои ногти, по вздохам, выдававшим какие-то ее личные заботы, и с трудом подавленному зевку я уже понимал, что и сюжет, и сам персонаж актрисе не по душе. Наконец она не выдержала: «Федери, неужели ты думаешь, что такая женщина, как я, позволит какому-то дерьмовому актеришке запереть себя в уборной?» Ища поддержки, я взглянул на Росселлини, но он торопливо закурил сигарету и спросил, нет ли у меня какой-нибудь другой идеи. Других идей у нас не было, по крайней мере в тот момент.

Лишь спустя несколько дней я предложил новую историю — об одной нищенке, убогой, полоумной, забеременевшей от белокурого бородатого бродяги, которого она приняла за святого Иоси-

фа. Когда она одна, словно бездомная собака, рожает ребенка на колокольне затерявшейся где-то в горах и всеми забытой церкви, несчастная дурочка верит, что произвела на свет божество. На этот раз после моего рассказа Анна Маньяни решительно поборола волнение и воскликнула: «Ну вот, теперь у нас то, что надо! Браво! Такой персонаж действительно по мне. Иди сюда, дай я тебя поцелую. Роберто, поцелуй его тоже». И мы трое, очень растроганные, расцеловались. Возможно, вы видели этот фильм. Мне он кажется одной из самых прекрасных работ Росселлини[1].

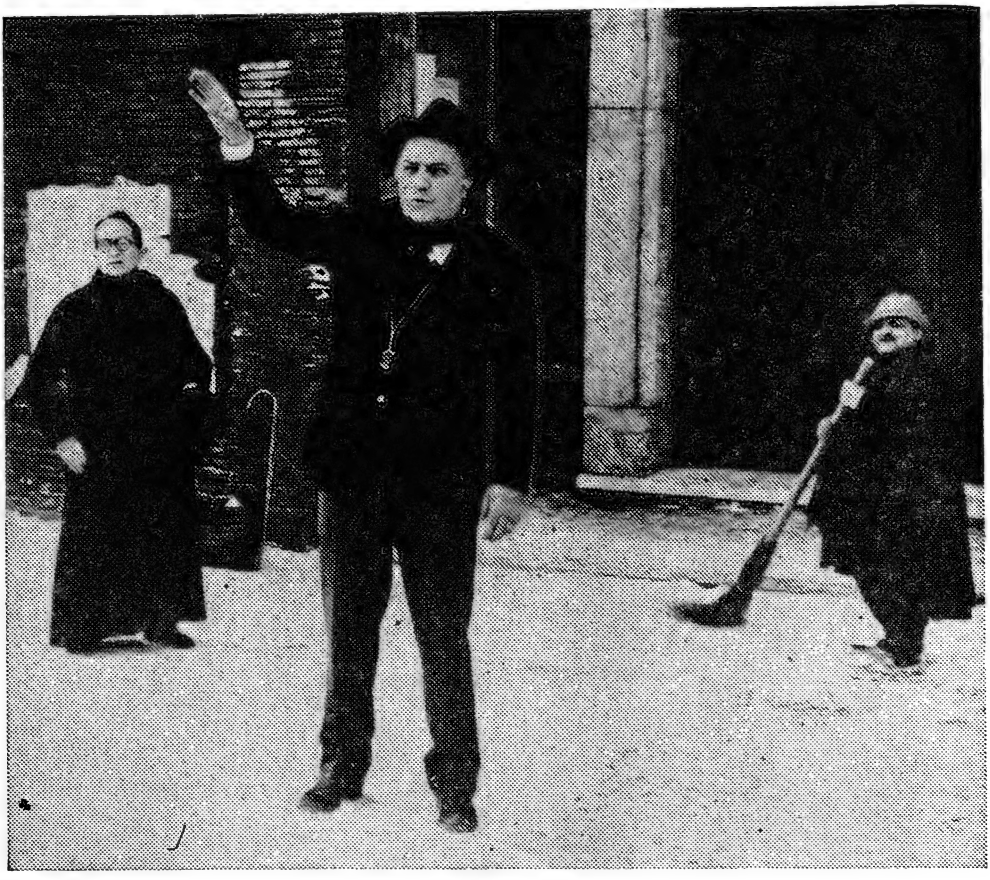
Мошенник Кроуфорд («Мошенник»)

Прошло несколько лет. Мы с Пинелли написали много других сценариев, в том числе и к фильму «Белый шейх», который я снимал уже как режиссер. Была там одна ночная сценка: на маленькой площади величественного и нищего Рима, под гулкое журчание фонтанов, молодой муж, от которого во время свадебного путешествия сбежала жена, всхлипывая, рассказывает о своей беде двум проституткам (в тогдашнем итальянском кино проститутки были очень в моде), а они несколько скептически, но в то же время по-матерински участливо слушают его и утешают. Одна — огромная, монументальная, как фасад церкви, стоящей на этой же площади; другая — малышка — в высоких резиновых сапогах, в пелеринке из куриных перьев и с зонтиком, которым она потрясает, словно шпагой; в ее круглых, широко открытых глазах ночного эльфа написано бесконечное удивление и жадный интерес. Во время съемок ночной сценки я окрестил этот безымянный персонаж — его даже в сценарии не было — Кабирией. Роль Кабирии играла Джульетта Мазина, которой так свойственна склонность к буффонаде и сюрреализму. Исповедь покинутого молодожена, его слезы и отчаяние, отражаясь на лице Кабирии, в ее мимике, в ее безмерном удивлении, простодушном смехе, неуклюжих проявлениях сочувствия, гримасах безмолвного сострадания и негодования, приобретали такую патетическую и смешную окраску, что я понял: в эту ночь мы присутствуем при рождении нового персонажа, не менее сильного, обаятельного и трогательного, чем Джельсомина в «Дороге».

С тех пор я сдружился с Кабирией, часто о ней думал. А чтобы она вела себя смирно, обещал сделать с ней целый фильм. Позднее, во время съемок фильма «Мошенник» — они велись в поселке Сан-Феличе, у стен древнеримского акведука,— в стороне от остальных лачуг я заметил совсем уж крошечную и жалкую хибарку, такую нищую и убогую, какую и увидишь разве что в мультфильме,— подобие собачьей конуры, сколоченной из кусков жести и старых ящиков из-под фруктов. Не веря своим глазам, я толкнул приоткрытую дверь и просунул голову внутрь. Как ни нелепа была мысль, что эта конура — человеческое жилище, там был даже какой-то жалкий и трогательный уют. веселенькие занавесочки на окнах (окнах?!), аккуратно развешанные на стенках помятые, но начищенные плошки и сковородки, мраморный столик на железных ножках (такие столики бывают в кафе на открытом воздухе), а на нем — вышитая салфеточка и вазочка с ромашками. На полу, на детском матрасе сидела женщина. Хозяйка домика. Я успел только заметить цветастый халат, а когда она обернулась — торчащие среди кудряшек бигуди и испуганные глазки, оторопело уставившиеся на непрошеного гостя. В следующее мгновение я уже мчался по пустырю, а вдогонку мне неслись отчаянные крики и ругательства, летели картофелины и арбузные корки. Потом уж кто-то из местных жителей рассказал, что женщина эта просто обезумела после того, как ей принесли бумагу с приказом развалить хибарку, построенную «незаконно». Короче говоря, ей предложили убраться, покинуть свою конуру только потому, что никто не давал ей разрешения на строительство: она, видите ли, не подала соответствующего заявления и не представила в муниципалитет проекта, выполненного архитектором. Совсем потерявшая от отчаяния голову, бедняга решила, что меня прислали из муниципалитета снести ее жилище.

Целый день она издали наблюдала за моей работой с актерами, осветителями, кинокамерой и, похоже, только к вечеру убедилась, что мне от нее ничего не нужно и ее халупку мы сносить не собираемся. Я застал ее, когда она внима-

[1] Речь идет о фильме Р. Росселлини «Любовь» (1948).



Феллини на съемках «Амаркорда»

тельно и придирчиво оглядывала со всех сторон мою машину с видом человека, который при желании мог бы ее купить, но опасается, как бы его не надули.

На мое приветствие женщина ответила еле заметным кивком, без улыбки, словно желая показать, что подобная фамильярность еще неуместна. Хрипловатым голосом простуженной девочки она спросила, какой марки моя машина, много ли берет бензина, и при этом смотрела на меня с какой-то снисходительно-недоверчивой усмешкой казалось, ее забавляет сама мысль что типы вроде меня кому-то и для чего-то нужны на свете.

«Вот моя жизнь почище всякого кино будет,— бросила она, уходя,— не какие-то там «Три мушкетера».

При следующих встречах новая знакомая кое-что мне рассказала, перемежая правду об этой своей горькой и жестокой жизни, жизни ничтожного червяка, с эпизодами, явно придуманными или заимствованными из фильмов и комиксов. Она упорно смешивала быль с небылью — так мучительно ей самой хотелось верить, что ее разнесчастная жизнь была именно такой, какой она ее изображала, расцвечивая наивными и сентиментальными выдумками невежественной и несчастной девчонки.

Вот так, постепенно, и сложился фильм «Ночи Кабирии».

(Продолжение следует)

ДВИН ФРИДЭНГА МИХАЙЛОВНА

Советский журналист, переводчик с итальянского. В ее переводе печатались книги Э. Петри «Рим, 11 часов», Н. Палумбо «Налоговый инспектор», М. Джакоббе «Дневник молодой учительницы», Дж. Де Сантиса «Пока ты не стал солдатом», а также рассказы А. Моравиа, Л. Малербы, А. Амурри и др.

Антирубрика

ПЕТР НЕЗНАКОМОВ

Перевод с болгарского МАИ ТАРАСОВОЙ

Как была создана первая комедия Шекспира

Уильям Шекспир, молодой, но весьма преуспевающий английский драматург, усиленно готовился к смотру британской драмы, посвященному годовщине победы над «Непобедимой армадой». На этот раз он решил участвовать в смотре комедий. Им уже было написано полдюжины исторических хроник и две-три кровавые трагедии, исключительно благосклонно встреченные театральной общественностью и критикой, и теперь ему хотелось дать волю своему буйному воображению и веселости, написать что-то забавное, искрящееся остроумием, в чем отразился бы могучий, освобожденный от предрассудков и догм дух Ренессанса (впрочем, он и не подозревал, что позднее так назовут время, в которое он жил и творил). Он надеялся, работая над комедией, и позабавиться и посмеяться, потому что знал, что это вернейший способ потом со сцены позабавить и посмешить зрителей. Сюжет, как говорят театралы, сам плыл ему в руки: случайно ему попалась старинная комедия Плавта, кстати довольно примитивная, в которой говорилось о веселых приключениях двух близнецов, чему виной было их удивительное внешнее сходство. Сюжет ему понравился, вдохновил его, и он без долгих размышлений (что было свойственно ему в те годы) решил его использовать, разумеется сделав более современным, обогатив и придав кое-что из того, что критики двадцатого века назовут шекспировским гением.

Писалась комедия легко, и он даже удивлялся, как мог до сих пор писать только о насилии и убийствах, когда из него так и били остроумие и озорная фантазия. А может быть, тайной, но истинной причиной этого необыкновенного творческого подъема была вспыхнувшая в нем любовь к молодой актрисе театра «Друри-лейн», с которым у него был заключен договор. Шекспир решил позвать к Маргарет Брук нескольких своих друзей-драматургов, критиков, артистов, выпить по стаканчику виски. Заодно он хотел почитать им комедию и послушать их мнение. Ему нравилось его произведение, он был уверен, что, хотя комедия и не гениальная, по ней можно поставить хороший жизнерадостный спектакль, но это был его первый опыт в этом жанре, и ему хотелось посоветоваться с друзьями.

Виски было отличное, шотландское. Маргарет была прекрасная хозяйка, и чтение прошло с большим успехом. Все присутствующие смеялись от души и под конец не могли удержаться и захлопали (тем более что комедия была очень короткая — тогда гонорар платили не за строку).

— А теперь забудьте, что вы мои друзья! — сказал Шекспир.— Я хочу услышать абсолютно беспристрастное мнение. (Шекспир был молод, и истина была ему дороже похвалы.)

Первым взял слово Бен Джонсон, известный мастер комедии, изрядно поднаторевший в этом жанре.

— Ты, брат, написал чудесную комедию! Только ее не пропустят.

— Как это не пропустят! — вскочил Шекспир.— Что значит не пропустят?

— Очень просто, не пропустят, и все. Примут с восторгом, может, даже репетировать начнут, но в конце концов комедию твою не поставят.

— Почему, черт возьми!

— Потому что она смешная,— невозмутимо сказал Бен Джонсон.

— Но ведь комедия для того и комедия, чтобы быть смешной.

— Теоретически — да, а практически — нет.

— Неужели? — вспылил Шекспир.— Неужели есть народ, который боится, не любит смеха? Только пессимисты, потерявшие всякую веру в жизнь, могут так относиться к комедии.

— Вильям первый раз пишет комедию, и потому он такой наивный,— невозмутимо сказал Бен Джонсон.

— Я вам докажу, что я совсем не такой уж наивный! — снова вскочил Шекспир.— Я до конца буду бороться за свою комедию.

— Пожалуйста,— сказал Бен Джонсон и с типично английским хладнокровием допил виски.

Шекспир принялся доказывать, что он человек не наивный. Сначала все шло прекрасно: комедию с восторгом приняли в театре, и артисты, и технический персонал репетировали с большим воодушевлением, были даже напечатаны афиши, возвещавшие о предстоящей премьере. Дворцовая газета поместила портрет молодого драматурга, а две других газеты взяли у него интервью, в котором попросили рассказать о своем отношении к современной молодежи. Но потом Шекспир вдруг почувствовал, что вокруг него образовалась какая-то странная пустота, что режиссер отводит глаза, что артисты при встречах в фойе или коридорах все куда-то спешат—то покурить, то выпить кофе. Наконец, его вызвали к директору театра.

— Садитесь, молодой человек! — сказал директор, разглядывая свои ногти.— Курите? Нет? Ну что ж, тогда возьмем прямо быка за рога! Речь, видите ли, идет о вашей комедии. Это, насколько мне известно, первое ваше произведение в этом жанре, не так ли? И это, конечно, сказалось, вы явно не вполне овладели искусством комедии. Дело в том, видите ли, что в вашей с позволения сказать комедии вы допустили немало ошибок с точки зрения идейной и художественной. Во-первых, сюжет у вас легковесный, если не сказать пошлый, и не соответствует, так сказать, тем торжественным, героическим дням, которые мы все сейчас переживаем. Кому сейчас нужны приключения этих ваших близнецов, чему они могут научить наше молодое поколение? Пустому времяпрепровождению, а этого я не допущу. И мало вам показалось двух близнецов, так вы решили вывести четырех — слуги у героев тоже близнецы. А это уж совсем неправдоподобно, тут уж вы, голубчик, такого насочиняли, что это просто черт знает что. Как вы этого сами не понимаете? Кроме того, там говорится — я читал список действующих лиц — о какой-то куртизанке. На что это, по-вашему, похоже? Что у вас, порядочных женщин нет, что вы выводите на сцене аморальных особ? Одним словом, голубчик, комедия ваша в этом виде не пойдет.

Шекспир смотрел на него, словно окаменев. Наконец опомнился, схватил папку, в которой была аккуратно подшита комедия, и выбежал из кабинета, не произнеся ни слова. Он пришел домой и бросил папку в ящик, где хранил рукописи своих ранних вещей. А потом почти целый год не писал ни строчки — так он был потрясен случившимся...

При его жизни комедия так и не увидела света. Ее нашли после его смерти, и с тех пор вот уже триста пятьдесят лет она не сходит со сцены.

Играют ее под названием «Комедия ошибок».

МАРКО ГАНЧЕВ

Стихи

Перевод с болгарского ФАИНЫ ГРИМБЕРГ

ЖИЗНЬ КОРОТКА, ИСКУССТВО — ВЕЧНО

«Арс лонга, вита брэвис эст».
Мы знаем: время быстротечно.
И все-таки звучит окрест:
«Жизнь коротка, искусство — вечно».
В подобной логике, конечно,
таится вечный интерес:
«Арс лонга, вита брэвис эст»,

«Арс лонга, вита брэвис эст»,—
вот то, что нужно человеку.
Нерон, имея в Риме вес,
«убрал» философа Сенеку.
Сенека вызов бросил веку,
предсмертный гордый сделал жест —
«Арс лонга, вита брэвис эст!»

«Арс лонга, вита брэвис эст».
Из Рима выслан был Овидий
далеко от родимых мест.
На злую жизнь свою в обиде,
поэт не падал духом, видя
возможность в стих вложить протест.
«Арс лонга, вита брэвис эст».

«Арс лонга, вита брэвис эст».

Дни жизни кратки до предела,
особенно для тех, кто крест
несет свой и влагает смело
всю жизнь свою в живое дело,
чтобы звучало вновь окрест:
«Арс лонга, вита брэвис эст»...

ВЫБОРЫ ЖЮРИ

Его из жюри исключить бы. Мания
Есть у него: обращал внимание
Он зачастую при награждении
На достоинства произведения.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ГЕРОЙ

Как мне с отрицательным героем быть?
Хлопочу — боюсь отрицательных отзывов.
Положительный — тот развивает прыть,
Положительные рецензии выбивает без роздыха.

ХОСИ СИНЬИТИ

Перевод с японского ГРИГОРИЯ ЧАРТХИШВИЛИ

Притча

Жил-был скромный молодой человек. Он был совсем одинок — ни друзей, ни даже любимой девушки. В общем, самый заурядный юноша, да еще и бедный. Он часто болел и поэтому не имел постоянного заработка.

И вот однажды, когда он брел из больницы домой, к нему на улице обратился какой-то старичок:

— Молодой человек, можно вас на минутку?

— Вы не знаете дороги? — поинтересовался юноша.

— Отнюдь. Есть у меня к вам один приятнейший разговорчик.

— Вы решили мне что-то предложить? Не трудитесь. Я не доверяю уличным знакомствам. Да и денег у меня нет. Так что, если хотите мне что-нибудь продать, напрасно стараетесь.

— Все это мне известно, милый юноша. Выслушайте меня, ей-богу, не пожалеете.

— Что ж, ладно. Спешить мне все равно некуда.

— А почему бы нам не зайти в какое-нибудь кафе? Там мы спокойненько обо всем поговорим. Конечно, лучше было бы, если вы пригласите меня к себе.

— Хорошо, идемте.

Старичок, похоже, кое-что о молодом человеке знал, хотя виделись они впервые. А в его приветливой улыбке, если приглядеться, пряталось что-то насмешливое. Юноше стало интересно.

Когда они вошли в комнату, он извинился:

— Тесновато здесь. Живу я один, за чистотой особенно не слежу...

— Ничего,— весело ответил старичок.— Скоро все переменится к лучшему.

— О чем это вы? — подозрительно спросил молодой человек.— Вы что, даете советы, как быстро разбогатеть? А может... а может, вы хотите меня завербовать в какую-нибудь банду?

Продолжая посмеиваться, старичок пробормотал себе под нос:

— Вот, стало быть, какое я произвожу впечатление. А ведь изо всех сил старался не отстать от времени. Над образом надо будет поработать еще.

— Так кто же вы такой?

— Боюсь, вы все равно не поверите.

— Но если я не буду знать, кто вы, я тем более не смогу вам довериться.

— Резонно. Ладно, так уж и быть. Я — дьявол.

— А-а... Вот оно что...

— Вас это не рассмешило? Значит, мое признание вы не сочли шуткой? Правда, поверить тоже не поверили. Вы думаете, я — сумасшедший?

— Похоже на то,— кивнул молодой человек.

— Как же, как же,— засмеялся старичок,— дьявол, он ведь черный как смоль, уши торчком, хвост и так далее. Можно было бы, конечно, предстать перед вами и в таком, так сказать, классическом виде. Но в этом случае людей обычно настолько поражает мой облик, что мои слова доходят до них с трудом. Если обернешься, скажем, девушкой, то с ней обращаются как с ведьмой, с чертовкой. Появление дьявола в образе ребенка шокирует. Маска добропорядочной дамы тоже не подходит. Вот я в кон-

---

АНТИРУБРИКА

це концов и подобрал для себя этот образ.

— Что ж, логично. Конечно, если бы вы появились из дыма и пламени, я бы, наверное, умер от страха. Но чем вы докажете?..

— Минуту терпения. Сейчас я вам все объясню, и вы мне поверите. Так оно обычно и бывает... Между прочим,— сменил тему старичок,— у вас есть, очевидно, какие-нибудь желания?

— Как не быть.

— Три ваших желания я исполняю. Заказывайте.

— Странно. Но все равно спасибо. Однако если вы и правда дьявол, то взамен, наверное, потребуете мою душу? Где-то я про такое читал.

Тут старичок захихикал, замахал руками:

— Нет-нет, чудесный юноша, такого условия я вам не ставлю. Это в прежние времена водились такие дьяволы, а я вас принуждать не стану. Но если вы сами мне предложите свою душу, я, конечно, не откажусь.

— Больно мягко вы стелете. А почему вы выбрали именно меня? Людей на свете много.

— Да мне-то действительно все равно. Просто вас жалко стало. И потом, обращаться к какому-нибудь красавцу миллионеру бессмысленно. Он решит, что я мошенник, вымогатель, и разговаривать со мной не станет.

— Значит, пожалели меня?

— Именно. Ведь, между нами говоря, если оставить все так, как есть, вам и жить осталось всего ничего.

— Что-о?! Это почему же? — вскричал молодой человек.

Старичок достал из кармана какие-то листки и зашелестел ими.

— Вот. Фотокопии вашей истории болезни. Взгляните-ка сюда. Почерк, правда, плоховат. Тут написано, что болезнь ваша неизлечима и что жить вам осталось совсем недолго.

— Откуда она у вас?

— Дьяволу и не то под силу. А это сущие пустяки.

Тут молодой человек разволновался не на шутку — умирать никому не хочется.

— Сделай что-нибудь! — взмолился он.— Я бы никаких денег не пожалел, да нет у меня ни гроша. Спаси меня!

— Успокойтесь мой юный друг. Для того я к вам и явился.

— Я хочу жить долго-долго — вот мое первое желание.

— Не надо спешить. Необдуманные решения приводят к плохим последствиям. Такого случая как сейчас у вас больше никогда не будет. Сначала подумайте хорошенько, а потом решайте. Разобьет вас, к примеру, паралич. На что вам тогда долгая жизнь?

— Это верно,— несколько опомнился молодой человек.— Или заболею я, скажем, тифом или другой заразной болезнью. Умереть не умру, поскольку долголетие мне обеспечено, а превращусь в живой труп. Буду только инфекцию разносить да людей пугать... Решено: долгая жизнь и железное здоровье.

— До тех пор, пока не станете столетней развалиной?

— Да, это не годится. Подожди-ка, стареть я тоже не хочу. Пусть будет бессмертие и вечная молодость.

— Итак, здоровье, молодость и бессмертие. Пожалуй, сойдет. Только учтите, юноша, бессмертие может стать тяжким бременем. Давайте договоримся, что, если такое случится, вы всегда сможете аннулировать наше соглашение и спокойненько умереть.

— Ну, этого никогда не будет.

— Замечательно. Первый пункт готов. Как вы теперь себя чувствуете?

— Неплохо.

То ли в результате возбуждения, то ли еще от чего, но молодой человек не ощущал более ни головной боли, ни слабости.

— Перейдем ко второму желанию. Прикажете денег, или, может быть, чинов, или власти? Вторым пунктом можно сделать богатство, а третьим — власть или славу. Все в ваших руках.

— Однако до чего же ты любезен.

— Я хочу, чтобы вы всем остались довольны.

— Прежде всего, конечно, деньги. Нет ничего хуже бедности.

— И какую же сумму угодно будет заказать?

— Ну...

Молодой человек забормотал какие-то цифры, но не мог ни на одной из них остановиться. Ведь, если все происходящее правда, он бессмертен и вечно молод. Сумму, на которую можно ВЕЧНО жить припеваючи, так вот, с бухты-барахты, и не назовешь. После долгих раздумий он наконец сказал:

— Алмазов попросить, что ли... С инфляцией шутки плохи.

— Да, но когда-нибудь изобретут способ и алмазы добывать искусственным путем,— захихикал старичок.

— Как же тогда быть? Жизнь бесконечна, а денежки, выходит, ограничены? Рано или поздно они кончатся, и я останусь на бобах.

— Ни в коем случае. Разве я позволил бы себе так нехорошо поступить с вами, прекрасный юноша? Как вам понравится, скажем, такой вариант: ежедневно вы будете получать сумму, соответствующую среднему месячному жалованью обыкновенного служащего, а?

— Здорово придумано! Да, это полная гарантия.

— Истинная правда.

— Но налоги...

— Смею уверить, подоходный налог не будет вас касаться ни в коей степени. Учтите: все деньги вы должны тратить только на самого себя. Не велите казнить, но таково уж условие.

— Ладно. Буду жить на всю катушку. Согласен!

— Так. А теперь посмотрите у себя во внутреннем кармане.

Молодой человек сунул руку в карман пиджака. Там что-то лежало. Вынул — пачка банкнот. Пересчитал — примерно среднее месячное жалованье.

— Каждый день деньги будут появляться именно здесь. Если пиджак украдут, ничего страшного. Деньги вы найдете во внутреннем кармане той одежды, в которую вы будете одеты. С ростом инфляции сумма будет увеличиваться. А во время экономического

спада она, уж не извольте гневаться, может и уменьшиться.

Молодой человек повертел банкноты в руках, разглядывая на свет водяные знаки.

— Ну и дела! Ничего не было в кармане, и вдруг — деньги! Значит, все правда. И то, что я бессмертен и вечно молод, и то, что ты — дьявол...

— Вы удивлены?

— Еще бы...

— А договор не поздно еще и отменить, коли вам это не по вкусу. Только денежки, конечно, вернуть придется,— сказал старичок, но молодой человек покачал головой.

— Нет уж, я не отступлю.

— Тогда извольте последнее желание.

— Что бы такое придумать? Слава, чины, власть... неплохо, конечно, но свалятся на плечи заботы, обязанности...

— Да, уж вы подумайте хорошенько. Ваше третье желание не должно противоречить двум первым. Денежный доход мы уже определили, большой власти на него не купишь.

— Тоже верно.

— Обычно клиенты высказывают тут пожелание относительно женского пола.

— А я и забыл про это. Да, без женщины мне жилось плоховато. Что ж, пусть будет так.

— Изволите жениться?

— Нет, постой. Это тоже проблема. Любая женщина, какой бы распрекрасной она ни была, рано или поздно надоест. А разведешься — плати алименты. В этом вся и сложность. Доход-то у меня ограничен. Я же бессмертен — несколько разводов, и останешься ни с чем.

— Совершенно справедливо.

— Вот ведь задача. Что бы такое придумать?

Молодой человек опять погрузился в раздумья. Тогда старичок предложил:

— А что, если сделать так: каждый месяц к вам будет приходить новая дама. Каждый месяц — свежие впечатления, новые удовольствия, а?

— Неплохо придумано. Может, на какой-нибудь из них я захочу жениться.

— Но позвольте. Вы же сами сказали: если женитесь, рано или поздно надоест. Лучше уж тогда просите подыскать вам хорошую невесту.

— Да, но я хочу, чтобы у меня было много женщин.

— Простите, мой юный друг, что-то я вас не пойму.

— Ладно. Давайте это... ну когда каждый месяц.

— Отлично. Если угодно, можно начать прямо сегодня.

— Да? Вот здорово! А она, эта женщина, не застрянет здесь надолго?

— Не извольте беспокоиться. С ее стороны — никаких неприятностей. Итак, ваши три желания исполняются.

— Спасибо тебе.

— До свидания,— попрощался было дьявол, но молодой человек спросил:

— Ты говоришь: до свидания?

— Я буду иногда навещать вас.

— Зачем?

— Это тоже, так сказать, входит в сервис.

— Даже так?

— Да. Для меня это очень важно, расчудесный юноша.

И, посмеиваясь, дьявол удалился.

В этот вечер к юноше, полному радостных ожиданий, пришла очаровательная девушка. Она поздоровалась с ним и сразу же начала хлопотать по хозяйству А затем наступила ночь — лучшая ночь в его жизни. Ни о чем подобном молодой человек раньше и не мечтал. «Ах, какую чудесную женщину послал мне дьявол»,— не уставал восхищаться юноша.

На следующее утро в его кармане опять появилась пачка денег, и он сказал своей подруге:

— А не отправиться ли нам куда-нибудь в путешествие?

— Это было бы прекрасно,— отвечала она.

И для юноши началась жизнь, похожая на праздник. Вернувшись из путешествия, они перебрались в новую, хорошую квартиру. А в кармане молодой человек каждое утро находил деньги.

Наконец, месяц подошел к концу. Девушка вышла из дому, да так и не вернулась. Юноша не особенно огорчился. Ведь по договору с дьяволом на смену ей должна была прийти другая.

И она действительно пришла. Эта женщина была постарше, от нее так и веяло домашним теплом и уютом. Молодому человеку это очень понравилось. Значит, каждая женщина будет не похожа на свою предшественницу и каждый месяц его ждут новые ощущения.

Однажды утром они сидели и смотрели программу новостей по телевизору. На экране показали мужчину с ребенком на руках. У него пропала жена — вышла из дому и бесследно исчезла. Затем показали фотографию разыскиваемой женщины.

— Слушай, ведь это ты! — воскликнул молодой человек, показывая на экран. Женщина на фотографии была как две капли воды похожа на его любовницу. Та кивнула:

— Да, это я.

— Как же ты здесь оказалась?

— Не знаю. Какая-то сила вдруг потянула меня сюда, я ничего не могла с собой поделать.

Юноша долго размышлял над этим загадочным явлением, но ничего не мог понять. И тогда к нему опять явился давешний старичок.

— Странную женщину прислал ты мне. Так вот, значит, как ты их достаешь?

— Да. Именно так. Даже дьяволу не под силу создать человека из ничего. Я подчиняю души женщин своей воле и потом посылаю их к тебе.

— И первую женщину тоже?

— Ну конечно. Из-за того, что она так внезапно исчезла, ее возлюбленный от горя сошел с ума.

— Какой ужас!

— Но что же мне было делать? Ведь я обязался каждый месяц поставлять вам новую даму.— И дьявол опять захихикал.

АНТИРУБРИКА

Юноша задумался.

— Выходит, те деньги, которые я каждое утро достаю из кармана...

— Желаете знать, откуда они берутся? Извольте. Вот-с. Я и вырезки из газет приготовил.

Заметки были самого разного содержания. Какой-то служащий, возвращаясь с работы, потерял жалованье. У старушки исчезли ее многолетние сбережения. Девочка-подросток убежала из дому, потому что пропали деньги, которые ей доверили родители... Все сообщения были одно хуже другого.

— Так вот, значит, что это за деньги! — не мог опомниться молодой человек.

— Пусть я дьявол, но делать деньги я не умею. Вот и приходится доставать их, так сказать, на стороне.

— Но можно же брать деньги у негодяев, у преступников!

— А вы прочтите вот эту заметочку.

Какой-то мужчина, говорилось в сообщении, ранее пять раз судимый и решивший было начать новую жизнь, опять совершил ограбление. Он собирался открыть торговлю, но накопленные им деньги вдруг пропали, и тогда он снова взялся за старое. Деньги удалось изъять у преступника, а ни в чем не повинные люди пострадали.

— Вот как ты все задумал? Какой кошмар...— схватился за голову молодой человек.

— Но ведь я обещал каждый день доставать вам деньги.

Тут юноша вдруг побледнел.

— Постой. И моя вечная молодость, и мое бессмертие...

— Совершенно то же самое. Даже дьявол не может нарушить равновесия в природе. Приходится отбирать у других. Я ведь вам обещал и вечную жизнь, и вечную молодость. Думаете, так просто все это раздобыть? Первый, за счет кого вы изволили попользоваться,— и дьявол полез за очередной вырезкой.

— Не желаю слушать! Не хочу знать...

Заметки наверняка пострашнее, чем те, о деньгах. Так вот что задумал сатана! Молодой человек закричал:

— Я сам превратился в дьявола! Не хочу больше жить ни единого дня! Разрываю наше соглашение. Забирай себе мою душу!

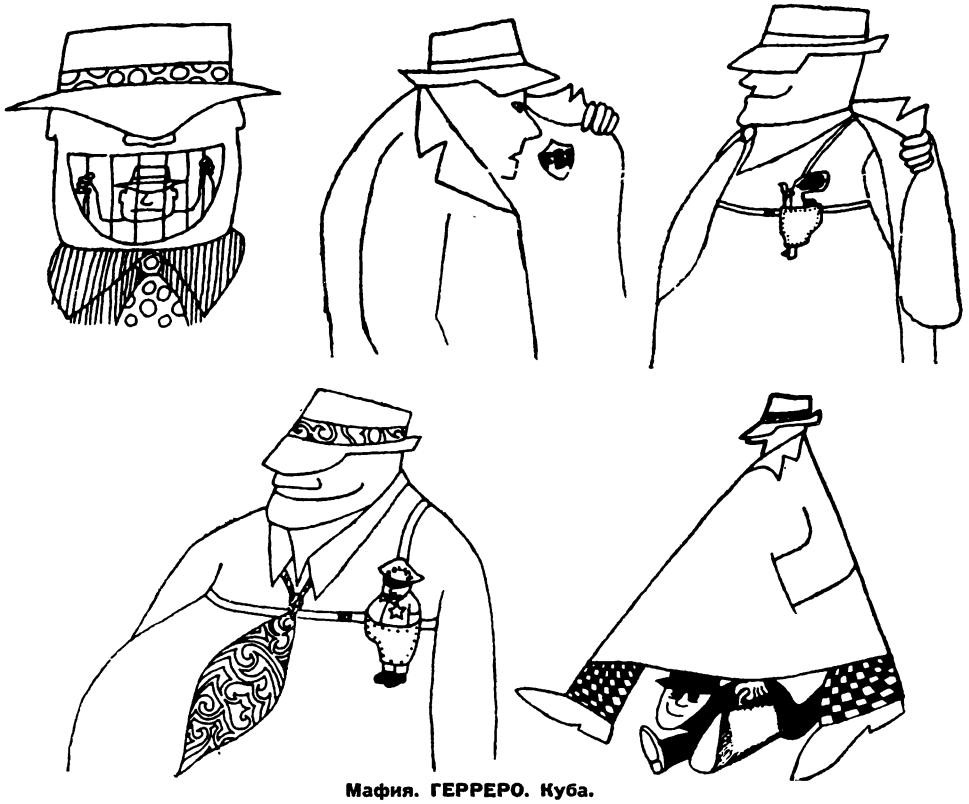
— Правда? Ну, как угодно...

И молодой человек тут же умер.

Дьявол стоял над мертвым юношей и бормотал себе под нос:

— Ну и наивность. Подумаешь, что здесь такого? Каждый в наше время стремится пролезть наверх, хотя бы и по чужим головам. Все стараются разбогатеть, присваивая чужие деньги. И никто это грехом не считает. Да ради выгоды люди готовы даже убивать, если убийство может сойти с рук. Все так делают! В чем же здесь разница? Не понимаю...

◆



Мафия. ГЕРРЕРО. Куба.

Дожоогийн Цэдэв, Бэгзийн Явуухулан

Монгольская Народная Республика

Имена этих двух писателей хорошо знакомы советскому читателю, стихи представителя более старшего поколения Б. Явуухулана печатались у нас в антологиях монгольских поэтов, в периодике, а с поэтическим творчеством председателя Союза монгольских писателей Д. Цэдэва мы знакомили читателей нашего журнала совсем недавно (см. «ИЛ», 1981, № 7). Цэдэв и Явуухулан были гостями редакции журнала, гостями главного редактора Н. Т. Федоренко, который и вел эту беседу. Они поделились своими размышлениями по поводу наиболее заметных произведений монгольских писателей последнего десятилетия, рассказывали о своих творческих планах. Предоставляем им слово.

ДОЖООГИЙН ЦЭДЭВ:. Современная монгольская литература опиралась и опирается на достижения прогрессивной мировой литературы, прежде всего литературы стран социализма, а также на опыт национальный. Она активно развивалась на протяжении шестидесяти лет, прошедших со дня нашей революции, но особенную силу набрала за последние десять лет. Монгольские писатели создают художественную летопись строительства социализма в стране; рабочий класс Монголии, кооперированное аратство и интеллигенция — главные герои их произведений.

В этом году мы отмечали двадцатилетие целины в Монголии. Писатели встретились с целинниками. Герой Социалистического Труда, председатель госхоза «Молодежный», один из первых целинников, Батчулуб, говорил на этой встрече: «Когда начиналось освоение земель, ребята, приехавшие работать, в основном имели образование четыре класса, а сейчас — вторая очередь освоения земель, и 90 процентов работающих в наших госхозах имеют образование 8—10 классов, среди них очень много инженеров, технических работников. Культурный, образовательный уровень стал выше, а потому и требования, которые предъявляются писателям, также стали гораздо более высокими. Книга для нас так же важна, как и хлеб. На самом деле».

Это свидетельство возросшего уровня всех наших читателей, их интересуют и освоение Северного Ледовитого океана, и полеты в космос, и то, что происходит в Нью-Йорке. Такой читатель — большая радость. Он теперь имеет возможность знакомиться с произведениями, переведенными с русского, испанского, английского и других языков. И поэтому монгольские писатели не вправе писать произведения низкого качества.

Книги последних лет — доказательство пристального внимания мастеров слова к жизни страны. Так, например, вышли сборники к 20-летию освоения целины, книга «Дархан — город дружбы», три сборника, посвященные Эрденету. Они — о самых горячих точках строительства новой Монголии, в них созданы образы строителей социализма. Союз писателей Монголии организовал первый пост в Эрденете, когда строительство города и комбината еще только начиналось, там работало не больше двухсот человек. И строки об этой грандиозной стройке были написаны буквально в первые дни. А каким сейчас стал Эрденет! В трех книгах, посвященных Эрденету, отражен и процесс строительства, и рост сознания людей. Такой же писательский пост был основан на родине основоположника монгольской литературы Нацагдоржа, где сейчас вступила в строй новая угольная шахта. И как только началась ее разработка, там побывали монгольские писатели. В этом году сдана в печать книга «Багнур-80», в дальнейшем еще планируется создать три-четыре сборника об этой стройке.

Наши писатели весьма серьезно работают над «деревенской» темой — жизнью худона. В последнее время у нас успешно развиваются крупные литературные формы — такие, как роман, повесть, киносценарий, пьесы, поэмы, особенно эпическая поэма. Могу назвать ряд имен писателей, которые наиболее активно и плодотворно работают в этих жанрах,— Эрдэнэ, Явуухулан, Тарва, Пурэвдорж, Мягмар, уже покойные Гайтав и Чимид, многие другие.

Надо отметить, что в последнее время очень много внимания уделяется внутреннему миру человека. В книгах 40-х годов больше было развито фольклорное начало и в то же время наблюдалось засилие лакировочной, приукрашивающей литературы.

Современные произведения находятся в самой тесной связи с реальностью. Как вы знаете, в 1925 году Максим Горький в письме к монгольской интеллигенции советовал особенно обратить внимание на принцип активности и развивать его. И мы можем с гордостью отметить, что этот принцип сейчас стал основным в нашей литературе социалистического реализма. Монгольские писатели все силы отдают тому, чтобы освоить как можно полнее художественные возможности этого метода. Но тут нужен и постоянный поиск.

В освоении форм и принципов социалистического реализма особое значение для наших литераторов имеет опыт советских писателей. В прошлом году мы провели научную конференцию на тему «Влияние советской литературы на развитие монгольской литературы». Материалы этой научной конференции готовятся к публикации.

В книге собраны выступления многих писателей, из которых видно, кого монгольские писатели считают своими учителями: Михаила Шолохова, Чингиза Айтматова, Бориса Полевого, Константина Симонова. Я говорю о связи между учителем и учеником не в том плане, что один копирует другого, а о творческом освоении тех художественных приемов, которые близки писателю. Это своеобразная школа мастерства.

Мы сейчас разрабатываем и успешно претворяем в жизнь пятилетние программы сотрудничества наших творческих союзов. Здесь можно назвать и проведение творческих встреч, дискуссий, обмен делегациями, проведение дней литературы. За последние годы писательские делегации побывали на БАМе, в Тюмени, в Хакасии, в Таджикистане, в результате таких поездок рождаются книги о жизни советских людей. Уже появились книги «БАМ — дорога, устремленная в будущее», «Тюмень — великая стройка созидания», готовится к выходу еще ряд других. На состоявшейся недавно межправительственной комиссии по культурному сотрудничеству секретарь Правления СП СССР Олег Шестинский очень подробно говорил о наших связях.

Далее Дожоогийн Цэдэв указал на двуединое направление литературного процесса в Монголии, сказал, что сегодняшняя монгольская литература развивается в опоре на все лучшее, что было достигнуто прежде, в особенности опирается на фольклорное творчество. С другой стороны, она развивается благодаря постоянному общению и взаимосвязи с литературами зарубежных стран Востока и Запада, в самой тесной связи с советской литературой Иными словами, монгольская литература развивается на путях патриотического воспитания своего народа и на путях постоянного развития духа интернационализма.

БЭГЗИЙН ЯВУУХУЛАН: Мой коллега весьма подробно рассказал о направлении развития современной монгольской литературы. Дополню его. В сороковые--пятидесятые годы советские книги читали у нас в основном в переводах, а теперь многие читают в подлиннике. Цэдэв уже говорил, что мы не вправе создавать плохие произведения — нас просто не будут читать.

Как вы знаете, до революции в Монголии не было рабочего класса, не было хлебопашцев в обычном значении слова, не говоря уж о технической интеллигенции. А сейчас арат встал к станку, стал возделывать поля. У нас пока еще только два поколения рабочих и сельскохозяйственных работников. Для нас, писателей, очень важно показать, как скотовод стал рабочим, как он относится к земле, как он осваивает технику. Скотовод не может психологически так же относиться к земле, как он относится к своему скоту. Для того чтобы выработать соответствующее отношение к земле, должно смениться несколько поколений. Понятно, сознание людей того времени и современного человека абсолютно разные. Ведь кочевники совсем недавно перешли на оседлый образ жизни, стали горожанами. Наши города теперь современны, не уступают городам других стран. Но порой арат готов все бросить и вернуться в худон. Кочевник все-таки остается кочевником. Перестройка психологии, складывавшейся веками,— процесс весьма сложный и длительный.

И мы в своих произведениях должны этот процесс показать правдиво, талантливо, показать будущим поколениям, как проходила трансформация сознания у скотовода, как изменялось его отношение к земле, к труду.

И еще одна проблема: у нас шестьдесят процентов населения — молодежь, и потому нам очень важно развивать детскую и юношескую литературу. Сам-то я давно нашел свое призвание — вот уже три десятка лет пишу стихи, в которых стремлюсь привить молодежи любовь к родине, к миру, к природе. И еще любовь к труду: городской человек должен быть настоящим горожанином, а если он житель худона, то он должен относиться к своему труду как настоящий человек из худона. Надо учить этому молодежь.

Наша литература имеет очень древние корни. У нас были традиционные восточные формы романа, а сейчас некоторые писатели возвращаются к ним. Конечно, вопрос не в этом. Форма романа может быть и «восточной», и «западной», но самое главное — правильно поставить и верно отобразить те проблемы, о которых я уже говорил.

◆

К нашим иллюстрациям

ХУДОЖНИКИ КУБЫ

Мариано Родригес

Свои картины он подписывает просто — Мариано. С тех самых пор, когда еще семнадцатилетним парнем по заданию Коммунистической молодежной лиги создал свой первый рисованный плакат. Но сегодня одного этого имени, размашисто начертанного внизу полотна, достаточно, его знают на Кубе все. Вернее, знают художника Мариано Родригеса, одного из самых крупных и интересных, прочно вошедших в историю национальной культуры.

На фотографиях он выглядит усталым, старым мастером. Навстречу мне поднялся действительно немолодой уже человек, но бодрый, подвижный, с удивительно живыми темными глазами. С минуту длилось наше молчание — узнавание за традиционной чашечкой кофе. Глядя на этого внешне чуть замкнутого человека, я невольно вспомнил брошенную когда-то им самим, а потом ставшую популярной шутливую фразу о том, что он «рисует и живет, живет и рисует», а в перерывах работает в «Каса де лас Американас» («Доме Америки»), созданной после победы революции творческой организации, пропагандирующей прогрессивную литературу и искусство Латинской Америки.

Но вот Мариано встал, подошел к одной из картин на стене своего рабочего кабинета и, перехватив мой взгляд, улыбаясь, сказал:

— Здесь нет ни одной моей картины — они сейчас в залах Национального музея, где готовится выставка — нечто вроде ретроспективного показа всего сделанного. Впрочем, хоть я и не молод, хочется верить, что это не подведение итогов, а очередная шутка моих товарищей: смотрите, мол, Мариано так ничего путного и не написал...

А через несколько дней состоялось торжественное открытие экспозиции. Пришла вся творческая интеллигенция Гаваны. Любопытно, что в тех же стенах тридцать пять лет назад тогда еще совсем молодой и мало кому известный Мариано Родригес организовал свою первую персональную выставку. И вот нынешняя — «нечто вроде ретроспективы», как говорит автор. Действительно, в основном были выставлены уже хорошо известные его работы и семнадцать новых, акриловыми красками,— итог работы последних нескольких лет. Все они объединены названием «Петухи и толпы».

Вспоминаю, глядя на картины, нашу беседу с художником и его объяснение выбора столь странного «героя». По его словам, образ этот пришел неожиданно, но позволил ему выразить многое. Дело было в сороковых годах. Однажды во дворе родительского дома он, обдумывая новую картину, вдруг обратил внимание на гордо расхаживающего... яркого петуха. Пластика его движений, красочность наряда и независимый бойцовский вид сначала вызвали улыбку художника. Он долго разглядывал петуха, словно видел впервые в жизни, и тут же перенес его на бумагу. Легкие штрихи легли причудливо и вызывающе-задиристо, в них отчетливо просматривалось нечто бо́льшее, чем сама натура.

Сотни вариантов «красного петуха» нарисовал Мариано. Как бы то ни было, его «петух», за которым мало кто из ценителей усмотрел крамольные идеи, а увидел лишь «чистое искусство», на очередной ежегодной выставке завоевал одну из первых премий. А деньги, полученные в награду, художник передал Народно-социалистической партии Кубы — предшественнице нынешней Коммунистической партии, членом которой к тому времени он уже состоял.

Мариано учился живописи сначала в Гаванском художественном лицее «Сан-Алехандро», а затем в Мексике — в академии «Сан-Карлос», где «богами» почитались Диего Ривера и Давид Альфаро Сикейрос, которые дали ему очень много. Цвет и движение навсегда вошли и в его творчество, он осознал их власть и силу.

И еще он понял в те годы, что только родина, ее воздух и люди способны дать ему вдохновение. Так Мариано пришел к неизбежному для себя выводу — немедленно возвратиться домой, на Кубу. «Теперь я могу твердо сказать, что это был самый мудрый поступок в моей жизни,— улыбаясь, говорит он.— Только служа своему народу, питаясь соками своей земли, художник способен создать истинные творения».

В 1938 году вместе с уже известными тогда живописцами Абела, Арче, Портокарреро он организует в Гаване художественную студию для одаренных рабочих, в которой они занимаются по вечерам. Это была попытка создать новое пролетарское искусство. И неудивительно, что вскоре темы, которые принесли с собой рабочие, перекочевали на полотна их учителей. Выраженные кистью опытных мастеров, они явили собой начало социальной кубинской живописи.

На крупнейшей художественной выставке 1939 года в Национальном салоне Кубы картина Мариано Родригеса «Единство» получила одну из первых премий. Написанная под влиянием мексиканской школы, она несла в себе совсем иное содержание: фигуры мужчины и женщины, одетых просто, по-рабочему, на фоне сухого ветвистого дерева, символизировали зарождавшуюся сплоченность народа перед чужеземными и местными эксплуататорами.

Мариано, стремясь окунуться в самую гущу народной жизни, снимает небольшую комнату для работы на одной из улиц старой Гаваны. Рыбаки, крестьяне, продавцы мелких лавчонок, артисты фольклорных ансамблей — все те, кого он «присмотрел» в небольшом соседнем кафе с пышным названием «Золотой дождь», где можно было за чашкой крепкого кофе перекинуться с ними парой слов,— стали его натурщиками и героями картин. А по вечерам у него собирались художники, поэты, артисты и вели долгие споры об искусстве, его роли в общей борьбе, о необходимости выразить дух народа, его пробуждающееся самосознание.

За несколько лет Мариано создает десятки полотен: пейзажи Кубы — ее розовые закаты и рассветы, портреты женщин-крестьянок на фоне нехитрого домашнего очага, серию картин о материнстве. В то время в его творчестве чувствуется заметное влияние Гойи и Матисса, но магия цвета никогда не заслоняла от Мариано Родригеса черных красок кубинской действительности 50-х годов. Он активно работает в партии, а затем примыкает и к Движению 26 июля, созданному Фиделем Кастро, всеми доступными средствами обличает диктатуру.

Кубинскую действительность легко представить себе по картинам Мариано. Прекрасен цвет полотен, реальны, почти осязаемы люди — крестьяне, рабочие, женщины, рубщики тростника, дети. В последние годы в его картинах появились новые «герои» — фрукты, деревья, плоды земли.

— Революция дала мне возможность работать свободно, творчески, не думая о том, кому предназначена та или иная картина,— говорит он.— Я чувствую себя художником, творящим для народа. Я свободнее, чем когда бы то ни было ранее — и в выборе темы, и в выборе формы, потому что подлинно революционное реалистическое искусство объединяет и то и другое.

В последние годы художник был занят работой, как бы вернувшей ему молодость: вместе с группой молодых коллег он создал целую серию монументальных росписей, украшающих здания гаванской средней школы имени В. И. Ленина, школы профсоюзов, института культуры имени Хосе Марти в Мехико, посольство Кубы в этой стране и другие. Да, он действительно не преувеличивает, когда говорит о себе, что «живет и рисует, рисует и живет». Не в этом ли секрет его молодости?

Рене Портокарреро

Рене Портокарреро, один из самых крупных кубинских художников XX века, тоже далеко не молод. Однако его — плотного, невысокого, с седыми кудрями и пышными усами — можно увидеть в самом неожиданном месте: на стройке Аламара, что под Гаваной, и на официальном приеме, у рубщиков тростника в отдаленном уголке страны и вечером на Малекопе — гаванской набережной. Рука его по-прежнему тверда, глаз точен, а наблюдательности могут позавидовать молодые художники.

В рабочем районе старой Гаваны, где он родился и где прошло его полуголодное детство, Рене впервые взялся за кисть, а в 12 лет его рисунки уже экспонировались в салоне «Бельяс артес» рядом с картинами Виктора Мануэля, Вильфредо Лама и Амелии Пелаес.

— В те годы я примитивно рисовал пейзажи,— вспоминает он, теребя усы.— Сейчас, с высоты времени, могу оценить то, что изображал тогда и над чем почти не задумывался: я рисовал то, что видел, что меня окружало — кварталы моего района Серро, живописные дворики, цветы и деревья. Это были пастели, в которых по-детски наивно сражались мои будничные наблюдения и мечты о возвышенной красоте.

В 30-х годах, уже довольно известным художником, Портокарреро рисовал рабочих на фоне фабрики, уставшие лица своих соседей, городские пейзажи. Од-

нажды его пригласили расписать стену собора. Он согласился и изобразил на ней... возвращавшуюся с тростникового поля после нелегкого дня изможденную женщину и разбитого жизнью мужчину с исхудалым сынишкой на плечах.

Однако и его собственная жизнь была тогда далеко не беспечной. Он должен был по-прежнему думать о куске хлеба, перепечатывая на чужой машинке чужие тексты или сочиняя рекламные проспекты для одной туристской фирмы.

— В этой конторе,— вспоминает он,— я тайком написал и «нарисовал» свою поэму «Сон», которая не смогла увидеть свет вплоть до 1960 года. А когда в работе очень плохого чиновника, каким я был, появлялось «окошко», я создавал картины для своей первой персональной выставки, состоявшейся в 1934 году.

Портокарреро сам называет те времена «периодом почти беспросветного сюрреализма». В 1944 году он едет в Нью-Йорк с серией своих картин «Призрачная мифология». Они выставляются в одной из самых престижных галерей, их приобретает даже Нью-йоркский музей современного искусства, но... «Нью-Йорк был ко мне щедр во всем, кроме денег, в которых я тогда очень нуждался»,— улыбается Рене.

Он много путешествует в те годы по Европе и Америке, но неизменно возвращается на Кубу. В Гаване снимает скромную комнатку и трудится, не зная отдыха. Находясь как бы в стороне от господствовавших в то время в кубинской живописи течений, он постепенно приходит к экспрессионизму, близкому, по его словам, «к творчеству некоторых немецких художников». Логически оправданным следующим шагом стали для Портокарреро настенные росписи, которые он начал создавать в конце 40-х годов. Художник стремился выразить себя в монументальной живописи, потому что ему было тесно в светских художественных салонах, где преобладали работы вычурные, далекие от жизни, от проблем страны. Он создает несколько композиций на социальные темы, в которых неизменно присутствуют люди труда на фоне колоритной тропической природы. Одна из его самых лучших работ — настенная роспись в здании Дворца революции.

А через несколько лет его воображение на долгое время займет образ женщины с цветами и в обрамлении цветов — Флора. Символ и надежда. Вера и любовь. Мечта и реальность. Флора — это сама жизнь. Потом будет целая вереница портретов кубинских женщин, к которым совсем недавно прибавилась Флора — голубка, вестница мира, олицетворяющая японских женщин — борцов против ядерного оружия, и Флора-фестиваль, посвященная XI Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который состоялся в Гаване.

Отправной точкой новой темы и нового метода в его творчестве стала серия «Цвета и цветы Кубы», написанная в начале 60-х годов. Она получила «Гран-при» на VII биеннале в Сан-Паулу и на многих других выставках. В ней, как и в последующей серии «Цветы в орнаменте», во всей полноте Портокарреро выразил свои взгляды на цвет, свои многолетние искания, которые привели его к реализму.

— Красота Кубы раскрывается по-настоящему в часы заката или рассвета, а не в полдень, когда изобилие солнца растворяет в себе оттенки, поглощает свет,— размышляет он вслух.— Я стремлюсь к полотнам, которые способны выразить всю красоту и сложность мира.

Портокарреро к тому времени уже весь был во власти другой серии, в которой должны были соединиться достигнутые им художественные высоты и совершенно необычное осмысление социальной жизни. Этого от него властно требовали новые условия, новая страница истории его Кубы — годы после победы революции. Из-под его кисти, как и прежде, будут выходить городские и сельские пейзажи, чертенята, ряженые и соборы — ведь он признанный толкователь на языке живописи афро-кубинских мифов и певец современных карнавальных шествий.

Эта новая серия получила название «Карнавал». Всего за год с небольшим всепоглощающего труда он создал почти две сотни картин — порой это кажется просто невероятным. («Иногда я спал по три часа в сутки, работал как одержимый,— смущенно ответил он, когда я переспросил его о количестве.— После первых же штрихов на полотне у меня возникали все новые и новые мысли, и я не мог бросить их на полпути».)

— Идея карнавала — человека и маски — вот скорее всего то, что привлекло меня в этой теме,— говорит Портокарреро, переходя от одной картины к другой.— Мысль воссоздать карнавал на полотне впервые пришла мне в голову в Сьенфуэгосе, когда я смотрел на завораживающее зрелище народного гуляния.

На картинах не видно лиц, скрыты контуры человеческого тела, глаза без зрачков — это маски, в которых тем не менее легко угадывается характер. Танцы людей в масках раскрывают материальное начало мира, его возникновение и эволюцию. («Мой карнавал» — это своеобразная космогония»,— бросает как бы вскользь Портокарреро). Несколько утрированные формы — это страстный призыв к изменению того мира, который несет людям боль, страдание, несчастье. Вечность нового и бессмертие жизни.

«Одно из самых замечательных достоинств Рене Портокарреро — это взволнованность, динамичность его искусства, находящегося в постоянном развитии,— писал знаменитый кубинский писатель Алехо Карпентьер.— В своем «Карнавале» художник рисует картину всего мироздания, где «под одной крышей» собраны различные персонажи и мотивы, цветовые решения и вариации, которыми он оперировал в своем творчестве в течение нескольких десятилетий. Это наглядный

пример постоянной трансформации, присущей творчеству Портокарреро. Вся серия стоит в одном ряду с лучшими его работами. Она отмечена смелым поиском новых форм и новых цветов для более полного раскрытия темы».

Да, «Карнавал» заставляет смотреть на жизнь без страха и преклонения перед судьбой, но в то же время — критически и без нигилизма. Художник как бы приглашает вас в собеседники, делясь своими мыслями, восторгами, бедами, своим взглядом на мир.

В «Карнавале» есть и сорванные с лиц маски, хозяева которых словно хотят увидеть себя со стороны, понять, соответствуют ли они друг другу. Взирает на себя растерянный король. Дон Кихот смотрит на Росинанта, Дульсинею и на Санчо Пансу. Изувеченный мальчик на коленях у несчастной матери и рядом — фигура человека в колпаке, наподобие куклуксклановского. Он — явный виновник этой трагедии, скрывший свое лицо под маской.

В «Карнавале», где поэтично воспроизведены Земля и Космос, выверен каждый штрих, каждая деталь, каждый цветовой мазок. Завершенность чувствуется во всем, как зрелый плод многолетних размышлений и творческих исканий. Кажется, к этой работе он шел всю жизнь, она — итог всего, что Рене Портокарреро делал раньше. И неудивительно, что эта серия картин стала крупным событием в кубинском искусстве.

У Рене Портокарреро — множество тем, к которым, по обыкновению, он нередко возвращается. Пять десятилетий он с одержимостью создает серии картин с десятками, сотнями вариаций. Они рождаются постоянно, чуть ли не ежедневно, напоминая собой причудливые симфонии барокко. В его произведениях прошлые эпохи обретают новую жизнь, словно в музыкальных композициях, соединяясь с настоящим. «Всякий раз,— писал тот же Алехо Карпентьер,— когда мы думаем, что Портокарреро вроде бы остановился на какой-то определенной теме, нашедшей совершенное живописное воплощение, он вновь удивляет нас свежим поворотом и свежим взглядом на нее».

...«Флора» и «Карнавал». Нет, между ними нет противоречия. Скорее они художественно и логически связаны. Потому что в обеих сериях — вдохновенная песнь жизни.

ВЛАДИМИР ВЕРНИКОВ

◆

Из месяца в месяц

КУБА

ЛУЧШАЯ КНИГА

Книга «Имитация жизни» Луиса Рохелио Ногераса была признана лучшей в жанре поэзии на традиционном ежегодном латиноамериканском литературном конкурсе «Каса де лас Америкас» в 1981 году.

«Ее автор принадлежит к писателям, обладающим редким многогранным талантом, и это является одной из причин его популярности», — отмечает критик газеты «Хувентуд ребельде».

Имя Луиса Рохелио Ногераса привлекло внимание кубинских читателей и критики после присуждения премии «Давид» 22-летнему автору поэтической книги «Голова глупца». В 70-е годы приобрели известность его произведения других жанров. В 1976 году был отмечен премией министерства Революционных вооруженных сил роман-детектив «Четвертый круг» (написан в соавторстве с Гильермо Родригесом Риверой). В следующем году Луис Рохелио Ногерас был удостоен премии Союза писателей и деятелей Кубы за роман «Если я умру завтра...». Книга о подвиге кубинского разведчика, прообразом которого послужил погибший в 1964 году лейтенант Рикардо Вилья Солано, была издана в СССР, а недавно она вышла в стокгольмском издательстве «Арбетакультур» в переводе на шведский язык.

По его сценарию был поставлен художественный фильм «Учитель», воссоздающий важнейшие события кампании по ликвидации неграмотности на Кубе. Эта кинолента была отмечена международными премиями («ИЛ», 1978, № 11).

«Стихи в сборнике «Имитация жизни» пронизаны болью за человека, это гневный протест против социальной несправедливости», — подчеркивает критик «Хувентуд ребельде». И вместе с тем в этой книге настойчиво звучит одна из ведущих тем в творчестве Луиса Рохелио Ногераса — тема высокого предназначения поэта, его преданности народному делу, роли поэзии в духовной жизни общества.

Среди книг

Издано в СССР

ТРУД И РАЗУМЕНЬЕ

То Хоай. Избранное. Перевод и предисловие М. Ткачева. Москва, «Художественная литература», 1980.

Эта книга начинается сказкой, которая учит, как и все сказки мира, что «человек, будь у него лишь небо над головой да земля под ногами, силой своей и умом сам все сотворит, всего достигнет».

«Затерянный остров» — повествование о легендарном герое древней земли Ванланг, где жили пращуры нынешних вьетнамцев, и потому, наверное, для нас жизнеописание Ан Тиема — это прежде всего исторический роман, в котором собраны — бережно, кропотливо — сведения о вьетах: те, что сохранились в сочинениях средневековых летописцев, более всего в «Дивных повествованиях земли Линьнам», и, конечно же, те, что и сегодня живы в памяти народной — песнях, сказах, легендах. «Каждый клочок бумаги — пусть с половиною иероглифа, каменные плиты с надписями, воздвигнутые в этой стране,— все, едва узрите, изничтожайте в прах»,— гласил указ китайского императора Чэнцзу, двинувшего в 1407 году на вьетов свои войска. Не единожды на протяжении тысячелетий чужеземцы тщились предать праху и забвению сотворенное трудом и разуменьем жителей Ванланга.

Почему То Хоай, автор семидесяти с лишним книг — рассказов, повестей, романов, очерков, пьес, киносценариев, герои которых наши современники, — обратился к прошлому?

Из предисловия к книге читатель узнает, что «еще в сорок пятом, когда французы — сначала только на юге — развязали военные действия против Республики, То Хоай отправился туда с корреспондентским мандатом. Потом в Ханое, незадолго до всеобщего Сопротивления, в редакции газеты «Кыукуок» («За спасение Родины») его приняли в партию. В этой газете проработал он всю войну... То Хоай отправлялся в пешие командировки иногда за сотни километров. Он бывал на местах боев, в деревнях. Он был настоящим военным корреспондентом; и правительство Республики удостоило его высшей военной награды — ордена Сопротивления I степени...» О партизанском подполье, о бесстрашной борьбе мео (народность, живущая на северо-западе Вьетнама) против тэй, как называли они французских колонизаторов, повесть «Супруги А Фу» (1953), удостоенная первой премии Ассоциации культуры. Она тоже вошла в том избранного. «Когда наш народ завоюет независимость,— говорит ее герой А. Тяу,— люди наконец заживут спокойно, будут на полях пахать землю и собирать урожай, торговать, строить дома и машины...» Но прошло больше четверти века, прежде чем чаяния эти свершились и весь Вьетнам стал свободным. Как легко и небрежно звучит «четверть века», хотя по газетным репортажам и кинохронике, по рассказам очевидцев, соотечественников То Хоая мы знаем, какими они были, эти суровые, долгие двадцать пять лет.

Любовь и бережное отношение переводчика к слову То Хоая, к его земле и ее истории помогут даже самому несведущему перейти «барьер инородности» и с интересом следить за событиями, приключившимися на берегу Лотосовой заводи у храма Бронзового барабана; внимать рассказу о том, как герои перегоняли плоты с корою зио, искали целебные клубни иньяма и терпкие клубни гэу, по листьям дерева банг определяли время дождя, кашеварили на глиняных треножниках, умели вести маленькие плоскодонки среди водоворотов и стремнин Большой реки в дни праздника Нового риса в десятом месяце уходящего года и еще о многом-многом другом, что и сегодня нередко составляет будни и праздники вьетнамцев.

И думаю, прочитав всю книгу, каждый поймет, почему в годы, когда американские ястребы сверлили небо над Ханоем, и позже, когда мужчины вернулись с поля брани и стали учить детей мирным ремеслам, То Хоай работал над романом о своих пращурах.

Итак, «Затерянный остров». Мало того что автор переносит действие романа в прошлое, он помещает своего героя (прибегну к расхожему нынче термину) в экстремальные обстоятельства — указом разгневанного императора отправляет Ан Тиема с семьей на остров, затерянный в океане. Обращение к прошлому дает возможность восстановить исторический момент, вернуться к истокам, к юности нации, когда государь Хунг сплотил разрозненные племена и люди «начали выжигать лес и осваивать земли на холмах, а затем и заливные земли вдоль рек...», когда «человеческий труд сравнялся с мощью стихий». Момент этот относится к временам

донгшонской культуры. В романе идет речь о вьетах, отвоевавших землю у «водяных чудищ» Большой реки. Об их укладе жизни, обычаях, о том, как они заваривали чай и готовили коричное мясо, как почитали старцев и осваивали природу, умея использовать во благо каждое деревце, каждый луч солнца... То Хоай воскрешает в памяти современников дальние дни их родной земли, чтобы напомнить, сколь изначален для него, писателя, патриотизм. Патриотизм в самом высшем смысле слова: не только ненависть к иноземному захватчику, но ощущение себя неотторжимой частью сообщества людей, земной тверди, воды и неба — слагаемых отечества. Эта черта — поиск национальных корней, ретроспекция в историческое прошлое для поверки с его помощью настоящего,— по наблюдению специалистов и критиков, присуща сегодня литературам многих стран, в том числе и социалистических.

Но То Хоай не ограничивается «поиском утраченного времени», хотя сама по себе тщательная и смелая исследовательская работа по реставрации «подлинника», потребовавшая археологических, географических, филологических знаний,— воистину подвижничество. Писатель ищет подлинное в человеке, для чего и прибегает к приему утопического повествования. Путешествие судового врача Лемюэля Гулливера на судне «Антилопа» закончилось, как известно, кораблекрушением, благодаря чему он смог поведать нам о приключениях в Лапуте и Лиллипутии, у гуигнгнмов и бробдингнегов и поделиться своими соображениями по поводу возможных вариантов государственного устройства. А Даниель Дефо поселил своего Крузо на острове, чтобы продемонстрировать приоритет цивилизованного, находчивого «homo sapiens» над дикой природой. Свифта мучили раздумья «верноподданного» английской империи, всем сердцем негодующего на несправедливости, освященные благословением Его Величества; Дефо воспел трудолюбие и предприимчивость гражданина входившего тогда в силу буржуазного общества. Иное — и не потому, что речь идет о Востоке — прочтение традиционного сюжета у То Хоая. Его герой Ан Тием оказывается на затерянном острове, который не найти ни на одной карте (помните «u topos» Томаса Мора — «место, которого нет нигде»), не для того, чтобы изучить модель существующего там общества или вступить в противоборство с природой. Ан Тием чувствует себя на равных со всем и вся, что окружает его. Конечно, он смел и ловок, ему неведом страх, но думает он не о том, как победить, выжить, а о том, как «раскодировать» мощные, неисчерпаемые силы природы, а значит, приумножить с их помощью силу человеческую. «Сын мой,— говорит Ан Тием,— ты исполнил мое заветное желание. Ты увозишь народ на наш остров, и вы трудом и разуменьем своим превратите его в изобильную, щедрую землю». Так в романе То Хоая История и Мечта — действительность и утопия — пересекаются в одной точке — в Человеке.

Сборник То Хоая потому и начинается романом «Затерянный остров» — историческим, эпическим, утопическим, назовите его как угодно и будете правы,— что сегодня, когда Вьетнам строится и повсюду созревают плоды рук человеческих, очень важно помочь каждому преисполниться веры, что он не преступит заветов своих предков, отдаст все силы и разуменье во благо изобильной и щедрой земли.

А. НИКОЛАЕВСКАЯ

ТРАДИЦИИ ЖАНРА И САМОБЫТНОСТЬ

Современный японский детектив. Перевод с японского. Составитель и автор послесловия Б. Раскин. Москва, «Прогресс», 1979.

Более столетия назад был создан первый детективный рассказ «Убийство на улице Морг» Эдгара По, которого считают родоначальником детективного жанра в европейской и американской литературе. «Как атлет радуется своей силе и ловкости и находит удовольствие в упражнениях, заставляющих его мышцы работать, так и аналитик горд своим умением распутать любую головоломку»,— писал Эдгар По в этом рассказе.

Вошедшие в мировую классику Уилки Коллинз и Конан Дойл, а также наши знаменитые современники Агата Кристи и Жорж Сименон — каждый из них внес свою лепту в развитие детективного жанра, основанного на непременном разгадывании таинственного преступления.

И хотя на протяжении всего времени, что существует детектив, и дебатируется вопрос: а стоит ли его воспринимать всерьез,— этот жанр не только не уступает своих позиций, но в своих лучших образцах завоевывает все большую популярность, перерастает свою изначальную занимательную и развлекательную функцию, приобретая все чаще политическую и остросоциальную направленность, и получает свое оригинальное воплощение в тех странах, где не имеет давних традиций. В числе таких стран — Япония.

Сборник «Современный японский детектив», как мне представляется, занимает заметное место в серии зарубежных детективов, выпускаемой издательством «Прогресс». Это первая восточная книга упомянутой серии, что само по себе небезынтересно. На всех включенных в нее произведениях лежит печать японской жизни и современных проблем, характерных для послевоенной Японии. Сборник выстроен по определенному научному принципу: открывается он повестью основоположника жанра детектива в японской литературе Эдогава Рампо «Чудовище во мраке», написанной еще в 1928 году, продолжается романом «Земля-пустыня» Сэйтё Мацумото, писателя, уже известного советскому читателю, который создал в современной литературе Японии жанр разоблачительного романа, нередко окрашенного в детективные тона. И завершается романом «Плюшевый медвежонок» Сэйити Моримура, автора весьма плодовитого и необычайно популярного в Японии. Хотя его книги, вероятно, можно отнести к так называемой «массовой» беллетристике, все же в них явственно присутствуют приме-

ты современной Японии и проблемы, живо затрагивающие японцев.

Сборник характеризует также разнообразие «подвидов» детективного жанра. В первой повести раскрытие преступления достигается средствами логических умозаключений, причем в роли следователя выступает писатель — автор детективных романов. Во втором произведении вообще отсутствует преступление как таковое, а в роли «следователя» — журналист. Кстати, для Сэйтё Мацумото характерен образ журналиста, разоблачающего коррупцию, столь глубоко въевшуюся в правящий класс Японии наших дней. Строго говоря, лишь в романе Сэйити Моримура действуют традиционные сыщики, раскрывающие настоящее уголовное преступление. Думается, что это отнюдь не является недостатком книги, а, напротив, свидетельствует о возможностях жанра.

Детективные произведения не нуждаются в подробном пересказе. Замечу лишь, что повесть Эдогава Рампо производит впечатление классического образца жанра, отличается тонкостью и даже изощренностью замысла, оригинальным выполнением, неожиданностью развязки. Добавлю, что повесть очень неплохо переведена на русский язык.

В романе Сэйтё Мацумото увлекательность сюжета сочетается с актуальной проблематикой. Несмотря на то что действие его разворачивается в наше время, он переносит читателя в годы второй мировой войны. Его герой, японский дипломат, находясь в одной из нейтральных стран Европы, попытался приблизить окончание кровавой бойни. В результате ему пришлось инсценировать собственную смерть, и появление его, живого и невредимого, хотя и, разумеется, постаревшего, в Японии — не по вкусу милитаристским кругам страны. Присутствие этой мрачной силы постоянно ощущается на страницах романа, и становится ясным, что замысел писателя состоял не в том только, чтобы рассказать о встрече человека со своими близкими, которых он не видел около двадцати лет, а в чем-то гораздо большем: убедительно показать, что милитаризм спрятал голову, но не сдал позиций, он готов и сегодня на любые безрассудные акции.

Роман Сэйити Моримура очень популярен в Японии, и по нему сняли фильм, демонстрировавшийся и в нашей стране. Здесь затронуты разные темы: упоминавшаяся выше коррупция буржуазной элиты, нравы современной молодежи, конфликт отцов и детей, но рядом проходит и тема второй мировой войны, американской оккупации, ущербность и трагичность судеб тех, кого разлучила и разбросала по свету война, и тех, кто построил свое «счастье» на забвении долга. Нельзя сказать, что все эти темы решаются глубоко, но стоит ли этого требовать от детективного романа? Видимо, нет.

В целом же эта книга, знакомящая с различными образцами японского детектива, в котором самобытность предстает в сочетании в традиционными для жанра чертами, заслуживает положительной оценки.

Н. Т. ФЕДОРЕНКО

КЕНТАВР ПО-НИГЕРИЙСКИ

Нкем Нванкво. Мой «мерседес» больше. Роман. Предисловие М. Зеновича. Перевод с английского К. Чугунова. Москва, «Прогресс», 1979.

Машина — символ времени и прогресса, а человек в машине (особенно африканец в дорогой европейской машине) — современен и прогрессивен. В этом твердо убежден герой романа «Мой «мерседес» больше», как, по-видимому, и все, с кем он имеет дело.

Вид его действует на окружающих магически. Ему ни в чем нет отказа. Деньги в кредит? Пожалуйста! Пиво в кредит? Да хоть ящиками!.. В кредит можно получить все, что пожелаешь: женщину, уважение, землю. Только непонятно, кому дают в кредит — человеку или машине?

Роман ироничен. И это — грустная ирония. Известный африканист Б. Дэвидсон так сформулировал традиционный принцип жизни африканца: «достаточно того, что достаточно», в котором и было заключено представление о «правильном и естественном» мире.

Моральный кодекс африканца диктовал ему и общественный идеал: уважения достоин тот, кто живет в согласии с «идеальным равновесием», не возвышаясь над уровнем жизни своих друзей, ибо что в избытке достанется одному, того недостанет другим.

Эта патриархальная идеология еще не совсем забыта даже образованными африканцами, в жизни которых, соединяясь, борются две столь различные культурные традиции — африканская и европейская. Снова и снова возвращается к этой проблеме литература Нигерии. Ее создатели сумели уловить — и очень точно — негативные тенденции новой жизни, странное сочетание изживающей себя традиции с уродством капиталистических отношений.

Передовые писатели осознали, что однозначный подход к национальным культурным ценностям, которые в годы борьбы за независимость были оружием, направленным против колонизаторов, теперь может привести к шовинизму. Они осознали также, что освобождение от колониального ярма само по себе еще не означает решения классовых противоречий. Наоборот, ставит перед обществом новые, весьма непростые проблемы.

Соседство последних достижений НТР с заклинаниями колдунов, традиционной, многовековой культуры с культурой привнесенной, навязанной извне, но уже вошедшей в жизнь,— все это порождает у многих пишущих сегодня писателей чувство раздвоенности, сознательное желание отказаться от навязанных европейских моделей жизни. Они стремятся вернуть достоинство униженному африканцу.

Так рождаются социальная сатира и политический протест. Так возникает «литература разочарования», обличающая суще-

ствующую систему, повествующая о разложении общества. Независимость не принесла человеку труда политического и экономического освобождения. Неоколониалистский капитал породил политических выскочек и нуворишей. К ним в первую очередь хочется отнести слова нигерийского критика Име Икидде: «Сейчас мы поняли, что чудовище может быть и черного цвета».

Один из второстепенных персонажей романа, Икипа, приехал в деревню Обунага за полгода до выборов. Он многое успел: добился звания вождя (! — *А. К.*), купил «мерседес» с мелодичным сигналом и с обязательным партийным флажком на капоте; предусмотрительно внес пожертвования в фонд христианских церквей, чем снискал себе репутацию щедрого человека... По приезде в Обунагу он взял себе четырех жен, чем весьма огорчил первую, с которой счастливо прожил двадцать лет. А как же! Ведь многоженство в глазах Икипы и ему подобных свидетельствует о высоком общественном положении. Потом понадобился «дворец». Возник и дворец — смехотворная помесь хижины вождя с четырехэтажной загородной виллой. Как символ того, что представляют собой выскочки.

Икипа — продукт времени. Таких, как он, в Африке, в частности в Нигерии, немало. В зарубежной критике и у нас много говорилось о том, что пока у нигерийских писателей нет позитивной программы и положительного героя. Зато вот он, своеобразный антигерой, олицетворяющий собой пороки общества. Это и Икипа, и центральный персонаж романа, человек-машина, кентавр Онума.

Кто такой Онума? Сказочный зачин сразу обнажает суть дела: «Жил-был молодой человек, ставший счастливым обладателем нового автомобиля». У африканцев есть пословица: «Всякий, кто хочет залезть на дерево, начинает снизу, а не сверху». Онума как бы решает опровергнуть народную мудрость — он пытается сразу же запрыгнуть на верхушку дерева и там, наверху, остаться. Этот Онума обаятелен и удачлив (общий любимец в школе, душа общества в университете). Ему повезло — устроился на работу, где жалованье «втрое больше того, на что он мог рассчитывать». «Жалованья Онумы хватило бы на содержание целой деревни в течение нескольких месяцев».

Работа Онуме подходит. Агент отдела рекламы и информации, обаятельный и видный мужчина, он идеально вписывается в систему одной из европейских фирм, находящихся в Лагосе. Он налаживает связи, ублажая местных и приезжих клиентов сомнительными развлечениями. Автор с брезгливой жалостью рассказывает: «Он соединял в своем лице посредника, агента по тайным сделкам и сводника, и роли эти исполнял с большим удовольствием».

Постепенно раскрывается секрет его притягательности: в университете Онума «прослыл знатоком вин и сигар. Был на короткой ноге с содержателями всех публичных домов и кабачков города. Он познавал жизнь, как она есть, с каждым днем все больше убеждаясь, что миром правят две силы: секс и деньги. Согласно его теории, человеку, умеющему обращаться с деньгами и с женщинами, нечему больше учиться».

Итак, преуспевающий городской служащий едет в деревню, к родителям, которых не видел пятнадцать лет. Отец Онумы — сравнительно зажиточный и влиятельный человек в деревне. Хозяин. Вождь. Но что это за зажиточность?! Отец сразу вызывает раздражение и презрение сына, владельца роскошного автомобиля и дюжины европейских костюмов. Ну еще бы! Ведь деревня, даже родная, «тем и плоха, что кругом грязь, от которой становятся грязными и твои вещи».

К вечеру, после многочисленных встреч с родственниками (а они буквально ошарашены, они не могут понять, как это могло случиться, что вчерашний мальчишка вдруг приехал к ним на новой машине) Онума начинает понимать: убожество и нищета деревенского быта слишком откровенно контрастируют с роскошью и комфортом города.

А ведь, подъезжая к деревне, Онума ликовал: «Мой народ! Моя родина!» Сердце радостно сжималось, когда он видел поля, окаймленные лесами, детишек, копошащихся в земле. Дети были голые и чумазые, но он этого не заметил. Ибо видел все в «розовом свете». Уже к вечеру настроение резко изменилось: «Жители деревни, как животные, улеглись спать с наступлением сумерек», «крестьянин — это прежде всего грязнуля и пьяница, набитый суевериями». Ничтожные босоногие полуголые родственники во главе с отцом и матерью недостойны даже смотреть на «ягуар».

Первая часть романа не случайно называется «Цепкие корни»: в общем-то Онума мало чем отличается от своих деревенских сородичей, разве что машиной да гардеробом. А скорее всего, он даже хуже многих из них: натура его порочна, он самодоволен и неумен. Но связь развращенного «сладкой жизнью» Онумы с родной деревней прервана не окончательно.

Ну, казалось бы, жил бы себе Онума в городе, где машина «правильно и естественно» вписывалась в урбанистический пейзаж, в городской порядок. Так нет! Ему обязательно хочется покрасоваться. Он едет в родную деревню, но и он сам, и его ослепительный двойник-автомобиль выглядят там, конечно же, неуместно. Конфликт неизбежен. Ибо в деревне его считают человеком, который живет не так, как все.

Кстати, бегство из деревни в город, возвращение из города в деревню, столкновение психологий и образа жизни горожанина и деревенского жителя — нередкий для африканской литературы прием, позволяющий острее раскрывать противоречия современной Африки. Достаточно вспомнить написанный около пятнадцати лет назад роман Чинуа Ачебе «Человек из народа», произведения Т. М. Алуко, В. Шойинки, М. Мванги.

Онума спьяну разбивает машину. Сам он чудом остается жив. На дне оврага лежит изуродованный, искореженный «ягуар». Куда девались удачливость и везу-

честь Онумы? Куда девались его престиж и его ум? Без автомобиля он сразу перестает казаться человеком, опускается. Его выгоняют из фирмы, ибо он оказался несостоятельным должником (кредит за машину не выплачен). Теперь надо думать, как бы не подохнуть с голоду. На время предвыборной кампании Онума получает работу, очень несложную: надо ездить по деревням, прислушиваться к разговорам. Короче — стать осведомителем. Он готов на все: любыми путями он должен вернуть себе положение в обществе — свой «ягуар». Ведь остаться без «колес» — значит остаться без кредита, без будущего.

В конце романа, охваченный маниакальной идеей заполучить машину, Онума совершает бессмысленное убийство. Впрочем, бессмысленным оно кажется только с точки зрения нормальных людей...

Идет предвыборная кампания.

...Два претендента на пост лидера окружены своими людьми: бандами разорившихся, живущих в кредит и на подачки людей, вряд ли понимающих, что происходит. Они жаждут одного: чтобы им платили. Они равнодушны к жизни — своей и чужой и вместе с тем алчны к деньгам, выпивке и наркотикам. Перепалки перерастают в драки, а порою кончаются и убийствами.

Борются не только люди, борются и машины, а точнее, кентавры:

«В последнюю минуту шоферу грузовика вздумалось позабавиться. Он поравнялся с самосвалом и стал теснить его к обочине. Люди, перевесившись через борт, размахивали руками и осыпали друг друга ругательствами. Если бы машины остановились, началось бы кровавое побоище.

Словесная битва продолжалась до тех пор, пока машины одновременно не достигли вершины холма, где дорога шла вдоль обрыва. Самосвал ехал у самого края пропасти. Грузовик нанес ему мощный удар в борт. Послышались вопли, самосвал словно замер на мгновенье над бездной, потом полетел вниз».

Нкем Нванкво с сатирической беспощадностью анализирует социальную структуру современного нигерийского общества. Он видит пропасть, лежащую между массами простых людей и теми, кто сумел воспользоваться процессом деколонизации. Он пытается противопоставить циничной морали мелких политиканов традиционные ценности общины. Но и здесь его ждет разочарование, ибо община тоже разлагается — и сюда, в далекую деревню, проникает влияние города. Такова жизнь в кредит. Такова действительность.

Нкем Нванкво отвергает ее. Он отвергает жизнь в кредит — в деревне и в городе. Жизнь в кредит во всем обществе.

«Давайте поразмыслим, какими мы будем завтра!» — призывал африканских писателей Чинуа Ачебе. Нкем Нванкво прямо не ставит перед собой такой задачи, но хочется верить, что роман его приближает время, когда и жизнь и литература найдут ответы на вопросы, волнующие современных африканских авторов.

АЛЛА КИРЕЕВА

Издано за рубежом

ФРАНЦУЗСКИЙ УЧЕНЫЙ О РУССКОМ ПИСАТЕЛЕ

Jacquue Catteau. La création littéraire chez Dostoievski. Paris, Institut d'études slaves, 1978.
Жак Катто. Литературное творчество Достоевского. 1978.

«Но следует быть осторожным...»— пишет французский литературовед-русист Жак Катто в статье «Пространство и время в романах Достоевского», напечатанной недавно в очередном, третьем выпуске академического сборника «Достоевский, материалы и исследования» (Ленинград, «Наука», 1978). То же настроение в его трактате, в исследовании «Литературное творчество Достоевского»— следует быть осторожным.

Книга Жака Катто — книга-транквилизатор. Книга, призванная к некоему успокоению страстей, к отказу от крайностей, к приглушению методологических взрывов, своего рода протуберанцев, то и дело полыхавших вокруг Достоевского.

Достоевский провоцирует на крайности. Доктрины «реальной критики» требовали от художественной литературы прямых свидетельств о реальности, об общественной жизни, и даже самые проницательные и достаточно доброжелательные современники видели в творчестве Достоевского исключительно мир «забитых людей», городской нищеты, убожества, на этом и останавливаясь. Были крайности импрессионизма, были крайности доктрин «эйдологической» социологии, вскоре получившей имя социологии просто вульгарной: Достоевский — идеолог мещанства, в силу своего экономического положения вынужденного пребывать между угнетателями и угнетенными, идеолог сословия раздвоенного, и отсюда — двойничество героев его, в коих отражается его собственная «психоидеология».

Были крайности фрейдизма, словом — крайности, крайности, крайности. Творчество писателя превращалось порой в полигон, на котором испытывались все новые и новые виды аналитического оружия, в поприще для самоутверждения самых различных, даже не полемизирующих друг с другом, а просто друг друга не слышащих школ и учений. «Но следует быть осторожным...» Не решаясь судить о том, насколько применим этот сдерживающий призыв к мировому литературоведению вообще, и вполне допуская, что в каких-то областях его осторожным быть вовсе не следует (под личиной благой осторожности в науку пробирается и кос-

ность, и нетерпимость к новому, к риску), видишь все-таки: применительно к Достоевскому призыв французского исследователя своевременен и насущен. Достоевский как бы устал от терзающих его экспериментов. Ему нужен отдых, а исследователям его — спокойствие. Спокойствие и пытается внести в изучение Достоевского книга Жака Катто.

Что-то классическое, успокоительное есть в самой композиции книги, неспешной и эпической. Часть первая — о «предтворчестве», об усвоении Достоевским художественного наследия и вообще о роли в его творческой жизни чужого слова, чужой идеи, концепции, чужого художественного произведения. Сознание Достоевского распахнуто навстречу всемирной культуре. Оно непредвзято. Это какое-то всепоглощающее сознание, открытое и вековечной святыне, мифу, и злободневной газетной новости, и высокой классике, и расхожей беллетристике. Впрочем, Достоевский в книге Катто постепенно становится все серьезнее: в юности, в ранней молодости восприятие как-то неупорядоченно, в последующие годы оно уже не экстенсивно, а строго интенсивно, и в поле зрения писателя — в первую очередь религиозно-философские, социально-экономические книги. Но здесь же, тогда же — и жадность к текущей отечественной публицистике, отражающей жизнь непосредственно и мгновенно: идейная борьба 60-х годов прошлого века втягивает писателя в свои клокочущие водовороты, и он торопится вникнуть в развитие современных ему идеологических тенденций, предугадать их развитие, проследить, как они преломляются в реальности общественной жизни.

Книга Жака Катто соединяет в себе две задачи: и задачу исследовательскую, и задачу ознакомления французского читателя с реалиями общественной жизни России, с ее историей. Такт для подобного двуединства нужен немалый; Катто присуще умение на равных разговаривать и с посвященными хотя бы в основные особенности российской жизни, и с теми, кто имеет о России весьма туманные представления. У Катто есть дар «освежить» известное, находить в известном неожиданные оттенки или соединять два, три, десять известных фактов в новое качество. Этот дар реализуется в первой же части работы. По отдельности многое из описанного в ней было известно. И все же неожиданным оказывается и сам объем знаний, которыми располагал Достоевский, широта их и совмещение их, соседство: романы Эжена Сю и познания в храмостроении, газетная сенсация и Шекспир, иконография и злободневный шарж. Книги, явления искусства, высказывания, которые общепринятая иерархия представляет удаленными одно от другого, в сознании Достоевского начинают соседствовать так же, как в произведениях его соседствуют люди различных сословий, идейных и нравственных убеждений, и так же, как в одном герое соседствует разное: блудница, проститутка оказывается подлинной праведницей, аристократ обнаруживает в себе артиста-каллиграфа, а в молодом офицере живет потенциальный старец-монах. Круг чтения Достоевского то расширяется, то становится уже; но здесь всегда есть своя логика: разное, разновалентное в творческом сознании писателя уживается по неясным, но несомненным законам соседства.

Соседство — явление, казалось бы, заурядное, но чрезвычайно глубокое: сосед принципиально случаен и никому не ведомо, кого именно судьбе будет угодно послать человеку в соседи. «Не выбирай дом, выбирай соседа» — учит пословица. Но выбрать соседа далеко не всегда возможно. И будучи случайным, сосед в жизни человека становится необходимостью. Сюжеты произведений Достоевского основаны на таинственном феномене соседства: достаточно вспомнить, что диалог князя Льва Мышкина и купца-миллионера Парфена Рогожина в «Идиоте» начинается с их случайного соседства в вагоне железной дороги, а в мрачновато-саркастическом этюде «Бобок» воспроизводится якобы подслушанный рассказчиком разговор, пререкания, ссора... усопших, покойников, оказавшихся соседями после смерти в могилах, на кладбище. Эти соседи язвительно пререкаются, уже ступив на пути, ведущие из земной юдоли в иные миры. Сосед — случайность, ставшая необходимостью; сосед — чужой человек, который не может не стать твоим жизненным спутником. И сведéние, соединение в сознании Достоевского заведомо разновалентных культурных ценностей, жанров, идей раскрывается Жаком Катто как первостепенная предпосылка уникальной структуры творений писателя (добавим, что Достоевский испытал на себе и самую трагическую форму соседства: соседство людей в каторжных бараках). Скажем так: в сознании Достоевского теснились идеи-соседи, поэтому в творениях его толпятся соседи-идеи.

Далее — вторая часть работы Катто. Она — о структуре художественного сознания Достоевского. Исследователь выделяет две линии, он называет их «видимой» и «невидимой».

«Видимая» линия — в законченных произведениях Достоевского, предназначенных для читателя, обращенных к современности. Катто приходится спорить с трактовками Достоевского, ставшими у нас, на родине писателя, лишь тенями прошлого и даже свою мрачноватую пикантность утратившими: с предрассудками об асоциальности Достоевского, об его одинокости, с попытками применить к писателю догмы фрейдизма. Катто спорит с ними, открывая французскому читателю глаза на реальность истории литературы: творчество Достоевского — диалог с современной ему эпохой; Достоевский подхватывает и отчетливо высказанные идеи, и идеи, всего лишь носящиеся в воздухе времени. Он их сталкивает. Он поддерживает одни, он доводит другие до абсурда, сводя их к лозунгу, к полемическому выкрику, к выпаду, к реплике. Это идеи-соседи, автономные, не могущие слиться. Они видимы, но есть, по Катто, у Достоевского и идеи незримые. Такие идеи открываются лишь потомкам, да и то уже только частично: для проникновения в них необходима не-

вольная жестокость, вынужденная бесцеремонность последующих поколений, проникновение в переписку Достоевского, в его достаточно интимные записи, в черновые наброски. Катто рассматривает «невидимую линию», подробно изучая на основе черновиков и писем замысел «Жития великого грешника», который он считает своеобразным фундаментом всего творчества Достоевского.

Через замысел «Жития...» писатель вводил в литературу тип «широкого человека», как бы заключающего в своей одиночной судьбе многоликий опыт всего человечества. Достоевский, напоминает исследователь, мечтал написать «роман одной жизни», в которой спрессовались бы капитальные проблемы истории и коренные противоречия неукротимого духа людского. По мнению Катто, «Житие...» является проективным идеалом, в котором органично сочетаются метафизика и романная техника; и все творчество Достоевского может быть соотнесено с этим романом-фундаментом, существующим в сознании художника слова, но, увы, вполне открывавшимся лишь ему одному.

В книге французского исследователя есть много проблем не названных, но фактически им поставленных. Важнейшая из них — проблема национального своеобразия Достоевского. Она странно сопрягается с другой, казалось бы, не соизмеримой с нею проблемой: Достоевский и... детектив, детективный роман.

Вопреки достаточно распространенному мнению, Катто, говоря о жанровом мире творчества Достоевского, исключает из него детектив. И это методологически верно: детектив принципиально локализован; он не знает, не может, не хочет знать, что такое грех и кто такой грешник. Сфера его — преступление; и даже надругательство над святыней, скажем, кража ее из храма, музея и попытка торговать ею (сюжет в детективе очень распространенный) рассматривается здесь исключительно как незаконное присвоение чужого материального достояния. Детектив атеистичен. В его мире нет греха, грешников, нет, стало быть, и праведника; есть преступник и честный человек, противостоящий преступнику.

Но в мире Достоевского преступление и грех соседствуют, то сливаясь в одном деянии, в одном герое, то расходясь, разрываясь. Раскольников — грешник-преступник; и Соня Мармеладова видит в нем грешника, а Порфирий Петрович — преступника. Но в «Братьях Карамазовых» Иван грешен, хотя по законам детектива он никак не преступен; грешен помыслами своими Дмитрий, а судят-то и осуждают его как преступника. А те святотатцы, которые часто вспоминаются Достоевскому: вынесли из храма святыню, причастие, выстрелили в него... Для того видения мира, которое утверждает детективная литература, подобного поступка просто не существует; но для Достоевского это предел падения, грех великий. Предрассудок? Вряд ли. Тут какой-то ужас перед отшепенцем, перед индивидуализмом: недаром же в своей речи о Пушкине Достоевский едва ли не с ужасом говорит об Алеко из пушкинской поэмы «Цыганы». Ему чуждо, его страшит какое бы то ни было отъединение, отпадение человека от мира; и лишь на лоне всеобщности, по Достоевскому, может развиваться индивидуальное, личное. Не беремся судить о правоте или неправоте писателя в каждом отдельном случае; но ясно, что убеждение его, во-первых, достаточно актуально и, во-вторых, обосновано национальной традицией, а пресловутое «смирение» у него вовсе не означает безропотности, покорности. Нет, «смирение» у Достоевского — сложное понятие, заключающее в себе и готовность пожертвовать своим «я» для других, и самоотверженность, и терпимость.

Кстати, Катто прекрасно трактует известное явление и биографии, и творчества Достоевского, ситуацию «человек и болезнь». Здесь он снова вступает в спор с фрейдизмом. Он признает, что болезнь как таковая в ее многочисленных аспектах играла своеобразную и существенную роль в художественном мире Достоевского. Но для адекватного понимания этой роли надо перевернуть фрейдистскую посылку: болезнь не определяла и не определяет деятельности писателя; напротив, писатель овладевает болезнью и преображает ее, преобразуя зло в силу, которая может ему послужить. Болезнь обостряет духовное зрение. Убыстряет ритм жизни. В болезни и люди предстают перед теми, кто наблюдает их, откровеннее, ибо болезнь, даже самая мимолетная,— напоминание о приближении человека к последней черте его жизни, к рубежу, к повторениям гамлетовского вопроса: «Быть или не быть?» То, что природа задумала сделать слабостью человека, он превращает в свое преимущество. А когда общество «лихорадит», общество это говорит о своих запросах, противоречиях и исканиях так, как нужно художнику: оно становится удивительным, оно изумляет.

Третья, последняя часть работы Жака Катто — о пространстве и времени в произведениях Достоевского.

На проблему пространства и времени все сейчас буквально накинулись. Однако и здесь Катто стремится проложить свои пути, дать свои интерпретации, толкования. В работе его есть живые наблюдения над символикой цвета у Достоевского, над всегдашним свойством героев Достоевского раздваиваться, как бы вообще ветвиться, отпочковывая от себя своих двойников, свои продолжения. Есть у Достоевского люди-тени, есть люди-эхо. Пространство у него организовано театроподобно: действующие, комментирующие, исчезающие со сцены и вновь на ней появляющиеся. Катто спорит с теми, кто говорит о тенденции к исчезновению времени у Достоевского. Нет, об исчезновении, об уничтожении времени и речи быть не может: время у Достоевского, по Катто,— словно бы живой организм, оно разноритмично пульсирует, как бы дышит; и метафоры типа «веяние времени» или «дыхание времени» становятся у писателя едва ли не сюжетной реальностью.

И здесь, в последней части работы Катто, так же сказывается основная особенность этой работы: она очень целостна, эклектизмом здесь и не пахнет, но она берет у различных трактовок Достоевского все заслуживающее внимания и терпеливо сводит социологию и психологию, поэтику и идеи. Она очень рассудительна без скучной рассудочности; в ней есть то, что лишь интуиция может нашептать исследователю, но она чуть-чуть иронична по отношению к интуитивизму.

Что будет увидено, открыто в Достоевском последующими годами, веками? Нечто, разумеется, будет открыто. Но пока мы подводим итоги сделанному, собираем, сводим, упорядочиваем уже сказанное. И в числе работ, скромно делающих столь необходимое дело, достойное место займет книга французского исследователя, профессора Сорбонны Жака Катто.

Б. ТАРАСОВ, В. ТУРБИН

КОНЕЦ ИГРЫ

Irwin Shaw. The Top of the Hill. New York, Delacorte Press, 1979.
Ирвин Шоу. Вершина. 1979.

«Ряскую жизнью — следовательно, живу». Именно так мог бы сказать о себе герой нового романа Ирвина Шоу Майкл Сторрс. То, чему с таким пылом отдавался он в свое свободное время — плаванию ли с аквалангом, виндсерфингу, скоростному спуску с горы или затяжным прыжкам с парашютом,— для него не развлечение и не способ убить время, а отчаянная попытка обрести силы, чтобы продолжать существование и как частному человеку, и как профессионалу. Переживаниями опасности внешней, физической, очевидной он пытается заглушить растерянность и беспомощность перед угрозой, ощущаемой смутно, но оттого не менее серьезной,— угрозой, суть которой в утрате радости от жизни, в прогрессирующем безразличии к тому, что происходит вокруг.

Психологический казус Майкла Сторрса при ближайшем рассмотрении выявляет свои отчетливо социальные истоки. В этом смысле новый роман Ирвина Шоу не нов. Традиционный герой Ирвина Шоу не столько человек, обладающий набором качеств «настоящего мужчины» (хотя именно вокруг такого персонажа чаще всего и строятся его сюжеты), сколько американское и — шире — западное общество, психологию и социологию которого писатель изучает не первое десятилетие.

Спортивные подвиги Майкла — нечто вроде своеобразного курса «игротерапии», призванной хоть как-то примирить героя с повседневностью, в которой он чувствует себя весьма неуютно. Казалось бы, старая, еще по Хемингуэю знакомая схема. Игра (бой быков, охота на большого зверя, прыжки с парашютом и так далее) приобретает характер магического действа, ритуала, назначение которого—все страхи, беды, опасности, выпадающие на долю человека в его обыденном существовании, символически представить в виде условий и правил игры, поместив в строго замкнутом игровом пространстве (вне которого они теряют свой смысл), и дать человеку возможность одержать победу над этими страхами, а заодно и над собственной трусостью, апатией, безволием. В идеале игра должна как бы «обслуживать» серьезную, неигровую сферу человеческой деятельности, тренировать те способности и качества, что обеспечили бы человеку успешное в ней функционирование. В реальности, однако, вера в целительные качества игры часто приводит к тому, что игровое и серьезное как бы меняются местами. Истинной, полной, главной становится жизнь в игре, а все то, что остается за ее пределами, объявляется призрачным и вторичным. Примерно так обстоит дело в первой части романа и с Майклом Сторрсом, увидевшим в игре последний шанс на спасение.

Притягательность игры нетрудно объяснить. В повседневности — беспорядок, полная непредсказуемость. В игре — строго установленные правила, нарушение которых немедленно карается. В игре получают право на активность, ощущают себя не просто полноправным участником события, но самым настоящим творцом своей (игровой) судьбы. В реальной жизни представитель сложно организованного буржуазного общества, напротив, часто убеждается, что не столько он действует, сколько, увы, «им действуют». У него рождается комплекс пылинки, щепки, игрушки могучих и безликих сил или винтика, необходимого для бесперебойной работы социального механизма, а в случае поломки или износа подлежащего замене на деталь, изготовленную по той же мерке.

Винтик по имени Майкл Сторрс в начале романа как раз и находится на грани поломки или износа. Он горько переживает безличный, отчужденный характер своей профессиональной деятельности. Кстати, по роду занятий он — ирония судьбы (или автора) — манипулятор, один из лучших сотрудников организации, занимающейся проблемами управления и администрирования. По заказам фирм и корпораций Сторрс изучает их работу и выступает с рекомендациями относительно повышения эффективности их деятельности: закрыть, к примеру, фабрику, провести сокращение штатов. Человеческие судьбы решаются с позиций деловой целесообразности и эффективности теми, кто этих людей в глаза не видел. С профессиональной точки зрения вроде бы все в порядке, а вот с человеческой...

Здесь Ирвин Шоу затрагивает больную проблему западного общества, издавна поставившего во главу угла эффективность и рациональность. Преимущества от подобной организации труда и быта не раз подтверждались апологетами, что называется, с цифрами в руках, правда, они забывали упомянуть про «побочные эффекты», где есть и неуверенность в завтрашнем дне, и боязнь не выдержать конкуренции, оказавшись «недостаточно компетентным», а как следствие — падение жизненного тонуса, нервные и психические расстройства, участившиеся самоубийства. Об этой изнаночной стороне «рационального социального устройства» уже немало на-

писано западными философами, социологами и писателями. Да и сам Шоу успел зарекомендовать себя взыскательным критиком американского образа жизни — достаточно вспомнить хотя бы опубликованные в журнале «Иностранная литература» романы «Вечер в Византии» и «Богач, бедняк...». Шоу много писал о том, как Америка, традиционно именующая себя страной «открытых возможностей», не позволяет своим гражданам — даже тем, кто наделен умом и талантом,— эти возможности реализовать. Шоу не раз предлагал задуматься, почему же гордая Американская Мечта о свободном человеке в свободном обществе превратилась в Американскую Иллюзию. Истории, рассказанные Шоу, были посвящены одной теме — как безвозвратно гибнет в человеке человек.

«Вершина» поначалу кажется повторением пройденного, еще одной вариацией на тему утраченных возможностей и впустую прожитой жизни. Кажется, до тех пор, пока манипулятор вдруг не осознал себя манипулируемым и не взбунтовался. Его бунт — в давних традициях Нового Света. Не везет тебе — попытай удачи на новом месте. Разочарованный в нью-йоркской жизни, где профессиональные успехи уже давно не радуют, где не складываются отношения с женой Треси, еще так недавно любящей и любимой, а теперь необъяснимо далекой и чужой, Майкл бросает все и уезжает в курортный городок Грин Холлоу (что в переводе означает Зеленая Долина), где устраивается инструктором по горным лыжам. Шоу позволяет своему герою осуществить на практике то, что уставшие от неподлинной и отчужденной цивилизации миллионы «средних американцев» совершают лишь в фантазии — попытаться найти покой и гармонию в естественном существовании, где имеется дивная, не тронутая человеком природа, где есть простой и честный труд, где, наконец, отношения между людьми не опосредованы (понимай — испорчены) сложной социально-иерархической структурой.

Специалисты по творчеству Шоу если прервут чтение романа на этом самом месте, то представят, наверное, какое горькое разочарование готовит автор герою, как непоправимо, должно быть, рухнет иллюзия «естественной гармонии» и каким адом обернется тихая Зеленая Долина,— известно, как ломались человеческие судьбы и обрывались жизни персонажей других романов писателя в Канне и Ницце, Давосе и Сен-Морице. Однако на сей раз не только обойдется без катастроф, но и впервые, пожалуй, герою будет позволено отпраздновать победу. Курорт Зеленая Долина поистине обладает волшебной целительной силой. Это место, где люди находят себя. Скромная официанточка-негритянка откроет в себе замечательные вокальные способности. Умирающий от чахотки владелец большого отеля Андреас Хегтенер сумеет победить подступающее отчаяние, а в конце романа, похоже, и чахотку. Важные истины открываются Майклу Сторрсу. Жизнь только тогда получает смысл, когда живешь для других. Он вступится за француза-пианиста, ставшего жертвой пьяных стопроцентных американцев-патриотов, нокаутирует негодяя, ударившего женщину, и не испугается наставленного на него ножа, пойдет искать заблудившегося на лыжной прогулке в горах Хегтенера и спасет того от верной гибели.

Майкл Сторрс не вернется в «отчужденный» Нью-Йорк. Он останется в Зеленой Долине, где примет пост управляющего отелем Хегтенера, с которым его связывает крепкая дружба, почти братство. Финал, наверное, оставит разочарованными многих поклонников Шоу. Одни заметят, что в решении Майкла отказаться от блестящей карьеры особого героизма нет: он как-никак получил (об этом Шоу скажет мимоходом) неплохое наследство, позволяющее ему чувствовать себя независимым от капризов судьбы,— роскошь, недоступная очень многим управляющим отелями. Другие согласятся, что Зеленую Долину Сторрсу покидать не резон: только в этом вымышленном уголке возможна обретенная героем — с авторского соизволения — гармония.

Все это так, но вместе с тем за очевидной наивностью и придуманностью финала было бы неправильно упустить из виду важные сдвиги в мироощущении Шоуписателя. Заставив своего героя разочароваться в великих возможностях Игры, Шоу, может быть,— кто знает? — выразил в этом сюжетном ходе свою озабоченность усилением развлекательного, сугубо игрового начала в литературе, претендующей как раз на серьезность и проблемность. Есть в романе «Вершина» пианист Антуан (тот самый, за кого вступается главный герой), вечный неудачник, жертва «обстоятельств». Постепенно, однако, оказывается, что не так уж он и несчастен, просто он давно смекнул, что в амплуа аутсайдера он лучше смотрится, благо вокруг всегда находятся добрые люди, за чей счет можно безбедно пожить. Похожим образом и некоторые западные беллетристы, сталкиваясь с кризисной, являющей признаки духовного распада действительностью, начинают — сознательно или нет, сказать трудно — радоваться хаосу. Хаос и распад и описывать легче, и читать занимательнее. Подобные симптомы различимы и в ряде последних романов Шоу — «Нищий и вор» и «Ночной портье». Судя по роману «Вершина», писатель испытывает потребность пересмотреть кое-какие из сложившихся творческих установок — прежде всего то, что от книги к книге автоматизировалось, теряло содержательность, превращалось в стилистический прием. Прежде всего это позиция регистратора распада, холодно составляющего очередную похвалу человеческой глупости. Чтобы прекратить движение по линии наименьшего сопротивления, понадобилось написать такой роман, как «Вершина». Разумеется, поиски новых путей и разочарование в наезженных старых сами по себе не гарантируют скорых побед. Однако знаменательно, что есть недовольство собой — реализованное не в интервью и не в теоретических декларациях, а в конкретном художественном произведении, открытом суду критики.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

ЮБИЛЕЙ ЭРИХА ФРИДА

Исполнилось 60 лет одному из крупнейших современных австрийских поэтов Эриху Фриду. В 1938 году, после захвата Австрии гитлеровцами, Эрих Фрид покинул родную Вену и поселился в Лондоне, где живет до сих пор. «К сожалению, официальная Австрия не сделала ничего, чтобы вернуть его»,— констатирует орган Австрийской компартии газета «Фольксштимме», посвятившая юбиляру статью.

«Хотя Эрих Фрид и отмечен австрийской государственной премией, он до сих пор не получил того официального признания, какое давно заслужил своим творчеством и деятельностью и какое имеет в других странах немецкого языка»,— отмечает газета.

Особенно велики заслуги Эриха Фрида в создании современной политической поэзии. «Это глубоко ангажированный поэт, страстно выступающий против империализма и фашизма во всех его формах, в том числе против неофашистских и правых тенденций... Словом и делом он борется за солидарность всех подлинно левых сил».

Много сделал поэт и для австрийского театра. Он дал новую жизнь на немецком языке целому ряду произведений Шекспира, переводил и других английских драматургов. «Для многих австрийских поэтов, особенно молодых, Эрих Фрид — коллега, всегда готовый прийти на помощь, советчик, помощник и просто друг»,— пишет «Фольксштимме».

БОЛГАРИЯ

ФИЛЬМ О ГЕОРГИИ ДИМИТРОВЕ

Болгарская студия художественных фильмов, совместно со студией «Мосфильм», «ДЕФА» (ГДР) и «Мафильм» (ВНР), приступила к съемкам фильма о Георгии Димитрове, столетие со дня рождения которого будет отмечаться в 1982 году. Фильм ставит известный испанский режиссер Хуан Антонио Бардем — коммунист, член ЦК Компартии Испании. Выступая перед журналистами, он сказал: «Когда мне предложили снимать этот фильм, я раздумывал: я — испанец, и вдруг фильм о Болгарии. Но потом я понял, что Димитров принадлежит всем коммунистам мира. История никогда не повторяется в точности, но в ней всегда есть моменты, схожие между собой. 1932—33 были годами, когда в Европе набрал силу фашизм и назревала опасность войны. Поэтому этот фильм очень своевременен, и поэтому он называется «Предупреждение». Мы надеемся сделать хороший фильм».

Автором сценария является известный болгарский драматург Любен Станев, который работает над воплощением образа Георгия Димитрова уже 12 лет, за это время им написано много произведений о Г. Димитрове, в том числе сценарий фильма «Тревожное лето».

В болгарской газете «Народна култура» Любен Станев писал: «Меня, как человека и писателя, всегда волнует многогранность личности Георгия Димитрова и его необыкновенное обаяние. Г. Димитров пользовался огромным уважением и любовью масс...»

В одном фильме трудно показать всю яркую жизнь такого активного революционера, каким был Георгий Димитров. Поэтому авторы выбрали лишь несколько страниц его биографии: Лейпцигский процесс в 1933 году, участие в VII Конгрессе Коминтерна 1935 года, когда он боролся за консолидацию всех прогрессивных сил для борьбы с фашизмом.

Исполнитель роли Георгия Димитрова Петр Гюров на пресс-конференции сказал, что ему хочется показать Георгия Димитрова во всей его многогранности: непримиримость к врагам и доброта по отношению к друзьям и близким, его человечность.

Сцены Лейпцигского процесса снимаются в Лейпциге, участие Георгия Димитрова в работе VII Конгресса Коминтерна — в Москве, там, где проходил этот конгресс,— в Колонном зале Дома Союзов. Как известно, в своем ярком выступлении на VII Конгрессе Коминтерна Георгий Димитров, один из первых вступивший в открытую схватку с фашизмом и одержавший над ним моральную победу в Лейпциге, предупреждал о той огромной опасности, которую несет народам мира фашизм.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В Ноттингеме состоялся подлинный праздник «литературы для народа, создаваемой самим народом».

Речь идет о ставшем традиционным съезде пролетарских писателей Великобритании, организованном по инициативе Федерации пролетарских писателей.

Цель этой представительной национальной организации — «способствовать развитию пролетарской литературы, поощрять писателей через «цеховые» творческие союзы на местах и путем создания издательств на общественных началах».

И надо сказать, что федерация со своей задачей справляется. Вот что говорят цифры: в Великобритании ежегодно выходит в свет около полумиллиона произведений пролетарской литературы.

Федерация рабочих писателей придает большое значение созыву ежегодных съездов, стремится к тому, чтобы они были как можно более представительными. Так, например, на съезде в Ноттингеме присутствовали 124 человека из 24 местных организаций.

Цель съездов — дать писателям из разных городов возможность встретиться, обменяться опытом, послушать новые произведения друг друга. Широк круг вопросов, которые были на повестке дня в этом году. Обсуждалась и редакционная политика журнала федерации «Голос», и формы оплаты писательского труда, и проблемы сотрудничества с аналогичной организацией в США, и взаимоотношения федерации с другими творческими ассоциациями страны.

Съезд, который можно назвать фестивалем народной книги, завершился выступлением писателей, поэтов, певцов и большой книжной ярмаркой. «Мы удовлетворены работой съезда,— пишут обозреватели газеты «Морнинг стар» Сью Мэй и Кен Ворпоул,— ведь каждое такое мероприятие способствует развитию принципиально новых форм взаимоотношений между писателями, издателями и читателями».

ВЕНГРИЯ

Национальный театр Будапешта осуществил постановку новой исторической пьесы Андраша Шюто «Свадьба в Сузах», воссоздающей эпизоды из жизни одного из величайших полководцев и государственных деятелей древнего мира Александра Македонского.

По свидетельству критика Андраша Барта, рецензия которого на этот спектакль опубликована на страницах газеты «Мадьяр немзет», Андраш Шюто создал интересный, сложный, противоречивый образ Александра Великого, превратившегося из «эллинского освободителя», движимого гуманными целями, в жестокого восточного монарха.

На снимке: сцена из спектакля.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ГДР

ПРЕМИЯ ИМЕНИ БЕХЕРА

Министр культуры Ганс-Иоахим Гофман вручил в торжественной обстановке премию имени Бехера за 1981 год известному поэту Хайнцу Калау. Премия присуждена «за его творчество в духе традиций социалистической, реалистической литературы».

Приветственную речь произнес Гюнтер Дайке. Он отметил, что характерной чертой поэзии Хайнца Калау является любовь к человеку. Поэт хорошо знает проблемы современной жизни, и именно темы современности занимают видное место в его стихах. Дайке отметил также богатый поэтический язык Калау, который отличается «красотой, точностью и пластичностью».

ИНДИЯ

УСПЕХ СПЕКТАКЛЯ

Как сообщает газета «Джан юг», в делийском «Центре сценического искусства» с успехом прошла премьера пьесы Кирпачандры Шармы «Берегись, герой», поставленной силами местного драматического коллектива. На премьеру спектакля газета откликнулась обстоятельной рецензией, в которой дается высокая оценка зрелому профессиональному мастерству исполнителей и режиссера-постановщика.

В центре пьесы образ молодого человека по имени Пурурва, который олицетворяет современную молодежь из обеспеченных слоев общества: томясь от безделья и скуки, он не знает, куда приложить свою энергию, силы и знания, однако при всем своем эгоцентризме органически не переносит царящей вокруг атмосферы лицемерия и обмана. Именно таким предстает Пурурва в начале пьесы. И когда жизнь ставит перед ним первые серьезные вопросы, требующие безотлагательного решения, молодой человек поначалу теряется. Медленно и с трудом постигает он смысл тех социальных проблем, с которыми ему приходится сталкиваться, постепенно проникаясь чувством причастности к тому, что делается в мире, личной ответственности за царящее вокруг социальное зло. Сама логика жизни приводит его в лагерь тех, кто борется за социальную справедливость.. К концу пьесы это уже совсем другой Пурурва: теперь он знает, куда направить свою энергию, силы и знания.

Раскрытию замысла пьесы способствовала яркая, запоминающаяся игра актерского ансамбля. В рецензии особо отмечается великолепное исполнение заглавной роли Р. С. Викалем, который одновременно выступает и как режиссер-постановщик пьесы.

«Премьера пьесы Кирпачандры Шармы, — пишет в заключение рецензент, — является продолжением традиции, когда лучшие, социально насыщенные драматические произведения впервые получают сценическое воплощение на театральных подмостках индийской столицы».

На снимке: Нарайн Тхакур в спектакле «Берегись, герой», который, как отмечает рецензент газеты «Джан юг», с блеском сыграл небольшую, но чрезвычайно выразительную роль сторожа.

(Газета «Джан юг»)

ИСПАНИЯ

ИНТЕРВЬЮ АНЫ МАРИИ МАТУТЕ

Ана Мария Матуте, испанская писательница, лауреат таких известных литературных премий, как «Планета», «Эухенио Надаль», «Мигель де Сервантес», дала в Барселоне пространное интервью корреспонденту аргентинской газеты «Опиньон», в котором коснулась многих важных проблем современной испанской литературы и рассказала о своих последних работах.

На вопрос о состоянии литературных дел в Испании Ана Мария Матуте, в частности, заявила:

— Писатели, которые успешно публикуются,— это в основном писатели молодые или относительно молодые, но уже завоевавшие признание читающей публики: Хаун и Луис Гойтисоло, Кульон, Эдуардо Мендоса... Потом еще одно имя — Эстер Тускест. Она пришла в большую литературу немного с запозданием — первый роман писательницы вышел, когда ей исполнилось сорок лет. Затем — одна за другой — вышли еще три ее книги. На мой взгляд, Эстер Тускест — самое крупное «открытие» последних лет. Язык ее романов не имеет себе равных по богатству во всей современной испанской литературе...

Касаясь испанской поэзии, Ана Мария Матуте отметила, что здесь положение куда более многообещающее. Поэзия всегда была самым культивируемым жанром литературного творчества в Испании. Она опирается на богатейшие традиции. Среди новых имен можно назвать Кабальеро Бональда, Карлоса Бусоньо — недавно ставшего членом Королевской испанской академии Перре Жимферрера. В общем, в Испании много плодотворно работающих поэтов. Несмотря на годы насилия и политической борьбы, лирика была всегда любезна сердцу испанского читателя.

Отвечая на вопрос об испанском театре, Ана Мария Матуте с сожалением констатировала значительный его упадок за последнее время.

Касаясь собственного творчества, Ана Мария Матуте (в Советском Союзе издавались ее романы «Мертвые сыновья», «Солдаты плачут ночью») рассказала, что работает «с той же страстью, как это было в юные годы». В издательстве «Бругера» выходит очередной ее роман. Книги писательницы издавались во многих странах. Уже известны переводы ее романов на 18 языках.

— Сейчас я готовлю к изданию сборник моих рассказов,— говорит писательница.— Это, конечно, не значит, что я занимаюсь только работой. Я много езжу, стремлюсь жить в постоянном контакте с людьми. Была на писательском конгрессе в Софии, где имела много интересных встреч с коллегами. Я всегда испытываю потребность в общении с людьми; радостно, что ты им служишь,— говорит в заключение Ана Мария Матуте.

ИТАЛИЯ

«ВЕЧЕР ЭТОГО ДНЯ»

Внимание критики и читателей привлекла книга Марио Бьонди «Вечер этого дня». Это — второй роман сорокадвухлетнего писателя: первый, «Волчонок», появился шесть лет назад. «Оба романа,— пишет рецензент газеты «Унита»,— развивают одни и те же темы, однако в последней книге их раскрытие и сложнее, и глубже».

Притчей о судьбе молодежи 68 года, года активных студенческих волнений в Европе, называет эти романы критика. И хотя герои, как и автор, двадцатилетними были в 60 году, а не в 68-м, их жизненные пути, их «гнев» и сменившая его апатия, разочарование стали символом именно поколения 68 года. «Впрочем,— утверждает Бьонди в интервью с корреспондентом газеты «Паэзе сера»,— двадцатилетние всегда одинаковы. Полны энтузиазма и гнева. Затем стареют и начинают давать уроки новым двадцатилетним... И мир вокруг изменяется, а с ним меняются иллюзии, надежды и разочарования двадцатилетних».

Роман «Вечер этого дня» во многом автобиографичен. Герой даже носит имя автора — Марио. Сын мелкого промышленника, он в студенческие годы участвовал в политической борьбе, а затем почувствовал усталость, да и бессилие. Из города, погрязшего в мелкобуржуазной стихии, он уезжает в «не загрязненное» капиталистической цивилизацией южное приморское местечко Калалунга. Но его идеалу не суждено сбыться. Калалунга уже разделена на участки и подвергается нашествию целых орд спекулянтов. На географической карте Калалунги нет. Она «никогда и не существовала,— объясняет автор романа.— Существует лишь идея (моего поколения) о том, как был уничтожен тот мир, который мы, когда нам было по 20, надеялись (мечтали, питали иллюзии) улучшить. Ничего мы так и не улучшили». Однако, добавляет Бьонди, это не бегство героя, а путь вперед, поиски, которые приводят его затем в Алжир, в пустыню, где Марио пишет роман «Хандра» (так первоначально должна была называться и вся книга Марио Бьонди). Создание романа — одна из важнейших сюжетных линий книги. Говоря об этой линии, корреспондент газеты «Паэзе сера» пишет: «Это означает прежде всего, что безжалостный скальпель углубляется в собственные раны и раны других людей, восстанавливая прошлое, чтоб найти возможность повернуть в будущее».

«ТРАГЕДИЯ СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Итальянская печать уделяет большое внимание последнему фильму Бернардо Бертолуччи — известного советскому зрителю по картине «Конформист» — «Трагедия смешного человека», представлявшему Италию в числе нескольких других фильмов на последнем международном кинофестивале в Канне. В центре фильма, сюжет и сценарий которого принадлежат самому Бертолуччи, история, которая весьма напоминает факт газетной хроники, произошедший в городе Бари, где у влиятельного местного лидера христианско-демократической партии похитили сына. Вновь итальянское кино, как это было, например, уже с фильмом Франческо Рози «Сиятельные трупы», или, вернее, фантазия его мастеров предвосхитили подлинные события. Ведь Бертолуччи уже снимал свой фильм, когда газеты принесли сообщение о «деле» в Бари.

В фильме отца-промышленника по имени Примо Спаджари играет популярный актер Уго Тоньяцци. Он создает трагикомический образ предприимчивого и циничного мелкого предпринимателя, выходца из крестьян, ставшего владельцем сыроваренного завода. Он мучается сомнениями: платить ли выкуп за сына, которого, может, уже нет в живых. В этом персонаже отражается вся сложность античеловеческих отношений в современном итальянском буржуазном обществе,

На снимке: Анук Эме, знакомая советскому зрителю по картине Клода Лелюша «Мужчина и женщина», в фильме «Трагедия смешного человека».

(*Журнал «Фильм»*)

где комедия превращается в трагедию, а трагедия — в фарс.

В фильме очень много местных, «локальных» реалий: действие происходит в низовьях реки По, там, где изготавливаются знаменитые итальянские сыры, а Тоньяцци, как и сам режиссер,— уроженец тех краев (он из города Кремоны), и роль, как отмечает критика, создана для него словно по заказу. Бертолуччи почти во всех своих фильмах обращается к своим родным краям — низовьям По, «исследуя» район за районом,— и в «Стратегии паука», и в «Двадцатом веке», и в недавней «Луне» дело происходит в городах и селениях, расположенных по берегам По.

В роли жены промышленника, помогающей во всех его махинациях,— французская актриса Анук Эме. Но, как она сама заявляет в своих последних интервью, среди итальянцев и в Италии она не чувствует себя чужой, Италия стала для нее вторым домом. Действительно, Анук Эме много снимается в Италии, и славу ей в немалой мере принесло участие в фильмах итальянских режиссеров — от «Сладкой жизни» и «Восьми с половиной» Федерико Феллини до недавнего фильма Марко Беллоккио «Прыжок в пустоту». Снималась Эме и у других видных итальянских режиссеров — Витторио Де Сика, Альберто Латтуады, Алессандро Блазетти.

КУБА

УСПЕХИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА

За 20 лет, прошедших со времени создания Национального издательства Кубы, пишет газета «Гранма», издательское дело в стране все время было на подъеме. Лишь за последние 5 лет (с 1976 по 1980 год) издано 5300 названий книг общим тиражом свыше 200 миллионов экземпляров. Постоянная работа ведется по распространению и пропаганде кубинской литературы внутри страны и за рубежом.

Успехи кубинских издателей нашли свое отражение в вышедшем в гаванском издательстве «Летрас кубанас» первом томе капитального труда «Словарь кубинской литературы». Над ним в течение пятнадцати лет работала большая группа ученых Института литературы и лингвистики Академии наук Кубы. Словарь включает в себя статьи о творчестве отдельных кубинских писателей, а также о литературных течениях, журналах, газетах и издательствах Кубы. Выход словаря, отмечает кубинская пресса, явился событием в национальной литературе, книга станет незаменимым пособием для всех, кто интересуется кубинской литературой.

МОНГОЛИЯ

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Видному монгольскому писателю Д. Намдагу исполнилось 70 лет. Д. Намдаг — заслуженный деятель искусств МНР, лауреат государственной премии — 40 лет своей жизни посвятил литературному творчеству и является одним из зачинателей новой монгольской литературы. В 1962 году за роман «Тревожные годы» он был удостоен государственной премии Монголии. В 1970 году роман вышел на русском языке в издательстве «Прогресс».

Намдаг написал более 30 пьес, и почти все они с успехом идут на монгольской сцене. Такие его пьесы, как «Волчья стая», «Борьба», «Жизнь и цена жизни», «Три шарайгольских хана», «Новый путь», по праву считаются современной классикой... Блестящий драматург, прозаик, режиссер, сценарист, актер, педагог, Д. Намдаг своим творчеством вносит весомый вклад в коммунистическое воспитание трудящихся, говорится в поздравлении Союза писателей, напечатанном в газете «Утга зохиол урлаг».

НОРВЕГИЯ

УЗНИК ВО МРАКЕ НОЧИ

Сотни тысяч экземпляров книги «Узник во мраке ночи» мгновенно разошлись по всей Скандинавии. Ее автор — видный общественный и политический деятель Норвегии, одно время премьер-министр страны, лидер социал-демократической партии — Трюгве Браттели. Три года этот мужественный и скромный человек провел во «мраке ночи» — в лагерях смерти в годы второй мировой войны. Хорошо известен факт, как нельзя лучше характеризующий Браттели,— 15 мая 1945 года, сразу же после «воскрешения из мертвых», он тут же включился в активную общественную деятельность.

Еще в это время, то есть в 1945 году, Браттели по горячим следам написал дневник о своем пребывании в фашистских застенках. Но только в 1979 году он приступил к литературной обработке своих записей. В создании книги, вышедшей весной 1981 года, помогала его жена — профессиональная журналистка.

«Узник во мраке ночи», по существу, представляет собой дневник, где порою с внешней беспристрастностью автор рисует жизнь заключенных гитлеровских концлагерей. Перед читателем встают картины безжалостных пыток, бессмысленного каторжного труда, унижений, то есть всего того, «что имело целью превратить человека в животное».

Как отмечает рецензент журнала «Тиден», основным достоинством этой правдивой книги является то, что автор не стремится сгустить краски, не грешит натуралистическими описаниями сцен ужасов, а «непритязательно, языком газетных репортажей говорит о трагедии норвежского народа». Именно это и делает книгу произведением удивительной силы воздействия, страстным обвинением фашизму.

ПОЛЬША

В ЧЕСТЬ ПОЭТА

Как сообщает польская печать, в Варшаве на Театральной площади будет воздвигнут памятник великому польскому поэту Юлиушу Словацкому, которого, наряду с Адамом Мицкевичем и Зигмунтом Красиньским, называли поэтом-пророком, наиболее ярким представителем польского революционного романтизма.

Авторы проекта — познаньские скульпторы Ежи и Роберт Собоцинские.

США

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛАЖ

Новая книжка Курта Воннегута называется «Вербное воскресенье». Писатель охарактеризовал ее жанр как автобиографический коллаж. И действительно, это уже второй подобный сборник (первый «Вампитеры и гранфалоны» вышел в 1976 году), в который вошли речи, письма, не опубликованные ранее статьи.

Рецензент американского еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» Э. Хогланд пишет о книге с раздражением: он досадует на то, что Воннегут не стал редактировать ни свои речи, ни личные письма, которые, по его мнению, лишь выиграли бы от предварительной редактуры. В то же время Хогланд признает, что с интересом читал опубликованные в сборнике письма. Однако трудно не заметить, что рецензент не является поклонником писательской манеры Воннегута, ему чужды ирония и самоирония автора; он полагает, что первая фраза сборника: «Это очень великая книга американского гения» и его

последняя строка: «Я весьма признателен вам за ваше поддельное внимание», как всегда у Воннегута, лишь мешают читателю сосредоточить внимание на тех серьезных проблемах, о которых идет речь в его книге.

В ином тоне написана рецензия постоянного литературного обозревателя американской газеты «Интернэшнл геральд трибюн» К. Леман-Хоупта. Он тоже пишет о мозаичности и повторах новой книги Воннегута, о том, что она, по его мнению, не добавляет ничего нового к тому миру, который знаком его читателям и очень любим ими. По мнению рецензента, материалы, вошедшие в книгу, неравноценны по своим достоинствам. Особенно выделяет критик отрывки из интервью 1977 года для традиционного раздела американского журнала «Пэрис ревью» — «Работа писателя».

Рецензент считает, что в новой своей книге К. Воннегут, как всегда, порой весьма удачно подражает своему кумиру — Марку Твену. В заключение он пишет, что трудно прибавить что-то новое к тому, что уже многократно говорилось о своеобразии иронии и чувстве слова, присущих Воннегуту.

ГОР ВИДАЛ: ВАРИАЦИЯ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ТЕМУ

«Сотворение мира» — так называется вышедший в издательстве «Рэндом хаус» роман известного американского прозаика и литературного критика Гора Видала. Как и в предыдущих книгах «Юлий», «Бэрр» (см. «ИЛ», 1977, № 7—11), «1876 год», писатель в ней обращается к исторической тематике.

Эта, семнадцатая по счету, книга Видала создает во многом сугубо «видаловский» вариант истории — в данном случае культурной истории человечества. Действие романа происходит в V веке до н. э., в эпоху, когда жили великие философы и полководцы, писатели и ученые: Анаксагор и Сократ, Эсхил и Софокл, Геродот и Фукидид, Перикл и Ксеркс, Будда и Конфуций, а покойные Пифагор и Зороастр оставили после себя многих учеников и последователей. Все эти люди становятся в той или иной степени основными действующими лицами романа, в широкие рамки сюжета которого вмещаются биографии и деяния десятков исторических личностей. Но скрепляющим центром здесь оказывается вымышленный персонаж — полугрек-полуперс Кир Спитама, внук Зороастра, который за свою долгую жизнь исколесил буквально весь древний мир от Афин до берегов Янцзы и который на склоне лет, в ожидании близкой смерти, диктует Демокриту воспоминания о прожитых годах и многих встречах. По мысли Спитамы, его мемуары — это «контристория», полемический ответ Геродоту, который, как считает Спитама, исказил в угоду афинским вождям историческую правду, создав «официальную версию».

Сюжетно книга Видала, по наблюдению рецензента еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», построена как парафраза «Злосчастного путешественника», плутовского романа известного английского писателя эпохи Возрождения Томаса Нэша. Подобно герою Нэша, Кир Спитама — это тоже «злосчастный путешественник», который волею случая оказывается при дворе персидского царя Дария, затем едет в Индию, где встречает Будду, потом, в качестве царского посланника, отправляется в Китай, где знакомится с Конфуцием, и, наконец, впав в немилость, переселяется в Афины, где и коротает остаток жизни.

Спитама, по словам рецензента, — «правдоискатель», который пытается разрешить все загадки, вплоть до самых глубоких тайн мироздания.

Новая книга Видала сродни тем историко-философским романам (например, «Мартовским идам» американца Торнтона Уайлдера или «Арфе и тени» кубинца Алехо Карпентьера), в которых главное, по мнению рецензента,— не историческая достоверность описываемых событий, но, наоборот, сознательное нарушение этой достоверности во имя глубоких раздумий о природе исторической истины, о правде истории, которую, быть может, доносит до потомков не «официальный историк» (Геродот у Видала), но «сторонний наблюдатель» — такой, как Кир Спитама.

Известный американский киноактер Генри Фонда, знакомый советскому зрителю по фильмам «Война и мир», где он играл роль Пьера Безухова, и «Двенадцать разгневанных мужчин», получает премию «Оскар», присужденную ему в связи с пятидесятилетием его работы в кино.

(*Газета «Интернэшнл геральд трибюн»*)

УРУГВАЙ

В ТРАДИЦИЯХ НАРОДНОГО ТЕАТРА

Уругвайская театральная группа «Ла гавиота» показала зрителям Монтевидео и Буэнос-Айреса свой спектакль по мотивам средневекового «плутовского» романа «Ласарильо из Тормеса». Яркое народное представление, стилизованное под театр XVI века, вызвало оживленные отклики прессы и было названо в числе самых больших удач уругвайской труппы.

На снимке: актеры уругвайской театральной группы «Ла гавиота» Карлос Масиу и Карлос Приэгес в спектакле «Ласарильо из Тормеса».

(*Газета «Опиньон»*)

В беседе с корреспондентом аргентинской газеты «Опиньон» постановщик спектакля Эктор Мануэль Видаль и Орасио Бускалья рассказали, что они стремились прежде всего передать дух знаменитого романа, используя не только слово, жест, звук, но и введя в действие кукол. Подобный синтетический подход позволил практически полностью воссоздать все сюжетные ходы романа.

«Ласарильо из Тормеса» — этот самый, пожалуй, известный «плутовской» роман испанского средневековья — не раз ставился на сценах мира. Интересны были постановки известного аргентинского режиссера Хермана Розенмахера, а также шведской театральной группы, показанные на последнем международном фестивале театра в Каракасе. Но, по всеобщему признанию, спектакль уругвайской труппы «Ла гавиота» лучше всех передает первоисточник, самый оригинальный по режиссуре и народный по духу.

ФРАНЦИЯ

ЖАН-РИШАР БЛОК, ДРУГ СССР

В издательстве «Эдисьон сосиаль» вышла книга литературоведа Жана Альбертини «Читали ли вы Жан-Ришара Блока?» — труд, посвященный жизненному и творческому пути видного французского прозаика, публициста, общественного деятеля.

Книга Ж. Альбертини, написанная в живой манере эссе, обращенная к широкому кругу читателей, содержит много документов, публикуемых впервые (в частности, неизвестные до сих пор письма Ж.-Р. Блока к Ромэну Роллану, Роже Мартен дю Гару). Вторая половина книги представляет своего рода антологию избранных произведений или отрывков произведений Ж.-Р. Блока, отражающих различные грани его таланта. Так раскрывается с новых сторон благородный облик писателя-коммуниста, для которого художественное творчество было неразрывно связано с борьбой против империализма и фашизма, за мир и социальный прогресс.

Литературное наследие Жан-Ришара Блока включает множество статей, до сих пор не собранных, фрагменты неоконченных крупных произведений. Среди литературных текстов, публикуемых в книге Альбертини, — пьеса Ж.-Р. Блока, новаторская по замыслу, написанная в жанре синтетического народного зрелища, «Рождение города». В дни Народного фронта она шла на зимнем велодроме в Париже, музыку к ней написали видные композиторы А. Онеггер и Д. Мило. Среди других текстов также рассказ «Леви», избранные страницы публицистики и, наконец, речь «Ответственность таланта», произнесенная писателем незадолго до его кончины, в 1946 году.

Материалы, помещенные и проанализированные в новой книге, позволяют яснее увидеть Ж.-Р. Блока как друга Советского Союза и социалистической советской культуры. Поездка Блока в СССР в 1934 году, когда он был гостем Первого съезда писателей СССР и произнес на нем яркую речь, оставила глубокий след в его сознании. В книге публикуются строки из письма Блока Ромену Роллану от 11 ноября 1934 года: «Мое давнее и постоянное тяготение к советской революции превратилось в огромную любовь».

В период второй мировой войны (с 1941 по 1944 год) Жан-Ришар Блок находился в СССР, регулярно обращался по радио к французским слушателям, написал по просьбе Совинформбюро множество статей, которые были предназначены для печати разных стран мира.

Сколь ни были трудными эти годы для французского писателя, «доверие и надежда», по его словам, не покидали его: «столь чудодейственным было впечатление, которое производил этот борющийся народ».

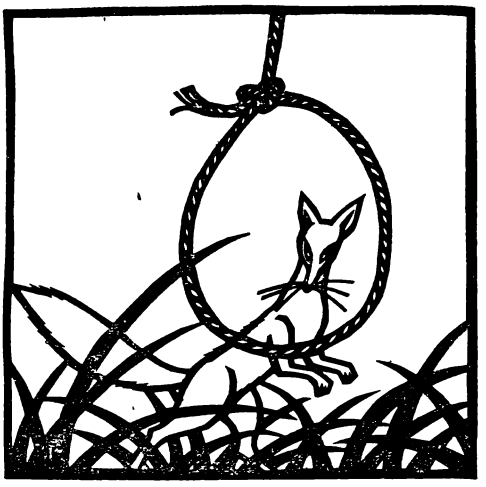
Книга «Читали ли вы Жан-Ришара Блока?» должна, по замыслу автора и издателей, не только воздать должное памяти и заслугам большого революционного писателя, но и показать современной французской читающей публике непреходящую актуальность его публицистического и художественного наследия.

БЕЗРАБОТИЦА И АЛКОГОЛИЗМ

Социальным романом о современной безработице называет новую книгу романистки Ортанс Дюфур «Белка в колесе» Жером Гарсен в «Нувель литтерер», по-видимому, столь же автобиографичную, как и предыдущий ее роман «Мария Крестная», посвященный жизни рабочих-дорожников.

«Свидетельство Дюфур — крик души, который не умещается в обычных литературных рамках. Это необработанный, еще не вставленный в оправу драгоценный камень. Для автора «Марии Крестной» писать — насущная необходимость, последнее средство против отчаяния»,— отмечает рецензент.

Героиня романа — писательница. Ее муж Пьер — инженер. Безработица привела его к роковой привычке топить все свои беды в вине. С каждым днем Пьер все глубже опускается в бездну алкоголизма. Он бродит по закоулкам дома, как живой труп. Больше всего страдает маленький сын Матильды и Пьера, невольный свидетель нервных припадков, рукопашных схваток родителей, слез матери. Перед читателем развертывается история разрушения семьи. По мнению Жерома Гарсена, после «Кружевницы» («ИЛ», 1976, № 9) Паскаля Лэне, это лучшая книга о некоммуникабельности.



На снимке: иллюстрации художника Хэйдзиро Таки из книги «Палец отшельника».

«ПАЛЕЦ ОТШЕЛЬНИКА»

Под таким названием в Токио вышла книга старинных японских сказок, подготовленная Кавасаки Тамоцу. К книге прилагаются две грампластинки. Читатель может не только прочитать, но и услышать эти сказки в великолепном исполнении известного актера и режиссера театра «Мингэй» Дзюкити Уно. В предисловии к книге Кавасаки пишет: «В ней представлены сказы эпохи Эдо («Палец отшельника», «Промах волка», «Немой нищий») и старинные сказки, которые в народе передавались из уст в уста, например, «Обманули лисичку», «Чихнула черепаха», «Ширма ученика каменщика» и другие. Я пытался пропустить через свое сердце все эти оригиналы и, сохранив национальные традиции, вдохнуть в них дыхание современности, возродить полузабытые устные предания».

Книга иллюстрирована талантливым художником Хэйдзиро Таки.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

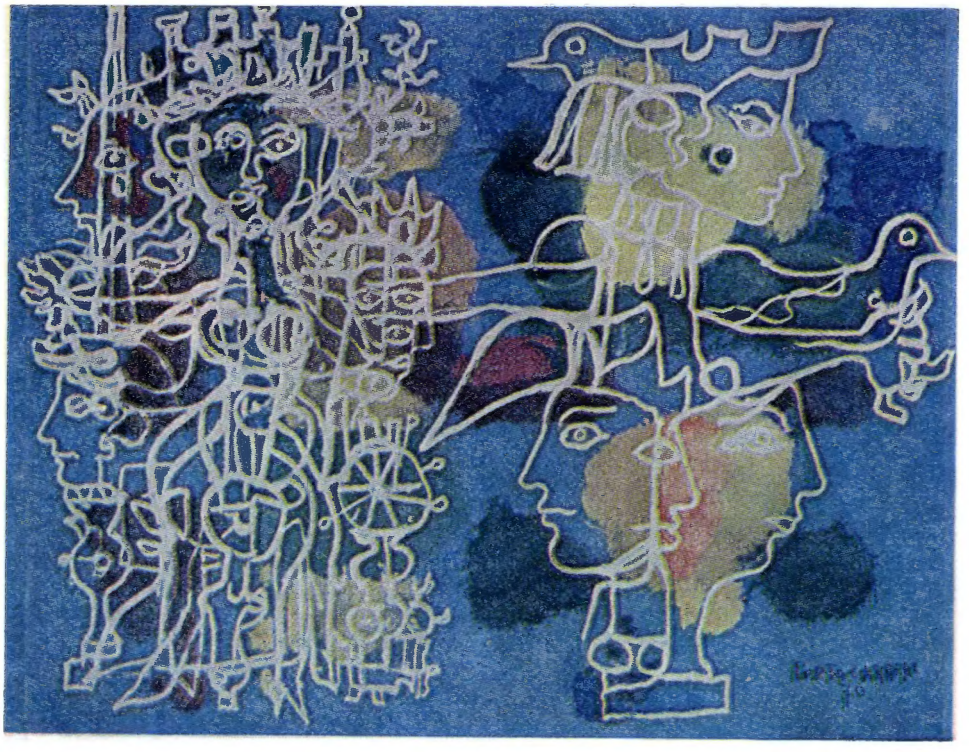
Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 3.07.81. Подписано в печать 14.08.81. А 04773, формат 70×108¹/₁₆.
Печать высокая, 17 п. л. (23,8) усл. п. л., уч.-изд. л. 31,0.

Тираж 525.000 экз. (1-й завод: 1 — 400.000 экз.) Зак. 2184

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

МАРИАНО РОДРИГЕС. Петух

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394